

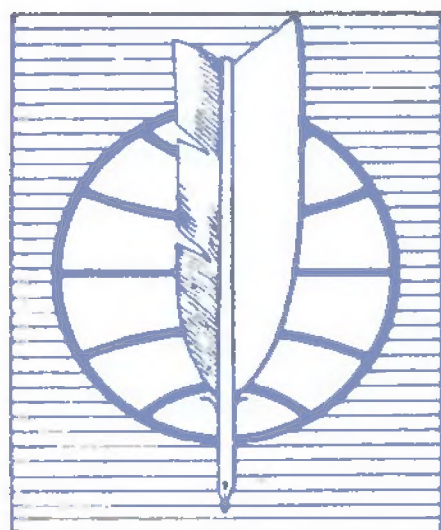
БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ



С. БАРУЗДИН
В. КРАПИВИН О. ГОНЧАР
Э. МЕЖЕЛАЙТИС
И ТОКМАКОВА



Scan Kreyder - 25.07.2014
STERLITAMAK



БИБЛИОТЕКА
МИРОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ
ДЕТЕЙ



СЕРГЕЙ БАРУЗДИН

Большая Светлана

Ее зовут Елкой

Повести и рассказы



ОЛЕСЬ ГОНЧАР

Бригантина

Повесть



ВЛАДИСЛАВ КРАПИВИН

Оруженосец Кашка

Повесть



ЭДУАРДАС МЕЖЕЛАЙТИС

Человек

Стихотворения



ИРИНА ТОКМАКОВА

Сосны шумят

Повесть

Счастье, Ивушкин!

Повесть-сказка

МОСКВА

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1987

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
«БИБЛИОТЕКИ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

Алексеев С. П.	Леонов Л. М.	Мустай Карим
Алексин А. Г.	Лихачев Д. С.	Новожилова Э. Г.
Барабаш Ю. Я.	Ломунов К. Н.	Прилежаева М. П.
Верейский О. Г.	Марков Г. М.	Свиридов Н. В.
Гамзатов Расул	Межелайтис Э. Б.	Стукалин Б. И.
Гончар Олесь	Миршакар Мирсайд	Танк Максим
Дехтерев Б. А.	Михалков С. В.	Уваров В. А.
Коржев Г. М.	Мотяшов И. П.	Шатунова Т. М.

Вступительная статья и комментарии
ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВА

Оформление серии
Б. А. ДЕХТЕРЕВА

Оформление тома и иллюстрации
Г. МАЗУРИНА и Л. БИРЮКОВА

Б 4803010102—377 Подп. изд.
М101(03)87

В ДРУЖБЕ — ПРАВДА

Слово «друг» живет у людей труда с незапамятных времен. Оно сплачивает, дает силы тем, чьи руки растят хлеб, шьют одежду, строят жилища и машины, тем, кто добывает победу над врагом, борется за мир на земле.

Об этом для детей и юношества написано много книг. Авторы лучших произведений всегда объединяет любовь к человеку, беспокоит судьба человека. Писатели стараются показать, какая сила скрыта в человеке, и утверждают, что главная ценность на земле — Человек.

Легкой, беззаботной жизнь не бывает. Человек рождается и живет для людей. И если он этого не понимает, его жизнь проходит впустую, никому не приносит ни радости, ни пользы — значит, зря родился...

И горя чужого не бывает. Вот почему писатели в своих произведениях настойчиво ищут причины хороших и плохих поступков — детей и взрослых.

Иные полагают, будто жизнь, описываемую в книге, нужно обязательно как-то приукрашивать. Это неверно. Жизнь в раскрашивании не нуждается; она сильна и привлекательна и своими трудностями, и своими радостными днями, и своими бесконечными задачами.

Вопрос, который волнует авторов — создателей книг для детей и юношества, вопрос, которым писатели интересуют читателей, звучит обычно так: почему такой-то человек поступил так, а не по-другому? Но на этом творческая задача не завершается. Главное заключается в умении писателя хорошо ответить на поставленный вопрос.

— Что значит хорошо? — можете спросить вы.

Хорошо — это когда в книге ребята узнают самих себя, свои сокровенные мысли, когда познают высокие морально-нравственные принципы жизни.

Так рождается читатель детской книги, ее друг на долгие годы.

В «Толковом словаре» В. И. Даля под словом ДРУГ читаем: «другой — значит такой же, равный, другой я, другой ты, ближний, всякий человек другому...»

Слова-то какие — красивые, сердечные, умные!

Мы часто слышим:
— Фронтовой друг.
— Друг по работе.
— Друг детства.
— Школьный друг.

Когда люди так говорят, они думают не только о своей работе или учебе. Все мы думаем еще и о единстве наших взглядов и целей. Ответственность каждого из нас — вот один из самых важных законов советского образа жизни, вот что скрепляется словами «друг» и «товарищ».

В «трудном» подростковом возрасте физическое развитие идет очень стремительно, и часто случается так, что человек никак не может справиться сам с собой, что-то в нем сильно разлагивается. Такой разлад может подчас затянуться надолго. Как же его остановить?

Точно ответить трудно. Все зависит от того, как воспитывался человек в раннем детстве, что в тот период было для него главным: собственные капризы или что-то более серьезное.

Понятия «Я» и «ДРУГИЕ» в сознании ребенка почти не разделены. Да что там ребенка! Часто можно встретить даже взрослых, которые не понимают или не хотят понять, что другой человек имеет право чувствовать, мыслить, действовать иначе, чем они сами. Такие люди невыдержанны — то слишком капризны, то слишком суровы.

Литература, которая хочет по-настоящему помочь подростку, должна уметь показать сложные явления жизни как бы со всех сторон. Тогда подросток может сойти со своей точки зрения и встать на место другого человека или, наоборот, еще решительнее отстаивать свою точку зрения. В обоих случаях появляется возможность увидеть себя со стороны — понять собственное поведение, прояснить собственные интересы.

Этому, пожалуй, и посвящена повесть «Бригантина» украинского прозаика **Олеся Гончара**.

«Мальчишка, настороженный, крутолобый, вошел и встал перед учителями, прикрывшись недоброй, натянутой усмешкой: «А ну, что вы мне сделаете?» В щелочках глаз — вызов, с губ не сходит все та же усмешка — напряженная, кривая, как бы забытая. Дерзость в ней, напускная веселость, бравада... А за всем этим угадывается затаенная боль, ранимость, нервное ожидание наихудшего...» Таким появляется герой «Бригантины», тринадцатилетний Порфир Кульбака, в колонии для малолетних правонарушителей.

Вы уже поняли: повесть Олеся Гончара об учителях и «трудных» детях, уходящих из-под влияния родителей и школы.

В современной многонациональной советской литературе для

детей и юношества повесть «Бригантина» известна как произведение, в котором автор показывает, насколько важно учителю, воспитателю уметь ценить индивидуальность другого человека и терпеливо отыскивать ее в каждом, кто встретился тебе в жизни и привлек твое внимание.

Фантазер и мечтатель Порфир Кульбака по воле обстоятельств живет отныне в условиях строгого режима. «Режим полусвободы — так у них называется эта собачья жизнь, — размышляет парень. — ...День твой и ночь расписаны тут по минутам: ложись, вставай, бегом туда, бегом сюда, только со двора не смей ни шагу... Ворота железные, глухие. В будке — часовой безотлучно... И они хотят, чтобы Порфир привык к такой жизни!»

По-разному педагоги воспринимают паренька. Увидеть и, самое сложное, принять индивидуальность Порфира оказывается серьезным испытанием для взрослых людей. Это испытание успешнее других педагогов выдерживает одна «рядовая» учительница Марыся Павловна. Недавняя выпускница педагогического института, она способна понять, что воспитывать в каждом человеке уважение к нормам жизни необходимо с детства. «Унаследовав семейную профессию, она сознательно пошла учительствовать, самых трудных выбрала, чтобы воевать с житейской грубостью, чтобы защитить таких, как этот юный черстводух, от их собственной жестокости».

Почему автор повести избрал местом действия колонию для трудновоспитуемых подростков?

Наверное, Олесь Гончар искал острых столкновений подростка с жизнью. И вряд ли где-нибудь еще такие столкновения могут быть более крутыми. Рассказ о житье-бытье в колонии, о разнообразных личных качествах детей и взрослых потому и возбуждает мысль, что качества-то эти не бесспорные. Порфир, например, бывает и злым, и грубым, и истеричным. Но именно таким предлагает нам писатель полюбить его, понять его упрямый характер, почувствовать ту боль, которая притаилась в глубине его юной души. Боль, накопившуюся за все его безотцовское детство.

А что же мать мальчика — Оксана Кульбака?

Она бессильна перевоспитать сына. Оксана говорит в колонии:

«— Не отдала бы вам его... да только ведь школа стонет... И соседки просят: отдай да отдай... его в интернат, не то и наших посводит с ума да с толку собьет. Он же тут для всех камышанских сорвиголов авторитет.

— Чем же он этот авторитет завоевал? — спросил воспитатель.

— А тем, что верный товарищ. Хоть ты его убей, не выдаст, скорее даже на себя вину возьмет...»

Трудно воспитывать детей, особенно одаренных, самостоятельных. Не обучена мать Порфира этому и с к у с с т в у.

Сверстники Порфира по колонии — тоже не легкий хлеб для педагогов и родителей. Не зря же подростки оказались за стенами «специальной школы».

Как же к ним теперь относиться? Как к бывшим хулиганам, браконьерам, карманникам, за которыми глаз да глаз нужен?

Начальник режима колонии, бывший фронтовик Тритузный, стоит, например, за жесткие меры воздействия. Он не верит в добрые побуждения тех, кто попал в колонию. Марыся Павловна и другие воспитатели во главе с директором не согласны с Тритузным, и автор повести, конечно, на их стороне. Олесь Гончар отстаивает единственный верный путь завоевать души ребят — к ним нужно относиться как к равным. Надо уважать человеческое достоинство подростков, их личности.

Но как же ребятам это доказать? Как сделать так, чтобы они это почувствовали?

Несвободой свободного человека не воспитаешь. «Правонарушитель» — не пожизненное клеймо для Порфира и других колонистов. «Правонарушитель» — их прошлое, с ним надо помочь побыстрее расстаться. И прежде всего расстаться в собственной душе.

Рецептов на все случаи жизни в таком деле нет и быть не может. Значит, нужно искать, идти на риск и, самое главное, — уметь доверять.

Символом такого доверия стала та полоска нескошенных трав, которая только и окаймляла летний палаточный городок колонии. Не забор, крепкий и непроницаемый, за который хлопочет Тритузный, а легко переходимая естественная граница, травяной барьер с запутанными ромашковыми чащами, с чабрецом, цикорием и другими веселыми цветами.

Призвание Порфира Кульбаки — защита природы, борьба с браконьерами. И жизнь для него — дома, в Камышанском лимане: «Право-воля! Там птицы со всего света! Тучи там их на озерах и в камышах: веслом взмахнешь — солнца не видно».

И Порфир в очередной раз бежит из колонии, теперь уже не один.

Беглецы не знают, что их могли задержать уже в начале пути, что воспитательница Марыся Павловна остановила погоню. Она верит: ребята сами вернутся, сами поймут, что школа — их дом, где живут друзья, люди, желающие им только добра. Однако настоящую дружбу, так уж, видно, всегда случается, надо выстрадать — и колонистам, и воспитателям. Как учит поговорка: «Будешь друг, да не вдруг».

Путь беглецов назад не прост и не легок. Не каждому дано пройти его до конца.

И все же Порфир возвратился по своей воле. Занес ногу

и решительно перешагнул через «барьер». «Так сделал Кульбака свой, может, самый решительный в жизни шаг. Вслед за ним и Гена молча переступил эту условную изгородь, из травы сотканную стену, одолеть которую было, может, труднее, чем двухметровую стену из камня».

Конечно, труднее! Но изгородь-то потому и условная, что отделяет от друзей. Каменная стена от друзей не отделяет...

Почему повесть называется «Бригантина»?

Ребятам-колонистам разрешили водить в лимане свою баржу, перевозить на ней кое-какие грузы, обслуживать ее. Работа на воде стала для каждого шагом к какой-то своей заветной мечте.

Но не только в этом дело.

Бригантина — двухмачтовое судно с прямыми на передней мачте и с косыми на второй мачте парусами. Не все еще в жизни Порфира Кульбаки прямо и надежно, что-то еще будет идти наперекосяк. Но родившееся чувство взаимного доверия воспитанника и воспитателей, как на крыльях парусов стройной, гордой бригантины, понесет парня к его главной цели — борьбе за сохранение родной природы, и это, мы надеемся, станет делом всей его жизни.

В своей повести Олесь Гончар не боится острых разговоров, не навязывает советов. Автор думает и ищет ответы на сложные вопросы вместе с читателем, потому что это самый надежный путь к сердцу подростка.

Если взрослые говорят: «Наша жизнь в детях», открываются ли перед ними глубины этой жизни? Видят ли они, заглянув в них, то, что спрятано в каких-то тайниках ребячьих характеров и что трудно выразить словами?

Повесть Владислава Крапивина «Оруженосец Кашка», думаю, убедит вас, что это возможно.

Дружба Крапивина со школьниками началась давно, когда будущий писатель еще учился в Уральском государственном университете имени Горького. В те студенческие годы он организовал отряд юных «мушкетеров» и начал изучать с ними морское дело, тушить таежные пожары, выпускать газеты, делать фильмы. Серьезная, настоящая дружба с ребятами дала Владиславу Крапивину столько знаний, такой жизненный опыт, что привела его в литературу — он стал детским писателем!

Повесть О. Гончара «Бригантина» завершается переездом колонии в летний трудовой лагерь. События повести В. Крапивина «Оруженосец Кашка» почти все время происходят в пионерском лагере. Это лесной городок веселья и бодрости. Вы хорошо знаете, что и в пионерском лагере есть свой режим. Но разве он смущает октябрят и пионеров?! Им главное — найти полезное и веселое занятие!

Про пионерские лагеря автор повести знает, кажется, все. Ему хорошо известно, что жизнь любого лагеря определяет не его начальник и даже не пионервожатые, а «волны».

«Коротким словом «волна», — пишет В. Крапивин, — в лагере называли массовые увлечения. Что такое массовое увлечение, каждому понятно. Допустим, один человек нашел на дороге обрезок жести и сделал из него свисток. Ходит и свистит. Другой человек услышал и думает: «У него есть свисток. А у меня нет свистка. Разве это жизнь?» Идет он тоже искать кусок жести. Режет ее, гнет и в конце концов гордо подбрасывает на ладони великолепную свистелку собственной конструкции... Когда у двух человек есть свистелки, а у других нет — это большая несправедливость...»

И вот уже весь лагерь свистит, накатилась «свистковая» волна.

С точки зрения вожатых, волны бывают вредные и полезные, опасные и безобидные.

Правильная точка зрения.

В лагере «Синие камни» началась волна изготовления луков и стрел. Волна все-таки опасная... Но пионерский вожатый Сережа вовремя понял: отбирать луки бесполезно, сжигать стрелы — тоже. Стихию не остановить. Выход один: направить ее в безопасное русло.

«— Сереженька, родной, направь! — с надеждой воскликнула Ольга Ивановна (директор лагеря). — Я тебя потом за это на два дня в город отпущу!»

И Сережа направил: он объявил запись в великий и непобедимый Рыцарский орден со строгим уставом и задумал провести турнир стрелков из лука.

Детство — счастливая пора. Но в детстве много сложностей, даже драматизма, заключенного в самом возрасте. Ведь формируется характер ребят, доброе и недоброе начала человеческих отношений, привычки.

Ну что делать, как жить дальше, скажем, первокласснику Аркашке Голубеву? Его полное имя в лагере «Синие камни» оказалось почему-то слишком длинным, и все зовут его просто Кашка. Но это не самое тревожное. Кашку назначили оруженосцем к члену Рыцарского ордена пятикласснику Володе Новоселову. Пятиклассник никак не хочет признавать задумчивого, тихого, нерасторопного первоклассника. А Кашке так необходим старший Друг!

В «Толковом словаре» В. И. Даля под словом ОРУЖЕНОСЕЦ читаем: «Прислужник, носящий барское оружие и подающий его по надобности...»

Вряд ли Вовка Новоселов читал словарь Даля, но к Кашке он относится точно как к прислужнику-недотепе, а к себе — как к барину!

Как же им сосуществовать в одной палатке, как положено по условиям турнира? Они оба на каждом шагу сталкиваются с проблемой совести. Кашку обижает невнимание Володи, но он мужественно молчит и только просит не прогонять его. А Володю раздражает преданность октябренька, но он тоже молчит.

Автор понимает: не так-то легко ребятам разобраться в своих отношениях друг к другу. Их может прояснить только какое-то общее дело. Первым таким делом и стал рыцарский турнир. Но по-рыцарски ведет себя не действительный член ордена Вовка Новоселов, а его оруженосец Кашка. Благородство первоклассника, к счастью, не ускользает от Вовкиного внимания. И он, может быть, впервые в жизни начинает понимать: благородство — качество характера, которое способно поддерживать тепло дружбы, тепло человеческих взаимоотношений.

Есть такое понятие — «над Я»: будь выше своих желаний, капризов, привычек, особенно когда речь идет о дружбе. Если человек не сможет преодолеть в себе вот это «Я», он, и когда станет взрослым, будет подделываться под капризного ребенка.

Как же преодолеть свое «Я» ради дружбы, во имя благородного отношения к младшему другу?

Надо как бы перешагнуть через свое «хочу!»; надо заботиться не столько о себе, сколько о друге, тогда и с тобою все будет в порядке.

На этот случай есть в народе такая поговорка: «Любить себя — любить друга»! После турнира стрелков из лука Володя окончательно усвоил это и вскоре протянул своему верному оруженосцу руку доверия и дружбы.

«Кашка был счастлив полностью. До конца. Больше он ничего не хотел. Он шел с Володей. Шел на ту лужайку, где вчера повстречали страшную собаку и где камень. Там они будут разводить костер. Вдвоем. Кашка шагал не сзади, а рядом. Володя сам зашел за ним и небрежно сказал Серафиме (Кашкиной воспитательнице):

— Мы с Кашкой погуляем. Не бойся, он со мной будет».

Как же трудно Кашке разбираться теперь в своих первых «взрослых» впечатлениях, когда он, первоклассник, и его старший друг пятиклассник — вместе. Ничего! Уж вдвоем-то они во всем разберутся.

«Через минуту, когда костер уже победно стрелял искрами и кружил пламя, Кашка спросил:

— Это ведь не в последний раз, да? Мы потом ведь еще можем разжечь?

— Хоть каждый день... Ты, Кашка, садись. Садись рядом.

И Кашка сел. Он сел так, что плечом чувствовал Володин локоть».

Если вам почудится, будто повесть Владислава Крапивина вызывает в памяти любимые книги Аркадия Гайдара и Александра Грина, вы не стесняйтесь своих догадок. Вы верно подметили. Автор повести «Оруженосец Кашка» считает этих писателей своими учителями.

О разных школах, о разных лагерях — книги Олеся Гончара и Владислава Крапивина. Но оба автора утверждают, что ребенок, подросток — люди искренние, любознательные. Оба автора подчеркивают чуткость детей ко всякой несправедливости.

«Детство,— пишет В. Крапивин,— это как сказка, которую каждый раз можно рассказывать по-новому. Главное в нем все равно остается: радость открытия мира, радость ребячьей дружбы и ощущение синевы».

От своих родителей, от дедушек и бабушек, из книг и фильмов вы знаете, что детство не всегда было безоблачным. Детство советских ребят, родившихся в тридцатых годах, опалил огонь Великой Отечественной войны, когда наша Родина в битве с фашизмом отстаивала жизнь на земле. Дружба народов СССР, человеческая солидарность прошли в годы войны суровое испытание и выдержали его с честью.

Умение дружить по-настоящему не такое уж легкое дело, как может показаться. Поэтому русская поговорка и утверждает: «Кому счастье дружить, тому и люди». Так что умение дружить — счастье, кому оно дано, вокруг того и будут люди хорошие.

Леньке Пушкареву, одному из действующих лиц повести **Сергея Баруздина** «Ее зовут Елкой», повезло: он познакомился, а потом подружился с девочкой Елкой. И даже через много лет память об их дружбе освещает жизнь читателей книги светом добра, человеческой надежности, бесстрашия, верности Родине.

Елка и Ленька встретились в деревне Серёжки, расположенной недалеко от подмосковного города Наро-Фоминска. Мама Елки — русская, папа — эстонец. Настоящее имя этой тринадцатилетней девочки Энда, что в переводе с эстонского означает «своя». Но мама часто звала ее Елкой: шустрая, колючая, за словом в карман не полезет — такой была ее дочь. Елка, да и только!

Елка и Ленька, когда мы встречаемся с ними в начале повести, ровесники Порфира Кульбаки и Володи Новоселова.

Нелегко досталась Леньке Пушкареву дружба с такой девочкой. Ленька долго не признавался себе, что в Елке его привлекает гордый, независимый, сильный характер.

Елка говорила:

« — А почему девчонок в РККА не берут? Вот скажи мне: почему? Анку-пулеметчицу брали? Брали! А «Мы из Крон-

штадта» помнишь? Ведь брали! А сейчас? Разве это справедливо? А-а? Справедливо? В Конституции про равенство между мужчинами и женщинами записано? Записано! А где оно, это равенство? Неправильно это! Вот!»

Пожалуй, Ленька даже завидовал ее характеру. Городской житель, он приезжал в деревню только на лето и незаметно для себя во многом подражал Елке. А Елка охотно этого не замечала.

Елку и Леньку наверняка ждала большая верная человеческая дружба... Если бы не война.

Но 22 июня 1941 года детство ребят, уже восьмиклассников, кончилось. Ленька вернулся в Москву. Елка осталась в деревне Сережки на речке Наре. Места эти вскоре стали прифронтовой, а затем и фронтовой зоной. Именно здесь был один из последних рубежей, остановивших наступление гитлеровцев на Москву.

Отец Елки уходит в партизанский отряд, а его пятнадцатилетняя дочь становится связной между передовой частью Красной Армии и партизанским отрядом. Девочка бесстрашно ходит в тыл врага, доставляя из отряда отца ценные сведения командиру советской воинской части, занявшей оборону на Наре.

Автор дает почувствовать читателю, какими равными, взрослыми были взаимоотношения Елки с отцом и командирами. Так относятся друг к другу друзья, солдаты — защитники страны.

В пятнадцать лет Елка понимает, что значит потерять на войне старшего друга; девочка знает цену жизни и смерти в боевой обстановке...

В один из очередных героических походов в тыл врага, при выполнении смертельно опасного задания, на мосту через родную речку, Елку скосила фашистская пуля. Фашистам так и не удалось форсировать Нору.

...Уже много лет тот мост зовут Елкиным.

«И школу — новую школу, выросшую на месте старой помещичьей усадьбы, — тоже зовут Елкиной школой.

И еще в Сережках есть Елкин дом...»

А как же Ленька? Что стало с ним?

«...Ленька не мог приехать после войны в Сережки. В далекой Венгрии есть озеро Балатон. Оно куда больше, чем Нарские пруды, на которые они собирались когда-то с Елкой. Там, недалеко от озера Балатон, в братской могиле похоронен танкист Леонид Пушкарев...»

Они были далеко друг от друга, эти два молодых человека, два юных солдата — Елка и Ленька. Но их едва зародившаяся дружба выдержала в страшные годы войны главный экзамен — на верность солдатскому долгу, на верность Родине. Они никогда не узнают об этом. Но мы знаем: судьба страны стала их судьбой. Память о таких ребятах и их старших боевых

друзьях больше сорока лет живет в советском народе и будет жить всегда. «Нести людям добро и правду, без устали напоминать им, сколько чудес таит в себе детство, как прекрасны дела советских людей, как ужасна война, и как важно ценить каждый миг нашей жизни!» — так автор повести о Елке определяет смысл своего творчества для детей и юношества.

Книги о Великой Отечественной войне всякий раз должны приводить нас с вами к сердечным беседам о святых вещах, связанных с памятью о жертвах фашизма. В дневниках поэта-фронтовика Сергея Наровчатова, опубликованных посмертно, есть запись: «...Главную жизненную задачу люди моего возраста выполнили двадцатилетними». Это нельзя читать спокойно, об этом мы должны постоянно напоминать друг другу.

Повесть Сергея Баруздина, как и повести Олеся Гончара и Владислава Крапивина, обращена к ребятам, которые стоят на пороге юности. По-разному сложились в этом возрасте жизни ваших сверстников — Елки и Леньки, Порфира Кульбаки, Володи Новоселова и Кашки, — но все они смело, решительно, преодолевая какие-то ошибки, шли навстречу своей мечте, своему будущему. Все они, кто легче, кто труднее, постигали законы дружбы и товарищества.

Есть поговорка: «В дружбе — правда». Наша человеческая обязанность сделать так, чтобы друг видел в тебе опору, находил поддержку собственным мыслям, ждал твоего совета и ценил его. Хорошо, когда в дружбе рождаются и крепнут важные качества — честность, бескорыстие, верность.

Этому посвящена повесть Ирины Токмаковой «Сосны шумят». Автор рассказывает о жизни детского дома во время Великой Отечественной войны в эвакуации, в глубоком тылу. Во многом повесть автобиографична: И. Токмакова пишет о событиях, в которых участвовала. Это ее память о собственной юности в военные годы, ее надежда на то, что будущие поколения никогда не узнают жестокости.

Обаяние, скромность, готовность выручить в трудную минуту отличают и будущего первоклассника Филиппа — героя повести-сказки Ирины Токмаковой «Счастливо, Ивушкин!».

По характеру Ивушкин очень похож на Кашку Голубева, и возраст у них почти одинаковый. Ивушкин, как и Голубев, мальчик мечтательный и тоже живет ожиданием разных чудес. Потому они к нему и приходят!

«Забегая вперед, я вам скажу: Ивушкин вырастет хорошим человеком. Добрым, душевным, понимающим. Может быть, очень может быть, и оттого, что в детстве у него была Луша и с ними обоими случилась сказка» — так Ирина Токмакова начинает смелое путешествие своих героев в страну «Нигде и никогда».

...Скоро придет осень и пора будет Ивушкину идти в школу, в первый класс. А пока он живет с родителями в деревне — в замечательном доме, где «есть большие сени и лесенка оттуда — на чердак, где пахнет сухими листьями и теплой крышей, где лежит старый угольный утюг, который умеет превращаться в паровоз, где кем-то оставлены черные прокопченные крынки».

Скоро-скоро уедет Ивушкин в город. Останется лишь грустное, полузабытое, тревожащее воспоминание детства. Кто из нас это не переживал?

Кроме Ивушкина, есть в повести-сказке еще один замечательный персонаж — лошадь Луша, старый, верный друг. Но в город-то ее с собой не возьмешь...

« — Ты что не такой? Что случилось?

— Случилось.

— Что?

— Беда, вот что.

— Какая?

Луша спросила спокойно, точно он просто ей сообщил, что к ним залетела бабочка.

— Ну мы же переезжаем в город!

— Почему ты кричишь? Переедем, и все.

Ивушкин мучился ужасно. Он не знал, как сказать, чтобы сразу не огорчить, не обидеть Лушу.

— Луш, но ты ведь лошадь.

— Да ну? — притворно удивилась Луша. — Вот новость-то!

Ивушкин даже не улыбнулся.

— Лошади в городе не бывают, — сказал он уныло.

— А кто бывает?

— Машины...»

С другом вообще расставаться тяжело. А Луше переезд семьи Ивушкиных в город грозит чем-то неведомым и наверняка страшным: Ивушкин случайно услышал, как про его Лушу сказали «списанная». Сердце мальчика давят тягостные предчувствия. Он не понимает, что значит «списанная», но слово это сразу невзлюбил.

Чтобы спасти Лушу, Ивушкин уводит ее в лес. Вот здесь и начинается невероятное, начинается сказка.

Ивушкин с Лушей встретили на своем пути много дурного и хорошего и все же пришли к счастливому концу. Он не только потому счастливый, что судьба Луши решилась самым удачным образом. Мальчик узнал истину, без которой трудно, а то и вообще невозможно жить. Ивушкин понял, что нельзя обижать хороших людей недоверием. «Только никогда-никогда не говори про маму с папой «они» — как про чужих», — советует мальчику в конце сказки добрая волшебница.

Хорошие сказки получаются только у того писателя, который не забыл, как сам был маленький среди взрослых. Ирина

Токмакова ясно помнит, как дети думают, чувствуют, как ссорятся и мирятся — помнит, как они растут. Если бы забыла, не нашла бы слов, которым вы сразу верите.

Сколько же надо помнить! — может удивиться кто-то из вас.

Помнить и правда надо много. Но все запомнить про детство не может даже детский писатель. И тогда он сочиняет, придумывает истории, которые вполне могли быть на самом деле.

В повести-сказке «Счастливо, Ивушкин!» автор много пишет о природе и ее обитателях. И. Токмакова умеет личное состояние своих героев — детей и взрослых, деревьев и цветов, домашних и диких животных — сделать интересным всем читателям. Она мудро очеловечивает природу, раскрывает содержание ее ежедневных забот.

А в конце повести-сказки Токмакова даже выдает нам очень важный, пожалуй, даже огромный секрет: как выйти из безвыходного положения!

Оказывается, для этого не надо падать духом.

В одной газетной статье И. Токмакова писала: «Дети, как всегда, чутко реагируют на сегодняшний день. У них стало появляться интересное, какое-то материнское чувство по отношению к живому. Они стали чувствовать свою ответственность и причастность к необходимости сберечь и сохранить природу».

Про вас, ребята, написано! Этим можно гордиться.

Думаю, когда вы прочитаете повесть-сказку про Ивушкина и Лушу, у вас появится желание сейчас же начать преодолевать свои личные недостатки. Но не спешите. Сначала хорошенько подумайте, почему относиться друг к другу надо внимательно, по-доброму.

Мир повести-сказки «Счастливо, Ивушкин!» — живописный и веселый, серьезный и всегда дружеский.

Все хорошее, что удалось совершить героям публикуемых в этом томе произведений Олеся Гончара, Владислава Крапивина, Сергея Баруздина, Ирины Токмаковой стало возможным благодаря дружеской поддержке взрослых и сверстников. Для Порфира Кульбаки таким другом оказалась воспитательница, для Кашки Голубева — старший товарищ, для Елки — ее приятель Ленька, родители и командиры, для Ивушкина — добрая волшебница. Это умные примеры состоявшейся дружбы.

Вместе любая ноша по силам, а вот порознь трудно. Представьте себе, что люди несут на плечах каменную плиту. Кто-то из них, чтобы самому полегче было, может незаметно ослабить плечо. Но если это сделают сразу несколько человек, камень придавит всех. В мире всегда существовали люди, нарушавшие законы человеческой дружбы, человеческого единства. Такие

люди пытаются прожить свой век расслабленно. И это, к сожалению, им иногда удается.

Почему?

Потому что всегда находятся другие люди, которые берут заботы жизни на себя. Ясно, что именно заботливые люди требуют нашей поддержки, ожидают нашей дружбы, и мы, в свою очередь, хотим рассчитывать на их поддержку и дружбу. Недаром говорится: «Дружно не грузно, а врозь — хоть брось».

Все родители мира желают своим детям добра, счастья и, конечно, мирного высокого неба над головой. Тогда на земле будет больше детской радости, больше детского веселья. Этого желают своим читателям и писатели.

И все же мы знаем, радости и печали часто идут рядом.

Когда человек стремится к лучшей жизни, он стремится к справедливости не только для себя, но обязательно и для других. Максим Горький называл такого человека Человеком с большой буквы.

Во все времена писатели пытались и пытаются создать в своих книгах такого героя — Человека с большой буквы.

Многие годы этой мечтой живет и литовский поэт Эдуардас Межелайтис. Живет и сочиняет стихотворения с такими, например, названиями: «Слово», «Кровь», «Сердце», «Руки», «Глаза», «Губы», «Голос», «Мысли», «Имя», «Любовь». А когда однажды поэт написал еще и такие строки:

В шар земной упираясь ногами,
Солнца шар я держу на руках.
Так стою, меж двумя шарами —
Солнечным и земным.
.
Я — как мост меж землею и солнцем,
И по мне
Солнце сходит на землю,
А земля поднимается к солнцу.
.
Так стою:
Прекрасный, мудрый, твердый,
Мускулистый, плечистый.
От земли вырастаю до самого солнца
И бросаю на землю
Улыбки солнца...—

он решил назвать новое стихотворение «Человек» и так же озаглавил весь сборник своих произведений, написанных в тот период. По отдельности они были стихотворениями. Вместе — «сложились» в характер, в характер Советского Человека. Позднее поэт говорил: «Для этой книги не надо было долго искать названия: оно отлилось в моем сердце и мыслях... Человек вырастает из природы и в нее возвращается, значит, он могучий хозяин земного шара, он находится в центре вселенной».

Как-то один из читателей спросил Э. Межелайтиса:

— Вы изображаете прекрасного, большого человека. Но разве такой уже существует? Вы его видели? Или это человек будущего?

Поэт ответил:

— Я считаю себя реалистом. Я видел такого человека — он уже родился и живет в каждом из людей. И ничто не остановит его роста... До сих пор я продолжаю получать немало читательских писем. И сделал один вывод. Если человек порой еще не ощущает себя таким, как мой герой, он все равно желает быть прекрасным, настоящим.

...Годятся
 тяжелые руки мои
для каждого нашего правого дела —
чтоб красное знамя
 нести сквозь бои,
вытаскивать раненых из-под обстрела,
и хлеб замесить,
и цветы поливать,
и черным асфальтом шоссе покрывать,
и выстроить прочно,
и выстрелить метко,
и выпустить птицу на волю из клетки...
(«Руки»)

Наверное, кто-то из вас, прочитав книгу Межелайтиса «Человек», спросит: как можно такую книгу сочинить? В ней же нет конкретного героя...

Я точно не могу ответить на этот вопрос. Но искать ответ, думаю, правильнее всего в биографии писателя. А в ней был такой случай.

Первая книжка Межелайтиса вышла в военной Москве 1943 года. Вместе с листовками книжку разбрасывали над оккупированной фашистами Литвой советские самолеты. В 1964 году на одном поэтическом вечере к поэту подошел человек и протянул для автографа пожелтевший от времени потрепанный экземпляр того самого сборничка.

Межелайтис спросил, откуда у него эта книга.

И мужчина объяснил, что в 1944 году был пастушонком и один раз видел, как самолет сбрасывал листовки. Среди них он и нашел сборник. Читать пастушонок не умел, но книжку подобрал, спрятал и потихоньку по ней выучился читать.

Представляете, что переживает автор, когда ему говорят: «Я по вашей книжке выучился читать»?!

Вот с какой высоты народного горя — нищета, война, безграмотность, изнурительный в прошлом труд — пришел автор к стихам о Человеке.

...Мне руки нужны,
 чтоб вихрастую голову
 погладить
 мальчишки того невеселого.
 И чтобы слезу стереть со щеки,
 нельзя мне никак
 обойтись без руки.
 Мне руки нужны,
 чтоб кровавую руку
 врага —
 уже поднятую —
 задержать.
 И верную руку товарища, друга
 сердечно и сильно,
 по-братски пожать...
 («Руки»)

В голосе поэта постоянно слышится суровое предостережение, трагическая нота. Человеку в современном мире еще угрожает большая опасность. Мы с вами знаем: на капиталистическом Западе есть люди, готовые развязать атомную войну.

Но Человек — брат, во имя которого стоит жертвовать жизнью.

Вот так, по-моему, и возникают темы и стихи Межелайтиса. Сама жизнь сконцентрировала мысль поэта на Человеке, и автору ничего не пришлось выдумывать и изобретать!

Мне кажется, вы почувствуете особую музыку стихотворений Межелайтиса; постепенно перед вами встанут как бы картины размышлений писателя о Человеке — и вы не заметите, как увлечетесь ими.

Сам Эдуардас Межелайтис так объясняет особенности своего творчества: «Музыка, поэзия, живопись — я хочу их соединить. Соединить и подарить Человеку».

...Это — пожизненное призванье
 и будет всегда таким.
 Это призванье —
 переливанье
 крови своей
 другим.
 («Призвание»)

Книга Эдуардаса Межелайтиса «Человек» стала плодом поэтического восхищения Человеком, любви поэта к Человеку. Но разве не влюблены в героев своих книг Олесь Гончар, Владислав Крапивин, Сергей Баруздин, Ирина Токмакова? Конечно, влюблены! А еще все авторы этого тома влюблены в свои родные места. Запах дома, в котором писатель и его герои родились и выросли, остается навсегда самым желанным. Но это не значит, что в доме брата, в доме соседа, в доме друга — в наших с вами домах! — они будут чувствовать себя неуютно.

Своим творчеством они давным-давно завоевали право на дружбу с вами.

...Олесь Гончар и Эдуардас Межелайтис прошли школу Великой Отечественной войны с самых первых дней как солдаты Советской Армии. Сергей Баруздин попадает на фронт в 1943 году семнадцатилетним. Ранняя юность Ирины Токмаковой пришлось на те же военные 1941—1945 годы; писательница провела их в эвакуации, в глубоком тылу, где волею обстоятельств хорошо узнала жизнь детского дома. Раннее детство Владислава Крапивина тоже совпало с нелегким тыловым бытом нашей страны. Вот и получается, что авторы напечатанных здесь произведений — люди бывалые, люди с характером.

Наверное, вы обратите внимание на то, что в повести «Бригантина», в повести-сказке «Счастливо, Ивушкин!» и в книге стихотворений «Человек» авторская мысль часто обращается к теме охраны, защиты природы. Все мы понимаем: природу надо любить и защищать. Но для этого нужно знать ее, ценить мудрость существующего в природе порядка вещей, как это делают, например, Порфир Кульбака, его мама и дед — герои Олеса Гончара.

Время хорошо видит себя в литературе.

Наш народ всегда учил свою литературу бесстрашию и честности. Народные судьбы закаляли судьбы писательские. А судьба писателя — это его творчество.

Каждый из авторов этого тома пишет для вас — ребят конца XX века и одновременно продолжает биографию своего собственного поколения.

Как?

Своим отношением к героям, значит, и к вам, современным читателям. Своим умением показать правду. Ведь говоря по совести, каждому из нас, если только захотеть вспомнить, есть за что краснеть, чего стыдиться. Ни один требовательный к себе человек не может сказать, что в жизни никогда не поскользнулся, не ошибся. Но разница между недостойным и достойным человеком заключается в том, что из своих ошибок они делают разные выводы. Литература призвана все это обнаружить и на примере своих героев показать, в чем истинное призвание Человека.

Давайте посмотрим, как это сделали авторы этого тома «Библиотеки мировой литературы для детей» Сергей Баруздин, Олесь Гончар, Владислав Крапивин, Эдуардас Межелайтис, Ирина Токмакова. В вашей, ребята, дружбе с ними — тоже правда!

Владимир Александров

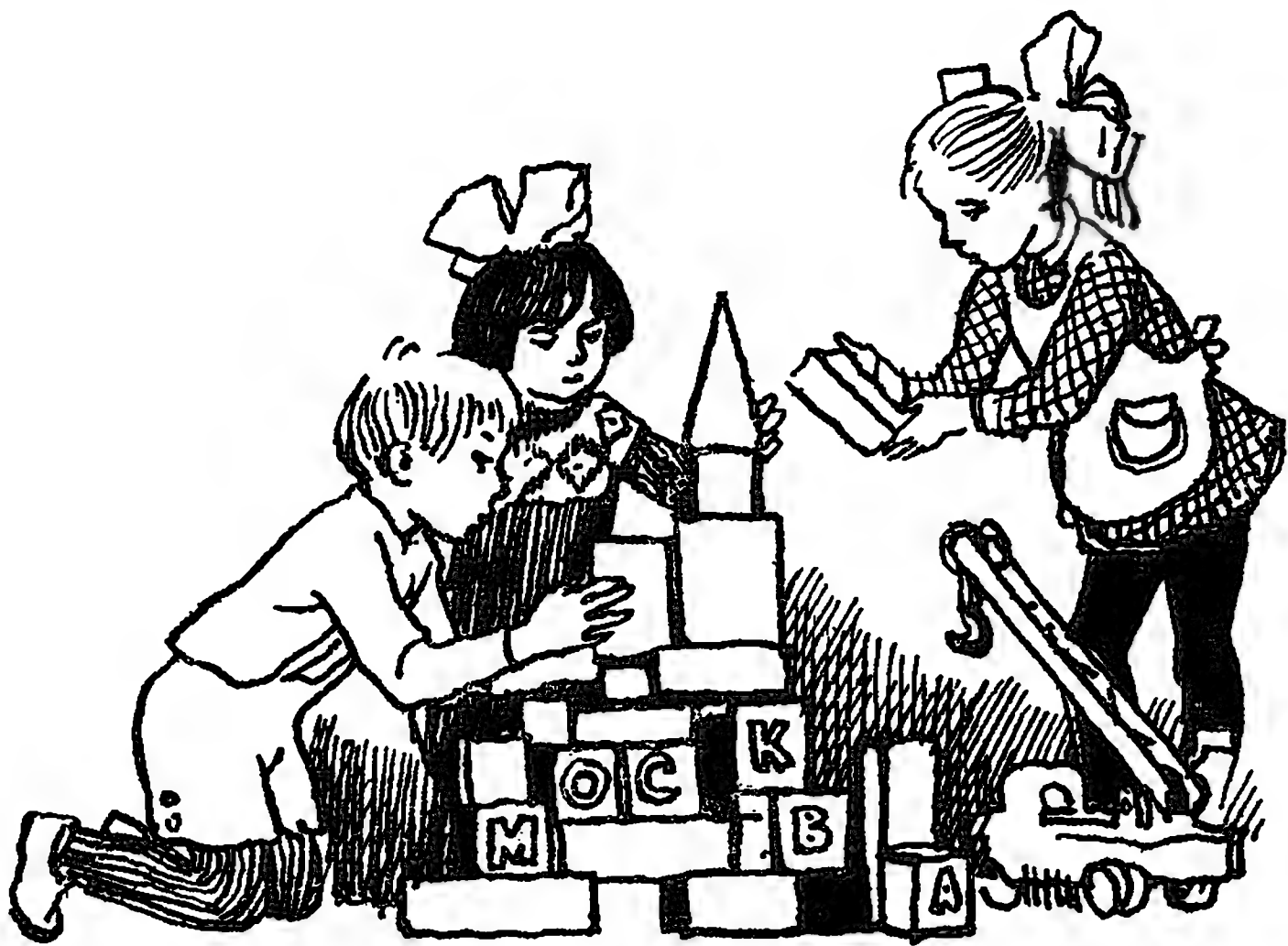
СЕРГЕЙ БАРУЗДИН

Большая Светлана

Ее зовут Елкой

Повести и рассказы





БОЛЬШАЯ СВЕТЛАНА

ПРО СВЕТЛАНУ

АДРЕС

Маленькая Светлана жила в большом городе. Она не только умела правильно говорить все слова и считать до десяти, но и знала свой домашний адрес.

— Где ты живешь, девочка? — спрашивали ее.

— Петровка, дом восемь, квартира четырнадцать, — говорила Светлана и была очень довольна, что не ошиблась.

Но однажды к ней пришел соседский мальчик Боря и спросил:

— А в каком городе мы живем?.. Вот и не знаешь!

Светлана нахмурилась и ничего не сказала. Не знала.

Вечером, когда мама вернулась с работы, Света подбежала к ней и спросила:

— А в каком городе мы живем?.. Вот и не знаешь!

Но мама знала.

— В Москве,— сказала она и подвела Светлану к окну.

Светлана посмотрела за окно, где далеко-далеко в небе, на кремлевской башне, горела красная звезда.

— Вот она, Москва! — сказала мама.

А в выходной день к дому, где жила Светлана, подъехала совсем новая, сверкающая голубой краской машина. Это папа взял машину, чтобы поката́ть Свету́ с мамой по городу.

Светлана забралась на мягкое сиденье рядом с шофером, а папа с мамой сели сзади.

Помчалась машина по широким улицам.

Видит Светлана большие дома и спрашивает:

— Это что? Где мы едем?

— Мы по Москве едем,— отвечает мама.— Видишь, какие большие, красивые дома строятся на московских улицах!

Все дальше и дальше мчится машина. Так мчится, что дух захватывает!

Едет Светлана и все спрашивает:

— Это что? Где мы едем?

— Это все Москва!

Пронеслась машина по Красной площади.

Видит Светлана: стоит Кремль, а над ним сверкают красные звезды. И так сверкают, что, наверное, все люди на земле видят их яркий свет.

— Вот какая она, наша Москва! — сказал папа.

А когда Света приехала домой, мама ее спросила:

— Ну, доченька, где ты живешь?

— В Москве, Петровка, дом восемь, квартира четырнадцать,— ответила Светлана.

Это было давно, когда Светлане исполнилось три года. С того дня Светлана хорошо знает, что Москвой называется весь большой, красивый город, в котором живут и она, и мама с папой, и все ребята из ее детского сада.

САМАЯ ХРАБРАЯ

Когда Светлане не было еще четырех лет, произошел такой случай.

Гуляла она во дворе и увидела мохнатую собачонку.

Света подошла к собачонке да как схватит ее за хвост:

— Собака-бабака, не боюсь тебя!

«Собака-бабака» рассердилась, залаяла на Свету и давай ее трепать за пальто: вот тебе, не обижай меня, не дразни!

С тех пор Светлана очень не любила собак, а может быть, просто боялась их.

Идет Светлана с папой утром в детский сад, и только они увидят собаку, как Света обязательно скажет: «Хочу на ручки!»

Однажды Светлана с папой уже подходили к детскому саду, как вдруг она увидела большую собаку. Собака шла с каким-то мальчиком прямо им навстречу.

Света даже остановилась на минутку, посмотрела на собаку, потом на папу и хотела сказать: «Хочу на ручки!»

Но папа на этот раз почему-то не остановился. Он шел вперед и как будто не замечал собаки.

— Ой, какая страшная! — прошептала Светлана.

Большая собака с розовым языком, мохнатой шерстью и высоко поднятыми ушами поравнялась с ней.

Света увидела ее морду и даже услышала, как она часто дышит.

Тут Света уже совсем было собралась заплакать, но еще крепче уцепилась за папину руку, закрыла глаза и... прошла мимо.

— Вот и молодец! — сказал папа. — Ты растешь храброй девочкой. Собака — друг человека, и ее не надо бояться. Но и дразнить тоже не надо! — И папа улыбнулся Свете.

— А я не боюсь, совсем теперь не боюсь! — сказала Светлана. — Я буду самая храбрая!

НОВЫЕ КНИЖКИ

Светланина группа помещалась в большой, просторной комнате на первом этаже.

Здесь было очень светло, на подоконниках стояли цветы и аквариумы с рыбками, а в клетке сидел маленький галчонок, которого недавно нашли во дворе мальчишки из старшей группы.

Ребята жили дружно. Все было у них общее: игрушки и книжки с картинками, рыбки и галчонок, и даже большой кот, которого почему-то прозвали Бобиком. В группе много ребят, и все они очень нравились Светлане, но больше всех она подружилась с Виталиком. Про них так и говорили: «Это друзья».

Однажды ребятам купили новые книжки — большие, разноцветные, интересные.

— Ну, давайте смотреть новые книги, — сказала воспитательница Зинаида Федоровна.

Все собрались в кружок и стали смотреть картинки: читать еще никто не умел.

Вот на обложке нарисован серый кот. Посмотрели девочки на картинку.

— Совсем как наш Бобик, — сказала Лена.

— И не похож он на Бобика,— сказала Ира.— Бобик большой, а этот вон какой малюсенький! Наверное, его сын.

А Виталик держал в руках другую книжку — про моря и пароходы. Плывет пароход, качается на волнах. Из трубы идет черный дым, а на высокой мачте вьется красный флаг. Хорошо плыть по морю на таком пароходе!

Светлана подошла к Виталику и тоже посмотрела на картинку:

— Кто плавает на пароходе? Шоферы?

— Не шоферы, а капитаны! — ответил ей Виталик.— Это не автомобиль, а пароход. Давайте играть в пароход! Я буду капитаном.

— А можно, и я буду капитаном? — спросила Светлана.— Я тоже хочу плавать по морям!

— Ты не будешь,— сказал Виталик.— В капитаны девчонок не берут. Они там еще начнут плакать и потопят пароход.

— А я буду капитаном!

— Не будешь!

Ребята заспорили, а Зинаида Федоровна подошла к ним и сказала:

— Раз Света хочет быть капитаном, значит, обязательно будет. У нас в стране кем захочешь, тем и будешь: и шофером, и капитаном, и машинистом. Только нужно много и хорошо работать!

Светлана обрадовалась и решила, что, когда вырастет, обязательно будет самым настоящим капитаном.

Тогда Виталик сказал:

— Двух капитанов на пароходе все равно не бывает. Я лучше тебя в помощники к себе возьму! Будешь мне помогать!

КТО СКОРЕЕ ПОДРАСТЕТ

Весной во дворе детского сада посадили молодые деревца. Они были тонкие, с маленькими зелеными листочками, а ростом не больше, чем ребята из младшей группы.

— Теперь,— сказала Зинаида Федоровна ребятам,— каждому из вас я дам по одному деревцу. Вы будете ухаживать за ними, поливать, смотреть, чтобы они не запылились, не засохли.

Ребята взяли лейки и пошли во двор.

Светлане досталось самое маленькое деревце. Она полила его, смыла с листьев пыль, подровняла землю.

Все было очень хорошо. Только руки у Светланы стали грязными и даже на лице виднелись грязные полосы.

Возвратились ребята в группу, умылись и начали играть. Одна Светлана не пошла в умывальную комнату, а взяла цветные карандаши, бумагу и стала рисовать.

— Светлана, скажи мне, зачем ты свое деревце поливала? — спросила ее Зинаида Федоровна.

— Чтобы оно чистое было, — ответила Света, — чтобы не засохло и скорее росло. Только я все равно скорее вырасту!

— Для того чтобы скорее вырасти, — говорит ей Зинаида Федоровна, — тебе, как и деревцу, нужно почаще умываться. А посмотри, какая ты грязная! Так ты никогда не вырастешь!

Побежала Светлана в умывальную комнату, вымыла лицо и руки, отряхнула платье. Подошла к Зинаиде Федоровне и спрашивает:

— А можно мне еще на свое деревце посмотреть?

Зинаида Федоровна разрешила, и они вместе вышли во двор.

Светлана подошла к деревцу, посмотрела на него — чистое. Посмотрела на свои руки — тоже чистые. Деревце вымыто, и Света вымыта.

— Теперь я буду часто-часто умываться! — говорит она. — Мы еще посмотрим, кто скорее подрастет!

ЗА ОБЕДОМ

Как-то во время завтрака в детском саду была разбита тарелка.

Никто не видел, как она упала со стола и разбилась на мелкие кусочки.

Зинаида Федоровна спросила ребят:

— Кто из вас разбил тарелку?

— Не я! — сказал Виталик.

— Не я! — сказала Лена.

— Не я! Не я! Не я! — сказали другие ребята.

Только Светлана посмотрела на Зинаиду Федоровну и тише всех сказала:

— Наверное, она сама как-нибудь разбилась...

— Ну ладно, — говорит Зинаида Федоровна, — идите пока играть.

Стали ребята играть и совсем забыли о случившемся. Не заметили, как пролетело время и наступил час обеда.

Все помыли руки и сели за столы.

Нина Марковна принесла большой поднос, а на нем рядами стоят тарелки с супом.

Ребята начали обедать.

— А мне? — спрашивает Виталик. — У меня нет тарелки!

Все посмотрели на Виталика: и правда, нет у него тарелки.

— Тебе, Виталик, придется подождать, — говорит Зинаида Федоровна. — Ведь у нас утром одна тарелка сама разбилась. Правда, ребята?

— Правда! — закричали ребята.

— Вот и неправда, — вдруг тихо сказала Светлана. — Тарелки сами не бьются. Это... это... я... ее нечаянно разбила. Я больше не буду! — И она пододвинула свою тарелку Виталику: — Ешь!

Тут все ребята повернулись к Светлане, а она покраснела и ни на кого не смотрит.

«Сейчас Зинаида Федоровна накажет Свету», — решили ребята.

Но Зинаида Федоровна подошла к Светлане и сказала:

— Вот и хорошо, что тарелки у нас сами не бьются, а ребята говорят правду.

ПРОГУЛКА

Обычно ребята гуляли во дворе, около детского сада. А сегодня Зинаида Федоровна решила погулять с ними по улицам, показать Москву. Все оделись, построились парами и пошли сначала по переулку, потом по широкой улице, прямо к скверу.

День стоял весенний, хороший.

Солнце так горячо припекало, что ребята даже пальто расстегнули — жарко. Деревья нагрелись под теплыми лучами, раскрыли первые почки.

А по мостовой прыгали воробьи, чирикали наперебой, купались в лужах.

Машины мимо несутся — воробьи не боятся.

Трамваи и троллейбусы едут — воробьи не боятся. Люди по тротуарам идут — воробьи не боятся.

Такие уж они отчаянные, наши московские воробьи! Много интересного видят ребята кругом. И главное — куда ни посмотрят, везде идет работа, везде люди заняты делом: расширяют улицы, ставят красивую ограду вокруг сквера.

На углу улицы, там, где раньше стояли маленькие, старые домики, строится новый дом-великан.

Ребята сначала смотрели на него издали, а потом Зинаида Федоровна подвела их поближе к стройке.

Ходят по рельсам большие подъемные краны, подают наверх стальные балки, а там рабочие их укрепляют.

Растет дом не по дням, а по часам.

Одна за другой едут на стройку грузовые машины: везут рельсы и камни, песок и кирпич, железо и доски.

— Вот как строят теперь в Москве! — говорит Зинаида Федоровна. — Раньше один большой дом строился несколько лет, а теперь за один год строят сотни новых домов-великанов.

Ребята стоят около забора — никак не могут насмотреться. Еле-еле уговорила их Зинаида Федоровна пойти домой.

А когда пришли к себе в группу, тоже решили заняться делом.

— Я буду самый большой дом строить! — говорит Светлана. — Такой, как там, на улице.

— И я! И я! И я! — закричали ребята.

Собрали они кубики, коробки, ящики, машины: закипела работа.

Каждые пять минут отстраивается новый дом!

Скоро целый город вырос на полу — с большими домами, широкими улицами и скверами.

Хороший город построили!

С Е К Р Е Т

Однажды Зинаида Федоровна сказала ребятам:

— Скоро у одной нашей девочки будет день рождения. Давайте приготовим ей подарки. Каждый сделает то, что хочет.

— А у кого будет день рождения? — спросила Света.

— А это пока секрет, — ответила Зинаида Федоровна. — Сначала мы сделаем подарки, а потом я вам скажу, кому их подарить.

Все стали думать, какие приготовить подарки.

— Я хочу слепить птицу, — сказал Виталик.

— Я нарисую хорошую картинку, — сказала Лена.

— А я, — сказала Света, — вышию платочек. — Она была очень довольна, что придумала такой подарок.

Принялись ребята за дело: одни стали рисовать, другие лепить из глины игрушки.

А Светлане Зинаида Федоровна дала кусок белой материи, цветные нитки и иголку.

В комнате стало тихо. Все ребята работали молча. Только изредка раздавались голоса.

— Зинаида Федоровна, смотрите, какой у меня рисунок красивый получается, — сказала Лена.

— А я птицу делаю, — сказал Виталик. — Настоящего скворца.

— Кому же мы подарки готовим? — спросила Светлана, вышивая платочек.

— Секрет! Потом узнаем! — сказал Виталик.

Когда все закончили работу, Зинаида Федоровна собрала подарки и положила их в шкаф.

Через несколько дней, как всегда, ребята собрались в группе. Вместе со всеми пришла и Светлана. На ней было новое платье,

новые коричневые туфли, и вся она была какая-то особенная, праздничная.

Ребята посмотрели на Светлану и сразу вспомнили про подарки. Вот у кого сегодня день рождения!

— Нашей Свете исполнилось пять лет,— сказала Зинаида Федоровна.— Ее день рождения мы будем праздновать все вместе, ведь это и наш праздник. А теперь давайте поздравим Светлану.

Все ребята закричали: «Поздравляем!» — и стали дарить подарки. Виталик подарил скворца, Лена — рисунок, Ира — фартук для куклы.

Света принимала подарки и всем говорила:

— Спасибо, спасибо, спасибо!

Тут Зинаида Федоровна достала из шкафа платочек и тоже отдала Светлане:

— А этот подарок ты сама себе приготовила.

Света взяла свой платочек и тоже сказала:

— Спасибо!

Ребята засмеялись, и Светлана вместе с ними.

СПАТЬ ПОРА

После обеда в детском саду наступает тишина.

Тихо в комнатах, тихо в коридорах, тихо на лестнице. Даже кот Бобик тихо лежит на подоконнике, греет на солнце спину.

Это значит, что в детском саду настал тихий час. Спать пора!

Все ребята спят, одна Светлана возится в своей кровати. Беда с ней — никогда вовремя не засыпает.

— Света, спать пора! — говорит Зинаида Федоровна.

— Я буду,— отвечает Света, но только Зинаида Федоровна отходит от ее постели, начинает опять ворочаться.

Потом и это ей надоело. Стала Света говорить:

— А у нас музыкальные занятия будут! Я как стану под музыку ходить, как все песни выучу! Лучше всех!

Все ребята спят, никто не слушает Свету, а она говорит, говорит... Опять Зинаида Федоровна подошла к ней, но Светлана так разгулялась, что никак уснуть не может.

Незаметно прошел час, ребята проснулись, оделись, побежали умываться, а Светлана спит. Уснула наконец!

Стали ее будить:

— Света, вставай! Пора идти на занятия!

— Я спать хочу! — говорит Света.

Не хочет подниматься!

А когда проснулась, протерла глаза, посмотрела по сторонам, видит — нет в комнате ребят. Одна няня Нина Марковна на стуле сидит, смотрит на нее.

— А где ребята? Куда они спрятались?

— Ребята музыкой занимаются. Одна ты спишь,— говорит Нина Марковна.

Светлана вскочила — и скорей одеваться. Пока оделась, пока умылась — кончились музыкальные занятия, все ребята в группу возвратились.

Так и не походила Света под музыку, ни одной новой песни не выучила.

Пришла вечером домой и говорит маме:

— Спать пора! А то еще проспим утром и в детский сад опоздаем.

Легла в кровать, закрыла глаза и так тихо лежала, что не заметила, как уснула.

КОГДА НЕ БЫВАЕТ СКУЧНО

Поиграли ребята и стали собираться гулять. Только одна Светлана осталась в группе.

— Ты сегодня кашляешь, тебе лучше посидеть в комнате,— сказала Зинаида Федоровна.— Поиграй, а мы скоро вернемся.

Светлана постояла посреди комнаты, посидела на стуле, походила из угла в угол, и так скучно ей стало! На улицу хочется.

— Вовсе я не кашляю! Почему меня гулять не взяли?

Пришла няня Нина Марковна, стала прибирать в комнате.

Нужно стулья по порядку расставить, пол подмести, стекла протереть.

Много дел у Нины Марковны! Никак одной быстро не управиться.

— Я помогу! — говорит Светлана.— Давайте вместе убирать.

И они стали работать вместе. Светлана расставляет стулья, а Нина Марковна подметает пол. Света складывает книги, а Нина Марковна оправляет постели в спальне...

— Скорее,— говорит Светлана,— а то не успеем!

— Скорей! — говорит Нина Марковна.— Нужно все до прихода ребят убрать.

Тикают часы на стене, бегут стрелки: пять, десять, пятнадцать минут... Время летит быстро, а работа идет еще быстрее. Только Нина Марковна со Светланой кончили уборку, как на улице пошел дождь и все ребята прибежали домой.

Вошли к себе в группу, посмотрели: пол подметен, куклы положены в кроватки, стекла протерты и стулья расставлены по порядку. Чисто в комнате, уютно, хорошо!

— Ну как, тебе не скучно было? — спрашивает Свету Зинаида Федоровна.

— Нет, — отвечает Светлана, — мы с Ниной Марковной работали!

БЕРЕГИТЕ СВОИ КОСЫ!

Совсем еще недавно у Светланы были две короткие, хуленькие косички, и вот выросли настоящие большие косы. Наверное, Светлана была бы очень довольна своими косами, если бы не мальчишки. И не столько все мальчишки, сколько один — самый главный забияка Алеша Киселев.

Алеша появился в детском саду всего месяц назад. Никто не знал, почему он так любит дергать чужие косы: то ли потому, что у него своих нет, то ли потому, что ему очень нравится, как визжат девчонки.

А девчонки визжали. И не только визжали, а иногда и плакали. Зинаида Федоровна не раз наказывала Алешу: не разрешала играть с другими ребятами. Но проходил день-два — и он опять дергал кого-нибудь за косу. Не раз доставалось от него и Светлане.

— Как тебе не стыдно! Зачем ты обижаешь девочек? — спрашивала Зинаида Федоровна Алешу.

— А я забыл, что нельзя, — отвечал он. — Я больше не буду. Но на самом деле Алеша только обещал, что не будет, и все повторялось сначала.

Даже на прогулке, когда ребята строились парами, никто из девочек не хотел становиться впереди Алеши.

Попробуй встань! Он обязательно дернет за косу!

«И отчего мальчишкам не разрешают отпускать косы? — думала Светлана. — Были бы у Алеши косы, он бы нас не трогал!»

Конечно, можно повесить в детском саду объявление: «Берегите свои косы!»

Только это все равно не помогло бы. Ведь Алеша еще не умел читать.

А с некоторых пор девочкам совсем не стало житья от Алеши. И все потому, что он стал хитрее.

Теперь Алеша уже никого не трогал при Зинаиде Федоровне. Но стоило ей выйти на минутку из комнаты — берегитесь, девчонки!

И уж совсем было плохо тому, кто встречался с Алешей на лестнице или в раздевалке. И жаловаться на него было нельзя. Всех, кто хотел рассказать о проделках Алеши, он называл ябедами.

И девочки молчали. Разве кому-нибудь хотелось быть ябедой?

Но вот как-то Светлана не выдержала и пожаловалась, только не Зинаиде Федоровне, а папе.

— Пап! А сегодня меня Алеша опять за косы таскал,— сказала она, вернувшись домой.

— А ты что? — поинтересовался папа.

— А я ничего... Я закричала.

— Он тебя таскал за косы, а ты стояла и кричала?

— Ага...

— Ну, тогда мне все понятно!

И хотя папа ничего больше не сказал, Светлана тоже кое-что поняла.

На следующий день она, как всегда, пришла в детский сад. В раздевалке, а потом во время зарядки Света почему-то все время находилась около Алеши. Она так близко подходила к нему, что, когда все делали второе упражнение, Алеша даже задевал руками ее спину. Казалось, что Светлана специально хочет показать ему, какие у нее косы — длинные, толстые, с широкими коричневыми бантами.

Когда ребята вернулись в группу и Зинаида Федоровна пошла на кухню, чтобы узнать, готов ли завтрак, Алеша недолго думая подошел к Светлане и что было силы дернул ее за косу.

И тут случилось неожиданное: вместо того чтобы завизжать, Света схватила Алешу за его ровную, гладко расчесанную челку.

— Ой больно, отпусти! — завизжал Алеша.

Ребята даже рты раскрыли от удивления: самый грозный и хитрый забияка визжал, как девчонка!

Через несколько минут вернулась Зинаида Федоровна.

В группе все было тихо и спокойно.

Ребята молча сидели за столиками и ждали завтрака. Только Алеша стоял у окна и усиленно растирал свое и без того красное лицо.

— Что случилось? — Зинаида Федоровна подошла к Алеше.

— А чего... чего она пристаёт? — пожаловался Алеша, показывая рукой в сторону Светланы. — Она... она за волосы меня таскает... очень больно.

Но Зинаида Федоровна словно не расслышала его слов.

— Пойди умой лицо и садись за стол. Сейчас будем завтракать.

— Эх ты, ябеда! — сказала Светлана, когда Алеша вернулся из умывальной комнаты и сел на место. Потом она оглянулась и, убедившись, что Зинаида Федоровна занята своими делами, еще раз с выражением повторила: — Я-бе-да!

МЕТРО

Раз в неделю, по воскресеньям, детский сад бывает закрыт. Этот день называется выходным.

В выходной день Светлана с мамой и папой поехали кататься по новой линии метро.

Подошли они к кассе. Папа приподнял Светлану, она протянула руку в окошко и взяла три билета: себе, маме и папе.

— А почему ты себе взяла билет? — спросила ее кассирша. — Ведь ты еще маленькая.

— Я не маленькая, — ответила Света. — Я большая, мне уже пять лет!

Спустились они по лестнице-чудеснице под землю и пошли по новому переходу на станцию «Арбатская». А там светло, как на улице! Всюду горят какие-то необыкновенные лампочки — длинные, как трубки, и светятся белым дневным светом. Интересно!

Новая станция Светлане очень понравилась. Светло, просторно, стены блестят, и на них нарисованы разные картины и золотые звезды, как на кремлевских башнях. А кругом много-много людей. Всем хочется в первый день посмотреть новое метро! Светлана так загляделась по сторонам, что не заметила, как пришел поезд. Открылись в нем двери, и все стали входить в вагоны. Папа взял Свету за руку, и они тоже вошли. Только вошли, а двери и захлопнулись. Света посмотрела: мамы нет!

— Где мама? — закричала она. — Мама потерялась.

А мама стоит за окном вагона, смеется и машет Свете рукой. Помощник машиниста крикнул: «Готов!» — и поезд поехал.

— Ничего, — сказал папа, — мама нас догонит.

Приехали они на следующую станцию — «Смоленскую». Вышли из поезда, не успели оглянуться, как уже новый поезд идет. На нем и мама приехала.

И хотя Светлана много раз до этого ездила в метро, а тут увидела маму, обрадовалась и удивилась:

— Вот как быстро поезда в метро ходят!

ПЕРВЫЕ БУКВЫ

Зинаида Федоровна приготовила ребятам подарок: новую игру — в буквы.

Это были не кубики и не разноцветные картинки. Новая игра не лежала в коробке, как все обычные игры. И играть в нее могли сразу все двадцать мальчиков и девочек. Ребята построились в линейку и стали по очереди называть свои имена:

— Алеша, Боря, Виталик, Гриша...

— Теперь,— сказала Зинаида Федоровна,— каждый из вас будет одной буквой: Алеша — буквой «А», Боря — буквой «Б», Виталик — буквой «В», Гриша — «Г»...

— А я? — не дождавшись, пока очередь дойдет до нее, спросила Света.— Какой буквой буду я?

— Ты, Света, будешь буквой «С».

Стали ребята из букв слова составлять: Миша, Алеша, Маша, Аня — «мама». Петя, Алик, Паша, Аня — «папа».

Все ребята шумят, бегают, каждый свое место в новом слове ищет.

Интересную игру придумала Зинаида Федоровна!

Только Света недовольна, что пока без дела стоит.

— Я тоже хочу в слово встать!

Тогда Зинаида Федоровна выстроила в ряд Мишу, Олю, Свету, Костю, Виталика и Алешу.

— А ну-ка, какое слово у вас получилось? — спрашивает.

Ребята стали называть буквы:

— М-о-с-к-в-а.

— Москва! — вдруг закричала Светлана, узнав знакомое слово.

Она стояла в линейке третьей. Стояла счастливая и довольная: вот для какого хорошего слова пригодилась ее буква!

ПОДАРОК

Давно уже просила Светлана купить ей настоящую, живую птицу.

— У меня все игрушечные и игрушечные, а настоящей нет,— говорила она маме.

И вот наконец Света идет с мамой по Кузнецкому мосту к зоологическому магазину.

Хорошо на улице в яркий весенний день! В небе светит солнце, сушит мостовую после первого дождя. А вокруг — людей, людей! Почти все идут с ребятами, и Свете кажется, что все они спешат к зоологическому магазину за птицами.

— Какую же тебе птицу купить? — спрашивает мама.— Щегла, канарейку или дрозда?

— Знаешь какую? — говорит Света.— Воробья!

— Воробьев в магазине не продают,— отвечает мама.

— Тогда... тогда купи птицу-синицу.

Так и решили. Пришли они в магазин, а там так интересно! На полках стоит много клеток, а в них прыгают разные птицы: и желтые, и зеленые, и красные, и серые. Каких только нет!

— Дайте нам, пожалуйста, синичку! — просит мама продавца.

— Птицу-синицу,— говорит Света.

Выбрали они самую хорошую птицу-синицу в большой желтой клетке и пошли домой. Дома приладили клетку над окном, ближе к солнцу и свету, насыпали птице корму.

— Живи-поживай!

Наутро, только Света проснулась и стала собираться в детский сад, как вспомнила про птицу-синицу:

— А что, птица-синица одна останется? Нужно ее с собой взять.

Через несколько минут птица-синица отправилась вместе со Светой и папой в путешествие — в детский сад. Пришли они в группу раньше всех, поставили клетку на окно рядом с галчонок и рыбками.

Ребята входят в комнату — удивляются:

— Откуда у нас новая птица?

Вошла Зинаида Федоровна, тоже удивилась:

— Кто это синичку принес?

— Это я принесла,— сказала Света.— Чтобы птице-синице не скучно было. А вечером я ее опять домой унесу.

Ребята обступили клетку, смотрят на птицу, разговаривают с ней, а она прыгает с жердочки на жердочку, щебечет! Только галчонок недоволен — забился в угол своей клетки: обиделся чудак, что на него внимания не обращают.

Весь день не отходили ребята от клетки — понравилась им птица-синица! Вечером стали все собираться по домам. Оделись, попрощались с Зинаидой Федоровной и пошли с мамами, папами, бабушками на улицу. Света тоже совсем было уже собралась уходить, как вдруг на пороге ее догнала Зинаида Федоровна:

— Светлана, ты свою птицу-синицу забыла!

— Я не забыла,— говорит Света.— Я хочу, чтобы она у нас в детском саду жила. Для всех ребят.

Так и осталась птица-синица жить в группе. Даже с галчонок подружилась, и они стали переговариваться на своем птичьем языке. А летом, когда детский сад поехал на дачу, ребята обеих птиц выпустили на волю. Пусть живут себе на свободе и вспоминают про детский сад!

МАМИНА РАБОТА

Каждое утро мама и папа уходили на работу.

Каждый вечер мама и папа приходили с работы.

Они так и говорили:

— Мы идем на работу.

— Мы пришли с работы.

— А что такое работа? — спрашивала Светлана. — Я тоже хочу на работу!

— Пока ты маленькая, твоя работа — это детский сад, — говорил ей папа.

Но Светлане очень хотелось посмотреть на настоящую работу, и она все время просила маму:

— Возьми меня с собой!

Как-то раз мама пришла за Светой в детский сад раньше, чем всегда. Она поговорила о чем-то с Зинаидой Федоровной, а потом сказала:

— Ну, Светик, одевайся. Пойдем смотреть мою работу.

Они вышли во двор, потом на улицу, спустились в метро и уже через несколько минут были на другом конце города. Здесь, среди деревьев, стояло большое красное здание. Мама провела Светлану через красивые железные ворота, и они пошли по просторному двору к дверям дома.

— Это что? — спросила Светлана.

— Это фабрика, где я работаю, — сказала мама.

— А у тебя какая работа? — спросила Светлана.

— Хорошая, интересная работа! — ответила мама. — Сейчас мы пойдем с тобой на фабрику, и я тебе все покажу.

Когда они вошли в цех, то Светлана сначала даже растерялась. Она никогда еще не видела таких огромных комнат со стеклянными крышами. Повсюду рядами стояли какие-то машины, и все они так шумели, что ничего не было слышно.

Мама подвела дочку к одной машине, и тут Светлана увидела, что к ней широкой лентой тянется светлая материя, а вылетает из нее разноцветная. Быстро красит машина материю!

— Вот здесь я и работаю, — услышала Света сквозь шум машины мамины слова. — У нас на фабрике делают материю, из которой потом шьют ребятам красивые платья. И твое платье тоже сшито из такой же материи.

— А кто там работает? — спросила Света и показала рукой на соседнюю машину.

— И на той машине я работаю, — сказала мама. — У нас каждая работница обслуживает несколько машин.

Вдруг Света увидела на маминых машинах маленькие красные флажки.

— А это что?

— Такие красные флажки дают тем работницам, которые хорошо работают, — сказала мама. — А у нас в цехе все хорошо работают.

Тут Светлана увидела, что и на других машинах тоже развеваются красные флажки.

— И я хочу такой флажок и машину тоже, — сказала она.

— И тебе обязательно дадут такой флажок, когда ты вырастешь и будешь хорошо работать.

Долго они еще ходили по цеху и смотрели на чудесные машины, потом вышли во двор.

А здесь Светлана увидела, как вереницей ехали с фабрики грузовики, доверху нагруженные готовой материей.

Повезут ее теперь во все концы страны, чтобы сшить для ребят много новой, красивой одежды.

Светлане очень понравилась мамина работа. А ночью ей приснился сон. Стоит она в большом, светлом цехе около машины, а из машины вылетают разноцветные платья!

Надевают их ребята и говорят:

«Хорошие платья!»

А на Светланиной машине, на самом верху, вьется маленький красный флажок — за хорошую работу!

СВЕТЛАНА-ПИОНЕРКА

СВЕТЛАНА ВЫРОСЛА

Была когда-то Светлана маленькой, а стала — большая. Ходила она раньше в детский сад, а потом в школу пошла. И не в первый класс она теперь ходит, не во второй, а уже в третий.

Вот однажды после уроков пришла в третий класс старшая вожатая. Она сказала, что завтра, в ленинский день, ребят будут принимать в пионеры. Вожатая стала называть фамилии.

Девять мальчиков и девочек, которых должны были принимать в пионеры, знали об этом. И десятая, Светлана, тоже знала. И все-таки каждый беспокоился, назовет ли его вожатая.

— Сергеева, — наконец сказала вожатая.

Светлана успокоилась.

— Ольга Ивановна, а где нас будут принимать? — спросила она.

— На Красной площади, — ответила Ольга Ивановна.

От школы до дома недалеко. Размахивая портфелем, Светлана пробежала через скверик — вот и ее подъезд. Толкнула дверь, помчалась вверх по лестнице и вдруг столкнулась с каким-то человеком.

— Ой! — вскрикнула Светлана.

Она подняла голову и увидела незнакомого дедушку. Усы у него белые-белые и волосы из-под кепки видны — тоже белые.

Некогда было Свете. Она ничего не сказала, только вздохнула и помчалась дальше.

— Ничего не поделаешь! Занят рабочий класс! — сказал человек, провожая Светлану глазами.

А Света прибежала домой и стала рассказывать, что завтра ее примут в пионеры на Красной площади.

— Это хорошо! — сказала мама. — Значит, надо тебе приготовить пионерскую форму.

— Пионеры-то пионеры, а зачем так бегать? — проворчала бабушка. — Гляди, совсем запыхалась!

— У-у-у! — загудел маленький братишка Алешка, словно удивившись. На самом деле ничего другого он и сказать не умел.

Настал следующий день. К двенадцати часам ребята собрались на Красной площади. Апрельский день был хорош, и вожатая разрешила снять пальто.

— Ради торжественного случая, — добавила она.

Ребята сняли пальто, сложили их на одну из каменных трибун, а сами стали в линейку возле Мавзолея. Мальчики — в белых рубашках и темных брюках. Девочки — в белых кофточках и темных юбках.

Ольга Ивановна обошла ребят.

— Торжественное обещание никто не забыл? — спросила она.

— Не забыли, — сказала Светлана, и эти слова повторили несколько нестройных голосов.

Все волновались.

А вокруг собрались люди — учителя, вожатые, ребята из старших классов и просто прохожие.

— Подождите, — сказала Ольга Ивановна, — я сейчас!

Она отошла в сторону и тут же возвратилась, но не одна. Рядом с ней шел какой-то дедушка. Усы у него белые-белые и волосы из-под кепки видны — тоже белые.

Ребята посмотрели: кто это?

Света посмотрела: вроде знакомый дедушка. Где же она его видела?

— Ребята, — сказала Ольга Ивановна, — к нам пришел старый коммунист Андрей Андреевич Архипов. Он вместе с Лениным боролся за народную власть. Вот почему мы попросили товарища Архипова принять вас в пионеры, в семью юных ленинцев!

Старый коммунист посмотрел на ребят.

— Дорогие мои друзья! — сказал он. — Совсем недавно ребята одного отряда приняли меня в почетные пионеры. Я очень горжусь этим. Ведь пионерский галстук не просто отличает пионера от непионера. Пионерский галстук — частица нашего красного знамени. Цвет галстука — это цвет крови, пролитой вашими старшими товарищами в боях за народное дело. У пионерского галстука три конца, и это значит, что пионеры — верные помощники комсомольцев и коммунистов.

Вас принимают в пионеры на Красной площади. Поэтому мне

хочется вот о чем вспомнить. Было это давно, много лет назад, в день Первомайского праздника. Здесь, на Красной площади, проходила демонстрация. Мимо Кремлевской стены шли рабочие, служащие, студенты. Демонстрация была небольшая — в то время много людей уехало на фронт, защищать от врагов свою страну. Около Кремлевской стены, рядом с нами, стояли Владимир Ильич и Надежда Константиновна. Ильич спрашивал нас о работе, интересовался нашим здоровьем. Вдруг на площади появились грузовики с ребятами. У ребят были маленькие красные флажки.

Ленин первый заметил ребят, пошел навстречу, стал махать им сначала рукой, а потом кепкой. Мы пошли за ним.

«Это будут настоящие люди», — сказал нам Ильич, показывая на ребят.

Мне очень хочется повторить вам, дорогие друзья, эти слова. Будьте настоящими людьми! Боритесь за счастье для народа, для всех людей на земле!

Загремели трубы горнистов.

«Я, юный пионер...» — зазвучали над площадью слова торжественного обещания. Ребята произносили их все вместе, хором, и от этого слова казались еще более праздничными, торжественными.

А потом старый коммунист стал по очереди подходить к ребятам и повязывать им пионерские галстуки.

Подошел он и к Светлане:

— Поздравляю тебя, Светлана! Будь хорошей пионеркой!

— Спасибо! — сказала Светлана, а сама очень удивилась: откуда старый коммунист знает ее имя?

Вскоре все стали расходиться по домам. Светлана вместе с подружками тоже собралась было домой.

Вдруг слышит — ее кто-то зовет:

— Нам с тобой, кажется, по пути, Светлана?

Света обернулась, посмотрела — а это Архипов ее зовет. Тут она сразу вспомнила: «Вот, оказывается, где я видела Архипова! Вчера на лестнице...» Она подошла к Андрею Андреевичу:

— А как вы узнали, что я Светлана?

— Знаю, что ты Светлана Сергеева, что тебе десять лет и живешь в четырнадцатой квартире, — сказал Андрей Андреевич. — Да и как не знать! Ведь ты и даже твой отец на моих глазах выросли. А разве ты не знаешь тех, кто живет с тобой рядом?

— Не знаю, — призналась Светлана. — Только ребят знаю... — И лицо ее покрылось красными пятнами. — А я не узнала вас... Вы уж не сердитесь, пожалуйста, за вчерашнее! Я даже «извините» не сказала...

— Да уж не сержусь, — сказал Андрей Андреевич. — Ну, а то, что ты сейчас сказала, — это хорошо! Это уже по-пионерски!

ПОХОД

В третьем классе не было прежде ни одного пионера. А теперь их десять: шесть мальчиков и четыре девочки. Целый отряд!

В отряд назначили вожатую, Надю Иванову. Надя раньше сама училась в этой школе, а сейчас работает. Она уже комсомолка.

Ребята вместе с отрядной вожатой придумали много интересного: решили сходить в зоопарк, устроить свою библиотеку...

А Виталик Невзоров предложил:

— Давайте пойдем в поход, в Сокольники!

Это понравилось всем, и особенно Светлане.

Ведь они с Виталиком живут в одном доме, когда-то вместе ходили в детский сад, а теперь учатся в одном классе.

В этот день Светлана возвращалась из школы вместе с вожатой Надей.

По дороге Светлана спросила:

— Надя, а как должен поступать настоящий пионер?

— Разве ты не знаешь законы юных пионеров? — удивилась вожатая. — Вы же учили их.

— Я знаю законы, — сказала Светлана. — Пионер должен любить свою страну, хорошо учиться, быть трудолюбивым, говорить правду, защищать полезных животных, быть смелым, дружить... Это я знаю. А вот как должен поступать пионер всегда, каждый день?

— Вот так и должен поступать, как ты сказала, — ответила Надя.

Настала суббота. Кончились уроки. Ребята поехали в Сокольники. Поход начался прямо от ворот парка. Поход был небольшой, недалгий, но настоящий: многие ребята даже рюкзаки с собой взяли.

И Светлана взяла заплечный мешок. А для того чтобы он был потяжелее, положила в него старые ботинки, мамин платок и три прошлогодних учебника.

Весенняя погода изменчива. То на голубом небе солнце светит, то тучи ходят.

Сегодня небо хмурится. День пасмурный, прохладный, но в парке и в такой день хорошо!

Воздух пахнет сыростью, прелой листвой и набухающими почками. На полянах, где посуше, пробиваются свежие ростки. А в низинках, в овражках кое-где лежат снежные островки.

Ребята прошли по песчаным дорожкам парка и оказались в лесу. Идут по мокрым тропинкам, смотрят по сторонам... Вдруг Виталик споткнулся и полетел прямо в лужу! Ребята только ахнуть успели!

Лужа была невелика, но на Виталика воды и грязи в ней хватило. Поднялся он грязный и мокрый с головы до ног. В ботинках — вода, пальто и брюки хоть отжимай; даже фуражка такая, как будто в ней воду носили.

— Ничего себе искупался! — попробовал пошутить Виталик, но улыбки на его грязном лице не получилось. Он весь дрожал.

— Виталик! — закричала Светлана. — Тебе надо переодеться! У меня носки теплые есть. Зачем-то мама заставила надеть. А еще платок и ботинки.

— А я шарф сниму, — предложил Коля Шикин.

— А у меня варежки, — сказала Маша.

— И у меня! И я! — закричали другие ребята.

Светлана сняла шерстяные носки и отдала их Виталику. Потом достала из рюкзака ботинки и платок. Коля Шикин шарф отдал, Маша — варежки...

Виталик кое-как переоделся, отжал пальто и фуражку, лицо вытер — вроде ничего парень!

— Ну, а теперь скорее домой! — скомандовала Надя. — Боюсь, что Виталик простудится.

Ребята повернули обратно — и бегом к метро.

В понедельник Света пришла в школу и забеспокоилась: «Неужели Виталика нет? Заболел?»

Вдруг видит — стоит Виталик около дверей класса как ни в чем не бывало.

— Не простудился? — спросила Светлана.

— Да нет, ничего, — сказал Виталик.

Через минуту пришла вожатая Надя.

— Не простудился, Виталик? — спросила она.

— Да нет, ничего, — ответил Виталик. — Только почихал немножко...

— Я очень рада, — сказала Надя и посмотрела на Светлану. — Помнишь, ты спрашивала меня, как должен поступать настоящий пионер? Вот так и должен поступать, как вы во время похода. Выручили товарища, поэтому Виталик и не простудился.

К Л Я К С Ы

Виталик сидел на одной парте со Светланой.

Однажды учительница вызвала его к доске и попросила решить задачу. Виталик дома урок не выучил и не знал, как решать задачу.

— Плохо, — сказала Вера Николаевна. — Придется тебе двойку поставить.

Виталик сел за парту, посмотрел на двойку и стал от огорчения грызть ручку.

Вдруг с пера упала чернильная клякса — и хлоп прямо в дневник. Как раз на двойку попала.

Светлана увидела кляксу и удивилась:

— Ты зачем кляксу посадил?

— Да я нечаянно, — ответил Виталик.

Вечером папа спросил Виталика:

— Что это за клякса у тебя в дневнике?

— Да так, нечаянно... Ты сам говоришь, что я неаккуратный человек! — объяснил Виталик, а сам подумал: «Неужели папа не заметил двойку?»

Папа больше ничего не сказал. Значит, не заметил.

Через несколько дней Виталик опять не выучил урок.

— Плохо, — сказала Вера Николаевна. — Опять придется двойку поставить.

Виталик стоит и улыбается, будто обрадовался.

— Ты чему это так радуешься? — удивилась учительница.

А Виталик сел на место, взял ручку, опустил ее в чернильницу — и хлоп кляксу в дневник! Как раз на двойку попал!

Светлана сейчас же заметила кляксу:

— Ты зачем это опять кляксу посадил в дневник?

— Да так, нечаянно, — бодро сказал Виталик.

Во время перемены Света подошла к Виталику:

— Знаешь что? Давай вместе уроки делать! Или у тебя дома, или у меня.

— Вот еще! — сказал Виталик. — Зачем их делать... вместе?

— Вместе веселее, — сказала Светлана. — И мне веселее и тебе. Приходи сегодня ко мне.

— Ну давай... — неохотно пообещал Виталик.

С этого дня Светлана и Виталик стали вместе готовить уроки. Один день дома у Светланы, другой — у Виталика. Потом опять у Светланы, и опять у Виталика. Светлана сидит за столом, свои уроки готовит, а Виталик — свои. Если что непонятно Виталику, он у Светланы спрашивает.

В конце недели отец Виталика посмотрел дневник: нет в нем новых клякс, зато появились две четверки.

— Очень рад, Виталик, что ты перестал быть неаккуратным человеком! — сказал он. — Кстати, когда увидишь Светлану, передай ей от меня привет!

ПИОНЕРСКИЙ ПЕТУХ

В одно из воскресений ребята пошли в зоопарк. Там в этот день был утренник — с музыкой, с песнями, и интересными играми.

Сначала ребята ходили вдоль клеток со зверями, а потом включились в игру.

А игра такая: надо отвечать на разные вопросы про птиц и зверей. Кто больше правильных ответов даст, тот получит живой подарок.

Вот так, например.

«Кит — большая рыба?» — спрашивают.

«Большая! Большая!» — кричат многие ребята.

А оказывается, что кит вовсе и не рыба, а морской зверь.

Когда стали играть первый раз, Светлане не повезло. Она как раз про кита не знала. Зато Виталик ответил правильно на все вопросы и получил в подарок черепаху.

Потом другие ребята выигрывали разных зверей: один мальчик выиграл ящерицу, другой — морскую свинку, а одна очень высокая девочка, наверное, десятиклассница, — малюсенького белого мышонка. Такая большая, а ничего лучшего выиграть не смогла!

Наконец и Светлане повезло. Она быстрее и правильнее всех ответила на вопросы, и ведущий сказал:

— Сейчас мы вручим Сергеевой Свете подарок.

Светлана смотрит — а ей несут живого петуха! Петух белый, только гребень у него красный.

Светлана взяла петуха обеими руками:

— А что мне с ним делать?

— Вот бы мне такого! — вздохнула Зина.

— А ты возьми его! — предложила Светлана.

— Ой нет! Мне мама не разрешит. Она у меня строгая.

Светлана — к Виталику:

— Давай меняться: петуха на твою черепаху.

— Ну да! Черепаха интереснее!

Тогда вожатая Надя посоветовала:

— Знаешь что, Светлана: возьми его пока к себе, а завтра принеси в школу. Мы построим курятник, разведем кур и, может быть, даже примем участие в выставке. Правда, интересно?

— Интересно, — ответила Светлана.

Ребята купили в киоске большой бумажный пакет для продуктов и опустили в него петуха. Света взяла пакет за тесемки, и все пошли к выходу.

Здесь ребятам пришлось расстаться. Те, кто без зверей, спустились в метро, а Светлана и Виталик пошли к трамваю. Со зверями ездить в метро не разрешается.

Пока ехали в трамвае, все было хорошо. Петух сидел в пакете спокойно. А черепаху Виталик держал в руках и даже показывал пассажирам — не всем, а самым любознательным.

Наконец приехали, сошли с трамвая и направились к дому. Светлана с петухом впереди, а Виталик с черепахой позади.

Вдруг Светлана почувствовала, что петух в пакете зашевелился. Она остановилась, а петух еще сильнее забился — видно, хотел расправить крылья.

Как быть?

Светлана подняла пакет повыше, прижала его к себе — а пакет пустой! Это петух разорвал острыми шпорами пакет и вывалился прямо на тротуар.

— Ой, убежал! — закричал Виталик. — Лови его!

А петух уже шмыгнул на мостовую, пробежал между автобусом и троллейбусом и остановился.

Стоит себе важно посредине мостовой, переступает с ноги на ногу и одним глазом посматривает на милиционера.

Милиционер увидел рядом с собой петуха и сначала растерялся: «Откуда тут петух?» Потом нагнулся, чтобы поймать его, а петух уже топ, топ — и в сторону! Милиционер за ним, а петух еще быстрее от него! Виталик и Светлана бросились на мостовую:

— Это наш петух! Это наш!

А на тротуарах уже собрались люди, смотрят, как ловят петуха, и смеются.

Машины остановились, шоферы дверцы приоткрыли — тоже смеются.

Зато Виталику, Свете и милиционеру не до смеха. Еле-еле втроем поймали они петуха.

— Что ж вы так со школьным имуществом неаккуратно обращаетесь! — сердито сказал милиционер. — Петух-то небось школьный?

— Школьный! Пионерский! — ответила Светлана. — Он нечаянно у нас удрал.

— А черепаха тоже пионерская? Тоже удрала? — поинтересовался милиционер.

— Пионерская, — ответил Виталик.

— Хорошо, что она не так быстро бежит! — сказал милиционер и поднял руку.

Машины поехали, а Светлана понесла петуха дальше, домой. Дома, конечно, не ожидали такого гостя.

— Только петуха нам и не хватало! — сказала бабушка.

— Ну ничего, ничего, придется потерпеть, — сказала мама.

— Молодец, что принесла! Мы его Алешке покажем, — сказал папа.

Петуха посадили в ванную комнату, налили в блюдце воды, крошили хлеба и пошли за Алешкой.

Алешке только десять месяцев. Его поднесли к ванной на руках. Алешка посмотрел на петуха, а петух — на Алешку.

— У-у-у! — сказал Алешка.

«Ко-ко-ко!» — сказал петух, словно предлагая Алешке отведать хлебных крошек.

Видно, они понравились друг другу.

Вечером сменили петуху воду, насыпали новых крошек и потушили в ванной свет. Все легли спать.

Но в два часа ночи петух начал так кукарекать, что в ванной задрожали тазы. Все проснулись, а Алешка заплакал.

Светлана побежала в ванную, зажгла свет — видит: петух сидит на краю умывальника и во все горло кричит:

«Ку-ка-ре-ку! Ку-кка-рре-кку!»

Света и так петуха уговаривала и этак, а он продолжает кукарекать на весь дом.

Наконец петух уgomонился, и все легли спать.

Только уснули, как петух снова начал кричать.

Мама проснулась и рассмеялась. Алешка проснулся и заплакал. Бабушка проснулась и заворчала. Светлана проснулась и побежала в ванную комнату.

Ну, а папа проснулся и посмотрел на часы:

— Дочка, а нельзя этого петуха сейчас в школу отнести? Что-то он надоедать стал...

Больше уже никто не уснул, Алешка, как закричит петух, плачет, как замолчит, в ванную тянется — посмотреть на петуха.

Утром Светлана отнесла петуха в школу. Сначала его посадили в кладовую, а потом ребята-старшеклассники выстроили на школьном дворе большой курятник для пионерского петуха. Это его ребята так называли потому, что петух как будто был в пионерской форме: сам белый, а гребень красный.

А Светлана и другие пионеры из третьего класса решили теперь разводить кур.

Может быть, и правда их отряд станет участником выставки.

БИБЛИОТЕКА

В школе была библиотека. В ней много книг и для больших ребят и для маленьких. Но и читателей тоже много. Не всегда нужную книгу достанешь.

Вот пионеры третьего класса и решили устроить свою библиотеку. Пусть маленькую, но свою. Так интереснее.

Сказали об этом всем ребятам, а потом еще и объявление повесили: «Приносите из дому по одной-две книги. Кто сколько может. Книги сдавайте Сергеевой С. и Сидорову В.».

Светлана и Вова стали собирать книги.

Виталик принес три книги. Все три — разные сказки. Светлана взяла книги и стала их рассматривать. А Вова только на обложки взглянул и сказал:

— Ну давай! Чего их смотреть! Годятся...

Потом Маша принесла книги. Одна — стихи, а две — рассказы. Светлана взяла книжки. Интересные!

Вова опять только на обложки взглянул:

— Давай! Давай! Пригодятся...

Другие ребята тоже книжки принесли.

Светлана и Вова записали каждую книгу в тетрадку. Поставили книги в шкаф на полки. Вот и библиотека готова.

— Теперь надо карточки завести,— предложила Светлана.

— Зачем? Какие? — не понял Вова.

— На каждого читателя,— сказала Светлана.— Будем в них записывать, какие книги кто берет. Как в настоящей библиотеке!

Сделали сорок карточек, написали на них фамилии всех ребят. Учительница Вера Николаевна проверила карточки.

— Молодцы! — сказала она.— Все правильно.

— А кто у нас будет библиотекарем? Кто будет книжки выдавать? — спросила Светлана. Спросила, а сама подумала: «Хорошо бы, я!»

— Это вы сами должны решить,— сказала Вера Николаевна.— Посоветуйтесь с вожатой и решите.

Светлана спросила у Нади:

— А кто у нас будет библиотекарем, кто будет книжки выдавать?

Спросила, а сама подумала: «Хорошо бы, я!»

— Давайте об этом на пионерском сборе договоримся,— ответила Надя.

Пионеры собрались на сбор.

— Как вы думаете, ребята,— спросила вожатая Надя,— кого нам назначить библиотекарем?

— Я предлагаю Светлану Сергееву,— сказал Виталик.— Это она решила книжки собирать.

— И я предлагаю! — сказал Вова Сидоров.— И потом, мы вместе с Сергеевой их собирали.

Вова тоже очень хотел быть библиотекарем.

— Пусть Сидоров будет,— вдруг сказала Маша Евдокимова.

— Тогда давайте голосовать,— сказала вожатая.— Кто за то, чтобы библиотекарем была Светлана, поднимите руки... Раз, два, три, четыре, пять... Хорошо, пять человек.

Светлана тоже хотела руку поднять, но неудобно самой за себя голосовать.

— Ну, а кто за Вову Сидорова?.. Раз, два, три, четыре, пять...

Вова тоже хотел руку поднять, но неудобно самому за себя голосовать.

— Что же нам делать? — спросила Надя.— Пятеро ребят за Светлану голосуют, и за Вову тоже пятеро.

— Не знаем! Не знаем! — ответили ребята.

Тут в класс вошла старшая пионервожатая Ольга Ивановна и предложила:

— Я слышала, что Вова Сидоров не любит читать книги. Так пусть он и будет библиотекарем. Может быть, тогда он больше сам станет читать.

— Правильно! Правильно! — закричали ребята.

И Светлана тоже закричала:

— Правильно!

Вову назначили библиотекарем. Он начал выдавать книги.

Прошло несколько дней.

Однажды во время перемены ребята встретили Ольгу Ивановну.

— Хорошо бы, вам еще книг собрать, — сказала она. — Под Москвой есть один детский дом — там книг очень мало.

— Мы соберем, — согласился Виталик. — Можно много собрать.

— Соберем! Соберем! — сказали ребята.

— А что, если послать наши книги? — предложила Светлана. — А себе еще соберем. Правда, ребята?

— Правда! Правда! — закричали ребята.

— Я не согласен! — вдруг заявил Вова. — Я не дам книг.

— Как это ты не дашь?

— Так, не дам — и все. Ведь я библиотекарь.

— Подумаешь, библиотекарь! — возмутились ребята. — А что, книги твои, что ли?

— Зачем спорить? — сказала вожатая. — Мы пошлем книги и напишем письмо ребятам из детского дома: мол, так и так, посылают вам все наши ребята книги, все, кроме Вовы Сидорова. Он возражает.

Ребята засмеялись, а Вова сказал:

— Нет, так не надо про меня писать. Я не возражаю. Только как же с Чиполлино быть?

— А что с Чиполлино? — удивилась Ольга Ивановна.

— Ничего... — смутился Вова. — Я начал читать про Чиполлино, но не прочел до конца. А она интересная...

— Ну, это дело поправимое! — сказала вожатая. — Мы тебе эту книгу подарим.

Так и сделали пионеры.

Все книги в детский дом послали, а одну — «Приключения Чиполлино» — подарили Вове. И даже надпись на книге сделали: «Нашему библиотекарю Вове Сидорову. Люби эту и все другие хорошие книги!»

ПАПИН ГАЛСТУК

Светлана возвращалась из школы. Около дома она догнала дедушку Архипова. Андрей Андреевич шел с сумкой — видно, из магазина.

— Давайте я помогу! — предложила Светлана.

Андрей Андреевич передал ей сумку.

— Ну что ж, помоги, — сказал он.

Светлана и Андрей Андреевич поднялись по лестнице на четвертый этаж.

— Может, зайдешь ко мне? — спросил Архипов. — Посмотришь, как я живу.

Они вошли в квартиру, а затем в комнату Андрея Андреевича.

— Входи, входи, не стесняйся, — сказал Архипов.

Комната у него небольшая, но не тесная — наверное, потому, что вещей в ней мало.

Светлана поставила сумку на стул.

— А это кто? — спросила она, заметив на стене две фотографии. На одной из них — мальчик в пионерском галстуке, на другой — моряк.

— Это мой сын, — сказал Андрей Андреевич. — Вот здесь — когда был пионером, а здесь — когда пошел на флот, моряком.

— А ваш сын был пионером? — удивилась Светлана.

— Конечно, был, — сказал Андрей Андреевич. — Что же здесь удивительного? Он вступил в пионеры в двадцать четвертом году, вскоре после смерти Ленина.

— А сейчас?

— А сейчас служит на флоте, только уже не матросом, как здесь, на фотографии, а офицером. Он капитан первого ранга. В морском штабе. Правда, со здоровьем у него не все в порядке. Да не хочет он с флота уходить...

Светлана вернулась домой. А вечером спросила у мамы:

— А ты была пионеркой?

— Конечно, была, — сказала мама. — Я стала пионеркой в тот год, когда у нас в деревне создавали колхоз. Мы помогали взрослым бороться с врагами, которые выступали против колхозной жизни.

— И ты помогала? — спросила Светлана. — Вот молодец!

Вернулся с работы отец.

— Папа, а ты был пионером? — спросила у него Светлана.

— Конечно, был, — ответил папа. — У меня и пионерский галстук сохранился. Сейчас я покажу его тебе.

Папа достал чемодан, открыл его и вынул пионерский галстук:

— Вот смотри...

Светлана взяла в руки галстук. Он был совсем не такой, как у нее, — не шелковый, не новый, а простой — выгоревший, с потрепанными краями.

— У этого галстука интересная история, — сказал папа.

— Какая? Расскажи! — попросила Светлана.

— Ну ладно, садись слушай, — сказал папа. — Когда я был пионером, в немецком городе Берлине проходил первый Международный пионерский слет. Фашисты и полицейские хотели помешать слету: они задерживали пионеров на границах, на

дорогах, в поездах, сажали их в тюрьмы. Но слет все равно состоялся. Пятьсот пионеров со всех концов света собрались в Берлине, чтобы рассказать друг другу, как они борются вместе со взрослыми за свободу, против войны. Мы, двадцать три советских пионера, тоже должны были приехать на слет. Нам очень хотелось рассказать ребятам других стран о жизни в Советском Союзе, о том, как пионеры помогают коммунистам и комсомольцам. Но враги испугались советских пионеров, и нас не пустили на слет.

— Совсем не пустили? — спросила Светлана.

— Не пустили... Но ты слушай, что было дальше. Когда пионеры всего мира узнали об этом, они послали своих делегатов к нам: сто пионеров Германии, Америки, Франции, Англии, Монголии и других стран приехали в Советский Союз. Мы познакомились с ними и подружились. Иностранные пионеры привезли нам в подарок свои красные галстуки. Этот галстук получил я от одного далекого черного друга. Вот почему я и храню его с тех пор...

И папа бережно сложил свой старенький, потертый красный галстук и убрал его в чемодан.

— Папа, а что стало с твоим черным другом, с тем, который подарил тебе галстук? Ты об этом знаешь?

— Да, немножко знаю. Но я расскажу тебе об этом в другой раз... Когда ты немножко подрастешь.

— Ой, папка, — сказала Светлана, — как хорошо, что ты сберег этот галстук! Я тоже всегда буду беречь свой.

МОРСКОЙ КОРТИК

Светлана давно мечтала остаться дома одна. Ей очень хотелось самой похозяйничать, повозиться с Алешкой, чтобы никто не мешал — ни папа, ни мама, ни бабушка.

Наконец выдался такой вечер.

Бабушка на несколько дней уехала в деревню, а папа с мамой ушли в театр.

Светлана осталась дома главной хозяйкой.

Вымыла посуду, подмела пол, полила цветы и стала с братишкой играть.

— Уж скорее бы ты, Алешка, подрастал! — говорит Светлана, повторяя мамины слова. — Отдадим тебя в детский сад. Знаешь, как там хорошо!

— У-у-у! — отвечает Алешка, словно соглашаясь: «Подрасту, мол! Пойду!»

Они поиграли, а в девять часов, как мама сказала, Света уложила братишку в кровать. Уснул Алешка.

Потом Светлана разобрала свою постель и стала читать.

Сегодня хоть до ночи читать можно — никто не заругает.

Время идет быстро. Светлана не заметила, как ночь наступила: на часах половина двенадцатого.

«Пора ложиться. А то мама и папа сейчас должны вернуться».

Она обошла еще раз квартиру, посмотрела, все ли убрано, заглянула в кухню и тут вспомнила:

«А ведро с мусором? Совсем забыла. Надо вынести!»

Светлана подошла к Алешке — спит.

«Я сейчас! Быстро!»

Взяла ведро и побежала во двор.

А во дворе сегодня темным-темно. Небо покрыто тучами, не видно ни луны, ни звезд. Только лампочки у подъезда дома еле-еле светятся.

Светлана идет вдоль садика.

Сейчас за угол дома свернуть — и все: там под навесом стоят ящики для мусора.

Вот и угол дома. Но что это? Перед ней на тротуаре лежит человек.

От страха Светлана остановилась, ноги у нее задрожали, по спине пробежал неприятный холодок.

Светлана посмотрела по сторонам, хотела позвать кого-нибудь — никого.

А человек лежит ничком и не двигается. На нем морская форма. Фуражка отлетела в сторону. А рядом чемодан и темная шинель.

— Дядя! Дядя! Что с вами? — Светлана нагнулась над моряком.

Моряк не ответил, только чуть слышно простонал. Значит, жив человек.

«Помогите! Человек здесь!» — пробовала крикнуть Светлана, но от волнения у нее горло перехватило.

И вдруг она сообразила:

— Подождите, я сейчас... Только не умирайте!

Человек ничего не ответил, а Светлана, бросив ведро, помчалась домой.

Забыв про все на свете, даже про Алешку, она влетела в квартиру, схватила телефонную трубку и набрала номер.

— «Скорая помощь», «скорая помощь»! — кричала она, пока не услышала долгожданного: «Скорая помощь» слушает...»

Только после того как она назвала адрес и спокойный голос ей сказал: «Машина выезжает», Светлана вспомнила про Алешку. К счастью, он спал.

— Смотри не просыпайся! — прошептала Света и опять побежала во двор.

Человек все так же лежал на земле.

Светлана нагнулась, послушала — дышит человек. Значит, жив.

— Потерпите, потерпите... — прошептала Света. — Сейчас все будет хорошо! Только не умирайте!

«Почему так долго нет машины? Сколько прошло минут? Пять, наверное, а может, больше? Только бы скорей!»

Прошло еще несколько минут, и наконец Светлана услышала звук сирены.

«Ну вот! Это она...»

Два ярких луча света врезались в темноту двора, за ними в ворота въехала машина.

— Сюда! Скорей!

Светлана бросилась навстречу машине и стала показывать дорогу. Объехав вокруг садика, машина остановилась. Из нее вышел врач в халате с маленьким ящичком в руке. Нагнулся над моряком.

— Носилки! Скорей! — приказал он, вставая.

Санитар и шофер положили моряка на носилки и поставили их в машину.

— Вещи вот, не забудьте, — сказала Светлана, передавая санитару шинель и фуражку. — Там чемодан еще... Тяжелый...

Санитар подхватил и чемодан.

— Он не умрет? — спросила Светлана у доктора.

— Постараемся... Спасибо тебе, — сказал доктор уже из машины. — Поехали!

На следующий день Светлана встретила во дворе Архипова. Света поздоровалась.

— Здравствуй, Светлана, — ответил ей Андрей Андреевич.

Светлана заметила, что Андрей Андреевич сегодня почему-то грустный и неразговорчивый.

— Вы плохо чувствуете себя? — спросила она.

— Нет, я-то ничего, — ответил Андрей Андреевич. — А вот с сыном у меня беда. Приехал вчера в отпуск и не дошел до дому — попал в госпиталь. С сердцем сделалось плохо.

— С сыном? А что с ним? — спросила Светлана.

— Сегодня уже ничего. Стало лучше. Я только что оттуда. А вчера так было, что и не спрашивай! Врач сказал, что если бы на пять минут позже привезли его в госпиталь, то не видать бы мне сына... И ведь знаешь, кто его спас? Девчурка какая-то, совсем маленькая. Она его первая заметила и не растерялась, вызвала «скорую помощь». Как бы только узнать, кто она? Ведь, наверное, она из нашего дома. Сын сказал: «Разыщи ее во что бы то ни стало и передай вот это».

Андрей Андреевич развернул газету. В ней лежал кортик. Настоящий морской кортик!

— Этот кортик сын получил в начале войны, в подарок от адмирала. Видишь надпись: «За находчивость». А теперь про-

сил передать его в подарок девочке, которая спасла ему жизнь. Кстати, ты ничего не слышала, кто эта девочка? — спросил Архипов.

Светлана растерялась.

— Нет, — сказала она сначала, а потом добавила: — Я ничего не сделала... Просто «скорую помощь» вызвала.

Теперь над Светланиной кроватью висит боевой кортик. Он принадлежал морскому офицеру Ивану Андреевичу Архипову, а теперь принадлежит Светлане. И если вы возьмете этот кортик в руки, то прочтете на нем надпись: «За находчивость».

СВЕТЛАНА — НАША СЕЙДЕШ

ИЗ МОСКВЫ В «МОСКВУ»

Быстро растут у нас города, и Москва растет не по дням, а по часам. Светлана росла так же быстро, как ее город. Давно ли она в детский сад ходила, а подросла — пошла в школу, стала пионеркой. А потом и комсомолкой.

Не раз спрашивали Светлану:

— Кем ты хочешь быть, когда станешь взрослой?

Светлана думала и отвечала так:

— Не знаю.

И правда, она не знала. Потому не знала, что на самом деле ей хотелось сразу два дела делать. Одно дело — людей лечить. А другое — никогда не расставаться с ребятами. Светлана очень любила с малышами возиться!

Но подросла Светлана, и оказалось, что одно дело другому не помеха...

Чего только не видела Светлана, пока в школе училась! Летом по лесам бродила и в полях цветы собирала. В речках купалась — в больших и маленьких, и в море, когда в Артеке жила. На Медведь-гору с ребятами залезала и мчалась в автобусе по кривым крымским дорогам. А совсем недавно с братишкой на вертолете летала — с неба на Москву смотрела.

Все видела, да, оказывается, не все...

Слева — горы и справа — горы. Впереди — горы и позади — горы. Между ними петляет, шумит по камням быстрая речка. Под ней — тоже горы. Рядом с речкой вьется дорога. Настоящая, покрытая асфальтом. Как в Москве. И под ней — горы.

Разве такое бывает?

Бывает.

Горы высокие — до неба. На них лежат облака и снег. И облака и снег белые, а над ними — голубое небо и солнце. Одно облако опустилось ниже снега и зацепилось за верхушки сосен. Там лес. Он почти черный. Зато ниже леса на солнце зеленеют еще не успевшая выгореть трава и кустарники.

Горы наступают на дорогу своими рыжими боками, и каменными выступами, и отвесными скалами с деревцами на макушках.

Но дорога вьется! То вниз, то вверх. То влево, то вправо. То чуть назад, то снова вперед. Как речка.

Нет, никогда раньше Светлана не видела таких гор. И по дорогам таким не ездила.

Вместе с ней в кузове грузовика едут два старика киргиза в мохнатых черных шапках и старушка. В ногах у старушки лежат два барана. Шерсть у них густая, пыльная, выгоревшая на солнце. Бараны лежат спокойно, тихо — смотрят в борт грузовика. Будто бы всю жизнь только и совершали такие путешествия.

— Откуда ты едешь, такая светленькая да молоденькая? — полюбопытствовала старушка.

Она ласково глядела на худую, в синей кофточке Светлану, на ее светлые, растрепанные на ветру косы.

— Из Москвы, бабушка, — ответила Светлана. — Только не маленькая я. Уже девятнадцать скоро. Я работать еду.

— Да, не маленькая, — согласилась старушка. — Далеко Москва, далеко. — Она вздохнула. — Работать-то кем собираешься? А на Тянь-Шань почему потянуло из Москвы?

— Медицинской сестрой буду работать, — ответила Светлана. — Я курсы окончила. После школы. А о Тянь-Шане я много хорошего слышала. У меня товарищ здесь работает. Вот и попросилась на работу в ваши края...

Старушка одобрительно кивнула головой и что-то сказала по-киргизски своим соседям. Старики тоже одобрительно кивнули и улыбнулись.

— И далеко едешь? — опять поинтересовалась старушка.

— В селение Кырк-Кыз, — ответила Светлана.

— В Кырк-Кыз?

Старушка словно обрадовалась. Она вновь о чем-то перемолвилась по-киргизски со стариками.

Светлана никак не могла понять, о чем это они. Лишь услышала в незнакомой речи несколько раз повторенное слово: «Москва».

— Повезло тебе, доченька! — заключила старушка опять по-русски. — В Кырк-Кызе недалеко тебе от Москвы будет. Как дома окажешься!

— О чем вы, бабушка? — не поняла Светлана.

— Приедешь — сама поймешь. Обрадуешься!

В глазах старушки светились лукавые огоньки. И старики киргизы не скрывали удовольствия. Только Светлана никак не могла догадаться, чему они радуются, о чем говорят.

Машина все мчала и мчала их дальше — в горы.

Вот и Долон — самый высокий перевал. И вновь дорога побежала вниз — вверх, влево — вправо, чуть назад и вновь вперед.

А когда Светлана приехала на место, обрадовалась. Кто бы мог подумать, что она попадет из Москвы да в «Москву»!

Поздно вечером села она писать письмо домой. И начала его словами: «Шлю вам привет из далекой горной «Москвы»! Да, из «Москвы»! Так называется колхоз, в котором я буду теперь жить и работать...»

СВОЯ ШКОЛА

Председатель колхоза «Москва» Бабаев, увидев Светлану, удивился:

— О-о! Какая большая!

И правда, рядом с ним Светлана казалось большой. На голову выше Бабаева, а может, и больше.

Бабаев — маленький, круглый, с бритой головой, в тесной гимнастерке. Ноги у него кривые, как у джигита. Весь он словно колобок. И передвигается, как колобок: не идет, а катится.

— В самый раз приехала, — сказал председатель. — До занятий всего месяц остался. Ведь ты в школе хочешь работать? Хочешь! Школу мы сейчас новую строим. Хорошая школа! Одно слово — интернат! Довольна будешь...

Светлана поблагодарила председателя.

— А в школу я сейчас пойду, — сказала она. — Посмотрю, где медицинский кабинет.

— Жакши! Хорошо! — одобрил Бабаев. — По арыку иди — к месту придешь.

Шумный арык тянулся вдоль главной улицы айла.

Пошла Светлана по арыку. Шла, шла, наконец попала на стройку.

— А школа здесь где будет? — спросила Светлана у маленькой девочки с пятью черными косичками.

Глаза у девочки раскосые, щеки яблоками, лицо круглое, улыбается:

— Вот она, школа. Мы сами строим.

— И ты строишь? — поинтересовалась Светлана.

— И я, — подтвердила девочка. — Я тоже здесь учиться буду в третьем классе.

Пошла Светлана по стройке. Стройка большая. Сразу пять домов строится. И классы в них будут, и комнаты для жилья, и физкультурный зал, и мастерские, и столовая. Все это строить колхозникам и учителям помогают ребята — старшие и младшие.

— А медицинский кабинет где будет? — спросила Светлана.

Директор школы, которого звали Асаном, пошутил:

— Смотря для кого кабинет. Если для своего человека...

— Для своего, — в тон ему ответила Светлана. — Я тоже буду с вами школу строить.

— Раз так, жакши! Хорошо! Самую лучшую комнату под ваш кабинет дадим! — весело пообещал Асан.

Весь месяц Светлана провела на стройке. Вместе со всеми.

А пришел сентябрь, начались занятия в новой школе-интернате. Светлана надела белый халат — пришло время ее работы. Только теперь для нее школа была не просто новой, а еще и своей... Ведь и она эту школу строила!

ГУЛЬНАР

Обычно ребята редко сами заходили в медицинский кабинет. Ну, если кто палец порежет или нос разобьет, тогда другое дело. Тут хочешь не хочешь, а пойдешь. А так — нет. Приходилось Светлане самой по очереди вызывать ребят: проверять их здоровье.

И только третьеклассница Гульнар каждый день забегала к Светлане сама.

Утро настает, еще занятия не начались, а Гульнар уже тут как тут. Приоткроет дверь кабинета и скажет:

— Здравствуйте, Светлана Петровна!

После занятий опять прибежит:

— Можно?

— Можно, Гульнарочка. Заходи, — скажет ей Светлана.

Гульнар заходит, садится на стул. Сидит, смотрит на Светлану внимательными глазами и спрашивает:

— А это что? А это? А вон то зачем?

Светлана занимается своими делами, а заодно отвечает Гульнар на ее вопросы. Какие лекарства бывают. Каким бинтом лучше голову забинтовать, а каким ногу или руку. Какая пробирка для чего служит. Какие бывают шприцы.

Посидит Гульнар, послушает и убегает.

— До свиданья, — говорит. — Спасибо! До завтра!

— До свиданья, Гульнарочка, — скажет Светлана. — Мы с тобой и сегодня еще не раз увидимся.

Время шло.

Светлана начала замечать, что к ней и другие девочки стали

сами заходить. И из третьего класса, и из пятого, и из восьмого. И тоже садятся, смотрят, вопросы задают. Видно, интересуются.

А иногда спросят о чем-нибудь, а потом добавят:

— А вот Гульнар нам говорила...

Поняла Светлана, в чем дело. Значит, Гульнар не только сама ее работой интересуется, а и другим девочкам рассказывает про все, что узнает.

— А не хочешь ли, Гульнарочка,— спросила однажды Светлана,— по-настоящему заниматься? И других девочек можно позвать. Приходите раз в неделю, я буду вам все объяснять.

— Очень хочу,— призналась Гульнар.— И другие девочки хотят. Чтоб потом врачами стать.

— Вот и договорились,— обрадовалась Светлана.— А врачом я тоже хочу стать. Поработаю года три-четыре, а потом и в институт...

Желающих заниматься нашлось много. Светлана организовала две группы. Одну — из младших девочек. Другую — из старших.

Ну, а в младшей группе теперь не только девочки занимаются. Третьеклассник Ашир вместе с девочками слушает, как разбитые коленки лечить. Ему это особенно полезно знать. Уж очень часто Ашир коленки разбивает.

Но сам Ашир никак в этом не признается.

— Совсем я не из-за коленок! — говорит он.— Я врачом хочу стать, как Гульнар!

ОСЛИК И ЛОШАДЬ

В школе-интернате ребята не только учатся, а и живут. Делают уроки, едят, играют, спят. Врача в школе-интернате пока не было, и потому дел у Светланы хватало. Она и прививки делала, и рецепты на лекарства выписывала, и следила за чистотой и порядком в школе.

Больше ста ребят было в школе — и мальчишек и девчонок. Да только в колхозе ребят куда больше. Пока они еще не все учиться начали. Те, кому нет семи лет, в школу не ходят. Но сегодня не ходят, а завтра станут старше — пойдут.

Вот и решила Светлана: «Чтобы были эти ребята и в школе здоровыми, надо сейчас за их здоровьем следить».

Она посоветовалась с врачами в районном центре.

Врачи похвалили:

— Правильно!

Стала Светлана после работы по домам аила ходить. Не по всем, а там, где есть малыши. Одному прививку сделает, чтобы корью не болел. Другому рыбий жир посоветует пить, чтобы сильным был. Третьему вкусные витамины даст.

А по воскресеньям Светлана отправлялась на дальние пастбища.

Где только не разбросаны колхозные юрты! И в долинах, где коровы и лошади пасутся. И на горных склонах, где отары овец гуляют. И на берегах бурных речек. И почти в каждой юрте вместе со взрослыми живут малыши. Один другого меньше.

Немало тропок и дорог исходила Светлана. И все пешком.

— Возьми коня! Нет горной девушки без коня! — советовал ей председатель Бабаев.

— Не надо. Я так, — отговаривалась Светлана, а сама думала: «Сроду на лошади верхом не ездила. И не сяду на нее. Страшно».

— Лучше нашу лошадь возьмите, — предлагал ей директор школы Асан. — Любую выбирайте! Как ветер быстрюю!

— Лошадь для меня не годится. Плохой из меня джигит, — шутила Светлана. — Если бы мне ослика предложили, взяла бы.

Шутки шутками, но пришла как-то утром Светлана в школу, а ее Гульнар с осликом дожидается.

— Светлана Петровна, вот вы ослика хотели, я привела, — сказала она. — Чтобы вам не тяжело было ходить. И седло у него и уздечка... Так папа наказал.

И верно, маленький серый ослик с белым пятном на лбу стоит возле крыльца, смотрит на Светлану задумчивыми глазами.

Хотела Светлана отговориться, да ничего из этого не вышло.

— Нет! Нет! Папа наказал — берите! — настаивала на своем Гульнар. — Насовсем! Он теперь ваш.

Что делать, пришлось взять.

«Интересно, как только я на него сяду?» — думала Светлана.

Она дождалась конца занятий. Посмотрела в окно — ослик стоит, и ребят на школьном дворе не видно. Значит, можно попробовать.

Светлана сняла халат и вышла во двор. Ослик стоит. Ближе подошла — стоит, не убегает. Погладила ослика по голове. Ничего. Не возражает ослик.

«Будь что будет!» — решила Светлана и села на ослика. Ослик послушался.

— Н-но! — сказала Светлана и дернула ослика за ремешок.

«Для начала до дому доеду», — подумала она.

Ослик спокойно двинулся с места.

Сначала к воротам, потом на улицу. И опять все хорошо.

Светлана обрадовалась.

Теперь уж она и по сторонам смотрела, не только на загривок ослика. Прохожим кланялась.

— Добрый день, сестрица! Здравствуйте! — отвечали ей прохожие.

Вот и ее дом.

— Стоп! Приехали! — сказала Светлана и натянула ремешок.

Но ослик почему-то не остановился. Он продолжал идти по главной улице вдоль арыка.

Светлана еще сильнее натянула ремешок. И опять ослик не послушался.

— Миленький, остановись, пожалуйста, — уговаривала Светлана ослика. — Мне домой нужно. Понимаешь, домой?

Ослик качал головой, будто соглашался, но не останавливался.

Так проехали они добрую половину улицы. И тут ослик вдруг перешагнул через арык и стал.

«Да это же дом Гульнар, — сообразила Светлана. — Вот почему он не слушался».

Ей было не по себе.

«Если соскочить с ослика, — думала Светлана, — что люди скажут: испугалась! Ничего себе, взрослая, да еще медсестра! С ослом справиться не может!»

Не слезая с ослика, Светлана повернула его в обратную сторону:

— А теперь давай назад, к моему дому.

Ослик послушался. Двинулся в обратную сторону. Но не тут-то было. Возле Светланиного дома он опять не остановился. Прошел по знакомой дороге и свернул в школьный двор.

Как ни уговаривала Светлана ослика, ничего не помогало.

На другой день повторилось то же самое. И на третий. И на пятый.

Видно, ослик привык ходить от своего дома до школы и обратно и никак не хотел признавать незнакомой остановки.

Пришлось Гульнар и ее отцу перевоспитывать ослика, прежде чем он понял: хочешь не хочешь, а надо слушаться новую хозяйку. Теперь слушается.

Правда, за это время и Светлана привыкла к ослику. И не только к ослику. Она сейчас и на лошадь не боится сесть.

И, когда Светлана приезжает верхом на самые отдаленные пастбища, табунщики и чабаны уже ждут ее, встречают возле юрт:

— Добрый день, сестрица! Здравствуйте!

ВОЖАТАЯ

В третьем классе произошло важное событие. Октябрят приняли в пионеры. И Гульнар стала пионеркой. И Ашир. И другие ребята. Утром Гульнар прибежала к Светлане похвалиться:

— Здравствуйте, Светлана Петровна! А у меня галстук...

— Поздравляю, Гульнарочка,— ответила Светлана.— И галстук вижу и то, что ты прическу свою изменила.

У Гульнар вместо пяти тонких косичек были две толстые.

— Как у вас,— сказала она.— Я уже большая. А скажите, Светлана Петровна, вы хотите у нас вожатой быть?

Светлана улыбнулась:

— Какая же из меня вожатая, Гульнарочка?

Гульнар убежала в класс и говорит ребятам:

— Давайте просить, чтоб к нам Светлану Петровну вожатой назначили.

— Давайте,— согласились ребята.— Она очень хорошая!

А после третьего урока Светлану вызвали к директору.

— Вы пионеркой были? — спрашивают ее.

— Была. И галстук свой сохранила,— отвечает она.

— Слышали мы, что вы хотите быть вожатой в третьем классе.

— Я? — удивилась Светлана.— А кто вам это сказал?

— Да все говорят...

Светлана смутилась:

— Вдруг не справлюсь, да и киргизского языка я не знаю.

— Язык — дело наживное,— сказал директор.— И ребята наши все по-русски хорошо говорят.

На другой день Светлана пришла в третий класс: сбор новых пионеров проводить.

— А вы тоже пионеркой были? — спросил Ашир.— В Москве?

— Была. Меня даже на Красной площади в пионеры принимали.

— Счастливая вы! — сказали ребята.

— А комсомольское поручение вам уже дали? — поинтересовалась Гульнар и хитро рассмеялась.

— Дали. Уж не ты ли сказала, что я очень хочу быть вожатой? Что-то ты, Гульнарочка, хитро улыбаешься.

— Да просто так,— сказала Гульнар.

— Ну, а все-таки?

— А потому, что нас послушались,— призналась Гульнар.— Мы сказали, что никого, кроме вас, в вожатые не хотим. И вышло по-нашему! Правда, хорошо?

ПЕСНЯ

Как-то раз в колхозном клубе был концерт. Сначала на сцене выступали ребята. Гульнар пела. Другие девочки танцевали. Ашир на комузе играл.

Светлана сидела в зале вместе с председателем Бабаевым и директором школы Асаном.

— Нравится, как мои ребята выступают? — спросила Светлана председателя.

— Нравится, но впереди еще лучше будет, — пообещал Бабаев и почему-то хитро подмигнул Светлане. — Человек к человеку тянется, а песня — к песне.

И вдруг Светлана услышала, как ее вызывают на сцену:

— А сейчас попросим выступить нашу дорогую сестрицу Светлану Петровну.

Светлана так и обомлела: «Как это! Что же мне делать на сцене?»

— Если стрела ломается, плохая это стрела. А ты хорошая девушка! — подтолкнул ее Бабаев. — Не бойся. Поешь ты складно, я слышал. Спой!

— Когда я пела? — удивилась Светлана, еще больше краснея.

— Дома, — напомнил Бабаев. — Я мимо шел, слышал.

— Так это я для себя...

— А теперь для всех. Разве можно хорошую песню себе оставлять!

Пришлось Светлане идти на сцену. Вышла она, в зал посмотрела. Люди ждут, хлопают, смотрят на нее добрыми глазами.

Светлана села за рояль и запела знакомую с детства русскую песню про березку.

Хорошо получилось. Светлане долго хлопали.

— Подвели вы меня, — сказала Светлана председателю, садясь на свое место.

Теперь, правда, она и сама не жалела, что так вышло.

— Зачем подвел! Выручил! — смеялся Бабаев.

А в это время на сцену вышел старый аксакал с редкой седой бородкой. Он был в белом бешмете с прямым воротником и в шапке, обшитой мерлушкой.

— Наш лучший чабан и лучший певец Асан-аке, — объяснил директор школы.

Старик ударил по струнам комуза и запел удивительно молодым голосом.

Слов песни Светлана не понимала. Но она слышала, как в песне льется горная река, как летят брызги, как поют птицы.

— О чем он поет? — шепотом спросила Светлана у директора школы.

— О-о! О многом, — сказал директор. — О нашем аиле, который стар, как горы Тянь-Шаня, и молод, как годовалый жеребенок. О том, как в давние времена жили в нашем аиле сорок девушек — сорок красавиц, но не было у них счастья и радости и как бросились они с высокой горы в ущелье. С той поры наш аил называется Кырк-Кыз, что значит «сорок девушек». Но сейчас другая жизнь пришла в аил. Не сорок девушек, а куда

больше живут теперь в аиле: киргизские девушки — красивые, как мак на наших полях, как персики в наших садах; украинские девушки — красивые, как стройные тополя на улицах нашего аила; русские девушки — красивые, как нежные березки в наших горных лесах. Вот о чем поет старый Асан-аке! Это и про тебя песня.

ЮРТА В САДУ

Высоко в горах находится колхоз «Москва». Но когда попадешь в него, то и не почувствуешь, что ты в горах. По одну сторону аила тянется большое, ровное, как стол, поле. Бегут по полю сразу пять речек и сливаются в одну.

За полем лес. Хоть и невысокий, да настоящий, лиственный. Растут там и клены, и тополя, и ольха, и береза, и рябина...

А с другой стороны аила — тоже поля: пшеничные, кукурузные, маковые. По ним ходят комбайны и тракторы, гудят машины, наполненные зерном.

И только слева и справа, впереди и позади темнеют высокие гряды гор.

Улицы аила ровные, и дома на них стоят ровно в ряд, как школьники на линейке. Дома из глины. Есть старые, а есть новые. Старые — с плоскими крышами, с маленькими окошками. Ну, а новые — побелены, и крыши на них железные или черепичные, и окна в них светлые.

Дома окружены невысокими глиняными заборами — дувалами. Подойдешь к дувалу, и все видно. Что возле дома делается, что в саду.

У всех есть в аиле дома, да не все в них жить привыкли. Аил — не пастбище, а все равно возле некоторых домов юрты стоят. Маленькие и большие. Летние и зимние. Из верблюжьего войлока, с тундуком наверху — отверстием для выхода дыма. Как дом ни хорош, а иному старику в юрте лучше. Привыкли старики жить и кочевать в юртах — не хотят спать в доме.

Вот и у Ашира рядом с новым домом стоит юрта. Прямо в саду, между двумя персиковыми деревьями. Там бабушка и дедушка живут. А мама с папой и Ашир — в доме.

Бабушка и дедушка тоже в дом заходят. И едят там, радио слушают. А спать в юрту уходят.

Но однажды вот что случилось.

Как-то на перемене пришла Светлана к третьеклассникам. Хотела посмотреть, вышли ли ребята в коридор, чтобы класс проветрить. Видит: все ребята вышли, а Ашир не вышел. Глаза у него блестят, лоб покрылся испариной.

— Уж не захворал ли ты? — забеспокоилась Светлана. — Дай-ка лоб попробую.

Попробовала, и верно: у Ашира температура. Градусник поставила — температура высокая. Кашляет Ашир, нос у него мокнет.

Светлана уложила Ашира у себя в кабинете, дала ему лекарство от простуды.

Вечером к Аширу отец с матерью пришли. Увидели сына в чистой, теплой постели, рядом медсестру, успокоились:

— Ничего, поправишься. Вон как за тобой ухаживают!

Ушли. Часа не прошло, как прибежала в кабинет старушка, бабушка Ашира:

— Отдай нашего верблюжоночка! Пусть дома лежит!

— Нельзя, бабушка, — попыталась возразить Светлана. — У мальчика температура. Завтра доктор приедет.

А бабушка и слышать ничего не хочет.

— Не говори так, побойся аллаха. Разве бездомный наш верблюжоночек, чтобы тут лежать? Не сирота. Сколько джигитов вырастили, все дома болели. Отдай!

Спорили они, спорили, но все без толку. Светлане бы настоять на своем! Но побоялась она старую женщину обидеть. Бабушка забрала Ашира. Домой привела — и прямо в юрту.

Родители Ашира хотели возразить, да не решились. Побоялись старую мать обидеть.

Положили Ашира в юрту на подстилку, накрыли одеялами, бараньим салом накормили.

Утром Светлана пришла проведать Ашира. Увидела его в юрте, испугалась:

— Что же вы наделали! Сквозняк здесь, ночь холодная была! Простудите мальчика еще больше.

Бабушка что-то колдовала возле внука и даже не посмотрела на Светлану. Возле головы Ашира стояло несколько плошек с кумысом. Видно, он и от кумыса отказался.

Стала Светлана слушать больного, а у него в груди хрипит хуже вчерашнего. И температура не спадает.

Светлана сделала укол, чтобы температуру снизить, а когда врач приехал, пришлось санитарную машину вызывать.

— У мальчика был грипп, — сказал врач, — а теперь воспаление легких началось. Простудили вы его за ночь в юрте.

Тут уже и бабушка ничего не могла возразить: отправили ее «верблюжоночка» в больницу.

Через три недели вернулся Ашир домой.

Пришел он в школу — и сразу к Светлане:

— Уж не сердитесь на бабушку за эту юрту! Старенькая она. Думала лучше сделать...

— А я не сержусь на бабушку, — сказала Светлана. — Я на себя сержусь. Если бы не отпустила тебя домой, то и в больницу ты не попал бы! В другой раз умнее буду!

ПЕРЕПЕЛКА

В один из ясных осенних дней гуляли ребята во дворе школы. И Светлана тут же была. Вдруг раздался крик Гульнар: — Летят, летят, перепелки летят!

Ребята бросили играть и стали смотреть в небо. Видят: две перепелки. То ли они из жарких стран на Тянь-Шань летят, то ли, наоборот, с Тянь-Шаня в полет отправились... Отбились, наверно, от стаи.

Вдруг одна перепелка зацепилась за провод, взмахнула крыльями и камнем полетела вниз.

— Светлана Петровна! Перепелка разбилась! — закричали ребята, хотя Светлана стояла рядом и сама все видела.

Когда Гульнар подбежала к дереву, возле которого упала перепелка, там уже стояло несколько ребят. Ашир держал в руках птицу. Он протянул ее Гульнар и сказал:

— Бери, ведь это ты первой увидела ее.

Гульнар обрадовалась.

— Только осторожнее держи, — наставительно сказал Ашир. — А то у нее крыло разбито и ей больно.

Перепелку принесли к Светлане в кабинет. Никогда еще у Светланы не было такого больного! Пришлось перепелке лечить крыло, а потом и клетку доставать, и кормить пернатую больную. Правда, кормить перепелку ребята помогали.

Вокруг клетки хлопотали все третьеклассники: и Гульнар, и Ашир, и другие ребята. Один воду в блюдечко нальет, другой хлебных крошек насыплет, третий мух наловит и прямо с руки перепелку кормит. А она не боится. Видно, привыкла.

Все старались угостить свою подшефную чем-нибудь вкусным. А одна первоклассница даже хотела дать ей шоколадную конфету, но Ашир не разрешил:

— Что перепелка — девчонка? Она — птица и не ест конфет.

...Незаметно прошла неделя.

— Ну, а теперь, ребята, пора нам выпустить нашу перепелку на волю: она уже совсем здорова, — предложила Светлана.

— Жалко отпускать, — сказал Ашир. — Уж пусть бы она у нас жила...

— Тебе хорошо так говорить, — возразила Светлана. — А каково перепелке! Если бы тебя, например, когда ты в больнице был, оставили там жить навсегда? Как? Согласился бы?

— И правда, давайте лучше выпустим, — согласился Ашир.

Гульнар взяла из клетки перепелку, и все вышли во двор. Перепелка встрепенулась, повернула голову к ребятам и важно прошла по ладони Гульнар. Потом не спеша почистила перышки и легко соскочила на сухую, выжженную солнцем землю.

Ребята стояли тихо и молча ждали, в какую сторону полетит перепелка.

А перепелка взмахнула крыльями, вспорхнула на дерево и оттуда посмотрела на ребят.

— Привет! — крикнул Ашир.

— Привет! — поддержала его Гульнар.

В ту же минуту перепелка легко поднялась с дерева и, набирая высоту, скрылась за домом.

Ребята побежали на занятия. А когда кончились уроки и настало время обеда, Гульнар вдруг закричала:

— Смотрите, смотрите! Наша перепелка вернулась.

И верно, над школьным двором пролетала перепелка. Может, это была и другая перепелка, но ребятам показалось, что это их знакомая. Наверное, они правы. Ведь не должна же перепелка забывать тех, кто спас ее от беды!

С Л О В А Г О Р

Плохо человеку без дела. И без друзей настоящих плохо.

Стала Светлана вожатой — дел у нее прибавилось. И друзей стало больше. Каждую свободную минуту она теперь с ребятами проводит...

Воскресным утром пришла Светлана с пионерами в ущелье. На ослике привезли ведро белой краски и кисти.

Ущелье глубокое. По бокам — горы. Одна — Тигровой называется, другая — горой Старого архара. Склоны ущелья покрыты зеленым ковром трав, диким чесноком и кустарником. Говорят, раньше здесь тигры водились и медведи. А сейчас только орлы кружатся над одинокими деревцами в поисках добычи. Авось куропатка попадется или перепелка, а может, и лисица встретится.

Через ущелье проходит большая дорога. Едут по ней в обе стороны машины. Зерно везут и книги. Овощи и игрушки. Яблоки и одежду. Да мало ли какие еще грузы!

— А теперь за дело! — сказала Светлана.

Стали ребята мелкие камни собирать вдоль дороги. Набрали целую кучу. Очистили от земли, в роднике помыли, на солнце просушили. Потом Гульнар и другие третьеклассники взяли в руки кисти и покрасили каждый камешек в белый цвет.

Опять просушили камни и вновь покрасили, чтобы краска не смывалась и камни видно было издали.

— Можно начинать? — спросила Гульнар, когда все было готово.

— Можно, — сказала Светлана, — да осторожно: чтоб ровно было и без ошибок!

— Мы грамотные,— пошутила Гульнар.

Ребята разошлись влево и вправо от дороги.

Камешек за камешком начали складывать на зеленых склонах гор большие русские и киргизские буквы. Буква к букве — слово получается. Слово к слову — целое предложение.

«Слава людям труда!»

Еще слово к слову — другое предложение:

«Привет от колхоза «Москва»!»

И еще:

«Слава нашей Родине!»

Несколько часов трудились Светланины ребята. Все трудились, и вожатая с ними. Один ослик отдыхал — щипал возле родника травку.

А когда закончили работу, отправились домой. Отсюда до айла Кырк-Кыз рукой подать. Если напрямик по горным тропкам идти, так час ходу...

Едут по ущелью машины в одну сторону и в другую. Грузовики спешат, автобусы, «Волги», «Москвичи», «Запорожцы», «Победы». Путники верхом на лошадях и осликах трусят.

Смотрят люди по сторонам, а на склонах гор крупными белыми буквами слова выложены.

— Хорошие слова говорят горы! — замечают пассажиры.

И верно.

А еще о хороших делах школьников говорят слова гор. Ведь слова эти складывали лучшие ребята — пионеры.

«ОРЛЕНОК»

Отец купил Аширу велосипед. Настоящий, двухколесный. «Орленок» называется.

Привез Ашир велосипед в школу. Девочкам стал показывать:

— А у меня велосипед!

— Хороший,— согласилась Гульнар.— Дашь прокатиться?

— Я еще сам не накатался,— сказал Ашир.— Ведь это мой велосипед.

Ашир — к мальчишкам:

— А у меня велосипед!

— Хороший,— согласились мальчишки.— Дашь прокатиться?

— Я еще сам не накатался,— сказал Ашир.— Ведь это мой велосипед.

Тут Ашир заметил вожатую:

— Светлана Петровна, а у меня велосипед!

— Хороший,— согласилась Светлана.— Но плохо, что ты ребятам не даешь на нем прокатиться.

— А я еще сам не накатаюсь,— сказал Ашир.— Ведь это мой велосипед.

Весь день катался Ашир на своем велосипеде. И на переменах катался, и после уроков... Очень ему хотелось показать всем, как он здорово сидит на седле и управляет рулем. Только ребята почему-то совсем не обращали на Ашира внимания.

Обиделся Ашир. К Гульнар подъехал:

— А почему ты не просишь, чтоб я прокатил тебя? Хочешь?

— Не хочу,— сказала Гульнар.— Это твой велосипед, ты на нем и катайся.

Ашир к мальчишкам:

— Хотите прокатиться?

— Нет,— сказали мальчишки.— Это твой велосипед, ты на нем и катайся.

Обиделся Ашир еще больше, соскочил с велосипеда и побежал к Светлане:

— А почему они не хотят кататься на велосипеде? Я им предлагаю, а они не хотят.

— И правильно делают,— сказала Светлана.— Ты же сам всем говорил, что это твой велосипед и ты сам еще не накатаешься.

Почесал Ашир затылок, подумал и говорит:

— Я больше так не буду!

— Что — не будешь? — переспросила Светлана.

— Жадным не буду,— пояснил Ашир.

— Тогда другое дело,— сказала Светлана.— Пойдем к ребятам.

А через несколько минут во дворе школы уже все ребята по очереди катались на велосипеде. И Ашир с ними.

— Хороший велосипед! — говорили ребята.— И название у него хорошее — «Орленок»!

НАСТОЯЩАЯ ПОМОЩЬ

Давно уже в колхозе «Москва» так повелось: надо что-то строить — все люди на работу выходят.

Начали строить в колхозе новую конюшню. Пришли на стройку все свободные от работы колхозники. И Светлана пришла на стройку, чтобы вместе со всеми работать.

В это время ребята уроки сделали — стали свою вожатую искать.

— Она на стройке,— сказали им.

Пришли ребята на стройку. Стоят, смотрят, как взрослые работают. Тут как раз грузовики приехали с кирпичами. Шоферы, чтобы времени зря не терять, стали сами сбрасывать кирпичи на землю. Кирпичи ложились кучей, и некоторые бились.

— Так нельзя бросать кирпичи,— сказал Ашир,— они все побьются.

— Верно. Их лучше по одному складывать,— поддержала его Гульнар.

— Так одни шоферы до вечера не разгрузят машины,— согласился кто-то из мальчишек.— Долго им придется работать.

Светлана услышала этот разговор и сказала:

— Вы, вместо того чтобы рассуждать, лучше помогите бы!

— И правда, давайте поможем! — предложила Гульнар.

— Давай! — согласился Ашир.

— Поможем! — закричали остальные ребята.

Стали они помогать шоферам. Снимают с машин по одному кирпичу и на земле аккуратно складывают. Кирпичи не бьются, а работа пошла веселее.

В это время старшие ребята пришли на стройку. Остановились они около машин: смотрят, как шоферы и младшие работают.

— Так нельзя разгружать кирпичи,— сказал кто-то из старших.— Надо по цепочке кирпичи передавать.

— По цепочке, конечно, быстрее,— поддержал его второй.

— А так, как они работают, и за час не управиться,— сказал третий.

Ашир услышал этот разговор и говорит:

— Вы, вместо того чтобы рассуждать, лучше помогите бы!

— И правда, давайте поможем! — предложил один из старшеклассников.

— Давай! — согласился второй.

— А что! Поможем! — поддержал третий.

Стали все работать вместе. Построились цепочками — передают кирпичи из рук в руки. Быстро проходит каждый кирпич по цепочке и на землю ложится. Хорошо получается, аккуратно. Не бьются кирпичи, и ребята не скучают.

Получаса не прошло, как разгрузили ребята машины.

— Ну, вот и хорошо! — сказала Светлана.

— Теперь мы конюшню быстро построим,— добавил один из шоферов.— Не на словах, на деле помогли!

ВОЛКИ И КУМЫС

Чем ближе была зима, тем чаще слышала Светлана разговоры о волках. Поговаривали, будто в соседнем аиле волки задрали белую верблюдицу, а на Долоне волчья стая растерзала трех лошадей, оставших от табуна. И еще...

В общем, чего только не говорили!

Сама Светлана никогда с волками не встречалась. Ну, разве что в зоопарке...

И вот однажды...

Светлана возвращалась с дальнего пастбища. Она торопилась. Время было позднее. Уже стемнело. А в горах и подавно темно. Хорошо хоть, что ее небольшая мохнатая лошадка сама знает дорогу: она безошибочно ступает по земле, минуя валуны и ямы.

Впереди Светланы болтался чемоданчик с инструментами, привязанный к луке седла.

— Чу! Чу! — погоняла она лошадь по-киргизски.

Наконец показалась долина. Еще один перевал, и покажутся огни колхоза. Большая часть пути осталась позади.

Неожиданно лошадь заржала и прибавила ходу.

«Почему? — удивилась Светлана. — Может, почуяла что?» Она прислушалась. Где-то слева на склоне горы блеяли овцы. Раньше их здесь не было. Часа четыре назад Светлана ехала этой же дорогой и никаких овец не видела.

Светлана подняла голову. Туманная луна холодно освещала край холма, на котором сгрудились овцы. Наверное, целая отара. Но где же юрта чабана? Юрты не было.

Лошадь опять заржала. И тут, словно в ответ ей, на склоне послышались вой и лай.

«Волки!» — подумала Светлана.

Вой повторился.

Светлана вгляделась в темноту. На фоне редкого кустарника, метрах в десяти от отары, маячили две волчьи фигуры. Волки подвывали, то ли глядя на луну, то ли вниз, на тропинку. Теперь уже у Светланы не было никаких сомнений.

«Ружья нет! Да все равно стрелять не умею, — пронеслось у нее в голове. И еще слышанное где-то в детстве: — Волки не нападают сами на человека».

Все же она хлестнула лошадь.

Лошадка перешла на рысь и, сбивая камни, влетела на последний перевал.

— Чу! Чу! — шептала Светлана, глядя гриву лошади.

Где-то позади еще слышалось завывание, но вскоре и оно стихло.

У Светланы отлегло от сердца. Показались огни аила.

Но вдруг она вспомнила об отаре: «Волки определенно подбираются к ней. А чабана нет...»

Ей стало стыдно и страшно. «О себе подумала, спаслась, а как же овцы? Что делать? Сказать, но кому?»

Лошадка принесла Светлану прямо к школьной конюшне. Светлана бросилась к домику директора:

— Асан Шукурбекович, скорей! Там волки!

К счастью, у директора был в гостях брат. Мужчины схватили ружья и вывели из конюшни лошадей:

— Поехали!

По пути Светлана рассказала все, что видела в долине.

— Бывает, бывает,— подтвердил Асан.— Куда чабан только девался, непонятно...

Через несколько минут они были уже на перевале.

— Вот там,— показала Светлана на лежащий впереди холм. Она остановила свою лошадь.— Я здесь подожду.

Мужчины спустились в долину и слезли с лошадей. Светлана видела, как они сняли ружья и стали подниматься по склону холма. Сердце у нее стучало, как маятник, по спине пробежал неприятный холодок.

Подул ветер, горы окутал туман. Теперь Светлана уже ничего не видела. Наверное, мужчины подобрались к кустарнику, где скрывались волки.

«Выстрелят — услышу»,— подумала она.

Но выстрелов почему-то не было.

И вдруг Светлана услышала голос Асана:

— Сестрица, скорей! Спускайтесь к нам!

Светлана взяла лошадку под уздцы и спустилась по тропке в долину.

— Идите, не бойтесь! — еще раз крикнул Асан. Он ждал у склона, где были привязаны лошади.— А теперь пошли вверх,— добавил он, беря из Светланиной руки поводок. Я познакомлю вас с этими волками...

— Вы шутите? — спросила Светлана.

— Не шучу, не шучу. И брат там наверху...

Они взобрались по отлогому склону, обошли стороной кустарник и оказались на площадке, где паслись овцы. Их было много — сотни две или три. Овцы спокойно дремали, прижавшись друг к дружке. Лишь несколько крупных баранов стояло в стороне, внимательно поглядывая на пришельцев.

— Что все это значит? — не без робости спросила Светлана, озираясь по сторонам.

— А то, что мы пойдем сейчас к чабану в юрту кумыс пить,— весело сказал Асан.— Не отпускает старик без угощения.

Юрта оказалась с противоположной стороны холма.

«Поэтому я ее и не видела»,— сообразила Светлана.

— Вот они, ваши волки,— сказал Асан, подходя к юрте.— Они не хуже чабана свое дело знают.

Возле юрты стояли две огромные мохнатые овчарки с высунутыми языками.

— А я-то...— хотела сказать Светлана, да замолчала, только покраснела до ушей.

— Не беда,— поддержал ее Асан.— Молоденькой куропатке

и воробей беркутом кажется. А встречи с волками у вас еще будут. Не горюйте.

— Нет, уж лучше не надо,— призналась Светлана.

Они вошли в юрту. Здесь было тепло. Приятно пахло дымком кизяка. Старый чабан налил всем по полной пиале кумыса:

— Кумыс храбрость дает, красавица! Кто кумыс пьет, сильным будет, как Манас! На здоровье!

Светлана выпила пиалу кумыса. Чабан подлил ей еще. Теперь и правда она чувствовала себя хорошо. Про волков никто больше не вспоминал, и смущение прошло.

— Вы уж, пожалуйста, не рассказывайте никому,— шепнула Светлана директору.— А то ребята мои узнают, стыдно...

— Что узнают? — удивился Асан.— Сели на коней, приехали к хорошему человеку в гости, пьем кумыс. Все нормально! Жакши! А больше ничего и не было!

ПОЧЕМУ НЕ ПОМЕЧАТЬ!..

Светлана часто получала письма. Из дому — от родителей и от братишки. И не из дому — от подруг своих, что разлетелись, словно птицы, по всей стране. Одни работают, другие учатся, а третьи и то и другое делают.

А однажды пришло Светлане письмо не из дому и даже не из города какого-нибудь, а с берегов озера Иссык-Куль. Письмо необычное — с фотографией!

Поставила Светлана фотографию у себя дома на стол. Дом у нее теперь хороший — из саманного кирпича, побеленный, с черепичной крышей и деревянным полом.

Как-то вечером пришли к Светлане в гости ее пионеры: они часто заходят — то книжку новую почитать, то рассказ интересный от Светланы услышать. Пришли, увидели фотографию. Любопытно! Моряк стоит на палубе военного корабля. На корабле номер.

— Это кто, Светлана Петровна? — поинтересовался Ашир.

— Мой старый товарищ — военный моряк,— объяснила Светлана.— Были мы когда-то с ним вместе в детском саду, а потом в школе учились. Виталием его зовут.

— Такой большой — в детском саду? — удивилась Гульнар.

— Тогда он маленьким был, меньше вас,— улыбнулась Светлана.— И я была маленькой. Виталик уже в те годы моряком хотел быть, и мы с ним даже поспорили. Мне тоже хотелось быть капитаном. А вот стала медсестрой...

— И хорошо! — подтвердила Гульнар.

— А я и не жалею,— призналась Светлана.

— А теперь он моряк? Настоящий? — спросил Ашир.

— Настоящий. Плавает на корабле. Скоро офицером будет. Вот в гости к себе зовет...

— И вы поедете, Светлана Петровна? — забеспокоилась Гульнар.— Не уезжайте.

— Нет, сейчас не поеду, Гульнарочка,— пообещала Светлана.— Напишу ему письмо, что никак не могу. На кого же я вас оставляю?

— Вы ему напишите, Светлана Петровна, чтобы он к нам в колхоз приезжал,— посоветовал Ашир.

— Обязательно напишу! — пообещала Светлана.

— А если он не может приехать,— добавила Гульнар,— так напишите ему, Светлана Петровна, что мы к нему в гости приедем. И тогда он покатает нас на своем корабле по озеру Иссык-Куль. Ведь оно большое, как море. Вам одной, без нас, уезжать нельзя, а с нами можно. Правильно?

— И это напишу,— пообещала Светлана.

Написала она Виталию, как ребята советовали. Все слово в слово.

Может, так и будет?

Почему не помечтать...

НАША СЕЙДЕШ

Пришла в горы большая зима. Ветрами загудела, завывала метелями, загрохотала снежными обвалами. Долины занесло снегом, горы полысели, тропки прихватило морозами.

Медленнее поползли машины по горной дороге. Отары овец ушли на зимние пастбища. Там еще есть трава и снега не очень глубоки.

Был полдень, когда Светлана выехала верхом из колхоза «Москва» в районный центр. Нужно было получить медикаменты, побывать в больнице, зайти в райком комсомола. Дел на добрых два часа, да еще дорога. Как раз бы до темноты и вернуться!

Оделась Светлана тепло, по-зимнему. Шубу натянула, валенки, шапку-ушанку. Шел крупный снег. Было морозно, но не очень. Без ветра и холод нипочем.

Светлана проехала по улицам аила, миновала поле и лесок и выехала на главную дорогу. Лошадь шла осторожно. Под ногами — накатанный шинами и полозьями снег, того и гляди, поскользнешься.

Машины сегодня попадались редко. Дорога выглядела безлюдной.

«Видно, где-нибудь обвалы были», — подумала Светлана.

В первом же ущелье ее встретил пронизывающий ветер. Снег вился в воздухе, словно раскрученный жгут. Он больно хлестал в лицо, бил по глазам. По земле мела поземка. Голова и бока лошади покрылись инеем. Лошадь недовольно фыркала и опускала морду к ногам. Среди гор висели низкие серые тучи. Вершины скрывались где-то над ними.

«Может, зря в такую погоду поехала? — подумала Светлана. — Как бы бурана не было...»

Но вот она проехала один поворот и еще один, и ее сомнения стали рассеиваться. Дорога пошла под уклон. Ветер стих. Посветлело небо. Открылись вершины гор, покрытые снегами.

Слева от дороги лежала глубокая пропасть. Теперь Светлана ехала, прижимаясь к правой стороне, к скалам. Но вскоре пришлось сойти с лошади. Дорога круто метнулась вниз. Лошадь начала скользить и дважды чуть не упала на задние ноги.

«Здесь немного пройду пешком, а там опять сяду», — решила Светлана.

Она взяла лошадь за поводок и пошла вниз. Мимо, тяжело пыхтя и гремя цепями, проехал встречный грузовик с досками.

Шофер подмигнул Светлане:

— Не свались!

В лощине дорога делала крутой поворот влево, огибая выступ черной, будто вымазанной дегтем, скалы. За ней, с противоположной стороны лощины, лежало большое ущелье. Летом там бурлила быстрая горная речка.

Сейчас ущелье не казалось большим. Снег засыпал его на добрую треть, скрыв под собой и речку и кустарник. Только телеграфные столбы уныло поднимали над снежной целиной свои перекладины.

Дорога теперь поднималась чуть-чуть вверх, и Светлана собралась уже сесть в седло.

Но вдруг до ее уха донесся чей-то далекий, гулкий крик. Кричали как будто со стороны ущелья.

«Может, показалось?» Светлана остановила лошадь и прислушалась. Где-то завывал ветер. Наверное, в горах, далеко.

Но вот среди свиста ветра опять послышался крик. Эхо разнесло его по лощине, повторив несколько раз. Теперь уже трудно было понять, откуда кричат.

Светлана осмотрела всю лощину. Наконец вновь повернулась в сторону ущелья.

— С-с-сю-д-да! — донеслось оттуда.

А может: «Б-бе-д-да!» — Светлана не разобрала. Но она ясно слышала, что кто-то кричал.

Она продолжала смотреть в ущелье, но, кроме снега и телеграфных столбов, ничего не заметила.

«Добраться бы туда, но как?»

До ущелья было не меньше полукилометра. А может, на самом деле и больше. Светлана попробовала шагнуть с дороги — валенок провалился в глубокий снег. А чем дальше, тем снега больше. С головой провалишься.

«Хоть бы появился кто на дороге,— подумала Светлана, когда крик из ущелья вновь гулко разнесся по ложине.— Машину догнать с досками? Она уже далеко. Не успеешь...»

Откуда-то из-за горы подул ветерок. Потом он стал сильнее. Закружился снег на дороге. Ветер засвистел, как комар над ухом. Из ущелья теперь никто не кричал.

На какую-то секунду у Светланы мелькнула мысль: вскочить в седло и умчаться скорей отсюда. Не стоять же так все время? И в райцентр можно опоздать, и обратно не поспеть засветло.

Но она испугалась одной этой мысли. А если в самом деле кто-то кричал? Неожиданно Светлана услышала впереди шум мотора.

«Неужели машина? Вот повезло!»

Шум все приближался. Светлана бросила лошадь и побежала вперед по дороге. Из-за поворота выехала пустая трехтонка.

— Стойте! Стойте! — закричала Светлана.

Шофер остановил машину и выскочил на дорогу:

— Что стряслось?

— Кричит там кто-то. Вроде из ущелья,— объяснила Светлана.— А я ничего не могу поделать...

Шофер, уже не молодой человек, в валенках и телогрейке, не спеша подошел к краю дороги:

— Где?

— Вон в том ущелье,— показала Светлана.— Несколько раз кричали.

«А что, если мне показалось? — думала она.— Нет, не могло. Уж очень хорошо было слышно».

Шофер, будто не поверив ей, постоял и пошел обратно к машине.

— Только не уезжайте! — попросила его Светлана.

— Не уеду, стой,— буркнул шофер.— Дай мотор заглушить.

Он вернулся назад, поднес руку ко рту и сам крикнул в сторону ущелья:

— Эй, кто там?

Эхо повторило его крик.

Но ущелье молчало. Только ветер свистел.

Теперь уже и Светлана крикнула, но ей никто не ответил.

Шофер постоял еще минуту, почесал нос и внимательно посмотрел на Светлану:

— Куда едешь-то?

— В райцентр.

— Ну, и поезжай себе. Померещилось небось со страху!

— Да нет же,— пробовала возразить Светлана.

Шофер улыбнулся:

— Спеши, спеши! Нет там никого! Один ветер гуляет. Забавницы! — добавил он уже ласковым тоном.— Все им приключения подавай!

Шофер кивнул Светлане и пошел к машине.

«Может, и прав он?» — подумала Светлана, беря под уздцы лошадь.

— Будь здорова! — крикнул шофер, когда машина поравнялась со Светланой.— Езжай, а то простынешь!

Машина тяжело пошла по дороге. Светлана поставила ногу в стремя и села на лошадь.

Лошадка обрадовалась и двинулась было уже в путь, но Светлана попридержала ее:

— А ну-ка постой, постой!

«А что, если на выступ скалы забраться и оттуда посмотреть еще? — подумала она.— Чтобы спокойнее было».

Она опять соскочила с лошади и осторожно забралась на покрытую снегом отвесную скалу, нависшую над дорогой. Не успела она взобраться выше, как за ее спиной вновь раздался гулкий крик:

— С-с-сю-д-да!

«Значит, хорошо, что не уехала, а этот шофер...— с обидой подумала Светлана.— Удрал уже».

Она поднялась на самый верх скалы и оттуда посмотрела в сторону ущелья.

Что это там?

В самой глубине ущелья, за последним телеграфным столбом, маячили какие-то фигуры. И еще темнело большое пятно на снегу.

Светлана присмотрелась внимательно и поняла, что пятно колышется. Значит, это не пятно, а отара овец. А впереди верблюдов навьюченный и две лошади. Только людей не видно. Слишком далеко отсюда.

«Оттуда и кричали,— поняла Светлана.— Вон снегу сколько, и не пробиться им одним. Наверное, обвал их отрезал от дороги. А что же я могу сделать? Ведь одна...»

Она еще раз, словно проверяя себя, посмотрела в ущелье.

И в тот же миг опять услышала:

— С-с-сю-д-да!

Машин на дороге не было. Недолго думая Светлана слезла со скалы и быстро села в седло.

— А ну-ка, давай назад. Скорей! Чу! Чу! — подгоняла она лошадь.

Лошадь развернулась и недовольно зашагала в обратный путь.

«Туда — час, оттуда — час,— подсчитывала Светлана.—

Нет, из аила быстрее можно. Машины надо в колхозе взять, и людей побольше с лопатами...»

...Не прошло и двух часов, как грузовые машины доставили к месту происхождения колхозников с кетменями и лопатами. Уже начинало смеркаться, председатель Бабаев приказал шоферам:

— Разворачивайтесь поперек дороги и фары зажигайте! Светить нам будете!

Копать снежный коридор пришлось от самого края дороги. Уже через несколько метров он был глубже человеческого роста. Шаг за шагом, метр за метром пробивались люди сквозь снежную целину.

— Ты отдохнула бы,— посоветовал Светлане председатель.— И так запарилась...

Но Светлана даже не ответила Бабаеву. Она, как и все, торопилась. Лопата вонзалась в мягкий снег легко. Труднее было поднять ее высоко над головой, чтоб выбросить снег наверх.

Светлана не чувствовала ни холода, ни жары. Она скинула шубу и теперь работала в одном свитере.

Вот уже пройдена треть пути, вот — половина. Коридор стал подниматься вверх. Значит, они миновали ложину и подошли уже к противоположной стороне. До ущелья осталось метров триста. Дальше надо рыть вдоль столбов — так путь короче.

Вскоре она услышала блеянье овец и человеческие голоса — мужской и женский.

Бабаев уже узнал чабана и его жену:

— Как вы там, Асан-аке, живы? Сайра-апа, а вы?

Потом они перешли на киргизский, и Светлана перестала понимать, о чем переговаривается председатель с чабаном.

Лишь глубокой ночью они пробились через ущелье. Здесь, за горами, снега было меньше.

На большой поляне, еле посыпанной снежком, Светлана увидела отару овец, навьюченного верблюда, лошадей и двух стариков. Чабан и его жена обнимались со своими спасителями, чуть не плача от радости.

Тут и Светлана узнала их. Вспомнила, как Асан-аке пел песню в клубе про аил Кырк-Кыз и про сорок девушек.

— Знакомая девушка,— произнес старый чабан уже по-русски.— В клубе пела. Про березку. Это ты?

Значит, и он узнал ее.

— Это она вас выручила, Асан-аке,— сказал председатель.— Если б не она...

— Наша Сейдеш молодец! Настоящая девушка-джигит! — похвалили колхозники.

«Почему Сейдеш? — подумала Светлана.— О ком это они?»

— И верно, Сейдеш! Спасибо тебе, доченька! — подошла к Светлане жена чабана.— Мы со стариком пропали бы — не

беда. Шестьсот баранов потерять — вот беда! Как их вернешь? А ты вернула. Нет цены тебе, Сейдеш, за это!

И она неловко поцеловала Светлану.

Раскрасневшаяся от мороза и работы, Светлана совсем смутилась:

— Что вы! Все работали. Разве я одна?..

— А ты не смущайся, Светлана Петровна, — похлопал ее по плечу председатель. — У нашего народа издавна обычай есть: хороших русских людей киргизскими именами называть. Как своих родных! Видишь, наши джигиты и тебя так называли. Киргизским именем «Сейдеш» тебя называли. Значит, родной тебя считают, своей дочерью. Заслужила!

Прошло несколько дней. Как обычно, утром открылась дверь медицинского кабинета, и на пороге появилась Гульнар:

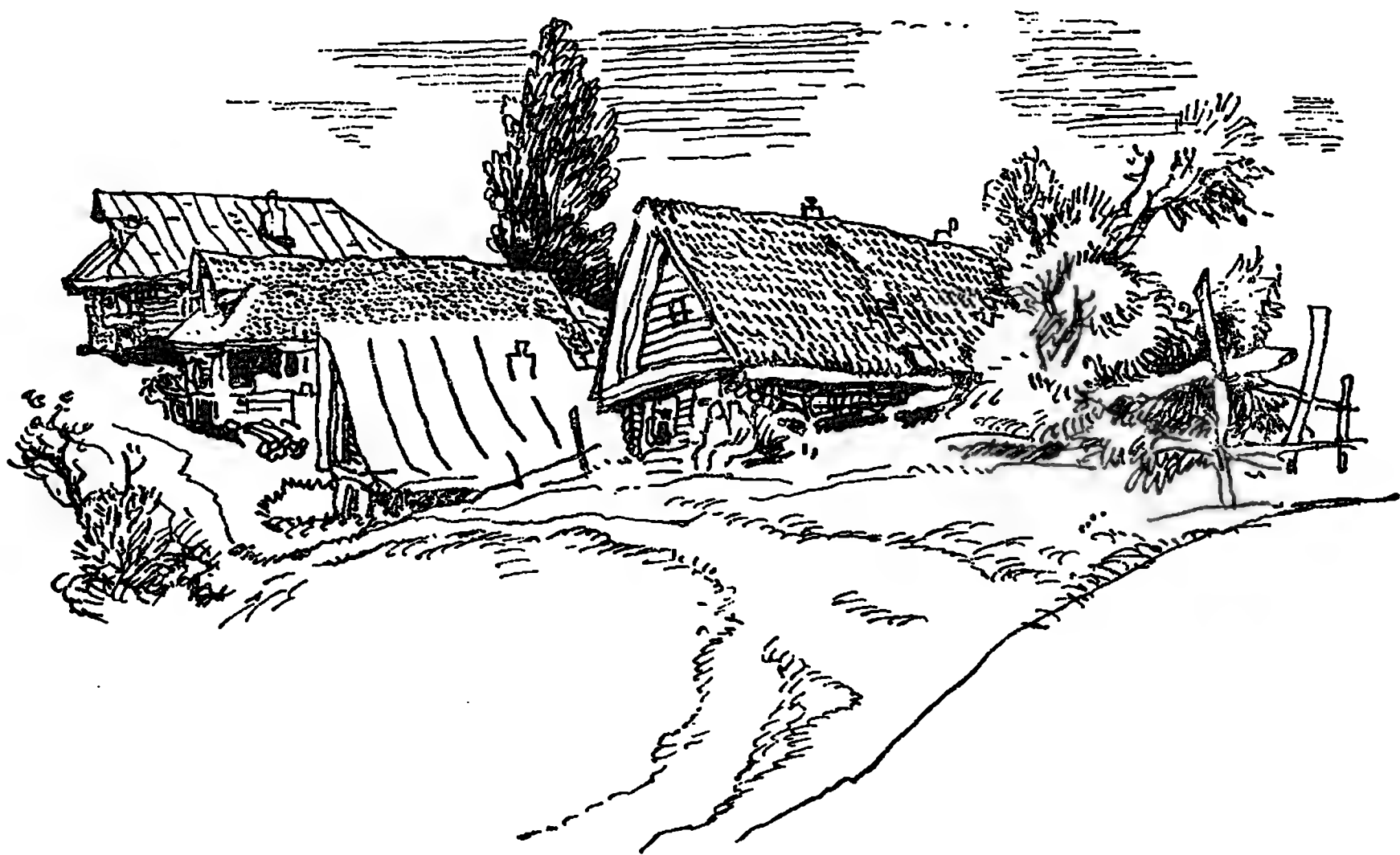
— Здравствуйте, Светлана Петровна! Вы газету уже видели?

— Нет еще, Гульнарочка, — сказала Светлана. — А что там есть в газете?

— А вот смотрите! — Довольная Гульнар протянула Светлане газету.

Светлана развернула газету и вдруг увидела свою фотографию. Снимок был очень смешной: в ушанке, с одним оттопыренным ухом, Светлана выглядела на нем забавной, чуть испуганной девчонкой.

А под фотографией была подпись: «Светлана — наша Сейдеш».



ЕЕ ЗОВУТ ЕЛКОЙ

— А я знаю. Ты и есть Александры Федоровны внук.

— Откуда знаешь?

— Похож. Ой, до чего ж похож! Правда! А чего ты раньше никогда не приезжал сюда?

Всего что угодно мог ожидать Ленька, но только не этого. Говорили, что он похож на отца. Это верно, пожалуй. Ну, на мать. Может быть. Частично. Но чтобы он, мальчишка, был похож на бабушку! Это невероятно. Ленька даже покраснел.

— А чего, я спрашиваю, не приезжал раньше? — не унималась она.

Почему он не приезжал сюда раньше? Как ей сказать! Может, это и нехорошо, что он никогда не бывал здесь, у бабушки. Но как-то все было просто, и он не приезжал. В пионерские лагеря ездил. На смену и на две. А в прошлом году и на три. А раньше?.. Раньше Ленька в детском саду был. Смешно, наверно? Наверно... С детским садом и ездил за город... Только этого он почти не помнил...

— Бабушка каждый год у нас гостила. Потому и не приезжал,— пробормотал Ленька. А про себя подумал: «Ну и девчонка!..»

Это было в предпредвоенном тридцать девятом, когда Ленька впервые попал в Сережки. Они встретились в магазине сельпо, куда Ленька ходил за солью.

Ее звали Елкой. Иногда ласково — Елочкой. Но так Ленька не решался.

В Москве он был парень как парень, а тут перед ней пасовал. Когда два года назад на спор с крыши трехэтажного дома прыгнул — не боялся. Ногу сломал, пяточную кость,— терпел. Прежде в школе (во втором классе, кажется, учился) на перилах катался, упал в пролет лестницы, все зубы вышиб — молчал, не хныкал. А совсем давно, до школы еще, залез в колючую проволоку. Отцу пришлось разрезать ее ножницами, чтобы вынуть Леньку, а он и глазом не повел. Сжал зубы, а потом даже хвалился. Учителей в школе или старших ребят Ленька никогда не боялся. А тут...

Елка, Елочка, Елка-палка. Смешно, наверно? Наверно...

— А почему тебя так зовут — Елка? — спросил как-то он.

Вообще-то неожиданных имен в те годы было немало. Индустрия, например, Электрификация, Вил, Рабкрин, Сталина, Коллективизация...

У Леньки в классе даже один Проля был, а полностью Пролетарская Революция. Когда вырастет, Пролетарская Революция Петрович будет!

Но Елки он никогда не встречал.

— А Сережки — разве не смешно? — выпалила она. — Почему наша деревня Сережками называется? Вот и не знаешь!

Ленька опешил: он не знал.

И откуда ему было знать! Он и название-то «Сережки» вроде не слышал. Знал, что бабушка живет где-то в деревне, что рядом есть речка. Нара называется. А Сережки...

Вот, например, все испанские города и провинции, где шла борьба республиканцев с франкистами — Мадрид, Толедо, Валенсия, Гвадалахара, Астурия, Каталония,— он знал. Всех героев-пограничников, начиная с Карацупы, знал. И всех стахановцев и летчиков, совершивших дальние беспосадочные перелеты на Дальний Восток и в Америку, не говоря уже о челюскинцах и папанинцах. Не только по фамилии, но и по имени-отчеству. Футболистов «Торпедо», «Спартака» — тоже. Даже там разных иностранных представителей в Лиге Наций. Все высоты у озера Хасан: Безымянная, Черная, Богомольная, Заозерная, Пулеметная Горка, Междорожная...

Знал, наверно, потому, что любил читать газеты — взрослые, не только «Пионерскую правду».

А что Сережки! Про Сережки в газетах не писали. И бабушке в Сережки ему писем писать не приходилось.

Летом бабушка, верно, иногда гостила у них в Москве, а порой и зимой, к рождеству, а точнее — к Новому году, приезжала.

— Думаешь, из-за березкиных сережек? — продолжала Елка.— Вот и нет, хотя и много у нас берез вокруг. Просто помещик у нас тут жил один, в нашей школе, только до революции это было. Так, говорят, чудаковатый... Всех детей своих Сережками называл. А у него одни мальчишки и нарождались. Шесть детей, и все мальчишки! Вот и повелось — Сережки!.. Так папа мне объяснял. И мама. Вот!

— Интересно! — не выдержал Ленька, в самом деле пораженный неожиданным открытием.

Но подумал о другом. «Папа», «мама». Это смешно! Елке тринадцать лет, не маленькая уже, а говорит, как маленькая. Ленька никогда бы так не мог сказать: «мама», «папа». Ну, уж лучше: «мам», «пап»... Или «мать», «отец», когда говоришь о родителях с ребятами.

И все же почему она, приземистая, коренастая, не похожая ни на елку, ни на палку (уж скорей Ленька был в ее глазах палкой), зовется Елкой, не понял.

Ленька был почти на голову выше Елки. Но оказалось, что это ничего не значит. Он робел перед ней, краснел, как перед старшей. Куда делась московская самоуверенность? Наверное, потому, что она болтала без умолку? И спорила? И знала больше него? А ведь была одноклассница и, уж если говорить о возрасте, на два месяца моложе Леньки.

— А, Елка? — Она улыбнулась, и ее длинные выгоревшие ресницы зашевелились.— Мама когда-то так назвала. Она русская у меня... Так и повелось — Елка! Все привыкли...

— Почему русская? — не понял Ленька.— А какая же еще?

— Папа у меня эстонец. Только обрусевший,— пояснила Елка.— Хочешь, Анкой зови или Аней. Так тоже можно. Только на самом деле меня Эндой зовут, через «э» обратное. Это по-русски значит «своя»... Вот!

Леньке казалось, что она обыкновенная деревенская девчонка. Ходит босиком. Лицо с веснушками. Выгоревшие волосы и куцые косы. Даже глаза круглые, большие и, сразу видно, не голубые, не серые, не карие, а выгоревшие, бледные. И длинное платье выше колен, не такое, какие носили городские девчонки. И вдруг... папа — эстонец. Энда — «своя».

— Значит, ты иностранка? — Ленька вовсе удивился.

Живых иностранцев ему видеть не случалось. Если не считать испанцев, да и то детей, которые приходили к ним в школу на пионерский сбор. Их было много в ту пору в Москве. Но испанцы почти не понимали по-русски, а Ленька, как и все

ребята, понимал из их слов лишь одно: «Но пасаран! — Они не пройдут!» Это про фашистов, конечно...

— Какая же я иностранка, когда я языка эстонского не знаю и в Эстонии не была! — сказала Елка. — Знаю «тере», и все! «Здравствуйте», значит. Вот...

Елка, Елочка, Анка, Энда, «своя»... Всех этих премудростей Ленька сразу уразуметь не мог. В тринадцать лет да рядом с такой девчонкой — сложно.

— Я буду лучше звать тебя просто Елкой, — пробормотал он. — Ладно?

— А мне-то что! — весело сказала она. — Как удобнее, так и зови. — И тут же добавила: — В кино пойдешь со мной? «Семеро смелых». В клубе вечером крутят...

— Конечно. Почему не пойду!

— Так давай я за билетами сбегаю! А то, пока мы тут разговоры разговариваем, билеты пропустишь!

Потом, в то же лето, Ленька, кажется, понял, почему она Елка. В самом деле, колюча, ершиста, как елка. Что ни слово ей — в штыки, ехидничает или смеется. Ленька сникал перед ней.

Он приехал в подмосковную деревню Сережки. Приехал на лето к бабушке, хотя мечтал совсем о другом — о пионерском лагере.

Впрочем, что там приехал! Леньку привезла в деревню мать, обеспокоенная состоянием его здоровья после воспаления легких. Правда, она до последнего дня говорила: «Ты знаешь, путевки в лагерь мне пока достать не удалось. И все же, может быть...» Но Ленька знал, что дело вовсе не в этой путевке, а как раз в воспалении...

После воспаления легких Ленька, правда, был тощ, как жердь, — таких жердей можно найти великое множество и в самой деревне возле изб и за ее пределами: у скотного двора, конюшни и огородов. Ленька был, наконец, бледен, как вода в Наре, где ему на первых порах запрещалось купаться.

— Ты уж на реку-то не ходи, Ленек, — просила бабушка. — А то я маме твоей слово дала.

Это Ленька и сам знал.

— Купаться ты будешь не раньше середины июля, когда вода в реке окончательно прогреется, — наставляла его мать. — И очень прошу тебя не спорить со мной! Иначе я скажу папе. Мы с ним все продумали, все учли...

Родители, видимо, все продумали, все учли. Кроме одного: купаться Ленька мог и так, не обязательно на глазах у бабушки.

Ну что ж, пусть он не попал в пионерский лагерь, как поначалу хотел, все равно. Деревня так деревня. Сережки. Пусть Сережки. Есть что-то и поважнее деревни и лагеря.

Лагерь лагерем, а экзамены? Экзамены не шутка! Воспаление легких накануне экзаменов — что может быть удачнее!

В шестой класс Леньку перевели без экзаменов как раз благодаря воспалению легких. Все одноклассники завидовали ему. Еще бы! На экзаменах многие схватывали куда худшие отметки, чем четвертные. А Леньке именно по ним, четвертным, выставили годовые. И все! Три «посредственно» (их называли ласково — «посики»), остальные — «хорошо» и «отлично». И хотя отличные оценки у Леньки были только по физкультуре и поведению (по поведению ниже отметок вообще никому не ставили, даже самым отъявленным лоботрясам, загремевшим на второй год), все равно это были реальные «отлично». Ленька ликовал!

Но отцу об этом не скажешь. Матери — тем более.

Ленька похвастался перед Елкой. В тот же день, когда познакомился с ней в магазине.

Елка почему-то отнеслась к его сообщению о школьных успехах довольно спокойно.

— Подумаешь! Похвальбушка! У меня тоже два «посика». Только я не болела и сдавала экзамены, как все...

...То ли из-за этой Елки, то ли еще почему, но деревня Леньке окончательно разонравилась. Впрочем, ему и раньше-то никогда деревни не нравились. Так ему казалось, хотя он в деревнях и не бывал никогда...

Ну что тут, в этих Сережках? С утра выйдешь на улицу — уже нет никого. Одни малыши голопузые в песке копаются. Тихо, хоть караул кричи. Ни людей, ни машин, ни гудков, ни голосов...

Другое дело — в Москве. Там...

Что там, Ленька не мог и самому себе передать, но там — это там... Вот хотя бы кино. Иди куда хочешь, выбирай любую картину! А что? В самом деле так: ведь в Москве кинотеатров пятьдесят, не меньше. Или во дворе... Сколько в каждом дворе ребят собирается! Хочешь — в футбол сыграй, хочешь — по чердакам лазай, как по джунглям каким, или по крышам, а надоело — пошел купил мороженое... На каждом углу, пожалуйста!

— Природа у нас красивая, Ленек! — говорит бабушка. — Раздолье тебе!

Природа — может быть. Но что Леньке и природа эта, и раздолье, когда вокруг так тихо и деревня какая-то глухая!.. В Москве он никогда не знал, что такое скука, а здесь, пожалуй, заскучаешь. Правда, речка есть тут. Но и в Москве купаться можно. Ездили они с ребятами в Щукино на канал, к Тимирязевке на пруды ходили. Купайся сколько хочешь!

А радио? В Москве Ленька привык к нему настолько, что и не слушал. А здесь сразу заметил: чего-то не хватает. Понял:

радио нет. И газет. Дома отец выписывал «Правду» и «Вечерку», не считая «Пионерки»...

Бабушке почтальон приносит одну маленькую газетку. «Маяк» называется. Но в ней ничего нет. Ни про какие события. Только про такую-то бригаду, и еще про такую, и еще... Кто сколько чего собрал, кто как подготовился к пахоте, к уборке, к сенокосу, как идет прополка...

Ленька каждый день просматривает этот самый «Маяк», но интересного в нем мало. Он жил мировыми категориями, а тут ему — как идет прополка...

— Ну что, правда хорошо у нас? — спросила Елка.

— Ничего... Так себе... — не особенно лукавя, ответил Ленька.

— А ты знаешь, что наш колхоз самый передовой в районе? Вот и не знаешь! — воскликнула Елка. — А то, что его выдвинули на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку, знаешь? Э-э! Ну откуда тебе знать! Ты же москвич!..

В кино они ходили трижды. На «Семеро смелых», «Трактористы» и на немой фильм «Праздник святого Йоргена».

Поначалу Леньке неловко было ходить на глазах у всех с девчонкой.

Как-то он даже заикнулся:

— Может, ребят возьмем? Веселее!

У него уже были знакомые ребята в деревне.

— Если веселее, возьмем! Если меня боишься, обязательно возьмем! — отрезала Елка.

— Нет, почему же боюсь? Это я просто так, — попытался оправдаться Ленька.

В клубе всегда было тесно. Да и клуб, впрочем, не походил на клуб: бывший помещичий каменный амбар рядом со школой, заставленный длинными скрипучими лавками.

Елке, кажется, нравилось, что на них все смотрели. А Ленька прятал глаза, ерзал на месте и никак не мог дождаться, когда в зале потушат свет.

Наконец начинался сеанс, и Ленька, вероятно от долгого ожидания, почему-то принимался сопеть носом и чихать. Как назло, в самое неподходящее время у него появлялся приступ насморка.

— Будь здоров, — шептала Елка, поправляя на шее галстук. И еще раз:

— Будь здоров!

Снова:

— Будь здоров!

И вот, как ему казалось, не без раздражения наконец спросила:

— Ты что, простудился? Будь здоров!

— Почему? Я всегда, между прочим, в кино чихаю. И в Москве! — как можно убедительнее произнес Ленька.

Возле избы Ленька поймал ежа. Он спокойно топал почти рядом с крыльцом. Леньке такого видеть еще не приходилось. Он, конечно, накрыл ежа. Куртку скинул и ею накрыл.

Ежик оказался смирный. Не свертывался в клубок, не колосся, только фыркал чуть-чуть, будто чихал.

Леньке очень хотелось похвалиться своей находкой. Но бабушки дома не было, и ребят на улице нет... Что делать?

Пустил ежа по полу в комнате. Вспомнил — молока налил в блюдечко, поставил перед ежом. Не пьет! Носом его в молоко окунул — фыркает, не пьет.

Опять взял ежа, вышел на улицу.

Елка тут как тут.

— Что это у тебя?

— Да вот, поймал! Сам, понимаешь! Он около крыльца, а я...

— Отпусти его! Сейчас же отпусти! — закричала Елка. — Что ты его мучаешь?..

Ленька так растерялся, что сам не сообразил, как нагнулся, выпустил из рук ежа, и тот сразу же, фыркнув, исчез в палисаднике.

— Скучно? — почему-то спросила Елка.

— А что скучно? Нет...

— Знаешь, у нас тоже дома целая семья ежиная жила, — вдруг сказала она. — Еж, ежиха и маленькие. Под крыльцом. Так папа, бывало, их всегда кормил. Они совсем ручные были. А без папы и ежи пропали. То ли ушли куда, то ли что...

Ленька хотел спросить: «Почему без папы? А куда он делся?» Но не спросил. Промолчал.

Да и Елка уже о чем-то другом заговорила.

Сегодня он пришел в клуб без Елки. Был концерт самодеятельности, и она убежала раньше, чтоб подготовиться.

Оказывается, Елка пела. Ей подыгрывал гармонист.

Голос у Елки немного резкий, и все же ничего.

У лесной проталинки,
У ручья глубокого
Повстречала парня я
Синеокого.
С той поры, как встретимся,
Парень все смущается,
Говорить про трудодни
Принимается.
Ну, а мне-то про любовь
Все услышать хочется.
Про дела знаю я:
Как-никак учетчица!..

Кажется, так пела Елка. Пела совсем по-взрослому, и песни все взрослые. Не то чтобы там «Крутыми тропинками в горы...».

А потом она танцевала. Под колхозный оркестр.

Весь оркестр — шесть человек, и все ребята. Трое играли на обыкновенных самодельных свистульках, один стучал деревянными ложками, еще балалайка и гармонь. И все одновременно пели, но куда хуже Елки.

Елка отплясывала «Барыню».

После концерта Ленька возвращался вместе с ней. Через старый парк возле школы. Ленька волей-неволей озирался по сторонам.

Смотрят на них или нет? На деревьях вовсю горланили галки. Кружились, заслоняя вечернее небо, и дико кричали. Но вокруг, на земле, вроде никого рядом не было.

— А ты правда не боишься со мной ходить? — вдруг спросила Елка.

— Почему я должен бояться? — смутился Ленька.

— А потому, что у меня папа-то сидит. И из пионеров меня исключили. Вот!

— Как — сидит?

— Так и сидит, в тюрьме.

— За что?

— За картошку...

— Как — за картошку?!

— А я знаю? На суде говорили: за покушение на общественную собственность. А какое покушение, когда он картошку людям раздал? Мороз прихватил ее, а он и раздал... А ведь папа у меня в председателях ходил. Хозяином его все звали. Вот тебе и хозяин! Глупо, правда?

— Наверно, — согласился Ленька.

Еще через минуту он вспомнил:

— А почему ты говоришь: из пионеров исключили! Ты же носишь галстук!

Елка и правда все время ходила с пионерским галстуком. И сейчас, летом, когда галстуки никто из ребят не носил.

— И исключили! Даже галстук при всех на сборе сняли, — зло сказала Елка. — А я все равно ношу! Сама сшила себе и ношу! Пусть кто попробует отнять еще! И в комсомол буду вступать. Думаешь, не примут? Примут! Если хочешь знать, я даже Сталину об этом написала. И про папу. А он разберется! Вот!

...Иногда Ленька не видел ее по полдня. То сама прибегала к ним в избу чуть свет, то ждала на улице, у палисадника, а тут Ленька выходил — нет ее. Странно!

Вот и сейчас вышел — нет.

Бабушка оказалась рядом.

— А ты пойдй поищи ее...

— Кого, баб? — хмуро спросил Ленька, делая вид, что не понял.

— Да подружку свою, Елочку, — простодушно пояснила бабушка. — Ведь она хорошая у нас, Елочка. Не грех с ней дружить. Я смотрю порой на вас и радуюсь. Елочка — она такая, плохому тебя не научит... Трудолюбивая опять же...

— Я и не думал о ней вовсе, — пробурчал Ленька. — Я ребят просто жду...

— Ну, как знаешь, Ленек, — согласилась бабушка. — Смотри, сам большой. Я в бригаду побегу...

Ленькина бабушка, Александра Федоровна, как величали ее все в деревне, работала в колхозе. И, говорили, не хуже молодых по трудодням многих обгоняла. Впрочем, она не была старой. Пятьдесят два — разве это возраст! Пожалуй, только для Леньки она была старой. И лет в четыре раза больше, чем ему, и просто — бабушка...

Жила бабушка одна. Ленька знал, что из всех ее детей остались двое: отец Ленькин да еще бабушкина дочь, тетя Наташа, которая сейчас во Владивостоке вместе с мужем живет. Он у нее моряк-пограничник. Ленька его по фотографиям знал. А дом у бабушки ладный, просторный, чистый. И дранкой крыт. Стоит на самом краю деревни, у ельника. Там, за ельником, как раз и река Нара. И мост через нее. Хочешь — с левого берега ныряй, хочешь — с правого. Только, пожалуй, с левого лучше, он круче да и глубже там...

Сережки — деревушка небольшая: пятьдесят дворов всего. Может, чуть больше. Избы разные: под соломкой, и под дранкой, как у бабушки, и, совсем редко, крытые железом. Школа и клуб каменные, с виду красивые. Это и есть бывшая помещичья усадьба. Еще церковь, где зерновой склад помещался. А в общем-то, деревня как деревня, каких много.

Когда Елки не было, Ленька и впрямь не искал ее, а болтался с ребятами. По лесам, где было непроворот земляники, и по полям, где рос горох. Свежий, сладкий горох — объедение! Если бы живот от него не болел!..

На Наре тоже ничего, конечно, когда бабушка не замечала. Иногда по садам лазал, хотя их и не много в Сережках. Гоняли с ребятами лошадей на водопой. Возили солому на скотный двор. Собирали голубиные яйца на колокольне церкви. Мастерили капканы на кротов и ставили их по вечерам на кладбище — самом кротинном месте. Многие новые Ленькины приятели зарабатывали на кротовых шкурках немалые деньги в райзаготконторе.

Однажды к обеду Ленька с ребятами пригнали лошадей после водопоя. В конюшне он неожиданно столкнулся с Елкой. Раскрасневшаяся, растрепанная, она толкала перед собой тачку с навозом.

— Ой, ты? — Она, кажется, страшно удивилась и еще больше покраснела. — А я вот... Знаешь, трудодни приходится... Мама...

Ленька взял у нее из рук тачку.

— А ну дай! Куда? Везти куда?

Она показала.

— Да не надо... Я сама!

Ленька отогнал тачку за угол конюшни. Перевернул, опорожнил. Теперь назад в конюшню.

Елка помогала ему грузить. Потом семенила вслед за ним и все повторяла на ходу:

— Да хватит же! Хватит! Правда, я сама могу. Я привыкла. Вот!

А сама, кажется, была очень довольна.

Когда Ленька с независимым видом уходил из конюшни, мальчишки ждали его.

— Прямо и не поймешь, — сказал один из них, рыжий Колька, — кто из вас у кого на прицепе...

— На каком прицепе? — не понял Ленька.

— Да вся деревня говорит, что ты у Елки на прицепе, — пояснил рыжий. — А сейчас вот поглядели... Может, наоборот...

В конце лета Сережки провожали парней в РККА, то есть в Красную Армию. Вся деревня гуляла несколько дней подряд. В клубе был концерт, и Елка опять танцевала и пела, только другое:

Мой миленок ненаглядный
Идет в армию служить,
Пусть его скорей обучат,
Как любовью дорожить...

Ему летчиком быть,
Пулеметчиком быть,
Ну, а лучше быть связистом,
Чтоб меня не позабыть...

После концерта веселье пошло по избам.

Ленька завидовал бритоголовым парням, уходящим в армию. Ему этого дня еще ждать и ждать! Больше пяти лет ждать!

А пять лет — целая вечность! И вообще так вся жизнь пройдет!..

Елка говорила:

— А почему девчонок в РККА не берут? Вот скажи мне: почему? Анку-пулеметчику брали? Брали! А «Мы из Кронштадта» помнишь? Ведь брали! А сейчас? Разве это справедливо? А-а? Справедливо? В Конституции про равенство между муж-

чинами и женщинами записано? Записано! А где оно, это равенство? Неправильно это! Вот!

В день отъезда новобранцев Сережки как-то погрустнели. Играли гармошки, звенели песни, улыбались парни, но уже не так, как в прежние дни. И были слезы. Много-много слез, непонятных Ленке.

Кто-то, как назло, пустил еще слух, что началась война: мол, немцы напали на Польшу. Ну, а коль скоро война у соседей, так и нам нечего добра ждать.

Машины с призывниками уже тарахтели моторами, когда в толпу провожающих ворвалась Елка.

— Враки! — закричала она. — Про войну все враки! Я в райком из правления звонила. Никакие немцы не нападали ни на каких поляков! Враки все это!

Люди чуть успокоились. Повеселели. Ну, раз нет войны...

И ее не было. Еще несколько дней не было. До первого сентября не было.

Первого сентября уже в Москве, в школе, Ленка узнал: сегодня Германия напала на Польшу...

Рядом с их домом был овраг, превращенный в свалку.

Ель и береза как раз стояли у края этого оврага. Одинаково длинные, но и одинаково непохожие друг на дружку, стояли рядышком, словно росли из одного корня. Темно-зеленая крона ели будто специально оттеняла тонкий, белый с крапинками ствол березы, ее голую вершинку с ветками-паутинками. Вершинка покачивалась мерно-мерно — взад-вперед, взад-вперед, — и чудом уцелевшие к концу октября на одной из веток скрюченные бурые листья косой развевались на ветру.

И слева, и справа, и впереди, на глубине оврага, по соседству с кучами блестящего консервными банками и битым стеклом мусора, тоже росли ели и березы. Их было много, почти целый лес — темно-зеленых, и посветлее, и побурее елей и тонких, худых березок, — и все же они были не такие, как эти, на краю оврага. Уж очень красиво стояли эти два разных дерева рядом!

А когда наступали сумерки, казалось, еще ближе смыкались их стволы. И хвоя четче выступала на фоне сухой травы, длинных, тощих палок сорняков и кустарников, и белый ствол березы ярче выделялся в сером предвечернем осеннем небе.

Когда шел дождь, ель и береза выглядели не так, как всегда. Они чернели. Вместо темно-зеленого и белого откровенно черное и серое. И небо такое же.

— Что ты все время у окна торчишь? Или ждешь кого?

Ленка вздрогнул от слов матери.

— Никого я не жду! Почему?

Он и в самом деле никого не ждал. Не мог ждать.

Но вот уже много-много дней после возвращения из деревни он смотрел на эту ель и на эту березу. Кажется, прежде он их

даже не видел, не замечал. И были ли они? Наверное, были... А там, в Сережках, не было таких? Ленька старался вспомнить, но не мог.

Вспомнилось другое. И даже слова: «Если меня боишься, обязательно возьмем!.. Ты что, простудился? Будь здоров!.. А я все равно ношу! Сама сшила себе и ношу!.. И в комсомол буду вступать. Думаешь, не примут? Примут!.. Вот!..»

Еще совсем недавно, до лета, Ленька терпеть не мог всяких там книжек о природе. Да и в других-то, не о природе, там, где про леса какие или речки было написано, всегда пропускал эти места.

А теперь обзавелся Тургеневым, Пришвиным и Соколовым-Микитовым. Хотел еще купить Бианки, но слишком уж детские: картинок много, и все большие...

Смешно, наверно? Наверно...

— Мам! А на будущий год я поеду туда?

— Куда? — переспросила мать, занятая своими делами.

— Ну, к бабушке, в деревню... В Сережки эти...

— А хотел в лагерь... Значит, понравилось? Я очень, очень рада, — сказала мать. — Конечно, поедешь. И бабушка тобой довольна.

Слава бабушке, которая, оказывается, довольна своим внуком! Слава матери, маме, которая не пустила сына в пионерский лагерь! И воспалению легких слава!

Его звали по-всякому. В школе обычно по фамилии.

«Пушкарёв, ты опять разговариваешь?», «Пушкарёв, о чем я сейчас рассказывала?», «Пушкарёв, к доске!», «Пушкарёв, сколько раз тебя нужно предупреждать, чтобы ты не забывал дома учебник?», «Пушкарёв...», «Пушкарёв...», «Пушкарёв...»

Даже надоело!

Во дворе его звали проще — Ленькой. Мать и отец чаще говорили: «Лень...» Бабушка ласково: «Ленек...»

— Ты приехал! Я так рада! Правда, Леонид!

Только она звала его серьезно, по-взрослому — Леонидом.

Леньке нравилось это.

И все же сейчас, когда он через год вновь появился в Сережках, ему почему-то хотелось задеть ее гордое самолюбие.

Ленька долго выбирал подходящий момент.

Наконец, кажется, выбрал:

— А помнишь, ты говорила про войну с Польшей — «враки»? Вот и вышли тебе «враки»! И не только с Польшей... А с белофиннами? У нас знаешь у скольких ребят отцы на финской были! И в Западной Украине, Западной Белоруссии.

Елка как-то сразу посерьезнела. И спорить почему-то не стала, как обычно.

Сказала вдруг грустно:

— А я просто дурой была! Вот! Правда, Леонид? Это плохо, наверно, но я сейчас почему-то тоже верю... Или предчувствую, как это говорят, — как те женщины, которые прошлым летом плакали. Помнишь? Когда в армию провожали. Помнишь, что они говорили? Я все чаще их вспоминаю. Что делается всюду, посмотри! А Гитлер этот прет и прет!..

Леньке показалось, что он зря обидел своими словами Елку. Она, кажется, куда умнее и серьезнее его.

— О Гитлере ты не беспокойся, — сказал он. — У нас же с ним договор о ненападении... И вообще никакой войны не будет! Что ты! Какая сейчас война!..

Деревню Ленька увидел сейчас вовсе не такой, как в прошлом году. Тогда он, наверно, вообще ничего не видел. Ну, деревня и деревня, улица, избы, поля...

Оказывается, в СЕРЕЖКАХ было не так уж плохо. Единственная деревенская улица будто нарочно взбегала от оврага на косогор, к церкви, и там, дальше, последними своими избами уходила в молодой ельник. Совсем молодой. Салатного цвета елочки и сосенки, в два вершка и чуть больше, выходили прямо на самую улицу. Она здесь кончалась, а ельник только начинался. В песок, чистый, серовато-желтоватый песок, уходила дорога, и здесь же, в этом песке, росли рядками елки и сосенки. А за ними уже настоящий еловый лесок. Лес? Нет, лес — не скажешь. Именно лесок, поскольку в двухстах метрах от него, под обрывом, лежала Нара.

Ленька ходил по шоссейной булыжной дороге и по мосту за Нару. Там была почта. И писать родителям, к сожалению, надо. Он обещал. И приходилось писать раз в неделю. Когда на почту ходил, видел при въезде на мост знак «5 т» и бесчисленных рыбаков вдоль реки...

Леса со всех сторон окружали СЕРЕЖКИ. С этой, со стороны Нары, — ельник. Ели и сосны, молодые и старые, они звенели в сухие летние дни, напоминая удивительную, незнакомую музыку, и скрипели, трещали при ветреной погоде, как бы противясь ей.

Каждый лес вокруг СЕРЕЖЕК не был похож на другой. За картофельным полем на многие километры тянулся березняк, изредка перебиваемый орешником. За бывшей помещицкой усадьбой, где были теперь школа и клуб, — дубовая роща, а левее, за прудом, — осинник.

Вдоль самого пруда буйно разрослись ветлы. Издали они напоминали странных, почти живых существ: вроде какой-то смешной скульптор специально выставил здесь напоказ всем необычайные, огромные фигуры. А вблизи, стоило подойти

к пруду, они были обычными ветлами — старыми, кургузыми, по которым так удобно лазать.

Ветлы опускали свои раскидистые ветви прямо в воду, которая цвела зеленью, дружно квакала лягушками, мельтешила жуками — водолюбами, лужанками, прудовиками — и какой-то быстроходной насекомой мелочью. Эта мелочь бороздила поверхность пруда, как конькобежцы каток.

Вокруг Серезжек лежали поля. Слева и справа. За избами и впереди изб. На возвышенностях и в низинах. Упирающиеся в леса и уходящие в бесконечность к горизонту.

Казалось, и прошлым летом Ленька видел эти поля. Видел? Не видел. Смешно, наверно? Наверно...

Рожь, пшеница, клевер, горох, картофель, свекла, капуста... Каждое поле имело свой особый цвет, вкус и запах. И цвет этих полей на дню без конца менялся: утром — один, вечером — другой, в полдень — третий, в ясную погоду — четвертый, в грозу — пятый, под хмурым небом — шестой, на ярком закате...

Но больше всех Леньке нравилось одно поле. Оно вплотную подходило к бабушкиному огороду, что находился на задах их избы.

Поначалу Ленька даже не знал, что это за поле, что на нем растет. Он просто видел в поле среди прочей растительности около десятка ярких подсолнухов. А что вокруг них?

— Это вика, Ленек, вика, — объясняла бабушка. — Смотри, размахнулась!

Говоря по совести, Ленька не знал, что такое вика и для чего она нужна.

Но такие же подсолнухи, как на том поле, росли в палисаднике. Их было два, и они будто нарочно забрались сюда, к бабушкиной избе, с того самого поля.

Ленька слышал или читал, что подсолнухи поворачиваются головой в сторону солнца. Сейчас он сам видел это. И когда порой ему казалось, что тот или иной подсолнух не слишком быстро поворачивается к солнцу, он почему-то волновался и пытался сам помочь подсолнуху чуть повернуться...

Рядом с подсолнухами в бабушкином палисаднике росли два молодых дубка. Листьев на них было мало, да и не удивительно: земля вокруг высохла.

Дождей нет и нет!

Каждую первую попавшуюся свободную минуту Ленька брал ведро, набирал в колодце воды и поливал их. И дубки и подсолнухи. За этим занятием и застала его раз Елка.

— Ты что, Леонид? Зачем же по жаре поливать? Это, когда солнышко спадет, можно. А так они у тебя погибнут...

Ленька растерянно стоял с неопорожненным ведром перед ней. Она поняла, выхватила у него ведро и выплеснула воду под бузину.

— А вот ей все равно,— сказала.— Ей как-никак можно.

Потом помолчала, улыбнулась.

— А ты, Леонид, очень изменился с прошлого года. Совсем взрослым стал...

Над деревней часто кружили чайки.

Леньке не очень нравились эти птицы. Большие, красивые, но какие-то холодные, недобрые, хищные...

Откуда они? Или с Нары прилетают? И почему все время вертятся над прудом?

Пруд в Сережках большой. Некоторые его даже озером называют. Прямо рядом со школой, в бывшем помещичьем парке.

Посредине пруда плавневый островок. Он зарос белокрыльником, хвощом, чередой. По берегам пруда камыши и роголист. Не пруд, а джунгли.

Когда Елки не было, Ленька часто проводил время здесь. Не один, конечно, с ребятами. Ловил карасей.

Но вот эти чайки...

Только удочку забросишь, а они уже тут как тут. Так и крутятся над водой, будто норовят перехватить пойманное. И еще — неприятно кричат.

Ребята говорили, что там дальше, в плавнях, чайки выводят своих птенцов. А потом, как те подрастут, бросают их и улетают куда глаза глядят. И молодые чайки, только освоятся, научатся корм себе добывать, улетают кочевать.

«И верно, противные птицы!» — думал про себя Ленька.

Даже как-то Елке об этом сказал с видом знатока, когда в клуб шли мимо пруда.

— Противные, говоришь? Улетают? — переспросила Елка.— Всем бы такими противными быть! А знаешь, что они на ночь сюда, на пруд, возвращаются? Не знаешь! А осенью вот улетят в чужие края, так потом, думаешь, как? Сюда вернутся гнездоваться! Детей воспитывать на родном месте! А ты говоришь — противные!

— Купаться пойдем? — спросила Елка.

Вопрос был обычный, если бы его задал любой из сережкинских мальчишек, и Ленька сразу же ответил бы на него: «Конечно!»

Но тут — Елка. С ней он ни разу не ходил купаться ни прошлым летом, ни сейчас. И вообще с девчонками не купался.

— Пойдем,— промямлил Ленька, понимая, что молчать дальше нельзя.

Они пришли на крутой берег Нары. Здесь Ленька купался и прежде. Елка отбежала куда-то в сторону, быстро переоделась, вернулась, спросила:

— Ты что, не будешь купаться?

— Почему не буду? — Ленька начал поспешно раздеваться. И черт его дернул не сделать это раньше, пока Елки не было!

Кажется, Елка не понимала Ленькиного смущения.

— А хороша у нас Нара, правда? — спросила она. И тут же добавила: — А ведь сюда Наполеон доходил. Ты историю любишь? (Ленька не успел ответить, поскольку поправлял в этот момент трусы.) Я — очень! Помнишь, Кутузов, после того как Москву сдал, докладывал царю? Я наизусть помню. Вот!.. — Елка встала в торжественную позу: — «Вступление неприятеля в Москву не есть еще покорение России... Хотя не отвергаю того, чтобы занятие столицы не было раною чувствительнейшею, но, не колеблясь между сим происшествием и теми событиями, могущими последовать в пользу нашу с сохранением армии, я принимаю теперь в операцию со всеми силами линию, посредством которой, начиная с дорог Тульской и Калужской, партиями моими буду пересекать всю линию неприятельскую, растянутую от Смоленска до Москвы, и тем самым отвращая всякое пособие, которое бы неприятельская армия с тылу своего иметь могла, и, обратив на себя внимание неприятеля, надеюсь принудить его оставить Москву и переменить всю свою операционную линию...»

Ленька даже опешил.

— И откуда ты это знаешь?

— Как — откуда? В книжке одной прочитала.

— И выучила?

— Специально не учила. А так запомнила...

— Здорово!

Ленька в школе даже стихи-то с трудом заучивал наизусть, а здесь целое письмо Кутузова...

— А потом, после этого письма, — продолжала Елка, — Кутузов и впрямь перехитрил Наполеона. Пошел по Рязанской дороге и вдруг хитро — назад, на Калужскую дорогу. Про Тарутино помнишь?

— Помню, — неуверенно сказал Ленька.

— Вот под Тарутином и дал Кутузов тогда бой Наполеону. «...Село Тарутино, — писал он после боя, — ознаменовано было славною победою русского войска над неприятелем. Отныне имя его должно сиять в наших летописях наряду с Полтавою, а река Нара будет для нас так же знаменита, как и Непрядва, на берегах которой погибли бесчисленные ополчения Мамая...» Вот!

— И это ты знаешь? — поразился Ленька.

Потом они купались. Чтобы как-то восполнить перед Елкой свои пробелы в исторической науке, Ленька старался показать класс плавания и ныряния. Плавала Елка тоже неплохо, а вот нырять...

— Ой, ой, Леонид, прошу тебя, не надо так! Ты же за-

хлебнешься! Зачем так долго! — восклицала она, когда Ленька появлялся из-под воды, еле дышащий и безумно счастливый. — А потом, вдруг там, на дне, каракатицы какие-нибудь сидят! Как схватят! — Елка уже откровенно смеялась. — Или еще лучше: француз какой-нибудь с той войны, Отечественной? А-а?!

...Река Нара. Речка Нара. Речушка Нара. Сто семьдесят три километра длиной. Левый приток Оки.

Что Ленька знал о Наре?

Бежит небольшая извилистая речка. Заросли тростника и осоки, а рядом луга, свежие, ярко-зеленые, пестреющие цветами.

Видно, весной разливается речка и доходит аж до того леса с подмытыми берегами. Лес — ельник с дубом. И еще орешник, осока в траве, яркие колокольчики, и земляника, и листья ландыша. По соседству мхи и лишайники. Целые ковровые острова!

Чуть дальше по реке — бузина, ивняк, шиповник. Ветви кустарников свисают с крутых, подмытых берегов прямо в воду. Тут, в воде, и осока, и белая кувшинка, и желтая кубышка, и хвощ. Речка как бы огибает бурно растущую зелень и жметя вправо, к низкому берегу. Точит-точит Нара правый берег, и здесь уже намыт песчаный пляж. Купайся хоть до одури!

Или на левый берег взгляни. Да что там — взгляни! Неширока речка Нара, перебирайся вплавь, а местами и вброд, выходи на крутой песчаный берег к сосновому бору. Минуешь песок, усеянный молодыми побегами типчака, вдохнешь сосновый воздух, пахнувший вперемешку и жимолостью, и крушиной, и черемухой, и смотри под ноги — собирай и клади в рот все, что душе угодно. Тут и землянику переспелую найдешь, и чернику, и костянику, и голубику, и ежевику, а подалее и малинка попадается. Крапива, правда, вокруг малины, но сейчас крапива еще не разрослась — и отодвинуть можно рукавом, и ногой прижать...

Дальше по Наре пойдешь и березовые леса встретишь. Самые что ни на есть грибные места. Конечно, когда грибам время придет. В этом же году пока сухо. Даже сыроежки на корню сохнут, и поганки еле-еле пробивают сухую землю. Зато на сырых местах, уже сейчас видно, клюквы и морошки будет немало. Вот только выйдет срок...

Под ногами пушистые метелки келерии и бархатистая лапчатка. Много ее в это лето! А на полянках, на лугах таволга и вязель, в кустарниках — вечерница и живокость. И все живет, цветет, буйствует, радуется глаз...

Нет, Ленька ничего не знал о Наре и о ее берегах! И не только потому, что не слышал прежде о боях с Наполеоном на Наре. И о письме Кутузова царю, и о словах его после победы под Тарутином. Не только поэтому...

Сережки, как оказалось, тоже находятся при Наре. Женщины идут на берега Нары полоскать белье. Мужчины в каждую свободную минуту — на рыбалку. Мальчишки и девчонки — на купание. А старухи, на что уж Александра Федоровна, бабушка, и то по вечерам вылезают на берег Нары: сидят, смотрят на реку, вздыхают почему-то и смотрят вдаль, туда, за реку, думают, размышляют о чем-то своем, давнем...

Нет, не знал Ленька прежде Нары.

— Купаться пойдем? — спросил он как-то Елку.

— Купаться?

— Да, на Нару, — решительно подтвердил Ленька.

— Пойдем, Леонид, — согласилась Елка. — Я только тогда сбегая переоденусь...

И опять пели соловьи над Сережками. И гремели патефоны. И весело маячили белые свежие столбы, которые скоро принесут сюда свет и радио. И трещал движок возле переполненного клуба, где после доклада о международном положении шел концерт, и в нем, конечно, выступала Елка.

— Баб! А ты что там, в этой своей бригаде, делаешь?

Каждое утро, чуть свет, уходила Александра Федоровна из дому; днем, в обед, забежала в избу в лучшем случае на полчаса, чтобы покормить Леньку, и опять исчезала до вечера.

Что делает бабушка в бригаде, Ленька, в общем-то, знал. Вопрос его имел скорее другой, неведомый бабушке смысл...

Александра Федоровна сначала не поняла.

— Как что, Ленек? — переспросила она. — Как все. Куда колхоз пошлет — на прополку ли, на уборку, на стройку какую, туда и идем. Сейчас сенокос, к примеру. В лесах косим, по оврагам. А там и клевер ждет...

Поля вокруг Сережек велики. В один край пойдешь — километров восемь будет. В другую сторону не меньше, а то и все десять. А тут еще и леса, где колхозники косили сено, и скотный двор, и конюшни, и полевой стан, и стройки всякие. Сейчас вот свиноферму строили, а в самой деревне еще и ясли...

На полях бабушку и ее бригаду Ленька почти не встречал. Не встречал, хотя каждый день тоже делал что-то с ребятами для колхоза. А иногда теперь и с Елкой. И если прошлым летом для него все это было только забавой, развлечением, то сейчас...

Но Александра Федоровна, кажется, поняла что-то:

— А чего-то ты, Ленек, интересуешься? Уж не в бригаду ли ко мне захотел? Не разрешу, Ленек, не разрешу! И так, знаю, все лето трудишься. Думаешь, не вижу! Да и люди говорят. Как же я маме твоей в глаза посмотрю? Она тебя на отдых прислала, а ты все в поле да в поле. И так колхозу помощь. Хватит, Ленек!..

Ни о каком колхозе Ленька сейчас не думал. Смешно, наверно? Наверно...

Смешно, но Леньке почему-то очень хотелось теперь быть похожим на Елку. На ту самую Елку, которая умела доить коров и скирдовать сено. На ту, которая полола свеклу и косила траву. На ту... В общем, на ту, какой он ее видел и знал.

— А уж если хочешь помочь, Ленек,— предложила Александра Федоровна,— то сходи завтра на базар. Как раз и день выходной, базарный. Сама бы сходила, да мы еще сено не все убрали.

Это Ленька любил. И на базар ходить, и в Москве — по магазинам. Дома мать всегда хвалила Леньку: «Ну, купил все лучше, чем я. И мясо выбрал какое! Молодец, Лень!..»

Наутро они пошли с Елкой на базар. Через молодой ельник, потом вниз, к Наре, и дальше через мост. У реки носились стрижи и бегали по песчаным отмелям деловитые трясогузки.

А в лесах — и справа от реки и слева: «сить, сить, ти-ти, ти-ти, ции-ри-ри-ри, ции-ри, терр-церк, терр-церр». Это пели синицы.

И трещали сороки, и подавали свои голоса дрозды и иволги, и где-то далеко и глухо куковала кукушка.

Уже на обратном пути, проходя с покупками по скрипучему деревянному мосту, Ленька вдруг заметил прямо перед собой на крутом обрыве ель и березу. Они были точно такие же, как у их дома в Москве, и так же росли рядом, словно из одного корня. Только ель посветлее и береза покрыта живыми, шевелящимися листьями. Ну конечно, он вспомнил их теперь! Он видел их в прошлом году...

Ленька даже присвистнул от неожиданной радости, саданул ногой по какой-то щепке, и она полетела за перила моста, крутясь, в воду.

— Ты что, Леонид? — серьезно спросила Елка.

Он ухмыльнулся.

— Да ничего! Просто нравится здесь!

— А я не понимаю все-таки, зачем ты купил эту утку? — невзначай спросила Елка.

— Утку? — не понял Ленька.— Бабушка просила, и купил. Для еды. А что?

— А кто ее резать будет?

— Как — кто? Или бабушка, или я,— не задумываясь, ответил Ленька.— А кто же еще? Я могу!

— А я никак не могу,— призналась Елка.— И никогда бы не смогла. Наверно, это глупо? Да?

Потом сказала другое:

— А знаешь что? Давай как-нибудь на Нарские пруды съездим? Только лошадь надо в колхозе взять. А то далеко...

Ленька не слышал прежде о Нарских прудах.

— Знаешь, как там! Во! — продолжала Елка. — И недалеко! Часа четыре с половиной... В общем, надо на весь день туда ехать.

— Что ж, давай съездим, — согласился Ленька. — А когда?

Лето, как всегда, проходило быстро. Казалось, еще вчера по деревне летел тополиный пух и пахло свежескошенным сеном и земляникой, а вот уже и одуванчики отцвели, и васильки у дорог поблекли, и все чаще в полях слышался шум тракторов: началась уборка. И цвета — земли, лугов и лесов — были теперь другие, и птицы пели иначе...

В один из начальных августовских выходных дней к Леньке приехали мать и отец. У отца были свежие газеты, и Ленька сразу же уткнулся в них, попутно отвечая на вопросы родителей:

— Да, хорошо!.. Ага, хорошо!.. Что?.. Да, все хорошо... Сплю? Хорошо сплю!..

Александра Федоровна довольно поддакивала. Что-что, а у нее к внуку никаких претензий. Наоборот! И по дому помогает, и слушается, и в колхозе не чужой человек — люди хвалят... Все б такие дети были!..

Ленька не слушал разговора старших.

Вдруг сорвался с места:

— Пап! Можно, я на минутку? Мам! Мне очень нужно! Я сейчас вернусь...

Родители и бабушка молча переглянулись.

— Ну конечно, Ленек, сбегай, сбегай, — первая сказала бабушка. — Пусть сходит, — добавила она уже родителям. — Всякие дела могут быть у человека. Мало ли что! Да возвращайся скорей. Праздник у нас нонче, как-никак праздник.

Ленька схватил одну из газет и выскочил из избы.

Елку он нигде не мог найти, хотя и обегал полсела. Наконец, решившись, постучал в ее дом. Постучал впервые: он никогда не решался зайти к ней, даже когда она звала — отговаривался.

— Ел... Елочку можно? — спросил он, когда ему открыла ее мать. И сам не понял, почему Елку назвал Елочкой. От растерянности, что ли?..

— Заходи, Леня, заходи, — просто сказала Елкина мать.

Она знала Леньку и прежде, не раз встречала и в поле и на улице. Но в доме никогда, и потому, наверно, Ленька побаивался ее.

Но сейчас увидел, услышал, и все оказалось проще. Она была, пожалуй, такая, как и его мать и как его бабушка, — чуть старше матери, чуть моложе бабушки. И лицо простое, и улыбка, и слова:

— Заходи, Леня, заходи...

У Леньки отлегло от сердца, особенно когда он увидел Елку.

— Вот слушай, — бодро сказал Ленька, развернув газету. — Слушай! Так вот: «Закон о принятии Эстонской Советской

Социалистической Республики в Союз Советских Социалистических Республик... Шестого августа тысяча девятьсот сорокового года...» Значит, ты, Елка, теперь не иностранка?

Елка молчала. Улыбалась и молчала.

— А у нас тоже, Леонид, радость, — наконец сказала она. — Папу освобождают. Вот письмо прислал. Пишет, что теперь съездим в Таллин, на родину. На будущий год, пишет, обязательно съездим...

Елки-палки — лес густой,
А ты, Леня, холостой...

Ленька не понял, хотя она впервые назвала его не Леонидом, как прежде, а Леней.

Они шли по сжатому ржаному полю. Высоко в небе кружились жаворонки. И носились стаи воробьев. И парил выше всех ястреб-перепелятник. Было душно и знойно, как перед грозой.

Ленька не знал, что ответить.

Сказал просто так:

— Конечно, холостой. Ну и что?

— Так просто. Может, я тоже никогда замуж не выйду. Вот!

— Почему? — спросил Ленька, чтобы не молчать.

— Да меня все в школе мальчишкой зовут...

Потом они шли молча. Елка без конца нагибалась, подбирала колоски ржи. Набрала целый букет, остановилась.

— Хочешь, я тебя поцелую?

Ленька опешил.

Покраснел как рак.

Она подпрыгнула и неловко чмокнула его не то в щеку, не то в нос.

— Зачем? — глупо спросил Ленька.

— Так просто, Леонид! Вот! Захотелось почему-то. И все! — И она убежала. На бегу обернулась. — Может, встретимся!..

Нет, оказывается, Ленька никогда прежде не знал, какая она. А она была и елкой и березкой сразу. Как те у их дома в Москве. Как те на берегу Нары у моста. Непохожие и одинаковые. И растущие как бы от одного корня.

Так больше они ничего и не сказали друг другу. И на Нарские пруды не съездили.

Наутро Елка с матерью уехала в Москву. Об этом Ленька узнал, когда их уже не было. И еще узнал: они поехали встречать Елкиного отца.

Их не было ни завтра, ни через два дня, ни через неделю.

Младшие Елкины братья и сестренки, оставшиеся жить дома под наблюдением соседки, ничего не знали.

— Как встретят, так и вернутся, — спокойно сказала Ленке старушка соседка. — Как же им без отца-то возвращаться? Не резон!

Ленька торопился. Дома ждали. Отец уговорил бабушку поехать к ним домой в Москву погостить. Отдохнуть. Александра Федоровна долго упиралась, но наконец решилась.

Сегодня они уезжали.

— Не горюй, Ленек, — вздыхала бабушка, глядя на недовольное Ленкино лицо. — Лето настанет — и опять приедешь. Здесь тебе вольготно...

Лето настало. Необычное лето следующего года. Радиорепродукторы, заработавшие в Серезках в канун воскресенья 22 июня, сообщили наутро то, что сообщали во всех других деревнях и городах...

— Уж лучше б и не проводили этого проклятущего радио! — говорили в тот день в Серезках.

В Москве, в Ленкином доме, где радио было давно, молчали. Молчали, ибо что скажешь, если война...

Сначала было долгое, нестерпимо долгое и тяжкое, как эти первые военные летние месяцы, ожидание: когда, когда же наконец их остановят?

Ни работа с утра до вечера и до седьмого пота в колхозе, где теперь остались почти одни бабы и ребята да еще такие вот, как она, — ни дети, ни взрослые, ни то ни се не спасало от этого беспокойного вопроса. Ни сводки Совинформбюро. Ни слухи.

Июнь. Июль. Август.

Немцы шли и шли на восток.

Потом, в сентябре, все строили оборонительные рубежи под Малоярославцем. И под Наро-Фоминском. А затем ближе и ближе к дому.

Елка копала тяжелую землю и опять думала: когда их остановят?..

Так думали все.

С наступлением октября все явственнее запылали зарницы там, за Нарой. По ночам воздух тяжело гудел от немецких самолетов, летевших сразу по нескольку сот штук на Москву. В окрестных лесах ухали зенитки. Транссирующие очереди и прожекторы уходили в холодное осеннее небо. А мимо Серезек все шли и шли наши войска, пешие и конные, на грузовиках и мотоциклах, и все туда же — через мост за Нару.

Навстречу им из-за реки двигался обратный поток — санитарные машины и телеги с ранеными. Поток этот рос с каждым часом, с каждым днем.

Вроде Серезки вовсе замерли. Их уже доставала не только

немецкая артиллерия, а и минометы. Даже малютки — пятидесятимиллиметровые минометки. «Юнкерсы», не долетавшие до Москвы, разгружались тут же, по соседству. Первым взлетел на воздух клуб. Потом школа. Вот и церковь — зерновой склад...

Группа немецких армий «Центр» — почти семьдесят пять дивизий — вела наступление на Москву. Гитлер — в который уже раз — требовал от них добиться решительного успеха на Московском направлении. Миновали июль, август, сентябрь.

«Сегодня начинается последняя, решающая битва этого года», — писал Гитлер в обращении к войскам 2 октября.

Группа «Центр» получила новое пополнение, новую технику. Ей была придана тысяча самолетов, в том числе пятьсот бомбардировщиков.

3 октября немцы ворвались в Орел, 5 октября — в Юхнов и Мосальск, 12 октября — в Брянск, 14 октября — в Калинин, 16 октября — в Боровск, 18 октября — в Малоярославец. В двадцатых числах пал Волоколамск...

21 октября части 258-й немецкой пехотной дивизии вступили в Наро-Фоминск. Вступили, вышли к реке Наре...

Река Нара. Речка Нара. Речушка Нара.

На берегах Нары стали 33-я и 43-я наши армии. Стали насмерть.

Среди них — 1-я гвардейская Московская мотострелковая (Пролетарская) дивизия и 4-я дивизия народного ополчения Куйбышевского района Москвы... Стали насмерть танкисты и саперы, артиллеристы и минометчики, автоматчики и связисты, кавалеристы и пехотинцы, обозники и санитары. Все занимали оборону. Все...

Дождь. Дождь. Он лил, кажется, трое суток подряд. Мелкий, промозглый, удручающий. Над полупустынными Сережками висел туман. Ни зги не видно. Только слышны приглушенная речь в прибрежном ельнике, и ржание лошадей, и вкусные запахи походных солдатских кухонь. Там скапливаются наши войска.

Строят землянки, огневые позиции, ходы сообщения вдоль Нары.

Может, здесь их остановят? Здесь, на Наре? Может?.. Должны!

Как раз в этот дождь и туман прощался Елкин отец. На нем старый полушубок, ватные штаны, зимняя шапка. На груди — автомат.

Отец сначала поцеловал младших.

Поцеловал жену.

— Береги себя, Рикс,— сказала она.

Елку он взял за плечо и вывел из землянки, где они теперь жили.

На улице сказал:

— Энда, во-первых, смотри за нашими. Очень прошу! А во-вторых, ты мне будешь нужна. Учти. Тебе сообщат.

Теперь он поцеловал и ее.

— Ну, бывай. И не кисни смотри! Я пошел.

Все знали, куда он уходит.

Киснуть Елке было некогда. Три дня и три ночи она перевязывала раненых и хоронила умерших от ран. Немцы вышли на другой берег Нары. Бои не прекращались.

На четвертую ночь ее позвали. И она пошла туда, к отцу.

Два документа.

...В целях обеспечения обороны Москвы и укрепления тыла войск, защищающих Москву, а также в целях пресечения подрывной деятельности шпионов, диверсантов и других агентов немецкого фашизма Государственный Комитет Обороны постановил:

1. Ввести с 20 октября 1941 г. в городе Москве и прилегающих к городу районах осадное положение...

*В Ленинградский райвоскомат
гор. Москвы*

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу немедленно призвать меня в ряды РККА или направить в тыл врага, чтобы защищать Москву. Я — боец добровольческого рабочего отряда. Умею стрелять. Комсомолец. Из 50 возможных выбиваю 30. Взысканий не имею. Готов отдать жизнь за Родину, за Москву!

Убедительно прошу не отказать в моей просьбе.

Л. ПУШКАРЕВ

20 октября 1941 г.

Молчаливая, замкнутая, словно ее подменили. Ни улыбки. Ни бойкости. И внешне неузнаваема: чумазое лицо, платок, надвинутый на лоб, драное пальтишко, высокие резиновые сапоги. Руки красные, обветренные, в пупырышках. Это от воды.

Елка ли это? Елка. Елочка. Елка-палка... Она ли? Она.

Она видела, как длинные ночи и короткие дни Нара полы-

хала в огне. Полыхала с правого берега. Полыхала с левого. Земля вздрагивала от взрывов бомб. Вздрагивала от разрывов снарядов и мин. Глухие ружейные выстрелы с двух берегов сменялись автоматной и пулеметной бранью. И опять наступала недолгая тишина, когда по незамерзшей реке мирно плыли сбитые войной хвойные ветки, немецкие каски и русские ушанки, а порой и шла кровь...

И еще она понимала: бои идут трудные, куда тяжелей тех, которые были две недели назад, когда она вытаскивала из-под огня раненых. Сейчас, пожалуй, ей не справиться бы... Слишком много...

Но теперь у Елки было другое дело. Очень маленькое и очень простое. Свое дело. Она ходила туда, через Нару, на чужой, ныне уже немецкий берег, и потом возвращалась обратно. Там, на другом берегу, в десяти километрах Никольский лес, где находился отец со своим отрядом. Здесь политрук Савенков. Все, что говорил Савенков, она передавала отцу. Все, что говорил отец, — Савенкову.

И вот сейчас политрук спрашивает ее о другом:

— В Наро-Фоминске тебе доводилось быть?

— Два раза тогда еще, до войны, — сказала Елка.

— Сходишь, если нужно будет?

От Сережек до Наро-Фоминска не один десяток километров. До войны они ездили туда с матерью на лошади. Елка вспоминала, прикидывала: не меньше пяти-шести часов. А пешком...

— Туда же далеко, — наконец сказала она Савенкову.

— Тебя отвезут...

— Тогда схожу...

Выпал снег.

Они долго ехали с Савенковым по грязным дорогам на побитой, кое-как перекрашенной в белый цвет «эмке», пока наконец не попали в расположение танкистов.

— Посиди, — сказал политрук, когда машина остановилась.

Он долго искал кого-то, потом вернулся с батальонным комиссаром.

— Идем, идем! — Батальонный комиссар почему-то прижал к себе Елку, когда она вылезла из машины, да так и не отпускал всю дорогу, пока они не вошли в довольно просторную землянку штаба. — А теперь ешь — и спать! Спать немедленно!

Елка пробовала отнекиваться, но ничего не вышло.

— Слушай старших, — весело посоветовал Савенков. А я поеду. Увидимся.

Они попрощались.

Политрук уехал, а Елка долго хлебала из котелка густой пшенный суп с американской тушенкой. Есть не хотелось, но батальонный комиссар сидел рядом и без конца повторял:

— Лопай! Лопай!

Что было потом, Елка не помнила. Проснулась, когда на улице уже было темно. То ли от скрипа двери, то ли от шагов проснулась.

— Выспалась? Ну и молодец! — произнес батальонный комиссар. — А теперь познакомься. — И он показал на стоявшего рядом военного в замасленном комбинезоне и танкистском шлеме. — Лейтенант Хетагуров. Вот как раз у нас с ним и есть одна мысль...

Под прикрытием темноты Елка перешла Нару в стороне от города. До рассвета, как и было сказано, просидела в Елагином овраге. Потом пошла по улицам, знакомым по давним воспоминаниям и незнакомым, разбитым, сожженным, усеянными кирпичом и стеклом, горелыми досками и вышибленными рамами. Пошла по больным улицам больного города. Он не дымил трубами своей текстильной фабрики, не пестрел яркими красками базара, не манил витринами магазинов — все это было тогда, в детстве...

На стенах сохранившихся домов и на столбах висели объявления. Белая бумага. Немецкие слова, затем русские. И на обороте сначала русские, потом немецкие:

«Всем жителям города предписывается в течение восьми часов зарегистрироваться...»

«24 октября за пособничество партизанам расстреляны: Иванов Николай, Стрехов Петр, Васильковская Мария, Щебетков Семен. Немецкое командование предупреждает, что и впредь все, кто оказывает содействие партизанам...»

«Германское командование извещает население, что в городе вводится комендантский час с 8 часов вечера до 8 часов утра. Все, кто появится на улицах в указанное время, будут без предупреждения...»

Елку никто не останавливал. Такие же, как она, люди нет-нет да и мелькали на улицах. И ребята. Кто с ведром, кто с охапкой щепок, кто просто так.

Немцы покрикивали:

— Лос, лос, шнель дурх!¹

Иногда грозились автоматами.

Их было много. Всякие. Чаше хилые, с поднятыми воротниками шинелей и надвинутыми на уши пилотками. В огромных эрзац-валенках и ботинках. Холодно, что ли?

Они как раз и были нужны Елке. Вот здесь, на центральной улице. И у Дома Советов, где особенно много офицеров. И вот в этом двухэтажном доме, где остались буквы от вывески — «...дмаг». И еще — машины. Бронебье с крестами и штабные. А на площади — замаскированные сеном орудия...

¹ Давай, давай, проходи скорей! (нем.)

Елка шла и запоминала. Запоминала и шла дальше. Одна улица, другая, третья, четвертая, пятая...

И опять немецкое:

— Гей вег, руссише швайн!¹

Она ускоряла шаг.

Еще улица. Еще. И вновь центральная улица, где находится штаб немецкой дивизии. Теперь, кажется, все...

А на следующий день, когда Елка уже была в своих Сережках, случилось неожиданное. Среди бела дня танк «КВ» под командой лейтенанта Хетагурова ворвался в занятый немцами Наро-Фоминск. Час и сорок минут носился он по улицам города, уничтожая орудия и пулеметные гнезда, штабы и вражескую живую силу.

Об «огненном рейде» лейтенанта Хетагурова писали газеты, говорило радио.

За «огненный рейд» советского лейтенанта командир 258-й немецкой пехотной дивизии удостоился выговора от высшего начальства...

Снег все шел и шел. Крупными мокрыми хлопьями. Шел так густо, что не успевал таять, хотя на дворе нулевая температура. На земле проглядывала совсем еще свежая травка. Зеленая, как весной. Лысынами лежала земля под елями и соснами.

Несколько дней назад, когда не было столько снега, казалось, трава давным-давно пожухла. И никто не удивлялся. Как-никак осень, ноябрь.

А тут пошел снег, лег неровными островками на лесных полянах, на пашнях, на косогорах, на деревенской улице, и оказалось, нет, не пожухла трава. Наоборот, словно пуще зазеленела. И еще зеленей стала хвоя елей, и в ложбинках, подмывая снег, побежали ручьи, оголяя по-весеннему свежую, парную землю с какими-то росточками и лепестками и совсем еще живыми еловыми ветками, сбитыми войной.

По лесам была немецкая артиллерия. При каждом выстреле и взрыве металась по лесу перепуганные птицы. Они почему-то никак не хотели покинуть знакомые места. И каждое дерево, будь то ель или береза, сосна или дуб, осина или клен, бузина или куст шиповника, вздрагивало почти по-человечески — испуганно и с надеждой. С надеждой, если не было прямого попадания или слишком крупных осколков. Даже упрямые дубки, и в эту уже почти зимнюю пору никак не желавшие сбрасывать с себя сухую листву, вздрагивали...

Им, деревьям, живым деревьям, доставалось сейчас ничуть не меньше, чем людям. И если люди живут для людей, то

¹ Убирайся отсюда, русская свинья! (нем.)

и они, деревья, для них же! Для людей! И для земли, которая вечна! Как люди...

Елка рада была наступлению зимы. У нее особые на то причины.

Река Нара. Речка Нара. Речушка Нара. Она стала сейчас ее жизнью, ее судьбой. Нара должна наконец замерзнуть. Должна! Переходить ее вброд хуже, чем переходить по льду. Вода в Наре все равно ледяная, хотя и нет льда. А если действительно заболеешь и свалишься? Кто тогда будет ходить через Нару?

И еще эта водка. Та самая, которая пока спасает Елку. После каждого перехода Нары она с трудом опрокидывает полстакана. Это противно, хотя и нужно. Но запах! Запах! Даже когда ее, полузамерзшую, мокрую, дрожащую, растирали водкой после возвращения из Наро-Фоминска, она еле выдержала...

Скорей бы лед на Наре! Скорей бы!..

...Снег завалил их землянку в Сережках. И избу с выбитыми окнами, с полуразбитой крышей, со срезанными миной сенями. Но в избе все равно никто не жил сейчас. А землянку надо было откапывать. Два дня Елка была дома. Два дня она занималась этим, ибо снегопад не прекращался.

Заиндевели елки и сосны возле палисадника. Запорошило снегом стволы берез и осин. Снег продолжал идти, а с деревьев капало, как в весеннюю пору. То ли снег был действительно мокрый, то ли деревья с лета сохранили тепло, и снег не задерживался на их ветвях. Капель, настоящая капель...

Вместе со снегом в последние дни на Сережки все чаще опускались немецкие листовки. Зеленые, белые, розовые, голубые. «Русские солдаты-герои! Войне пришел конец! Москва пала! Сдавайтесь, чтобы сохранить себе жизнь! Эта листовка служит пропуском!..», «Солдаты Красной Армии! Не верьте политкомиссарам! Судьба Москвы и России решится в ближайшие дни! Спасайте свою жизнь! Эта листовка служит пропуском...», «Русские! Вам не будет пощады! Бросайте оружие и свои позиции! Немецкая армия сильнее вас! Сталин уже принял решение бросить Москву. Что вы защищаете? Скорее сдавайтесь немецкому командованию. Эта листовка служит...»

Зеленые, белые, розовые, голубые. Они были разные не по цвету, а словно их писали разные люди. В одних — уже пала Москва. В других — судьба ее только решается. В третьих — наивное о политкомиссарах...

Ночью над Сережками пролетел самолет. Его обстреливали с другого берега Нары. Он увиливал от выстрелов, долго кружил, наконец сбросил на землю какую-то пачку и ушел в сторону, вдоль реки. Жителей в деревне осталось совсем мало, но когда Елка примчалась к пруду, там уже больше десятка людей о чем-то спорили и, больше того, скандалили:

— А мне?

— Брось ты! Сам видел: ихние листовки читал. Куда прешь? Дай мне лучше!

— Что мне ихние, я правду знать хочу!

— Мне!

— Мне дай!

Кто-то потрошил пачку с советскими газетами.

Елка пробралась вперед.

— Тетя Настя, мне!

— Тебе, Елочка, обязательно! Кому-кому, а тебе обязательно... А то эти прут, дьявол их поberi! Как на базаре!

Елка прибежала домой.

— Мама, мама, слушай!..

При свете коптилки, сделанной из немецкой гильзы, Елка читала:

— «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Газета «Московский большевик», первое ноября, суббота, одна тысяча девятьсот сорок первого года». Вот. «От Советского Информбюро. Утреннее сообщение тридцать первого октября. В течение ночи на тридцать первое октября наши войска вели бои с противником на Волоколамском, Малоярославецком и Тульском направлениях...» А вот слушай: «За тридцатое октября уничтожено тридцать семь немецких самолетов. Наши потери восемнадцать самолетов...» И еще смотри: «Бои на Западном фронте». Вот: «Минувшие сутки ознаменовались стычками на правом и левом флангах нашего фронта. Вчера и сегодня артиллеристы командира Рокоссовского обстреливали скопления вражеской пехоты, нанося ей большие потери. Войска командира Ефремова, действующие на Малоярославецком направлении, вели ожесточенные бои за овладение рядом важнейших стратегических пунктов, расположенных на дорогах к Москве. На этом участке фронта наши войска успешно ликвидировали мелкие группы автоматчиков, просочившихся еще накануне на восточный берег реки Нары...» Ведь не сдали же Москву, не сдали!

— Значит, Москва жива, — сказала мать.

— Да, конечно, мама! Как же! И газета вышла в Москве! — говорила Елка. — Смотри...

Она читала заголовки:

МУЖЕСТВЕННО И БЕССТРАШНО

ЗАЩИЩАТЬ

РОДНУЮ МОСКВУ!

ЧЕТЫРЕ НАЛЕТА НАШЕЙ АВИАЦИИ НА БЕРЛИН.

ПЕРЕДОВОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО — НА СТОРОНЕ СССР.

И еще другие:

ТЫСЯЧИ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ БОЕВЫХ МАШИН.

ГЕББЕЛЬС ПРИЗЫВАЕТ НЕМЦЕВ К НОВЫМ ЛИШЕНИЯМ.

ФИЛЬМ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ОБОРОНЕ МОСКВЫ.

Концерты в зале имени Чайковского.

ВЫДАЧА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ КАРТОЧЕК.

СЕГОДНЯ В КИНОТЕАТРАХ.

Сколько времени в Сережках не было газет! А ведь когда-то, до войны, были, а Елка их почти не читала. Да что там почти... А теперь... Смешно, наверно? Наверно...

И еще у нее почему-то сейчас было ощутимо хорошо на душе. Почему? Почему же? Ах, ведь Леонид любил читать газеты. Вот почему... Леонид, Ленька... Странно! Где он?

В какой уже раз она перечитывала это письмо. Написанное убористым, корявым, плохо разборчивым почерком. Давнее, довоенное письмо:

«Здравствуй, Елка! Ты скоро поедешь с отцом в Эстонию, как ты мне говорила. Но ты там никогда не была. И вот я покопался тут в книгах и пишу тебе о том, что узнал об Эстонии и ее главном городе Таллине. Может быть, тебе это пригодится, когда ты будешь там.

Эстония, или Эстляндия, как ее называли раньше, расположена вдоль южного берега Финского залива. Кроме того, ей принадлежит более 700 островов. А населения всего один миллион. И почвы малоплодородные: много болот, торфяников.

Таллин (бывший Ревель) — столица Эстонии и один из самых красивых городов Европы. В нем много зелени и исторических памятников. Самый красивый — это древняя крепость Вышгород, где есть замок с башней «Длинный Герман» и Вышгородская церковь. В старой части города тоже много памятников средневековой архитектуры. При Петре I в Таллине был построен дворец Кадриорг с большим парком.

А еще Таллин — большой порт. Он имеет обширный, защищенный и ненадолго замерзающий, а иногда и вовсе не замерзающий рейд. Значит, ты там будешь купаться в море. Это хорошо. Я, например, никогда в море не купался.

В Таллине есть и крупные заводы: «Вольта», целлюлозно-бумажная фабрика, фабрика «Балтийская мануфактура». На них много рабочих-революционеров.

Да, забыл написать, что остатки древних сооружений сохранились в Эстонии во многих местах. Кроме старинных церквей и костелов, а также развалин замков, встречаются городища

и курганы, в которых находят предметы исторической и доисторической эпох. Если сможешь, обязательно посмотри.

Вот и все. Больше писать нечего...»

Это было его, Ленькино, письмо. Единственное письмо.

На третий день Елку опять вызвали. Пришел посыльный, когда уже все пытались уснуть, и сказал:

— Я за тобой. Не сердись, что поздно.

Глубокой ночью Елку провели по ходам сообщения.

— Я знаю, — сказала она, когда боец остановился у входа в землянку.

Елка отодвинула плащ-палатку и спустилась вниз. Сколько раз ей приходилось быть здесь перед переходом на ту сторону? Три, четыре, пять раз? Пять. Пять раз после возвращения она тоже приходила сюда.

От коптилки поднялся незнакомый пожилой военный со «шпалой» в петлицах.

— А где... — вырвалось у Елки.

— А-а... Политрук Савенков? — догадался капитан. — Вчера... Да... убили... Такое уж наше дело... Теперь вот со мной придется держать связь... Сколько же тебе, — спросил он совсем неофициально, — малышка?..

— Пятнадцать. Да только какое это имеет значение!

— Не боишься?

— Я уже ходила.

— Вода холодная небось?

— Ничего, сейчас замерзла.

Их перебили. В землянку ворвался младший лейтенант, крикнул у входа:

— Опять автоматчики!

— Прости! Подожди! — сказал капитан.

За землянкой в самом деле вовсю раздавались выстрелы — ружейные, автоматные, рвались мины.

Елка осталась ждать капитана. А думала сейчас о Савенкове. Неужели его нет теперь, совсем нет? А ведь с политруком ее знакомил папа... Когда она пойдет туда, за Нару, она скажет папе о Савенкове. А может, лучше не говорить? Ведь... Стоит ли говорить о таком?

Капитан ворвался в землянку, еле дыша:

— Все! Прикончили! Прут, черти, каждый день! Ну, как ты тут, не соскучилась?..

Елка промолчала. Не знала, что сказать.

— Ну, так как? — переспросил капитан, чуть отдышавшись. — Опять пойдешь?

— Нужно — пойду.

— Нужно, доченька, — почти нежно сказал капитан. — При-

дется сейчас же пойти к батю и узнать, когда немцы собираются начинать, это — первое, как мост — второе. Это очень важно. Поняла?

— Да.

— Когда вернешься?

— Завтра с темнотою.

— Ступай, как говорится, с богом.

Уже у выхода он окликнул ее:

— Да, давай познакомимся. Капитан Елизаров. А тебя как?

— Зовите просто Елкой...

Ночь. Редкая тихая ночь. Замерли берега Нары. Ни выстрела, ни взрыва. Замерло небо, угрюмое, низкое, темное. Ни гула самолета, ни луча прожектора. Замерли леса. Лишь порывистый ветер гуляет среди деревьев, смахивает снежок с хвои да потрескивают стволы елей, словно по ним стучат дятлы.

Зима наступает нехотя, вяло. Снег идет от случая к случаю, будто размышляя: стоит ли до настоящих морозов? А морозов так и нет. Даже ночью всего три-четыре градуса. Разве это зима?

Молчит, притаился в скромной полузимней одежде наш берег. Молчит, что-то замышляя, берег немецкий. Странно, что у Нары есть теперь немецкий берег. Но он есть — там, за рекой, немцы.

Ёлку удручает сегодняшняя тишина. Она замерла у обрыва, не решаясь шагнуть вниз, к реке. Слишком тихо. Слишком! Шум леса — это не шум...

Провожжающий ее незнакомый лейтенант понимающе молчит. Сейчас он при ней, а не она при нем. Она для него — высшее начальство, поскольку есть приказ капитана: «Доставить до места перехода, в целости и сохранности доставить!» Лейтенант понимает, что ни советовать ей, ни подсказывать он не может. Она знает лучше, когда и как.

И все же он не выдерживает, шепчет:

— Смолой-то как пахнет и берестой. Вкусный запах!

— Да-да,— безразлично соглашается Елка, вглядываясь в чужой берег.

Они сидят почти у самого обрыва, прячась за стволами ели и березы.

Ель и береза, будто по заказу, растут рядом, как стереотруба, образуя отличный обзор противоположного берега. Но там тихо сегодня.

Почему так тихо?

— Время напрасно уходит,— прошептала Елка.— Обидно!

Лейтенант поддакнул, хотя и не очень понял. Он впервые выполнял такое задание.

И в тот же момент на немецком берегу загремело радио:

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег, на крутой...

— Наконец-то! — обрадовалась Елка.

— Это что, немцы? — поразился лейтенант.

— Приманивают, — объяснила Елка. — Радиоустановка у них. Сначала песни наши крутят, а потом кричат: «Рус, сдавайся!» — и стреляют...

Лейтенант меньше суток был на фронте.

...Пусть он вспомнит девушку простую,
Пусть услышит, как она поет, —

гремело за рекой радио.

— Теперь мне пора, — сказала Елка. — Я пошла.

И она нырнула вниз, в темноту.

Когда через три с лишним часа Елка добралась до места, она поняла: ждать темноты не придется.

— Немцы начнут форсировать Нару ровно в полдень, — сказал отец. — Сведения точные. Мост нами заминирован. Как только немцы ступят на мост, он взлетит... И потом, скажи капитану...

— Тогда я пойду сразу. Надо передать.

— Дойдешь?

— Дойду, папа...

И она пошла обратно, хотя уже светало. Она шла быстро. Немцев она не боялась. Встречалась с ними не раз. И теперь: поплачет, в крайнем случае, похнычет — отпустят. Что с нее, девчонки, взять? Мать у нее в Сережках, братишки, сестренка маленькая, папа больной. Вот и гостинцы им несет от бабушки из Выселок...

Три деревни она прошла благополучно. Немцы пропускали ее. Один долговязый, с рыжими усами, чуть не перепугал Елку, когда она уже вышла из последней деревни. Он взял ее под руку, отвел в сторонку и, осмотревшись по сторонам, где толпились другие фрицы, стал что-то горячо растолковывать Елке. Она, зная немецкий на уровне своих одноклассников, всю жизнь долбивших одни артикли, ничего не поняла.

Немец озябшими руками достал из-за пазухи губную гармошку и стал совать ее Елке.

— Нах Москау коммен вир, кляйне, дох нихт. Унд цурюк аух нихт! Ним! Их браухе ес нихт!¹

¹ До Москвы мы все равно, девочка, не дойдем. И обратно не дойдем! Бери! Мне не нужна! (нем.)

Елка в испуге схватила гармошку, чтобы не связываться. Немец довольно улыбался.

А вообще-то немцам было не до Елки. Дороги запружены техникой. Артиллерия наготове. Минометчики и бронемашины подтягиваются к Наре. Офицеры носятся, отдают приказания. Уверенные в своей силе и превосходстве, они действительно, видимо, готовились к решающему...

До Нары оставалось сто метров. Уже мост был виден.

— Хальт! Вер ист да? Вохин реннст ду? Ком цурюк!¹

Елку задержали... И, кажется, прочно.

Она плакала, хныкала, повторяла заученное так, что и сама, кажется, верила:

— Мне же надо, дяденьки! Ой, как надо! Я через мост быстренько-быстренько пробегу, а там и деревня наша — Сережки...

Теперь у нее действительно оставался единственный выход: идти на глазах у всех через мост. Свои по ней стрелять не будут. Свои увидят — поймут. Лишь бы уговорить этих...

И она уговорила.

— Пойдошь, дэвочка, пойдошь, — сказал один из немцев на ломаном русском. — Ми тебя проводимь! Сами проводимь! А тэпэрь отдохны! Совсем чьють-чьють...

Остальные хохотали.

Ее сунули в какой-то погреб.

И медленно-медленно тянулось время. Прошло не меньше часа. И больше. И еще больше.

Вдруг наверху задрожала земля. Вой. Грохот. Опять вой.

Она прислушалась. Поняла: это немцы стреляют по нашим.

...Через полчаса ее вывели из погреба.

Сказали:

— А тэпэрь идьи, дэвочка! На мост, на мост идьи! Ми тэбья проводимь!

И опять хохот.

Теперь она поняла, в чем дело.

И пошла. Пошла в сторону моста. Совершенно одна. Но сейчас за ней, наверное, двинется ревушая колонна бронемашин и мотоциклистов.

Шаг. Два. Пять. Она шла на чуть дрожащих ногах. Еще пять шагов. Стала считать про себя: десять, восемнадцать, двадцать три... Вот уже и мост.

Наш берег молчал. Видят ли ее наши? Видят ли? Конечно, видят! Но почему же они молчат?

Она обернулась. Немецкая колонна осталась на том берегу.

¹ Стой! Кто идет? Куда тебя несет? А ну-ка назад! (нем.)

Странно. Значит, надо идти. Все равно идти. Еще... Еще... Шаг... Шаг... Это тридцать первый, кажется... Тридцать два... Тридцать три... Тридцать...

Она бросилась вперед. И что-то кричала.

Воздух потряс страшный взрыв. Елка почувствовала его не только ушами, но и спиной. Она упала. Потом, кажется, вскочила и вновь побежала вперед — уже по нашему берегу. Спина горела. Неужели ее ранило? Теперь она думала о капитане Елизарове. Ему надо сказать то, что передал папа. Это очень важно! Даже не мост этот, а другое...

Елке казалось, что она бежит по пустыне. Как все хорошо! Она вырвалась из такого... Но почему так жжет грудь и тяжело дышать?... Может, она и верно ранена?..

Мост еще продолжал рушиться, давя и губя немецкую колонну, когда заговорил наш берег. Шквал огня ударил по немцам, растянувшимся на противоположной стороне реки, по танкам, которые пытались перейти реку вброд, и дальше — по артиллерийским и минометным позициям...

И Елка видела это. Оказавшись у своих, она оглянулась на Нару, и на бывший мост, и на тот, ныне чужой берег, с которого только что пришла.

Еще метров десять вверх. Там ель, и береза, и песчаный обрыв, откуда она уходила. Ель и береза, растущие вместе. А потом знакомым ельником к знакомой землянке. В общем-то, этот капитан Елизаров, судя по всему, хороший. Жаль, конечно, политрука Савенкова. Тот был лучше...

Больше Елка уже не могла ни бежать, ни думать. Ударил еще снаряд немецкой гаубицы. Ударил рядом с песчаным обрывом, на котором стояли ель и береза... Ударил рядом с Елкой.

Если бы Ленька был в сорок первом в этих местах, он узнал бы, что немцы так и не форсировали Нару. Немцы, которые перешли в своем страшном походе тысячи рек, больших и малых, остановились перед маленькой подмосковной Нарой и уже не двинулись дальше. Наоборот, отсюда они покатались назад...

Если бы Ленька приехал в Сережки после войны, он увидел бы обмелевшую Нару и новый железобетонный мост через нее, на котором уже нет знака, сколько тонн он выдерживает.

Этот мост здесь зовут Елкиным.

И школу — новую школу, выросшую на месте старой помещичьей усадьбы, — тоже зовут Елкиной школой.

И еще в Сережках есть Елкин дом. Он сохранился с прежних лет, только подремонтировался чуть, приобрел крышу шиферную, а так — прежний. И хотя давно нет в живых старых хозяев дома, его зовут Елкиным...

Но Ленька не мог приехать после войны в Сережки. В да-

лекой Венгрии есть озеро Балатон. Оно куда больше, чем Нарские пруды, на которые они собирались когда-то с Елкой. Там, недалеко от озера Балатон, в братской могиле похоронен танкист Леонид Иванович Пушкарев...

А я часто приезжаю в Сережки...

Нет в России для меня более близких и дорогих мест, чем Подмосковье.

Они, места подмосковные, ни с чем не сравнимы — ни по красоте, ни по особой душевности своей. Они и есть Россия.

Приезжая в Сережки, я прохожу по Елкиному мосту. В Елкину школу заглядываю: И, конечно, на местное кладбище, где вижу знакомые мне могилы: Ричарда Тенисовича — Елкиного отца, Елены Сергеевны — Елкиной матери, Александры Федоровны — Ленькиной бабушки...

Здесь нет только одной могилы — Елкиной. И не только здесь. Ее не может быть. Елку никто не хоронил...

Елка. Елочка. Елка-палка. И еще — Анка, Аня, Энда, «своя...».

Она так и не успела съездить в свой Таллин. И в комсомол вступить не успела. Она не успела даже надеть солдатскую шинель, как Ленька. Не успела...

Ее звали Елкой.

Ее и по сей день зовут Елкой.



ТОНЯ ИЗ СЕМЕНОВКИ

Мне было пятнадцать лет, и я уже засматривался на молодых женщин. Именно на женщин, а не на ровесниц, которые казались мне несерьезными девчонками. В ту пору я не знал, конечно, что девчонки развиваются быстрее мальчишек. Я ездил в Парк культуры да и по улицам ходил в надежде познакомиться с кем-нибудь постарше себя. Уверенности придавал и мой рост. Я был выше своих одноклассников, и в школе меня звали второгодником. Но, увы, все было бесполезно. Страшная стеснительность обуревала меня, когда надо было действовать. И я пасовал. Оставалось одно — влюбляться заочно. И дня не проходило, чтобы я не влюблялся.

* * *

Началась война, и судьба занесла меня в деревню Семеновку под Каширой. Там был совхоз.

Семеновка — довольно большая, дворов на двести деревня — лежала на берегу Оки, вся в зелени деревьев и кустарников. Со

всех сторон, кроме речной, к ней подступали леса дикие и сажённые. Говорят, в старые времена здесь находилось чье-то поместье и за лесами ухаживали всерьёз. Но это было давно, и леса выросли, смешались, и рядом со строгими рядами берёз и клёнов поднялись ели и осины, рябины и дубы, а ещё больше повыврастало калины и бузины. В лесах было много ландышей, ежевики и земляники, а редкие поляны усыпало разноцветье с ромашками, колокольчиками, одуванчиками и незабудками.

Дома в деревне разномастные. От изб, крытых соломой и дранкой, до каменных домов под железом и черепицей, да ещё три сарая-общезития — приземистых, одноэтажных. К ним чаще всего и подъезжала полуторка, единственная машина в совхозе, привозя и отвозя рабочих на дальние покосы и торфяники. Зато в совхозе было много лошадей — крепких, выносливых битюгов, которым здесь хорошо кормилось. Трав и сена хоть отбавляй!

Мы жили в деревне, а на работу ходили на станцию пешком всего за полкилометра.

Там разгружали пустые бочки и ящики, а чаще мешки с солью — тяжёлые, по шестьдесят килограммов штука. Со мной работали мальчишки, такие же, как я, по четырнадцать-пятнадцать лет. Все они были здоровее и крепче меня — и совхозные и, как я, городские, — хотя и я справлялся. Правда, иные шутили: «Смотри не переломись!» — но я пропускал эти шутки, поскольку чувствовал себя хотя бы ростом выше их, да и с мешками у меня ладилось. Не отставал.

Деревенских мужчин в первые же недели и месяцы подмела война, и работу в совхозе выполняли женщины да дети, как мы, а то и помладше, школьники третьих — седьмых классов, в основном девчонки.

Пожалуй, война пока давала знать о себе только этим.

* * *

После работы мы мчались купаться. Берег Оки, в отличие от противоположного, был тут высокий, крутой, поросший кустарником и старыми ивами, и мы кубарем скатывались к воде. И глубина здесь приличная — по горлышко.

В некотором отдалении от нас, слева, купались девчонки. Среди них я сразу же заметил невысокую, крепкую, с тугими русыми косами и широким лицом, которая была вроде старше других, но не настолько, чтобы особенно выделяться. Может, лишь лифчик выделял ее, белый с тонкими бретельками, да голубые трусики с красивым пятном-мячиком на боку. Остальные купались лишь в трусах.

— Не заглядываться! — крикнула мне старшая в первый же день, когда мы оказались на берегу.

И потом, после купания, не раз то ли в шутку, то ли всерьез покрикивала нам:

— А ну-ка, мальчики, отвернитесь! Дайте переодеться!

Жара стояла невыносимая, какая-то удручающая, без единого облачка в тихом небе, без дождей и гроз, и после изнурительной работы на станции река казалась блаженством. Ока здесь была широка: метров пятьсот, а то и больше до другого берега. Мальчишки почти все смело переплывали ее. Впрочем, плыть приходилось метров триста, а дальше шло мелководье. Перевравшись на противоположный берег, они валялись на песке. Девчонки туда доплывать не решались.

Я смотрел теперь на нее с того берега, и издали она казалась мне необыкновенной, особенно ее мокрые косы и трусики с мячиком.

Меня подмывало спросить местных мальчишек, кто она, но я не решался, словно боясь спугнуть ее саму, нарушить то чувство, которое охватывало меня при виде ее.

Как-то нас отпустили со станции раньше, и я, не увидев ее у реки, побежал вместо купания в деревню. Она полола что-то на поле со своими девчонками, и я остановился, завороженный. На ней было довольно длинное ярко-красное платье в горошек и на голове такая же косынка, из-под которой выбивались тугие косы. Мне показалось, что тут, в поле, она еще более красива, чем на реке.

Я присел на скамейке возле избы, в которой квартировал, и долго смотрел в поле. Где-то после шести они закончили работу и отправились на реку. Я побрел за ними. На берегу уже не было мальчишек, и я, один из нашей компании, прыгнул в воду и поплыл на противоположный берег. Сегодня мне особенно хотелось показать, как я плаваю. И хотя не знал никаких стилей, я очень старался и какую-то часть проплыл даже на спине. А потом опять долго смотрел на нее с того песчаного берега. Вернулся я, только когда девочки переоделись и ушли.

Прежде вечера я больше коротал с книжкой, а тут и чтение забросил. После ужина выходил на деревенскую улицу и слонялся из конца в конец в надежде увидеть ее. По улице ходили группы и парочки, с гармошкой, но ее почему-то не было.

Я возвращался к себе в избу и, пока хозяева не потушили свет, брал книгу, но не читал. На листках бумаги выводил стихотворные строчки:

Все пройдет, и зимними порошами
Заметет прошедших весен нить.
Все равно ты самая хорошая,
И тебя иемыслимо забыть.

Я подражал всем и вся, и вдруг у меня рождались такие стихи:

Мы сидим с тобой в кабаке.
Точим зубы со всякой сволочью,
Чтоб навек забыть о тоске,
Что нам губы разъела щелочью.

Но думал я только о ней и в эти минуты и потом, когда в избе гас свет. Фантазия рисовала мне наши разговоры и встречи на берегу и на улице, в лесу и в совхозном клубе на киносеансе, а потом я засыпал, и мне снилась она в ярко-красном платье и такой же косынке горошком, и я удивлялся, что вижу цветные сны, чего раньше никогда не случалось.

* * *

А еще было ночное. Удивительное время с лошадьми и ярким костром, с печеной картошкой. Вечером мы купали лошадей в Оке, а потом, сбивая себе копчики, без седел гнали их к лесу и там разводили костер.

Лошади спокойно паслись на лугу, а мы, мальчишки, рассказывали страшные истории про леших и ведьм и тут же обменивались последними сведениями с фронтов, пожалуй не менее страшными, но все же далекими от нас. Все продолжали ждать чуда, что вот-вот Красная Армия остановит немцев, погонит их назад и скоро будет победа.

* * *

В двадцатых числах июля, как-то к вечеру, над деревней проползла немецкая эскадрилья.

Люди повыбежали на улицу.

Слышалось:

— На Москву идут.

— А наши что ж?

— Прут, нахалы.

Самолеты исчезли, и вдруг я увидел ее. Она стояла с коромыслом возле колодца и тоже, как все, смотрела в вечернее небо, а потом набрала воды и двинулась по тропке.

Не знаю, откуда во мне взялась смелость, но я рванулся ей навстречу и, подбежав, выпалил:

— Давайте я помогу вам!

— Ну что ты! Я сама! — смутилась она.

— Нет, нет, — настоял я и снял с коромысла ведро.

Я схватил ведро в руки, а она осталась с коромыслом.

«Только бы не расплескать, только бы не расплескать!» — думал я.

Мы двигались по тропинке к дому, видимо к ее дому. Вернее, это был не дом даже, а крохотная избенка, но под черепицей, аккуратная, с заросшим палисадником. По стенам избенки, вокруг двери и окон вился плющ.

— Ты из Москвы? — спросила она.

Я кивнул.

— А родители? — поинтересовалась она.

— Папа в армии, а мама у меня в Наркомземе работает. Вот я и приехал сюда.

— В каком же ты классе?

«Бог ты мой! Что же ей сказать? Неужели, что окончил седьмой? Что совсем еще мальчишка?»

— В десятый перешел, — как-то само собой вырвалось у меня.

Мы уже подходили к ее дому.

— Спасибо тебе! — сказала она и хотела забрать ведра.

Но я не выпустил.

— Я занесу вам. Дверь только...

Она приоткрыла дверь, и я через крошечные сени прошел в комнату — совсем небольшую, но очень аккуратную. Кровать с горкой белых подушек, диван, сундук, над которым висели фотографии; чисто выскобленный стол и несколько венских стульев вокруг.

— Сюда. — Она показала на лавку возле печи.

Я поставил ведра.

— Как же тебя зовут? — спросила она.

Я ответил.

— Хорошее имя, — сказала она.

— А мне... — Я хотел было признаться, что мое имя мне очень не нравится.

— Нет, хорошее, — повторила она.

— А вы? Вы одна живете? — робко поинтересовался я.

— Папа в армии, — сказала она, — старшая сестра в Москве в институте учится, а мама у нас умерла в тридцать третьем, во время голода.

— Ну, я пойду, — сказал я. Но на пороге остановился: — А зовут вас как?

— В школе Антониной Семеновной, — объяснила она. — А ты можешь Тоней. Ведь ты почти взрослый.

И она улыбнулась.

Мне было радостно и горько. Она со мной говорила, и говорила всерьез, но она, значит, учительница. И ей не пятнадцать и даже не семнадцать, а все девятнадцать. И это «почти взрослый»! Почему же «почти»?

* * *

В этот день на станции работы не было, хотя мы и пришли туда, но нас послали на уборку гороха.

Мы вернулись в деревню и направились в поле. Еще издали я увидел Тоню и ее девчонок.

— Помощь принимаете? — крикнул я, когда мы оказались рядом.

— Смотря как работать будете, — отшутилась Тоня.

Я снова видел ее совсем близко. Ладная фигура. Тонкие красивые ноги. Быстрые руки. Косы, спадающие вперед.

Я механически срывал стручки гороха в подол рубашки, а сам не отрывал глаз от нее.

Горох был вкусный, сладкий, но мне было не до гороха.

Тоня работала быстро, и я еле поспевал за ней.

Наконец догнал и даже чуть перегнал.

— А у тебя, смотри, хватка, — бросила Тоня на ходу.

* * *

Теперь я не спал по ночам.

Я писал:

Какая ты?
Такая ты,
Что все
Мечты мои
Пусты...

И еще:

Я бормочу спросонья:
Тоня...

Вместо сна я действительно бормотал стихи.

Теперь на реке я махал ей рукой, и она отвечала мне.

Теперь на улице я мог с ней здороваться.

По вечерам ждал, когда она пойдет за водой, но почему-то не заставал ее у колодца.

Зато в выходной день, когда мы работали только до обеда, я увидел ее на лавочке около дома с книгой в руках. Я поздоровался и спросил:

— Что вы, Тоня, читаете?

— Вторый раз «Войну и мир» перечитываю. Какая прелесть! — призналась она. — Ведь читала в педучилище и вроде недавно, а сейчас как будто впервые...

Я «Войну и мир» не читал и, когда речь зашла о моем чтении, весьма кстати (вот, мол, какой я!) вспомнил Мопассана

и Достоевского. Их я тоже знал плохо, но все же что-то читал, а главное, помнил по предисловиям. Томик Мопассана был у меня даже в деревне.

— У Мопассана мне больше всего нравится «Измена графини де Рюн» и «Исповедь женщины», а у Достоевского — «Вечный муж», «Сон смешного человека», «Скверный анекдот», — самоуверенно сказал я.

Она вроде удивилась.

Потом сказала:

— А я почему-то думала, что ты стихи больше любишь и даже сам пишешь.

«Откуда же она узнала?»

— Что вы! Что вы! — поспешно опроверг я и, кажется, покраснел.

— Мне так казалось, — просто ответила она.

Меня мучила совесть.

«Как я мог обмануть Тоню? Сказал, что не люблю стихи и сам не пишу! Но не могу же я ей показать те стихи? Конечно, не могу!»

Решение пришло неожиданно.

«Напишу другие. И тогда покажу. Признаюсь, что сказал неправду...»

Я не спал несколько ночей.

И появилось такое:

Мы не забудем поля изрытые,
Села наши и города,
Дотла сожженные, в прах разбитые,
Мы не забудем их никогда.
Мы помним зверства в Пинске и Львове,
Куда притащен фашистский стяг.
За горы трупов, за реки крови,
За все ответит нам подлый враг.

И еще и еще...

* * *

В тот день я не пошел после работы на реку. Решил ждать Тоню в деревне. Заплывы через Оку — все это казалось теперь несерьезным.

Мои товарищи по бригаде явно что-то заметили, особенно местные, деревенские.

— На свидание? — многозначительно спросил один.

— Уж не влюбился ли ты в нашу учительку? — добавил другой.

— Тайна, покрытая мраком, — сказал третий.

Мне было все равно, но я все же буркнул:

— Не трепитесь!

Я болтался по почти пустынной деревенской улице. В кармане у меня были стихи. На лавочке после ослабшей дневной жары сидели самые древние — старики и старухи. Возле копошились малые дети.

Наконец я увидел Тоню. Она шла со своими девчонками с реки.

Я неловко остановил ее:

— Здравствуйте, Тоня! Мне... Мне надо поговорить с вами... Можно?

— Идите, девочки, — сказала она. — Так?

«С чего начать?»

Я робел.

— Ну, так? — повторила Тоня, и мне почему-то показалось, что в голосе ее прозвучала обида. Косы ее были мокрыми после купания, с них падали капли воды. Падали на короткое выцветшее платье с широким вырезом.

Но лицо было доброе. Каре-серые глаза смотрели на меня скорее с любопытством, нежели с обидой. Я успокоился.

Почему-то впервые в голове промелькнуло:

«В Москве никогда не встретишь такую учительницу».

— Я сказал вам неправду, — признался я. — Я люблю стихи и даже сам пишу.

— Значит, я не ошиблась? А ты можешь мне почитать?

Я пожал плечами.

— Пойдем, — решительно сказала она и, взяв меня под локоть, повела к себе домой.

Дома сказала:

— Я только переоденусь...

И скрылась за занавеской у печки.

Вернулась в желтой кофточке и зеленой юбке, еще более привлекательная.

— Почитай...

Я начал читать подряд. «Мщение», «Зенитчикам», «Партизаны», «Красной Армии», «Украина», «Москва».

— Мне нравится, — несколько раз повторяла она.

А когда я закончил, подтвердила:

— По-моему, хорошо.

Потом говорили о стихах. Я вразнобой называл Веневитинова, Баратынского, Батюшкова, Майкова, Кольцова, Языкова, Кюхельбекера, Дениса Давыдова. Мне и правда нравились их стихи.

— А я пишу только юмористические для стенгазеты и журнала, который мы делаем с пятиклассниками, — призналась она.

Это было совсем неожиданно.

Предложила:

— Хочешь, прочту?

Это уже было полное доверие ко мне, как к равному.
Я даже вспыхнул и молча кивнул головой.
Она прочитала:

Три сестрицы под окном
Говорили вечерком.
«Кабы я была царица,—
Молвит первая сестрица,—
Издала бы я закон:
Теоремы и таблицы
Тайно бросить в бездну волн».
«Если б я была царица,—
Отвечала ей сестрица,—
Я бы во дворце жила.
Там у зеркала стояла,
Платья, шляпы примеряла
И красавицей была».
Третья молвила сестрица:
«Кабы я была царица,
Я не знала бы забот:
Над контрольной не пыхтела,
Целый день в кино сидела
Вместо письменных работ».

А потом:

На вершину еле-еле
Я с волнением иду.
Неужели, неужели
Я в шестой не перейду!

Не знаю, что меня больше потрясло: ее стихи или ее доверие.

— Очень плохо? — спросила она.

— Да что вы! — воскликнул я. — Такие стихи печатают!

— Правда? — Она то ли обрадовалась, то ли искренне удивилась.

Когда я уже уходил, она невзначай попросила:

— А ты не можешь мне пока оставить свои стихи? Я их перепишу, а потом верну...

Я передал ей свои бумажки и долго еще топтался на пороге.

«Как жаль, что я не могу показать ей те стихи, что про нее,— думал я по пути домой.— А может, показать? Не читать, а просто передать и удрать?»

Ночью я написал еще одно, опять про нее.

Начиналось оно так:

Загорело твое лицо
И обветрело,
Я приду к тебе на крыльцо
С песней светлою...

Под утро мне приснился странный сон. Будто мы и не на Оке совсем, а на Черном море, в Немецкой слободе под Судаком, где я был в тридцать седьмом, и Тоня в купальнике, которые носят на юге.

Она идет по воде, как в «Празднике Святого Иоргена» Кторов, а я придерживаю ее за руку, и взгляд ее устремлен вперед, к горизонту, где стоят немецкие корабли со свастикой.

«Может, не надо?» — говорю я.

«Нет, надо! Надо! — упрямо повторяет Тоня и продолжает идти, чуть касаясь ногами воды.— Мы должны их уничтожить!»

Прямо в глаза нам светит яркое солнце и блестят брызги, но корабли все равно видны, и они направляют в нашу сторону жерла своих орудий. Орудия длинные, и, кажется, вот-вот они упрутся в наши груди.

«Сейчас, сейчас,— говорит Тоня.— Иди смелее! Ведь смелость — это не отчаяние, а осознанная необходимость».

Получается, что не я ее веду, как было вначале, а она меня, и я поспешаю вперед со словами:

«У Грина есть что-то про смелость, но я забыл. Из головы совсем вылетело».

«Грин — это прекрасно,— говорит Тоня. И вдруг удивленно спрашивает: — Почему же мы забыли с тобой Грина? Совсем забыли!»

* * *

Наконец я решился. Купил в сельмаге тетрадку в косую линейку (других не было) и аккуратно переписал в нее все стихи о Тоне. Сверху даже поставил посвящение: «Тоне». Сначала хотел написать сокращенно «АС», как, мне казалось, писали в старину, но потом подумал: «А вдруг она не догадается?» — и написал: «Тоне».

Долго выбирал подходящий момент.

Бродил по деревне. И как-то вечером заметил в ее плотно зашторенном окошке лучик света. На цыпочках пробрался в палисадник и просунул тетрадку под дверь. Будь что будет!

Несколько дней я избегал встреч с ней, и хорошо, что Тони не было. Правда, и на реку я не ходил после работы, а если хотелось искупаться, выбирался из дома в темноте, когда на Оке уже никого не было, только светили белые и красные маяки-поплавки.

И вдруг как-то ко мне домой прибегает деревенский мальчишка и таинственно заявляет:

— А тебя учителька наша разыскивает. Ну, Антонина Семеновна.

Я так и ахнул.

«Ну, все! Теперь пропал! И дернуло же меня подсунуть ей эти стихи!»

Мальчишке я, конечно, ничего не сказал, а сам стал еще больше сторониться Тони. Но на следующий день она сама пришла ко мне. Я вышел на улицу. В руках у нее была газета.

— Хочу порадовать тебя,— сказала Тоня.— Не сердись, что без твоего согласия.

И она протянула газету.

Это была районная газета «Знамя социализма».

Не понимая, я вертел ее в руках.

— На обратной стороне,— подсказала она.

Я перевернул газетный лист и увидел свои стихи. Целых полполосы. Тут были и «Мщение», и «Зенитчикам», и «Партизаны», и «Красная Армия», и «Украина», и «Москва».

— Ну, как? — спросила Тоня.— Доволен?

Я не знал, что сказать.

Посмотрел еще раз полосу. И имя и фамилия, а под ними подпись: «Рабочий совхоза «Семеновский», 15 лет».

«Зачем эти «15 лет»? — подумал я.— Опять мой детский возраст...»

— А за те твои стихи спасибо! — невзначай сказала Тоня.— Хорошие стихи, даже лучше этих напечатанных. Вот только, если еще...

Она не договорила.

Я молчал.

* * *

А война все катилась и катилась на восток. Все уже привыкли к немецким самолетам в небе, и к воздушным боям, которые все чаще вспыхивали над деревней, и к грохоту зениток на станции, и к проходящим через деревню воинским частям, и к колоннам беженцев и тощим стадам, которые тянулись в глубь страны.

Я раз в неделю писал маме, и вот в начале сентября от нее пришло грозное письмо: «...Наш наркомат эвакуируется в Горький, а потом в Куйбышев. Немедленно возвращайся домой!»

Письмо меня ошеломило.

«Какая эвакуация? И зачем мне ехать в этот Горький или Куйбышев? Уж лучше бы на фронт! Или, в конце концов, здесь работать. Как-никак польза...»

Я побежал к Тоне. Постучал к ней в дверь.

Когда она вышла, сразу заметила — что-то случилось.

Я протянул письмо. Она долго читала его. Потом сказала:

— Надо ехать! — И добавила: — Дай я тебя поцелую!

Она целовала меня как-то горячо и беспорядочно, а я прижимался к ней и думал, что вот-вот разревусь...

Немцы вошли в Семеновку в начале октября. Вошли без боя. Наши отступили за Оку, взорвав железнодорожный мост.

Жители попрятали перед приходом немцев все хозяйство. Лошадей, скот, зерно, овощи. Полуторку сожгли. В поле остались только свекла и капуста.

Колонна немцев — бронетранспортер, три танка и несколько десятков мотоциклистов — прошла через всю деревню и остановилась на площади возле старенького клуба. Из бронетранспортера вылез белобрысый, загорелый оберлейтенант, а с ним бывший житель Семеновки, преподаватель немецкого языка Иван Карлович Фогель. Несколько недель назад он исчез куда-то, ходили слухи, что его выселили, но вот он вернулся. На нем была немецкая шинель, на рукаве повязка со свастикой, на седой голове фуражка с околышем. Жителей деревни, включая самых древних, согнали на площадь.

Фогель, что-то согласовав с оберлейтенантом, поднялся на специально принесенную табуретку.

— Слушайте приказ коменданта оберлейтенанта Кесселя! — выкрикнул он. — Первое: все имущество и продукты вернуть в совхоз. Срок двадцать четыре часа. Работать будете в совхозе только на нужды германской армии. Второе: с девяти вечера до шести утра комендантский час. За выход на улицу — расстрел без предупреждения. Третье, — и тут Фогель почему-то перешел на плохой русский, — я есть ваш староста.

Тоня стояла среди молчавших и лишь изредка мрачно вздыхавших односельчан и собралась уже было направиться к своему дому, но увидела, как туда идут оберлейтенант с Фогелем, за ними денщик с чемоданом. Она остановилась, замерла на минуту и вдруг рванула влево, к крайнему дому Михеевых. Сам Федор Прокофьевич, их учитель физики, еще в июле ушел в Красную Армию, в доме осталась жена с ребятами. И Тоня скрылась там.

Ее нашли вечером. Нашел Фогель, пришедший с тремя автоматчиками. Зло бросил:

— Докомсомолилась! Одевайся! Живо выходи!

Немцы связали ей руки за спиной. Пока связывали руки, Тоня плюнула Фогелю в лицо. Он успел отвернуться.

— Гад, предатель! — прошептала она.

Фогель невозмутимо улыбнулся:

— Крылышки обломают.

Ее вытолкнули на улицу и повели по деревне. Жители испуганно смотрели на Тоню из окон и палисадников. Немцы шли с автоматами на изготовку, Фогель — держась за кобуру.

Возле ее дома стоял офицерский денщик. Он приоткрыл дверь, и Тоню впихнули туда. Два солдата замерли у входа. Вскоре из дома вышли Фогель и третий немец.

А утром дверь распахнулась, и на пороге оказалась Тоня. Лицо ее опухло, глаза заплаыли, на щеках и на лбу виднелись кровавые царапины. Платье под распахнутым полушубком было изодрано. За ней в сени вошел офицер в расстегнутом кителе и крикнул часовым:

— Лассэн зи зи дурх! Цум тойфель!¹

А Тоня, ничего не видя перед собой, спустилась с крыльца, открыла калитку, пересекла улицу и, как была, растрепанная — одна коса впереди, другая позади, со свалившимся на плечи платком, — направилась в поле. Фигура ее, медленно покачиваясь, двигалась в сторону леса.

Сотни глаз следили за ней, а она все шла и шла, не оборачиваясь, будто слепая. Она не боялась, что ей выстрелят в спину, да немцы и не решались стрелять. Они сами, как замороженные, смотрели ей вслед. А Тоня шла. Вот уже и поле осталось позади, а впереди появился кустарник и молодняк, осиновый и березовый. Она скрылась за первыми кустами и березками и вскоре совсем исчезла.

Впрочем, я не видел этого и узнал все много лет спустя.

* * *

Есть, наверное, что-то закономерное в том, что к пятидесяти тебя начинает упрямо тянуть в детство твое и юность. Вот и я недавно не выдержал и, не сказав ничего даже домашним своим, направился в Семеновку.

Деревню, конечно, узнать было невозможно. Асфальт. Слева и справа каменные дома — одноэтажные и двухэтажные. На площади Дом культуры, магазин с кафе на третьем этаже, какие-то службы быта. А в середине площади ограда. Мраморный треугольник со звездочкой наверху и с бронзовой дощечкой: «Комсомолка-партизанка Тоня Алферова, 1923—1942».

Чуть ниже на такой же дощечке выбиты слова:

Все пройдет, и зимними порошами
Заметет прошедших весен нить.
Все равно ты самая хорошая,
И тебя немислимо забыть...

А вокруг в зелени травы еще дощечки. Я насчитал двадцать восемь. На них фамилии и даты. Последняя для всех одна: 1942. Это те, кто освобождал Семеновку.

Я стоял у ограды и, бог ты мой, о чем только не передумал...

1978

¹ Пропустите ее! Пусть катится к черту! (нем.)



РЕЧКА ВОРЯ...

П о в е с т ь

— Фронтовая любовь? Лучше не говорите об этом! Это же несерьезно!

Из случайно услышанного разговора

1

Юхнов — город, центр Юхновского района Калужской области. До районирования уездный город бывшей Смоленской губернии. Расположен на шоссе Москва — Брест, в 35 километрах от железнодорожной станции Мятлевская, на реке Угре, левом притоке Оки. Длина реки около четырехсот километров. Протекает Угра в пределах Смоленской и Калужской областей. Начало берет на юго-восточном склоне Смоленско-Московской гряды. Берега крутые, местами обрывистые. Главные притоки — Воря, Шаня, Ресса. Юхновский район — промысловый, с

развитым отходом. В полеводстве преобладают зерновые культуры и картофель. Среди кустарных промыслов выделяются деревообделочный и кожевенный. В Юхнове имеются лесопильно-фанерный, авторемонтный заводы и льнозавод. Население: по переписи 1926 года — более двух тысяч жителей, по переписи 1959 года — четыре тысячи жителей.

Из справочников

2

Небо не голубое и не серое, чистое и не совсем чистое, а с какой-то грязинкой.

Такое иногда бывало в детстве, когда их в школе заставляли рисовать акварельными красками, и лень было сменить лишний раз воду, и кисточка явно мазала — голубого цвета не получалось.

Такое сейчас было небо. И еще с какими-то белесыми разводами и полосами, заметными и еле заметными, каких она сроду не видела в Москве. И вообще она никогда не видела там, у себя дома, такого неба. Она видела его до войны — или совсем ярким, или совсем хмурым — в зимы и дожди, а потом, когда шла война, — охваченным лучами прожекторов, стонущим, дребезжащим, грохочущим или беспокойно-спокойным в промежутках между воздушными тревогами. И все же прежде ей было не до этого неба, и, наверно, она его толком не видела — ни тогда, раньше, до войны, ни потом, в войну.

И вообще, что она видела, что понимала раньше? Ничего. Ей только казалось, что она была взрослая, а на самом деле разве это так? И раньше она каким-то подспудным чувством понимала, что плохо разбирается в людях. Сегодня ей человек мог показаться хорошим, завтра плохим. Сегодня она кого-то жалела, завтра тот же, кого она жалела, ее раздражал. Сейчас она понимала: девчонка, глупая, наивная девчонка! Никогда не была она взрослой и умной! И даже не знает, как это быть такой...

Да, теперь она это отлично понимала. Теперь... А что думает он?

Он спросил:

— Ты чего это туда смотришь — в небо? Налета не будет, не думай!

Она и не думала о налете. Думала совсем о другом.

— Ты сердишься на меня? — спросила она.

— Зачем ты, Варюша? — снисходительно, как ей показалось, произнес он. — И давай не будем больше об этом!.. А речку Ворю я тебе обязательно покажу. Удивительная речка! Сейчас,

правда, зима. А летом! Я до войны на ней бывал, мальчишкой. Даже песню помню, женщины в деревне пели:

Люди едут к синю морю,
Тратят деньги на билет.
А у нас есть речка Воря,
Лучше в мире речки нет!

Он посмотрел на нее нежно, с доверием и закурил в рукав шинели.

— Зря ты меня не послушала... Две специальности имеешь — и нá вот! Говорил! Вот тебе и попала сразу в заваруху!

Зря или не зря она не согласилась остаться в штабе полка? Кто знает! Сейчас она думает: не зря! Потому что он напомнил ей об этом и он — рядом!

— Не зря,— сказала она ему.— Я никогда ни о чем не жалею, что сделала...

— А все-таки автомат — вещь! — сказал он через минуту.— Если б ты знала, как было в сорок первом! Винтовочки — дрянь, карабинчики — рухлядь. А это — штука.

Она обрадовалась. Поняла: он тоже доволен, что она не осталась в штабе полка. Хотя и корит ее — доволен. От мысли, что он, старший, бережет ее, стало хорошо. Она вспомнила его слова о сорок первом. Значит, он говорит с ней, как с равной.

Как было в сорок первом, она не знала. Поначалу, 22 июня, как все, растерялась, но потом успокоилась. И только когда ушел на фронт отец и настала трудная осень, в канун зимы, она поняла, что это надолго. Поняла потому, что никакого другого исхода войны, кроме победы, не представляла себе. Но для победы надо было гнать немцев назад, а на это нужно время.

На улицах Москвы она видела сильных, веселых, хорошо одетых и вооруженных красноармейцев и командиров. Видела танки и пушки на параде 7 Ноября, видела сибирские и уральские полки, шедшие на фронт. Конечно, Москва была в опасности, но это, как ей казалось, слишком нереальная, далекая опасность, ибо странно и глупо себе представить, что немцы могут войти в Москву.

А сейчас он говорит: «Винтовочки — дрянь, карабинчики — рухлядь». Может, и так.

— Да,— согласилась она.

— Ты пригнись, Варюша,— посоветовал он.

Она послушно пригнулась.

На противоположной стороне оврага все было спокойно. Вроде бы и немцев там не существовало. Клены, ели, дубы, березы упирались в то же самое белесое, с грязинкой, небо, и где-то, невидимое, светило уже не совсем зимнее солнце,

и чирикали непонятной масти пернатые, и изредка с шумом падал с еловых лап и с крутых берегов оврага подтаявший снег. Странно, что там — немцы! Немцы?

Неизвестно, как и почему она вспомнила небольшой рабочий поселок, который проехала по пути сюда. Говорили, что поселок освободили давно, совсем давно, четыре, нет, пять дней назад, но там еще висели на стенах домов немецкие надписи. Две из них врезались почему-то в память, две — одна короткая и другая длинная:

«Вода здесь отпускается только для немецких солдат. Русские, берущие отсюда воду, будут расстреляны. Вода для русских на другой стороне — в канаве. Комендант».

«Приказ. Передвижение по дорогам, как шоссейным, так и проселочным, людям мужского и женского пола в возрасте от 10 до 50 лет воспрещается. Лица, застигнутые при передвижении по дорогам, будут задерживаться и отправляться в лагеря. Лица, у которых при этом будет обнаружено любое оружие, в том числе ножи, будут расстреляны как партизаны. Лица, способствующие в какой бы то ни было форме партизанам, снабжающие их припасами, укрывающие их или дающие им убежище, сами будут считаться партизанами и расстреливаться на месте. Все лица, получившие сведения о злоумышленных намерениях против германской армии и военных властей или против расположения таковых и их имущества, о замышлении саботажных актов или подготовке таковых, о парашютистах и не сообщившие об этом ближайшей немецкой воинской части, подлежат смертной казни, а их жилища — уничтожению».

Раньше, в школе, она никогда ничего толком не запоминала. Мучилась, зубрила часами, стараясь лучше подготовить урок, но написанное в учебнике никак не ложилось в память, а своими словами пересказать все было просто невысказимо.

А это запомнилось. Все до мельчайших подробностей. Поразила аккуратность и точность. Отец, ушедший на войну, говорил ей когда-то об этом, называя: «немецкий педантизм». Он, видно, знал это, поскольку до войны работал с немецкими инженерами на строительстве Сталинградского тракторного...

Там же, в том маленьком поселке, она долго стояла у сохранившихся немецких объявлений. Она полдня бродила по улицам. Может, потому и запомнила их, эти объявления. А еще запомнила надпись на втором из них — о партизанах: «Нашли дураков!» Это уже сделал кто-то из наших. И перечеркнул немецкое объявление черным углем.

Зима стояла суровая, как сама война. Морозы лютовали с памятного для Москвы октября и по эти, уже мартовские дни. Морозы перемежались потеплением и страшными снегопадами. В Москве все лежало в глубоком снегу, но, пожалуй, только здесь она поняла по-настоящему, сколько снега высыпало за эту

зиму. Они ехали из Москвы на полуторке, и всюду был снег, снег, снег. Такой, что и не ступишь с шоссейки — провалишься. Такой, что и на дорогах, где шли и шли подряд машины, танки, телеги, артиллерия, войска — в ту и в другую сторону шли, — не утрамбовывался, а, взъерошенный шинами, гусеницами, валенками и сапогами, тормозил движение. Все разбитое, брошенное и убитое в дни нашего декабрьского наступления под Москвой было запорошено снегом. Казалось, снег нарочно прикрыл следы всего, что было здесь: и трупы наших погибших солдат, и немецкую технику, бившую по Москве. Сожженные немцами деревни лежали в снегу. Торчали запорошенные снегом обгорелые трубы, и рядом стояли обгорелые наши «тридцатьчетверки». Во многих из них так и остались тела мертвых танкистов. Вокруг все выжжено, выморожено и вымертво, а войска ушли вперед, далеко вперед, и некому пройти по этим местам, выполнить последний обряд для этих людей, которые сделали все, что могли, и которым, в общем-то, уже ничего не нужно.

Таким увидела она и поселок — то ли при каком-то лесопильном заводе или при кирпичном, — много похожих рабочих поселков у нас в Подмосковье! Там находился штаб полка, куда их направили. Поселок был разбит. Все завалено снегом. Здесь шли, видимо, тяжелые бои. Здесь лютовали враги, но даже снесенная кем-то из наших виселица была запорошена снегом. И таблички на трупах повешенных — «Они стреляли по немецким войскам», «Это — партизаны», «Так будет с каждым, кто не приветствует новый порядок» — вместе с трупами заснежены. Осталось несколько целых изб, но и они под снегом, будто погребенные. Снег, снег, снег! Сколько может быть снега!

Вспомнив о поселке, она как-то с опозданием подумала о нем, о своем соседе:

— Слава, а нога не болит?

Как же она забыла? Как могла забыть! Ведь еще позавчера он признался ей, что был ранен в ногу во время боев за этот поселок, но так и не пошел в госпиталь, отделался перевязкой в санбате.

— Что ты, Варюша! Какая там нога!

Ей хотелось сейчас смотреть не вперед, а в небо. Очень здорово, когда смотришь с земли в это белесое небо. Ели, и сосны, и березы, и даже кустарники кажутся огромными под этим небом. И маячат на его фоне темно-темно, черно-черно. Не отличишь, где белая береза, где зеленая ель. Не отличишь, где сами березы, а где снег. Слепит глаза солнце, невидимое сейчас. Слепит глаза рыхлеющий снег.

Вот ворона с карканьем перелетела с дерева на дерево. Толстобрюхий снегирь еле-еле поднялся на ветку вербы. Синицы, сразу три, взмахнули зеленовато-желтыми крылышками

и умчались в сторону. Смотреть бы сейчас и смотреть! И почему до войны все это не так виделось?

— Умоляю, побереги лучше себя,— сказал Слава,— Кажется, фрицы зашевелились...

Его заботливость поражала и обескураживала ее. С ней никогда, кажется, никто не был таким внимательным. Из старших, конечно. И никто ее не любил или, вернее, не влюблялся в нее из старших. Неужели его внимательность — это и есть любовь? Страшно подумать об этом! Страшно, чтобы не обмануться...

А ей хотелось бы этого. Очень!

— Тебе говорят, фрицы! — зло пробасил Слава.

Варя невольно вздрогнула:

— Сейчас...

Она не обиделась на его резкость. Поправила шапку-ушанку и положила на бруствер окопа автомат:

— Я вижу...

Минут двадцать шла перестрелка. Слава стрелял деловито, спокойно, будто занимался мирным важным делом. И она стреляла. И ей было приятно видеть его таким: умным, сосредоточенным, старшим. Ей всегда казалось, что мужчины умней и серьезнее женщин, что они никогда не способны на такие глупые мысли и разговоры, которых она наслушалась и до войны, и в войну, пока работала с девочками в райисполкоме. Ну чего они только не говорили, чего не придумывали, чего не обсуждали, хотя многие были старше ее, и значительно старше — на три, четыре, а то и на шесть лет, как Фаня Залманова, например.

Себя она никогда не считала умной, скорее наоборот. И страдала от этого, не всегда, правда, а временами, но на такие дурацкие разговоры она никогда бы не пошла...

Немцы приутихли. Слава поправил шапку, улыбнулся ей и опять закурил.

— Ну как?

— Хорошо,— почему-то ответила она.

— Слушай, а какое сегодня число? — вдруг спросил он.— Темнеет уже...

— Третье марта сорок второго года, а что?

— Сорок второго! Ясно, не сорок первого! — сказал он.— Забавно! Третье марта... А у меня, Варюша, день рождения...

Она не знала, что делать. В окоп свесилась ветка сосенки, совсем молодой, чахлой.

Она отломила ее:

— Тебе!

— Умница ты, спасибо! — сказал он.— Я вот ее...

И он положил ветку на край окопа под ствол автомата.

Потом стреляли по немцам и слева и справа от них. Стреляли и Слава с Варей. Ей казалось, что стреляли наугад, хотя сама она целилась, очень старательно целилась, как на курсах. Там она даже считалась отличным стрелком.

И все же ей было чуть боязно. Наших в этом окопе было совсем немного. Справа от нее, она знала, четверо. Слева от Славы — трое. Так уж случилось, что они оказались здесь в меньшинстве, а сколько было перед ними немцев — неизвестно. Ведь никакой передовой здесь и не предполагалось, она должна была быть по крайней мере в пяти — семи километрах отсюда, а потому и частей наших тут не было.

Но размышлять об этом долго она не могла. И вообще думать — это никогда не было в ее характере. И раньше жила как-то так, и потом. А сейчас... Надо просто вести себя, как Слава. Есть окопчик, довольно примитивный окопчик у края оврага, и их девять. А на том краю страшно заметные на снегу немцы. Слава знает, что делать. И она должна знать. И она будет вести себя так же, как он. Во всем. И сейчас особенно.

«И чего они лезут, — подумала Варя, — когда у нас со Славой все так сложно и нехорошо получилось!» Но тут же отогнала от себя эту мысль. «Наверно, все это опять несерьезно и по-детски... Сейчас, на войне, нельзя так!..» Вспомнился отец, которого она не видела мертвым, а лишь знала, что он погиб от немцев. Вспомнилась Москва. Москва осени сорок первого. Все вспомнилось и все забылось: немцы впереди стреляли.

И она тоже стреляла в них, теперь, кажется, более точно, чем несколько минут назад.

А небо над ними было прежним — не голубым и не серым, чистым и не совсем чистым, а с какой-то грязинкой. Как на далеких школьных акварельных рисунках. И небо было так же далеко, как далекое детство. А немцы были близко — двести, а может, и сто пятьдесят метров от их окопа, от Славы, от нее.

«Что-то все-таки не так у нас со Славой получилось», — снова промелькнуло у нее в голове. Но только промелькнуло. Даже задержаться не могло — немцы шли в атаку.

3

Маросейка — Покровка. Покровка — Маросейка. Улицы ее детства. Вернее, это была одна улица от Ильинских ворот до Земляного вала, тесная, шумная, забитая трамваями, людьми, машинами и магазинами. Маросейка продолжалась Покровкой, а Покровка — Маросейкой, и всюду почти — и слева и справа — магазины, магазины, магазинчики. Самые крупные — Стекланный, как его почему-то называли, хотя стекол в нем было не так уж много, на углу Старосадского, и Резинотреста, на

углу Петроверигского, где продавали калоши, велосипедные шины и всякие хозтовары. Там вечно и до войны стояли очереди.

Никаких особых достопримечательностей на ее улицах и в примыкающих к ним переулках не было. Здание ЦК комсомола. Тесный кинотеатр «Аврора» у Покровских ворот — почти свой, домашний, где она знала каждый ряд, каждое место и каждую складку на не очень ровном маленьком экране; на нем она видела почти все фильмы тех лет. Еще дом с не очень понятной вывеской издательства «Дер Эмес»; Большой Спасоглинищевский переулок с работавшей синагогой и Старосадский переулок с давно закрытой немецкой кирхой, парикмахерская рядом с ее Девяткиным, где она делала первую прическу — настоящую взрослую. И еще Колпачный — тихий переулок у Покровских ворот; там напротив здания МК комсомола была особая школа, где учились, как говорили, дети всех знаменитых людей. О школе этой рассказывали всякое, и, наверно, потому по утрам и в середине дня возле нее останавливались прохожие, чаще женщины и старушки, показывали, ахали:

— Вот это сын такого-то...

— А это, глядите, дочка...

— Да не эта, а вон та, рыженькая...

— Я и говорю — та...

Она и сама не раз останавливалась возле этой школы — все-таки интересно! — и смотрела, и слушала, но понимала, что все это чепуха! И то, что будто бы в эту школу все дети приезжают на ЗИСах и «эмках», — чепуха. Все шли в школу пешком, как все, и возвращались из школы пешком, как все.

По Старосадскому мимо немецкой кирхи, а иногда и по Большому Спасоглинищевскому мимо синагоги она бегала вниз на Солянку и дальше — на площадь Ногина, в клуб Наркомтяжпрома.

Отец ее после возвращения со Сталинградского тракторного работал в Наркомтяжпроме и записал ее в клуб. Там был пионерский ансамбль песни и пляски. Ансамбль — одно название.

Настоящего инструмента у них не было, кроме примитивных трубочек, важно называвшихся непонятным словом «мерлитон», барабанов и медных тарелок. Но они пели, играли, танцевали — и все получалось здорово. Они выступали в самом клубе и в Доме инженера и техника на улице Кирова.

Она, пожалуй, всегда боялась начальства. В школе — учителей, еще больше — завуча, особенно директора. Когда, казалось бы, выросла, стала взрослой, боялась всех в райисполкоме, где рабстала. Даже секретарша — такая же, как она, девчонка Валя, но секретарша председателя исполкома — казалась ей начальством, и она робела перед ней.

А тогда к ним в клуб запросто приходил сам Серго Орд-

жоникидзе. И смотрел, как они отплясывают «лявониху», и спрашивал:

— А лезгинку не можете? Надо, надо лезгинку разучить.

Потом он был и на их концерте в Доме инженера и техника на улице Кирова. И не один: привел с собой Михаила Ивановича Калинина.

После концерта они пришли на сцену, и их долго вместе фотографировали. Снимки были напечатаны в большой газете «За индустриализацию» и в маленькой — наркоматовской — «Штаб индустрии». Она сидела рядом с Орджоникидзе и почти рядом с Калининым, и Орджоникидзе спросил ее:

— Отец твой в Наркомтяже работает? Как зовут-то тебя?

Она назвала фамилию.

— Ну, Савелия Викторовича знаю! Еще по тракторному в Сталинграде, а сейчас мы — сослуживцы. Увижу завтра, передам, что дочь у него молодцом! Лихо плясала! Правда, Михаил Иваныч?

И ей было совсем не страшно тогда, а наоборот, как-то очень легко. И когда отец на следующий день, а вернее, почти в ночь, когда она уже спала, вернулся с работы и разбудил ее, все было естественно и просто:

— Слушай, а тебя сегодня мне сам Серго хвалил! Понимаешь? И газеты напечатали!

Она выхватила у отца газеты и обрадовалась: они оба тоже на снимках! Оба — это Вова Соловьев и Женя Спирин. Вместе с ней, и с другими ребятами и девочками, и с Орджоникидзе и Калининым.

Ей нравились Вова и Женя. И хотя с Женей она даже как-то целовалась в подъезде в Кривоколенном переулке, как раз напротив дома, в котором Пушкин когда-то читал Веневитинову «Бориса Годунова», она не знала, кто ей нравился больше — Женя или Вова. Просто Женя был смелее. И ей всегда было трудно: если ее провожал Вова, как быть с Женей? И как быть с Вовой, когда Женя звал ее по выходным дням в планетарий? Она ходила с Женей в планетарий, наверно, сто раз и страшно скучала там. А Женя был увлечен звездами и разными планетами, занимался в астрономическом кружке при планетарии, и ей не хотелось его обижать: он ей нравился. А с Вовой она просто отдыхала, хотя тот больше молчал. Он ничего не говорил ни про звезды, ни про планеты, а водил ее в зоопарк, и в уголок Дурова, и в цирк, и еще в звериную поликлинику где-то у Трубной площади и молчал, и она знала, что он любит зверей и что она ему нравится. И он ей нравился. Очень! Может быть, больше, чем Женя. А может быть, и нет — так же.

Все это было давно, очень давно. До войны. В тридцать девятом она пошла работать, и уже не бывала в клубе Нарком-

тяжпрома, и редко кого видела из старых знакомых. Ей тогда как раз исполнилось семнадцать, она пошла работать и бросила школу. Вова потерялся совсем. Говорили, что он уехал куда-то с родителями — кажется, на Камчатку или Чукотку. Раньше они виделись часто и потому не научились переписываться, и теперь она не ждала от него никаких писем. А потеряв след Вовы, она и о Жене почему-то перестала думать. Оба вместе они были нужны ей, а отдельно...

Нет, это совсем не то, что сейчас. И хотя Слава чем-то похож на Вову, а может, и на Женю, все равно не то...

Женя нашел ее в прошлом году, в райисполкоме. Стоял ноябрь, самое тяжелое время, — райисполком гудел, и все были задержаны, взвинчены, и тут появился он:

— Вот пришел, попрощаться пришел... Совсем забыла ты меня? А-а?

— Не забыла, — сказала она, чтобы не обижать его.

Он был в шинели и уходил на фронт!

— А я искал тебя. Веришь?

— Верю, — сказала она почти ласково, хотя знала, что это он сейчас просто так говорит. И вспомнила Вову. Подумала: «Он тоже, наверно, на фронте?»

Они изменились, наверно, с тех лет, когда их снимки были напечатаны в газетах. И сама она, конечно, изменилась. Сколько лет прошло? Три? Четыре года? Ох, много!

Интересно, сохранились эти газеты сейчас? Отец, пока не ушел на фронт, очень берег их. И потом, когда ушел, она дважды их смотрела. А осенью и зимой они с матерью пустили на топку все, даже стулья и кухонный столик, не говоря уже о книгах и газетах. Это когда она училась на курсах сандружинниц и одновременно на курсах телефонисток. Неужели и газеты спалили? Странно, но она не вспомнила о них, когда уходила сюда...

Маросейка — Покровка. Покровка — Маросейка. Улицы ничем не примечательные, может быть, даже самые заурядные. Они с приходом войны ни в чем почти не изменились. Меньше стало людей, но столько же осталось магазинов. И в них отоваривали оставшихся покупателей. Очереди — хмурые, тихие, притертые к заснеженным тротуарам — стояли возле магазинов. И в парикмахерской, ее парикмахерской, возле Девяткина переулка, вечно была очередь. Мастеров стало меньше, а очередь, пусть и маленькая, двигалась плохо: шли фронтовики и уходившие на фронт, шли уже инвалиды и просто знакомые мастера, и все всем прощалось. И это, наверно, хорошо: война, а люди и парикмахерскую не забыли...

Маросейка — Покровка. Покровка — Маросейка. Улицы со старыми домами в два-три, самое большее — в три этажа, с облезлыми стенами, коммунальными квартирами, в которых тесно

всюду — и в комнатах, и в коридорах, и на кухнях, с маленькими грязными двориками, с витринами магазинов, которые вовсе не говорят о том, что есть на прилавках, и с людьми очень разными и хорошими. Сейчас она особенно понимала это, хотя раньше для нее люди были просто люди. А ведь это они тушили зажигалки во время ночных налетов немецкой авиации. И они днем работали, и не так, как она, на обычной секретарской должности, а работали на заводах, где делали пушки и танки, снаряды и машины. И они уходили на фронт — из военкомата в Армянском переулке и не из военкомата, а прямо с работы в сентябре, и октябре, и ноябре прошлого года. А еще раньше они, наверно, так же, только куда спокойнее, поскольку никто не знал об этом, уходили отсюда в Испанию, на Хасан, на Карельский перешеек, как прежде уходили на гражданскую и еще прежде — на баррикады революции. Ведь и тогда была Москва, и были эти улицы, и жили на них люди.

Ничем не примечательны ее улицы. И до войны, и сейчас, в войну. И, наверно, она не думала бы сейчас о них, если бы была там. Как и все, бегала бы на работу в свой райисполком. А по вечерам — на курсы. Как и все, бегала бы отовариваться и стоять в очередях у магазинов. Как и все, дежурила бы по ночам — то на крыше, то у подъезда дома, то на улице, отшучиваясь от проходивших мимо военных. А в перерывах между всем этим добывала бы дрова, а точнее — щепки, чтоб нагреть комнатную железную печку, согреться им с матерью, опускала бы чахлые маскировочные шторы и молила кого угодно, чтобы очередной взрывной волной не вышибло их перекрещенные бумажными крестами стекла. Иначе замерзнешь совсем!..

Она вспомнила мать. Не вспомнила, а явственно представила ее себе — закутанную, старую, голодную и одинокую.

Сейчас она с удивительной нежностью и глубиной поняла, кажется, что такое мать. Мать — боль рождения. Мать — беспокойство и хлопоты до конца дней ее. Мать — неблагодарность: она с первых шагов поучает и наставляет, одергивает и предупреждает, а это никогда никому не нравится ни в пять, ни в десять, ни в двадцать лет. Мать работающая, как отец, и любящая, как мать. Мать, у которой на руках ее дети, ее семья и вся страна. Ибо нет без нее ни того, ни другого, ни третьего.

А она так и не написала матери, хотя прошло уже несколько дней. В Москве — на формировании. И в дороге. И вот теперь здесь.

Она напишет ей. Напишет так: «Мамочка, милая моя мамочка! Все очень хорошо, и я очень люблю тебя. Не беспокойся. У нас все тихо и спокойно. Я в полной безопасности. Война скоро закончится, и мы опять всегда-всегда будем вместе. У меня тут много хороших друзей. Они заботятся обо мне. По ночам я сплю. Не мерзну. Ем нормально... Береги себя!..»

Никогда, пожалуй, прежде она не думала так о матери. И о своей улице...

На расстоянии, видимо, все чувствуется острее и больнее.

4

С младшим лейтенантом она познакомилась в дороге. Тогда она не знала, как его зовут. Он сопровождал их — восемь девушек — почти от самой Москвы. Старая трехтонка везла их, полузамерзших и наивно-восторженных, добрых пять часов, и с каждым часом, а вернее, с каждым нелегким километром они все более скисали. Наверно, потому, что было холодно, и ноги затекали в переполненном кузове, и шофер то вел машину рывками, а то еле-еле тянулся и потому буксовал. Порой он и вовсе останавливался — бесцеремонно по своим делам, а затем еще подходил к кузову и, усмехаясь, спрашивал:

— Как, девоньки, не зачоченели? Ничего! Теперь скоро! Еще часик с гаком!

И не спрашивал у них ничего другого, а разве у них не могло быть таких же своих дел?

Ох уж эта шоферня!

Поначалу Варя худо думала о шофере, а потом оказалось — все как раз наоборот. Часа через три езды шофер остановил машину в поле, вылез из кабины и позвал младшего лейтенанта. Они о чем-то посоветовались, и тут младший лейтенант вдруг выдал:

— Ну, как там говорили в детстве: мальчики — нале, девочки — напра? Так давайте! Специальная остановка. Не стесняйтесь.

Она нарочно, назло, не вышла из кузова. Пусть другие девушки соскочили на землю и пошли куда-то. Она не пошла, ей не нравилось все. И то, как младший лейтенант оглядел ее с головы до ног — она была в коротком полушубке и стеснялась своих, как ей казалось, не очень красивых ног, — и то, как он спросил ее, оставшуюся в кузове:

— А ты что? Или не нужно? Откуда такая?

Откуда она? Она не стала ему отвечать. И вообще ничего не стала говорить. Подумала, что шофер куда тактичнее оказался, чем этот...

Всю оставшуюся часть дороги она молчала. Другие девушки говорили, даже, как она думала, заигрывали с младшим лейтенантом, а она молчала. И чувствовала, что ему не нравится ее молчание, и он тоже все больше молчит, нехотя отвечая на вопросы и шутки девушек. И смотрит на нее не то с сожалением, не то с грустью. Такие глаза, она вспомнила почему-то, были у Вовы Соловьева, когда он звал ее куда-нибудь в выходной, а она отказывалась и говорила, что никак не может, что, мол,

и дома у нее дела и еще что-то. А он понимал, что просто они с Женей договорились идти в планетарий, заранее договорились, и теперь она что-то плетет, чтоб не обидеть его, и он чувствовал себя виноватым, поскольку не договорился раньше. Вова всегда был таким: чувствовал себя виноватым, когда была виновата она. Почему ей вспомнился сейчас Вова? Или что-то общее было в его глазах и в глазах младшего лейтенанта? Или ей просто показалось, что они похожи? Или все это от лютого холода, и необычайности обстановки, и ожидания чего-то неизвестного...

По дороге шли и шли машины, санные обозы, тракторы с артиллерийскими установками, штабные «эмки» и «фордики», наспех перекрашенные в белый цвет. Колонну обогнали по целине несколько танков, а за ними прошел конный разъезд; заиндевелые потные лошади прядали ушами и фыркали, солдаты в белых маскхалатах, с автоматами на шеях подгоняли лошадей, чтобы успеть проскочить вслед за танками. Они торопились туда, вперед, где, наверно, шли бои и где их ждали.

В пустой, как казалось, мало разрушенной деревушке трехтонка свернула с дороги и вдруг резко остановилась в снегу у обломков немецкого Хе-111.

— Водички надо в радиатор плеснуть, — сказал шофер и ушел с ведром куда-то к единственной сохранившейся избе.

Вокруг были лишь землянки с черными и рыжими ржавыми трубами, из которых не шел дым, и еще развалины с целыми и полуразбитыми печками и совсем не было людей. Просто снег завалил все, и с дороги казалось, что деревня цела. И она подумала, что деревня почти не разрушена. Просто снег...

— Зовут-то как? — спросил младший лейтенант.

Она, настроенная еще против него, удивилась:

— Кого?

— Тебя, а кого же? — переспросил он.

Кажется, она совсем растерялась.

Буркнула:

— Варя, а что?

— Варя? — Он словно обрадовался, не заметив ее тона. — Хорошее имя — Варя. Редкое! — Потом добавил, улыбнувшись: — А тут речка Воря есть. Поблизости...

Но вот к машине бросился странный человек с папкой в руках. Он бежал по снегу и падал, бежал от дороги и кричал:

— Граждане хорошие! Граждане хорошие! Стойте!

Они и так стояли.

Старый, с непокрытой седой головой, в полурасстегнутой овчинной шубе, человек подскочил к ним и, надев на нос пенсне с одним стеклом, заговорил почти радостно, листая папку:

— Тут у меня все собрано, граждане хорошие! Все! Вот слушайте. Учтите, это документы! Сам собирал у немцев и в штабе их, когда выгнали. Так слушайте, цитирую: «Речь идет не

только о разгроме государства с центром в Москве. Достижение этой исторической цели никогда не означало бы полного решения проблемы. Дело заключается, скорей всего, в том, чтобы разгромить русских как народ, разобщить их. Только если эта проблема будет рассматриваться с биологической, в особенности с расово-биологической, точки зрения и если в соответствии с этим будет производиться немецкая политика в восточных районах, появится возможность устранить опасность, которую представляет для нас русский народ». Это, замечу вам, не слова какого-нибудь обезумевшего эсэсовца, а инструкция начальника отдела имперского министерства по делам оккупированных восточных областей Ветцеля, лично санкционированная Розенбергом.— Старик аккуратно перевернул листок в своей папке.— А вот слова Кейтеля. Подлинные слова, цитирую, слушайте: «При этом следует иметь в виду, что человеческая жизнь в странах, которых это касается, абсолютно ничего не стоит и что устрашающее воздействие возможно лишь путем применения необычайной жестокости». Тут еще и Йодль в том же духе. А вот, вот и сам Гитлер,— заволновался старик.— Слушайте, это о партизанах. Цитирую: «Партизанская война имеет и свои преимущества: она дает нам возможность истреблять все, что восстает против нас...» И не только он. Заукель, его слова: «Один миллион русских должен быть как можно скорее перевезен в Германию, необходимо поскорее взяться за имеющихся военнопленных». И все это, граждане хорошие, цитаты, документы! Все точно, конкретно!

Он говорил очень, очень долго. И говорил интересно, хотя и страшно — она не знала всего этого,— и все же очень, очень долго.

Уже вернулся шофер с ведром воды, залил радиатор, а старик все продолжал и продолжал листать папку:

— Тут все собрано! И приказы их, и листовочки, и инструкции. И не только их. Вот еще послушайте! Вырезка из газеты. Это уже не немец, а Трумэн, из американцев, так сказать. Из листовки их, для немцев же сделанной, выписал. Вот что он говорит: «Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии, и, таким образом, пусть они убивают как можно больше». Чудовищно! Ведь это не люди, а ироды! Но ничего! Я все собираю. Все документы! Мы, придет время, судить их всех будем — всем миром, дабы лишить человеческого звания. Я уже и с генералом Жуковым говорил тут, проезжал он, и с генералом Соколовским. Все у нас тут бывали. Они меня поддержат. И уж вы, граждане хорошие, поддержите. Суд тут нужен! Мировой общественности суд!..

Шофер, не слышавший начала рассказа старика и ничего не понимающий, почти со страхом спросил:

— Папаш! А люди-то куда у вас здесь все подевались? Воды и то еле нашел...

— Вот то-то и оно, что людей-то всех вот по этим законам,— старик стукнул по своей папке,— и уничтожили! Двести человек у нас тут было жителей, все ученики, между прочим, мои, и никого не оставили, кроме меня. Я им нужен был — учитель, немецкий знаю. Так они меня со всеми погнали туда вон, на задворки, и по всем очередями, а меня оставили. Но ничего! На свою голову оставили! У меня все тут в папочке собирается! Все! Никуда им теперь не деться! Вот соберем мировой общественный суд...

Трехтонка выехала уже на дорогу, а старик со своей папкой бросился вновь к проходившим мимо машинам, и что-то кричал, и что-то доказывал, и пытался развязать папку, чтобы показать собранные им бумаги.

— Совсем плохо с ним, по-моему,— не без удивления сказала Варя.

Вспомнила: до войны у них бегал один такой по Маросейке, паровоз из себя изображал — пыхтел, пускал пары, крутил руками, как колесами, давал сигналы...

Кто-то из девушек хихикнул:

— Да, не в себе дед! «Цитирую»! «Цитирую»! Вот и учитель!

— Неизвестно, кто свихнулся больше,— вдруг сказал младший лейтенант,— он или те... Страшно все это! — Потом сказал, глядя на Варю: — Ты закутайся лучше. Холодно! Простудишься!

И ей стало стыдно своих явно глупых, только что сказанных слов и хихиканья своей соседки. И еще она подумала, что младший лейтенант совсем не такой, каким он показался ей вначале.

5

По дороге шла группа пленных немцев. Снег крупными хлопьями метался в воздухе и застилал глаза. Девушкам в кузове трехтонки и младшему лейтенанту было холодно. Всегда холодно, когда едешь вот так, а когда останавливаешься — еще холоднее. Их машина, как и многие другие, впереди и позади, пропускала колонну пленных. Длинную, безлико стертую в этих бесконечных снегах колонну. Мела поземка, и завывал ветер в радиаторах стоявших машин, и гнулись под ветром одинокие чахлые кустики и деревца вдоль дороги, и еще больше гнулись пленные.

Их было много — сотни три, а может, и четыре, шедших по обочине, неловко проваливавшихся в снег. Ветер вздымал полы

их шинелей, бил в лица и в уши под холодными касками и летними пилотками, забирался в рукава. Перчаток не было почти ни у кого из них, а о варежках и говорить смешно. Если уж на голове каска или пилотка, какие тут варежки! Было что-то жалкое и несчастное в этих, в общем-то, немолодых, обросших щетиной людях и даже какое-то чувство жалости к ним: мол, нам каково, а им, не привыкшим к нашей зиме, так легко одетым?

Снег и метель бесновались вокруг. Заметали поля, остатки разбитой немецкой техники, не похороненные трупы, могилы с немецкими касками и все, что стояло и двигалось сейчас по дороге: машины, бронетранспортеры, артиллерийские установки, сани, лошадей и людей. И эту колонну пленных, которая шла и шла мимо замерзших на дороге наших войск и машин.

Варя — от холода ли, от любопытства? — посмотрела за борт машины и сквозь метущийся снег увидела пленных. Лиц почти не видно — только снег. Головы, фигуры и снег. Фигуры, головы и снег. Но вот одна из заснеженных фигур повернулась к ней, наверно смешной и наивной сейчас, и молодой, и непривычной (именно оттого, что она была женщиной), и Варя услышала сквозь ветер:

— Рот Фронт, геноссе! Тельман! Геноссе, Рот Фронт!

Варя разглядела чуть поднятую культипку и запорошенный снегом рукав.

Она поразилась, ничего не ответила, а потом уже, когда их машина двинулась вперед, стала горячо рассказывать своим соседкам, девушкам:

— Понимаете, это наверняка их коммунист! Ведь он сказал...

— Все может быть, — сказал младший лейтенант. — Может быть...

— А что ж тут такого! — подтвердила одна из девушек. — Всё они подняли против нас!..

— Все они сейчас такие, — сказала другая. — Как в плен попались, так у них: «Сталин гут, Гитлер капут!..» Не верю, девочки, не верю!

А Варе хотелось верить.

Когда это было? В тридцать пятом или в тридцать шестом? Или в начале тридцать седьмого? Тогда ей было пятнадцать или четырнадцать. Весна. Да, как раз весна. Значит, тридцать седьмой. В клуб Наркомтяжпрома на их концерт пришли немецкие пионеры — дети работников Коминтерна. И потом, когда закончился концерт, они долго говорили.

«Рот Фронт!» — не раз слышала она в тот вечер. И опять: «Рот Фронт!»

Остальное было по-русски. Немцы отлично понимали по-русски. Ведь все они жили в Москве, а многие и родились в Москве.

После концерта они шли вместе — с площади Ногина вверх по Ильинскому скверу.

И опять она слышала по-немецки: «Рот Фронт!»

И по-русски: «Товарищи!»

Это всегда был ее самый любимый сквер. Из многих, какие она знала в Москве, любимый — сквер у Ильинских ворот.

В нем было не прибрано, и деревья, и кустарники, и трава росли словно сами по себе. А в начале сквера, там, где стоит памятник героям Плевны, среди травы лежали огромные камни — черные, коричневые, серые, будто пришедшие сюда из дальних веков.

И памятник — иссиня-черная часовенка с такими же черными цепями вокруг — был необычен. И надписи на нем, которые она тогда читала немецким пионерам и пыталась даже как-то объяснить, хотя уж не настолько отлично знала русскую историю: «Гренадеры своим товарищам, павшим в славном бою под Плевной 28 ноября 1877 года». Другие надписи были какие-то древнецерковные, и тогда она пыталась в них разобраться, а сейчас ни за что их не вспомнить!

Они распрощались у Политехнического музея и договорились встретиться опять на их концерте — первом платном концерте, сбор от которого шел в фонд помощи МОПРу.

Ребята долго готовились к этому концерту, готовились так, словно от него зависел успех мировой революции. И вот наступил день концерта. И немецкие пионеры пришли, да не одни, а со своими отцами и матерями — революционерами.

И вот ребята грянули песню, специально подготовленную для них. Они грянули песню на немецком и на русском, которую пел тогда Эрнст Буш, которую пели и немцы, и русские, и все — весь мир:

Унд вайль дер менш айн менш ист,
Друм браухт эр клайдер унд шу,
Эс махт ин айн гешвейтц нихт варм,
Унд аух кайн троммельн дацу.
Друм линкс, цвай, драй,
Друм линкс, цвай, драй,
Во дайн платц, геноссе, ист!
Рай дих айн ин ди арбайтер айн хайтс фронт,
Вайль ду аух айн арбайтер бист.

И так как все мы люди,
То нужны нам сапоги без заплат,
И нас не согрееет треск речей
Под барабанный раскат.
Марш левой, два, три,
Марш левой, два, три.
Стань в ряды, товарищ, к нам!
Ты войдешь в наш единый рабочий фронт,
Потому что рабочий ты сам.

Люди в зале поднялись со своих мест и зааплодировали.

Все немцы — старые, молодые и совсем еще дети, пионеры, — хлопали и скандировали: «Рот Фронт! Рот Фронт! Рот Фронт!»

И у многих на глазах были слезы.

И вот сейчас она опять услышала это знакомое с детства:

«Рот Фронт, геноссе! Тельман! Геноссе, Рот Фронт!»

6

Вскоре после встречи с пленными немцами они остановились в рабочем поселке. Остановились прочно. Шофер явно надул, когда сказал, что ехать им еще часик с гаком. Ехали добрых три часа. В поселке находился штаб полка, где она должна была получить назначение. Но в этот день почему-то вышло так, что всех девушек — ее попутчиц — распределили, а ее нет.

Она робко доказывала:

— Посмотрите мои документы... У меня же две специальности...

Младший лейтенант ходил с ней вместе, с кем-то говорил, с кем-то спорил, на кого-то даже прикрикнул, но толку не было.

Кто-то сказал:

— Слушай, чего ты голову морочишь! Нет же никого! Все начальство на передовой!

Еще кто-то:

— Нам бы красноармейцев подбросить, а ты! Кстати, не слышал, там еще сибиряки или уральцы не подтягиваются?

И еще:

— Силы, понимаешь, живой силы у нас, браток, не хватает! И противотанковых средств. Ты слышал, что немцы на дороге Москва — Брест контратакуют?

А в следующей комнате опять:

— Командир полка в батальонах. И начштаба. И комиссар. Без них ничего не могу. Вернутся, тогда пожалуйста...

Она чуть не обиделась.

— Вы знаете, — сказала она младшему лейтенанту, — у меня такое впечатление, что я здесь никому не нужна. Почему же тех девушек распределили, а меня?.. Я здесь не останусь. Я тоже хочу туда...

— Все это чепуха! — сказал младший лейтенант. — Люди на передовой. У тех девушек проще: они — военфельдшеры. Естественно, их сразу в дело бросили. А у тебя... И связь, и медицина... Право, тебе надо остаться здесь. Тут все же безопаснее.

— Я не хочу здесь, — упрямо сказала она.

— Ну ладно, ладно, — успокоил ее младший лейтенант, —

утро вечера мудреней. А сейчас погуляй. Часа через два устрою тебя на ночлег.

Она ходила тогда по поселку. Хотя здесь и располагался штаб полка, военных в поселке почти не видно. Разбитый, какой-то заброшенный и молчащий, он был пуст. Или так казалось потому, что всюду много снега. Домов сохранилось лишь несколько, и те не полностью. Во многих полуразрушенных — лишь бы под крышей! — что-то жило. Загорелись коптилки. Тянуло из забитых досками или просто заткнутых тряпьем окон запахами махорки и еды. Она читала немецкие объявления, которые так врезались ей в память, и видела братскую могилу наших, которую не успели закрыть землей, но которую покрыл снег. Туда еще подносили трупы убитых. Две могилы — поименованных — находились на главной улице. Холмики и пирамидки с неаккуратно вырезанными из консервных банок звездочками. И надписи чернильным карандашом, размазанные и уже почти стершиеся: «Интендант 3 ранга Хорошев В. И. 1902—1942», «Военинженер 2 ранга Мотовилов С. А. 1914—1942». В поле за разбитым скотным двором находилось немецкое кладбище. Там в ряд стояли березовые кресты и на них каски. Крестов много — сто или больше — и столько же касок. Снег заметал и это кладбище: на касках огромные снежные шапки, кресты видны еле-еле.

Возле колодца с упавшим журавлем мальчишки рубили топорами замерзший труп лошади. Лошадь с вывороченным животом и разбитым крупом. По соседству обеспокоенно ходили злые голодные вороны. Видимо, мальчишки помешали им.

— Вы что тут? — вырвалось у нее.

Они не поняли:

— Тетенька, смотрите вот — нашли! Наедемся теперь вдоволь.

Мальчишки довольные, покрасневшиеся, взбудораженные и деловитые — как маленькие мужики.

— Я ничего, я просто так, — сказала она.

Вспомнилось: в Москве этот год и то был нелегким. Ели мороженую картошку. Промерзший хлеб с отрубями. Картофель — по три штуки, не больше. Хлеба с гулькин нос. За желудями ходили в особняк Сулимова — это почти рядом с их домом, в соседнем переулке. Особняком Сулимова звали дом небольшой, одноэтажный, где жил когда-то председатель Совнаркома РСФСР. Кто жил сейчас в особняке — не знала. Но там был парк, уютный, огороженный каменной стеной, и в нем — деревья, сухие листья, травка. Очень давно, в детстве, бегали они туда за майскими жуками и гусеницами весной, за желудями и красивыми листьями осенью. В ту осень ходили только за желудями. Но не всегда успевали: были и другие, кроме них. Желуди мололи и примешивали к муке: не для хлеба, для

похлебки. Ездили в Измайловский парк и вырубали из-под снега крапиву — для супа. Варили кисель из клейстера. С трудом доставали в аптеках по рецептам рыбий жир и жарили на нем... Но это в Москве. А тут, где прошла война!..

К вечеру снег прекратился. Прояснилось небо. Оно бледно звездило сквозь белесую дымку, когда не работали наши зенитчики и прожектористы. Немецкие самолеты пролетали за вечер трижды, мелкими партиями, и их отгоняли. Один сбили, и он полетел с воем, дымя и вихляясь, куда-то к дальним лесам. Часам к девяти появился даже месяц, месяц не месяц, луна не луна — светящийся в тусклом небе полуобрубок. Он был так неярок и неясен, что даже не напоминал звездное светило, а, скорей, лампочку, зажженную в небе, бледную лампочку в пятнадцать свечей. Но снег под этим месяцем-луной вдруг заблестел, и заискрился, и заиграл тенями и желто-голубыми оттенками. И не только на улицах поселка, а и на крышах изб и домов, на разрушенных и целых, на покосившихся и развороченных. И соломки взъерошенных крыш, и листы вздернутого к небу железа — там, где крыши были железные, — и трубы, и поднятые ввысь стропила и бревна — все заиграло снегом в свете, единственном сейчас свете этого холодного и неярко-го месяца-луны. Даже поваленные наземь столбы, перекрученные морозом и взрывами провода и похожие на диковинных куропадок белые изоляторы светились. Светились в бликах вечного света, словно завидуя, а ведь было время, свет шел от них, и от них шли эти вечерние тени и блики, и больше того — шло главное, для жизни, для людей.

Тощая, с облезлыми кострецами кошка вышла откуда-то из-под развалин. Постояла на лунной дорожке, понюхала воздух и деловито направилась влево. Вид у нее был полудикий, и, если бы не знать, что она кошка, ее можно было бы испугаться. Блеснули зеленые глаза, вздрогнули усы, по-звериному оскалился рот. И походка... Походка решительная, как в минуту отчаянного шага, принятого наперекор всему — и здравому смыслу, и своей собственной судьбе.

Справа за поселком началась перестрелка. Сначала ружейная и автоматная, а затем и артиллерийская. После мелкой дроби, гулко раздававшейся в зимнем морозном воздухе, заухали разрывы снарядов. Взметнулось пламя, и задрожало небо. Взвизгивали снаряды, которые, казалось, вот-вот накроют поселок, но удары приходились где-то далеко, и только земля тяжело вздрагивала от них. Потом все, казалось, чуть стало стихать, но послышался нарастающий тяжелый гул в небе. Он приближался и приближался с западной окраины поселка, нарастая с каждой минутой и словно угнетая землю. Тут земля взвилась в воздухе. Ударили зенитные батареи, и забежали в небе лучи прожекторов. Наверно, это наши били по немецким самолетам.

И вдруг откуда-то слева раздался дикий собачий лай и рев,



воронье карканье и кошачье завывание. Дикое, лютное, уже не звериное. Там шла какая-то схватка, и, видимо, не на жизнь, а на смерть.

На минуту Варя даже усомнилась: ей послышался детский крик.

Мимо шел красноармеец или командир — она не разобрала, но шел оттуда, откуда раздавались дико-раздирающие звуки, и она спросила:

— Что там? Случилось что?

— Из-за лошади дерутся... Собаки, кошки да вороны! Голод не тетка!..

И он зло выругался.

Значит, это там, где мальчишки рубили замерзший труп убитой лошади. Ну конечно, они не все могли забрать, подумала она. И значит, кошка эта, с зелеными глазами, сейчас там...

Младший лейтенант определил Варю на ночлег где-то уже очень поздно:

— Не сердись, замотался совсем! Верно, промерзла?

— Только ведь я правда не хочу в штабе оставаться, — сказала она младшему лейтенанту. — Я хочу туда, в батальон, где все... Учтите!

— Учту, учту, — пообещал младший лейтенант.

В тесной, прокуренной и продымленной комнатке штаба, забитой командирами и солдатами, они ели из котелков гороховый концентрат, потом пили из этих же котелков мутный, но горячий чай. Чтобы согреться!

В просторной избе, стоявшей наискосок от штаба, край которой был разбит немецким снарядам, ее встретили запахи несвежего сена, овчины и каких-то лекарств.

— Да, — сказал он, — я вот листовку прихватил. Наши в полку отпечатали. Посмотри...

Он протянул ей листок, отпечатанный на оберточной бумаге. Она читала:

«Смерть немецко-фашистским оккупантам! Прочти и передай товарищу! В селе Елисеевке бойцы нашего полка нашли мальчика, у которого фашисты вырезали на лбу и на животе, вокруг пупка, пятиконечные звезды. Как удалось установить, мальчик — житель Елисеевки, 6 лет, сказал немецкому офицеру: «Зачем вы сюда пришли? Без вас было хорошо, а стало плохо». Родители мальчика — партизаны. Их расстреляли немцы. Мальчик назвал себя Владимиром Викторовичем Осетровым. Он отправлен в госпиталь. Товарищи красноармейцы, командиры! Вперед, на врага! Отомстим фашистским извергам за их преступления! Отомстим за Владимира Викторовича Осетрова, 6 лет от роду, жителя деревни Елисеевки!»

— Страшно, — сказала она.

— Конечно, страшно!

Они помолчали.

— Тут тебе будет удобно? — спросил младший лейтенант. — Не боишься?

— Нет, не боюсь, идите! Спасибо! — сказала она, с трудом пробираясь по темной комнате.

— А не холодно? — еще спросил он.

В избе было явно не жарко, но в полушубке и сапогах, если не раздеваться, не замерзнешь.

— Нет, что вы! — уверенно возразила она.

Тогда она говорила с ним еще на «вы», хотя он давно уже обращался к ней на «ты», и это ничуть не обижало ее. Он был старше, и, кажется, намного. По крайней мере, ему лет двадцать пять — двадцать шесть, а ей всего лишь двадцать. Разница огромная!

Ей действительно не было ни страшно, ни холодно, когда она легла на пол, подобрав под себя слева и справа, спереди и сзади охапки мягкого сена.

За окном, наглухо забитым фанерой, что-то шуршало или шелестело. Она не выдержала, поднялась, вышла на крыльцо.

Ветер нес по снежной улице сухие листья дуба. И дуб стоял рядом и шумел сохранившейся сухой листвой.

— Вот оно что, — произнесла она и, зябко ежась, ушла опять в избу.

Легла. Еще раз поправила сено и, кажется, уснула. Снилось сумбурное. Москва довоенных лет и кошка, раздирающая труп лошади. Младший лейтенант, сидящий в клубе Наркомтяжпрома, и шофер их трехтонки, отплясывающий лезгинку. Отец и мать, мирные, довоенные, пьющие чай, и вдруг врывающийся в комнату седой учитель с папкой в руках: «Тут у меня все собрано! Цитирую, граждане хорошие, цитирую...» А потом почему-то немцы — пленные немцы, бредущие по весенней дороге среди цветущих садов. Не те ли это немцы, что были перед войной в клубе Наркомтяжпрома? Они поют песню, знакомую, суровую песню прошлого года:

Не смять богатырскую силу,
Могуч наш заслон боевой.
Мы выроем немцу могилу
В туманных полях под Москвой.
Мы не дрогнем в бою
За столицу свою!
Нам родная Москва дорога.
Нерушимой стеной,
Обороной стальной
Разгромим,
Уничтожим врага!..

Немцы не успели допеть, как вспыхнули ракеты и радио знакомым голосом произнесло: «От Советского Информбюро.

В последний час. Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои! Сегодня война окончилась нашей победой. Сам Гитлер со своими сообщниками лично прибыл в Москву, посетил Кремль и доложил товарищу Сталину о полном поражении своей армии и безоговорочной капитуляции...»

Что за бред! Она вскочила, ничего не понимая. За окнами глухо гремела артиллерийская канонада. Голова болела, и почему-то подташнивало. Она чиркнула спичкой и сразу же поняла, почему в избе так пахло лекарством. На сене валялись окровавленные черно-бурые бинты, вата, какая-то обертка и банка. Видимо, здесь лежали раненые.

Она встала. Спать больше не хотелось. Вспомнила о младшем лейтенанте — о единственном своем более или менее знакомом здесь человеке. Вышла на крыльцо. Артиллерия била и слева и справа. Какая — наша или немецкая? Наверно, и та и другая. Вспыхивало небо. Зарницами, ракетами, трассирующими очередями, лучами прожекторов.

— Ты что? Испугалась?

Оказывается, младший лейтенант ходил возле избы.

— А вы? — Она удивилась и обрадовалась одновременно.

— Опять на «вы»! — сказал он. — Не спится...

Теперь, ночью, он показался ей коренастым и не таким суровым, а мягким, чуть задумчивым. Он был в шинели — довольно длинной — и в серых валенках. На ушанке его оттопыривалось одно ухо. Она даже усмехнулась про себя, а он, будто поняв ее, снял ушанку и завязал тесемки.

— Лучше бы опустили, — сказала она. — Холодно!

— Замерзла?

— Я? Нет!

Они бродили по улицам поселка, поворачивали назад у разбитого колодца, вновь мимо ее избы, потом чуть дальше, до штаба, где стоял часовой, и обратно — мимо избы и до колодца. Раздавались удары артиллерийских батарей, шумел лес, вспыхивало небо. И все же было тихо, очень тихо сейчас в этом поселке. Снег хрустел под ногами, как вафли. Одиноко и блекло мерцали в сохранившихся домах огоньки коптилок.

— А мне сны такие снились, — призналась она, поскольку он молчал. — Бред!

Он вроде обрадовался, оживился:

— Какие?

— Да сущая чепуха! — Она рассмеялась. — Ночной бред!

Он не стал спрашивать, опять замолчал.

— А вы, — наконец спросила она, — давно здесь?

— Где?

— Ну, на войне, — пояснила она.

— С начала. Добромиль — слышала такое место?

— Нет! Хорошее слово — Добромиль! Уютное какое-то, ласковое!

— Там было не так уж уютно, — сказал он. — Это почти на самой границе. Перемышль, Самбор, Драгобыч... Слышала?

— Кажется, да.

— В тех, в общем, краях, — не вдаваясь в подробности, сказал он. — И все же тебе лучше остаться здесь, в штабе, — добавил он. — Тут тише.

— Не хочу, — упрямо повторила она.

И опять они шли по улице поселка. Туда — обратно. Обратно — туда. Мимо штаба, мимо ее избы. Мимо могил наших командиров и скелета лошади — всего, что осталось от трупа, который она видела вчера. Затихло небо, и вновь на нем неясно проглядывались звезды и мутные очертания месяца-луны. Замолкла артиллерийская канонада.

— Не замерзла?

— Нет.

— Может, спать хочешь?

— Нет, походим еще чуть-чуть.

Они ходили. Хрустел снег. Неровные, успокоившиеся, лежали на нем загадочные тени. Неровные, как облака, загадочные, как одинокие деревья и развалины.

— А до войны? — спросила она. — До войны где вы жили?

— В Москве, в Бабушкином переулке. Есть такой. Слышала?

Еще бы не слышала! Так, значит, по Москве они почти соседи?..

7

Земляной вал. Разгуляй. Между ними как раз Бабушкин переулок. Рядом какой-то институт, кажется химический. А чуть раньше, ближе к Земляному валу, — сад имени Баумана. Она ходила туда несколько раз на танцы и один раз смотрела кино на открытом воздухе — «Остров сокровищ».

И Земляной вал, и Разгуляй — продолжение улиц ее детства — Маросейки и Покровки. Дальше — площадь Баумана и Елоховский собор, где, говорят, по большим церковным праздникам пели знаменитые певцы из Большого театра, и кинотеатр имени Третьего Интернационала (такой же маленький и уютный, как их «Аврора»), где она тоже бывала раз или два.

Бабушкин переулок. И трамвайная остановка называлась — «Бабушкин переулок» или, как говорили кондукторши: «Бабушкин... Следующий Разгуляй».

Там, недалеко от Бабушкина переуллка, она получала в райкоме комсомольский билет.

Сороковой год. Она уже работала. И все спрашивали ее:

«А ты до сих пор не в комсомоле?» И она маялась, не знала, что сказать, хотя сама давным-давно мечтала стать комсомолкой. Но туда, в комсомол, как ей казалось, принимали сверхсознательных и сверхидейных, а она не была такой. Она даже газеты читала от случая к случаю. Радио она тоже почти не слушала. Приемника дома у них не было, и она завидовала тем своим подругам, у которых видела радиоприемники; они считались тогда признаком благосостояния. Трансляцию в их дом провели совсем недавно, но черная радиотарелка, висевшая у них на стене рядом с давними фотографиями отца и матери, почему-то не нравилась ей. Вернее, она ее просто не замечала, хотя тарелка говорила и пела все время, пока они не ложились спать. Да и не так уж часто сидела она дома, чтобы слушать радио. Вернется, бывало, с работы — надо маме помочь по хозяйству, или в магазин сбегать, или пойти погулять с подругами — в кино, например, сходить, на танцы или просто по улицам пройтись. Радиотарелку она оценила уже позже, во время войны...

В райкоме комсомола ее спросили совсем не про то, что она ожидала. Она зубрила Устав, кажется, наизусть его вызубрила, перечитывала в газетах обо всех важных событиях за рубежом, вспоминала деятелей Коминтерна и руководителей зарубежных компартий.

— А вот если б нужно было на войну с белофиннами, ты сейчас пошла бы? Готова? На лыжах умеешь?

— На лыжах умею, — сказала она, хотя и засомневалась: «Что значит умею? Кататься умею, а если там в поход идти или в бой...»

— Так насчет войны с белофиннами как? — переспросили ее. — Ведь ты, кажется, значкист ГТО?

— Да, второй ступени.

— А общественные нагрузки есть?

— Я член месткома, член редколлегии стенной газеты!

— Ну ладно! — сказали ей. — А что ты думаешь о германском фашизме?

— У нас же с ними договоренность есть — не нападать, — бодро сказала она. Уж что-что, а это она знала.

— Нет, не об этом речь, а о существе. Твое отношение к германскому фашизму?

— Мое? Мое отношение? — чуть поколебавшись, сказала она. — Плохое. Очень плохое...

Сейчас ей смешно все это вспоминать. Она пришла сюда, на фронт, никто ее не звал и не просил, наоборот, ее отговаривали, но она пришла. Тогда же...

Бабушкин переулок выходил на Ново-Басманную. Как и сад Баумана, он имел выход сразу на две улицы. На Ново-Басманной они выступали в Центральном Доме культуры детей желез-

нодорожников. И там же, на Ново-Басманной, в больнице умерла от тифа ее старшая сестра — Нина...

А в тридцать седьмом году она была с отцом в клубе Кухмистерова — это тоже недалеко от Бабушкина переуллка, только с другой стороны. Она на всю жизнь запомнила этот вечер — предвыборное собрание избирателей их района. Готовились первые выборы в Верховный Совет. Сама она, конечно, не выбирала, но разве в этом дело. Все девчонки и мальчишки считали, что выборы — их дело. «Наш избирательный округ», говорили они, «наш кандидат», «наш избирательный участок».

Вся школа завидовала ей, что она была в клубе Кухмистерова, слушала выступления их кандидатов — академика Комарова и председателя Моссовета Булганина. Учителя ей завидовали, а не только ребята.

Мне сейчас
Одиннадцать лет,
Я очень жалею,
Что не могу выбирать
В Верховный Совет,—

после выступлений кандидатов какая-то маленькая девчушка читала со сцены эти свои стихи о выборах, а потом был концерт, какого она еще никогда не слышала: Лемешев, Алексеев, Качалов, Барсова и Катульская, Рейзен и Смирнов-Сокольский...

Как давно это было! Очень давно! И все-таки кажется, что Бабушкин переулок это где-то совсем близко.

Или потому так кажется, что младший лейтенант сейчас стоит рядом? И он напомнил ей...

Она еще постояла с младшим лейтенантом на крыльце, потом сказала:

— Я пойду.

— Спать хочешь? — спросил он.

— Нет.

— Не надо уходить! — попросил он. — Еще минуточку, ладно?

Стало холодно. Подул ветерок, затем ветер, завывая в трубах и развалинах, зашумел сухими листьями дубов, вдалеке по-шакальи завывали собаки.

Он неловко обхватил ее полушубок, прижал к себе. Она почему-то не отстранилась, а он шептал ей:

— Не бойся, не бойся,— и прижимался мягкими мальчишескими губами к ее лицу. — Ну что ты! Что! Брось! И не уходи! Еще минуточку, ладно?

Ей было и неловко, и хорошо, но она ничего не понимала в эту минуту и не знала, что делать, что говорить.

А он целовал ее — еще и еще, и вдруг она вспыхнула, оттолкнула его от себя.

— Это же нехорошо, нехорошо! Я не знаю даже, как зовут вас, а вы!..

Он тоже, кажется, смутился и робко, совсем по-детски, признался:

— Меня Славой зовут. Вячеславом, значит. Разве я тебе не сказал?

Она уже захлопнула дверь, когда услышала его обиженное:

— Зачем ты так? Я же...

Уснуть она никак не могла. Присела на мягкое сено и так просидела почти до утра.

А когда утром вышла на крыльцо, поняла, что, видимо, все же спала.

На снегу виднелись свежие воронки. Оказалось, под утро был артоналет на поселок. И есть даже жертвы. А она так ничего и не слышала.

— Черт те кто разберет эту обстановку! — Слава встретил ее первым. — Но ведь сейчас же не сорок первый!

Ох уж эти фрицы!

8

Слава, видимо, что-то знал о ней, об этой обстановке. Варя вовсе не знала. О ней, видно, знало высокое начальство. И Слава знал. А Варя не знала...

А обстановка на фронте и верно была не такая уж простая.

На первый взгляд в этой обстановке ничего не было значительного. Сводки Совинформбюро ежедневно сообщали: «...Наши войска продолжали вести активные боевые действия... Наши войска, преодолевая узлы сопротивления противника, продвинулись вперед и на нескольких участках фронта заняли несколько населенных пунктов... ...наши войска вели упорные бои с противником, охватывая и уничтожая созданные немецко-фашистскими войсками узлы сопротивления. На некоторых участках фронта наши части продвинулись вперед...» Ни названий взятых городов. Ни упоминания направлений, где идут бои.

После декабрьского контрнаступления Западного, Калининского и Брянского фронтов, когда немцы были отброшены от Москвы на сто — двести пятьдесят километров, когда были освобождены Калинин и Калуга, спасена от окружения Тула и пройдены одиннадцать тысяч отбитых у врага населенных пунктов, хотелось, конечно же, хотелось, чтоб так все шло и дальше. Дух победы заразителен, и казалось глупым, почему это немцы до сих пор сопротивляются и даже лезут в контратаки и прочно цепляются за каждый клочок не своей, чужой земли.

...Еще 28 декабря 1-й гвардейский кавалерийский корпус после своего беспримерного рейда через Оку, взятия Тихвина и Белева должен был освободить Юхнов. Не получилось...

Еще в начале января войска 50-й армии вели активное наступление на своем левом фланге, которое было направлено на Юхнов, но немцы перебросили сюда целую танковую дивизию, и наступление захлебнулось на восточных окраинах города. Юхнов остался у немцев.

Еще в первых числах февраля 43-й, 49-й и 50-й нашим армиям был дан приказ окончательно разгромить войска противника в районе Юхнова. Но наступление не состоялось.

Немцы же, наоборот, провели несколько активных контрударов по 1-му гвардейскому кавалерийскому корпусу и 33-й армии, сражавшимся в районе Вязьмы, и перерезали их коммуникации южнее и севернее Юхнова.

Еще в конце февраля 50-я армия с фронта и 4-й воздушно-десантный корпус с тыла пытались прорвать немецкую оборону у Юхнова и соединиться с отрезанными нашими частями, действовавшими южнее и восточнее Вязьмы. Немцы только что получили значительные подкрепления — танки, самолеты, противотанковые средства, артиллерию, людей. Прибыли саперные части. За несколько ночей они перекопали берега Угры и других малых речек и оврагов. Появилась сеть дзотов. В заснеженную землю вросли блиндажи. Поля возле шоссе Москва — Брест, или, как его все называли, Варшавского шоссе, оцетинились проволочными заграждениями. Леса и дороги вобрали в себя тысячи мин. Эсэсовцы, занимавшиеся прежде своей службой по розыску партизан, были собраны из всех прифронтовых деревень и даже из глубокого тыла вместе: из них сформировали полки. Они заняли оборону. Они держались за город Юхнов...

9

Небо серело. Медленно, сначала еле заметно. Белесые полосы растягивались, превращаясь в безликую дымку. И сразу исчезло солнце и перестал блестеть снег. Смолкли птицы, и потускнели стволы берез. А ели и сосны почернели, как в сумерки. Ветерок, поначалу тихий, еле заметный, принес холод и запахи гари. Потом закачались деревья — ветер дул уже порывами, резкими, со свистом и завыванием, будто глубокой осенью. Ходили под порывами в разные стороны лапы елей. Гнулись ажурные вершинки берез, покачивались их стволы, гнулись рыжеватые осины, взлетали в воздух одинокие сухие листья. Незыблемо стояли дубы и клены на краю оврага, но и они изредка вздрагивали, лениво шевеля кончиками ветвей.

— Ты как?

Слава спрашивал ее уже в десятый — не меньше! — раз об одном и том же.

— Ничего.— Она чуть кивала головой.

А он в эти минуты стирал пот со лба, и подправлял выбившиеся из-под шапки мокрые светлые волосы, и вновь прижимался к автомату, бросая на ходу:

— Говорил же тебе! Вот уж дурочка так действительно дурочка!

Она не обижалась. А что касается «дурочки», то... Мало ли что мы делаем не так, а оказывается, что как раз так и надо было поступить. А бывает наоборот: все заранее продумано, взвешено — иди делай! — а оказывается, зря. Глупо придумала. Глупо поступила. Еще глупее получилось.

Утром сегодня она получила назначение. Хмурый, с красными от недосыпания глазами, комиссар полка тоже предложил ей остаться в штабе.

— Нам нужны санинструкторы,— сказал он.— И связисты нужны, хотя связь у нас полковая. В общем, люди нужны. В дело! Понимаете, люди! А не девочки!

— Я не девочка,— сказала она.

Он, кажется, усмехнулся:

— Вижу...

Она опять спросила:

— А в батальон никак нельзя? Я бы хотела в батальон...

Словно это было в Москве, и она выбирала себе работу, и старалась взвесить, где лучше — курьером в наркомате, экспедитором в издательстве или секретаршей в райисполкоме? Глупо. Может быть, это то, что ехидно называют женской логикой? Может быть...

Комиссар посмотрел на нее устало, потом на младшего лейтенанта:

— Если романтика нужна, то тогда в третьем батальоне. У вас ведь хватит, младший лейтенант, романтики?

— Так точно, товарищ старший политрук! — отрапортовал тогда Слава.

...До третьего батальона они так пока и не добрались.

Засели у этого оврага в окопе — немцы рвались со стороны Варшавского шоссе. А наших было всего девять человек. Пулемет, правда, ручной, четыре автомата, винтовка, карабин и два пистолета. Судьба свела в этот окоп разных людей — двух красноармейцев из разбитого на шоссе обоза, интенданта, возвращавшегося из штаба батальона, трех саперов, связиста и их со Славой. Интендант, как старший по званию, взял командование на себя, правда, не без помощи Славы.

— Может, лучше вы, младший лейтенант? А то, знаете, я ведь только один раз был в бою, когда Ельню брали.

Слава, конечно, не согласился. И верно: старший должен

быть старшим. Интендант покорно поддакнул, вежливо извиняясь:

— Тогда уж вы, товарищи, мне помогите, если что не так. Хорошо?

И вот они сдерживали сейчас немцев. Уже четыре атаки отбито, а немцы так и не миновали овраг. И у них — потери, а наши — все девять — целы пока.

— Ты как? Ну как? — опять спрашивал Слава.

В середине дня пошел снег. К этому времени как раз захлебнулась очередная немецкая атака. Еще пять трупов скапало под откос оврага. Сколько их там осталось, немцев (Слава определил, что немцы атакуют силой до роты), неизвестно. Снег неестественно падал на деревья и землю, на бруствер их окопа и на дно оврага, где — сейчас стало слышно — начал журчать ручеек. Дальний лес слева окутался туманом, побелел, будто там шел дождь.

Немцы утихомирились.

На какой-то миг мелькнула мысль: а не глупо ли сидеть вот так в окопе под снегом, когда все тихо вокруг и никаких немцев уже, видимо, нет, а их давно ждут в штабе батальона, потому что еще утром комиссар полка сказал: «Я поставлю в известность командира третьего...» Но она не решилась спросить об этом Славу.

Спросила о другом, вспомнив о его дне рождения:

— А сколько тебе сегодня?

— Что? — не понял он, но увидел под стволом автомата подаренную ею веточку сосны и сообразил: — Лет? Двадцать три стукнуло. — И спросил: — Много?

— Мало. Я думала, больше, — призналась она. — А ты правда на меня не сердишься, ничуть? Я действительно, наверно, дурочка?

— То, что в штабе полка не осталась, да? — сказал он. — А может, и хорошо. По крайней мере, для меня...

Она не успела спросить почему. Через их головы с шипением и взвизгиванием полетели снаряды. Они ударяли в противоположный берег оврага, где только что были немцы. Комья земли взлетали в воздухе и сыпались на дно оврага. Снег почернел. Местами образовались черные провалы, и в них с журчанием бежал ручеек. Вздрагивали со звоном стволы сосен. Летели щепы и хвоя. Хвойные ветки падали даже на их окоп: видимо, снаряды задевали верхушки деревьев.

Через час они уже выбрались на противоположную сторону оврага, миновали разбитые немецкие позиции и двинулись к Варшавскому шоссе. Чем ближе подходили они по лесу к дороге, тем явственнее слышали: там идет бой.

— Это, кажется, наши, — сказал Слава, когда они услышали артиллерийские разрывы. — Видно, и в самом деле наши, — по-

вторил он, когда уже раздавался не только гул артиллерийской перестрелки, но и автоматные очереди.

Она мало понимала в этом.

— Определенно наши! — вновь подтвердил он...

А когда среди шума близкого боя они услышали лязг гусениц и удары снарядов о металл, сказал:

— Танки! Что-то не то!

Он ускорил шаг, и она с трудом поспевала за ним.

— Осторожнее, Варюша, — говорил он. И опять: — Осторожнее!

Снег в лесу лежал глубокий, обветренный, с тонкой обманчивой корочкой. Ноги предательски проваливались. Ветки кустарников и суховатых елей били по лицу. Она уронила шапку раз и два, а он, как назло, оглянулся и — ей показалось — посмотрел на нее с недовольством.

— Я иду, — поспешила сказать она.

— Нет, ты понимаешь, — Слава даже вернулся и, казалось, не расслышал ее слов, — когда я уезжал, ну, за вами, наш батальон прочно контролировал дорогу. А сейчас... — Он помог ей выбраться из очередного завала и добавил: — Не знаю!..

Они вышли на опушку леса. На шоссе и прилегающих к нему полях дымили немецкие танки и бронетранспортеры. Их было много. Варя насчитала двадцать три, больше не успела. Бой ушел вперед к деревне, и они заспешили туда.

Слава действительно многого не знал. Не знал, что его третий батальон, прочно удерживавший свои позиции больше недели, два дня назад был атакован немцами и выдержал трудный бой с танковой частью, перерезавшей Варшавское шоссе. Не знал, что в этом бою были уничтожены почти все немецкие танки, но и батальон понес огромные потери — половину своего состава. Не знал, что, несмотря на потери, батальон пошел час назад в наступление, смял боевое охранение немцев и завязал бой на северной и северо-восточной окраинах деревни. Не знал...

Попав на окраину деревни, они тоже вступили в бой. И младший лейтенант, и она, рядовая Варя, и все другие, начиная от командира батальона и кончая поварами, были в этом бою пехотой.

Немцы подготовили деревню для упорной обороны. Наши прошли противотанковые рвы, уж раз батальону не придавались танки. Прошли, как проходит пехота.

Немцы били по ним из противотанковых орудий, но пехота — не танки, и наши подавили их.

Немцы заминировали подходы к деревне противотанковыми минами, но для пехоты это не помеха, и наши прошли через заминированные участки.

К ночи деревня была взята. В ней ничего не горело. Гореть было нечему — дома разрушены и спалены еще в прошлом году, а кроме траншей, дзотов, дотов и блиндажей в три-четыре наката, немцы ничего не строили.

В деревне не было ни одного жителя — кто ушел сам, кого угнали в Германию, кого расстреляли.

Остатки батальона разместились в немецких блиндажах. Измотанным за эти дни людям дали отдых. Варя готовилась принимать раненых, но начальство решило иначе.

— «Небо»! «Небо»! Я — «Береза»! Я — «Береза»! Слушаю! Передаю трубку Третьему...

— Бойко работаешь, — говорил ей напарник — полковой связист, будто издеваясь.

— Как могу, а что?

Ей было некогда, и все же она все время почему-то вспоминала Славу. И даже когда кричала в трубку: «Небо»! «Небо»! Я — «Береза»! — думала о нем. И ей казалось, что она кричит: «Слава! Слава! Я — Варя! Ты слышишь меня?»

Интересно, какой он все-таки, Слава? Наверно, умный! Наверно. Ведь до войны он уже учился в энергетическом институте, а это ужасно трудно. Она бы никогда не смогла.

И все же какой? Наверно, не очень красивый? Наверно. Курносый, с рябинками на лице, с выгоревшими волосами и ростом лишь чуть выше ее, а может быть, и не выше совсем. Если бы она на каблуках была, то, пожалуй, с ним сравнялась. Но он все равно симпатичный — лицо доброе, и глаза, и руки с пухлыми короткими пальцами.

И все-таки какой? Наверно, смелый? Наверно. Она видела его в бою. А ведь он с сорок первого на войне и даже после ранения не ушел лечиться. В сорок первом он выходил из окружения, трое суток шел — вышел.

И все же какой?

— «Небо»! «Небо»! Я — «Береза»! Слушаю...

Славу она не видела всю ночь, пока не сменилась их пара. И даже чуть позже: ждали напарника, вышедшего на линию...

— А я думал, ты спишь, — сказал Слава, когда они встретились.

— Нет, — ответила она и обрадовалась. Ей уже бог знает что казалось и думалось за эту ночь: ведь стреляли, и сильно.

— Глаза у тебя страшно усталые, красные...

— Спать охота, — призналась она.

О чем говорить сейчас, она не знала. И верно, спать хотелось, но было хорошо.

Кажется, сегодня в воздухе впервые робко пахло мартом. Особо, по-весеннему, скрипел снег. Воробьи и галки прыгали возле распряженных лошадей — остатков хоззвода. Уютно дымила батальонная кухня — запахи каши смешивались с запахами

хвой и смолы, шинелей и соломы, снега и весны. Красноармейцы разжигали костры — пекли мороженую картошку, добытую в поле, развороченном снарядами и минами. Кто-то умывался, растираясь снегом, кто-то неумело пробовал немецкую губную гармошку, кто-то копал большой ров для братской могилы, для убитых в боях за деревню.

— Кстати, Варюша, ты не помнишь, — спросил Слава, — песня такая до войны была, немецкая. «Песня единого фронта» называлась. Крутится в голове, а вспомнить никак не могу. Помню только начало припева: «Друм линкс, цвай, драй, драм линкс, цвай, драй, во дайн платц, геноссе, ист!»

— Еще бы не помню! — улыбнулась она. — Мы ее пели.

Унд вайль дер менш айн менш ист,
Друм браухт эр клайдер унд шу,
Эс махт ин айн гешвейтц нихт варм,
Унд аух кайн троммельн дацу.
Марш левой, два, три,
Марш левой, два, три,
Стань в ряды, товарищ, к нам!
Ты войдешь в наш единый рабочий фронт,
Потому что рабочий ты сам.

— Смотри ты, помнишь! — удивился Слава. — Теперь я вспомнил. Эрнст Буш пел ее. А музыка, кажется, Эйслера на стихи Брехта.

Этого она не знала.

У нее совершенно слипались глаза.

— Иди отдыхай, — сказал он. — А то впереди — Юхнов!..

10

Ей хотелось, чтобы было так.

Солнце, солнце, солнце. Очень много солнца. В сквере у Ильинских ворот блестит на солнце памятник героям Плевны и блестят огромные валуны и восковые листочки на тополях. Ребята с шарами — красными, синими, зелеными, желтыми — играют возле памятника, и шары их блестят на солнце и глаза. Солнце отражается в стеклах домов — незашторенных, открытых, в витринах магазинов, и в Стеклянном тоже, — не замурованных мешками с песком, в окнах трамваев и троллейбусов — они не замазаны черной маскировочной краской.

Откуда же запахи свежей краски? Краской пахнет не меньше, чем весенним воздухом, и зеленью, и подсыхающей землей. Пахнет вкусно, дурманяще, как в магазине Резинотреста.

А, так, это дома пахнут — они покрашены! И стены, и рамы окон, и двери, и номерные знаки над воротами и подъездами, и указатели улиц на углах — все покрашено. Как же она не поняла сразу!

Они идут со Славой по Маросейке.

Слава не в шинели и не в гимнастерке, а в сером костюме. Ей нравится этот цвет — скромный и красивый. Отец любил такой. Слава молодец, что он сейчас именно в сером костюме.

«Слава, почему так много людей?» — спрашивает она.

Люди, люди, люди. На тротуарах, на перекрестках, в окнах трамваев и домов. Очень много людей.

Он молчит, и она продолжает:

«А там, помнишь, перед Юхновом, когда деревню брали, нас было очень мало?»

«Так там, Варюша, фронт большой был, — вдруг оживляется Слава. — А тут что — одна улица!»

Они проходят мимо сберкассы и керосиновой лавки.

«Я потом сбегая, — говорит она. — Керосин надо купить. А когда мы поедem на твою речку Ворю? Помнишь, обещал?»

«В первый выходной и поедem! Там хорошо сейчас».

Кончается Маросейка, начинается Покровка.

«Мы куда пойдem — ко мне или к тебе, на Бабушкин?» — спрашивает она.

Ей уже слышится, как на Елоховском соборе гремят колокола — красиво, величественно, кажется, на весь мир, и сразу же на всех домах взметнулись флаги — красные флаги с золотыми, как буквы на памятнике героям Плевны, наконечниками. Флаги трепещут в весеннем воздухе, а золотые наконечники горят на солнце. Не поймешь, где солнце, где золотые наконечники, где наконечники, где золотое солнце.

«Это что? Не победа?»

«Конечно, победа, Варюша! — говорит Слава. — А пойдem мы не к тебе и не ко мне, а к нам! Чуть подальше, правда, но зато...»

«Как это — к нам?»

«А дом нам с тобой отгрохали — это чепуха? Отличный дом рядом с кинотеатром имени Третьего Интернационала. Третий подъезд, четвертый этаж. Разве забыла?»

Кажется, она забыла. Наверно, потому, что сейчас ей очень хочется показаться Славе хорошей хозяйкой. И она думает только об этом. А то, что у них свой дом, — это хорошо.

Они идут дальше. У Покровских ворот она говорит:

«А вот и мой дом!»

«Знаю», — отвечает Слава.

«А вот наша «Аврора», — продолжает она.

«Я сюда тоже бегал, давно, в детстве», — говорит Слава.

За Земляным валом он продолжает:

«А вот и мой дом. Только в нем никого нет. Отец ведь с матерью у меня умерли, а тетку в войну на улице убило осколком. Как раз тут, у церкви...»

В скверике у памятника Бауману опять много солнца и де-

тей. Но скверик маленький, и детям не хватает места. На тротуарах возле Новорязанской — дети. На тротуаре возле Елоховского собора — дети. И чуть дальше, около их дома, — дети. Асфальт разделен мелом на квадраты и квадратики. Это древние «классики»! Вот бы и им со Славой сейчас попрыгать по этим квадратам. Ведь прыгали же, и совсем недавно! Но сейчас им нельзя. Они взрослые, и у них свой дом. Третий подъезд, четвертый этаж. Квартира номер...

«Слава, какая квартира?»

«Вот эта, Варюша, эта!»

Первое, что ее поражает в квартире, — окна.

«Такие огромные! — говорит она. Потом добавляет: — Слава, ты иди отдохни, а я обед приготавливаю...»

Смешно и обидно, но до войны она не научилась готовить. Как-то так всегда получалось, что все было готово, — была мама. Сейчас она ругала себя: не девочка, взрослая, войну прошла, а что же делать с этим обедом? Если суп варить, то как? И наверно, это не скоро.

Ей вспоминается Фаня Залманова и все ее слова, почти подряд, все, что она говорила: «Варька, брось ты, в самом деле, переживать!», «Ох, уж ты со своим характером», «Ты забыла, кто ты? Лампочка ты! Понимаешь, лампочка! Включили, выключили! А тебе все перегореть хочется, да?», «Слушай, Варька, не чикайся ты с мужиками! Вообще с ними чикаться не надо!»

Фаня Залманова из райисполкома! Может, она, конечно, и понимала что-то в жизни, она старше ее, и все-таки ничего она не понимала. А что, если ей хочется угодить сейчас Славе, именно угодить? Накормить его как следует, обласкать, чтобы он знал: она любит его, она все умеет, как взрослая женщина, она будет настоящей хозяйкой в их доме. Что ты скажешь на это, Фаня Залманова, давняя, довоенная моя сослуживица? Эх, Фаня, Фаня! Умная ты, а жизнь ведь сложнее тебя!

Слава заходит на кухню, обнимает ее:

«Ну, что ты здесь колдуешь?»

Она не знает, что ответить.

Он бежит куда-то. Она даже опомниться не успевает, как хлопает дверь.

«Опять обиделся! — решает она. — И что я за человек! Все как-то не так выходит...»

Через десять минут он прибегает с полным вещмешком:

«Хватай!»

Она вынимает из вещмешка мясо и колбасу, конфеты и масло, сыр и макароны, хлеб и...

«А это зачем?» — Она удивляется, увидев две игрушки — гуттаперчевую куклу в голубом платье и заводную машину.

«Как зачем? У нас же дети будут!»

Да, у них будут дети. И много-много детей, как там, в сквере

у Ильинских ворот. Мальчики и девочки. Девочки и мальчики. Нет, пожалуй, сначала лучше мальчики. Для Славы! Ведь мужчины, говорят, так любят мальчиков.

«А вот еще», — говорит Слава, доставая что-то из кармана.
«Что это?»

«Билеты на поезд. Мы же поедем с тобой на речку Ворю». Она варит и жарит. Она накрывает на стол и радуется:

«Правда, Слава, что сейчас не война?»

«Правда, Варюша, правда!»

И они очень долго едят и пьют чай.

За окном сверкают огни витрин и фонарей, окон и трамваев. По крыше соседнего дома бегут могучие неоновые буквы: «Храните деньги в сберегательной кассе». И гремят, как и днем, колокола Елоховского собора.

Стол убран. Посуда вымыта. До чего же она устала за сегодняшний день! Но что нужно сказать сейчас, она не знает и молча смотрит на Славу.

Он помогает ей:

«Спать, спать! Немедленно спать! А то впереди...»

Вдруг он хохочет:

«Что это я? Впереди ничего, кроме счастья! Ведь не война сейчас!»

Она разбирает постель.

«Ложись», — говорит он.

Она раздевается, чего никогда не было там, на войне.

«Спи», — говорит он.

«А ты?»

«Что я?»

«Ты меня боишься?» — неловко спрашивает она.

«Я? — Он молчит. Долго-долго молчит. Потом говорит: — Я обидеть тебя боюсь, Варюша. Как тогда...»

И ей хорошо теперь. Очень хорошо. Она знает, ох как знает сейчас, что любит его. Любит!..

И так могло быть...

11

Утром небо прояснилось. Птицы, невесть откуда появившиеся, обрадовались. Галки и воробьи заходили-запрыгали по улице в поисках пищи, в ожидании весны.

Весна наступала медленно, а пищи не было. Галки дрались с воробьями, воробьи отчаянно бросались на галок. После того как три «мессершмитта», пользуясь погодой, прочесали деревню, птицы чуть поуспокоились, но через час вновь появились на улице. Немцы ударили из минометов, и птицам пришлось убираться подбру-поздорову...

Во время налета авиации и минометного обстрела в батальоне никто, слава богу, не пострадал. И все же налет и обстрел мешали подготовке к очередному, и сейчас очень важному, наступлению.

Была нарушена связь.

К полудню погода стала портиться. Небо затянуло. Пошел снег. Начала мести поземка. Немцы успокоились. Не любят они настоящей зимы!

Варя умудрилась проспать все самое шумное, а очнулась от сравнительно тихого — в штабной блиндаж собирались на оперативное совещание командиры взводов и рот. Появился и старший политрук — комиссар полка, увидел ее заспанное, растерянное лицо, бросил:

— Привыкаешь?

— Привыкаю, товарищ комиссар! — вскочила она, поправляя полушубок и съехавшую набок шапку. Она так и уснула. В блиндаже было холодно.

— А напарник как? Полковой?

— Он же погиб...

— Да...

Командиры столпились у наспех сколоченного столика — обрубков соснового бревна и три доски на нем. Они наклонились над картой. На столе чадила коптилка — консервная банка и фитилек к ней — голубовато-желтый огонь и струйка дыма. Основание стола — сосновое бревно — блестело. Капельки смолы набухали, полнились и медленно стекали вниз на земляной пол и на сапоги командиров.

— Артподготовка... Удар по городу должен быть стремительным... Взятие Юхнова — решение Ставки... Соединение с частями тридцать третьей армии обязательно... Четвертая рота... С юга пойдут танки... Вторая и третья роты... Немцы не ждут... Перехват Варшавского шоссе обескуражил их... У третьей роты задача, я бы сказал, особая... Смотрите... Если же говорить об общей обстановке, то надо учесть следующее. Юхнов противник укреплял еще со времени боев за Калугу... Калуга пала. За ней Медынь, Мятлево... Южнее — Мещовск, Мосальск, Сухиничи... Потом вот — Дорогобуж... Мы располагаем сведениями, что юхновский гарнизон — один из сильнейших. Долговременные огневые точки, минные поля, рвы, заграждения... Бой, видимо, пойдет за каждую улицу, за каждый дом... Многое зависит от состояния наших войск... Надо немедленно провести беседы в ротах, взводах... Подчеркнуть важность задачи... Знаю, люди устали... Поговорите — душевнее, проще... Это очень...

Она слушала и не слушала. Вернее, слышала обрывки фраз. Она смотрела на Славу — сосредоточенного, подтянутого, почти не знакомого сейчас ей, далекого, чужого и очень своего. Он стоял вместе со всеми командирами, смотрел на карту и лишь

изредка потирал глаза. Видно, он тоже не спал толком и свет коптилки резал ему глаза.

До заступления на дежурство оставалось еще более получаса, и она вышла из блиндажа.

К деревне подтягивались новые части. Дивизион «сорокапятаков». Заградотряд, сформированный из совсем молодых красноармейцев. В поле размещались гаубичные батареи. Торопились топографы: с теодолитами и вешками бегали от деревни туда, в поле. На окраине деревни остановился медсанбат. Помещений не было, и санитарный транспорт двинулся в лесок.

Погода дурила, но, может быть, сейчас это и хорошо. Немецкая авиация скована. Артиллерия тоже молчит. Лишь далеко, очень далеко слышна глухая ружейная перестрелка.

Сейчас Варя, пожалуй, радовалась плохой погоде. Конечно, она не специалист — не генерал, не полковник, не полковой комиссар и даже не младший лейтенант, как Слава, — но почему-то она чувствовала, что это хорошо. И снегопад — хорошо! И мутное, невидимое с земли небо — хорошо! И метель — хорошо!

Деревни нет. Домов нет и жителей. Но деревня живет. Слышны команды на улицах. Двигутся люди в шинелях — медленно одни, другие почти бегом. Шумят моторы машин. Всхрапывают лошади. Коптит кухня. В земле, в отменных окопах, подготовленных немцами, наши люди спят, едят, совещаются, пишут письма, читают, перебинтовывают раны или, как ее новый напарник сейчас (молодой совсем!), или, как она ночью, кричат в трубку:

— «Небо»! «Небо»! Я — «Береза»!..

Забавно, что напарник — «Береза». Она «Береза» — это понятно. А он? И как жаль прежнего...

Она почти не узнала его. Только несколько часов в работе. И вот его нет... И на его место пришел новый...

Удивительная штука жизнь! Она вечна, неистребима. Она пришла сюда, в эту деревню, в которой уже не было жизни, и опять тут — жизнь. Она сильнее павших, сильнее умерших, сильнее войны. Люди идут в бой не только с мыслью победить, а и с другой, подспудной, — как бы остаться живым, и они продолжают жизнь. Они совещаются тут, на войне, как быстрее и сильнее ударить по противнику, смять его, уничтожить, и они продолжают жизнь.

Растает снег, и придет весна в эти края, в эту несчастную, забытую русскую деревеньку. И на пепелищах пробьются зеленые ростки из земли. И на деревьях, покореженных немецкой и нашей артиллерией, распустятся почки. И побегут ручьи, смывая воронки от бомб и снарядов, унося в небытие признаки бывших тут боев.

И вскрыется речка Воря, которая покрыта сейчас, наверное,

льдом. И птицы построят свои гнезда, и рыбы будут метать, как извечно, икринки, и люди — вернувшиеся, а частью новые — придут, повздыхают над развалинами, вспомнят не вернувшихся...

«Ты здесь? Выспалась?»

Ей почудилось другое.

«Ты здесь? Ты любишь меня?» — будто спросил он.

Она обрадовалась, но сказала:

«Не знаю, Слава. Наверно...»

«А ты любила когда-нибудь?» — спросил он.

Она покраснела.

«Не знаю, Слава. Мне всегда казалось, что я любила Вову Соловьева и Женю Спирина, но это было давно».

«Как, сразу двоих?!»

«Да, Слава, сразу двоих...»

«Кто же они?»

«Кто? Это ведь давно, Слава, было, когда мы в клубе Наркомтяжпрома занимались. А с Женей Спириным я целовалась. Это плохо, да?»

«А со мной нет», — обиженно сказал Слава.

«Нет, нет, нет! С тобой я тоже целовалась! — возмутилась она. — Разве ты не помнишь?»

«Помню, Варюша, все помню, — сказал Слава. — А то, что с Женей Спириным целовалась, я не сержусь. Я тоже целовался с девчонками, когда маленький был».

Из штабного блиндажа выходили командиры рот и взводов. Слава вышел тоже. Обрадовался, как ей показалось. Вроде покраснел. От неожиданности, что ли? Или от холода?

— Относительно выспалась, — призналась она. — А ты не спал? Я же знаю, не спал!..

Он промолчал. Сказал о другом:

— Посмотри, а ведь живет деревенька! Фрицы, наверно, считали, что все — конец! Все уничтожили, все разбили, с землей сровняли... А ребятки наши крутятся. И знаешь, такое еще будет!.. Сегодня!

Это как раз то, о чем и она думала. Странно, как совпадают их мысли.

Она спросила почему-то:

— А ты говорил, что жил с тетей, да? А что с твоими родителями? Разве у тебя нет матери? Мамы?

Он, кажется, удивился. Еще бы не удивиться! Она перескакивает с одного на другое так же легко, как воробей.

— Мама у меня в голод умерла, — сказал он. — Помнишь такое — голодающие Поволжья? В те годы мы там жили. А отец раньше, на Дальнем Востоке, в гражданскую. Он с Лазо вместе воевал. Там и погиб...

По соседству с их блиндажом творилось что-то непонятное. Красноармейцы, человек пять или шесть, с грохотом подкатили

пустую бочку с желтыми немецкими надписями, установили ее на кирпичи и стали таскать ведрами воду. Натаскали, разожгли под бочкой костер. И не только под днищем, а вокруг, так что бочка вся вспыхнула,— видимо, из-под горячего она. Слава тоже заинтересовался и, когда красноармейцы уже начали скидывать шинели, полушубки, телогрейки и гимнастерки, спросил:

— Вы что, ребята?

Красноармейцы на минуту смутились, потом заговорили вразнобой:

— Вошей мы тут...

— От вошей житья нет...

— Говорят, сыпняк от них идет...

— Политбеседу среди нас проводили...

— Переморить решили, как фрицев...

— Нам не до сыпняка сейчас...

Слава рассмеялся, сказал в тон:

— Видишь, вошей морят! Не простудитесь, ребята! — бросил он красноармейцам. — Холодно сегодня.

И опять раздалось:

— Это пусть фриц простужается...

— Закаленные авось...

Наступление началось к вечеру после удара наших гаубиц. Била и дальнобойная артиллерия. Батальон вступил в бой вместе с артиллеристами. Сорокапятники шли в боевых порядках пехоты, с ходу уничтожая огневые точки противника. Немцы бросали в бой отряды автоматчиков, местную охрану, хозяйственные и похоронные команды.

Почти до утра шел бой в поле, потом батальон продвинулся вперед, на окраину города. Другие части обходили город с трех сторон.

Славу она увидела невзначай.

А он:

— Варюша! Я всюду ищу тебя. Ты как?

— Ничего. А ты?

— Как видишь... Я к комбату бегу. Связь у нас испортилась, потери... Говорили: подкрепление...

— Слава,— сказала она,— знаешь что, Слава? — У нее перехватило дыхание.— Сейчас тяжело, ты сам понимаешь. В общем, я хочу сказать тебе, Слава, что если что случится со мной... Если меня ранят или убьют... Ты не думай, я видела это. Я все видела, когда мы раненых выносили... В общем, знай, что я все равно... В общем, люблю тебя, Слава... Хорошо?..

— Знаю! Вот возьмем Юхнов, я тебя на Ворю прокачу. Нам отдых как раз обещали после взятия Юхнова.

На рассвете немцы подтянули резервы.

По цепи наступавших разнеслось:

— Танки! Внимание! Танки!

В этот момент она тоже увидела танки. Один. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Шесть черных громадин ползли по белому снегу на их позиции. Славу с его взводом она потеряла — видимо, они залегли.

За танками маячили фигурки. Десятки, нет, пожалуй, сотни фигурок немцев, идущих в атаку.

— Две роты, — определил старший политрук, так и оставшийся с ними после оперативного совещания в штабе батальона. — Не меньше двух рот. Но... Сейчас бог войны сработает!..

И действительно, ударили артиллеристы. И по танкам, и по пехоте. Два танка сразу вспыхнули. Другие замедлили ход. Рассыпалась пехота.

— В атаку, за мной! — Комиссар полка первым выкрикнул это и поднялся во весь рост.

— В атаку! — разнеслось по огромному полю.

— В атаку! — повторяли командиры рот и взводов, командир батальона и политрук.

Она на минуту замешкалась и, кажется, услышала его, Славин, голос:

— В атаку!

12

А еще было так...

Волга. И в самом деле огромная, великая, захватывающая дух. И город, бесконечно протянувшийся вдоль берегов реки и уходящий вглубь, такой же большой, как сама река.

Они приехали туда с мамой, когда... Там она пошла в школу, но приехали они за год до этого. Значит, ей было лет семь. И отец уже больше года работал на строительстве Сталинградского тракторного, и им, конечно, было плохо в Москве без него и даже трудно, как говорила мама. Отец звал их в каждом письме, но мама почему-то долго не решалась.

Наконец решилась. И вот они там. Живут в бараке, где много таких же девчонок и мальчишек, как она. В соседних бараках — тоже. А были еще и землянки. Тогда их и называли «Шанхай». Странное это было соседство слов: «Сталинград» и «Шанхай».

Отец почти не бывал дома. Только по ночам, да и то редко. Когда приходил, говорил непонятное: «Соревнование», «Досрочный пуск», «Первая пятилетка», «Общественный буксир», «Индустриализация», «Смычка города с деревней», «Период реконструкции», «Техника решает все!» И еще без конца добавлял маме: «Не дуйся, славная моя! Но право же, в июне нам надо дать первый трактор. Понимаешь?»

А ей, Варе, Вареньке, Варьке, как ее звали все, нужен был не столько этот первый трактор, сколько лыжи. У всех ребят из

бараков и землянок были лыжи, пусть толстые, корявые, не очень ровные, но ведь лыжи! Других не было и не могло быть: лыжи все делали сами и палки сами. Такие же продавали на базаре, не лучше. В магазинах лыж вообще не продавали, да и не было таких магазинов. И потом — трактор в июне, а сейчас зима и все ребята катаются на лыжах.

— Ладно, возьму вот отгул, — пообещал отец. — Смастерю тебе лыжи! Не хуже, чем у других.

И смастерил, и она была счастлива. В первый же выход хвасталась перед всеми ребятами, и они признавали:

— Мировые! Небось магазинные! Так не сделаешь!..

Отец тащил ее на спине, а она редела не из-за боли в ноге, а потому, что сломала правую лыжину. И все ребята из бараков и землянок смотрели на нее с сочувствием, и от этого ей было еще горше.

Она сломала лыжину и сломала, как потом выяснилось, ногу. Три месяца лежала и ходила в гипсе. И даже когда на заводе — она помнила этот день: семнадцатое июня тридцатого года — выпускали первый трактор и был митинг, она еще прихрамывала. А потом в тридцать четвертом году был еще митинг: уже стотысячный трактор выпускали. После митинга они как раз уехали.

Почему она вспомнила это? Может быть, потому, что увидела землянки и бараки на окраине города. Много-много бараков и еще больше землянок. «Шанхай», — вспомнила она. Тогда в трущобах говорили: «Шанхай».

А может, и потому, что она выносила раненых — волокла на плащ-палатке, затем на каких-то примитивных санках, которые нашлись в овраге возле помойки, а то и на себе. Не всюду с этими санками подберешься, когда вокруг стреляют, и свистят пули, и рвутся снаряды. Но ты прижмись к снегу и ползи, замри, когда очередной удар снаряда и посвист пуль, и опять ползи. Раненые ждут, а санитаров не хватает. Трех убило, еще двоих тяжело ранило, и потому, наверно, командир батальона цыкнул на нее:

— Бросай это дело! Раненых таскай! Женщина, в конце концов, твое дело! А мы и так справимся...

До этого она сидела на проводе, потом шла со всеми вместе в цепи наступающих и стреляла из автомата, доставшегося ей здесь, на войне, немецкого автомата. Он был совсем несложный, и освоить его оказалось проще простого. Винтовка, из которой она стреляла прежде, в дни занятий на курсах, была куда сложнее. Там один выстрел, и рядом преподаватель, и страх, что ты не попала в бумажную цель. Здесь рядом десятки людей, но им не до тебя, поскольку впереди — противник. И перед тобой впереди противник, и тут уж поступай как знаешь и можешь. И если не ты его, так он тебя.

И вот — командир батальона. Ей было обидно поначалу: она стреляла не хуже других и вообще вела себя в бою не хуже других, а тут — на тебе, раненые! Но стоило ей вытащить первого и увидеть рядом второго, которого она не могла захватить сразу, его глаза, перекошенное болью лицо, она поняла все. И то, что правильно, она, связистка, пошла в бой вместе со всеми. Ей приказали, поскольку она была свободна. Пошли же даже повара, обозники, штабные писари. И приказ командира батальона правильный: потери велики, раненых надо спасать.

И она спасала. Пятерых вынесла, вытащила, а потом потеряла счет. Подоспели новые санитары. И еще двое пожилых красноармейцев из хоззвода. Они носили раненых теперь вместе. На санках, на плащ-палатках, на себе. И еще на собачьих упряжках. Две такие упряжки появились в середине боя. Они укладывали самых тяжелых на санки, и собаки вывозили их...

Но она не об этом вспомнила, когда чуть приутих бой и все раненые были подобраны.

А другим, павшим в бою, было уже все равно.

Соберут их всех вместе, выроют им могилу и положат туда — человека к человеку, человека на человека, чтобы когда-то, через много-много лет, мимо памятника, который им поставят, проходили новые люди и думали, вспоминали о них.

Прав, наверно, хирург, который обругал Варю последними словами, когда она на себе, еле дыша, принесла убитого:

— Ты, милая, рехнулась! Живых подавай, живых!

Она не могла тогда ответить ему. Растерялась. Это был первый человек, которого она тащила на себе. Это был первый ее раненый. И она подняла его, с трудом взвалила на плечи: он, кажется, дышал, хрипел, о чем-то просил и харкал кровью на ее шинель. Она же не знала, что не донесет его живым...

Нет, конечно, тогда, в тридцатом, в начале тридцатого, в Сталинграде, когда отец тащил ее на себе, ему тоже, наверно, было тяжело.

И все-таки, пожалуй, не так тяжело, как ей. Она просто несла на себе раненых, и у нее была одна мысль: донести, дотянуть, спасти. А отец тогда, помнится, злился: она со своим переломом сорвала его с работы, сорвала в самый неподходящий момент, когда у них на заводе пускали конвейер. И там было что-то очень важное, без чего отец не мог жить.

«Угоразило же тебя в такой момент! — сказал он, взваливая ее на плечи. — Вот непутевая!..»

Трудно верилось, что отца нет сейчас. Не просто сейчас, а вообще нет. Значит, он не вернется, когда закончится война. Значит, не придет к маме и не обнимет ее, как прежде, щекоча своей небритой щекой... И не скажет, как прежде: «Ты смотри, Варвара! Одна у нас осталась! Нина померла, других не народили. На тебя и надежда вся наша, с матерью твоей». И — страшно —

он не знает, что она ушла на фронт! Не знает и никогда не узнает. Как он ругал ее, когда она пошла на работу в райисполком! Говорил: «Уж лучше к нам бы, в наркомат! Устроил бы! А тут — на тебе — нашла дело: квартирные склоки разбирать!» Странно, что сейчас отца нет и уже никогда не будет. Наверно, он гордился бы ею. Маме уже послали письмо за подписью командира батальона о том, что она вынесла с поля боя двенадцать (почему-то двенадцать, словно кто считал!) раненых и считается отличной связисткой. А отец не получит, не прочтет этого письма. И не вернется домой, в Москву. И не вспомнит о Сталинградском тракторном, и не скажет: «Вот было время! Время так время! Настоящее!»

...Где он похоронен, она могла только догадываться. Судя по всему, где-то за Смоленском. И есть ли там его могила, она не знала. Слышала, что там многие наши попали в окружение, бились насмерть, с трудом выходили к своим. Как Слава, наверно. А отец был в ополчении, их не снарядили толком: ни обмундирования, ни оружия.

Наверно, он лежит в такой же братской могиле, каких она повидала за эти дни сотни. И снесли его туда так же, как сносят всех и здесь, под Юхновом. Может, он был сначала ранен и какая-нибудь девушка или кто-то другой нес его с поля боя в надежде... А может, и нет. Тогда его и таких же, как он, что погибли сразу, собрали вместе, положили на край наспех вырытой могилы и затем опустили туда, в землю...

А потом уже написали в Москву. А там, в Москве, в военкомате заполнили стандартный бланк «похоронной»: «...погиб смертью храбрых...»

Она помнит эту «похоронную» так, словно и сейчас держит ее в руках. И ей стыдно, что она плачет, а мама не плачет и повторяет без конца: «Не надо! Не надо! Прошу тебя — не надо!»

13

Их батальон вступил на юго-западную окраину города. К утру части 49-й и 50-й армий с боями вошли в Юхнов. Вошла даже пекарня. Красноармейцы и девушки в белых халатах растопили печи. В воздухе вкусно запахло свежим тестом и хлебом, хотя вокруг еще стреляли и горели, рушились дома.

В небе — бледно-голубом, чистом — холодно маячили звезды. Действовала авиация — наша и немецкая. Словно обрадовавшись погоде, взвивались немецкие истребители, а наперерез им шли наши — короткие, тупорылые, и раздавались очереди, и немцы отваливали в сторону, упав на крыло. Три «мессера» и один наш истребитель, дымя шлейфами, ушли к земле.

Больше немцы в небе не появлялись. А наши самолеты уже кружили низко-низко над самым городом, обстреливали немецкие позиции и не только позиции — немцы уже всюду отступали по двум оставшимся, как бы специально для их бегства, дорогам.

На перекрестке Варя тянула провод. Штаб батальона занял полуразвалившийся дом, а до штаба полка метров пятьсот — шестьсот, не больше. Она вернулась к своим прямым обязанностям: прибыло медицинское пополнение, и приличное. Там теперь на каждых двух раненых не меньше трех санитаров будет. Значит, ее дело — связь.

По улице прошли двое — в нашей форме, но она перепугалась: чужая речь. Вздрыгнула, бросила провод, схватилась за автомат:

— Хальт!

— Стой! Стой! — закричал один из них. — Не надо стрелять! Мы латыши! Латышской гвардейской дивизии... Слышала? Из-под Наро-Фоминска идем. Там наших много побито. А мы...

Она смутилась, опустила автомат.

— Простите, а я думала...

Она не могла объяснить себе главного. Вот уже больше четырех часов она не видела его — Славу. И ничего не знала о нем и не могла узнать. В городе шли бои, у нее было свое дело и ни минуты перерыва. Поэтому она и вздрыгнула сейчас, занятая своим делом и своими мыслями.

Рассвет наступал медленно, будто бы нехотя. Заблестел в снегу, в осколках стекла и мокрых листах железа. Немецкий танк, обгоревший, со свернутой набок башней, и тот блеснул в лучах рассвета капельками росы. И длинный ствол разбитой нашей «сорокапятки» засветился такими же капельками, и развороченный радиатор брошенной трехтонки.

На деревьях что-то запело, забулькало, затренькало, и она невольно оторвалась от своей катушки, взглянув вверх, заслушалась. Подумала, что это и в самом деле весна. И что с весной всегда приходит к людям хорошее. И что они со Славой, конечно...

— Думаешь, соловьи, сестрица? — Она обернулась, увидела пожилого красноармейца. — Дрозды, миленькая, дрозды! Они и под соловьев могут, и под кого угодно! А соловьям рано, — пояснил он и пошел, гремя двумя котелками, своей дорогой...

О дроздах она слышала что-то. Или читала — в школе, давно. Невзрачные такие, серые пичуги. Неужели они поют под соловьев? Ведь соловей — это соловей. А тут дрозд. Впрочем, это не о дроздах ли рассказывали, что они даже говорить умеют, как люди, если их научить? Или о скворцах? Вообще странные существа эти птицы...

И все же где он, Слава?

После дежурства она пошла по городу, надеясь увидеть Славу. Их батальону и верно дали отдых. Слава был прав. Может, и верно он свезет теперь ее на речку Ворю? Ведь после Юхнова и война может быстро кончиться. Уж так здесь немцев долбанули, что вряд ли они скоро опомнятся. Ох, если бы все это быстро кончилось!

Она шла и шла, а увидела другое. Колючая проволока. Грязные, темные земляные дыры. Зашла в одну из них с табличкой «№ 6»: над входом трупы наших красноармейцев, истощенных, оборванных.

Возле землянки стояли женщины, вздыхали.

— С октября и держали их тут, — объясняла одна. — Тогда их человек двести было здесь, пленных. После поумирали, и новых пригоняли. Еды никакой. И нас, баб, не подпускали, хоть и ходили мы сюда кто с чем. Офицер у них тут был, охранник, рыжий. Все с нагайкой в руке ходил. За ложку бурды работать заставлял. А то и так: поработал человек из последних сил, он ему кусок конины ко рту поднесет и тут же обратно отдернет. Дразнил, значит. Раненые сгноились совсем. Вшами изошли. До морозов-то они вовсе под открытым небом держались. Это уж потом, в декабре, что ль, или в январе, когда новую партию пригнали, разрешили им эти траншеи да землянки построить. Сегодня, когда наши-то пришли, пятерых только и увезли отсюда живыми. А сколько их, сердешных, тут померло да порасстреляно...

Потом Варя шла дальше. На улицах брошенная немецкая техника. Орудия, машины, ящики со снарядами и продовольствием. Люди, немногие люди идут с ведрами на Угру — за водой. Выглянуло солнце, и закапали сосульки на уцелевших домах. И даже под ногами снег становился все мягче и мягче, как весной.

Сейчас она увидит Славу. Она ясно представила себе, как это будет, как он скажет «Варюша», как обязательно добавит «будь осторожнее», как повезет ее на речку Ворю. Если даже не кончится война так скоро, все равно он повезет ее на Ворю. Ведь им дали отдых. За Юхнов дали! Это должно быть именно сейчас, она встретит Славу на этой улице, или на следующей, или на площади, вон за тем поворотом.

Она вспомнила слова песни, о которой говорил Слава:

Люди едут к синю морю,
Тратят деньги на билет,
А у нас есть речка Воря,
Лучше в мире речки нет!

Голубело, прояснялось небо. Кружили галки над старыми деревьями, с достоинством пели дрозды, чирикали воробьи на

подтаявшем снегу, и всюду где-то недалеко-неблизко перекликались петухи.

Видно, и в самом деле наступала весна. Правда, мама обычно говорила, что о времени года надо судить не по новому календарю, а по старому, отбрасывая тринадцать дней, и все же весна наступала. И как не поверить в нее, когда вот она, рядом!

14

«...Младший лейтенант Солнцев Вячеслав Иванович, год рождения 1919-й, погиб при штурме г. Юхнова 5 марта 1942 г.

Из донесения о боевых безвозвратных потерях командира 3-го батальона...

В течение 5 марта наши войска вели наступательные бои против немецко-фашистских войск. Противник на отдельных участках фронта пытался контратаками приостановить продвижение наших частей, но, потерпев большой урон в людях и технике, отошел на запад. Наши войска заняли несколько населенных пунктов и в числе их г. Юхнов (Смоленская область). За 4 марта сбито в воздушных боях и уничтожено на аэродромах 43 немецких самолета. Наши потери — 13 самолетов. За 5 марта под Москвой сбито 4 немецких самолета...»

*Из вечернего сообщения Советского Информбюро
за 5 марта 1942 г.*



ЛЕСНОЙ РАССКАЗ

Все-таки удивительно это — лес! Ели, сосны, ольха, дубы, осины и, конечно, березы. Как эти, что стоят отдельной семейкой на опушке: всякие — молодые и старые, прямые и кургузые, красивые и вовсе вроде бы не симпатичные на взгляд. Но почему-то сюда тянет. Тянет, когда хорошо на душе. Тянет, когда плохо. И когда никак — тянет...

Александр Петрович заметил березу, давно знакомую по прошлым годам, и не поверил себе: было ли так? Верх ствола расщеплен, и правая часть макушки повергнута вниз, повисла, зацепившись кончиками веток за соседнее дерево. Не было. Внизу ни щепы, ни коры. Значит, прошлым летом — гроза. Значит, без него. Летом он не приезжал...

А в войну она сохранилась. Обидно, что так!

Он погоревал как мог, но соседние березы — здоровые, разные, — стоило ему отойти в сторону, рассеяли эти мысли, и он подумал совсем о другом: у каждой березы, оказывается, свое лицо. Ни одна не похожа на другую. И все вместе не похожи на то единое, что зовется лесом.

Ели, сосны, ольха, дубы, осины — лес. А березы и в лесу

сами по себе. И тут, на опушке, где стоят одни они, это не лес, а — березы. Много берез, но каждая из них — одна-единственная, неповторимая.

Такие же разные, как эти деревья, лица он видел вчера в городе, когда выступал в школе. И, пожалуй, впервые за послевоенные годы он не стеснялся перед ними за свое лицо — обезображенное, как эта сломанная береза...

Он принес в школу несколько самых простых моделей, показал, как их можно сделать. Потом спросил:

— Понятно?

— Понятно! — закричали ребята.

— Что еще вам пояснить?

— О войне расскажите! — просили мальчишки.

— А вы в Великой Отечественной войне принимали участие? — осторожно спрашивали аккуратные девчонки.

— А в гражданской? — восклицал кто-то нетерпеливым, петушиным голосом с места.

Александр Петрович тут улыбнуться бы, спросить наивного «петушка» строгим голосом, а знает ли он арифметику и в каком классе учится, но он вспомнил своего отца, которого давно нет на свете, и его ответы на свои, такие же наивные, детские вопросы.

Да, сам был такой... Это очень-очень давно — до войны...

— И вся-то наша жизнь есть борьба, — говорил тогда ему отец и чуть грустно добавлял всегда одно: — Так-то, будущий красноармеец!

А теперь в кино, конечно не на детском сеансе, или в театре совсем иное:

— Опять о войне?

Это уже вздохи его ровесников и зрителей помоложе.

Александр Петрович их не понимает. И презирает уходящих из зала, если на экране или на сцене — не пошлость.

И вот еще разговор с учительницей:

— Это ужас какой-то! Они все о войне мечтают! Только и разговор!

— А может, все же не о войне? О другом?

— Не знаю, не знаю, как в других школах, а у нас...

Александр Петрович пожал плечами. Ему дороже были эти мальчишки и девчонки, чем их учительница. Просто спорить с ней не хотелось. Как-никак учительница...

...В нем трудно узнать полковника. Когда идет по улице или стоит у прилавка в магазине, невозможно узнать. И вчера в школе никто не вспомнил об этом — не знали.

Учительница сказала:

— Вот вы просили, чтобы Александр Петрович рассказал нам, как строить модели. Сегодня он у нас в гостях. Давайте

поприветствуем его! Я надеюсь, что он будет нашим постоянным шефом...

Даже необычное лицо его, изуродованное осколками мины, не напоминает сейчас, с отдалением времени, о войне. Мало ли что могло быть с человеком! Может, родился таким? Может, под машину попал?

Да и сам Александр Петрович не вспоминает о высоком своем бывшем звании. Никогда не мечтал о нем. До войны мечтал о судостроительном институте — корабли строить, а попал в школу младших командиров.

Потом — сорок первый. Четыре года войны. Ранение одно, ранение другое и вот третье, самое страшное, выбившее из седла. Человек за бортом, и того хуже — недвижимый человек. Лежащий полковник!

Если б не старое увлечение планочками, реечками, не выбрался бы. А это впадение в детство спасло. Первые модели в доме инвалидов еще в постели — шлюпка, шхуна, корвет, потом за столом — подводная лодка, и вновь свобода — город, какой-никакой одинокий, но свой дом. И еще возможность двигаться, ходить и больше того — ездить, как сейчас, сюда, в лес, где когда-то все начиналось и о чем нельзя забыть.

Может, конечно, и странно в этом пригородном лесу сейчас. Сейчас — зимой, в конце февраля. Корки африканских апельсинов в лыжнях и рядом с лыжнями. Конфетные бумажки — «Театральные», «Холодок», аэрофлотовская «Взлетная» — рядом с лыжнями. Они напоминают город. Ох уж эти нынешние лыжники! Правда, и город стал ближе, чем он был в сорок первом...

И все же это лес. Мох на стволах елей и — плесень. Впрочем, плесень не плесень, а так выглядит смола. Зеленоватая, желтая, белая, бурая, серая, а все вместе — как плесень.

Дубки, даже самые молодые, шуршат сухой листвой. С осени сохранили. А как подует ветерок, что там шуршат — кипят, как чайники или самовары. Кипят!

Слева чащоба. Снега неprovорот, и туда сейчас днем с огнем не пробраться. Провалишься.

А позапрошлым летом Александр Петрович ходил туда не раз, пробивался через поваленные деревья, между ветвями, по мхам и подгнившему хрустящему суховью.

Но то летом...

На снегу, уже по-весеннему пожухлом, еловые ветки, палочки, куски того же мха с еловых стволов, чешуйки и непонятные вертолетики с семенами: два крыла-лепестка и четыре сухие ягодки — семечки. На одних — четыре, на других — шесть, а крыльев всюду по два. Две такие упавшие на снег штуки — и настоящий вертолет!

Жаль, что не знает он, откуда они, с какого дерева: с липы

ли лесной, с ясеня ли, еще с какого другого дерева? А может, и с той же самой осины? Все борются с осиной всеми способами — вырубают и травят ее химией с самолетов, а она ведь — не так уж плоха! — должна бороться за свою жизнь. И вот, может, рассылает по лесу с помощью ветра семена-вертолетики. Может, и так... Слишком много деревьев в здешнем лесу, и все никак не узнать.

Рядом у ручья — осины. Неприметные, рыжие в ржавчине и, как ели, с плесенью, они покрыты снежными хлопьями. То белые куропатки на них мерещатся, то песцы, то пучки ваты. И на старой березе, спустившейся чудом к ручью и чуть не упавшей в него, такие же белые куропатки, песцы, пучки ваты...

...Кто-то догнал Александра Петровича, поздоровался.

— Здравствуй, — сказал Александр Петрович.

По привычке отвел в сторону свое лицо. Чтоб не пугать мальчишку.

Белка откуда-то с дерева свалилась на тропинку, вскочила на ствол ели и виновато смотрела на Александра Петровича немигающими глазками.

Он остановился, чтоб не спугнуть ее. И мальчишка остановился.

Белка словно поняла, махнула благодарно хвостом и взвилась куда-то вверх.

— А вы тут были? На войне? — спросил мальчишка.

— А почему ты так думаешь? — поинтересовался Александр Петрович и обрадовался, но тут же испугался: «Сейчас скажет — по лицу».

— Не знаю... Так вижу: идете, вспоминая что-то...

Они шли рядом, и мальчишка нет-нет да и нагибался — собирал шишки в свой школьный портфель.

— Из школы?

— Из школы.

— В пятом классе?

— Что вы, в шестом. Я и так год пропустил.

— Значит, четырнадцать?

— Пятнадцать. Шестнадцатый пошел.

— А шишки зачем?

— Да просто так...

И опять:

— Так были? В войну?

— Был.

— Я так и думал!

И у мальчишки заморгали глаза.

— А у меня дед тут воевал, в партизанах. Может, знаете командира Сто сорок четвертой дивизии генерала Пронина и командира Девятой стрелковой дивизии генерала Белобородова?

— Лично не знаю, но слышал. Они ведь в этих местах были...

— Так вот дед мой им сведения передавал. И через них — штабу Западного фронта. По этим сведениям наши разгромили немецкий аэродром под селом Ватулино, артиллерийский склад и штаб полка в Можайске. В общем, много чего сделали! А отец у меня летчиком всю войну...

Шубейка на мальчишке, как заметил Александр Петрович, недорогая, с дешевым воротником, а шапка хорошая, только потертая от времени и страшно большая: на лоб и уши налезает. Видно, не своя, отцовская. И портфель дерматиновый, куда он только что совал шишки, незастегнутый, распухший, не новый, мятый, потрескавшийся.

Птицы лесные вспорхнули с тропки. Александр Петрович узнал только двух снегирей, а мальчишка сразу:

— Смотрите, зеленушки, коноплянки, дрозды, снегيري...

— А я думал, что все, кроме снегирей, воробьи,— пошутил Александр Петрович.

— Нет, воробьи ближе к жилью тянутся, их в лесу не встретишь,— сказал он.— А вы знаете мину-сюрприз? — вновь перескочил он с птиц на войну.— Ну, в коробочке «Казбека», в папиросной?

— Слышал,— сказал Александр Петрович.— Ходили наши разведчики с такими по тылам немцев.

— А вот дед мой, я рассказывал вам о нем, так однажды такую мину подсунул прямо в кабинет начальника гестапо района. Правда, сам начальник не взорвался, а офицеров их много погибло...

«Вот почему он тут ходит,— подумал Александр Петрович.— Славно! Традиции отцов и даже дедов, как говорят, и все они в нем есть...»

В городе такие ребята выглядят куда старше. И не по одежде. Признаться, Александр Петрович и побаивался их порой, вернее, избегал, поскольку не знал, как с ними держать себя, как говорить. Они чаще не спрашивают, а сами отвечают на все...

Этот — не такой и потому особенно был приятен ему. Наивный, с пухлыми губами и моргающими глазами и какой-то чистый...

А ему пятнадцать. Шестнадцатый пошел.

Небо — белесое с голубинкой. Оно и в лесу видится. Там, где лес,— над головой голубее. Но на спуске к ручью и прямо на берегу его, на поляне, уже куда больше неба, и оно разное. Прямо над тобой — голубое, иссиня-голубое. А дальше оно бледнеет, бледнеет и постепенно становится уже не голубым, не



белесым, а молочным. И еще дальше, с лесной поляны, как видит глаз, небо меняется. Там оно светлее молока со стороны солнца и на фоне леса, но стоит повернуть голову — и опять белый цвет начинает голубеть и почти незаметно, осторожно возвращается к прежнему цвету неба, которое ты видел там, наверху.

— На небо смотрите? — спрашивает мальчишка и тут же добавляет: — Я тоже люблю. А больше всего — лес. Этот!

— И я, — признается Александр Петрович.

Ветка сухих дубовых листьев повисла на голой осине, прилипла к ней и сейчас, запорошенная снегом, похожа на сказочные грибы.

В сарае у домика лесника вяло кудахчут куры. У них там какие-то свои переживания. Другие куры — не белые на фоне снега, а какие-то желтоватые — вместе с петухом прижались у стен сарая, прямо на снегу. Поднимают, нахохлившись, то одну ногу, то другую.

Петух повелительно, но устало посматривает на них и сам чистит перышки, старается спрятать голову под рыжевато-грязное свое крыло. Но вот наши спутники минуют сарай, и петух выходит за ними на тропку.

«Ку-к-ка-р-реку!» — кричит он им вслед.

Александр Петрович оборачивается:

— Здравствуй, петух!

«Ку-к-ка-р-реку!» — опять повторяет петух.

Кажется, он совсем разошелся. Они уже отошли от сарая, а за спинами их все слышится это «ку-к-ка-р-реку» и нежданно — возбужденное кудахтанье кур. Видно, они все — и там у сарая, и в сарае — ждут весны. Лишь сигнал подай!

Копна сена под навесом, что чуть дальше от хозяйства лесника, тоже напоминает о весне и о лете. Копна тает, как и снег, сена осталось уже совсем чуть-чуть (хватит ли леснику для его коровы до первого весеннего выпаса?), но и эти остатки копны пахнут уже весной и летом, пахнут дурманяще.

Чем дальше в лес, тем больше причудливых зимних чудес. И не одни уже белые куропатки, песцы и пучки ваты на голых стволах и на лапах елей, а и удивительные фигуры из снега, которые никогда не построит нарочно ни один мальчишка. Дед Мороз, лежащий на боку, — он подложил под голову с мохнатой шапкой руку и лежит себе спокойно, отдыхает после трудных декабрьских дней и январской вьюги, и, верно, снятся ему хорошие сны. И Снегурочка, выросшая на срубленном пне березы, рядом с сосной, — тонкая, омытая ветрами. И белые мышки, и тюлени, и пингвины, и что-то похожее на сказочные города из сахара и крема...

А рядом сломанный ствол березы, и на нем белые охапки в окружении сухих стеблей крапивы, и все это в снегу, занесенное, похожее на Гулливера в стране лилипутов. Развалился Гулливер

на поникшем стволе березы, а вокруг него мельтешат маленькие существа — крапивные человечки, лилипуты. Внизу, под стволом, настоящая пещера — полметра глубиной и вышиной. Но — увы! — ее уже освоили местные псы, бегающие по тропинке. Конечно, освоили по своим делам...

И еще такие же пещеры, норы и норки. У молодых елочек — их много в лесу. У поленниц дров. У кустарников. Возле чудом сохранившихся с осени лесных сорняков — трав всяких и палок, торчащих между деревьями. Снег завалил их — каждое по-разному, ветер продул, и вот вам тысяча и одна сказка Берендея!

И вновь ели и сосны.

Под елями меньше снега. Почти круглые провалы в снегу, ложбинки, усыпанные хвоей, ветками и просто зелеными иголками. И шишки там лежат, какие шишки! Но туда через снег не проберешься...

Ничего, есть шишки и на тропке.

Александр Петрович поднимает подряд три шишки. Все тяжелые, замороженные, в снегу.

— Вы тоже интересуетесь? — спрашивает мальчишка и советует: — Вы их домой принесите. Они оттаивать начнут, и трещать, и пахнуть по-особому. Дома лесом пахнет. И, знаете, чешуйки у них будут раскрываться — одна за одной, одна за одной, — и оттуда семечки выпадать...

— А я думал, ты для самовара собираешь шишки, — вырвалось у Александра Петровича.

Спутник его вроде даже обиделся:

— Самовара у нас и нет совсем.

И, чуть помолчав, добавил:

— Хорошо просто. Они как ежики становятся. А семена я, между прочим, собираю в коробочку. Потом в лес выбрасываю. Пусть растут. Лес, он же расти должен!..

Лес, он должен расти, и Александр Петрович понимает это сейчас. Как и понимает все то, что видит, приезжая сюда вот уже много-много лет. Чем дальше от него война, тем чаще его тянет сюда.

А тогда, в сорок первом, он, кажется, ничего не видел. Кроме того, как немцы бьют этот лес — из орудий, из минометов, давят его, взрывают танками и бомбами.

Верно, молодой был, глупый. Не видел ни сосен, ни елей, ни берез в красоте их, а только практически: там, за этой сосной, он скрылся, оттуда, из-за этой ели, в них стреляли, там, под этой березой, погиб... Погиб, погибла... Много тогда погибло, и он помнит живыми многих, но больше всех почему-то ее — Октябрину... Ее, Октябрину Назарову.

Как раз вот тут, где сейчас сломанная береза, где этот Гулливер со своими лилипутами, где пещера... Тогда здесь много было сломанных берез и разбитых в щепу елей, и все же это тут... Тут или чуть рядом, но он не может обмануться: тут. И давно, когда впервые после войны он приехал сюда, он нашел это место. И во все следующие приезды проверял: оно! И теперь еще больше знает: здесь...

Слишком много примет и слишком много воспоминаний. А воспоминания, если пока не дошло дело до старости, редко обманывают.

Впрочем, какая старость: пятьдесят шесть...

Домик лесника и тогда был домиком лесника. И сарай, где сейчас кудахчут куры, был. И копна сена под навесом. И само сено, наверно, пахло так же, как теперь. Кур не было. И домика в нынешнем виде, и сарая.

Александр Петрович помнит развалины и пепелища прежнего сарая и прежнего домика. Они занимали тут оборону.

Люди удивительно крепко приживаются к месту и после беды остаются на своем, прижитом куске земли. Новый домик лесника стоит там же, ни на метр влево, ни на метр вправо, — там же. И сарай сооружен на месте прежнего. Лучше, не так, как было до войны, но на том же месте и домик стоит, и сарай.

Здесь помкомроты Шестаков проводил политбеседу перед боем.

«Враг рвется к Москве. Немецкая группа армий «Центр» прет на нас. Точнее, четвертая немецкая танковая группа. Гитлер дал ей особое указание: взять столицу во что бы то ни стало! Все это у них, у фрицев, называется операция «Тайфун». Не скрываю, товарищи: танков у немцев в два раза больше, орудий — почти в два, самолетов — в два с половиной, по живой силе — в полтора раза. Вот и давайте думать, что делать. Бежать, Москву сдавать или стоять насмерть? Неужели не выдюжим? Мы-то, русские? Думаю, выдюжим, товарищи, и не пустим немца в Москву! Только что мне сказали в штабе батальона, что мы теперь входим в состав новой Пятой армии и командующий ее генерал Лелюшенко получил лично от товарища Сталина указание — не пускать немца в Москву. Так станем насмерть, товарищи!»

Это было как раз после гибели командира роты. Шестаков заменил его. И ходил по окопам, собирая для разговора всех, кого можно было собрать. И они сидели рядом с Октябриной, и Александр Петрович слушал помкомроты, а сам почему-то смотрел на нее и думал о ней. Он знал, что она из Москвы, и больше ничего не знал...

А через час они вышли отсюда, от разбитого домика лесника, и цепочками стали пробираться к оврагу. Одна цепочка — два взвода их роты.

Они шли к оврагу, к ручью, и впереди шла она, Октябрина. Он слышал ее дыхание, видел, как она проваливается в снег, соскальзывая с тропки, и был счастлив. Она — впереди, рядом.

Перейдя овраг, вновь заняли оборону. Окопались, как могли, на скорую руку, и он уже не видел ее. Как раз здесь, где сейчас белка удивленно смотрела на него...

Шли немецкие танки, но они не смогли миновать глубокий овраг, замерли, а потом ударили по ним. Зенитная батарея наша дала залп по танкам, и немцы свернули куда-то назад, в сторону.

Вместо ушедших танков двинулись немецкие автоматчики.

И тогда слева закричал кто-то:

— За Родину, за Сталина, за Москву нашу — вперед! Они скатились вниз к ручью, потом бросились наверх и только там оставшиеся в живых столкнулись с немцами. Странно, но немцы откатывались, когда рядом с ними не было танков...

Была передышка.

Хоронили Шестакова, и только тогда Александр Петрович узнал, что это был его голос, его команда. Хоронили многих. И Октябрину Назарову, которую он почти не знал и которой ничего не сказал, похоронили...

— Имя-то какое — Октябрина! Наверное, с гражданской войны?

Александр Петрович рассказал ему не все, а так, чуть-чуть, что вспомнилось сейчас.

— Наверно...

— Я очень люблю песни и книжки о гражданской войне, — признался он. — Помните эту:

Мы — красная кавалерия,
И про нас
Былинники речистые
Ведут рассказ
О том, как в ночи ясные,
О том, как в дни ненастные
Мы гордо,
Мы смело в бой идем.

.

— И ты знаешь эту песню? Вот совпадение!

— А что?

— Просто мне отец часто напоминал ее.

— А у нас дедушка. Пока жив был, все время ее пел. И другие, конечно, но эту он очень любил... А она женой вашей была? — спросил он.

— Кто?

— Октябрина.

— Нет, она не была женой — ни моей, ничьей. Не успела. Не могла успеть...

— Вас тут и ранило? — осторожно спросил он Александра Петровича.

— Нет, это потом, под Дрезденом, в сорок пятом, — сказал Александр Петрович, уже не стесняясь своего лица. — А раньше — пустяки.

Треснуло дерево. Так, что они, кажется, оба вздрогнули.

Говорят, зимой деревья трещат от мороза. Но они трещат и сейчас, когда на улице оттепель. Покрытые инеем березы трещат. Меньше — ели и сосны. Осины трещат, как березы. На них нет листвы, ветер раскачивает их сверху, и у корней трещит, лопается кора. У берез особенно заметно. Куски коры набухают, вздрагивают, лопаются, рвутся, осыпая мелкой крошкой снег.

Набухает кора, и почки уже набухают к весне. На деревьях незаметно, а на кустарниках, что растут вдоль тропинки, видно.

И птичьи голоса говорят, что весна где-то совсем рядом. И солнце, что пробивается сквозь крону елей и сосен — на просеки, полянки, на тропку эту, — светит уже особенно, не холодно...

Им тут и расстаться бы: Александру Петровичу направо пора сворачивать, мальчишке — прямо до поселка, и спасибо ему, милому юному спутнику, спасибо за то, что он такой!

Они уже и попрощались.

— Только...

— Что «только»? — спросил Александр Петрович.

— Только я все наврал! Вам наврал!

— Как?

— Ну, дед у меня ни в каких партизанах не был. Старостой был при немцах, им и прислуживал. А отец сейчас летчик. А в войну он не был летчиком. Тогда не мог. Таким же, как я, мальчишкой был. Его на Урал увезли с детским домом. На заводе работал, танки делал, а потом в военное училище пошел. Он и сейчас говорит: «Смывать грязное пятно нам надо». Вот как! А то, что он летчик, я правду сказал. После войны и сейчас.

Александр Петрович растерялся и не знал, что же ему сказать.

Потом наконец спросил:

— Ну, а дивизия Сто сорок четвертая Пронина и Девятая — Белобородова? И эти мины-сюрпризы? И аэродром в Ватулино, артсклад в Можайске? Это-то все откуда? У тебя — откуда?

— Это все правильно. Так и было. Я и по книгам читал, и выписывал, а как сюда переехал, все время хожу здесь, чтобы узнать, как что было...

Александр Петрович молчал.

И мальчишка молчал. Вдруг сказал:

— Вы меня презирать теперь будете?.. Да? Я ведь, если бы вы не рассказали про нее, Октябрину...

— Ну, почему же... Не так это просто — презирать...

— Я, как школу окончу, обязательно в военное училище хочу. Отец говорит: «Самая накладная профессия у нас для страны. Но самая нужная. Пока — самая нужная». Я очень хочу!

— А песня? — вспомнил Александр Петрович. — Как же это она — «Мы — красная кавалерия...»? Дед, говоришь, пел?

— Не дед, а отец. Он правда ее все время вспоминает... Но хотелось, чтобы и дед... Чтоб все так было!

Александр Петрович слушал его, думал и смотрел на лес. Какой он разный. То чащоба непролазная, то просека, то поляна, то тропка, как эта. И все вместе, как жизнь. Выбирай, думай, ищи.

— Презираете меня? Да? — переспросил он.

— Пожалуй, наоборот. Хорошо, что выбираешь, думаешь, ищешь.

Александр Петровичу показалось, что мальчишка обрадовался, услышав это, и потому особенно долго прощался.

А когда они расстались и Александр Петрович свернул направо, он вспомнил, что так и не спросил, как зовут этого мальчишку. Ведь он ничего о нем не знал, ни имени, ни фамилии.

Впрочем, может, и неважно, что не спросил. Ходят же такие мальчишки по земле. И хорошо, что они есть — такие!

РОЖДЕНИЕ КАРАВАЕВА

Когда его усаживали в машину, то люди, совершенно незнакомые, чужие, почему-то очень хотели понравиться ему, хлопотали вокруг шофера и женщины, которая поедет с ним, и он слышал отрывочно: «Вот, документы на Олега Караваева, возьмите»; «Товарищ водитель, если мальчику будет необходимо по нужде, так вы уж, пожалуйста...»; «И смотрите, чтоб не укачало его, в случае чего, пусть он задремлет и дайте ему подышать свежим воздухом, это помогает». Это были одни незнакомые голоса, а другие — их было два — отвечали: «Сделаем»; «Нет, не забуду»; «Документы, да»; «Да вы не беспокойтесь»; «В целости-сохранности довезем!».

Уже потом он понял, что эти вторые — голоса шофера и женщины, которые провожали его всю дорогу.

Он уже сел в машину — в настоящую «скорую помощь», только без крестов и надписей по бортам, — когда остающиеся мужчины и женщины опять бросились к нему:

— Ну, счастливо тебе!

— Устраивайся поудобнее, сынок! Целый час ехать...

— Смотри шапку не расстегивай, а то продует, холодно...

— Тебе там, мальчик, будет хорошо...

— Это ведь ненадолго...

— Тебе, несомненно, понравится, сынок...

Его смущало все это, и он многого не понимал, не понимал этих хлопот, не понимал, почему его так зовут — «мальчик», «сынок», ведь бабушка всегда звала его иначе — «Олег», «внучек», но больше всего он не понимал главного: почему ему будет там хорошо, когда ему уже хорошо?

— Я не сомневаюсь, что мне там понравится.

Он с опозданием ответил на последний вопрос, так он привык говорить и отвечать, потому что всегда повторял слова бабушки.

— Ну вот как хорошо, — произнес кто-то из провожающих и удивился: — Какой мальчик, а?

А он опять не понял. Он никогда не ездил на настоящей машине, а сейчас едет. Разве это плохо? И сидит не как-нибудь,

а рядом с шофером, и шофер все время разговаривает с ним, как с товарищем, и вот уже показал на скорость, объяснил, сколько в машине бензина, и даже показал новые дома на улицах и панораму какой-то Бородинской битвы. Разве это плохо?..

— Тебе удобно? — спросила его женщина с заднего сиденья машины, и он ответил:

— А почему не удобно? Конечно! Спасибо большое!

Он подумал, что не знает, как зовут эту женщину и как зовут шофера, но никто ему не сказал об этом, а сам он спросить не решился.

— Знаешь, а там и правда тебе будет очень хорошо, — сказала женщина. — И потом... Ведь это все ненадолго. Поживешь, вернешься...

Он, смотревший в ветровое стекло — это было для него сейчас самым важным, самым значительным, почти историческим, — плохо расслышал ее слова и переспросил:

— Вы мне?

— Я просто говорю, что ты не пожалеешь, что поехал...

— Спасибо, но я вовсе не жалею, — сказал он. — Спасибо большое!

Все это была ложь, святая ложь, идущая от сопровождавшей его женщины, но ни она, ни провожавшие их ничего не могли сказать иного, и что тут сказать, когда шестилетнего отправляют в детский дом в силу особо сложившихся обстоятельств. Вот и в документах все отражено: «фамилия — Караваев, имя, отчество — Олег Константинович, год рождения...», и так далее, и тому подобное. Все вплоть до графы «примечания», записи в которой и послужили поводом для этой, такой скоропалительной и необычной даже для них, акции: отправки одного мальчика, да еще на санитарной машине, вместе с сопровождающим педиатром, далеко от Москвы, в один из лучших лесных детских домов.

Но откуда он мог знать это?

Женщина-педиатр, сопровождающая его, думала об одном, шофер крутил баранку, а сам Олег внимательно, чуть рассеянно, но с любопытством смотрел по сторонам и вперед, и лоб его под новой неудобной шапкой потел и хмурился, потом распрямлял несуществующие морщинки, а пока — легкие складочки, как на руках с детства, и лицо все больше расплывалось в восторженном удивлении.

Шофер все еще занимал его разговорами, и женщина со спины что-то поддакивала, и все это было бы интересно, но только не сейчас, когда они вырвались из города на прямую дорогу, и рядом еще мелькали дома и дома, люди и люди, пересекающие дорогу другие дороги, одни внизу, под мостами, другие сверху, над мостами, а потом все кончилось — и дома, и люди, и светофоры с милиционерами, и пошел лес — один лес.

Лес стоял слева и справа, он был впереди, насколько можно видеть, и, конечно, позади, где они только что проехали, и весь он был в снегу. Каждое дерево, каждый куст, каждый ствол и ветка, ну прямо-таки все в снегу, и снег еще внизу под деревьями, и снег вдоль дороги, и снег...

Он никогда не видел такого: столько леса и столько снега; ни в Москве, ни на картинках, ни во сне. А лес летел на них слева и справа и откуда-то спереди, где он сливался перед дорогой в один огромный сказочный лес. И дорога и машина их, мчащаяся по ней, как бы разрезали этот лес, и он, заснеженный и непонятно-красивый, раздвигался перед ними и опять пролетал по сторонам, мимо машины и мимо него.

И все это было так, что если бы не сидящие рядом взрослые люди, то он закричал бы от радости, и запел, и заплясал, и пусть лес слышал бы его голос, знал о его радости и о том, как ему хорошо тут — в никогда не виданном!

Он даже поерзал на сиденье, чуть задев локоть шофера, и ткнул варежкой в стекло, и что-то хмыкнул, может быть, от предвкушения возможного, придуманного сейчас желания, но услышал сзади голос:

— Тебя, ненароком, не укачивает?

Поняв и не поняв, потому что не знал, что такое укачивает — не укачивает, он смутился и опять сказал:

— Спасибо большое!

И ему стало немного грустно, но лес продолжал лететь ему навстречу, лес мчался по сторонам, и деревья стояли в снегу, усыпанные снегом, шапки снега лежали на голых ветвях и зеленых елях, и на пеньках, чуть выступавших из снега, и на каких-то мостиках и беседках, и всюду, а вот сейчас и на памятнике-танке, что был поднят кверху на каменной глыбе, лежал снег; жаль, что они так быстро проехали мимо памятника.

Ветер бил в стекло машины, слегка вырвалось солнце и заслепило глаза, и сразу лес сменился заснеженными полями, и началось что-то новое, после леса неожиданное.

«Неужели все это на самом деле?» — подумал он и хотел спросить об этом, но промолчал, не спросил, не зная, можно ли или нельзя, когда рядом с тобой незнакомые взрослые.

* * *

О приезде новенького уже знали в детском доме, и знали заранее. Директор Лаида Христофоровна (имя ее — сложное Аделаида — сокращали для удобства, и получалось просто — Лаида), так вот, Лаида Христофоровна еще три дня назад вызывала к себе воспитательницу Варвару Семеновну и говорила ей о прибытии новенького, который поступит в ее группу, о том, что и как нужно сделать, чтобы мальчик спокойно вошел в

новую обстановку, и еще много всякого полезного, о чем Варвара Семеновна, конечно, и сама знала: они проходили это в училище, да и на практике в детских садах изучали.

Варвара Семеновна не обижалась на поучения директора, скорей наоборот, ей нравилось, что немолодая уже Лаида Христофоровна говорит с ней как с равной, и называет по имени-отчеству, и не просто поучает, а советует, и вообще, надо сказать, Варвара Семеновна была счастлива. Теперь она окончательно понимала, что нашла себя, что выбор ею педучилища был единственно правильным, а ведь еще несколько лет назад она металась, не зная, куда идти — в металлургический техникум или на курсы медсестер или вообще учиться дальше в школе, чтобы потом попасть в институт — любой, но в институт. Говорили, девочек берут трудно, только с большими способностями, а у нее...

И вот у нее уже позади училище и четыре с лишним месяца первой самостоятельной работы здесь, в детском доме, где ее зовут уже не просто Варей, как прежде, а Варварой Семеновной, и все считаются с ней, и дети любят, потому что у нее доброе сердце, неистощимая энергия и вместе с тем нужный для работы с детьми строгий характер.

А еще она думала, что с детьми, особенно маленькими, как в ее группе, надо обязательно быть на равных, и это хорошо, что она выбрала именно детский дом, а не детский сад. Там у ребят есть родители, и хотя родители, конечно, тоже бывают разные, но они все же родители, и у них авторитет в глазах детей выше, чем у воспитателя, какой бы он ни был умный. А она вовсе, может быть, и не умная, обычная, самая рядовая, недаром и училась всегда средне, с трудом, и потому детский дом — это как раз для нее. Ее ребятам не с кем ее сравнивать, и они все время с ней, и только надо любить их, как любила бы мать, и стараться воспитывать в них больше хорошего, и никогда не напоминать им о жизни до детского дома, чтобы не травмировать, не бередить душу. Это она усвоила с училища.

Ей достались хорошие ребята, правда, чуть-чуть ограниченные, как казалось ей, и очень разные, поначалу, может быть, даже слишком разные, но она много старалась все эти месяцы и заметила результат: теперь у нее уже не было ни одного мальчика или девочки, кто бы не слушал ее или не хотел делать того, что нужно делать всем, или не смеялся, когда всем весело. Все вышло так, как ей хотелось, может быть, даже так, как она задумывала, потому что в конце концов она хотя и не старая в свои двадцать два года, но и не такая молодая, как может показаться, и она не просто работает — она педагог, воспитатель.

Она гордилась этим и потому даже наступала на собственные желания и, может, поэтому не делала того, что ей хотелось. Вот и Коле строго-настрого запретила приезжать из Москвы. Но она

оправдывала себя, и получалось правильно, по ее разумению, и она писала в ответ на его бесконечные письма вовсе не то, что ей хотелось написать, а то, что она считала нужным. В самом деле, пусть он и студент третьего курса инженерно-строительного, пусть одноклассник, но он не педагог, не психолог, он даже не проходил всего этого в своем институте, и как он придет сюда к ней, и что это будет? И о ней самой бог знает как могут подумать, а потом еще он целоваться полезет и назовет ее при ребятах «Варей», чем вовсе подорвет ее авторитет. А он это может, он такой, несерьезный и взбалмошный, хотя и студент института, но, конечно, не все меряется этим; вот она работает, и опыт у нее больший, чем у него, и, наконец, она сама имеет дело с детьми, а он пока еще сам — ребенок...

В группе у Варвары Семеновны всегда было чисто и уютно, порядок идеальный, и ребята никогда не ходили с грязными руками и носами, и одежда, хотя и казенная, содержалась в порядке, а уж в столовой ее группа была лучше других, в том числе и старших. И все это было ей по душе, потому что если и говорят, что люди получают от любимой работы моральное удовлетворение, то оно, наверное, складывается из сознания сделанного тобой нужного и полезного.

Узнав о прибытии новенького, Варвара Семеновна все эти дни хлопотала с особым подъемом. Она заранее продумала, где лучше спать новенькому, и поставила его кровать между самыми тихими и спокойными мальчиками, она вырезала из старого журнала самую красивую картинку с космонавтом и приклеила ее на шкафчик, где будет новенький хранить одежду, она выбрала на складе самую красивую — красную — зубную щетку для него и кружку и много еще чего сделала, чтобы все было готово заранее, чтобы новенькому было приятно видеть и знать, что его ждали у них.

И когда хлопоты окончились, Варвара Семеновна с приятным чувством удовлетворения пошла к директору. Она рассказала о проделанной работе, и Лаида Христофоровна все одобрила, похвалила ее за предусмотрительность, напомнила о каких-то мелких деталях, которые надо не упустить.

— А главное, Варвара Семеновна, — сказала директор, — постоянно помнить, что у мальчика очень сложная судьба.

— Да, я знаю, — согласилась Варвара Семеновна, — биография у него трудная.

И она повторила директору все, что знала о трудной биографии Олега Караваева, не забыв ни одной детали, и Лаида Христофоровна вновь похвалила ее:

— А вы у нас, Варвара Семеновна, — умница.

Конечно, Варвара Семеновна вспыхнула, скромно заметив: «Что вы, что вы!», и все же самой это ей было приятно удивительно: значит, ее действительно замечают и ценят, а чего

же еще желать лучшего. И она вспомнила Колю и подумала про себя, как жаль, что он этого не видит и не слышит. А от Коли только вчера пришло письмо — хорошее, ласковое, как всегда, и он опять грозитя в нем, что вот возьмет и приедет, но как глупо получилось, что она вчера же не ответила ему, что не надо, не надо, не надо приезжать, иначе она... и так далее, и тому подобное, что она всегда писала. Сегодня же напишу, решила она, но письмо это придет уже на сутки позже, а если бы вчера, то он завтра его получил. И он, конечно, послушался бы ее, потому что она так его приучила, и все это верно, так и должно быть, а если у них все настоящее, то это все равно будет...

На самом деле ей страшно хотелось видеть Колю, но она убеждала себя в том, что сейчас, при нынешнем ее положении, это невозможно и ненужно, потому и писала ему сухо, подчеркнуто дружески, и сейчас, подумав об ответе на его очередное письмо, она спохватилась, вспомнила слова Лаиды Христофоровны и все, ради чего она сейчас жила, и ужаснулась, что забыла в этих мыслях о главном — о новеньком, об Олеге Караваеве, мальчике с действительно трудной биографией, ради которого она так старалась все эти дни.

Варвара Семеновна спохватилась, — о чем она думает? — и при чем тут ее Коля, и письмо его, на которое надо ответить, когда есть другое, более важное, ее?

Она покраснела вновь, покрылась еще более пунцовой краской, чем в кабинете директора, когда ее хвалили, и сейчас ей было в самом деле стыдно, и она не знала, куда деть себя, куда спрятаться. Но прятаться было некогда и некуда, и Варвара Семеновна просто зашла на минуту в свою комнату, причесалась, встряхнула, привела в порядок волосы и направилась к своим ребятам, чтобы умно, тактично напомнить им еще раз, что перед обедом они будут встречать своего нового товарища Олега Караваева, шестилетнего мальчика с трудной биографией. Но о последнем она, естественно, детям не скажет. Это важно знать ей и всем взрослым, но только не ребятам.

* * *

Он, конечно, знал, догадывался, что детский дом — это дом, а не комната, а раз он «детский», то, наверно, в нем есть еще какие-то дети, и это уже хорошо, потому что будет с кем играть, а этого ему больше всего и не хватало.

Нет, он совсем неплохо жил с бабушкой, а он помнил только ее, бабушку, и больше никого не помнил. Но у бабушки болели ноги, ей трудно было спускаться с четвертого этажа вниз, а еще труднее подниматься. И он понимал это, никогда не сердился на бабушку и не просился на улицу гулять, чтобы ее не сердить. Бабушка выходила с ним раз в день, и то ненадолго, но

и тут особенно гулять было нельзя, потому что они шли обязательно в магазин рядом с домом, покупали все, что нужно для еды, а потом бабушка уже уставала, и сумка, которую они несли вместе, была тяжелая, и бабушка торопилась готовить обед. Летом она еще садилась на лавочку возле дома, и он мог чуть побегать, но и то недалеко, чтобы бабушка его видела, а в дожди и снег они уже не останавливались во дворе, а ходили до магазина и обратно. Раз в месяц, правда, они ходили дальше — по переулку и на соседнюю улицу, там они платили за квартиру, газ и электричество, и это было для него праздником.

Дома бабушка, когда не была занята, рассказывала ему сказки и всякие интересные истории про революцию и войны, про героев, а еще читала книжки, которые покупали соседи, и у соседей же он смотрел телевизор, когда его звали, а у себя слушал радио, чаще утром — передачи для детей. И если было лето и жарко, то в комнате бабушка открывала окно, говоря: «Подыши, внучек, свежим воздухом», — а если была зима, то она одевала его потеплее и открывала форточку с теми же словами: «Подыши, внучек, свежим воздухом, — и добавляла: — Да смотри не простудись».

Он привык ко всему, и жил так, и считал, что так должно быть, пока бабушка вдруг не заболела. Он видел, как она заболела, и они не пошли даже в магазин, а на улице было, наверно, скользко, и он не особенно горевал, потому что по такой погоде бабушке все равно нельзя идти на улицу, она может упасть. И бабушка ему говорила об этом, но на второй день его разбудили соседи и полусонного забрали к себе, и больше он не видел бабушку.

Что такое «умерла», он не знал, но он слышал, что бабушка умерла, а когда спросил, ему сказали, что да, но она вернется...

Он хотел взять игрушки в своей комнате и книжку «Маугли», — он очень ее любил, и бабушка ему читала ее, и потом он сам научился читать, — но его не пустили в их комнату. А в коридоре стоял по стене длинный какой-то ящик, вернее, крышка от ящика, сверху сырая, покрашенная, и он успел заметить ее и попробовать рукой, но напоролся, потому что на крышке были гвозди.

У соседей ему было хорошо, но, когда ему разрешили прийти в свою комнату, чтобы взять игрушки и «Маугли», бабушки уже не было, и ему опять сказали, что она скоро вернется, и он знал, что будет так, потому что никак по-другому быть не может...

Но вот он ехал, впервые ехал на настоящей машине и видел необычное — леса и поля, зиму и снег, все, что он никогда не видел и не знал, и не верил, что так может быть.

За полями снова пошли леса, но более белые — березовые, и в них и на них лежал снег, и леса уже были другие, а чуть дальше — вновь другие: сплошь еловые, темные, через которые

ничего не было видно. Они летели мимо, как черные стены, и вдруг сменились полем, почти бесконечным, и только уже по краям его стояли леса, тихие, почти не движущиеся из окна машины. Дома, одинокие и редкие деревни встречались совсем не часто, как люди и машины на дороге, а так только леса и поля, поля и леса.

— Скоро, брат, будешь на месте, — сказал шофер, — подъезжаем.

Детский дом — это дом. «Детский» — детский. Но он почему-то представлялся ему маленьким домиком, как сарай какой-нибудь, или избушка на курьих ножках, или что-то еще из сказки, или как палатка для утиля в их переулке, маленькая, но красивая.

Они въехали в ворота с большими желтыми колоннами, и он сразу увидел огромный дом, тоже желтый, не высотный, конечно, как в Москве, дом в три этажа, но опять с колоннами, и все это было как старинный музей на картинке.

Но больше всего его поразили ребята — их было так много, разных, одинаковых, мальчишек, девчонок, что он не поверил. Может ли быть такое, чтобы сразу столько ребят!

А вокруг стоял лес, уже совсем не такой, как в дороге. Там он летел, мчался мимо их машины, а тут он стоял — дерево к дереву, ствол к стволу, и ветки деревьев переплетались в вышине между собой, а ели, совсем зеленые, молодые и старые, маленькие и большие, были украшены снегом, а снег все продолжал идти и идти...

* * *

После обеда и сна Варвара Семеновна вывела ребят на прогулку в лес, вывела, как всегда, но сегодня у нее был особенный день, и все обычное, что она делала, посвящалось этому особому — новенькому. Ей хотелось поразить его, и расположить к себе, и, конечно, привить ему любовь к этому дому.

Он оказался вовсе не букой, а с добрым, хорошим лицом, вежливым и любопытным мальчиком оказался этот Олег Караваев; и Варвара Семеновна успокоилась, хотя волнение какое-то было у нее, но сейчас оно улеглось. Вместе с ребятами она показала новенькому спальни и комнаты для игр и занятий, вместе обошли они весь детский дом, заглянули в теплицу и на ферму, и Варвара Семеновна заметила, как заиграли глаза у новенького, когда он увидел корову, лошадь Капу и свиней. Может быть, он никогда не видел живых животных? Все может быть, ведь и она, когда училась в Москве, не видела, а тут привыкла, и ребята вместе с нею ухаживали за этой единственной детдомовской коровой, которая давала меньше, чем брала, и за лошадью, и за свиньями, которые в самом деле приносили

пользу: при весьма скромном бюджете детского дома подсобное хозяйство и эти свиньи становились заметным приварком. И лошадь была очень нужна всем, потому что единственный автобус, имевшийся в детском доме, чаще ремонтировался, чем работал, а лошадь была безотказна: Капа выручала всех по любому поводу.

Варваре Семеновне рассказать бы обо всем этом новенькому, но ребята говорили между собой и что-то уже объясняли ему, хотя и не совсем полно, а потом и сам новенький не без восхищения произнес:

— У вас тут как в зоопарке...

И позже он хорошо ел в столовой, и с ребятами сошелся сразу, запросто, и Варвара Семеновна с трудом успокаивала всех, когда надо было после обеда спать.

В лес ребята вышли на лыжах, и новенький надел свои детдомовские лыжи, о чем Варвара Семеновна позаботилась еще вчера. Ей показалось, что новенький впервые стал на лыжи, уж очень неуверенно он держался на них, но она не стала спрашивать, опять же исходя из разумной педагогики, да и сам он не стеснялся, пытаясь догнать остальных, и догонял, хотя палки у него вихляли враскос, лыжи разъезжались в разные стороны. Короче говоря, новенький был как все, и все приняли новенького без оговорок. Мальчики и девочки разговаривали с ним, он разговаривал с мальчиками и девочками и даже обращался к ней, называя ее Варварой Семеновной, как все, и ему, как она понимала, нравилось здесь. И в самом деле, чего же не нравится, когда такой уход, и лес рядом, и вообще детский дом один из лучших...

Одно беспокоило Варвару Семеновну с новеньким, с самого утра беспокоило, и сейчас даже больше, — это как раз слово само — «новенький», которое без конца крутилось у нее в голове: она думала о новеньком, подходила к новенькому, и вот сейчас среди ее ребят был новенький, а как же к нему обращаться, как называть его? Караваев — это слишком официально. Но и Олег — официально. Если бы его звали Иваном или Федором, можно бы называть его Ваней или Федей, а Олег? Какое уменьшительное есть у Олега?

Она думала, ломала голову и ничего не могла придумать.

— Ну, как ты? — спросила она, никак не обращаясь к нему, и помогла подняться из снега. Он опять упал.

— Спасибо большое, хорошо! — ответил он и, встав на лыжи, заспешил к ребятам, снова упал, но поднялся сам и все же догнал их. И ребята и он стояли теперь возле поникшей под снегом старой ели и говорили о чем-то.

Варвара Семеновна вспомнила, что ведь совсем скоро Новый год, и уже завтра они будут делать с ребятами игрушки и украшения, а послезавтра принесут елку, принесут тайно от ребят,

чтобы они увидели ее уже в зале, — так неожиданнее и приятнее для них, — и, вспомнив все это, подбежала к ребятам по узкой тропинке, остановилась у старой ели, возле которой они что-то обсуждали, и спросила как бы невзначай:

— Ну, а как у нас, такая елка будет или лучше? Как вы считаете?

— Такая, такая! — закричали одни.

— Лучше, лучше! — закричали другие.

Она тут же, с ходу, придумала игру, интересную, — какая она действительно умница! — сама удивилась своей сообразительности и предложила:

— А ну-ка, давайте погадаем, какая у нас будет елка, вот как эта или как эта? Или как та, или...

Варвара Семеновна по-детски размахивала руками в разные стороны, показывая ребятам, что и там и там есть елки для их выбора, пусть только посмотрят, поищут, поспорят, и ребята поддались, разлетелись по лесу, зашумели, загалдели, как воробьи, стали бегать на лыжах от дерева к дереву, каждый звал кого-то к выбранной им елке и спорил, а потом бросался к другой, лучшей, и опять доказывал, что вот она, эта, и все было смешно и очень умно, так, как она задумала. Нет, определенно, она — умница, а не заурядная, простая, какой казалась себе прежде, и в ней, конечно, что-то есть, определенно что-то есть от настоящего педагога!

Новенький носился больше всех — и кричал, и радовался, и вновь искал новые елки. Варваре Семеновне хотелось, чтобы было так, и так было, и она видела это, удовлетворяясь, и думала про себя, что это — самое важное. В конце концов для него, именно для него, придумала она эту игру, ему это важно, ему надо... И чтоб было так, что не скажет больше, как на ферме, «у вас тут...», а всегда будет говорить «у нас», «в нашей группе», «в нашем детском доме», «в нашем лесу»...

Снег невесомо падал на лес, снежинка за снежинкой, и так, наверно, все в жизни бывает, когда малое, невесомое медленно, незаметно, постепенно складывается в одно, как вот этот летящий снег, и получается что-то большое, значительное, удивительное, как земля, покрытая тоннами, сотнями, миллиардами тонн снега. И у нее есть малые силы и вот эти малые ребята, одна группа, каждый как снежинка, но когда они вместе и рядом с ними она, то тогда уже все — не просто она и группа, а что-то более важное, невидимое сегодня, но завтра и потом значительное, вырастающее до огромных размеров самого мира. И если она тогда, завтра, будет старой и мудрой, как Лаида Христофоровна, то они, ее ребята, станут взрослыми и еще молодыми, и они будут всюду, но в них будет она, Варвара Семеновна, которая всегда была с ними и всегда так старалась ради них...

А с новеньким все хорошо получилось. И вот сейчас — результат ее задумки, ее усилий и стараний, педагогического, наконец, чутья. Все это так просто и не так просто, если подумать, но она сделала все правильно, без единого промаха, и новенький уже растворился среди других, вот и она его сейчас не видит, где он, но он где-то здесь, она знает, но и не это столь важно, а другое. Он был теперь как все, а все — как он.

Уже позже, к вечеру, она придумала и решила, что называть его нужно все же ласково — Олежком, например, или Оликом, но Олик — это не совсем то, больше для девочки, лучше уж — Олежек.

И она его назвала так раз и два, и, кажется, он принял это ласковое имя, и Варвара Семеновна, благодарная ему и самой себе, решила, что надо сделать для него, и для всех, конечно, но для него в первую очередь, что-то еще приятное, и наконец придумала что.

С этим «что» она и пришла перед ужином к Лаиде Христофоровне. Правда, она чуть боялась. А вдруг директор отвергнет ее идею, сошлется на то, что у детского дома нет денег, но все равно, она постарается убедить, и в конце концов она согласна, чтоб деньги взяли из ее зарплаты, ну, а сама она как-нибудь перебьется...

И не в этом дело, а в главном: ведь это же здорово, если к ним на елку придет Дед Мороз, придет из Москвы! Какой это будет праздник для ребят, но и это не все, а важно и то, что будет раньше, сегодня и завтра. В самом деле, пусть именно новенький Олежек узнает об этом первым и расскажет всем, и тогда в глазах ребят...

Оказалось все куда проще, чем она думала. Лаида Христофоровна положительно отнеслась к идее Варвары Семеновны, одобрила весь ее план, особо ту часть, которая касалась новенького, назвала это даже весьма разумной педагогической хитростью, и похвалила ее за эту хитрость, и, конечно, сказала, что она за настоящего Деда Мороза из Москвы, но вот засомневалась в одном:

— А удастся ли, Варвара Семеновна, достать такого в Москве? Ведь елка, каникулы... Тут такой спрос на артистов... Нет, вы не беспокойтесь, пожалуйста, деньги по смете у меня есть, но вот достать его, уговорить...

— Лаида Христофоровна! Милая! Я берусь! Я сама поеду! Я все сделаю! — обрадовалась Варвара Семеновна. — И не беспокойтесь, я добуду этого Деда Мороза, хоть из-под земли, а добуду...

Она была счастлива, как никогда. И тем, что ее мысли одобрены, и тем, что ей верят, а там, в Москве, мало ли что можно сделать в Москве, но она сделает, и такая радость будет ребятам, и ее Олежку, и вообще все это она так славно, умно

придумала. Ну, а будет трудно, она Колю попросит, он, пусть и неприспособленный к жизни, поможет ей, сделает все, что можно сделать для нее. Это она знала давно и привыкла к этому...

* * *

— А откуда ты знаешь?

В спальне было темно, Варвара Семеновна давно уже потушила свет, но никто не спал, и он знал, как все поражены его новостью, но делал вид, что ничего особенного не сказал, и только на лице его, явно хитрющем, выражалось все — важность сообщаемого, секретность, достоверность.

Койки скрипели, и со всех сторон темной комнаты раздавалось:

— Откуда?

— А откуда?

— А мне тетя Варя сказала, — сообщил он тихо, но с небрежным достоинством.

— Варвара Семеновна?

— Ее нельзя тетей Варей называть, она воспитательница...

— Варвара Семеновна, пусть так.

Ему было приятно и это, что он называл ее тетей Варей, как бы хотел называть, потому что она хорошая, но он и сам понимал, что так нельзя, и называл ее по имени-отчеству, а сейчас у него просто сорвалось это — тетя Варя...

— И что, взаправдашний?

— Из самой Москвы?

— Настоящий-пренастоящий?

— Конечно, настоящий, а какой же еще! — сказал он.

— А у нас раньше дядя Сеня был Морозом.

— Какой дядя Сеня? — не понял он.

— Конюх наш, который на Капе ездит, — объяснили ему.

— Ну, а теперь из Москвы приедет. Вот завтра увидите, что Варвары Семеновны нет. Она в Москву поедет, договариваться...

Все поражались, удивлялись и еще не совсем верили, но утром сомнения рассеялись. Молодец этот новенький Караваев, не соврал, все точно. Варвары Семеновны не было, и на завтрак их повели вместе со старшей группой, и Лидия Федоровна, воспитательница старших, сказала, что Варвара Семеновна уехала в Москву по делам...

* * *

И вот он подошел наконец, этот день — тридцать первое декабря, которого ждали все и больше всех Варвара Семеновна.

Уж как она хлопотала, хлопотала! Один этот Дед Мороз чего ей стоил!

В Москве она пыталась найти Колю, но дважды звонила, не застала, и хорошо, что не понадеялась на него, потому что уже после, перед отъездом, она вновь звонила ему из автомата с вокзала, но он был весь день в институте и домой приедет поздно, как сказала его мама, которую она узнала по телефону еще по первому утреннему звонку, но ни тогда, ни потом, на третьем звонке, не призналась, что это звонит она, и, наверно, правильно. У нее была собственная интуитивная девичья гордость, и чувство это подсказывало ей, что не надо навязываться даже ему, Коле, а уж родители его, люди ей непонятные, какими она их воспринимала, тем более не должны думать о ней плохо, потому что то, что для других хорошо, для них может быть плохо, и она не хотела показывать им, что ей нужен их Коля. И раньше не хотела, и теперь. А ей нужен был, очень нужен был Коля, но они не должны знать об этом, и не надо, чтобы знали. Они — умные, слишком умные, и не ей тягаться с ними...

Коли не было, и она бросилась искать Деда Мороза по собственному разумению. В справочном бюро она все объяснила, и ей дали адрес на бумажке. Она помчалась в центр, в Третьяковский проезд, в организацию со сложным названием. Уже с тротуара она с трудом пробилась в дверь, вокруг двери толпились какие-то шумливые люди в красивых шубах, похожие на артистов, но ей был нужен настоящий артист, и еще она подумала, что, может быть, всем им, как и ей, тоже нужен Дед Мороз на елку, и тогда, конечно, надежды нет никакой. В помещении ее совсем убили; хотя она и доказывала, что детский дом — это детский дом, а не просто школа и клуб с обычными детьми, ей говорили: «Поздно!», «Надо было раньше думать!», «Да что вы, гражданочка, сейчас...». Она уже готова была зареветь от отчаяния, и вдруг ей повезло, она нашла то, что нужно. Нашла как раз на улице, в толпе шумливых людей, которые оказались настоящими артистами, и обо всем договорилась, и адрес дала, и задаток — десять рублей. Хорошо, что захватила деньги, думая забежать попутно куда-нибудь в магазин... Где-то в глубине души она даже радовалась, что сделала это все сама, без Коли, и, значит, она что-то может, на что-то способна...

А потом, уже дома, пошли хлопоты с елкой и игрушками, и вся ее группа два дня орудовала ножницами и клеем, кисточками и красками, и лучше всех был новенький Олежек.

Теперь елка, украшенная, разнаряженная, стояла в зале, и со вчерашнего дня туда уже не пускали ребят, чтобы праздник стал праздником и красивую елку увидели именно в этот день, и пусть она поразит всех, обрадует или даже очарует, как сказала Лаида Христофоровна. Праздник был назначен на двенадцать, и все ждали его с нетерпением, и сама Варвара Семеновна подогревала в ребятах это нетерпение.

Без четверти двенадцать она вернулась с ребятами из лесу к подъезду дома.

— А теперь, дети, — сказала она, — постоим здесь и встретим нашего гостя из Москвы — Деда Мороза.

Ребята закричали «ура!», и Олежек громче всех кричал «ура!», а Варвара Семеновна веселилась с ними, и все думали, какая она умница, как все хорошо у нее получается, и нет на свете лучшей работы, чем ее работа; и она была на седьмом небе от счастья.

День стоял чудесный, не холодный и не сырой, самый лучший зимний день в ее жизни, может быть, когда она окончательно поверила себе, своему призванию, своей полной благополучия надежности на этой земле и еще, что рядом с Колей, если они будут, конечно, когда-то вместе, она останется такой самостоятельной, и это не слова, факты, поскольку на практике видно, что она сама что-то значит и ничуть она не дурочка, не рядовая, какой может показаться его родителям...

Дед Мороз, ее Дед Мороз, приехал вовремя, да еще как, она сама не ожидала, что будет так: он приехал без шофера, сам сидел за рулем «Волги» в полной форме — с бородой, белыми волосами, выбивающимися из-под бело-красной шапки, и с большим красным носом, и все это привело ребят и саму Варвару Семеновну в полный восторг. В машине он сбросил накинутую на плечи шубу и явился перед всеми — в полном великолепии сказки!

Варвара Семеновна была растрогана до глубины души, дети бесновались, пораженные, а она, воспитательница, не могла не думать еще и о том, какой он славный, этот Дед Мороз. Ведь другой мог просто приехать, потом переодеться, а этот, найденный ею, все понял и переделался, наверное, в машине, перед тем как появиться перед ребятами, и все это точно, важно, с педагогической точки зрения особенно.

Начался праздник. Ребята не знали, на что смотреть — на елку ли, которую они не видели в таком убранстве, или на Деда Мороза, который играл с ними, разговаривал, смеялся. Кто-то что-то кричал, кто-то трогал одежду Деда Мороза, и все, вместе взятые, были наверху блаженства. И Варвара Семеновна в первую очередь. А когда она собрала ребят в круг, и Дед Мороз встал рядом с нею, и заиграл магнитофон, и они пошли вокруг елки в хороводе, Варвара Семеновна увидела добрую улыбку на лице Лайды Христофоровны и поняла, как та сейчас в душе хвалит ее, и от этой улыбки ей сделалось еще лучше.

Все было отлично, ну просто отлично, и Дед Мороз, конечно, украшал праздник. Он и поздравлял, и плясал — смешно, вприпрыжку, и вручал ребятам подарки, и вновь поражал их своим искусством, и вовсе не торопился, чего больше всего боялась Варвара Семеновна, потому что он — артист, а у них сейчас так трудно со временем, елка идет за елкой, каникулы, и всюду

нужны Деды Морозы. Она знает. После поездки в Москву особенно хорошо знает.

Праздник закончился почти перед обедом, когда уже и директор показала, что пора заканчивать, и все вместе — ребята и взрослые — стали расходиться, а Варваре Семеновне все еще хотелось плясать и петь, но она все понимала и потому первой пошла вместе со всеми, зная, что у нее есть и еще одна обязанность — перед ним, Дедом Морозом, который выручил ее...

Они выходили толпой из зала, где была елка, и ребята хватили Деда Мороза за его шубу, подпрыгивали, забегали вперед, пытались продолжить разговор с ним, и Варвара Семеновна все это видела, и радовалась общему и своему счастью, и потому вовсе не поняла, когда он шепнул ей на ухо:

— Так как?

— Что?

Он ловко оторвал бороду, снял шапку вместе с париком, сказал: «Жарко у вас», — и опять повторил ей в ухо:

— Как? А-а?

Подошла Лаида Христофоровна, оттеснила ребят и поблагодарила его:

— Вы доставили нам истинное удовольствие! А сейчас прошу ко мне в кабинет. Мы...

Варвара Семеновна знала, что надо расплатиться, потому что залог — это только залог, и о нем директор даже не знает, и она понимала, почему Лаида Христофоровна приглашает к себе в кабинет, но...

— Спасибо! Сейчас мы с Варварой Семеновной подойдем, — сообщил он, удерживая ее за локоть. — Переоденусь...

Ребят уже загоняли по местам. И в коридорах стихали голоса, и скрылась в своем кабинете Лаида Христофоровна, а он все продолжал шептать:

— Ну, хочешь, останусь? Дурочка! Милая! Или в Москву рванем? Не маленькая!...

Варвара Семеновна побледнела и побежала по коридору. Почему-то сначала в сторону кабинета директора, а потом назад — мимо него — и к выходу.

Перед обедом весь детский дом провожал Деда Мороза. Он был уже не такой веселый, как на празднике, но он был Дедом Морозом — с бородой, белыми волосами, выбивающимися из-под бело-красной шапки, и с большим, чуть сдвинутым набок красным носом.

Ребята кричали:

— Спасибо! Спасибо! До свидания! До свидания!

Проводами руководила сама Лаида Христофоровна.

— С наступающим! — крикнул Дед Мороз, садясь в машину и заводя мотор.

И все что-то кричали ему приветственное и махали руками, пока «Волга» не выехала за ворота, свернула направо и исчезла за деревьями.

Уже возвращаясь домой, Лаида Христофоровна спросила:
— А где Варвара Семеновна?

Варвары Семеновны при проводах не было. Не было и нескольких ребят из ее группы.

* * *

— Почему я наврал? Почему я?

— А как он бороду сорвал и шапку?

— Еще из Москвы!

— Вот и настоящий!

— Но это не я наврал!

— Уж лучше бы дядя Сеня, как всегда...

— А я...

Он никогда не плакал, наверно с грудных лет, а тут заплакал.

* * *

И Варвара Семеновна изревелась за этот день так, как никогда. Ее оскорбили. Она, убежав в лес перед обедом, ревела навзрыд, потом замерзла и тайно вернулась домой — ревела дома, и еще позже, когда ей стучали, она тоже ревела, не решаясь открыть дверь и показаться в таком виде. Она передумала все, что могла передумать, пересмотрела все, что раньше считала ясным, и оказалось, что все было не то и не так, и сейчас ей все равно, что о ней скажут, все равно, потому что жизни нет и, значит, нет ее здесь, в детском доме, и потому никакая она не воспитательница, и никакой не педагог, и вообще она никто, если с ней можно было поступить так.

Она ревела навзрыд, уставая, всхлипывая, а потом вновь ревела громко, и такой ее застал вечером Коля, неожиданно приехавший из Москвы.

— Зачем ты здесь? Зачем? Я ж говорила тебе! Писала! — так она его встретила, и он не обиделся, ничего не спрашивал, а схватил ее сильно и даже больно, обнял и приложился не чисто выбритой щекой к ее мокрому лицу.

Ей стало чуть лучше. Они были вместе час или два, и всякое говорила она ему за это время, ругалась, кричала: «Зачем? зачем?», а потом вдруг целовала его и обнимала, тоже больно, до хруста в костях, а позже, кажется, она совсем пришла в себя, хотя вид у нее, конечно, оставлял желать лучшего.

И тут он ей сказал:

— А теперь, Варюха, приведи себя в порядок, и пойдем. Нас ждут!

Ей было хорошо от сознания, что он, которому она только что подчинилась в главном, опять подчиняет ее своими словами, и только, на всякий случай, переспросила:

— Встречать Новый год?

— А как же! — удивился он. — Надо встречать Новый год. Одевайся, Варюха. И поскорее.

Она не знала, что он приехал больше часа назад, и был уже у Лайды Христофоровны, и видел других воспитательниц, и говорил о ней с ребятами и конюхом дядей Сеней, но это и не важно, важно, что он приехал и он здесь...

Варвара Семеновна заторопилась, и когда уже все было почти готово, и можно, казалось бы, идти, и он, в пальто, ждал ее у двери, она вдруг спохватилась, подошла к нему:

— Ну, а как же мы с тобой явимся туда? Теперь? Ты понимаешь?

— Понимаю, — сказал он. — Пойдем. Одевайся!

Она оделась, и они прошли по скрипящему снегу, опять разделись и вошли в зал с елкой, где еще днем веселились дети, а теперь за небольшим столом в самом центре сидели взрослые.

— Познакомьтесь, пожалуйста! — сказал он громче, чем нужно, на весь зал. — Моя... Моя жена! Прошу любить и жаловать!

* * *

Он проснулся утром очень рано и в трусиках подбежал к окну. Стекло чуть заморозило, какие-то узоры появились на стекле, но и то, что он увидел за стеклом, было необыкновенно. За ночь деревья еще больше припорошило снегом, и лес и снег замерли, и не было ничего красивее этого зимнего тихого утра.

Почему-то раньше он не любил зиму. Может, потому, что зимой бабушке труднее было выходить на улицу, а может, и потому, что он просто не знал ее, зиму, такую, как здесь, как сейчас, и этого леса не знал, и многого другого, чего он не видел в Москве.

Пришла Варвара Семеновна, и вместе с ней пришел еще один человек, который назвался дядей Колей, и ему это тоже понравилось. Хорошо, что он мужчина, хорошо, что он просто дядя Коля, хорошо, что он после завтрака пойдет с ними гулять.

— Олежек, ну как ты?

— Хорошо!

— Так это ты и есть товарищ Караваев?

— Я — Караваев, да.

И еще после завтрака сама Лайда Христофоровна его спросила:

— Тебе не скучно у нас?

— А почему мне может быть скучно? — ответил он серьезно вопросом на вопрос.

— А Дед Мороз тебе не понравился?

— Понравился,— сказал он и, подумав, добавил: — Но только это Дед Мороз не настоящий...

— Ну, иди, маленький, играй!

И тут и кончить бы рассказ. Но, поверьте, не могу.

Все думали о Караваеве. О маленьком Олеге Караваеве, человеке с трудной биографией для взрослых и с полным отсутствием какой бы то ни было биографии для него самого, потому что настоящей его биографии еще не существовало. Она сложится потом, со временем и возрастом, обязательно как-то сложится.

Но все почему-то забыли сегодня об одном, и сам Олег Караваев не мог сердиться на это: он просто не знал и не помнил, когда он родился. А ведь он родился сегодня, первого января, и не станем говорить, какого года. Может, он родился тогда, когда шесть лет назад родился, а может, родился куда позже, когда приехал сюда.

Вокруг него были ребята, и чудесный лес, и настоящие ели в снегу, к которым можно было подходить и хватать их руками, и был настоящий мороз, щипавший нос и щеки, и еще у него было хорошее настроение.

И он, новорожденный, не помнил ничего другого.

Я ЛЮБЛЮ НАШУ УЛИЦУ...

Улица как улица. Ничего особенного. Дома слева, дома справа. Деревья вдоль тротуаров.

Правда, когда летом пух летит, здорово. Как снежная метель, вьется пух по асфальту. Чиркнешь спичкой — пух с треском вспыхивает и кружится, крутится струйкой вместе с огнем.

Многие ребята занимаются этим, а я раз попробовал — не повезло. Шофер самосвала остановил, вылез из кабины: «Что, пацан, лучше занятия не нашел? Ты б еще мне под бензобак фитиль сунул!»

Так пух перестал меня интересовать — и деревья вместе с пухом.

Ну, улица и улица. Почта на одном конце, почта на другом. Булочная рядом, химчистка, овощная палатка, три магазина — «Мясо», «Диета», «Продовольственный». Еще — универмаг и комбинат бытового обслуживания. Это хорошо. Мать все время гоняет меня то за тем, то за этим. Пять минут, и я свободен. Все близко. Удобно, конечно.

Кино у нас на улице два — маленький кинотеатр и большой. Это на самом деле хорошо. Детский «Друг», взрослый — «Питер». Они так называются — детский и взрослый, а на самом деле — одно и то же. В детском крутят взрослые фильмы, а во взрослом — детские. В обоих — и те и другие. Так что можно ходить. Родители отпускают. И даже раньше, когда я маленьким был, отпускали одного. Близко, улицы не переходить, — пускали. И в школу так, начиная с первого класса, вот уже восемь лет. Школа уж совсем рядом, ближе «Питера».

Улица широкая. Сразу и не перескочишь на другую сторону. Машины, троллейбусы, тягачи с лафетами — туда-обратно, туда-обратно. По соседству завод железобетонных конструкций и домостроительный комбинат. Балки, перекрытия, стены домов с готовыми окнами тянут на лафетах.

И все равно, что в ней необыкновенного? Сколько таких улиц и переулков в Москве! Поинтереснее есть! На одних Ленин выступал, на других дома, где бывал Пушкин. Здесь был штаб

революционных рабочих, там изба Кутузова или дом Горького. Лермонтов, Калинин, Грибоедов, Фрунзе, Огарев, Космодемьянская, Толстой, Талалихин... Все они где-то были, выступали, жили, читали что-то, но только не на нашей улице, и о них высечены доски на стенах домов, и о них говорят сами улицы табличками названий.

А эта и называется как-то смешно — по песку, да еще с добавлением «Ново...». А никакого песка вокруг — ни нового, ни старого — и в помине нет. Не считая того, что во дворы привозят: в песочницы специально для малышей.

Так это всюду привозят, и на Пресню и на Кутузовку. В такой песок и я играл, когда мне четыре года было и мы сюда переехали.

Десять лет мы живем на этой улице, и я привык к ней, как к дому своему и школе, как привыкаешь ко всему, к чему надо привыкать.

Можно ли любить школу? Я люблю школу, класс, уроки, учебники, отметки... Смешно, верно! Я люблю, он любит, ты любишь... Надо, просто надо, и все тут. Это не кино какое-никакое и не футбол или хорошая книжка!

И дом? Тоже смешно — любить дом! Хотя дом не школа, и, может быть, мне даже нравится дома, но любить?

А улицу — любить?

— Все-таки больше всех люблю нашу улицу! И какие мы мудрецы, что тогда на Ломоносовский не поехали!

Это отец говорит матери. Уже много лет говорит.

А по мне, хоть и Ломоносовский. Был там. Тоже улица. И ничуть не хуже нашей.

— Я вечером, как сверну к нам, так вся усталость исчезает. Честное слово, лучше нашей улицы нет!

Это уже мать говорит отцу. Тоже много лет подряд.

А в прошлом или позапрошлом году, не помню, совсем интересно получилось.

Приехал к отцу товарищ из Филадельфии, с которым они подружились, когда отец в Америке был. Говорили о разном, а потом вдруг о нашей улице. Американец все спрашивал отца, о чем бы ему написать. Видно, журналист он был или писатель. Вот и просил отца подсказать, как и что лучше написать о Москве.

— Зачем лучше? Не надо, Гарри, лучше. Возьми просто нашу улицу. Обычная улица в Москве, а все же самая лучшая. Хочешь, давай я отпрошусь с работы, пойдем вместе. Статистику возьмем: кто живет на одной улице, что находится на ней. Увидишь, что плохо у нас, что хорошо. По квартирам побродим, по магазинам, по детским садам, школам. Это тебе не Красная площадь, о которой сто тысяч раз писали, и не улица Горького. Но давай. Клянусь, отличные будут очерки для Америки..

— О-о! Это очень заманчиво! — произнес американец.

И они трое суток ходили с отцом по нашей улице. Трое суток!

Странные люди! Ну, лучшая и лучшая, пусть будет так! А мне-то это, в общем, все равно. Улица и улица...

* * *

Я по делу и просто так выхожу на улицу.

Просто так — реже, когда делать нечего. По делу — школа, магазин, почта, кино, химчистка, комбинат бытового обслуживания — для починки ботинок.

Просто так. Ни для чего.

— Пойду погуляю, — сказал я матери.

— Пойди, пойди, а то ты совсем воздухом не дышишь, — согласилась она. — Но к восьми возвращайся. Папа звонил, он задерживается до восьми. Ужинать будем...

— Вернусь.

Во дворе ребят не было, кроме малышей. Одного заметил — великовозрастного девятиклассника Вольку Карпова, свернул в сторону. Не люблю таких, как он. Сам не ребенок, а анекдотики Волькины и бесконечные его «предки», «девочки во-во», «все люди шизофреники» надоели. Как хунвэйбин какой-то! Ладно хоть, что он не в нашей школе учится...

Вспомнил, что у меня есть мелочь. От завтраков. Как раз на мороженое хватит. Пойду. На углу за почтой всегда мороженщица стоит. Может, по пути кого-нибудь получше Вольки повстречаю.

Двор развезло. Всю зиму снег сваливали с асфальта в горы, и сейчас он поник, потек, поплыл под ноги. Так каждую весну бывает. Открываются, оттаивают деревья в садике. Вылезают из-под снега машины собственников. Красный гриб-мухомор возле песочника уже сбросил снег со своей огромной шляпы. И качели, что стоят рядом. И ограда садика вылезает зеленью планок из снега...

На улице снега нет вовсе. На улице чистые тротуары — сухие ближе к краю, мокрые ближе к домам. С крыш капает, в водосточные трубы льют ручейки и разливаются по асфальту — струйками, лужицами, просто мокрыми пятнами. Апрель — капель.

Как всегда, весной у нас подстригают деревья на улице. Женщины в синих халатах поверх пальто с длинными палками-ножницами в руках стригут, как парикмахерши, ветки деревьев, другие забираются на лесенки и орудуют пилами. Отваливаются на тротуар ветки и целые бревна, а сами деревья становятся маленькими кургузыми обрубками, похожими не то на сказочные существа, не то на загадочные растения в пустыне. Не баобабы, в общем...

Женщины в синих халатах продвигаются сначала по одной стороне улицы — от почты до почты, а за ними встают эти кургузые деревья с кучами срезанных веток на тротуаре. А потом они пойдут обратно — по другой стороне, опять от почты до почты. Только от другой почты к прежней. И там по противоположному тротуару появятся деревья-обрубki и кучи веток под ними. И когда они дойдут до начального конца, приедут машины, много грузовых машин, как в дни больших снегопадов. Они соберут ветки и бревна, подчистят тротуары, и на улице станет просторно и светло...

Я прошел мимо стригущих, пилящих, о чем-то переговаривающихся между собой женщин в синих халатах, мимо куч срезанных ими веток — к почте, до которой они еще не дошли. За почтой, за углом дома, должна стоять мороженщица.

Мороженщица была на месте.

Я пересчитал мелочь, протянул:

— «Ленинградское»!

— Может, тебе взять? — спросил кто-то рядом. — Приветик!

Оказалось, соседка наша, Галя, что живет этажом ниже.

— Нет, у меня есть, не надо, — пробормотал я.

Галя я почему-то побаиваюсь. Она старше меня, почти взрослая, учится в техникуме и уже работает. Когда она встречает меня на лестнице или во дворе, всегда говорит это: «Приветик!» А я отвечаю серьезно: «Здравствуйте!»

— Здравствуйте, — запоздало пробормотал я сейчас, впервые встретив ее на улице.

— Мне пломбир, — быстро сказала Галя и потом мне: — Смотри, а я тебе еще возьму, если хочешь.

— Нет, не надо, спасибо.

— Ты домой?

Мне бы сказать «да, домой». Да и куда мне идти, как не домой.

— Я в булочную, — пробормотал я. — Не домой.

Сам не понял, почему пробормотал так.

— Жаль, а то бы ко мне зашел. У меня день рождения сегодня. Семнадцать стукнуло...

— Нет, я никак не могу...

Не знаю, что со мной случилось и почему я перетрусил. Даже мороженое не развернул и пошел к булочной, потом к метро. У метро вспомнил: «Надо было ее поздравить». Стал представлять, как надо было. Все представил: что говорю я, что она, что опять я, что снова она. И даже то, на что бы никогда не решился: «А мне очень нравится, когда я вас, Галя, вижу...» Нет, лучше так: «А вы мне очень нравитесь...» Или еще лучше: «А я...»

Мороженое потекло у меня в руке, и я сообразил, что все

это чепуха. Ведь она ушла. Надо было пойти с ней вместе к дому, надо было поздравить, надо было зайти к ней, надо было цветы купить, вот тут, у метро, как раз продают...

Надо было! Дурак, ох какой же я дурак!

Мороженое окончательно растаяло, я проглотил его, весь перемазавшись, и повернул обратно к дому. Опять вспомнил: «А вдруг она еще не дошла, задержалась?» И пошел тише, совсем медленно.

И в самом деле, мне некуда торопиться. Светло еще. И до восьми больше получаса.

* * *

Еще два дерева и две кучи срезанных веток под ними. Женщины в синих халатах передвигались к очередному дереву. Всё ближе к почте.

— А ему что? Как с гуся вода! — сказала одна, тащившая лестницу.

— Она тоже хороша! — сказала другая, с ножницами на палке и пилой под мышкой. — Ты вон небось не пошла на такое...

Они все обсуждали какие-то свои дела.

Еле заметно темнело. Не так, как зимой, сразу, а постепенно. Кто-то зашторивал окна в домах, кто-то захлопывал форточки. В двух подряд прошедших троллейбусах включили свет.

Владельцы собак вышли на прогулку, и я пожалел, что у нас нет собаки. Отец говорит: «Вот подрастешь, нам с мамой некогда». Им некогда, верно, но я бы и сейчас...

И неужели эти вот — с собаками — меньше заняты? Старики, и помоложе, и женщины. Правда, ни одного мальчишки и девчонки. Или у них детей нет? А только — собаки? Это как в Швеции, отец рассказывал:

— Вы думаете, там собак ради собак заводят? Ничего подобного! Мудрый швед знает, что ему надо гулять, ежедневно гулять четыре-пять часов... Полезно для здоровья! Собака — хороший повод. Вот и высыпает в Стокгольме на улицы такие собачники. У одних — по шавке, по псу, у других — целое разнокалиберное собачье сборище. Два, три, четыре пса. Тянут хозяина, хозяйку тянут, а они и довольны. До собак им как до лампочки, а сами довольны — прогуливаются, кислородом дышат!

Я опять посмотрел вперед. Нет, Гали не видно. Что это я? Хватит, хватит думать о ней. Да и что может быть...

Навстречу мне шел мужчина с овчаркой. Мужчина — сам по себе, овчарка, умная, красивая, лоснилась черно-серой шерстью и мудро смотрела на хозяина.

— Гуляй, гуляй, Диана, — произнес хозяин, когда мы почти поравнялись. — У меня, понимаешь ли, идея одна возникла... По

работе, подружка, по ЦКБ нашему... Понимаешь? Ты гуляй, гуляй!

Он говорил с собакой, а думал, наверно, не о ней и не о себе, а совсем о другом. А говорил с ней, Дианой.

А Галя меня звала. И я не пошел. И ничего не сказал ей.

* * *

— Понимаешь, что это никакие не липы, а тополя! Самые настоящие душистые тополя. Уж такого не знать! Ну, Ширяев!

Ну и что — Ширяев! Ширяев, да. Метр шестьдесят один, между прочим, хотя в одном классе с тобой учимся. И хотела бы ты знать, меня сейчас, этого самого Ширяева, восьмиклассника, девушка одна звала. Взрослая. Семнадцать лет ей, а не то что тебе... И я просто так не пошел, некогда было. А липы-тополя...

— Между прочим, другие тоже не знают. Ничего страшного. Если захочешь...

Я не знал. Совершенно не знал. Стыдно, может быть. Десять лет живу на этой улице, а считал деревья липами.

— Липы совсем другие. Просто ничего похожего. Вот на улице Горького, например, Ширяев... Видел?

А что стыдно? Ну липы, ну тополя. Не все ли равно?

— Ты был на улице Горького?

Еще бы я не был на улице Горького! Сколько раз был, а как-то даже ездил специально. Галя туда поехала, а я за ней. Просто так. Сначала на метро до «Белорусской». Потом пешком, но так, чтобы она не видела, до Миусской площади. Там она исчезла. А я думал догнать ее и встретить как бы невзначай, но пока думал, она...

— Конечно, был! Ну и что?

— Ничего. Просто на улице Горького липы и на других улицах... А у нас тополя.

— Я знаю,— почему-то сказал я.— А ты что тут делаешь? Зачем?

Я видел, что она копается в кучах срезанных и спиленных веток и отламывает от них кончики.

— А тебе не жалко?

— Что? — спросил я зло.— Если хочешь знать, я собак люблю!

— При чем тут собаки! Я о тополях. Тебе не жалко, что их так режут и пилят?

— Так это нужно,— сказал я.— Они растут лучше, когда их подрезают. Говорят...

— Лучше бы ты волосы свои подстриг. Смотри, зарос совсем,— сказала она.— А мне их, к твоему сведению, жалко. Не волосы твои, Ширяев, а тополиные ветки! Знаю, что их надо подрезать, а жалко...

Теперь я думал о ней — о Лизе Куприковой. Сколько лет сидим на одной парте, и я даже не замечал ее никогда, а тут вдруг — заметил. На улице увидел и заметил. Эти ветки тополиные и это — «Ширяев». В школе она тоже говорит мне «Ширяев», но там не так, там — школа. И почему-то она, никакая в школе (не ябеда, как другие девчонки, не отличница, а так себе...), здесь вдруг оказалась какая-то. А какая? И вовсе крохотная, будто не в восьмом, а в шестом учится.

«Тебе не жалко, что их так режут и пилят?» Мне не жалко, тебе не жалко, ему не жалко...

И при чем тут мои волосы? Мои волосы, твои волосы, его волосы. Спряжение! А мы его в детстве проходили...

Почему я думал о ней? Свернув с улицы во двор, думал. Пока шел по двору, думал. И, только войдя в подъезд и ступив на лестницу, вспомнил о Гале. Ведь я сейчас пройду мимо ее квартиры, где она празднует свое семнадцатилетие, куда она меня звала...

На лестнице было тихо. Не так, когда кто-то и что-то празднует. Тогда все слышно снизу доверху. Значит, не празднует? А меня зачем звала? Непонятно...

Я прошел мимо ее квартиры. Ни звука. Может, позвонить? Но мать сказала: «К восьми возвращайся». Сейчас, наверно, восемь...

Дома моему возвращению особо обрадовались. Отец о чем-то спрашивал меня, мать хлопотала с едой, усиленно угощая. Друг с другом они не говорили.

Я сразу понял, в чем дело.

— Вы что, поссорились?

— Поссорились? Почему? Ничего подобного! — сказал отец, как-то неловко вскочил из-за стола и обнял мать. — Правда, Ирочка?

— Правда, правда, отстань, — говорила мать. — И все равно ты... Ешьте лучше!

— Характер! — доверительно шепнул отец, когда мать вышла на кухню. — Ничего не поделаешь!

— А что у вас?

— Да так, перемелется. Войну прошли. А это... Ничего. Знаешь, как у поэта: «Все пройдет, все перемелется».

— У кого?

— На Кавказе есть такой... Мудрый поэт! Наизусть запомнил:

Знает, знает мельница:
Все пройдет, все перемелется.
Основное ведь — мука,
Остальное все — труха.

Кажется, я не спал в эту ночь.

Слышал, как идут по нашей улице последние машины и троллейбусы и как отец в соседней комнате говорит матери:

— Ну что такого особенного! Мы же не в безвоздушном пространстве живем!

Я видел, как качается фонарь над воротами, слышал, как дует весенний ветер за окном, и слова матери и отца:

— А опекаешь ее почему? Подарки даришь?

— Какие подарки? Просто знак внимания к Восьмому марта. У нее же трудная судьба. Муж бросил, двое детей. В конце концов зарплата у нее в три раза меньше, чем моя... Ты, по-моему, просто ревнуешь.

Опять все реже и реже идут машины по нашей улице, и уже не слышно троллейбусов.

— Сколько мы с тобой живем? Вспомни, сколько?

— Двадцать два года, а что? Но...

— Сына вырастили. Ведь это главное. Самое главное! Понимаешь! И разве...

— Понимаю, понимаю. Я все понимаю. Не сердись, пожалуйста!..

А я думал о Гале и о Лизе. Сначала о Лизе, потом о Гале. А может, наоборот. Где-то они сливались вместе, и я догонял Лизу на улице Горького, и говорил с Галей о тополях, и без конца путался в мыслях, не зная, чего хочу.

«Ширяев,— говорила мне Галя.— Может, тебе взять?» «Приветик! — говорила Лиза, показывая на школьный завтрак.— Мне пломбир!» И вдруг совсем непонятные слова Гали: «До собак им как до лампочки, а сами довольны — прогуливаются, кислородом дышат!»

«Зачем тебе эти ветки нужны от срезанных лип?» — спрашивал я.

«Для булочной. Ты же идешь в булочную, а со мной не хочешь».

«Почему ты соглашаешься, что это липы, ведь это тополя! Сама же говорила».

«Самые настоящие душистые тополя! Но мне не хочется с тобой спорить сегодня. У меня день рождения... А липы совсем другое. Просто ничего похожего. Вот на улице Горького, например... Но, честное слово, лучше нашей улицы нет... И какие мы мудрецы, что тогда на Ломоносовский не поехали!»

«Сколько мы с тобой живем? Вспомни, сколько?.. Сына вырастили... Ведь это главное. Самое главное! Понимаешь?»

* * *

На следующее утро я шел в школу так, как еще никогда не ходил. Мне хотелось идти в школу. Я знал, что меня там что-то ждет, кроме уроков, кроме отметок, кроме...

Вместо того чтобы идти двором, я вышел на улицу к срезанным тополям. А всегда ходил двором — так куда ближе.

Кучи веток еще не убрали. И та, из которой Лиза отламывала верхушки, была цела. Никто другой ее, наверно, не трогал, не растормошил.

А Лизы тут не было. Двести метров по улице, и я опять свернул в наш двор — прямо напротив школы.

Я искал Лизу Куприкову, хотя это было глупо. Все равно она придет и сядет за парту рядом со мной, как было уже много-много лет.

Мы уже поговорили о чем-то с ребятами у входа в школу, в раздевалке и перед классом — в коридоре на третьем этаже, а я все искал глазами ее.

В самом деле, я уже заранее знал, о чем спрошу ее.

Просто так, как бы мимоходом, когда она сядет за парту или даже во время урока:

«Зачем тебе эти ветки нужны?»

«Какие?» — спросит она. Может быть, добавит: «Ширяев».

И тут уже я не дам маху:

«Тополя, что ты вчера собирала».

Прозвенел звонок, а ее не было. Я сидел за партой один. И среди опоздавших, а у нас всегда кто-то опаздывает, ее не было.

На перемене я спросил одну из девчонок:

— Чего это сегодня Куприковой нет?

— Наверно, заболела, — безразлично сказала она. — Полкласса почти нет. Ты же знаешь: грипп какой-то вирусный. С осложнениями. Вот у Тони Антиповой воспаление...

Полкласса меня не интересовали. Тоня Антипова тоже. И уроки — в этот день.

После пятого я пошел уже не улицей, а опять двором.

В подъезде неожиданно столкнулся с Галей.

— Ты? Вот хорошо! Приветик! А у меня замок никак не открывается.

Я покраснел. Вспомнил, что весь день думал не о ней.

— Давайте, я попробую.

Я взял у нее ключ, вставил в замок. Вертел влево, вправо, никак.

— Дурацкий замок, — сказала она. — И придумают же такие!

— Не получается! — признался я и еще больше покраснел от неудачи. — Никак!

— И дьявол с ним! Пусть мамочка моя ненаглядная помучается. Ее идея! Даже лучше! — зло выпалила Галя, и я совсем растерялся. Мне показалось, что она какая-то странная сегодня, непохожая на себя...

— Я пойду, — сказал я.

— Можно от тебя позвонить? — попросила Галя.

— Можно, чего ж нельзя...

Мы поднялись этажом выше, к нам. Я сразу же открыл дверь.

— Ты один?

— Один, отец с матерью на работе... Вот телефон.

— Я разденусь, а то жарко.

Галя сбросила пальто, присела к телефону, а я не знал, куда деть себя. Положил портфель, зачем-то пошел на кухню, опять вернулся. В столовой разделся. И снова на кухню.

Не слушать же мне ее разговоры по телефону.

Но я все равно слышал. Непонятный разговор, какой обычно мальчишки ведут вроде Вольки Карпова. Только слово «приветик» было ее, но она его повторила три раза и все по-разному: смешно, то зло, то с удивлением.

— Так я приеду, — сказала она под конец. — До вечера, да? Только ты сообрази, как договорились...

Опустив трубку, она позвала меня:

— Ты где?

— Тут.

Галя села тут же, на кухне, за стол и долго не уходила. А я стоял рядом с ней и не знал, что делать...

Галя молчала, вдруг она посмотрела на меня, ухмыльнулась и сказала:

— Хорошо! До чего же хорошо, а! А я тебе нравлюсь? Скажи, нравлюсь?

Не знаю, что мне было сказать.

— Не знаю, — сказал я, ничего не соображая.

— Знаю: нравлюсь! Нравлюсь, нравлюсь, нравлюсь! И ты ходишь за мной, бегаешь, смотришь. И мне это нравится. Скажу даже тебе, что ты, в общем, ничего...

— Не знаю, — опять пробормотал я...

* * *

— Ты чего сегодня мрачнее тучи? — спросил отец. — Двойку схватил?

— И правда, что с тобой, сынок? — спросила мать. — Папа прав...

Они уже помирились, и я был рад этому, но мне хотелось сказать сейчас им, что лучше бы я схватил двойку, и что вообще двойки, колы, тройки, четверки, пятерки ничего не значат, и это не так уж важно, кто как учится, а важно что-то другое, более важное...

Я не сказал.

Сказал другое:

— Нет, сегодня отметок не было.

Про себя подумал: «И Лизы сегодня не было. И никто не удивился. Сваливают на какой-то грипп».

— Между прочим,— сказал отец,— сегодня есть важное для тебя постановление, слышал?

— Нет, какое?

— И тебя касается, и вообще всех подростков,— пояснил отец.— Вам теперь все внимание. Книг для вас будут больше выпускать, фильмов, физкультура и спорт, конечно, а самое главное — воспитание. Воспитанием займутся всерьез...

— Нас и так воспитывают...

— А будут еще лучше. А впрочем...— добавил он и не договорил.

Я рано лег спать в этот вечер. Подошла мать, пожелала спокойной ночи, опять спросила:

— Не нравишься ты мне сегодня. Что-то случилось?

— Ничего не случилось. Но... Посиди со мной,— попросил я.— И знаешь что? Скажи, пожалуйста, почему это вы, когда с папой о нашей улице говорите, что она самая лучшая, все Ломоносовский проспект вспоминаете. Почему? А если бы туда переехали, тогда?

Мать смутилась.

— И откуда ты?... Это сложно, сынок. И не для...

— Я же не маленький,— сказал я.— И поверь, мне очень, очень важно знать почему...

— Да, ты не маленький,— согласилась мать.— Как бы это тебе все объяснить? В общем, бывают перебои в каждом механизме. Вот и у нас тогда с папой перебой был. Если б на Ломоносовский, то он один бы туда поехал. Без нас с тобой. Но он оказался очень разумным, хорошим, твой папа. И мне не напоминает... Ни о чем... А мог бы!

— А ссоритесь? — вспомнил я.

— Это так, по глупости,— сказала мать.— Я виновата и все понимаю. Больше никогда не буду. И нельзя мне на этой улице ссориться с папой... Ведь она для меня... Ну, как бы тебе сказать?... Как найденное потерянное счастье и...

— Что «и»?

— Не надо, сынок, ладно? Спи! Только о разговоре нашем папе ни-ни... Ты же взрослый!

* * *

Еще два дня я был в школе, а потом тоже заболел. Тем же гриппом с осложнением. Заболел некстати — конец учебного года, и надо подтягивать хвосты перед экзаменами. В восьмом классе, как назло, остались экзамены, хотя и не понятно зачем. Все равно еще два года учиться.

Говорят, что во время болезни люди быстро растут. Не знаю,

вырос я или нет, но я много думал, пока лежал три недели. О чем? Об отце и матери, у которых что-то случилось, давно, когда я был еще маленьким, и что прошло. О школе нашей, где все меряют отметками, чем-то привычным и нужным, но где не замечают, может быть, самого главного. Таких, как я, как Лиза, как Галя, наконец. А Галя тоже училась в нашей школе. Пусть раньше, а училась... И еще об этих самых подростках, которых надо воспитывать. И о тополях на нашей улице... И о...

Третьего мая мне разрешили в первый раз выйти погулять.

Я вышел. Кружилась голова, и все уже было зелено: подрезанные тополя на улице, и яблони в парке рядом с «Питером», и трава...

То ли после болезни, то ли потому, что я стал умнее, но мне нравилось все, и я вспомнил, что наша улица — необыкновенная улица, самая лучшая, самая красивая. А может, я просто привык к тому, что так говорят отец с матерью. Для них, я теперь понимаю, улица наша... Но разве только для них? И для меня...

Я свернул с улицы во двор и пошел к школе, в которой не был так долго. Почему пошел, не знаю.

Все оказалось точно. Через несколько минут из дверей школы начали высыпать старшеклассники. И наши — тоже.

Я долго и подробно объяснял, как я болел, чем лечился, говорил, что готовил потихоньку уроки, чтобы не отстать, что в понедельник приду в школу. Так, мол, сказала врачиха.

Кто-то заметил, что я похудел, кто-то, что побледнел, кто-то ничего не говорил, и мне было все равно.

— А что, Куприкова еще тоже болеет? — спросил я между прочим.

— Куприкова? Она просто дежурная по классу. Сейчас уберет — выйдет...

Я долго еще болтался по пустому школьному двору, когда наконец услышал:

— Ширяев? Ты что тут?..

— Я тебя жду, — не постеснялся сказать я. — Понимаешь, вот выпустили, и я пришел.

— Ширяев!

Тут я, кажется, совсем осмелел и сказал:

— Валялся пока, много думал. О тебе и... Скажи, а зачем ты тогда ветки тополиные собирала? Все хотел спросить тебя.

— А на них уже побеги: листочки и корни, — сказала Лиза. — Я их в парке посажу у «Питера». Пусть растут деревья! Вырастут, вспомню — мои! Хочешь, вместе посадим?

— Хочу, — согласился я. — А когда?

— Хоть завтра. Завтра же выходной!

Мы еще о чем-то говорили, и я сам удивлялся своей смелости и еще больше осмелел, когда Лиза сказала, что хотела прийти ко мне домой, но просто постеснялась.

— Завтра, хочешь, заходи,— предложил я.— Посадим твои ветки, а потом ко мне. Я тебя с мамой и папой познакомлю...

Почему я сказал так?..

— Я буду очень рада,— призналась Лиза.— Так, значит, в двенадцать у того тополя, да?

— У того...

* * *

Я не заметил, как проводил Лизу до ее дома, и, пока мы шли, я ничего почти не видел. Я пошел назад — увидел всю нашу улицу и тополя, на которых росли свежие побеги — сверху на срезанных ветках, и прямо на стволах внизу, и совсем рядом с ними — пробившие асфальт тротуара.

Улица как улица. Ничего особенного. Дома слева, дома справа. Дома из серого кирпича. Это куда лучше, чем из блоков. Деревья вдоль тротуаров — по-молодому свежие тополя. Это лучше, чем липы. Ведь липы еще только распускаются, а эти, даже подрезанные, уже зеленеют. И все тут на улице рядом...

— А у нас событие,— сообщил вечером отец.— Помнишь моего друга-американца из Филадельфии? Так вот, он книгу нам свою прислал: «Уан энд э хаф майлз бай фут алонг а рашин стрит. Мемваз оф эн Америкэн трэвелер»¹. Я перелистал. Молодец, Гарри! Очень объективную и умную книжку написал. В ней что-то есть и о нас с мамой, как о людях, влюбленных в нашу улицу. И даже о тебе в том плане, что ты, как все дети, безразлично относишься к месту, где живешь...

— А я тоже люблю нашу улицу,— сказал я.— Откуда он знает? Я не безразлично, а очень...

— И еще Гарри пишет, что улица наша вроде бы и не примечательна исторически, на самом деле — сама наша история. Выросла там, где не было ничего. Поселила людей новых, рожденных нашей властью. И на примере нашей улицы...

— Пап! Если я тебя попрошу,— перебил я отца,— ты мне рубль дашь?

— Конечно, дам, а зачем?

— Я в парикмахерскую сбегая сейчас, пока не поздно, а то совсем зарос.

— Что, мама? — сказал отец.— Отпустим сына в парикмахерскую?

— Отпустим,— согласилась мать.— Он же взрослый у нас. Пусть сам следит за собой!

¹ «Полторы мили пешком по одной русской улице. Записки американского путешественника» (англ.).

ТРИНАДЦАТЬ ЛЕТ...

Она много читала о море — много хороших книг. Но она никогда не думала о нем, о море. Наверно, потому, что когда читаешь о чем-то очень далеком, это далекое всегда кажется несбыточным.

Она много раз видела море. Видела в Третьяковке и Эрмитаже, где была прошлым летом с мамой. Потом тоже с мамой, когда они были во Владимире в Успенском соборе, — еле видимая фреска Андрея Рублева «Земля и море отдают мертвых». Так, кажется, называлась она.

Видела она море в кино и на открытках. Видела по телевизору и на плакатах.

Но опять она никогда не думала о нем, о море...

А сейчас увидела и не поверила. Море было совсем не такое, каким она могла его себе представить. Может, оно и бывает когда-то таким, как в книгах, на картинах, на экране! Может... Наверно, бывает...

Но сейчас... Сейчас море было большое и теплое. Теплое и большое. Большое, каким может быть только море. Теплое, как мама...

Они и прежде часто оставались втроем: отец, дочь и собака. И раньше отец, возвращаясь с дежурства, заходил в магазин, а Таня готовила.

— Наша мама, скорее, мужское начало в семье, — шутил отец, — а я уж, простите, женское. Я всегда дома, а она в разъездах. У нее и профессия женского рода не имеет — геодезист...

Отец посмеивался не только над мамой. Над Таней — тоже. За то, что у нее нет настоящего призвания в жизни. За то, что она даже в школе металась между литературой и физикой, геометрией и историей, физкультурой и математикой.

— Странный ребенок ты, Татьян! — говорил отец. — Ну, хоть бы к музыке проявила склонность, хоть к рисованию...

Он говорил «хоть бы», а Таня знала: отец хочет, чтобы она была врачом. Она чувствовала это, понимала по многим раз-

говорам его и просто по тому, что он рассказывал ей о своей больнице. Чувствовала: это он для нее говорит.

— Нормальный советский ребенок! Слава богу, не балерина, не художница! Учиться — доучиться! Не будет этого самого призвания, пойдет в рыбный институт или в мукомольный техникум... И, в отличие от нашего папы, не будет сидеть дома. Поездит, хватит лиха... Все равно когда-то человеком станет!

Так говорила мама.

Отец действительно никуда не уезжал. Да и куда ехать врачу, прикованному к своей больнице!

Мама раз, а то и два раза в год уезжала надолго: в Анадырь уезжала, на Чукотку, в Магадан, на Сахалин и еще куда-то. Туда, где были их экспедиции. А они были всюду.

Каждая поездка оставляла след в комнате. Кора пробкового дерева. Чучело белки. Архангельская прялка. Шкура уссурийского тигра. Коралл. Почти окаменелый, с ракушками кусок мачты фрегата «Паллада», пролежавшего на морском дне сто лет. Якутский кинжал. Молдавская курительная трубка. Засушенный мох. Гуцульская дудка. Игрушки из бивня мамонта. И фотографии. И старые карты. И выдавшая виды буссоль. И записные книжки, которые боялись тронуть, открыть... И Тошка, черный, как гуталин, с длинными висячими ушами спаниель, привезенный к Таниному дню рождения из Карелии...

Теперь все мучительно напоминало ее. И они с отцом старались не смотреть на стены. В комнате ничто не изменилось со дня последнего маминного отъезда... Только Тошка, кажется, еще ждал. Облизав шершавым языком руки Тане и потом отцу, когда тот возвращался домой, Тошка долго бродил по комнате, низко опустив голову, выискивая какие-то лишь ему понятные запахи. Он прислушивался к шагам на лестнице, поднимался передними лапами на подоконник — смотрел. Обнюхивал вещи и пол, ручки дверей и одежду на вешалке. Подходил к телевизору и радиоприемнику — тоже нюхал.

Когда включали телевизор, долго смотрел на экран, словно ждал и там. А потом, к вечеру, отчаявшись, ложился на мамину кушетку, опускал голову на поджатую правую лапу и долго невесело смотрел на отца и на Таню. Ложиться на постели Тошке никогда не разрешалось. Сейчас ему позволялось и это...

Так было каждый вечер, и Таня понимала, что больше всего отец не выносит Тошкиного взгляда, когда собака забиралась на мамину постель. Он отворачивался. Или говорил Тошке:

— Пошли лучше пройдемся!..

Тошка прыгал от радости. Ему гулять бы да гулять! А Таня знала: это не Тошке говорит отец, а ей... И еще — себе! И вообще это для всех отдушина! И для Тошки, который ждет того, чего не может произойти. Умный зверь собака! Разумное существо Тошка! Но нельзя же, право, душу травить!

И они шли гулять. Ходили по Первомайской и Парковым. Их много, этих Парковых, — считать не сосчитать! — всю арифметику изучишь! А еще по Измайловскому парку. Хорошему парку, но почему-то выцветающему и какому-то слишком людному... Ходили медленно, молча, и даже Тошка не тянул поводок и лишь изредка поднимал голову от земли, смотрел на них, будто спрашивал: «Где же?»

Тошка ничего не знал...

Так прошел июнь, и июль, и август — прошли. И начало сентября, когда Таня вернулась в школу.

Оставаться втроем было нестерпимо.

Она сама предложила отцу:

— Давай, пап, поедем туда, где мама?.. Насовсем! Ведь врачи всюду нужны, и школа там, наверное, есть... Я и там смогу учиться...

Отец, кажется, только того и ждал:

— Я сам, Татьян, все эти месяцы думал об этом... Но как ты?

Отец всегда звал Таню — «Татьян». И раньше звал так, и сейчас...

— Поедем?

Они почти ничего не собирали.

— Потом, потом, — говорил отец. — Вот устроимся, тогда...

Через неделю все устроилось. Через неделю они прилетели сюда — к морю.

— Как все хорошо, Татьян! Умница ты! Смотри, как хорошо!

Таня не узнавала отца. Он оживился, посвежел и вновь чуть помолодел...

— А теперь купаться, Татьян, купаться! И — немедленно!

Утром, лишь начинает светать, море будит шумом волны. Не слышно, как шумит галька, слышно только море — спокойное и могучее, волнующееся, будто в преддверии чего-то. Просыпаешься от шума моря, и сразу становится хорошо, так хорошо, что вновь засыпаешь, успокоенный его шумом, а потом, может быть, уже и не спишь, а просто дремлешь, потому что шум моря — в ушах, и приятно слушать его.

Весь день шумит море. На пляже громче. В комнате тише. На улице, по которой мчатся машины и автобусы, еще тише. Если подняться в горы, то море еле слышно. Еле, но слышно. Его слышно отовсюду. Шум моря похож на человеческое дыхание.

Катер ли пройдет по морю, теплоход ли, военный корабль, лодка ли какая или попытаются взметнуть его поверхность отчаянные купальщики, заплывающие до буйков и дальше, оно

дружелюбно-спокойно ровняет водную гладь и возвращается к прежнему раздумью. Будто ничего и не было! Ни катера не было, ни теплохода, ни военного корабля, ни лодки, ни купальщиков. Ничего!

Море не перекричать ни криками на пляже, ни гулом транзисторных приемников. Море заглушает их. Море заглушает шум дороги с бесконечно движущимся транспортом, и шум толп отдыхающих, и гудки электровозов и электричек, несущихся между морем и горами. Между морем и той горой...

...На той горе, если подняться по ней не очень высоко, была тропа. Говорили, что тропа вела к Голубому озеру и к леднику. Говорили...

Таня не поднималась туда — не видела Голубого озера, не знала ледника. Знала только, что на этом леднике работала мама. И там все случилось...

Они поднимались в гору вдвоем с Тошкой. Ошарашенный дорогой, непривычной обстановкой, морем, горами, Тошка ничего не понимал — тянул изо всех сил поводок и рвался вперед, в гору. Они шли мимо высоких и непохожих на подмосковные деревьев. Даже похожие были непохожи. Дикорастущий клен и ольха. Ясень и дуб. Самшит и эвкалипт. Фундук и граб. Бук и пихта. Они напоминали что-то знакомое, лесное, но деревья были другие, не такие, какими их, не замечая, привыкла видеть Таня в подмосковных лесах.

Чем ближе они приближались с Тошкой к тому месту, куда шли, Таня больше натягивала поводок:

— Не рвись, пожалуйста, Тошкин, не рвись!

Тошка и не рвался. Сейчас уже не рвался. Справа — два клена. Их называют здесь чернокленами. Слева — заросли орешника. Между ними — четыре подстриженные туи и дощечка — мраморная, серая, с выбитой надписью: «М. Г. Кокорева, геодезист. 1924—1965». Вокруг дощечки на низком холмике — цветы. Это их с отцом цветы. Они приходили сюда сразу по приезде. И еще цветы. Это аджарки в черных одеждах по пути на базар положили их. Так объяснил отец. Местные женщины всегда кладут цветы на могилы приезжих. Особенно те, что сами ходят в черном. Они тоже потеряли кого-то из близких...

А Тошка, ничего не понимающий Тошка, ложится у могилы и кладет голову на правую поджатую лапу. Он смотрит на цветы и пробует нюхать их, но вроде стесняется, смотрит на Таню и опять — на цветы. Тане кажется, что невесело смотрит...

Внизу шумит море. Его видно. И слышно. Но отсюда, с горы, оно совсем не такое, как там, внизу. Оно бледное, разноцветное и далекое. И только шум его, еле слышимый шум, говорит, что оно — море...

...Море одно, а кажется, собралось в нем сразу сто морей. А может, и больше. Даже при одной погоде сто или больше.

У самого берега, где шумит прибой, где галька то открывается, то закрывается водой, море прозрачно-зеленое, как в мелком бассейне, и неизвестно, что ты видишь, что бросается тебе в глаза больше — вода или камни, дрожащие, будто живые, с непонятными блестками, разных форм и размеров, разных цветов и оттенков.

И сразу же идет иное море. В двух-трех метрах от берега оно уже не прежнее, а густо-зеленое, вроде бы и не живое, а отлитое из стекла, самого простого и грубого бутылочного стекла. Уже не видна галька, если смотреть на море с берега, да и само море вроде бы уже не море, а зеленая искусственная полоса неживой тяжелой воды. А за ней вдруг — совсем другое. Зеленовато-синяя вода, переливающаяся, дышащая, светящаяся — настоящее море. И море, почему-то зовущее к себе, приманивающее и не пугающее. И ни барашков, ни волн на этой воде нет, а только синь всех цветов, и дыхание, и еще, пожалуй, что-то убаюкивающее, как колыбельная песня.

Дальше уже все непонятно. Меняются цвета. Синие, голубые, черные — всех оттенков, они перемежаются белесыми полосами и пятнами, меняются вразнобой, и так до самого горизонта, где море, уже спокойное и темно-одноцветное, резко граничит с небом — таким же спокойным, таким же одноцветным, но белесым.

Туда не хочется, хотя там и спокойно. Почему-то кажется, что там нет жизни и там страшно.

Им дали комнатку возле самого моря. Комнатку с балконом в одном из хозяйственных помещений санатория. Внизу был склад. Над ними — жильцы и небо. Впереди — море. До него — рукой протянуть!

Рядом с домом пробивалась сквозь мелкую гальку трава. Рядом с домом росли длинные, как свечи, кипарисы. Рядом с домом цвел олеандр и тянулись ветки непривычного вьющегося шиповника. Рядом с домом росли сибирские кедры, бананы, алыча, мушмала, пальмы. Днем возле дома всю галдели не по-московски поджарые воробьи. Ночью над домом проносились летучие мыши и плакали по соседству тощие кошки. Голуби и чайки кружились совсем рядом.

Отец работал теперь в санатории — тут же. Таня ездила в школу на автобусе — пять остановок. Близко была грузинская школа. Близко была армянская. Русская дальше, у турбазы.

Тошка ждал Таню, когда она вернется из школы.

Таня ждала отца, когда он вернется с работы.

Вечером все собирались на балконе и смотрели на море. Когда было тепло, купались, а потом все равно сидели на балконе. Тошка вставал на задние лапы и скулил, глядя "

солнце, которое заметно, на глазах, скатывалось в море. А потом скулил, глядя на месяц.

— Ты знаешь, Татьяна, странные человеки люди! — рассказывал отец. — Вот приехали сюда, отдыхать приехали, и что ни человек — оригинал! Одни приходят ко мне без конца, жалуются, стонут. И то у них болит, и другое, и третье. А посмотришь — здоровяки. Ничего особенного! Ну, как у всех, какие-то болячки в худшем случае есть, и все! А ведь других не затащишь. Иной и курортной карты не захватил с собой, купается, загорают, считает себя на сто процентов здоровым. А вытянешь его к себе в кабинет, посмотришь — удивишься: как он бегают? И то у него не в порядке, и другое... И не как-нибудь — всерьез...

Отец увлечен новой работой, и Таня радуется этому.

— А сегодня, знаешь, опухоль у одного отдыхающего обнаружил, — продолжал отец. — И тоже из таких: еле затащил, еле рентген уговорил сделать. «Какая там медицина! — говорит. — Сроду не болел и не собираюсь. Что вам зря голову морочить!» Вот и морочить! А другие в каждом прыще раковую опухоль подозревают! И действительно, морочат голову без всякого повода... А сколько холециститов находишь! И тоже вовсе не у тех, кто без конца жалуется на здоровье...

Таня вспомнила:

— Как у мамы?

Зря, наверно, вспомнила. Отец сразу сник. И долго молчал. Очень долго.

— Мама тоже была такая, — сказал он наконец. — И признаюсь тебе, Татьяна, люблю я таких людей! Которые на болячки свои внимания не обращают, — люблю! Казалось бы, не положено это мне, врачу... А люблю!

...Днем море шумит, как море. А ночью...

Ночью моря не видно, особенно в осенние пасмурные дни, когда ночь наступает рано, и месяца нет, и звезд, и не маячат вблизи от берега корабли, и лишь редко охватывают темную поверхность воды лучи прожекторов. Стоит закрыть дверь на балкон, если холодно, или просто забраться в постель — и кажется, рядом не море, а какой-то огромный завод, без конца пересыпающий гальку.

В ясные ночи море спокойно, и все равно его не чувствуешь. Видишь дорожку от месяца. Видишь еле заметные дорожки от звезд. Видишь дорожки от проходящих где-то светящихся огнями кораблей. И еще от редких лучей прожекторов. Но все они — и светила, и огни, и прожекторы — выхватывают лишь куски темного моря, и ты не видишь его, не слышишь, а слышишь только шум пересыпаемой гальки. Скорее, это она живет, движется, действует, а не море. И все же, наверно, это море ее пересыпает. Значит, оно живет, море!

Отец просыпался рано. Раньше него просыпался только Тошка, но он вел себя тихо, молчал и терпел, ожидая, когда проснутся все и выпустят его...

Сегодня Таня проснулась раньше других. Может, и не проснулась, а просто встала — ей не спалось. Встала, вывела Тошку.

Искупалась. С трудом загнала Тошку в море, окунула. Он почему-то боялся воды.

Вернулась.

— Ты что, Татьян?

Она уже перечитывала задачку по физике. Вчера решила, но засомневалась — правильно ли?

— Ничего...

— С добрым утром! Ты что?

— С добрым утром, пап! Я просто задачку решила посмотреть...

— Окунемся?

Она не сказала, что уже купалась.

— Конечно, окунемся...

Так у них теперь всегда начинался день.

Они вышли все вместе, и с отцом Тошка сам полез в море. Фыркал, захлебывался, поправляя в воде лапами уши, — купался.

Вода была по-утреннему теплая, а воздух после ночи прохладный. В эту пору море теплее воздуха, теплее земли, теплее гор. Пока нет солнца.

Тошка, выбравшись из моря, катался по гальке. Тер уши о камни, как будто в них попала вода.

— Смотри, — сказал отец.

По морю, почти у горизонта, шел корабль.

— Эсминец, — сказал отец. — Знаешь, Татьян, вот гляжу и до сих пор завидую...

— Почему, пап?

— Моряком всю жизнь мечтал быть, а вот стал врачом.

Таня этого не знала. Может, отец никогда не говорил, или просто она не слышала, или слышала — не помнит...

— Ты жалеешь? — спросила Таня.

— Жалею? Нет, что ты, Татьян, конечно, не жалею! Просто детство вспомнил... Море увидел, эсминец этот, вот и вспомнил.

У моря своя жизнь и свои заботы. Если быть не морем, а человеком, это, наверно, можно понять.

Море работает днем и работает ночью. Море работает утром и работает вечером. Море работает всегда — всю жизнь. И даже когда оно совсем затихает, не бьет в берег, а лишь тихо плещется, оно работает.

Впрочем, затихает оно не всюду. У одного берега — штиль, у другого — шторм. У одного оно в свете солнца, у другого в нахмуренных тучах. Здесь — мерно передвигающее гальку, там — бьющее в скалы. Оно точит берега, подмывает горы, просеивает песок, изменяет карты и жизнь людей.

У моря, у синего моря
Со мною, ты рядом со мною...
И солнце светит, и для нас с тобой
Целый день поет прибой.

Прозрачное небо над нами,
И чайки кричат над волнами.
Кричат, что рядом будем мы всегда,
Словно небо и вода,—

гремит над всеми пляжами радио.

Говорят, что это японская песня о счастливой любви. Какая тут счастливая любовь? Неужели она такая беспокойная и малоприятная, как песня на этом пляже? А ведь она гремит всюду. И над улицами, и над санаториями, и над домами отдыха, и над одинокими «дикими» отдыхающими! Песня становится порой не песней. Как она, эта песня, попала и прижилась здесь — непонятно. Люди принесли ее сюда, завели, усилили мощными приемниками, разнесли по всему берегу.

Звучит песня? Звучит! Тихая, чуть грустная песня звучит сверхгромко, бодро, вовсе не грустно и беспокоит всех вокруг. Люди отдыхают — она гремит. Люди спят — она неистовствует. Люди думают — она и думать мешает. Зачем ее занесли сюда люди? Зачем?

Море как люди. И люди как море. В чем-то море сильнее людей, а в чем-то люди сильнее моря. Море ведет себя по-разному, как разные люди. Море приносит радость, и море приносит беды. Люди создают новые моря, а иногда они же, люди, губят старые, и все же люди становятся лучше рядом с морем. И море платит им добром и красотой, потому что оно — море! Оно вечно! Оно всю жизнь работает!

Отец возвращался в пять. Иногда раньше, но в пять — обязательно. Сегодня он не пришел и в шесть...

Таня оставила Тошку и побежала в санаторий.

Кабинет отца был заперт, сестра, знакомая Тане, Ольга Михайловна, сказала:

— А разве он не дома? Ушел давно. Может, он у главврача...

У главного врача сказали:

— Был. Ушел. Возможно, он у директора. Он собирался.

У директора:

— Заходил. С час назад заходил. Быстро ушел.

Сестра-хозяйка встретила Таню у бельевой:

— Я его на улице видела, минут двадцать назад. С рынка шел, с цветами...

Она вернулась, взяла Тошку и помчалась в гору. Тошка, чувствуя, что они встретят отца здесь, рвал поводок.

Они нашли отца там.

— Почему ты мне не сказал, пап?

Отец, кажется, смутился:

— Просто сегодня пять месяцев ровно. Вот я и пришел...

— А мне, почему же ты мне не сказал?..

— Зачем, Татьяна? Ты... Зачем тебе это?..

Они спускались втроем. Тошка уже не тянул поводок, а лишь посматривал изредка на хозяина, и сопел носом, обнюхивая тропинку, и тяжело дышал.

Облака повисли над горами, начинало смеркаться, и только над морем было солнечно и ясно. Вода серебрилась.

— А они часто гибнут? — вдруг спросила Таня.

— Кто?

— Геодезисты. Это очень опасно, да?

— Да, Татьяна, — сказал отец, — часто. Мама как-то говорила, что у них за год больше двадцати человек погибло. Но...

— Что «но», пап?

— Нужно это, Татьяна, понимаешь, нужно! Работа эта очень нужна! Понимаешь, очень!

Ночью Таня опять почти не спала. Думала. Это, наверно, плохо, что не спала. Это, наверно, нужно — думать...

А иногда и по ночам слышно море — оно плещется. Легко и таинственно плещется. Не шумит галькой, не грохает волнами, не бьется о берег, а плещется, будто ласкает этот берег. И понятно почему: ведь море — оно такое разное.

Море для каждого свое, и каждый видит его по-своему. Одно море вызывает у разных людей разное: радость, беспокойство, фантазию, грусть, воспоминания, отчаяние, мечту...

А в эту ночь оно еще и ленивое. Ленивое не по собственной лени, а потому, что таким его чувствуешь, потому, что тебя самого одолевает ленивое спокойствие и беспокойные мысли.

Каждый человек видит в море свое море. И это хорошо.

— Татьяна!

— Что, пап?

— А тебе не кажется, что ты скучаешь?

Таня скучает? Нет, кажется, она совсем не скучает. Они приехали сюда — это хорошо.

Ее поразило то, что случилось с мамой. Нет, она, конечно, не понимала этого — ни тогда в мае, когда пришла телеграмма и отец в тот же вечер вылетел на Кавказ, ни потом, когда он вернулся, ни еще потом — в июне, июле, августе...

Но тринадцать лет — тринадцать лет. В тринадцать ты уже не маленькая. В тринадцать ты еще и не большая. В тринадцать ты не поймешь, что будет в двадцать три, и в тридцать три, и в сорок три, и в пятьдесят три... И дальше — не поймешь, потому что до этого надо дожить.

— Что ты! — сказала Таня. — Почему я скучаю? И Тошка у нас, и школа...

Тошка действительно был. И школа была — новая школа, к которой не так скоро привыкнешь.

— Нет, я просто так, Татьян! Да и не мне, собственно, принадлежит инициатива. В общем, мальчик здесь есть один, сын нашего рентгенолога. Они тоже недавно сюда приехали, из Еревана, кажется. Говорят, скучает тоже. Ровесник твой почти — в восьмом классе. Мать его говорит: «Вот им познакомиться!» Ну, я и предложил тебе...

В теплые солнечные дни пляж был переполнен. Люди, уже почувствовавшие наступление осени, старались побольше влить в себя солнечного света, надышаться соленым воздухом так, чтобы хватило на всю зиму, и, конечно, побольше побыть с морем.

Море и в эти дни было разное.

Небо меняло цвета моря и облака, плывшие над ним. Горы меняли цвет моря и ветры. Но и не будь их — неба, солнца, облаков, гор, ветров, — море все равно не было бы одинаковым. На то оно и море.

На пляже работала женщина-художница. Не молодая, в шортах, с жилистыми, в синих прожилках, волосатыми ногами, и шляпе сомбреро на голове. Она выходила на пляж вчера, и толпа любопытных окружала ее. Она рисовала море какой-то чернильной краской, неприятно чернильной, хотя море было спокойное и синее и над ним светило солнце. Она вышла на пляж сегодня утром, и опять толпа купальщиков сгрудилась вокруг. Она рисовала море грязными оранжево-зелеными мазками, а море вместе с погодой хмурилось, и белело барашками, и накатывалось на пологий берег пенистыми волнами. Она вышла на пляж и сейчас, после обеда, когда людей почти не было. Море почернело, закиселило, забурлило, а на новом холсте у художницы появились бледно-голубые и желтые тона.

...После школы Таня всегда приходила на пляж. Вместе с Тошкой.

Тошка деловито колесил по гальке, обнюхивал каждый ка-

мушек, косился на шум прибоя, а потом, утомившись, ложился рядом с Таней и с мольбой поглядывал на нее: «Поведешь меня купаться или нет? Уж лучше бы ты сейчас одна. А я вечером, когда вернется он...»

Сейчас Тошка был растерян. Отца не было. А Таня пришла на пляж не одна — с Геворгом.

«Идти с этим человеком в воду или не идти?» — размышлял Тошка. Его смущало, что у человека гремит под боком музыка, чего никогда не было у хозяина. И потом то, что он чужой...

— А у нас в школе, по-моему, учителя хорошие, — говорила Таня. — Я, правда, мало их знаю, но мне нравится... Лучше, по-моему, когда сразу нравится в новой школе... А ребята как у вас?

— Что ребята! Подумаешь!

Он без конца крутил приемник. Из приемника вырывались звуки — ревущие, стонущие, какие-то вопли и крики под несуразную музыку.

— Все ерунда! Ничего интересного! А знаешь «Бродягу»? — вдруг спросил он. — Так это сейчас самый модный танец на Западе — «Бродяга-твист». Хочешь, покажу? Это — блеск!

Он встал в позу, взвизгнул, завилял голыми ногами и запел рублеными фразами на мотив твиста:

По д-ди-к-ким степям Э-забайкалья,
Гд-де золото роют в горах,
Бродяга, судьбу проклиная,
Тащился с сумой на плечах.

Бр-ро-дя-г-га к Байкалу под-д-хо-д-дит,
Рыб-бац-кую лодку бер-р-рет,
Унылую песню заводит,
Про родину что-то поет.

.
.

«Пойд-дем же, пойдсм же, сын-н-но-чек,
Пойд-дем же в курень наш родной.
Жена там по мужу скучает
И плачут детишки гурьбой...»
Эх! А-ай! Эх!

Таня не раз видела твисты. Видела красивые и всякие. И «Бродягу», грустную песню, слышала не раз. Такого она еще не видела и не слышала!

— Отлично, правда? — Он спросил довольный, запыхавшийся, упал на гальку. — Вот это модерн!

— А по-моему...

Они познакомились вчера. Вернее, их познакомили, Тане очень понравилась мать Геворга. А сейчас она не знала, о чем говорить. Вдруг вспомнила — художница.

— А правда, смешно она рисует? Ты видел?

— Гениально! — сказал Геворг. — Талант! Море видит — море рисует. Горы увидит — горы рисует. Все увидит — все нарисует! За все деньги получит!

— А мне не нравится, — призналась Таня. — Как рисует она, не нравится...

— Но это ты зря! Модерн, милая! Его надо понимать!

Над горами появились облака — сначала легкие и воздушные, затем серые, с рваными краями. И море сразу же изменило краски — стало темнеть.

Цепляясь за лесистые вершины гор, облака опускались все ниже и ниже, захватывали ущелья и лощины, превращались в тяжелые, непроглядные тучи. Только горы, казалось, сдерживали их сейчас, но и горы ничего не могли сделать: сизая пелена ползла от гор к морю.

Тучи шли от гор, опускались все ниже и ниже, к морю. Они, как бы нехотя, заволакивали воду дымкой — от берега и дальше, все дальше и дальше. Они ползли уже не только по склонам, где приютились домики верхних улиц, а и затянули туманом улицу нижнюю, главную. Водители включили фары и все чаще давали сигналы. И поезда шли сейчас, нервозно гудя, с зажженными фонарями.

Море темнело от берега. Тихое, вроде бы затаившееся, с гладкой поверхностью и чуть слышным прибоем, оно пошло то белыми, то черными пятнами, то непонятными разводами, как будто в него выбросили с воздуха другую воду.

Ожидание длилось час, не больше. В горах ударил гром, и хлынули потоки дождя, а море уже бесновалось. Оно заливало берег, билось о бетонную набережную, о лестницы и глыбы скал, оно гремело и вздрагивало, охало и восторгалось, плакало и ревело.

Небо над морем стало не серым и не черным, а каким-то неестественно бурым. Молнии разрезали небо то слева, то справа, то впереди, то сзади, то где-то над самым берегом. Море поглощало их, проглатывало вместе с бурым небом и ударами грома. Море теперь было сильнее грома.

— Ну что, действительно ничего мальчишка?

— Пап, но он же не мальчишка! Он даже старше меня — на целый год!

— Ну, не мальчишка, прости, мальчик.

— Ничего, — призналась Таня. — Только, знаешь, таскает всюду с собой этот транзистор. И крутит! Кому это нужно!

— Мода! Ничего не попишешь!

— А по-моему, это не мода, а глупость. Тошкин и тот не переносит этого его приемника... А когда твой Геворг твист на мотив «Бродяги» исполнял, Тошка даже завыл...

— Тошка у нас, Татьян, умница! — согласился отец. — Тошка вне конкуренции!

А к вечеру все стихло, и рыже-красная полоса неба повисла над горизонтом. Там село солнце, а чуть левее от него искусственно низко над морем повис нарождающийся месяц, такой же рыже-красный, с задраным кверху нижним краем, на котором, казалось, вот-вот появится черт из гоголевской «Ночи перед рождеством».

Тучи и облака изменили направление и полезли обратно — в горы. Сначала по пляжу — от воды вверх. Потом — по улице, по крышам домов и прибрежной зелени. Потом еще выше, цепляясь за верхушки деревьев, взбираясь по полянам и тропкам, скалам и ущельям, выше, выше и выше. Вершины гор задерживали тучи, но они упрямо вздымались вверх и ползли дальше, в глубь хребта, уходя от моря. А море освобождалось от тумана и туч. Море светлело, все больше светлело, несмотря на вечерний час.

По морю прошла бледная, увеличивающаяся к горизонту дорога, такая, что хоть плыви, хоть кати по ней! Вот бы и впрямь прокатиться! Где-то, совсем рядом с морем, не очень стройные женские и мужские голоса пели:

Куда ведешь, тропинка, милая,
Куда ведешь, куда зовешь?
Кого ждала, кого любила я,
Уж не воротишь, не вернешь.

Там за рекой, над тихой рощицей,
Где мы гуляли с ним вдвоем,
Плывет луна, любви помощница,
Напоминает мне о нем.

Жила девчонка я беспечная,
От счастья глупая была,
Моя подружка бессердечная
Мою любовь подстерегла...

Странно было слушать эту песню, когда рядом — пальмы, и необычная зелень, и горы, и море... Так же странно, как японскую:

У моря, у синего моря
Со мною, ты рядом со мною...

Для нее, для Тани, странно.

А море в эту пору завораживало. И особой красотой своей, и особо ласковым прибоем, и особой послегрозовой свежестью, когда запахи моря как бы смешались с запахами пресной дождевой воды, и смывшей пыль прибрежной зелени, и насытившихся влагой цветов, и горной хвои. Бурлили горные реки и речки, неся воду и запахи гор в море. Они неслись оттуда — с гор. Бежали по пляжам ручьи и ручейки, неся воду и запахи берега в море. И они неслись оттуда — с гор.

Оттуда — от мамы. И море принимало их распростертыми берегами все — большие и малые, чистые и мутные, шумные и тихие, — принимало со спокойной радостью. Ведь и реки, и ручьи, и дожди, как бы ни были они малы, поят море!

— Сегодня, Татьян, пойдем на станцию, — сказал отец. — Контейнер наш прибыл, с вещами...

Контейнер из Москвы отправляли друзья отца. Собрали, по его просьбе, только одежду, книги, мелочи — никакой мебели.

Весь вечер они разбирали вещи. Таня вешала на стены, клала на полки самое трудное.

Вот кора пробкового дерева. Чучело белки. Архангельская прялка. Шкура уссурийского тигра. Морской коралл.

Вот почти окаменевший с ракушками кусок мачты фрегата «Паллада», пролежавшего на морском дне сто лет. Якутский кинжал. Молдавская курительная трубка. Засушенный мох...

Вот гуцульская дудка. Игрушка из бивня мамонта. И фотографии. И старые карты. И выдававшая виды буссоль. И записные книжки, которые она и сейчас боялась открыть...

Вдруг Таня обернулась и увидела Тошку.

И отец увидел, раньше увидел, сказал:

— Смотри, Татьян...

Тошка достал из чемодана мамины тапочки. Те самые, которые он так любил грызть при маме. Те самые, за которые ему всегда попадало. Он отнес тапочки к Таниной раскладушке и лег рядом. Лег, положив морду на тапочки.

— Пап! — сказала Таня.

— Что, Татьян?

— А я теперь знаю, кем я буду! Обязательно буду!

— Кем, Татьян?

— Геодезистом!

К концу октября море совсем подошло к их дому. Теперь оно плескалось и бурлило, грохотало и работало галькой, блестело и чернело прямо под самым балконом. Погода все чаще хму-

рилась: дождило с грозами и ливнями, горы стояли в облачных шапках с утра до вечера и с вечера до утра.

По ночам море штормило. Оно билось о берег, билось с перерывами, словно собирая силы, чтобы сильнее ударить. И хитрило, замолкало на какую-то долю минуты, потом вздымало волну, и прокатывало ее по гальке прямо к бетонному основанию набережной, и ударяло по ней. Брызги летели на асфальт и прибрежную траву, на кусты олеандры и стены дома. Брызги летели на балкон и на стекла окон.

И когда казалось, что вот-вот море разыграется вовсю, сметет все, что стоит на его пути — и набережную эту, и дом, и деревья, и кустарники, — оно стихало, откатывалось назад, освобождая даже пляж с неестественно намытой стеной гальки, а потом вновь и вновь начинало бросаться на берег, и все повторялось опять. И так до утра. Может быть, потому, что утром при свете и большое страшное море становится чуть другим — проще, ласковее, живее.

И все-таки море было теплее берега, и днем люди продолжали купаться, проветриваться на ставшем совсем узким пляже, даже в дожди и, уж конечно, в короткие перерывы между ними, когда над морем появлялось солнце.

Море выбросило на берег мертвого лебедя. Черного, с длинным красным клювом, распластанными широкими крыльями. Волна била по телу и крыльям, болтала лебедя по гальке: вперед — назад, назад — вперед. И чуть влево. И опять влево. Все время влево по берегу. Лебедь, безжизненный лебедь, был удивительно красив и сейчас, мертвый.

— Геворг, — спросила Таня, — а ты боишься смерти?

— Что? — удивился Геворг. — Что это ты, милая! А чего ее бояться! Все там будем! Так отец говорит. Он прав! Подумаешь, смерть!

— Пойдем купаться, Геворг, — предложила Таня.

— А-а, неохота что-то!

— Почему неохота? Пойдем! Ты что, моря не любишь?

— Подумаешь! Что в нем, в этом море! Ничего особенного! Неохота!

Таня натянула на волосы резиновую шапочку и пошла к морю:

— Как хочешь...

Потом вдруг вернулась:

— А знаешь, Геворг, по-моему, смерти не боится только тот, кто ничего не хочет сделать... Для людей! Вот! А я пойду!

И она пошла в море.

Люди тянутся к морю, улучая каждую свободную минуту. Люди тянутся к морю, которое дольше всех сохраняет в себе тепло. Тянутся к морю, потому что оно, море, похоже на жизнь. А людям очень нужна она, жизнь!..

...Тошка, поджав хвост и виновато глядя на Таню, бегал по пляжу. Он был верен ей, Тане. Но он боялся огорчить ее, а море ревело, вело себя беспокойно, и Тошка не знал, как ему поступить, когда волна захлестывает пляж, когда она наконец уходит и потом вновь бросается к его ногам — с пеной, с шумом, больше того — с диким грохотом.

Таня была спокойна, и Тошка видел это. Таня была, кажется, молчалива, и Тошка тоже понимал это. Не понимал Тошка одного: почему с Таней этот кто-то, кто без конца пытается заглушить шум моря громом музыки?

Тошка привык к музыке, ко всякой музыке. Он слышал ее там, в прежнем доме, в Москве. Иногда Тане приходило в голову завести на полную мощность радио или магнитофон, и Тошка спокойно выносил это.

По праздникам радио гремело на улицах, куда его водили гулять, — на Парковых и Первомайской. И Тошка это выносил. Но здесь — музыка под мышкой. И какая-то громкая, хрипящая, крикливая музыка...

Тошка бегал по пляжу, косясь на море, на Таниного соседа и на музыку, хрипящую по соседству с ним. Почему-то эта музыка и сам ее хозяин казались Тошке чем-то одним, неприятным, и Тошке страшно хотелось возмутиться, и облаять их, и, может быть, даже искушать — не как-нибудь, шутя, а всерьез, ибо на то у Тошки и есть настоящие крепкие зубы...

Но он посматривал, все время посматривал на Таню и не решался, просто не мог поступить без ее совета так, как ему хотелось бы.

Тошка понимал, что он — собака. А собака не может и не должна делать то, что не позволяет человек...

Море выбрасывает на берег все, что ему не нужно. Лишнюю гальку и лишний песок. Умершие водоросли и погибшие раковины. Части разбитых кораблей и остатки убитых дельфинов. Палки, ради забавы брошенные мальчишками в воду, и корни деревьев, подмытые волнами. Безжизненные тела морских звезд и объединенные скелеты рыб.

Море выбрасывает на берег осенние листья. Осень пришла и сюда, и ветер, когда дул в сторону моря, бросал в воду опавшую листву; а море прибывало ее к берегу и выкидывало на пляж, на гальку, где листья опять подсыхали и шелестели, шуршали при каждом дуновении ветра или под ногами редких купающихся и загорающих...

Море выбросило на берег бутылку с засургученным горлышком. Может, Магеллан? Лаперуз? Беринг? Миклухо-Маклай? Колумб? Нансен? Седов? Наконец, Конрад и Купер — ведь американские космонавты всегда приземляются в море.

Отбили горлышко, вынули записку: «Любил, люблю и буду любить! Коля Оськин. Теплоход «Грузия». 23.06.53».

Где ты, чудак человек, Коля Оськин? Море посмеялось над тобой! Оно не любит таких шуток...

Море выбросило на берег бамбуковую трость. На ней выжженная горячими шашлычными шампурами надпись: «Люби меня, и я тебя полюблю. Буду верен до гроба! Мой адрес...».

Море не любит такой любви и такой верности. Оно выбросило бамбуковую трость на берег, предварительно стерев адрес. Дабы не ходили по нему наивные люди.

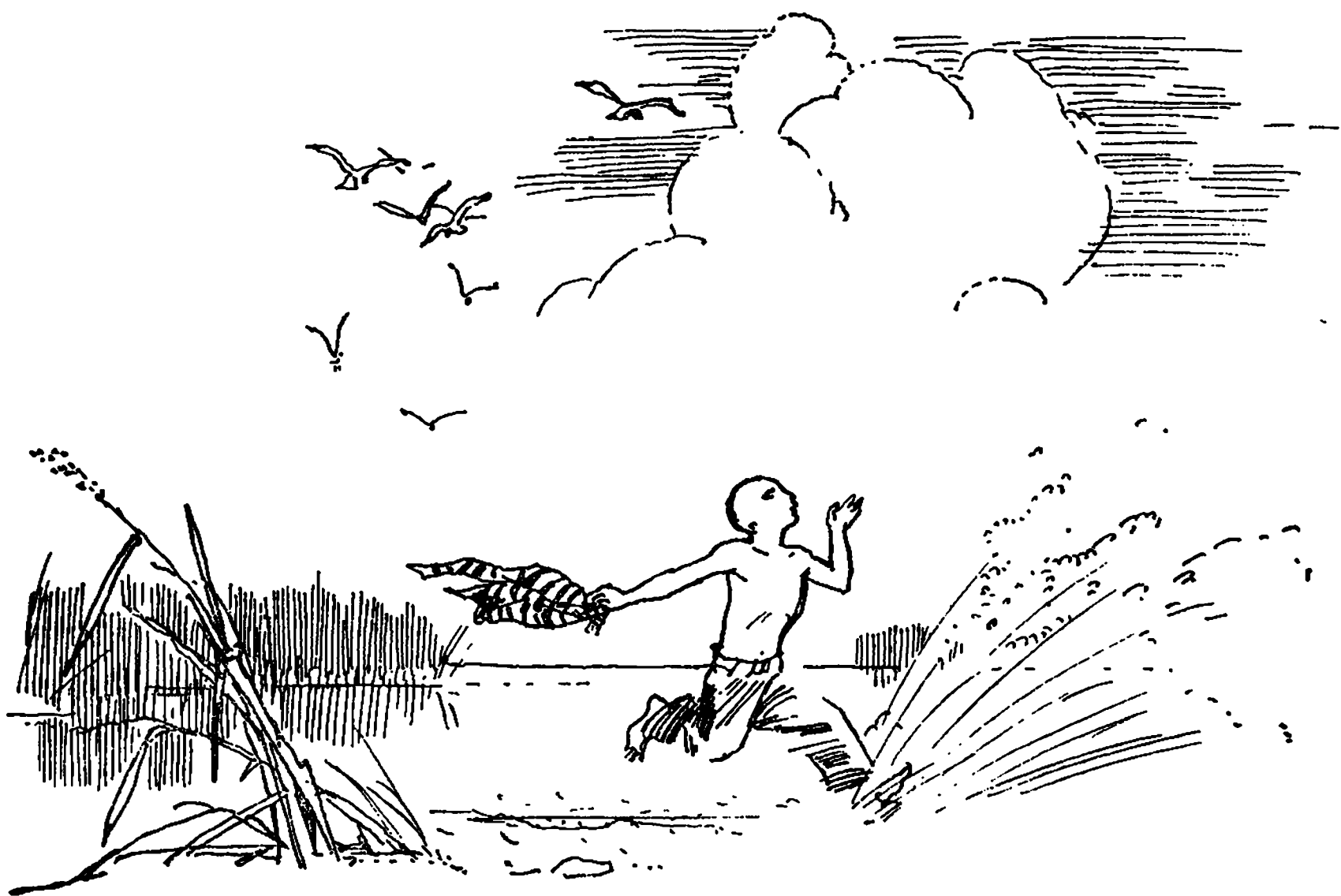
Море выбрасывает на берег все лишнее.

1966

ОЛЕСЬ ГОНЧАР

БРИГАНТИНА
Повесть





I

Мальчишка, настороженный, крутолобый, вошел и встал перед учителями, прикрывшись недоброй, натянутой усмешкой: «А ну, что вы мне сделаете?» В щелочках глаз — вызов, с губ не сходит все та же усмешка — напряженная, кривая и как бы забытая. Дерзость в ней, напускная веселось, бравада... А за всем этим угадывается затаенная боль, ранимость, нервное ожидание наихудшего. Откуда, из каких скитаний, из каких мытарств принес он свою предвзятость и эту упрямую затаенную неприязнь?

— Так это ты и есть Порфир Кульбака?

— Там написано.

Директор рассматривал бумаги.

— Школу бросил... Дома не ночевал.. Где же ты ночевал?

— А где ночь застанет.

— У нас надо говорить точно: где именно?

— Весна уже, можно переночевать и на берегу под лодкой... Или в клубе на чердаке...

— А днем?

По вдруг побледневшему от волнения лицу солнечным зайчиком промелькнуло что-то светлое.

— Днем рыбку удил.

— На какие же удочки?

— Думаете, что на гаки¹-самодеры гачил?²

— А то нет?

Дерзкая ухмылка в сторону, и ответ уклончивый, приправленный рыбацкой шуткой:

— Гачив, гачив — по тижню Дніпра не бачив...

Директор пристально вглядывался в новичка: вот еще одно дитя этого яростного века, безнадзорное дитя плавней и тальников днепровских... Нахохленное стоит, издерганное, а глазенки быстрые, смешливые — в них так и светится интеллект. Пусть неотшлифованный, невзнузданный, но явно же проблескивает, хлопца не причислишь к умственно отсталым. Буйного, неукротимого, видно, нрава хлопец... Руки в ссадинах, ботинки разбиты, новенькая синтетическая курточка уже разодрана на боку, клочок свисает, будто собака зубами выхватила... Где-то уже перенял вульгарную эту манеру разговаривать: растягивает слова, кривит рот... Стоит небрежно, вразвалочку, зыркает глазами по кабинету, украдкой поглядывает на учителей в предчувствии психологической дуэли. «Не боюсь вас. Остригли — подумаешь... А бить не имеете права!..» Вот такого вам передают. Нарушитель, может, даже маленький браконьер перед вами, — попадаются среди них закоренелые, ожесточенные. И поди угадай: как он проявит себя в новой для него среде? Юное, на вид даже жалкое существо, а каким оно порой умеет быть изобретательно-злым, бессердечным, жестоким! Наплакалась, видно, мать от него.

— Так, так. — Директор снова заглянул в бумаги. — Бродяжничал... Задержан в порту при попытке пробраться на океанское судно... Это к вам, в Нижнюю Камышанку, уже океанские заходят? — улыбнулся директор.

Мальчуган уловил иронию, ответил в тон:

— Сквозь камыши вряд ли пробьются... — И добавил: — Это я аж в том порту был, где морские курсанты свой парусник швартуют.

— А ты чего там очутился?

— На корабли смотрел, разве нельзя?

— Дальше куда-нибудь собирался путешествовать?

— Может, и собирался.

— Куда же, если не секрет?

— Ну, хотя бы на лиман...

— А на лимане что?

¹ Г а к — крюк, багор; орудие браконьера.

² Г а ч и т ь — багрить, хищнически истреблять рыбу.

— Как что? Там — жизнь! Право-воля! Птицы со всего света! Тучи там их на озерах и в камышах: веслом махнешь — солнца не видно.

Мальчуган переменился, преобразился на глазах, последние слова были произнесены прямо-таки вдохновенно.

— А после лимана... какие были намерения?

— Без намерений. Куда душа поκληчет... Галасвіта!

Учителя переглянулись, и самая старшая из них, полнолицая седая женщина, спросила:

— Это какой-то новый континент «Галасвіта»? Где он? Объясни, пожалуйста.

— А вы маму мою спросите... Чуть что — сразу: «А-а, галасвіта б ти пішов!..» Вот и пошел.

— Галасвіта — это, наверное, где-то на месте погибшей Атлантиды, — высказал предположение директор. — Только ты сбился с курса, в совсем иной гавани очутился...

— Я и от вас убегу! — выкрикнул мальчуган.

— Поймаем, — спокойно улыбнулся директор. — Один философ говорил: «Мир ловил меня, да не поймал», но то был, видимо, несовершенный мир. А наш сразу руку тебе на плечо: пойдем-ка с нами, товарищ Кульбака.

— Убегу! Убегу! Ничем не удержите!

В глазах директора, светившихся перед этим приветливостью, сразу похолодало.

— Только ты руки вынь из карманов, не то карманы зашьем. Да стань прямее. И в глаза мне смотри.

Нет еще в школе таких аппаратов, чтобы душу мальчишки насквозь просвечивать, вот и остается директору давний классический способ: по глазам читай, по их выражению улавливай да угадывай, чем он порадует вас, этот новый пришелец. Попадают сюда из школ, детских приемников самые буйные, бесшабашные, озорные, те, что двери с разгона открывают ногами, а руками крушат все, что только подвернется... Целые коллективы педагогов не могут порой управиться с таким одним... Чего-чего, а изобретательности, чтобы пронять учителей, этой публике хватает. Каким же будет этот? Нахохленный стоит, обиженный твоим замечанием. В глазенках затаилось что-то хищное, украдкой сторожат они каждый твой жест, выражение лица, изучают, прицениваются, на миг выказывают почти открытое презрение и опять куда-то убегают неуловимо. Крепкий подкинули орешек. Чувствуется, что есть у него уже свои представления о жизни: то, что для вас плохо, для него плохим не является, каждой самой дикой своей выходке он найдет оправдание, и совесть не будет мучить его, а вы в своих диссертациях можете разве что записывать: дисгармония поведения... деформация характера... повышенная агрессивность...

— Познакомимся поближе. Зовут меня Валерий Иванович, я директор школы. А это Ганна Остаповна Дудченко, завуч наш, заслуженная учительница республики.— Директор взглядом указал на седую располневшую женщину, которая только что расспрашивала о новом континенте... Она сидит у стола с чуть заметной улыбкой на спокойном лице, оплывшем, как тесто. Что человек думает о тебе — ничего на таком лице не прочитаешь...— А это Борис Саввич.— Директор кивнул в сторону юноши в морском кителе, с копной рыжих волос на голове.— Настоящий морской волк, на глубинах жил. Натренированный так, что может в крошечной тьме на ощупь пробоину заделать...

Мальчуган исподлобья, изучающе поглядывал на своего будущего наставника: здоровяк, плечи литые, лицо красное, щекастое — изрядную будку наел на флотских харчах! Воротник кителя едва сходится на мускулистой шее. И вправду, как морской волк: сидит насупленный, в разговор не вмешивается, директор в сравнении с ним хлопцу совсем не страшен! У директора вид какой-то девичий, интеллигентный, шея длинная, худая, руки с тонкими пальцами, которые все время забавляются то скрепкой, то галстуком, чувствуется вежливость в человеке, такой, конечно же, не станет хватать воспитанника за шиворот...

— Кроме Бориса Саввича,— продолжал директор, к которому после короткого «оледенения» снова вернулась спокойная приветливость,— будет у тебя воспитательница Марыся Павловна, она сейчас на уроке... Вот перед нею ты, хлопче, держись: страх не терпит разболтанных, недисциплинированных... Она-то наверняка растолкует тебе, что быть разгильдяем, хулиганить, бродяжничать — это совсем не геройство, разгильдяйство к добру не ведет, что настоящие герои — это такие, как мама твоя... Вот это человек! Мертвые пески возвращает к жизни, кучегурные наши Каракумы виноградниками покрыла, а ты? Матерью весь коллектив гордится, а сына к нам — в сопровождении милиционера: получайте, мол... Да не гнись ты, стань прямее и не хмурься, ведь мы тебе еще ничего плохого не сделали... Или сделали?

— Нет.

— Ни дурного, ни хорошего — ничего пока не успели, а ты уже на нас вот так, исподлобья, волчонком... Это, по-твоему, справедливо?

Молчит парнишка, нога сама собой хочет ковырнуть пол.

— Не знаешь, кто мы, какие мы, впервые нас видишь, а уже вот так, с недоверием, даже с враждебностью... А что таким отношением ты нас оскорбляешь — подумал об этом? Тебе приятно было бы почувствовать такое отношение к себе?

На миг стушевался мальчуган, словно что-то прикинул в уме, потом снова заслонился от взрослых своею недоверчивой, отчужденной усмешкой. Говорите-рассказывайте, мол, что хотите,

а меня одно заботит: как бы вот через ту вашу стену перемахнуть, что за окном белеет...

Когда Ганна Остаповна спросила, как учился, ответил без энтузиазма.

— С двоек на тройки перебивался... Были и пятерки, но это одна на двоих...— сострил он нехотя.

— Грести умеешь? — поинтересовался Борис Саввич.

Хлопец сразу оживился:

— Еще бы! На каюках все плавни обходил... И моторку могу завести, даже катер...— При этом лукавая улыбка в сторону.— Не дают, правда, развернуться... Разве что у кого «одолжишь».

— И часто «одалживал»?

Что им сказать?.. Могли бы и сами догадаться, что перед ними чародей! Ведь стоит ему только появиться на берегу, среди лодок, привязанных к осокам цепями, стоит только приблизиться к ним, как любой замок сразу, точно перед магом индийским, сам открывается! А если та лодчонка, тот каючок просмоленный да еще с моторчиком, так это же прямо красота! Дерг, дерг за веревочку, и каючок уже мчит тебя меж камышами, под вербами летит, аж нос задрал, аж подскакивает на воде...

— Если и случилось братъ, то ведь и на место пригонял,— пояснил в свое оправдание хлопец и вдруг с гримасой боли метнул на директора взгляд почти молящий: — Отпустите меня! Я ведь не вор... За что меня сюда?

— Школу бросал, бродяжничал — такой букет за тобой, а ты спрашиваешь,— нахмурился директор.— И сейчас все в школе, все учатся, а ты...

— Отпустите! — запричитал хлопец, будто ничего не слыша.— Мама пусть меня заберет! Или станция пусть возьмет на поруки!

— А ты потом опять за свое?

— Я поклясться могу!

— Если бы и захотели отпустить, уже не имеем права,— объяснила Ганна Остаповна.— Кто попал сюда, должен перетерпеть, должен искупить свою вину. Конечно, мама будет скучать по тебе, однако ей известно, где ты и зачем; как раз на нашу школу она возлагает, может, последнюю надежду. И ты нашей школы не бойся. Строгости у нас — это верно, только мы тебе зла не хотим, со временем привыкнешь, сам по справедливости оценишь свое поведение. Вдумайся: вокруг тебя — люди трудовые, честные, делом занятые, так могут ли они позволить тебе вот так петлять по жизни, бросить школу и где-то шалопайничать, чтобы мамино сердце от тоски по тебе разрывалось... Большой уже, в твоем возрасте пора задуматься о себе, о своих поступках. Сегодня ты подросток, а завтра взрослый. А каким ты идешь в свою взрослость? Таким ли тебя Родина ждет? Ты

же сын ее, понимаешь? Со временем, может, станешь таким, что и нас, воспитателей, во всех науках превзойдешь, а пока что...

— Пока что хвост изрядный за ним приволокся,— сказал директор, неторопливо листая личное дело Кульбаки.

— Что же там? — не сдержался хлопец. Ему наверняка казалось, что в тех бумагах облыжно приписаны ему разные преступления, обвиняют его, поди, во всех смертных грехах, может, что и рыбу крюками таскал, и лодки угонял, а может, и совхозного аиста ему приписывают, того, что убитым нашли как-то утром возле гаража. А Порфир сам о том аисте сколько горевал, места себе не находил, целый день тайком ревел в кучегурах...

— Нацепляли же они тебе «заслуг»,— улыбнулся директор, вчитываясь в бумаги личного дела.— «Дисгармония поведения... Труднейший характер... Исключительное упрямство, строптивость, непослушание...»

— Как под микроскопом тебя изучают,— сказала Ганна Остаповна, и от ее расплывшегося лица повеяло приветливостью.

— «Повышенная реактивность нервной системы,— продолжал читать директор,— чрезмерно обостренный инстинкт свободы... Склонность к фантазиям, вспышки агрессивности...» О-го-го, сколько всякого добра! А ты еще удивляешься, почему тебя направили к нам.

Борис Саввич, тот молчун в морском кителе, наконец тоже вмешался в разговор.

— Мы не бюрократы,— сказал он,— не из бумаг будем составлять мнение о тебе. Знаем: не все, что покорненькое,— то и образец. Не тихари да исусики наш идеал. В тихом омуте черти водятся — это давно известно... Однако и ты с нами брось хитрить, ты сам должен помочь нам в тебе разобраться...

— Как?

— Искренним будь. С этого начни. Выложи начистоту все, что там у тебя было, оно тут и умрет.

— Ничего у меня не было! — вскипел хлопец.— Выдумки все! Понацепляли, понавывдумывали.

— Мы и не говорим, что у тебя какое-то страшное преступление на совести,— успокоил его директор.— Ни в чем таком тебя не подозреваем. И поверь, что для твоей же пользы хотим найти с тобой общий язык...

В голосе директора была искренность, не ощущалось никакой фальши, однако расстояние между ним и Порфиром не уменьшалось, само положение правонарушителя отделяло мальчика от этого человека с его властью, выдержкой, с какою-то праздничной опрятностью во всем. Непривычным был этот вдумчивый тон, спокойствие лица, непривычны даже эти белые пальцы, что, словно забавляясь, время от времени трогают то тесемочку папки личного дела, то голубую ленту галстука на груди. Все как будто

хорошо, но не очень-то всему этому доверяй, потому что они, педагоги, коварны, умеют прикидываться, чтобы заманить тебя в капкан, укротить, приневолить. Никто не кричал, не грозил, не топал ногами, но и в этом Порфиру чужалось нечто коварное. Ибо разве можно без гнева и угроз с ним, с таким, которого под стражей сюда доставили?

— Будешь стараться, будешь добросовестным — никто тебя у нас не обидит, — обещала между тем Ганна Остаповна. — Разрешите себе с нами полную откровенность, будьте правдивым, постарайтесь душу освободить, и тебе сразу станет легче. И не грусти. Или тебя мучит что-то? Скажи прямо: что тебе у нас не нравится?

— А то, что школа у вас режимная.

— Верно, режимная, — подтвердил директор. — Ты себе хорошо представляешь, что это такое?

— Еще бы... Все время за каменной стеной! Никуда ни шагу без разрешения!

— А ты как хотел? — Теплота улетучилась из глаз Валерия Ивановича. — Прощтрафилсся — получай. Школа создана для правонарушителей, и мы своих правил не скрываем: существуют у нас ограничения, порядок более строгий, чем в обычной школе, которую, кстати, ты сам не захотел посещать... Существует у нас и наказание одиночеством... Так что нечего теперь пенять на наши правила, ограничения, на то, что вступаешь в режим полусвободы — так это у нас называется. Зато потом, став взрослыми, наши воспитанники только спасибо нам говорят: вон полный шкаф писем с благодарностями. В пропасть, мол, катился, а школа спасла...

— Свидания у вас разрешаются?

— Право на свидание надо заработать, — объяснил Борис Саввич. — И чуб разрешим. Но это нужно заслужить безупречным поведением.

— А за хулиганские выходки, — предупредил директор, — за одну лишь попытку совершить что-нибудь злонамеренное...

— Знаю! Карцер! — со злостью выкрикнул хлопец. — Так с этого и начинайте! Берите! Бросайте в карцер!

Все почувствовали в этой вспышке уже не браваду, а крик души, измученной, близкой к отчаянию. Попадают сюда порой и в таком состоянии, с ощущением затравленности, заброшенности, когда ребенку никого и видеть не хочется, когда и одиночество не пугает, — забиться бы в нору какую-нибудь, четырьмя стенами отгородиться от всех!

О маме спросили, любит ли он ее.

— Не знаю, — бросил хлопец в сердцах. — Наверное, нет.

— Ты хорошенько подумай, прежде чем такое говорить, — встревожилась Ганна Остаповна. — Даже если бы и трижды сказал, что не любишь, я бы и тогда тебе не поверила...

— Почему?

— Потому что это страшно. Ведь кто разучился маму любить, самого родного человека, тот уже, считай, пропащий.

— А я не такой? — криво усмехнулся хлопец.

— Ты не такой...

О его маме эти люди слышали много хорошего. Спросили, висит ли в Камышанке и сейчас ее портрет на доске Почета у Дворца культуры, среди тех, кем гордится научно-исследовательская станция. Потому что именно таким, как мама, станция и обязана своими успехами: даже иностранные делегации приезжают на мамин участок поглядеть, разузнать, как это у нее так получается, что там, где, кроме молочая, ничто не росло, где только ржавые снаряды да мины валялись меж раскаленных кучегур, теперь рядками зеленеют, выбрасывают листья винограды наикультурнейших сортов. Знатная гектарница! Труженица такого таланта, что у нее даже кучегурная Сахара меняет свой нрав, свой характер. Сколько посадит — все чубучата приживаются, и никакая их мильдия, никакая виноградная вошь не берет.

При воспоминании о матери душу Порфира залило теплом любви, признательности. Уже и эти люди, беседующие с ним и так уважительно отзывающиеся о маме, чем-то ближе ему становятся. На миг возникло желание полнее перед ними открыться, о маминой работе им больше рассказать, может, и к нему тогда они участливее отнесутся, пожалеют, а то и приголубят. Ведь хлопец чувствовал: интерес к его судьбе здесь не случаен, он глубже и деликатнее, нежели у тех, которые у пристанского буфета или на рыбалке лезут к тебе в душу с хамовитыми расспросами, чей ты да откуда, позабавь их собою, как игрушкой... И хоть сейчас душа мальчика, казалось, была открыта для ласки, для доброго слова, но как только Ганна Остаповна невольным вздохом обнаружила нечто похожее на жалость, только обмолвилась словом «полусиротство», как мальчишка сразу же насторожился, детская камышанская гордость так и наежилась всеми своими иголками, не принимая сочувствия, каким его могли здесь лишь унижить. Уж такой он есть, такой в кого-то пошел, что от малейшего, даже ласкового прикосновения невольно свертывается в клубок, как тот плавневый ежонок, тот серенький и колючий, что только тронь его рукой, как он мгновенно свернется, спрячется в самом себе — одни иглы-колючки во все стороны торчат! Однако и там, под колючками самолюбия, в душе камышанца приглушенно дышало его неукротимое упрямство, и гордость, и потаенное страстное желание — убежать, убежать...

Если интересовались матерью, то естественно было ждать, что сейчас спросят и об отце. Из всех возможных вопросов этот — самый мучительный, самый нестерпимый. И что сказать

им, когда спросят? Разве что крикнуть: «Ветром навеянный! Ничейный я, бесхозный!» Ничем не могли бы ранить хлопца больнее, чем расспросами об этом. Когда где-нибудь на пристани пьяница захожий станет вдруг допытываться, то такому типу можно и солгать, выдумать ему того батька, назвать, наконец, первого на ум пришедшего из совхозных механизаторов, — поди проверь... А этим не выдумаешь, перед этими только и можешь свернуться ежиком, со страхом и ненавистью ожидая неотвратимого их вопроса, который для мальчика будет как удар ножа... Вот когда и видеть бы вас не хотел, с разгона бы головой в окно да через ограду — в степь, в плавневое раздолье. С рыбами, с птицами, с ежами, даже с гадюками куда легче, чем с людьми! Те, по крайней мере, не доискиваются: кто ты? Чей? Есть у тебя батько или нету? Они живут сами по себе, а ты — сам по себе. Ждал мучительно, что вот-вот спросят, в озлобленной настороженности ждал, а они... так и не спросили.

Более того, директор снова заговорил о Порфировой маме, о том, как отмечали ее достижения на одном из совещаний, ведь речь шла о трудовой чести человека, а в связи с Порфиром учителя принялись рассуждать о безграничности и бескорыстии материнской любви, и хлопец, слушая, становился все более понурым, стриженная голова его словно тяжелела от слез, которыми медленно наливались, переполнялись глаза.

— Где-то там сейчас она думает о тебе, — сказала Ганна Остаповна. — У мамы ведь одно на уме: чтобы ты человеком стал. Человеком, понимаешь?

Мальчик не смог вымолвить ни слова. С искаженным горькой гримасой лицом, с перехваченным горячими спазмами горлом он только согласно кивнул стриженной своей головенкой: как же, мол, понимаю.

II

Ох, эта его Камышанка, достославная столица низового камышового царства! Не раз явится она хлопцу в снах и возникнет в его неумном воображении, колыхнется буйною красою прибрежных верб, их тяжелым текучим серебром над водами тихого камышанского затона... Испокон веку стоит Камышанка у самой воды, лицом к плавням, по окна в камышах, слушает музыку их шумов осенних, что ни на какие иные шумы не похожи, да кряканье птиц, гнездящихся в плавневых чащах, где сквозь заросли и каюком не пробьешься. Камышом тут издавна кроют хаты, из камыша хозяин ставит вокруг усадьбы плетень-ограду, камыш можно применять еще и как строительный материал — это забота камышитовых заводов, которых в последнее время расплодилось по всему гирлу множество. Камыши здесь

верно служат человеку: зимой дают камышанцам тепло, а летом лунными ночами колдовские свои шорохи, и если тут хотят похвалить девушку, то говорят: стройненькая, как камышиночка! А когда бранятся зло, то: чтоб тебя камышиной измерили! (Потому что мертвого приходилось мерять для гроба камышиной.) И даже археологи при раскопках курганов, разрыв их до основания, находят подстеленный под скифскими царями камыш, не истлевший за тысячелетия. Косят камышанцы камыш преимущественно зимой, когда вода замерзает, накосив, вяжут в тюки, а вывозят их уже по «сырой» воде, то есть свободной ото льда. Устремляются тогда из бурых плавневых джунглей к Камышанке целые флотилии черных, просмоленных челнов, и на каждом лежат поперек длинные снопы крепко связанного накошенного добра. Обычная коса камыш не возьмет, его косят специальными косами-полусерпами, и то нелегкая работа даже для мужчин, тем не менее и женщины не сторонятся этого труда — когда надо, идут жать плавневые заросли наравне с мужчинами.

Возводя хату, косила плавни и Оксана, дочка старого Кульбаки, хотя ей как матери-одиночке, пожалуй, выписали бы и шиферу, если бы она пошла к своему начальству с заявлением: ведь там, где она работает, в коллективе научно-исследовательской станции, молодую женщину не раз отмечали за ее самоотверженный труд. Просить шифер Оксана не пошла; хата под камышом тоже, мол, имеет свои преимущества: зимой вроде лучше удерживает тепло, а летом, наоборот, под такой кровлей прохлады, жара через камыш не пробьется.

Так это или не так, только еще одна хата под камышом с красивым гребнем появилась в Камышанке, и сторожит ее опечаленный Рекс, преданное существо, тяжело переживающее отсутствие юного хозяина. Когда сын Оксаны, этот, по ее же характеристике, «тиран и мучитель», очутился в спецшколе, Оксана сама не своя побежала в контору к главному начальству, к доктору наук:

— Возьмите на поруки!

Молодую мать выслушали терпеливо. Ей сочувствовали, однако напомнили при этом, что попал ее сын в строгое заведение с ее собственного согласия, по ходатайству родительского комитета и при содействии детской комнаты милиции, то есть по таким авторитетным представлениям, против которых не может пойти и сам доктор наук. Хотела Оксана тотчас же мчаться в грозную эту спецшколу, в Верхнюю Камышанку (это еще одна Камышанка!), но, как выяснилось, провести сына ей разрешат лишь через некоторое время, когда он пройдет карантин и своим поведением заслужит право на свидание с матерью. Так что Оксане оставалось только представлять себе ту страшную школу, обнесенную, может, даже колючей прово-

локой, а что каменной стеной, так уж наверняка, ведь когда-то там был монастырь, и по ночам, как повествует легенда, сторожа за изрядную плату подавали монахам через стену в мешках любовниц. Не столько молитвами себя там изнуряли чернорясники, сколько ночные оргии справляли, а теперь за ту стену детей бросают, ни за что будут держать там и ее единственного сыночка! Забыла уже, как сама всем жаловалась на него, и сельсовет просила, и лейтенанта из детской комнаты милиции, чтобы куда-нибудь отправили ее мучителя, а теперь вот, когда его пристроили наконец в этот правонарушительский интернат, мать места себе не находит. Сколько же за эти дни думала-передумала о своем баламуте. Станет среди песков, засмотрится на убегающее перекасти-поле, и даже оно, покотившись серым клубом, подпрыгивая по-мальчишески, причиняет ей боль. Такая нахлынет тоска, такое одиночество — кажется, разорвется душа!

С тех пор как солнце пригрело и повеяло весной, Оксана изо дня в день тут, среди этих сыпучих песков. Украинская Сахара! Двести тысяч гектаров мертвых песчаных арен, что хмуро тянутся по тем местам, где когда-то, может еще в доисторические времена, проходило русло прадавнего Днепра. Постепенно смещалось оно, передвигаясь на запад, земля ведь вертится и вертится, и реки наши тоже на это отзываются. В античные времена шумела лесами здесь Геродотова Гилея (об этом Оксана не слышала из лекций ученых), цветущий был край, а потом будто кочевые племена все вытоптали, леса уничтожили, и копанки, чумаками копанные, песком позаносило, осталось царство кучегур — движущихся песков, которых, казалось, человеку ничем не остановить. А вот теперь — и это ведь явь — на тысячи гектаров уже протянулись в кучегурах сады и виноградники, посадки сосен, тополей и белой акации. Не даром ест хлеб эта научно-исследовательская станция, что разрослась по соседству с совхозом, все дальше заходя в кучегуры своими производственными отделениями. Недаром и те, кто пишет диссертации, и разные перениматели опыта едут отовсюду поглядеть на труд здешних ученых, механизаторов и женщин-гектарниц, таких, как Оксана. Неужели зацепилось, прижилось? Неужели растет?

Нашествие движущихся песков человек все же смог тут остановить, и, оказывается, остановил он их... камышиной! Так по крайней мере отвечает Оксана, когда какие-нибудь уж слишком дотошные приезжие появляются у нее на делянке, где по разровненному бульдозерами песку вчерашних кучегур стоят ряд за рядом защитные снопы против ветра — камышовые ограждения! Вот под такой защитой и находится еще один отвоеванный гектар, где в это время на порядочной глубине как раз просыпаются к жизни виноградные чубуки, Оксанины питомцы. По норме должна вырастить пятьдесят тысяч виноградных саженцев, да еще саженцев особенных, закаленных, обезврежен-

ных, потому что здесь карантин, отсюда саженец должен выйти чистым, и таким он выйдет, ведь никакой вредитель, никакая нечисть не выдерживает летом этих раскаленных песков, их адских температур.

Приживления у Оксаны рекордные, в самый трудный, самый опасный год не дает она погибнуть чубучатам. Как мало кто, овладела она искусством оберегать и выращивать этих малышей, а вот со своим единственным сыном справиться так и не смогла, вынуждена была передать его воспитание в чьи-то руки. Узнает ли он ласку от них? Или за малейшее непослушание будут обижать, ущемлять его на каждом шагу? Ведь какой бы стоящий ни был учитель, а разве ж ему это дитя родное?

Как раз работала, расставляла камышовую ограду для защиты нынешних саженцев, за делом не сразу и заметила, как от автобуса направились к ней напрямки двое: рыжечубый коренастый моряк и девушка с решительным выражением лица, черненькая, в сером свитере, туго облегавшем ее ладную фигурку. Босиком шла, а модельные свои несла в руках, иначе потеряла бы в сыпучем песке. Как же удивилась Оксана, когда узнала, что перед нею учителя, те самые, что будут воспитателями ее сына, и прибыли они, чтобы познакомиться с матерью, узнать о том сорвиголове, так сказать, из первоисточника. Были это Борис Саввич и его коллега Марыся Павловна, по фамилии Ковальская. Прямо растрогали они мать-одиночку своим визитом! Мало того, что о сыне заботятся, еще и мать решили навестить.

— Так это вы, учителята,— рассматривала она их взволнованно.— А я подумала, не практиканты ли какие явились...

Зорким глазом заметила кольцо на правой руке у Бориса Саввича и сразу же сделала вывод: семейный, не холостяк, у которого только романы в голове,— значит, будет лучше присматривать за доверенными ему воспитанниками. К Марысе Павловне у работницы шевельнулось чувство немного даже ревнивое: такая девчушка должна сыну родную мать заменить?! Такой молодой и, наверное, неопытной передан ее Порфир на вышкол? Сумеет ли она его перевоспитать и что она ему привьет? Если ремня не слушался, то послушается ли ее, этой девчушки? Сама еще как десятиклассница, хотя теперь, бывает, и десятиклассницы иногда мамами становятся... И ревность и сомнения ворохнулись в душе. Однако Оксана ничем их не выдала, напротив, ей хотелось быть приветливой с этими людьми. Усадить, угостить... если бы это дома!

— Садитесь вот хоть здесь,— показала им на сваленные кучей камышовые снопы.

Весеннее солнце еще не жгло, оно лишь приятно пригревало живым теплом, и степь дышала привольно, ветерком обвеивая людей.

Учительница сказала:

— Вот здесь чувствуешь, что идешь сквозь воздух.

После этого и Оксана как-то по-другому ощутила на себе этот ласковый струящийся ветерок.

Примостившись на снопах камыша, молодые педагоги стали расспрашивать Оксану о сыне, об этом непутевом правонарушителе Кульбаке Порфире, и оказалось, что нисколько не хочет мать жаловаться на него, нет ему от родительницы ни осуждения, ни проклятий. О чем бы ни заходила речь, улыбка снисхождения промелькнет, искринки слез, пусть выстраданных, но всепрощающих, порой даже гордых, уже вспыхивают в материнских глазах. С душой ведь хлопец, такой он добрый бывает! Только весной запахнет — уже скворечники ставит на деревьях, а зимой целый день на речке лунки пробивает, чтобы рыба не задохнулась подо льдом.

Марыся Павловна, не отводя взгляда, наблюдала за молодой матерью, находя в ней сходство с сыном, — такая же лобастая, глаза серые, только большие (у того сорванца маленькие), шея высокая и худая, а при резком повороте головы жилы на ней напрягаются. В лице женщины какая-то измученность, мгновенные вспышки возбуждения сменяются вдруг — как это бывает у людей нервных — быстрым упадком настроения, подавленностью, — видно, что нервы издерганы до предела... Газовая косынка, однако, повязана по-девичьи, губы подкрашены — этого не забывает. И лицо, хоть и измучено, сохраняет все же привлекательность, во взгляде, сияющем, горячем, чувствуется внутренняя пылкость, затаенная страсть.

— Любовь слепа, это известно, — сказала учительница. — И хотя это трудно вам, мы все же просим вас рассказать о своем сыне по возможности объективно, ничего не скрывая.

А коллега ее добавил:

— Это пойдет ему на пользу.

— Он у меня и так не уголовный преступник!

— Мы и не говорим, что уголовный... Но ведь вы хотите, чтобы сын ваш вырос честным, мужественным... И мы тоже этого хотим.

И странное дело: с первого слова мать поверила им, почувствовала, что не должно быть у нее тайн от этих людей, которые отныне тоже несут ответственность за ее дитя.

— Извелась я с ним, изгоревалась, — призналась она. — Поглядите, какой стала, — показала на худые свои плечи, на жилистые руки, — а я ведь еще молодая. И всему причина — он, он... Нету дня спокойного, а настанет ночь — тогда еще больше тревоги: бегу после кино в клуб, ночных сторожей спрашиваю: может, видели? Мечусь по селу, плачу, разыскиваю: где оно, несчастное мое дитя? Может, купалось да утонуло, — не такой же он у меня плавак да моряк, как сам о себе наговорит...

«Утонул!» — словно бы шепчет мне кто-то. И уже вижу, как на рассвете вытаскивают его неводом, посиневшего, опутанного рыбацкими сетями... Станешь потом спрашивать, где был, а он тебе наплетет с три короба, насочиняет всякого, только слушай, потому что он же у меня как Гоголь, — и улыбнулась вымученно сквозь налитую солнцем слезу. — Фантазий у него всяких — видимо-невидимо... Может, и вы уже слышали, как дедуся ранило и как его Рекс вытащил с поля боя? Что дедусь ранен был, это правда, с одним легким с фронта вернулся, а вот что Рекс, так откуда бы ему там взяться на поле боя...

— Воображение активное, мы это заметили, — отозвалась Марыся Павловна.

— Поверите, иногда он у меня прямо золотой: «Мамо, не убивайтесь, не плачьте, я буду послушным, заживем дружно, и школу не буду пропускать, завтра меня пораньше разбудите». Выбсгая на работу, поставлю ему будильник под самое ухо, а он и будильник проспит, и до школы не дойдет — кого-то по дороге встретил, чем-то увлекся и уже обо всем на свете забыл! Где-то уже в плавнях его ищите, там ему всего милее, там ему право-воля!

— Волелюб! — впервые улыбнулась Марыся Павловна.

— Ему хорошо, а мне... Места не нахожу. Брошусь на розыски, поймаю, высеку, да только разве ж побоями воспитаешь?

— А дедуся он слушался? — спросил Борис Саввич.

— О, пока дедусь был жив, дружба у них была — не разлей вода! И на рыбалку вместе, и на виноградники, бывало, бежит, когда дедусь стал сторожем, — не раз там в шалаше ночевал. Примчится оттуда радостный, веселый, докладывает: «Мамо, я сегодня ничего не натворил!»

— А вы не пробовали его своей работой увлечь? — поинтересовалась учительница.

— Пробовала. Возьму его с собой, дам ему тяпку в руки, покрутится возле меня, а только отвернулась — ищи ветра в поле! Да для кого же я эти кучегуры засаживаю? — с жаром говорила она, как будто сын наяву вот тут возник перед нею. — Ведь для тебя прежде всего! Двести тысяч! Пустыня, Каракумы — такое тебе от капитализма осталось, а теперь гляди, что сделано! И для кого? Для кого эти кучегуры разравниваю, винограды закладываю, подкармливаю, сто раз поливаю? Пески, как огонь, даже самая живучая — филлоксера эта, извините, вошь корневая, — не выдерживает, гибнет, а саженец мой растет! Потому что с любовью выращиваю, для тебя стараюсь, а ты? Это такая маме благодарность от тебя? Да погляди, какая я уже стала истерзанная вся, нервы мои больше не выдерживают!.. Иногда растрогается: «Не волнуйтесь, мамо, не буду больше», бросится, успокаивает, готов руки-ноги тебе целовать.

«Смотри, говорю, сколько я этих кучегур окультурила, но ведь и на твою долю еще будет да будет! Готовься!» Он и не отказывается: а что, мол, выучусь, пойду в механизаторы, на плантажные плуги... А пока что наберет хлопцев и айда вон в те, еще не распаханые кучегуры... А там же на пустырях полнехонько снарядов да мин — могу ли я быть за него спокойной? Мы здесь, когда разравниваем кучегуры, то специально саперов всякий раз вызываем, без них нельзя: они идут впереди, а мы уже за ними — чубуки сажаем...

Точно эпос, слушала Марыся Павловна повествование работницы обо всех этих будничных битвах, что продолжаются тут годами. Ведь вот как не просто оживить, окультурировать считавшийся безнадежным пустынный этот край. Сначала нужно разровнять барханы, а потом засеять их житом в конце августа, а на следующую весну жито скосить, поднять плантаж, внести удобрения и еще раз засеять житом, а весной по нему уже сажают виноград с таким расчетом, чтобы, когда жито выбросит колосок, в это же время и виноград должен брызнуть листом, они как бы взаимно поддерживать будут, защищать друг друга... Оказывается, жито — одно из самых устойчивых растений на планете, жита боится даже осот, в этих условиях оно как раз и очищает землю, с жита тут все начинается... «Вот где властвует творческий дух человека, — невольно подумалось Марысе. — И эти люди, что целый край возвращают к жизни, они тоже — как жито...»

Не все из услышанного Марыся Павловна понимала, далека была ей вся эта виноградарская технология, но ясно для учительницы было одно: перед нею мастер, перед нею человек, который сумел оживить эти мертвые, бесплодные пески, что только и были начинены ржавым металлом войны. И хотя с сыном у этой женщины не совсем ладно, зато есть в ней иной талант: среди всех трудностей, среди раскаленных песков умеет выпестовать свой зелененький саженец!..

Борис Саввич оказался довольно компетентным в делах виноградарских, он с полуслова все схватывал. Марыся же Павловна чувствовала себя тут ученицей, наивной или, может, даже смешной, только о жите что-то и могла взять в толк, остальное же представляла себе довольно смутно. А она, гектарница... «Ох, если бы мы, педагоги, так умели растить детей, как эта женщина умеет выращивать свои саженцы!» Капризные, прихотливые, а ее слушаются. Даже из Алжира присылают ей сюда чубуки, и они здесь у нее проходят закалку. Самый страшный вредитель — филлоксера, ранее считавшаяся непобедимой, она тоже пропадает в этом огненном карантине. Ведь все лето здесь огонь, босою ногой в песок не ступишь, и лишь лоза виноградная каким-то чудом приживляется, откуда-то соки берет, развивается под Оксаниным присмотром. «Вот так, как мы

саженцы, так вы детей наших берегите», — могла бы эта молодая женщина сказать сейчас Марысе, и это было бы справедливо. Самое дорогое, что есть у нее в жизни, — сына единственного отдала она тебе на воспитание, а ты... Сумеешь ли? Оправдаешь ли материнские надежды?

— Не отдала бы вам его, — сказала задумчиво мать, — да только ведь школа стонет... И соседки просят: отдай да отдай, Оксана, его в интернат, не то и наших посводит с ума да с толку собьет. Он же тут для всех камышанских сорвиголов авторитет.

— Чем же он этот авторитет завоевал? — спросил воспитатель.

— А тем, что верный товарищ. Хоть ты его убей, не выдаст, скорее даже на себя вину возьмет... И меньшого ударить не даст, напротив, заступится за него. Если уж так, мол, руки чешутся кого-то ударить — бей меня, я крепче, выдержу. Сам он ничего не боится, просто бесстрашный какой-то! Наверное, в деда пошел...

Все время Марысю так и подмывало узнать еще одно — сокровеннейшее: от кого же дитя, из какой любви? И когда наконец отважилась спросить, то и это женщина восприняла естественно, даже не смутившись, видно, не было ей чего стыдиться в своем прошлом.

— Кое-кто считает, Оксана, мол, легкомысленная, она за свободную любовь, безбрачно с женатым сошлась. — Говоря это, женщина смотрела куда-то вдаль, словно обращалась к маревам, что уже срывались, струились чуть заметно у горизонта. Может, оттого и дитя у нее такое отчаянное, что ему, дескать, тоже только свободу дай... — Не отрицаю — безбрачное, беззагсовое, но ведь я же по любви сошлась! — воскликнула она тихо. — Не заглядывала ему в паспорт, на зарплату его не зарилась — полюбила, и все. Потом уже советовали, чтобы на алименты подавала, но я решила: нет, и так обойдусь. Гордость человеку дороже... Да и станция меня в обиду не даст. А когда-нибудь еще, может, и сам он меня найдет, хоть седую разыщет, чтобы посмотреть, какого же сына вырастила мать-одиночка от своей первой — да, наверное, и последней — любви...

Она словно и забыла, где сейчас ее сын и что именно послужило причиной этого разговора, ни жалоб, ни нареканий не было в ее повествовании, скорее, она просто исповедалась этому солнцу и просторам, отдалившись от людей взглядом, всматриваясь в марева, как в свои ушедшие лета.

III

Режим полусвободы — так у них называется эта собачья жизнь. И такой именно представляется она малому камышанцу. День твой и ночь расписаны тут по минутам: ложись, вставай,

бегом туда, бегом сюда, только со двора не смей ни шагу... Ворота железные, глухие. В будке — часовой безотлучно. В какую сторону ни разгонишься — камень тебя встретит, ограда такая, что ее и собаке не перескочить. И они хотят, чтобы Порфир привык к такой жизни! А ему и ночью вольные плавни видятся, манят, рыба при луне всплескивается, камыши шуршат...

Где-то там весна, птицы из теплых стран возвращаются, а ты безвылазно за этой глухой стеной. Самое тоскливое место на всем белом свете! Монастырь когда-то был, потом колония несовершеннолетних правонарушителей, теперь — школа. Только не просто школа, а с п е ц ш к о л а — этим «спец» многое сказано. Всевидающий цепкорукий режим — он тебе тут батко. Велят петь — пой, скажут за парту — не огрызайся. А как только старший кто на порог, сразу же вскакивай, вытягивайся в струнку:

— Воспитанник Порфир Кульбака изучает правила внутреннего распорядка!..

Под нулевку остригли. Здесь все стриженные — племя маленьких стриженных людей. Исключение составляют разве что некоторые старшие — те, кому за примерное поведение уже предоставлено право на чубы. Порфиру теперь долго ждать, пока чуб отрастет. А в таком виде и мама бы не узнала: обритый, как арестант, в карцере сидит. Не успел оглянуться, как уже в карцер водворили. За попытку побега, за то, что из душевой хотел через форточку на волю выпорхнуть, мечтал о воле, а попал прямо в руки товарищу Тритузному, начальнику службы режима. Страшной силы человек, хоть возраста и пенсионного. Даже не пытайся вырваться, когда он схватит тебя да словно клещами стиснет там, где пульс бьется. Начрежима еще в противоположном конце коридора шествует, а Порфир уже слышит его шаги, даже дыхание слышит, когда грозный страж заглядывает через глазок в карцер, то бишь в штрафную комнату, как они ее культурно величают. Потом задвижка бряк — дверь отворяется, — это товарищ Тритузный решил проведать героя неудачного побега.

— Ну, как ты тут? Еще не испарился?

— На месте я, — отзывается Кульбака с топчана.

— Только ты встань, когда старший входит.

— Не понимаю, зачем вставать? — поднимается хлопец нехотя. — Нашли ваньку-встаньку: как что, так и вскакивай...

— Так надо, друг. Солдат тоже не всякое начальство уважает, однако же честь отдает!

— Ну пусть вам будет честь... Тут только тянись... А ведь все знают: власть человека портит.

— Не портит, а только проявляет, так будет вернее... Хочешь узнать человека, дай ему полномочия, и он сразу покажет, каков он, чего стоит...

Затворив за собой тяжелую, цинком обитую дверь, Тритузный сначала прохаживается по комнате, молодцевато поводя плечами, а затем усаживается на топчане и, сбив фуражку набекрень, окидывает опытным глазом штрафную, проверяет, нет ли чего недозволенного. Стены исковыряны, в надписях, их оставили после себя неведомые предшественники Порфира. И сам камышанец тоже руку приложил, успел увековечить себя, пропахав гвоздем наискось по стене: «Хлопцы! Смерти нет!» Будто обращая таким образом к своим плавневым побратимам, подбадривая их на тот случай, если бы кому-нибудь из них довелось попасть сюда, за оцинкованную дверь, в преисподнюю тоски и одиночества.

Начальник режима сразу заметил свеженацарапанный Порфиров завет, с веселым прищуром глянул на хлопца:

— Веришь в бессмертие? Это уже хорошо. Во всяком случае, лучше, чем слезами полы поливать... Ну, а гвоздь?

— Какой гвоздь?

— Тот, которым стену пропахал... Выкладывай сюда. Давай, давай, не вынуждай меня лезть к тебе в карман — это унижительно для нас обоих.

Пришлось отдать.

— Забирайте, раз уж и гвоздя боитесь.

— Не боимся, а порядок. До тебя был тут один такой герой, что и гвоздь проглотил, только бы выпустили, — так уж ему той свободы хотелось. Ладно хоть без хирурга обошлось, сама природа помогла...

Ох, как понимает Порфир того неизвестного беднягу! Порой такое накатится, что на все решишься, только бы вырваться отсюда. Тут и черта проглотишь. Ничем другим их не проймешь! Ведь им, взрослым, все можно: и горилку дуют, и дерутся, и наговаривают друг на друга, а ты только школу пропустил, ночь дома не ночевал, и уже тебя за шиворот да в кутузку! В неволю! В камеру смертную!

Ну, впрочем, это уж слишком, Порфир, какая там смертная... Комната как комната, только дверь цинком обита и с глазком, чтобы часовому было куда заглядывать. Верный друг — топчан всегда к твоим услугам... Сейчас вот на нем сидит товарищ Тритузный и солидно, культурно с тобою беседует.

— Знаешь, в чем беда твоя, хлопче?

— А в чем?

— Ремня хорошего на тебя не было.

— Был.

— Сомневаюсь. Мне вот в твоём возрасте приходилось уже своим горбом на хлеб зарабатывать. То пастушонок, то погонный при волах, а там давай иди погребавинохранилища немцам-колонистам копать. Лопату в руки — и наравне со взрослыми целый день, аж глаза на лоб вылезают.

— Так то ж... в старое время!

— Конечно. Теперь иное, теперь вы с пеленок знаете свои права: подавай вам Артеки, гармониста штатного, увеселения всякие... А когда же к труду приучаться, если не смолоду? Поглядишь, сколько тех старшекласников — парубки уже, трасы могли бы строить, больницы, клубы, а они целое лето баклуши бьют... Такие трудрезервы и — на ветер!

— Так, по-вашему, каникул совсем не нужно?

— А зачем вам столько каникул? Чтобы больше дичали да шкодили? Отцы-матери день-деньской на работах, а эти только и знают Днепр, лодки, транзистор, карты... Или ватагами шляются, пока где-нибудь таки на свое не наскочат. Едем мы в прошлом году на Брылевку, а из кучегур наперерез девчонка выскакивает, кричит, перепуганная насмерть. Остановились: что такое? Оказалось, хлопцы снаряд нашли, и какому-то захотелось внутрь той игрушке заглянуть. Ну и заглянул... Еще мы его и в больницу отвозили, положили прямо хирургу на стол.

— Что с ним?

— Да что: инвалидом стал! И сказать бы, за дело, а то так, с дурной головы... Вот и ты: ничего над собой не признаешь, пошел и пошел по жизни наобум... А была бы, хлопче, на тебя крепкая рука, умела бы приструнить, не очутился бы ты сейчас вот здесь, не срамил бы мать перед людьми. Честная труженица, а из-за тебя, сопляка, ей приходится позор терпеть!

Напоминанием о матери Тритузный больше всего донимает Порфира: срамишь, позоришь... Пусть бы уж хоть в это не лез! Зудит, поучает, а у самого нос красный, голос хрипит — видать, не одну цистерну горилки вылакал за свою жизнь тот наставник... Раньше Тритузный будто бы служил егерем в охотничьем хозяйстве, есть такое неподалеку от Камышанки; на открытие сезона — все туда, бабахают, как ошалелые, птицу пугают, мечется в небе, несчастная, не знает, куда ей и деваться... Дым над камышами весь день стоит смердючий, аж тошно от него... Сколько, наверное, птицы перебил этот Тритузный: такой ни утке, ни утенку пощады не даст...

— А есть такой закон, чтобы аистов убивать? — внезапно спрашивает мальчик, глядя Тритузному прямо в глаза.

Начальник режима поглаживает жесткую щеточку усов. Ему и невдомек, откуда этот странный и прямо-таки сердитый вопрос. Он ведь не был свидетелем того, как нашли ранней весной огромную мертвую птицу возле совхозного гаража — в луже крови, с задубевшими крыльями... Такой ее люди увидели утром после ночных чьих-то забав. Все возмущались поступком неизвестного, шоферы грозились ребра поломать, если обнаружат птицеубийцу, а Порфир и в школу не пошел в тот день, ибо зачем ему и школа, если такие на свете есть... Кому она мешала, эта птица? Была такая доверчивая к людям, откуда-то из самой

Африки прилетела на этот совхозный гараж... Опустило аистово гнездо. Сколько помнит себя Порфир, все оно было, все торчало хворостом на гребне сарая, и длинноклювый хозяин спокойно стоял на одной ноге, стоял да выщелкивал, горделиво озираясь вокруг, никого не боясь... И вот — нету. На словах все за природу, все такие умные, а кто-то ведь все же руку поднял, кто-то — убил?! Возненавидеть такого можно на всю жизнь!

— Чего ж вы молчите?

Мальчуган, нахохлившись, ждал ответа, и Тритузный должен был пояснить, что закон защищает многих птиц, в том числе и аиста, на аиста руку никто не поднимет, ведь это полезная птица, она — друг человека... Это же тот, кто, по народным приметам, счастье приносит...

— Да только чего это ты ко мне со своим аистом?

Порфир молча смотрел в окно. Почему-то не стал он открываться, не рассказал, как была найдена у гаража птица в застывшей крови и как он по той птице горевал... Молчал, как ни хотелось ему выкричаться: «Маленьких только хватаете, а сами?.. От родных детей скрываетесь, аистов спьяна убиваете, вот такие вы... Жавороночков в степи гербицидами разве мало передушили? Даже в ту пору, когда они на яичках сидят... Где же им спрятаться от ваших ядохимикатов! Целитесь, конечно, по бурьянам, а чем оно защитится, то, что голенькое, беспомощное, съежилось в гнезде?.. Дохнуть на него боязно, а вы на него тучу яда!»

— Гербицидов целую баржу привезли, а про жаворонков никто не подумал... Бесхозные, да?

— Это у нас бывает,— нахмурившись, согласился Тритузный.— Сам видел после тех обработок: мертвые пчелы кучами валяются меж ульев... Да только ведь бывает и по-другому. Вот мне сын пишет с Каспия, он у меня нефтяник, в пустыне вместе с туркменами ставит буровые вышки. Зима у них тоже там выдалась лютая, даже море замерзло, миллионы птиц остались без корма. Пропали бы, если б не человек. И знаешь, как их выручали? С вертолетов разбрасывали подкормку! Целые авиаотряды работали на птиц, только это и спасло их от гибели.

— Ну, это по-человечески,— буркнул хлопец и, заинтересовавшись, стал подробнее расспрашивать о той вертолетной операции по спасению птиц. Хотел знать, какие птицы на Каспии водятся да верно ли, что и тут, в степях, прошлый год якобы один вертолет за обмерзлыми дрофами гонялся, только, конечно же, не с целью подкормки...

Тритузный этого подтвердить не мог, но он оказался неплохим птицеведом. Знает множество пернатых, уверяет, что приходилось ему видеть на своем веку даже черных жаворонков. И птичек, у которых не лапки, а копытца, птичка так и называется: копытник...

— А есть еще такие птички, что в прорубь под лед ныряют, ходят по дну речки, ищут добычу... Мудрость природы неисчерпаема...

Вот такое Порфир слушал бы хоть и до самой ночи! Сразу и неприязнь к этому человеку как бы пригасла, с кротким видом он присел напротив Тритузного, ловя каждое его слово о тех удивительных птицах, что и по дну речки ходят... Совсем как Порфир! Но на этом интереснейшем месте Тритузный, взглянув на часы, прервал свою речь и уже другим, деловым тоном обратился к узнику:

— Может, у тебя жалоба какая есть на наш надзирательский состав, так говори... Потому лучше тут выложить, чем потом бегать к прокурорше, когда сия дама приедет вашу братию опрашивать.

И объяснил, что те, кому надлежит осуществлять надзор, регулярно наезжают сюда, проверяют, не обижают ли здесь воспитанников, нет ли случаев рукоприкладства или еще чего...

Со стороны Порфира нареканий не было. Одно только, глубоко спрятанное в душе мучило мальчишку: за что я тут? Какое на мне преступление? И когда вы меня выпустите отсюда?

Двое суток могут держать Кульбаку в штрафной, больше не имеют права. Но ведь и за двое суток можно изойти тоской, позеленеть от скуки, одуреть можно, глядя в окно на клочок неба, что так и кричит своей яркой весенней голубизной: выходи, Порфир, махнем, погуляем!

Вырваться отсюда можно разве что в нужник, то бишь, простите, в туалет. Есть в том нужда или нет, а Порфир бежит! Ладно хоть пускают, сколько бы раз ни попросился. Выскочив во двор, хлопец иной раз юркнет совсем не в ту сторону, очутится аж за мастерскими, в глухом закутке, где лодки лежат просмоленные, лета ждут. Поупирались лбами в забор, да его не пробить! Хлопец туда-сюда глазами: где же тот якорек ржавый, что валялся между лодками прошлый раз? И гвоздь отобрали, и якоря нету, который мог бы вон как послужить тому, кто замышляет еще один отважный побег... Берешь якорек, швыряешь его через стену, он там зацепится за что-нибудь, а ты уже тогда по якорной цепи вверх, как обезьяна, как скалолаз,— ловите!

Кто-то догадался прибрать,— видно, и на расстоянии в этой школе читают Порфировы потаенные мысли!

День полон солнца, полон весны. Выпуклости лодок нагрелись, пахнут смолой. Самый этот дух смолистый не безразличен тому, кто вырос возле каюков рыбацких, душегубок, шаланд, на ком еще и сейчас под курточкой полосатенькая тельняшка, как у моряка,— мамин подарок. На некоторых лодках по днищу снаружи наложены ребристые полосы в виде полозьев, это

и есть полозья на тот случай, если река замерзнет. Вездеход — по воде ли, по льду — только шурх да шурх меж камышей... Догоняй!.. А тут...

Умогнулся Порфир на опрокинутой байде, на солнечном припеке, и задумался: моряк, а на такой суше, на такой мели очутился. Птицей, черным жаворонком каким-нибудь бы ему стать, чтобы только выпорхнуть отсюда. Ведь не чувствует он себя виноватым! В чем провинность его? Такой уж есть. Зимой еще ничего, а как весной повеет, тут уж хлопец ошалел, ничего с собой поделать не может: за парту его не загонишь, из дому выйдет, а до школы не доберется... Мама иногда самолично препровождала его в школу, даже, бывало, за партой на уроке сидела рядом с ним, да ведь каждый день так не насидишься, не насторожишь... Да и к чему это? Все равно же он не глупее других! Когда жив был дедусь, он понимал хлопца, заступался: пусть показает, мол, ты не очень, Оксана, на него нападай, без батяня растет, ему еще в жизни своего достанется...

Не было, пожалуй, лучше человека на свете, чем дедусь. Фронтовик, с одним легким в груди, с медалями в узелке... Жил у какой-то там вдовы в дальнем отделении совхоза, и хотя кое-кто посмеивался, что в таком возрасте, мол, старика в примачи потянуло, мама, однако, этих шуток не поддерживала... С дедусем у Порфира никогда не доходило до ссор, тем более ему сейчас за тот случай с велосипедом. Слоняясь однажды по совхозу, увидел: чей-то велосипед без дела скучает, притулившись у аптеки. Недолго думая Порфир схватил, оседлал его — и в степь! Накатался и близ лесополосы, за селом, бросил: не домой же его тащить. Возвращается после катания, а навстречу дедусь идет грустный, усталый — пешком возвращается к себе на участок. «Какой-то негодник велосипед угнал. На чужое добро позарился...» Ох, как совестно было Порфиру перед ним! Должен был бы сразу сознаться, побежать да побыстрее прикатить дедусю велосипед (и как он его не узнал у аптеки!..), но не признался, растерялся, сгорел... Лишь вечером, тайком, откатил тот несчастный велосипед на виноградники и тихонько поставил у шалаша... Только много времени спустя дедусю признался: на моей совести это... Все сложилось бы, наверное, иначе, если бы жив был дедусь... Надежная была защита. В честь дедуся и называли хлопца этим словно бы взрослым, будто и не теперешним именем — Порфирий, Порфир... Так и пошло: Порфир да Порфир... Или еще в шутку кинет кто-нибудь: «Эй ты, Оксаныч...» И никаких нежностей, никаких там тебе «Порфирко» или еще как.

Летом целыми днями мальчишка на реке, колбасится в воде, прыгает с деревьев, ныряет на глубоких местах без акваланга. И если кто, вроде в шутку, откусывает у курортников блесны под водой, так это ясно, Оксаныч. Подкрадется, леску на

зубы — хрусь! И поплыл с новехонькой японской блесной в зубах! Матери не до него, она свои кучегуры окультуривает, а он... Но он не обижается на мать. Сюда отдала? А что же ей с тобою, башибузуком, делать? Нечто даже похожее на жалость просыпается у него сейчас к маме, дома такое редко случалось с Порфиром. Сколько раз до отчаяния ее доводил, до крика, и слез: «Горе ты мое! Тиран ты мой вечный!» Видно, тогда на все была готова, а теперь, когда сбыла с рук, сама же где-то там и тоскует о нем, страдает.

Как же все-таки выбраться отсюда? Самые фантастические мысли Порфира вертятся вокруг этого. Хотя бы черная буря прошла, с пылью такой, чтобы эти стены с головой позаметала... Или между табуреток залезть, когда их из мастерской вывозят за ворота... Или... Или... Весь уже забор он глазами обшарил: нет ли где дыры, щели какой-нибудь, чтобы ящерицей проскользнуть... Нет трещины, крепко, окаянный, стоит. В одном месте, где стена чуть пониже, сами же воспитанники целой бригадой наращивают ее, работают, как заправские каменщики, собственными руками возводят свою неволю. Еще и вымпел алеет над ними, как мак полевой, — перевыполняют план! Развели известь, щетками драят ноздреватый ракушняк, чтобы белый был, как на праздник. Да вы ее хоть золотом покройте, а для Порфира эта стена так и останется стеной тоски и неволи!

С майдана пение доносится на разные голоса:

В нашей школе режим, ох, суровый,
Но пути наши — в светлую жизнь!..

Скоро и Порфиру придется вместе с ними петь. Или, может, другую затянет? Разве забыли они, что есть еще и такая: «Бежал бродяга с Сахалина звериной узкою тропой»?

Размечтался парень и не заметил, что за спиной кто-то. Оглянулся — дежурный с повязкой на рукаве. Синьор Помидор, как его тут прозвали, потому что щеки надуты и красны, и вправду как спелый помидор (наверное, одними тортами мамуся кормила). Этот, видно, о побеге не думает, к тому же толстяк, такого и подсади, так он через забор не перевалится. А вот перед новичком покуражиться горазд, напускает на себя важность, как индюк, и сразу — к Порфиру:

— Ты чего?

— А ты чего?

— Я дежурный по территории.

— А меня в туалет отпустили!

— Так ты спрятался и на солнышке загораешь?

— А тебе солнца жалко?

— Прекрати разговоры! На место марш, клоп карцерный...

Порфир так и подскочил, ощерясь.

— Ах ты ж, помидор раздавленный! — И по носу его — хрясь!

— Хулиган! Забияка! А ну стой! А ну к директору! — Синьор Помидор бросился к нарушителю, но не на такого напал, чтобы дался в руки. Камышанец крутнулся, увернулся и быстрее перекати-поля метнулся за мастерские, огибая гараж (получилась изрядная орбита), чтобы потом уже шмыгнуть к карантинному корпусу. И тут как раз заскрежетало зеленое железо ворот — они открывались! Первым инстинктивным желанием было одним прыжком туда, за ворота, однако весь проход загородил трактор: как раз въезжал он с той стороны, с воли, красный и запыленный, целясь в мальчонку фарами, слепыми от солнца. Только въехал, тяжелое железо ворот снова закрылось, со скрежетом замкнулось на замок, будто навсегда. По ту сторону — и ветер, и воля, и пылица, а по эту... Лучше и не говорить!

На тракторе ехали, повиснув гроздьями, хлопцы, все старше Порфира, с чубами, — эти, видно, прошли уже сквозь сито и решето. Достигли, что и чубы им позволяют носить, и одних, без сопровождения, отпускают с территории для весенних работ на школьных гектарах. В отличном настроении, загорелые, улыбающиеся, — что значит волею подышать! Чутьочку даже рисуясь, всем показывают себя: поглядите, мол, какие мы орлы, какие мы трудяги в этих своих разлохмаченных, аж серых от пылицы чубах, в которых еще и полевого ветра полно!

Трактор, фыркая жаром, остановился неподалеку от Порфира. Хлопец почувствовал себя совсем крохотным перед этой железной машиной. И хотя и остерегался, что вот-вот нагрянет Синьор Помидор, поднимет гвалт, однако не мог не задержаться, глаз не в силах был отвести от этих чубатых весельчаков на тракторе.

— Чего тебе, малышок? — обратился один из них к Порфиру совсем незлобиво. — К маме хочешь?

А другой добавил:

— Это какой-то новый чижик.

Потому что для них все тут чижики, кто меньше их, только и разницы, что тот чижик черненький, а тот рыженький, а Порфира, наверное, чижиком сереньким прозовут... Соскакивая на землю, хлопцы продолжали забавляться новичком, один попытался дать Порфиру щелчок по носу и действительно назвал его чижиком сереньким, за русость волос, другой — рослый паренек с темным, уже высеявшимся на верхней губе маком — хотел знать, почему такой грустный этот малыш.

— Волюшки захотел, верно?

Как угадал! И в самом же деле захотел, ни на мгновение хотеть не переставал!

Самым добрым оказался тот, что все еще сидел с засучен-

ными рукавами на тракторе, словно бы не хотел расставаться с рулем.

Он сам предложил Порфиру:

— Хочешь за руль подержаться? Иди...

Но только Порфир рванулся к рулю, как вынужден был мигом менять паруса: от мастерских накатывался шум, грозно вышагивал оттуда начальник режима Тритузный в сопровождении Синьора Помидора, который на ходу, бурно жестикулируя, видно, докладывал ему о своем расквашенном носе. В такой ситуации Порфиру ничего не оставалось, как обратиться в позорное бегство, мигом юркнуть в карантинную, чтобы накрепко отгородиться от всех оцинкованной дверью своего карцерного убежища.

Упал на топчан, сжал кулаки, аж дерево зубами ему захотелось грызть. «Убегу, убегу! Сто раз буду бежать, а все же сбегу!»

IV

Плакал, уткнувшись лицом в ладони, чтобы никто не видел этих слез: казалось, сквозь тот глазок в двери все время кто-то неотрывно смотрит на тебя злым, караулящим оком.

Начальник режима вскоре заглянул в штрафную, но, убедившись, что грешник на месте, не стал трогать его, закрыл тяжелую дверь, слышно было, как задвигает ее на засов.

После этого стало еще тоскливее. Настроение такой заброшенности охватило хлопца, чувство такого одиночества накатило, будто на всем свете теперь он один, никому не нужный, всеми забытый. Кара одиночеством — знают, чем карать! Мама не приходит и, может, никогда и не появится тут, выйдет замуж и уедет куда-нибудь на целинные земли, даже адреса не оставит. И друзья камышанские никак не соберутся проведать: видно, родители их не пускают. «Зачем он вам нужен, тот разбойник. Десятой дорогой обходите его, по нему уже Колыма плачет!..» Был бы жив дедусь, он, конечно, проведаль бы, он бы эти стены по камешку разнес, не бросил бы своего любимого внука погибать в одиночестве!

Есть еще один человек на свете, который мог бы выручить Порфира: дядя Иван, мамин брат, рыбинспектор. Не раз в минуты беды ласково ложилась на голову Порфира шершавая дядина рука. Иногда по нескольку дней гостил он у дяди Ивана, там научился и мотор на лодке заводить, сам это делал, когда руки Кульбаки-старшего были еще в бинтах, изувеченные браконьерскими веслами.

Дядько Иван, наверное, еще ничего не знает о переменах в Порфириной судьбе, иначе был бы здесь — он из тех людей, что

не отрекаются от своих. А может, все же и на лиман долетел слух о Порфире? Пусть только долетит, судьба Порфира изменится сразу, на сто восемьдесят градусов повернет... Будет так: дядько Иван появляется во дворе, смуглый, как мексиканец, веселый его глаз стреляет по двору, ищет Порфира и там, где маршируют, ищет и возле трактора, среди хлопцев, только что прибывших из степи, запыленных, бравых, таких, что и ветер воли запутался в их растрепанных чубах... «А где же Порфир? Неужели вы его под замком держите? Немедленно хлопца сюда! Отдайте мне его на поруки, вот вам расписка, он ведь огонь-хлопец, именно такой мне и нужен помощник!»

Жизнь у рыбинспекторов полна отваги и риска; пусть ночь темным-темна, а ты не спи, отправляйся на дежурство, не отступай и тогда, когда пытаются веслом тебе голову размозжить, выбить из рук электрический фонарик, который ты на них, гадов, наводишь... Порфира ничто бы не испугало, без колебаний пошел бы дядьку Ивану в подручные, если бы только тот согласился его взять. Потому что хотя Тритузный и подозревает в Порфире чуть ли не сообщника браконьеров (именно такие, мол, малолетки бегают им за водкой да стоят на часах, когда незаконный лов идет), но что касается Кульбаки, то все это одни выдумки и предположения. Наоборот, когда он вырастет, то как раз и встанет на страже гирла и лимана, будет защитником птиц и рыб, а тем жлобам и рыбохватам с острогами и гаками-самодерами, тем, что прямо безумеют, когда рыбец идет мимо них во время нереста, он скажет: «Объявляю вам бой без примирения! Пока будете вы, до тех пор и воевать буду с вами. Воевать днем и ночью, на всех берегах, на всех водах гирла и лимана! И пощады от меня не ждите — пощады не будет, объявляется вам от меня вечная война!» Потому что, кроме всего, с браконьерами у Кульбаки еще свои счета...

Мечты мечтами, а пока что топчан да недремлющая дырочка в дверях и высоко под потолком единственное окно, хоть и довольно большое (надлежащую норму солнца здесь даже карцерник должен получать, таков закон). Иногда птишка прилетает, садится против окна на веточку дерева весеннего, еще голого. Покачиваясь, чирикает Порфиру, счастливая, от апрельского солнца хмельная. Кажется, карасик. Водится в плавнях такая птишка, чуть побольше воробья, любит жить в камышах. Связывает четыре-пять камышин, делает над водой подвесное гнездышко, вроде гамака, и качается в нем целое лето да детей выхаживает.

Чириканье птичье навевает Порфиру что-то весеннее, чувство покинутости сменяется надеждами, снова полонит мальчика все та же неотступная мысль о побеге, с новой силой пробуждается в нем неумное душевное озорство, уносящее его в плавни, на лиманы, на простор, где воля вольная, где ты как бог. И никакой

ваш карцер, никакие Тритузные да Синьоры Помидоры не обуздают его, надежда живет, теплится под пеплом неудач! Нелегко отсюда убежать, да все же нет на свете ничего невозможного,— смерти, хлопцы, нет и не будет! Пусть поймали, запихнули сюда, пусть и тут постигла неудача, а когда-нибудь все же и повезет! Нужно лишь мозгами пошевелить, какую-нибудь хитрость придумать. Было ведь однажды, когда в прошлом году грузили кавуны с причала на баржи, «заплутался» и Кульбака среди кавунов... Очутившись на одной из тех нагруженных лейб, спрятался, затаился между горами полосатых мелитопольских кавунов, еще теплых после степного солнца. Вот это было плаванье! Вот уж где право-воля! (Излюбленное мамино словечко, оно и к Порфиру перешло.) Вверх, против течения, медленно идет широкая баржа, проплывают берега в серебристых вербах и незнакомые пристани-причалы, люд речной снует, ребяшня купается, откуда-то из протоки сено правят челном — целый стожок плывет... Заготовители, сопровождавшие баржу, вели роскошную жизнь: разлегшись среди палубы, играли в подкидного на кавунах, потом ужинали, песни пели... А когда встречные суда запрашивали их, откуда,— откликались на весь Днепр хорошо известной здесь шуткой-присказкой:

— Из Камышанки, с казацкой, с веселой стороны!

И так это зычно звучало, раскатисто, по всему плесу эхо разносилось...

Плыл и плыл с ними до самых шлюзов маленький беглец, и только когда шлюзовались, обнаружен был между кавунами бесплатный пассажир; речная милиция со смехом сняла с баржи любителя приключений, этого необычного арбузного «зайца»...

Аж улыбнулась душа, вспомнив всю эту историю. Повеселел сразу Порфир. И никакого уже чуда не было в том, что вскоре и сам карцер снялся с якоря, совсем ощутимо поплыл куда-то вместе со своими исцарапанными стенами: точно летучий корабль, летит он уже среди вольности, под голубизной весны, на крыльях безудержного детского воображения. И никто не остановит этот корабль, никаких стен для него нет, все он раздвинет, пробьет, устремляясь к тому «світу-галасвіту», где такие красивые воды сияют, птицы гогочут и вольно покачивается под солнцем камыш, вылинявший после зимы, по-весеннему бурый, русый, как ты.

V

— Это, дети, планета.— Рука учительницы ложится на глобус.— Наша красавица планета... Во-первых, она круглая...

— Как кавун?

— Примерно...

— А хвостик есть?

— При чем тут хвостик!..

— Ну, у кавуна же хвостик!..

Карантинники, пригнувшись к партам, еле сдерживают смех, исподлобья поглядывая на учительницу: не обидится ли? Нет, не обиделась. Даже улыбнулась их Марыся Павловна.

— Ох, Кульбака... Ох, мудрец ты у нас... Хвостиком от планеты интересуешься, а спроси у тебя, где живешь, где твое место на этой планете, навряд ли сумеешь на глобусе показать.

— Где живу, я и без глобуса знаю... Только отпустите — с завязанными глазами домой попаду.

— Камышанка ему всего милее, — смеется с передней парты Карнаух. — Столица!

— А то нет? Камыши у нас, пожалуй, самые высокие на планете... За лето выгонят как бамбук!.. Сядешь раненько где-нибудь под камышом, вода еще розовая, тихая, а рыба клюет, клюет...

— А ну расскажи, расскажи про сома, — подзуживают хлопцы, — который чуть с берега тебя не уволок!.. Что на подсолнуховые лепестки ловится!..

— А ведь это и вправду было, — говорит Порфир. — Килограммов на сто бюрократа подцепил! Я его сюда, а он меня туда, я его вот так, а он по мне хвостом ка-ак даст!..

— Хватит, хватит, — прерывает его восторг Марыся Павловна, — знаем твои подвиги...

И дальше ведет урок. На столе перед нею лежит развернутая, так называемая сигнальная тетрадь, куда попадают все твои грехи, ни единого Марыся не упустит. Невысокая, ладная, проворная, в свитере, туго облегающем грудь, она похожа на студентку, одну из тех, что время от времени приезжают к этим трудным спецшколярчатам попрактиковаться на их грешных стриженных душах. Марыся, отличная спортсменка, часто после уроков остается на тренировку по художественной гимнастике, когда спортзал свободен; натренированность чувствуется в ее движениях, в энергичной упругой походке, за что, наверное, ее и прозвали «Видзигорна»¹. Внимательная, дотошная, резво постукивает по классу в своих модельных на высоких каблучках, или, как она говорит, «на общасах», поглядывает и туда, и сюда, никто не ускользнет от ее глаза. И чем могла ее привлечь эта школа, которая, кажется, должна бы только отпугивать таких, как Марыся? Ведь рядом с малышкой тут тебе встретится и олух на две головы выше учительницы, который уже знает на свете все, кроме таблицы умножения... Один курит тайком, другой о побеге вынашивает думы. Она его в музкружок, чтобы

¹ В и д з и г о р н а (польск.) — франтоватая.

на трубе играть учился, а он ей: я получше музыку знаю... умею играть на всех дверных замках!

Зачем ей все это? Устроилась бы в городе или, по крайней мере, в поселке ГЭС, где у нее как будто бы жених есть — лейтенант милиции Степашко, он-то как раз и отвечает за несовершеннолетних, по пристаням да причалам охотится за такими, как эти ангелочки. Учтивый, культурный, однако если ты в чем-то набедокурил, не в ту сторону загляделся, карманы перепутал, где свой, где чужой, он тебя сразу за ушко да на солнышко — в детскую комнату милиции для более близкого знакомства...

Вскружила лейтенанту голову Марыся. Чем-то взяла. Вроде бы и ничего особенного в ней, не звезда мирового экрана, зато с характером, о ней и другие учителя в шутку говорят: «В маленьком теле — великий дух».

Но с такими, как Кульбака, и этот дух не всегда сладит. Вот уж артист! Сейчас — такой, а через минуту уже иной, не знаешь, что отколет, какой номер выкинет. Как на живую загадку, поглядывает на него Марыся, когда он, улегшись подбородком на руки, точно юный сфинкс, светит на учительницу своею лукаво-изучающей улыбкой. Какое-то выжидание, настороженность в той улыбке, порой ирония, почти насмешка. Не по себе становится учительнице от этого детского неразгаданного взгляда, в котором переливается множество оттенков и значений, улавливаясь в нем затаенное недоверие и заинтересованность тобой, ирония сменяется чем-то похожим на приязнь, которая, однако, мгновенно может обернуться неожиданной издевкой, дерзостью. Ведешь урок и вдруг слышишь, как где-то под партой начинает жалобно скулить словно бы кем-то подброшенный в класс щенок.

— Кульбака, это ты?

Вскакивает, вытягивается, взгляд святой, невинный:

— Слушаю вас, Марыся Павловна!

— Прекрати свои фокусы.

— Да это же не я...

Он нарочито крепко сжимает губы, а щенок продолжает скулить.

— Кульбака, перестань.

Мальчишка показывает на губы: смотрите, мол, это не из моих уст, а визг продолжается, где-то он там живет в нем, в утробе, просится на волю. Как будто Рекс, заскучав о своем хозяине, нашел щелку и подает им сюда, в класс, свой жалобный голос. Ребятам, конечно, потеха, класс сотрясается от хохота! Ну и дает этот Кульбака, вот артист! А ей...

Иногда же хлопец после своих проказ становится совсем серьезным, задумывается о чем-то, учительнице, наверное, кажется, что он сейчас в своих камышанских камышах, самых

высоких на планете, а Кульбака вдруг спрашивает ни с того ни с сего:

— Правда ли, что человек в Хиросиме испарился? Что только тень от него осталась на том камне, где его взрыв застал?

Вздыхнет Марыся Павловна. Ибо что же тут отвечать, когда он и сам уже откуда-то знает про ту хиросимскую тень...

Иногда, переступив через собственное самолюбие, Марыся Павловна просится на урок к Ганне Остаповне, чтобы поучиться, как она, опытная, заслуженная, умирляет этих неусмиримых. У Ганны Остаповны как-то оно так получается, что хотя голоса и не повышает, строгости на себя не напускает, однако на уроках у нее щенята под партой не скулят. Взглянет на камышанца и велит ровным голосом:

— Кульбака, прочитай стихотворение.

Он и на нее — таким смиренником, святошей, только что в душу не влезет.

— Ганна Остаповна, какое стихотворение?

— Как какое? «Мені трина́дцятий минало...» Кажется, как раз твой возраст?

— Кульбака нам говорил, — роняет Карнаух, — что он еще и при мамонтах жил... Такой, как сейчас, уже и тогда он был... Я, говорит, вечный...

— Ладно, — соглашается Ганна Остаповна. — Вечный, безвозрастный ты, стоишь над рекой Времени... А стихотворение все же прочитай.

— Я... я... не выучил.

— Почему? — допытывается Ганна Остаповна почти ласково. — Объясни.

С трудом дается ответ:

— Не смог.

— Не успел? Весь вечер в шашки с Карнаухом играл и для задания времени не осталось?

— Не дается мне... Не могу...

— Быстрицкий вот выучил. И Петров... И Смаленый, и Палагута... Другие могут, а ты? Ты не такой, как они?

— А разве такой? — Во взгляде вдруг мелькает что-то озорное, дерзкое.

— О нет, ты у нас особенный. Исключительный. Меченый. Татуировка вон на руке (татуированная ручонка мгновенно исчезает под партой). Хотя накалывать себя — это не наилучший способ утвердить свою личность... Так вот, хоть и приметный и исключительный ты, Порфир, однако запомни: есть вещи, коими не зазорно быть похожими на других...

— Какими же?

— Трудолюбием. Честностью. Прилежанием. У тебя ведь мать какая труженица! У нее виноград на таких пустырях растет, на каких ни у кого не рос...

— Порфир говорит,— снова информирует Карнаух,— что мама его может даже хлебное дерево в кучегурах вырастить... Из зернышка... Выдумывает, наверно? Разве хлебное дерево у нас выдержит?

— У такой, как его мама, и хлебное дерево вырастет,— с уважением говорит Ганна Остаповна.— А ты вот, сын ее, тот, кому предстоит в жизни опорой матери стать, защитой...

— Подождите,— говорит Порфир и, тяжело вздохнув, делает отчаянную попытку вытащить из себя: — «Мені трина́дцятий минало, я пас ягнята за селом...» Гм... ы... э...

— Забуксовало,— слышится с задних парт.— Осечка.

Кульбака озирается, доискивается, кто же это задирает? Кажется, Быстрицкий? Дотянуться бы до него через парту да...

— Дальше, дальше читай.

— Они мешают.

— Не мешайте ему. Ну, смелее...

— «Я пас ягнята...» ы... э... э...

И, видно, заело, заклинило уже окончательно.

— Разбежались ягнята, нет их,— опять подбрасывает кто-то, и все раздражаются смехом, а охотнее всех бросается в водоворот веселья сам Порфир, его так и раскачивает от приступов хохота.

— Чего тебе-то смеяться? — В голосе Ганны Остаповны и сдержанная симпатия, и удивление, и строгость.— Пусть уж те, кто задание выполнил, им можно и посмеяться, а тебе... Беда нам с тобою, Порфир. Парень ты боевой, и ссориться с тобой не хотелось бы, однако должна предостеречь: лодыри у нас не в почете. В нашем коллективе слово «лодырь» считается тягчайшим оскорблением. Одного в прошлом году обозвали лодырем, так он даже расплакался, к прокурорше побежал жаловаться, когда та приехала школу инспектировать...

— Я не побегу.

— Тебя никто и не оскорбил. Скорее ты меня, учительницу, оскорбил, что вот так небрежно к домашнему заданию отнесся. У нас работать приучайся с первых же дней. Ладно бы не мог, а то ведь можешь, сомнений в этом нет. А теперь из-за тебя всему классу придется снизить оценки...

— Хорошо, на завтра выучу.

— Вот это другой разговор. Это — слово мужчины.— И уже ко всем: — Будете добросовестными, дети, так и ссориться нам не придется, дружный у нас с вами сложится коллектив... Летом Марыся Павловна выведет вас в широкий свет, спортивные игры ждут вас на воде и на суше, конечно, это после того, как хорошенько потрудитесь в совхозе на моркови да на черешне...— Слова старой учительницы распаляют детское воображение. Мальчишкам хоть бы и сейчас броситься на прополку моркови, взобраться на черешни, откуда тебе аж смеются румянощечки «жабуле» да «ранние степные»...— А на то, что

заработаете, школа приобретет вам осенью, к Октябрьским праздникам, форму морскую, на демонстрацию выйдете в бескозырках, точно юнги дальнего плавания... Вы же об этом мечтаете? Значит, главное — старательным быть, с юных лет приучать себя к честной трудовой жизни...

И как-то так получалось у Ганны Остаповны, что будто бы и не морализирует она, а просто дает этим стриженным свое материнское наставление, советует, как им вести себя в будущей жизни. «Она их любит, душой любит этих стриженных маленьких людей! — отмечала про себя Марыся Павловна, наблюдая с последней парты за уроком коллеги. — Для коварных, лукавых, бессердечных, для недобрых и добрых — для всех находится в ее душе запас материнского тепла... И, верно, ни опыт, ни знания, никакие педагогики не спасут, если не будет этого, если не почувствуют мальчишки сами, что относишься к ним справедливо, с надеждой, с любовью!..»

«Но они же несносны!» — слышит Марыся возражения от самой себя.

«Да, несносны, но ведь ты... педагог, ты старшая! Каждый из этих детей должен ждать встречи с тобой, учительницей, как радостного события, как праздника своей души. Только входишь, они уже — все на тебя: что на лице? Какая ты? Что им несешь? И ты не должна их разочаровать. Приветливостью, теплом доверия должна согреть каждого. Должна одолеть его замкнутость и озлобленность, если перед тобой злой волчонок... Ганна Остаповна умеет, почему же тебе не суметь?»

О Кульбаке она вечером запишет в дневник: «Возбудимый, почти невозможно заставить его сидеть на уроке тихо. Реагирует на все быстро, молниеносно. Ироничен, любит развлечься, сострить, даже по адресу учителя. Диапазон мыслей довольно широк: от Хиросимы до Камышанки».

VI

На переменку они вылетают, как из пращи, в коридоре Марысю Павловну едва с ног не сбивают, хоть она и гимнастка. Для них она словно бы и не наставница, страха перед нею нет, и впрямь будто практикантка, с которой можно быть запанибрата. Мчится вот навстречу Кульбака, совсем ошалелый от радости, что вырвался на волю. Увидев учительницу, напрягается, как хищный зверек, растопыренными пальцами в глаза нацеливается с разгона:

— Бегу! Лечу! Целюсь в левый глаз!

Кажется, так и проткнет насквозь. Прикусив губу, Марыся Павловна стоит не двигаясь. Налетай, мол, выкалывай... С пе-

рекошенным лицом, хищноватый, сам на себя не похожий, остановился, не добежав шага. Поразила его, видимо, эта выдержка учительницы, губа прикушенная чуть не до крови.

— Что же ты? — Марыся Павловна наклонилась, подставляя незащищенное лицо. — Выкалывай! Левый или правый?.. Тебе станет легче? Ты будешь после этого счастливым?

Сорванец смущен. Освобождаясь от своего исступления, он стоит с недоброй чужой ухмылкой. Рука, что перед этим летела, точно копье, нацеленное в глаза, спряталась за спину. Однако мальчишка еще не может признать своего поражения, еще не совсем сошла с него бессмысленная воинственность, растерянная улыбка кривит губы и, забытая, застывает на них.

Учительница кладет руки на плечи мальчику, на острые косточки:

— Я тебе враг? Я тебе зло причинила?

И мальчонка, заметив, как на глазах учительницы, появившись откуда-то из глубоких глубин, растет невероятно настоящая, совсем на мамину похожая слеза, вдруг как бы опомнился, понурился. Говорят, что эмоциональная слеза способна вылечить проказу. Кто знает. Может, это когда-то, может, где-то в Африке. А тут другое, видно, маму вспомнил, и шевельнулось в нем в этот миг, наверное, нечто такое, что способно, преодолевая собственную жестокость, заметить чужую боль. Пусть еще не почувствовать, пусть хотя бы заметить...

— Пошутил я, — говорит глухо, отводя в сторону взгляд. — Разве как на режиме, то и пошутить нельзя?

Такой он. И хоть только что нанес тебе оскорбление, после которого, казалось, должен был остаться в нем хотя бы след раскаяния, но нет, никакого следа, все это с него как ветром сдуло. После уроков он уже веселый и добрый, живо и остроумно рассказывает о своем рыболовстве да о каком-то бухгалтере, который, работая на силикатном заводе, сумел натаскать в портфеле кирпича на целый дом! Не все верят в существование того мифического силикатчика, а Порфира словно какая-то веселая муха укусила — пошел комиковать.

— Вот так он идет, вот так, вот так!

Вскочив с места, мальчонка, смешно изгибаясь, пускается изображать перекособочившуюся под тяжестью портфеля фигуру, в пылу рассказа он и не замечает, что под рукой у него вместо портфеля, набитого кирпичом, плетенная из соломы японская сумочка Марыси Павловны, которой она так дорожит.

— Оставь, оставь мою сумку — там кирпича нет, — смеется Марыся Павловна, забыв обиду: непосредственность хлопца, способность мгновенно переноситься в состояние беспредельного восторга обезоруживают ее.

Горы педагогической литературы написаны о трудных подростках, о том, как подбирать ключи к их расхристанным душам, а

встретится на пути такой вот Кульбака, и ты увидишь, что ни один стандартный ключик к нему не подходит. К тому же он и сам не хуже тебя психолог, только у него свой подход, своя шкала оценок, которая вытекает из его довольно-таки последовательного мышления. С товарищами сошелся легко, развлекает их разными проделками, шутками, безудержным фантазированием. И вправду можно заслушаться, когда он, очутившись в родной стихии, бурно жестикулируя, начнет показывать компании, как ловко ныряет на Днепре да как долго, задержав дыхание, ходит по дну, словно краб, и все это не выдумки, ведь и в характеристике записано, что под водой этот пловец ловко подкрадывался к курортникам-рыболовам и не раз откусывал их импортные блесны. Что касается рыб, то здесь он истинный знаток, расскажет вам о всех видах, какие только водятся в гирле, да какие выносливые они бывают — есть такая живучая, что полдня валяется на песке и все дышит! Словно чарами опоенный становится хлопец, когда начнет рассказывать, как играет-резвится рыба по весне, как, идя на нерест, в прозрачной воде по камушкам выгуливает рыбец: самки летают точно стрелы, а за ними — самцы табунами! Браконьеры на мосту аж слюнки пускают, что столько под ними проплывает весеннего живого добра, а выхватывать не имеешь права. Известно Порфиру, которая и куда ходит на нерест, какая первой движется из гирла навстречу течению, потому что любит воду холодную, свежую, а какая трогается, уже только когда речку прогреет солнце. Такое впечатление, будто и сам он где-то под водой с ними рос и собственными глазами видел, как одна рыба икринки к камышу прилаживает, а другая кладет свое потомство по дну, по камням, чтобы свеженьким течением перемывало, купало...

А его самого в ногомойку вечером не загонишь, и в кровать перед отбоем он укладывается последним — только-только разошелся, вовсю смешит товарищей, ведь из всех пунктов торжественной клятвы, которую ему надлежит заучить наизусть, более других ему по душе один пункт, последний: «Не журись!»

Еще из детского областного приемника, где Кульбака сидел — впервые в жизни! — за решеткой, предупредили насчет его личности:

— За этим глядите в оба, просто феномен какой-то. Физически, психически — все в норме, даже развитой, но характер... И главное: непреодолимое желание бежать. У него это как идефикс: на волю, хоть умри!

С мыслями о бегстве хлопец и тут не расстаётся, об этом известно Марысе Павловне, и порой ее досада берет на директора: вот такого крученого, может, даже опасного поручил именно ей. Это же мучитель, не иначе! До сих пор мать мордовал, а теперь здесь из воспитательницы будет нервы выматывать, он уж постарается сделать из нее посмешище!

В выдумках он неутомим, ими живет, просто диву даешься, сколько в этом существе жизненной энергии! Уже перед самым сном, когда его загонят в кровать, Порфир, озорничая, выглядывает из-под одеяла, глазенки — две искорки хитроватые — оживленно шарят по соседям, выискивают что-то смешное и в тебе, воспитательнице, и лишь когда слышатся из коридора железные шаги дежурного, только тогда глазенки эти замрут, станут сразу святыми... Впервые встречается молодая учительница с характером столь неподатливым, с маленьким упрямым человеком, в котором так причудливо соединилось врожденное и приобретенное... Кротость и коварство удивительно уживаются в нем, он умеет затаиться, сделать ангельские глаза, после дерзости шелковым стать, и все это ради чего? Убежать, вырваться отсюда — вот его самая сокровенная, тайная цель, и ради нее он не остановится ни перед чем, ни перед каким обманом, пойдет на лесть, на хитрость, на любое плутовство, ведь такие вещи в его глазах совсем не порок, а скорее геройство. День за днем он вынашивает свое потаенное желание, и чувствуется, что оно бодрит его, дает полет воображению, для него вырваться отсюда — это единственный способ самоутвердиться, отстоять себя, дикую и упрямую свою личность.

Учительница пробовала беседовать с ним с глазу на глаз, подбирала тон доверительный, откровенный.

— Скажи: почему ты убегаешь? Откуда эта бегомания? Болит у тебя что-то? О матери тоскуешь?

Не открывается, не хочет никого впускать в свой, из иллюзий сотканный мир. Лишь однажды, будто невзначай, признался:

— Находит на меня такое... Как засосет вот тут — и должен, должен бежать!

— Куда?

— Кто знает и куда.

— Разве тебе у нас плохо? Разве мы плохому тебя учим?

Нахмурился мальчуган, помолчал, а потом:

— Нас учите, а кто их научит?

— Кого это их?

— А тех... Что под ларьками пьяные валяются... Или детей своих побросали, скрываются от них...

На этих словах мальчик осекся, только тень какая-то болезненная пробежала по лицу. Говори после этого что хочешь и сколько хочешь, а он будет молчать, замкнется в себе надолго. Сидит, охваченный грустью взрослого, мыслью человека, что уже по-своему вдумывается в жизнь.

Иногда Марыся Павловна и после отбоя заходит с дежурным по режиму в комнаты, где спят малыши, заходит, чтобы проверить, все ли на местах, не приболел ли кто, ровно ли дышат эти свезенные отовсюду, на чердаках да в подвалах подобран-

ные, на вокзалах да пристанях выловленные люди, трудные, малолетние... Спят мальчишки во власти своих снов, лишь теперь избавленные от дневных огорчений... У некоторых психика заметно нарушена: бежал ведь, ловили, пугался... Буяны, правонарушители сейчас, а вырастут — будут кем? Стоишь вот так над его, Порфира, озорной душой и слышишь, как и ночью продолжает она жить, как и во сне баламутная эта душа воюет с какими-то неведомыми силами. Вот, дети, ваша планета, в материках она, в голубых дымках летит во вселенной красавица наша, а правонарушительское дитя дышит нервно, вздрагивает под казенным одеяльцем щупленькое его тельце, которое ночью становится совсем маленьким, беспомощным. Только здесь, пожалуй, по-настоящему и осознаешь, что перед тобою ребенок, создание хрупкое и беззащитное перед всеми тревогами мира, существо, у которого, однако, есть свои проблемы, и не менее серьезные, чем у взрослых, есть переживания, невзгоды свои и внутренние драмы, и только тут до боли ощутишь, как нужна этому крохотному человечку чья-то поддержка, материнское тепло и отцовская опора... Стоишь над ним, и горло у тебя перехватывает от того, что не знаешь, как ему помочь в его нервном ночном метании, когда нет уже ни дерзости в нем, ни озорства, только голос так умоляюще призывает из темноты самого родного человека, с такою пронзительной ласкою-мукой зовет сквозь кошмары сновидений:

— Мама! Мамуся!

Никогда не слышала мольбы такой пронзительности, никого, кажется, не было так жаль, как его сейчас. Что ему снится? Кто его преследует? Что-то его мучит, каких-то чудищ он еще не одолел, бьется, может, с браконьерами на лимане или с грохотом экранных войн, с неонами городов и адом Хиросимы... Переведет дыхание, то вдруг засмеется, то вновь заплачет — сны усталости не знают! — детская отважная душа вновь и вновь выступает против каких-то только ей ведомых страшилищ... Успокаивающе коснешься рукой его колючей горячей головы, а он никогда и не узнает, с каким чувством стояла когда-то учительница над ним в этой карантинной темноте, где маленькое нервное существо, вздрагивая, жалобно вскрикивая, бьется и бьется с темными загадочными силами ночи.

VII

Однажды прибыла в школу комиссия, долго ходила по территории, заглядывала во все углы, а карантинники тем временем изнывали от догадок: заглянут ли к ним, не пройдут ли мимо? Неизвестно было, кто приехал, возможно, как раз та всемогущая

женщина из прокуратуры, которая ежеквартально наведывается в это спецзаведение проверять, все ли в порядке, не нарушается ли законность. Как ее встретить, если придет? С точки зрения Порфира, хорошо было бы ту комиссию развеселить чем-нибудь, к примеру, заскулить потайным способом, как это только он умеет: стоишь перед учительницей с плотно сжатыми губами и даже улыбаешься невинно, а оно само в тебе так жалобно повизгивает, ну точно щенок, брошенный на произвол судьбы где-нибудь в бурьяне. Уже ему привиделось, как солидная комиссия недоумевает, озирается по сторонам, но никак не может сообразить: где мог спрятаться в классе щенок, где повизгивает? Вот было бы смеху! Может, после такой выходки и у комиссии сердце дрогнет: «Зачем этого веселого хлопца здесь держите? Отдать его на поруки! Пусть станция берет! Пусть лучше матери помогает на виноградниках, чем тут подвывать!» Но могут же и не понять! Люди ведь разные: одному шутки нравятся, а другой еще больше насупится, сочтет, что ты над ним издеваешься. Еще когда Порфир сидел в областном приемнике и показывал прохожим из-за решетки язык, он убедился, сколь неодинаково шествующее перед ним человечество: тот оглянется, улыбнется на твою перекошенную рожу и дальше пойдет, а этот (нашелся и такой) остановится и давай в дверь кулаком молотить: «Что вы тут своих хулиганов малолетних распустили! Пройти нельзя, передразнивают, оскорбляют... Уймите их наконец!» Так, пожалуй, лучше вести себя перед комиссией на испытанный уже манер — кротким теленком, ангелочком, комиссии любят шелковых, любят, чтобы ты перед ними расстился, чтобы даже по головке себя погладить дал.

Комиссия не оставила без внимания карантинный класс: вошла, целой толпой ввалилась, оттиснув Марысю Павловну к окну. Во главе выступала полная дама, пышнотелая химическая блондинка с целым гнездом на голове — будто аист его смастерил. И хотя на лбу у нее написано не было, что она старшая, однако Порфир сразу это уловил из самого ее снисходительного тона, из подчеркнутой вежливости, которая, видимо, ей и самой нравилась — дама словно одета была в некую служебную ласковость. Что перед ними не прокурорша, Порфиру сразу стало ясно, потому что интересовалась она не жалобами воспитанников, а больше их умственным развитием да санитарным состоянием (может, это была дама из министерства, а может, диссертацию пишет, кто ее знает). Важно прошлась между партами, велела хлопцам руки ей показывать, точно по рукам хотела угадать, к чему они, грешные, прикасались да из какого ларька что стянули... А скорее всего просто осматривала, нет ли болячек на пальцах да не отрастили ли когтей, вопреки правилам школьной гигиены... На вытатуированный якорец Порфира обратила внимание, спросила приветливо, чем накалывал. Потом,

стоя у доски, выборочно останавливала свои зеленые глаза то на одном, то на другом воспитаннике, интересовалась, откуда да за что сюда попал? Когда, наконец, дошла очередь и Порфиру отвечать на неминуемое: «Откуда?», он вскочил, шутливо вытянулся в струнку и прокричал нараспев, будто на широком днепровском плесе:

— Из Камышанки, с казацкой стороны!

Непривычно-весело прозвучало это среди напряженной тишины класса, выплеснулось в той напевной днепровской интонации, которую хлопец перенял во время плаванья на барже с кавунами. В таком ответе проявила себя не только широкая натура камышанца, тут была еще и хитрость, и состояла она в том, чтобы все же позабавить комиссию, потешить ее этим присловьем, вызвать к себе симпатию. И мальчуган промашки не дал: комиссия действительно повеселела, а дама прямо-таки медовым голосом обратилась к Порфиру:

— Шутник ты, однако... Наверное, и вправду веселые люди живут у вас в Камышанке?

— Да еще не в меру упрямые, самолюбивые, — буркнул у нее из-за плеча один из комиссии — лысый, приземистый (таким именно и представлялся Порфиру в этот миг тот злощастный силикатчик, что кирпич в портфеле таскал, пока не был пойман с поличным). — Кто-кто, а уж я их знаю... — И строго спросил парнишку: — Ты здесь за что?

Порфир ответил без обмана:

— Школу бросал, из дому убегал, под лодками да на чердаках ночевал...

— А еще?

Мог бы сказать Порфир, как маму не слушался, из двоек не вылезал, как слонялся целыми днями по пристаням и что даже в порт его занесло... Мог бы, но ответ почему-то так и присох к языку. Стоял, и неопределенная улыбка блуждала у него на губах — сейчас это была улыбка презрения и самозащиты. Здесь защищаются кто чем может. Тот молчанием. Тот всхлипом, если о маме ему напомнят. А у Кульбаки, если уж его прижимают, невольно появляется на губах эта натянутая, сухая, точно из паутины бабьего лета сотканная усмешка. Потому что бывают ситуации, когда лучше тенью улыбки прикрыться, прикусить язык, или, как говорят в Камышанке: «Цить да диш!»¹

— Почему же молчишь? Чем еще отличился? — настаивал лысый.

И тогда слышался от порога сильный, с хрипотцой бас начальника режима товарища Тритузного:

— Расскажи, как нос расквасил дежурному по территории!

— Да спрашивают же о прошлом...

¹ Непереводимый оборот, близкий к русскому: «Помалкивай в тряпочку».

— Ну, тогда расскажи,— так же глумливо посоветовал Тритузный,— как блесны у курортников откусывал! Как рыбу гáчил! — И, обратясь к комиссии, добавил вроде бы даже с гордостью: — Это ж наш малолетний браконьер, есть у нас и такой кадр...

— Неправда! — возмущенно выкрикнул хлопец.— Когда это я гáчил? Зачем наговариваете? Кто меня поймал?

Пока дама, нагнувшись своим аистиным гнездом к директору, выясняла, что значит «гáчил», начальник режима поспешил растолковать:

— Когда рыбу крюком поддевают — это и называется гачить. Дикий, варварский способ. Только кто же признается... Но мы-то по глазам видим! — И Тритузный, возвышаясь над всеми своею фуражкой, выступил уверенно вперед, словно бы теперь уже заслужил на это право.

Директору, видно, не очень понравилась чрезмерная активность начальника режима, однако Валерий Иванович не сделал ему замечания, возможно, привык уже к этой черте Тритузного, который при комиссиях менялся на глазах и, оттесняя других, всякий раз ретиво пробивался вперед своими рапортами.

— Малолетний браконьер...— Дама смотрела на Порфира укоризненно и одновременно словно бы жалея его.— И как ты мог живое существо за ребро багром? А что ей, рыбке, тоже больно, ты об этом подумал?

— А что мне от брехни вашей больно, вы об этом подумали? — отрезал хлопец и отвернулся к окну.

— Будь повежливее, Порфир,— напомнил директор.

Марыся Павловна, стоявшая у окна, наконец не вытерпела:

— А если в самом деле не гачил, не браконьерствовал?! Как можно бросать тень подозрения?

— А вы не заступайтесь! — огрызнулся и на нее хлопец, не приняв защиты.— Может, и гáчил! И острогой бил! Может, и чужие сети по ночам тряс?!

Если уж они представляют его таким разбойником днепровским, то пусть таким и будет... Тритузный не преминул воспользоваться горячностью Кульбаки:

— Такой азартный, да чтобы упустил момент, когда она сама на крючок идет? Хвалился же, что рыбы налавливал полные каюки, даже осетров возле плотины из-под самых турбин таскал... Говорил такое?

Хлопец хмуро молчал.

— Надо же знать психологию рыболова,— обратилась Марыся Павловна за поддержкой к ближайшему от нее члену комиссии — молчаливому юноше в очках.— Его только слушай, он вам такого нагáчит!.. Перед вами же великий фантазер, вы это учтите! Фантазия у него равносильна реальности — такой уж он удалец, такой у него темперамент ловецкий...

— Защищайте его, защищайте,— оскорбленно сказал начальник режима и стал выкладывать комиссии новые данные о Порфире: и как был задержан в порту, и как до самых городских пляжей летом добирался... У пляжных разинь, видно, не раз карманы проверял...

— И это брехня,— злобно выкрикнул хлопец, бледнея от возмущения так, что возле носа выступили веснушки (они всегда выступают, когда Порфир от волнения бледнеет).— Не видели — не говорите!

Наежился весь, взгляд налился ненавистью: видно, мальчик был до глубины души оскорблен, разъярен этим наветом. Жуликом, воришкой, карманником малюют! В его глазах было это черным предательством со стороны Тритузного: ведь Порфир сам рассказывал ему в карцере и про блесны, и о том, как на пляжах летом с мальчишками появлялся, однако о карманах не было и речи — не его это занятие.

Видя, как он потрясен, в какой ярости, его стали успокаивать, но он, стиснув кулачки, только повторял с гримасой боли и ненависти:

— Неправда! Неправда! Не было этого!

— Ну, не было так не было,— соглашаясь, сказала дама из комиссии.— Успокойся, мы верим тебе.

Однако хлопец уже, видно, не мог совладать с собой, не слышал успокаивающих слов, оглушенный болью незаслуженной обиды. Выдумывают, наговаривают, получается, что он какой-то босяк, подонок, ворюга!.. А он ведь ни у кого и вот столечко не украл! Потому что от дедуся не раз слышал: «Чужого не тронь, Порфир, оно людское; я век прожил, а к чужому не прикоснулся, как же его брать, если оно не твое...» Порфиру крепко врезались дедусевы слова. И даже когда так и подмывало стащить какую-нибудь мелочь из совхозного гаража или на пристани прихватить что плохо лежало, всякий раз вспоминалось: «Чужого не тронь, оно людское...» Случалось, правда, иногда чьим-нибудь каюком воспользоваться, но ведь потом и на место его пригонишь, привяжешь к вербе, как будто напрокат брал. А теперь вот начрежима такое наговаривает, напраслину возводит при комиссии, чтобы выслужиться перед нею...

Тритузный, почувствовав, что переборщил, попробовал сгладить впечатление:

— Может, в чем и сгущены краски, но ведь дыма без огня не бывает. Такие ли уж мы святые?

А мальчик никак не мог успокоиться.

— Что было, того не скрываю, а напраслину возводить... Это разрешается, да?

— Хватит, хватит, Порфир,— успокаивающе сказал директор, а химическая дама, улыбнувшись, добавила:

— Не следует обиду долго носить. Не то из маленьких обид потом большая вырастет, и ты отгородишься ею, как стеной, от всех, ничего доброго в людях замечать не будешь.

— Я же говорил, камышанские — они очень самолюбивые, — напомнил о своем лысый толстяк. — А он ведь того корня... Не скифских ли царей потомок?.. Ишь какой амбициозный!

Издевательство послышалось Порфиру в последних словах, и это его совсем взбесило:

— Чего вы расписываетесь за меня? «Корень, потомок»!.. — передразнил он члена комиссии. — А может, ничейный я?..

И голос его осекся. Все горело в нем, кровоточила душа, как рана... Сын матери-одиночки — вот и все! А вы уж, взрослые, объясните, что это оно такое — сын одиночки? Что это, когда батяня ни разу и в глаза не видал! И слова его никогда в жизни не слышал! Как это будет, по-вашему? От святого духа родился? Аист на хвосте принес? Или, может, в капусте нашли? Нашли и каленым железом на тебе клеймо выжгли: байстрюк! Оксаныч! С тем и живи на вашем белом свете!..

— Трудные, ох трудные дети, — вздохнула женщина из комиссии. — Я согласна с Корчаком: ребенок недисциплинированный и злой потому, что страдает. А мы часто забываем об этом. Забываем, что у такого вот отрока быстрее, чем у взрослого, растормаживаются нежелательные инстинкты.

— То-то и оно, — заговорил еще один из комиссии, тот, что в очках, обращаясь больше к Марысе Павловне. У него тоже были мысли на этот счет, и он решил их высказать. И хотя речь шла о «повышенной реактивности» да об «органическом чувстве справедливости» ее воспитанника, это можно было принять и как проявление поддержки молодой учительницы с его стороны — видно, по душе ему пришлось, что она, эта чернобровая, со смелым лицом особа, в нужную минуту решительно взяла своего «великого фантазера» под защиту. То все держалась в стороне и только губы кусала с выражением несколько даже насмешливым, а потом все же уллучила момент... Что ж, значит, человек имеет свое мнение и нрава не робкого.

Дама из комиссии между тем обратилась к детям:

— Друзья мои! Это только первое время вам так непривычно, может, даже тоскливо здесь. А закончится карантин, вы сразу себя иначе почувствуете... Только обещайте мне, дорогие мои... — И еще что-то вкрадчивым, томным голосом о дисциплине, о гигиене, но Порфиру уже не слушалось, тошно ему было от ее сладких слов.

Не сводя сердитого взгляда с разговарившейся дамы, с ее гнезда на голове, он резко поднял руку:

— Пустите в туалет!

Когда мальчишка выскочил из класса, начальник режима сказал, словно бы даже обрадовавшись:

— Вот видите, какой он... Будто кипятком налитый... Этот не пропадет, этот сумеет волка за ухо поймать!

Марыся Павловна, строго взглянув на Тритузного, заметила:

— Я считаю, что вы должны извиниться перед ним.

— О! Это еще за что?

— Сами знаете.

Только когда комиссия отбыла, вернулся Кульбака в класс. Забился, как волчонок, в угол, на последнюю парту, словно бы и на Марысю Павловну сердился за то, что она за него вступилась. Учительница, щадя хлопца, решила его не трогать: пусть отойдет, перестрадает. До конца урока никто и словечка не услышал от Кульбаки. Отчужденный, отстраненный, сидел, упершись подбородком в парту, уставившись тоскующим взглядом в окно. Не существовало сейчас для Порфира ни учительницы, ни товарищей, ни всех этих строгостей, которыми он здесь окружен. Воображение, сильнее самой реальности, проломив стены, уносило мальчика от здешних обид, без труда уносило в миры внешкольные, весенние, он опять был там, где все так привольно, где воды и камыши, где старый абрикос возле маминой хаты вот-вот розовым цветом займется...

VIII

— Ну все же: с хвостиком планета или без?

Об этом как раз допытывались у Марыси Павловны ее коллеги, собравшиеся в учительской, эту проблему пытались выяснить сообща, когда на пороге появился начальник режима, или, точнее говоря, помощник директора школы по режиму, известный нам Тритузный Антон Герасимович. Крутого нрава, богатейшего жизненного опыта человек. Когда в школе кому занедужится, Антон Герасимович предлагает свой рецепт: «Пейте полынь!» Он имеет в виду обычную степную полынь, горькую-прегорькую, к которой даже и скот не притрагивается, только человеку и под силу ее потреблять. На все случаи жизни признает Антон Герасимович одно это спасительное зелье, от всего якобы оно помогает. И что значит — полынь пьет человек: у него и цвет лица здоровый, и походка упругая, и выправка, вопреки годам, молодцеватая.

С появлением Антона Герасимовича в учительской сразу куда и смех девался; Марыся Павловна даже губу прикусила, чтобы при нем сдержаться, не прыснуть. Тритузный догадался, что это была у них пауза, веселая передышка, потому что, кажется, уже до чертиков досадались, посоловели все. Антон Герасимович довольно скептически относился ко всем этим педсоветам, к нескончаемым этим сидениям, на которых люди

взрослые — с директором во главе — часами ломают себе головы, как им поступить с тем или иным сорванцом, какие педагогические тонкости и уловки противопоставить очередной выходке какого-нибудь малолетнего правонарушителя.

С полным сознанием своего права присутствовать на педсовете Антон Герасимович медленно идет к излюбленному своему месту, усаживается под лозунгом: «Дети — наше будущее». А перед ним на стенах яркие художественные орнаменты — их выставил коллегам на просмотр Артур Берестецкий, патлатый, с длинными ручищами учитель рисования и пения (или, как он сам себя называет, «наставник по части изящных искусств»). Цветы, виноградные лозы и листья, скифские и современные мотивы в причудливом переплетении — все это он собирается представить на областную выставку самодеятельных художников. Тритузный мимоходом скользнул взглядом по орнаментам, но оценки никакой не дал. Кашлянул — и все. Тугая с высокой тульей фуражка браво сидит на седой голове Тритузного, он ее и тут не снял, ибо, во-первых, служба ему позволяет, а во-вторых, в фуражке чувствуешь себя увереннее, к тому же сразу видно, что ты человек основательный, крепкого закала и дисциплины. Знал, что эта его привычка не снимать в учительской фуражку вызывает кое у кого из педагогов иронию, так же как и его манера говорить торжественным тоном о своих обязанностях: «Мы, надзирательский состав, считаем...», однако продолжал держаться своего, считая вполне естественным именно этот тон и эту манеру для себя, коренного кадра, который единственный только и остался здесь из работников спецшколы.

— Случай этот подтверждает наши наблюдения, — говорил Валерий Иванович, обращаясь к коллегам. — Типичная дисгармония поведения. Бестормозность, показная бравада, какою иногда прикрывают душевную травму, какие-то внутренние разлады, которые могут привести даже к разрушительным действиям... Пока ему не возражаешь, все хорошо. А только возразил, взрывается бурей гнева, крика, слез...

— Слез не было, — уточнила Марыся Павловна.

Поскольку начальник режима не сводил взгляда с директора, Валерий Иванович в двух словах пояснил ему о чем речь: обсуждаются замечания, оставленные комиссией, в частности, касательно «феномена Кульбаки», как будет потом записано в протоколе педсовета. Обращаясь к Марысе Павловне, директор попросил доложить, как себя чувствует сейчас неукротимый камышанец.

— Коготки выпустил, и не подступишься к нему, — докладывала Марыся Павловна. — Начинал было открываться, появилось даже нечто похожее на угрызения совести, а после посещения комиссии, после обиды, которую ему нанесли, опять стал замкнутым, обозленным, отчужденным... Хотите знать —

кто виноват? Мы, учителя, прежде всего. Требуем честности, правдивости, а сами... Требуем слепого послушания, забывая, что послушание, покорность — это еще не признаки душевной доброты и порядочности... Замкнулся, ушел в себя. Не знаю, с какой стороны теперь к нему и подступиться...

— Прежде всего, дорогая, не выказывайте ни малейшей растерянности перед ним,— посоветовала Ганна Остаповна.— Не то он сразу же воспользуется...

— Вам хорошо, Ганна Остаповна, у вас такой опыт, стаж...

— Об этом не печалься, от стажа и ты не убежишь,— с усмешкой молвила Ганна Остаповна.— А впрочем, чтобы не было нареканий, я могу Кульбаку к своим забрать, мне как раз такого артиста не хватает... Но смотрите, чтобы потом не пожалели.

Директора, видимо, заинтересовал предложенный вариант. Взглянул на Марысю Павловну.

— Ну как?

Она колебалась. Вопросительно посмотрела на Бориса Саввича, хотела услышать, как отнесется к этому он, ведь вдвоем же они отвечают за класс, на равных правах... С самого начала директор точно определил их обязанности: Борис Саввич воплощает начало, так сказать, мужское, строгое, дисциплинарное, а Марыся Павловна должна внести начало материнское, потому что ласка и нежность этим сорванцам нужны не менее, чем дисциплинарные меры. Вот так и выступают они педагогическим дуэтом, в котором Марысе выпадает вести все же первую скрипку — так велит ей деятельное и бурное «начало» ее натуры. И даже сейчас, когда она ждет слова своего коллеги, он как бы и не слышит, сидит, склонившись над своим золотым кольцом (Борис Саввич недавно женился и с тех пор носит на руке обручальный знак). Видимо, придется все же Марысе одной что-то решать.

— Самолюбие ей не позволит признать поражения,— подкинул учитель физики, сухонький, с насмешливыми глазами человек.

— Правда, пусть уж как есть,— сказала Марыся Павловна.— Как-то уж будем его формировать.

— Еще раз убеждаемся: в малом теле — великий дух,— подарил комплимент Марысе Павловне долговязый Берестецкий.

— К тому же у вас коллега надежный,— напомнил Марысе Павловне директор и доброжелательно кивнул на Бориса Саввича... Все перевели взгляды на этого крутоплечего вчерашнего моряка. Очутившись в центре внимания, он даже покраснел, что с ним нередко бывает...— Вы как, Борис Саввич, в отношении Кульбаки?

— Перекуем,— сказал Борис Саввич и, помолчав, добавил: — Мечи на орала.

Это подбодрило и Марысю, она теперь заговорила увереннее:

— Целая ватага педагогов да не сумеет с одним сорванцом справиться? Труден, дисгармоничен, а другие так уж гармоничны, да? Другие тут тоже феномены, все они шальные порождения этого безумного века... Больше всего беспокоит меня в Кульбаке именно эта резкая дисгармония его душевного строя, внезапные вспышки, крайняя неуравновешенность... Сплошные метаморфозы! Только что был перед вами кроткий, открытый, прямо обворожительный, а через минуту выкинет нечто такое, что только ахнешь. И это при том, что от природы в мальчишке здоровая психическая и нервная конституция, в этом смысле я полностью согласна с характеристикой, полученной на него из детской комнаты милиции, а также из приемника... На меня лично он производит впечатление натуры своеобразной, незаурядной, интеллектуально даже одаренной. Но откуда эта ярость, вспышки гнева, неистовство, в которое он впадает при малейшем неосторожном прикосновении?..

— Естественная вещь... для него по крайней мере,— заметила Ганна Остаповна.— Попробуем вдуматься в самую психологию правонарушителя, представить себе внутренний мир такого маленького забияки. Быть хулиганом, мучить мать, бродяжничать — это, по-вашему, дурно, но он-то ведь так не считает! Хотите, чтобы он уважал старших, жалел меньших, хотите, чтобы по глазам учился распознавать чье-то страдание и способен был проникнуться сочувствием к другому, а зачем ему это? Куда удобнее быть расхристанцем, эгоистом, деспотом начинающим... С нашей точки зрения, понятия его искривлены, но это — с нашей! У него же на все своя мерка, свой взгляд, свое понимание добра и зла, чести и бесчестия... И ничего странного в том, что нам, взрослым, так трудно с ним приходится. Всяких уже видели, и не такие еще были, как этот Кульбака... Трижды можно поседеть, пока отроки эти перебесятся, вот и советую: запаситесь терпением надолго. Педагоги, подобно селекционерам, никаких ускорителей применять не могут. Нужно время. Постарайтесь вызвать своего феномена на полную открытость души, пусть он, как матери или, может, даже больше, чем матери, доверится вам во всем... Пусть доверит вам все свои тревоги, мечты, а то и страдания, муки — их ведь у ребенка бывает не меньше, чем у взрослого, и порой они еще сильнее у малыша, нежели у нас, взрослых, так как их обостряет детская впечатлительность, сверхчувствительная ранимость юной души...

— Действительно, мы же так мало о нем знаем,— задумалась Марыся Павловна.— А что, если он кем-то обижен тяжело? Может, бывал жертвой чьего-то произвола, непонимания, грубости...

— Эмоциональную слезу над ним пролейте! — воскликнул

Тритузный своим сильным хрипловатым голосом. (Не от пыли ли охрип?) — Да он первый своевольник и грубиян! Нарушитель врожденный... У него уже и хватка завтрашнего преступника!

Директор недовольным взглядом пригасил запал Тритузного.

— Даже если бы это было и так, — сказал он, не повышая тона, — мы и тогда не перестали бы за него бороться. Иначе для чего же мы здесь? Прежде всего он должен почувствовать, что попал в здоровый, требовательный, но и справедливый коллектив. И что не для экспериментов попал, не в роли кролика подопытного, а для науки жизни. Антон Герасимович, взываю к вашей мудрости: ведь перед нами — человек! Пусть еще маленький, к тому же запущенный, травмированный, но человек. Тот, который еще, быть может, и нас когда-нибудь превзойдет, а то еще и посмеется над нашими педагогическими усилиями: чудачки, мол, были, хотя кое в чем все же разбирались. Сумели использовать свой опыт, своевременно отстояли в человеке — человеческое, поддержали детскую чистоту и непорочность...

— Это он для вас — непорочность? — Тритузный чуть не захохотал. — Да по такому уже тюрьма плачет, а вы тут развели: «Чистота... хвеномен... дисгармония»...

Борис Саввич, хоть и не любил ввязываться в подобные дискуссии, на этот раз все же подал голос:

— Из такого скорее что-то путное выйдет, чем из тихаря-приспособленца, угодника, подхалима. Орешек? Ну и что?

Валерий Иванович весело напомнил Тритузному:

— Как это вы там сказали? Этот волка за ухо схватит? И схватит-таки, особенно волка отставшего... Одним словом, с живчиком да с перчиком хлопец! — усмехнулся Валерий Иванович. И снова перешел на официальный тон. — Пусть перед нами действительно дисгармоничный вариант личности, но воспитатели все же мы, а он только воспитанник. Мы вооружены знаниями, опытом, равнодушием к его судьбе, властью, наконец... У нас на него инструкций тысяча и одна... Конечно, он тоже не дремлет, все время к нам приглядывается: а ну, какие, мол, вы наставники... Каждый ли из вас правдивый, стойкий, принципиальный? Не только ли на словах, а и на деле желает мне добра? С первых же шагов мы должны дать ему почувствовать, что попал он в коллектив людей требовательных, но и справедливых, доброжелательных, тактичных... И с этой точки зрения, я считаю, мы не совсем педагогично обошлись с нашим воспитанником во время посещения комиссии. В частности, это относится к вам, уважаемый Антон Герасимович. Ваши некоторые предположения касательно прошлого Кульбаки были, мягко говоря, безосновательными, а следовательно, и не педагогичными.

— Я в педагоги и не лезу, — сердито отпарировал Антон Герасимович. — А к чему ваши тактичности ведут — вот полюбуйтесь сами...

В интригующем молчании Тритузный вынул из кармана кителя какую-то бумажонку и, подойдя к столу, положил ее перед директором:

— Читайте.

Какое-то замусоленное послание на обрывке географической карты. Все притихли, пока директор изучал записку. Что-то веселое пробежало по лицу Валерия Ивановича, когда он дочитал до конца.

— Откуда это у вас? — спросил у Тритузного.

— Подкинули в дежурке.

— Вот так начинаются анонимки, — сказал Валерий Иванович, передавая бумажонку Ганне Остаповне. Как завуч она должна такие вещи знать.

— А грамматических ошибок! — ужаснулась та. — Ну и грамотей...

— Да что же там такое? — не утерпела Марыся Павловна.

Ганна Остаповна читать записку не стала, своими словами передала, что перед ними донос на Кульбаку: якобы он угрожал начальнику режима какой-то страшной мстью — чисто детская выходка...

— А прозвище? — нахмурился Тритузный. — Это мне еще прозвище терпеть от поганца?

— Какое же? — развеселившись, полюбопытствовала Марыся Павловна.

Ганна Остаповна, видно, сочла, что разглашать будет не деликатно по отношению к Антону Герасимовичу, но он, багровея от возмущения, выкрикнул сам:

— Саламур — вот как! Поганец, байстрюк камышанский, он меня саламуrom окрестил!

Учителя засмеялись.

— Что ж тут оскорбительного? — удивился постнолицый учитель математики. — Саламур — вы же знаете — это широко употребляемая среди наших рыбаков приправа к ухе. Правда, весьма острая, порой пересоленная, переперченная, но я, например, охотно потреблял, когда позволяла печень... Саламур — вовсе не ругательство, ничего в этом слове оскорбительного не вижу.

— Я тоже, — подхватил Берестецкий. — Это вы сами себе внушили, что в его представлении саламур непременно должен означать нечто ехидное, ужасное, невыносимое.

— Да и кому только они кличек не цепляют, — добродушно заметила Ганна Остаповна. — Меня вот, к примеру, за глаза Буддой зовут... Борис Саввич у них — Боцман... Марыся Павловна — просто Марыся или Крученая...

— Или еще Видзигорна! — засмеялась Марыся Павловна. — А мне это даже нравится.

— Вам нравится, вы и носите! — вспыхнул Тритузный. — А я не намерен. У меня законная фамилия есть, она в приказах фигурировала и в благодарностях за отличную службу... Тритузный — это Тритузный, а не какой-то Саламур!

Валерий Иванович, пряча улыбку, попробовал успокоить ветерана:

— Пощадите себя, Антон Герасимович... Это же мелочь, и стоит ли на нее так бурно реагировать?

— Просто гоголевская история в новом варианте! — с веселой миной воскликнула Марыся Павловна. — Там один другого гусаком обозвал, и уже судебную тяжбу затеяли на годы... Так, может, и вы подадите на Кульбаку в нарсуд? С детьми воевать — это просто смешно! — добавила она уже серьезно.

— Так пусть лепит что вздумается? — свирепо взглянул на нее Антон Герасимович. — А у меня семья! Сыновья, внуки! У меня подчиненные, кроме того...

— ...весь надзирательский состав! — шепотом подкинул коллегам Берестецкий, но Тритузный, как человек еще хорошего слуха, услышал, не оставил и это без внимания.

— А как вы думали? — сердито повернулся он к патлатому «наставнику по части изящных искусств». — Дисциплины без авторитета не было и нет. И если уж в таком заведении начальник режима будет Саламуrom, то они и вам скоро эти ваши патлы осмоят!

И опять вернулся к сыновьям: не пешки, мол, уважением пользуются, а выходит, и на них должно прозвище перейти?

— Ну-у, сыновья у вас орлы, — похвалила Ганна Остаповна для того, видимо, чтобы успокоить, но это только распалило в Тритузном его отцовский гонор.

— Потому что не цацкался с ними! — повысил голос Антон Герасимович. — Не слонялись с транзисторами по паркам до полуночи! И один и другой, они у меня знали: не придет вовремя домой — перья с него обобью!.. А этого, вишь, пальцем не тронь!

— Тут школа, — напомнил директор. — Бить или не бить — у нас этот шекспировский вопрос не существует, кулачного права не признаем... Не тумачами — теплом гуманности берите их, Антон Герасимович...

— А я что? Я же к нему, как к человеку, — горячился Тритузный. — И в карцер заходил, индивидуально беседовал, старался привести в чувство окаянную душу... А он, байстрюк, чем отблагодарил... Нет, проучить, проучить надо поганца! И я настаиваю... Я этого не оставляю...

— Хорошо, — сказал директор и, обращаясь ко всем, с улыб-

кой добавил: — Рассмотрение конфликта переносится на вечернюю линейку.

... А на вечерней линейке, когда горнист уже отрубил и замерли выстроенные по шнурочку ряды, директор вышел на середину плаца и, подняв в руке записочку, громко спросил:

— Чья?

Всеобщее молчание. Взгляды всех устремлены на тот обрывок географической карты (кажется, кусок Новой Зеландии), на то анонимное послание, в котором автор, конечно же, сразу узнал свое сочинение.

— Кто писал?

Тишина.

Директор повел взглядом по рядам, остановил его в самом конце, где отдельно стояли карантинники — еще не в форме воспитанников, еще в своем.

— Узнавай и не стесняйся признаться!

Снова тишина, молчание.

Потом кто-то спросил:

— А что в записке?

Валерий Иванович поднял перед рядами в развернутом виде тот клочок Новой Зеландии:

— В записке сообщается, что воспитанник Кульбака позволил себе неуважительно отозваться об одном из наших заслуженных сотрудников, придумал оскорбительное прозвище ветерану службы режима... Воспитанник Кульбака, это правда?

Из шеренги карантинников отозвалось глухо:

— Правда...

— Выйди из строя и повтори так, чтобы все слышали.

Кульбака нехотя выбрел на середину плаца и, набрав полную грудь воздуха, громко отчеканил:

— Правда!

— Стой тут! С тобой будет отдельный разговор. А кто подкинул записку?

Ряды безмолвствовали, воспитанники сами горели желанием выявить: кто? Автор, однако, не объявлялся. Директор вынужден был снова обратиться к своим легионам.

— Объясняю, — громко заговорил он в сторону карантинников. — Мы против ябедничества! Такие вещи у нас не практикуются. Наш коллектив считает, что доносы унижают человека. И что из доносчика, пусть даже маленького, со временем может вырасти разве подлиза и шкурник, а не тот, кто нам нужен, то есть верный товарищ, мужественный гражданин...

Что-то прошелестело по шеренгам — кажется, сказанное понравилось воспитанникам. Кто же не мечтает о верном товарище и не хочет сам быть таким! Но дело с места не сдвинулось, неведомый писака предпочитал остаться неведомым: замер, притих где-то в рядах и не дышал. У Кульбаки язык так и че-

сался сказать директору: «Я знаю — кто!», но директор, видимо, добивался, чтобы автор сам назвал себя, — он опять принялся терпеливо растолковывать и старшим и младшим:

— Если кто хочет сделать какое-либо заявление, сообщение, заметил что-то недостойное за товарищем (курил там в туалете или еще что), то правило у нас такое: выходи вот здесь, на линейке, и перед лицом товарищей открыто говори. Будь ты хоть третьеклассником, а хочешь сказать слово критики о восьмикласснике, смело режь ему правду в глаза!

— А потом он тебе задаст! — бросил вполголоса кто-то из малышей.

— Мести не бойтесь! За мсть при открытом заявлении... Да и не будет мести. Это было бы бесчестно. Весь коллектив тебе защита... Но кто же написал? У нас, конечно, есть возможность выявить, но мы хотим, чтобы автор сам признался. Чтобы нашел в себе мужество. Итак, еще раз спрашиваю: чье творение?

И тогда из ряда карантинников кто-то пискнул тоненьким голоском:

— Мое.

— Ты, Карнаух? Выходи на люди.

И вот он, птенец лопухий, едва ли не самый маленький из всех, выходит бледный от испуга, оторопело останавливается перед директором. Неухоженное, несчастное существо с остреньким подбородком, с остреньким, птичьим носиком. Директор какое-то время смотрел на него с молчаливым сожалением, потом, медленно разрывая записку на мелкие клочки, повернулся к Кульбаке:

— Знаешь такого?

— Еще как!

— А руку мог бы ты ему пожать?

— Руку? За что?

— За мужество. За правдивость. За то, что набрался духу признаться.

Кульбака без восторга взглянул на совершенно потерянного Карнауха, своего шашечного партнера, так неудачно дебютировавшего на ниве доносов, и только после этого через силу выжал из себя:

— Мог бы.

— Тогда иди и пожми.

Потоптавшись, помедлив, преодолевая себя, Кульбака шагнул к Карнауху, и, когда тот сторожко, словно боясь, что его укусят, протянул навстречу свою грешную руку, Порфир цепко схватил ее и на утеху публике дернул так, что Карнаух чуть землю носом не вспахал.

Дружным смехом ответили ряды на эту выходку Кульбаки. Ничего не скажешь — артист!

А между тем весна все ближе, ближе... Вечером, когда учителя расходятся по домам, порой слышатся вскрики птиц в темном оживающем небе: журавли или дикие гуси гомонят, сквозь тьму летят на север. Остановятся тогда учителя группкой прямо посреди улицы и, притихнув, слушают голос весеннего неба, провожают летящий, словно исполненный неземной страсти гомон... Чуть слышный клекот птиц в ночной выси, каждого из них он трогает по-своему, чем-то тревожит и зовет куда-то, зовет...

— Наверное, и наши мучители после отбоя слушают, затаясь, этот перелет,— говорит Марыся Павловна коллегам.— И разве не парадокс нашей учительской работы: мы стремимся заронить им в душу красоту свободы и в то же время держим их под замком ограничений... Это последовательно? Имеем ли мы право лишать кого-либо музыки неба ночного?

— Так что же вы предлагаете? — спрашивает тщедушный, изнуренный болезнями математик.— Снять дежурных, пусть мальчишки разбегаются? Как те цыгане, что, только почуяв весну, запрягают свои полторы клячи и в дорогу...

— А я и тех понимаю. На меня и саму иногда такое вот цыганское находит... Такое, что хоть бы и нарушить будничное наше расписание... Влюбиться бы в кого-нибудь до беспамятства, что ли...

— А почему бы вам не влюбиться в меня? — шагая рядом, говорит Берестецкий, который давно уже увивается вокруг Марыси, правда, больше вроде бы в шутку.

— У нее жених есть,— напоминает Ганна Остаповна.— Статный, бравый, с мотоциклом. На край света готов везти Марысю, пожелай она только фильм посмотреть. А вы, Артур Филиппович... Чем бы вы могли украсить ее жизнь?

— Да ведь он на гитаре играет, и поет, и рисует,— вступилась за длинноволосого красавца Килина Устимьевна, полногрудая жена учителя математики (она работает в школе кухаркой).— У Артура Филипповича ко всему талант, он не то что мы: только и думаем, где бы люстру или новый гарнитур раздобыть...

— Примусь и я за орнаменты,— отозвался муж Килины Устимьевны.— Художник всегда в цене... Дайте мне краски — квадратуру круга нарисую для вашей выставки...

— Нарисуйте мне эту ночь,— игриво обращается к Берестецкому Марыся Павловна.— Настроение это, и ночную музыку неба, и птиц летящих, что нам не видны... Полпланеты вот так в темноте пролетают — разве ж не диво? Интуиция, или родовой инстинкт, или что их там ведет?

И потом дальше идут по широкой улице, меж уснувших домишек, увитых виноградом, минуют фонарные столбы, на которых лампочки лишь кое-где горят, а те, что не горят, — разбиты... Это уже не их воспитанников работа, те из-за каменного забора сюда не достанут. Тут, наверное, развлекались чистенькие да примерные из совхозной школы, в которой учатся и дети Валерия Ивановича. А может, и вообще дети здесь ни при чем, может, какие-то взрослые лоботрясы таким способом отводили душу после чайной...

— И почему не лбом о стену, а камнем по фонарю? — не выдержала Килина Устимьевна. — Поломать, разбить — откуда в человеке такое?

— Пещерный инстинкт, наверное, иногда пробуждается, — вздохнула Ганна Остаповна. — Он живуч.

— А Марыся Павловна дерзнула во что бы то ни стало переиначить человеческую природу, — иронизирует Артур Филиппович. — Угломонить взялась то разрушительное, агрессивное, что, может, в самих генах заложено... Но ведь не так это просто! Она к нему с идеалом, со светильником в темные недра его души, а навстречу — маленький Герострат со скуластой мордой...

— Циник вы, — говорит Марыся Павловна. — Только над кем смеетесь? Зачем вам с таким багажом в школу было идти?

— А чем я хуже других, — не обидевшись, добродушно отвечает Берестецкий. — Изящным искусствам учу ваших правонарушителей, еще и шагистику мне подбросили — тоже не отказываюсь... Дежурю, стенгазету выпускаю, дневники веду. Вы вот никак не справитесь со своим Кульбакой, не можете одолеть его упрямство, неконтактность, а я его своими орнаментами уже заинтересовал... Искусство — наилучший педагог!

При имени Кульбаки Марысю вновь охватывает чувство горечи. После недавней стычки камышанский упрямец не только Тритузного, но и ее, Марысю, всячески игнорирует, встречает хмуро, глядит исподлобья, словно бы и на нее перенес обиду. Неконтактность — это даже мягко сказано... Вот и сегодня: пыталась растолковать Кульбаке, что поступок его недостойный, что выпад против начальника режима недопустимый, но на все свои аргументы только и слышала глухое, непримиримое: «А чего он...» В институте мечтала об испытаниях да трудностях педагогических, вот и вымечтала, уж теперь-то надо бы больше, да некуда... Ох и попался орешек! И как только природа умеет лепить характеры, в каких бесчисленных вариациях творит она натуры, нервные организации, темпераменты. А ты берешь на себя смелость стать ее сотворцом, берешься души формировать!.. Не слишком ли это самоуверенно с твоей стороны? Переиначить человека, изменить в нем то, что в изначальных первичных формулах запрограммировано и, может, лишь в таком виде предопределено? Вмешаться, улучшить, одолеть, даже в самом

диком уменьшить «степень зверства» — ты действительно посягаешь на это?

Вот наконец и директорский коттедж, и стоит уже у калитки в наброшенном на плечи платке Зинаида Петровна, высматривает своего Валерия Ивановича. «Пани директорóва», как ее называет Марыся. В школе все знают, что она ревнует своего ненаглядного к Марысе Павловне, и поэтому, когда возвращаются домой и выпадает так, что Валерий Иванович идет вместе с другими, тогда Марысю подстрекают, чтобы взяла его под руку, а ей самой тоже немалое удовольствие пококетничать с директором на глазах у Зинаиды Петровны, которая — пусть это будет и за полночь — не спит, выслеживает из-за калитки, поглядывает оттуда с ревнивой зоркостью. Но сегодня Валерия Ивановича среди учителей нет, и Зинаида Петровна этим встревожена.

— А где же мой? — спрашивает она и только тогда успокаивается, когда ей поясняют, что остался на ночное дежурство, потому что у биолога разболелась печень, и Валерий Иванович решил его заменить.

— Но я ведь тут, Зинаида Петровна, так что вы можете быть спокойны, — весело напомнила о себе Марыся Павловна.

— Погодите, погодите, и вы еще узнаете, что такое ревность, — грустно отвечает ей «пани директорóва». — Это такой зверь, что, пожалуй, до старости пощады человеку не дает.

— Пережиток, — небрежно бросает Артур Филиппович, — эмоциональный атавизм.

— Хорошо говорить вам, холостяку, а вот как закрутит голову какая-нибудь самодеятельная из Дома культуры... Вот и я: хорошо ведь знаю, что Валерий Иванович себе не позволит, а спокойной все-таки быть не могу!.. Только представляю, как это она, ваша Видзигорна, поведет на него очами, как крутнется перед ним на одной ноге, так и увижу себя словно со стороны: растолстела, обабилась...

— Зинаида Петровна! Без самоуничижения! Вы красавица! — твердо сказал математик.

— Была, — прикрывает женщина цветастым платком лицо. — А сейчас вот как разнесло меня, хоть и хлеба вовсе не ем.

— Здесь от самого воздуха полнеют, — улыбнулась Ганна Остаповна. — Только Валерий Иванович почему-то у вас высох...

— Зато он на Шандора Петефи похож, правда же? — веселеет Зинаида Петровна. — Сходство это еще в общежитии наши девчата замечали... Студенческие весны, любовь, ревность, словно вчера все это было... Аспирантуру ему предлагали, если бы пошел — давно бы уже стал кандидатом наук. А здесь?

— А здесь мы все его любим, — громко сказала Марыся Павловна. — Разве это меньше, чем стать кандидатом наук?

— Загоняли вы его там, из-за ваших стриженных — и на своих времени не остается... А за ними тоже нужен глаз да глаз... — тихо жалуется Зинаида Петровна. — Таня еще ничего, а Максим чем дальше, тем хуже. За уроки его не усадишь, на тройки съехал, только транзистор у него на уме, да кино, да еще резиновую лодку купите... Ужасные сцены устраивает. Неужели это она и есть, подростковая буря?

— Перемелется — мука будет, — успокаивает Ганна Остаповна.

— Вымогатель, эгоист уже в нем пробивается — вот что страшно, — продолжала делиться своим наболевшим с присущей ей откровенностью Зинаида Петровна. — Прибежал, поел, дай денег — бегу в кино. Желание одно: хлеба и зрелищ... А попробуй не пусти — что он тогда тебе закатит... Я уже и от Валерия Ивановича скрываю, потому что он такой нервный стал, возвращается из школы вконец измотанный, прямо жаль его.

— Зато на работе — спокойствие олимпийца! — заметила Марыся. — И с женщинами — по-рыцарски... Нет, какая-то все же влюбится!

Зинаида Петровна понимает, что это шутка, однако... Чем мерт не шутит! Она волнуется. Если бы днем, было бы видно, как под цветастым платком яблочки щек горят, полыхают. Вскоре «пани директорова» остается одна у калитки со своими озорными думами. Дальше идут учителя, и уменьшается их группа, то один, то другой отделится, свернет к своему дому, и, наконец, остаются только Ганна Остаповна и Марыся (она у Ганны Остаповны снимает квартиру), да еще, как всегда, навяжется в провожатые Берестецкий, и учительницы вынуждены будут выслушивать веселую его болтовню, разные «пикантерии» (его выражение), которых ему хватит на всю дорогу, пока не возникнет из темноты у двора Ганны Остаповны высокий черный тополь.

— «Нещасне дерево, Шевченкова любове!..» — скажет Ганна Остаповна строкой поэта и, вздохнув, коснется рукой тополя, и сразу почувствуешь, что это вздохнула солдатская вдова.

Снизу, от реки, тянет пряной весенней свежестью, и отчетливо виден там, на берегу, меж вербами, влюбленной пары силуэт. Глубинно воркует, гомонит вода, и снова отзывается птичьим перекликом небо ночное, звездная высь, полная жизни и загадочностей извечных... Шум течения словно сливается с шумом невидимых крыльев вверху, и во всем этом есть что-то волнующее, и радостное, и щемящее...

— Друзья мои, ощущаете ли вы течение времени? — будто издали доносится тихий голос Ганны Остаповны. — Недаром говорили когда-то: река Времени... Вот так течет оно мимо вас, и вы на что-то надеетесь, а что-то неминуемо теряете, и душу

нашу охватывает грусть от невозможности остановить или хотя бы задержать это неумолимое течение... Совсем оно вам не подвластно, оно — надо всем, только и того, что ты явственно его ощущаешь...

Х

Когда Порфиром еще занимались родительский комитет и комиссия по делам несовершеннолетних, Оксана, случилось, бросала им, будучи в гневе и отчаянии:

— Отправьте, отправьте его, мучителя, да только в такое заведение, которое и днем и ночью усиленно охраняется. Не то сбежит!

И как в воду глядела. Пока, правда, ее Порфир телом еще здесь, в спецшколе, но дух его витает далеко, для полета воображения ни будки ведь, ни ограды не существует.

К разным способам бегства обращается мысленно Кульбака. То перебрасывает якорь через ограду и с его помощью оказывается на воле, то совершает подкоп из подвала кочегарки и оттуда подземным ходом выбирается в степь. А то еще в резиновом колесе выкатывается с территории, за автобусом вслед. Иногда притаится в кузове, нагруженном табуретками, изготовленными в школьных мастерских, правда, на проходной, при проверке, беглеца непременно обнаруживают и вахтер приказывает: «А ну, вылезай, человече! Ты ж таки живая душа, а не табуретка!» Еще он нагибал чуть не до земли упругий молоденький явор, один из тех, что растут возле фонтана на внутреннем дворе, и деревце, отпружинив, выстреливало Кульбакой, швыряло через ограду прямо в объятия крапивы, дерезы и воли...

Однако все это были только дерзостные порывы, мечты и фантазии, рожденные в карантинных буднях. В действительности же хлопец с самого утра моет полы в длинном коридоре, где, сколько ни убирай, все равно будет полно мусору, грязи и песка, как только промчит здесь правонарушительная орда. Засучив брючонки, борется за чистоту хлопец, шваброй надраивает полы, будто палубу готовит к смотру какой-нибудь новичок матрос. Старается, аж лоб в росе. Мама подходит и через плечо заглядывает в страшном удивлении: «Неужели это мой сын? Тот, что дома хату не подметет, ведро воды принести его не допросишься? И это он у вас — без угроз, без принуждения — полы моет? Нет, это не мой Порфир! Может, это чей-то Сашко или Микола!»

Ясное дело, мама тоже лишь в воображении хлопца стоит над ним, в своем великом и радостном удивлении. Не приходила еще, а может, и была, да не пустили, потому что право на свидание

с нею тут надо заслужить. Во имя этого, собственно, и трудится Порфир. Ревностно работает сам, не дает лениться и своему подручному, в роли которого сегодня выступает Карнаух, этот неудачливый Навуходоносор: он у Порфира на четвереньках ползает по полу с тряпкой, и малейшая попытка уклониться от честной работы не обходится ему без нагоняя от камышанца, а то и дружественного щелчка по лбу. И это совсем не расплата за анонимку, за нее Кульбака мстить не стал. После памятной линейки, когда Кульбака, отбив еще отдельный разговор с директором, опять очутился в карантинном обществе, он словно и не замечал бывшего своего побратима, сидевшего на кровати в тяжелой подавленности. Лишь перед отбоем кинул Порфир в его сторону почти печально:

— И что за народ — хуже людей... За то, что трижды в шашки его обыграл, нужников ему наставил, он уже донос на тебя сочиняет...

Несовершенна, мол, природа людская. И больше на эту тему разговоров не было. Ибо какой ему еще кары, этому несчастному Карнауху, когда он и так уже судьбой наказан, когда от него даже мать-алкоголичка отказалась... И все же в шашечный кружок Порфир не стал записываться, хотя раньше и подумывал об этом. Много тут разных кружков, оно бы, конечно, интересно попробовать и в мотокружок, и в хоровой, но пока что Марыся Павловна, даже не спрашивая у Порфира согласия, записала его в драматический, то есть в артисты: у тебя, мол, такая богатая мимика, такая смешная жестикуляция, ты любого можешь скопировать, изобразить... А по мнению Порфира, уж лучше бы он в мастерских табуретки делал, день бы и ночь их сбивал, лишь бы только поскорее отсюда, к маме в Камышанку... При случае он, конечно, не откажется что-нибудь отколоть, как на том вечере, когда хлопцы, переодетые в девчачьи сарафаны, пели частушки, и вдруг один из них (это был сам Кульбака), будто «позабыв» слова и то, что он «девушка», задрал при всей публике сарафан и полез в карман брюк за шпаргалкой...

А пока что полы мой, после чего во дворе, возле клумб, — под присмотром инструктора — продолжишь свою трудовую деятельность. Буйная правонарушительная ватага, гроза садов и парков, сейчас сама тут садовничает, ползая по клумбам, аккуратно цветы высеивает да высаживает в сырую землю кусты роз. Инструктор Василь Акимович, сам работяга (руки всегда в земле), с дубленным от солнца и ветра лицом, терпеливо показывает, как что делается, и, если стараешься, умеет твою прилежность оценить. Кульбаку тоже отметил подбадривающим кивком:

— Есть в тебе трудовая жилка... Наверное, не раз матери на виноградниках помогал?

— Было, — говорит Порфир, хотя ничего и не было.

Здесь хорошо: солнце пригревает, земля пахнет, а ты в нее, теплую, влажную, зернышки семян швырь, швырь или бережно втыкаешь в ямку корешок розы. Сейчас это просто колючка, а потом...

— Только ведь вырасти не дадут,— говорит Порфир,— такая орава — все вытопчет.

Инструктор улыбается:

— Нет, не будет этого... Порой даже удивляюсь: те, что в парках клумбы топтали, обрывали цветы, здесь за все лето ничего не тронут. Сами еще и поливают... Ты на себе проверишь: если сам посадил — уже не вытопчешь, не поломаешь. Рука не поднимется: ведь оно уже вроде бы твоё творение...

— Интересно, а если бы дикий мак тут посеять? — спрашивает Порфир.— Он бы принялся? Или воронец? (Редко где увидишь тот воронец, а дедусь как-то показывал Порфиру.)

— Все примется, с любовью бы только сажать,— говорит инструктор.— Женьшень и тот вырастет, если душу вложить...

Разная здесь публика вокруг Порфира. Тот из милиции сюда передан, того сами родители привезли, потому что на товарняках аж до Баку гонял, а может, и выдумывает, может, дальше Геническа и не бывал. А Гаркавенко вот этот в детдоме вырос, его мать в Караганде, срок там по приговору отбывала — за растрату, кажется. Школа помогла мальчику разыскать маму, заказали с Карагандой телефонный разговор, спросили разысканную:

«У вас сын Василько есть?»

И оттуда, издалека, через тысячи километров долетело чуть слышное:

«Где-то есть».

«Так вот он возле нас стоит... Передаем ему трубку».

Взял Василько трубку и впервые в жизни, из далекого далека, из черных степей карагандинских, услышал материн голос:

«Здравствуй, сынок... Это я — твоя мама... Работаю на шахте... Живем нормально... У тебя теперь сестричка маленькая есть...»

«Приезжайте, мамо! — дрожащим голосом кричал, как в пустоту... — Я хочу увидеть вас!»

И через несколько дней... мать приехала! Это было зимой, в страшную метель. Не побоялась, однако... Такой доброй, душевной оказалась, плакала над сыном, не расставалась с ним. Уговорили ее взять Василька к себе, и хотя мать немного колебалась поначалу, потому что не знала, как отчим встретит пасынка, все же согласилась, пообещала на следующий день прийти, забрать Василька навсегда.

Как он ждал! Как готовился к отъезду! С товарищами и учителями уже попрощался...

А она... не пришла. Сбежала! Он не верил, кричал, что она, наверное, в аварию попала, под автобус, пришлось в милицию обратиться, по больницам справки наводить... Да только напрасно все. Исчезла, пропала, бросила дитя, и вот он, ее Василек, грустный, замкнутый, ходит сейчас с нарукавной повязкой дежурного и лишь изредка, в минуты откровенности, какому-нибудь из ближайших товарищей изливает свою боль:

— Не понимаю, чего она не пришла... Я ведь ей понравился... А что новая семья, так я бы нахлебником не был, уже могу сам на себя заработать, имею ведь разряд...

Чувствуется, что и сейчас он не питает к матери зла, а только больно ему за нее, горько и стыдно, что она так поступила... Лучше бы уж не приезжала, чтоб никто не знал, что у него мать есть...

Этот, конечно, из школы не побежит. Он бы готов и после восьмого класса тут остаться, но ведь не дозволено... Разве что девятый откроют, ведутся будто бы такие разговоры...

А вот Швачко-белобровый, он, как и Порфир, с волчьим помыслом за ограду поглядывает. Швачко уже однажды пускался в бега, только через три дня его поймали и привезли сюда, и он теперь, нехотя ковыряясь на разрытой клумбе, дает хлопцам очень ценные советы, которыми сам почему-то воспользоваться не смог.

— Главное, домой не беги,— шепчет он Порфиру.— Как раз домой эвакуатор прежде всего и нагрянет, у них правило такое...

— А что такое эвакуатор?

— Да это ж тот, что ловит нас, он в штате, ему за это деньги платят!

— Ну уж если бы я убежал, то черта с два бы им в руки дался,— говорит Порфир, ухмыляясь.— Знаю, где спрятаться... А я все равно убегу, убегу, вот чтоб мне вчерашнего дня не видеть,— шутливо клянется он.

— И не забудь одежду сменить,— советует Швачко.— Еще и брови сажей натри, чтоб сам на себя похож не был... Потому как приметы твои по всем милициям пойдут...

Все это Порфир мотает на ус, может, и пригодится, хотя если уж он вырвется отсюда, то пусть даже и сто Саламуров бросятся в погоню — останутся в дураках. Наперед уже обмозговал: где первую ночь проведет (скорее всего, это будет в совхозных теплицах), потом в камышах переночует, затем на лиманах станет промышлять, а там, глядишь, и кавуны созреют в совхозе, винограды нальются — будет где пастись. Домой он и ногой не ступит, чтобы ловцам в руки не попасть, не наскочить на их засаду. Да к тому же и неизвестно, как мама встретит беглеца.

Иногда, бывало, вернешься из плавневого похода, а она, та, что ночь не спала, с глазами красными, опухшими, встречает тебя и вместо приветов, с криком «Черным сделаю!» в ярости

бросается с ремнем на тебя... Ремень бы еще куда ни шло, да вот пряжка медная... Как припечатает раз и другой, долго потом носишь на заднем месте отпечатки бляхи — мамину татуировку... Так что бежать можно куда угодно, только не домой. Разве что из кучегур подкрадется Порфир при случае, чтобы хоть издали посмотреть на маму, когда она с гектарницами идет на работу или, привычно согнувшись на участке среди камышовых снопов, на самом солнцепеке, колдует над своими виноградными младенцами... Вечером она, конечно, будет возле Дворца культуры, и там Порфир сможет ее увидеть, да, собственно, вот он уже и отсюда маму видит: приодетая, принаряженная, с кем-то разговаривает смеясь. Как она похорошела за время его отсутствия! И голос ее явственно слышен Порфиру: «Отдала своего тирана в спецшколу, хоть немного теперь передохну!.. Верно говорят: малые детки спать не дают, а подрастут — не дают и дышать... Избавилась наконец, теперь и мне право-воля!»

В камышах станет жить Порфир, в своей камышовой державе. Среди птиц и сам будет как птица. А если захочется в кино податься, в совхозный клуб, сажай лицо разрисует, такие «приметы» на себя наведет, что станет как сатана, ни один дружинник не узнает... А хлопцы не выдадут, там не такие ябеды, как здешний Карнаух, они не продадут... Ну, а придет осень, там видно будет. Может, опять на лиманах останется, браконьеров с дядей Иваном ловить. А может... Одним словом, только не здесь. За этой оградой его долго не удержать...

Вечером Порфир дает хлопцам представление: показывает нафантазированные сцены из собственной жизни, смешно изображает, как гоняются за ним камышанские дружинники во главе с самим доктором наук — директором опытной станции (кажется, Кульбака и сам верит, что происходило это в действительности!). Зрители видят, как ловят его, вяжут и под плач всей Камышанки отправляют в это спецзаведение, ну и, конечно же, все завершается опять-таки его отчаянным рыболовством. Для этой сцены у Порфира уже и слов нет; разгорячившись, он переходит на одни восклицания да жестикуляцию, глазенки его сверкают, компания только и слышит рыбацкое, вдохновенное:

— Джик! Вжик! Бульк! Бултых!

И как вершина всего:

— Дерг — и есть! Дерг — и есть!

Скуластое лицо его при этих «вжик» и «джик» расцветает, играет каждым живчиком, глаза, сияя, стреляют туда-сюда вслед за рыбиной, которая уже словно бы тут, в карантинной, выскакивает из воды, в ясную ночь при луне резвится, играет... Еще раз услышат товарищи, как нырял далеко, как по дну ходил да блесны у курортников откусывал, — только слушай да всему этому верь... Таранки он целые кучи за лето навялит и засушит, и матери хватит и соседям, еще и знакомым из совхоза и на-

учной станции раздаст щедро, потому что для них таранка — это главная пробивная сила, особенно если хочешь диссертацию защитить, или где-то что-то раздобыть, выканючить, выбить наряд на запчасти или на шифер, мешок тарани не забудь прихватить, отправляясь в командировку, — вернешься с победой...

— Не таранка, выходит, а таран? — раздражается остротой Синьор Помидор, и тут уж они, отбросив распри, хохочут, довольные оба.

Наконец настает тот день — должен же он был когда-нибудь настать! — когда на торжественной линейке, под музыку духового оркестра, переводят Порфира в высший ранг, карантину конец! Ведь не болел, не сбежал и правила назубок выучил, весь майдан слушает, как звонко отчеканивает он перед коллективом заповеди воспитанника:

— Не умеешь — научат, не захочешь — заставят!

— Безотказно слушайся воспитателей, дежурных по режиму и членов совета командиров! («Ох, сколько вас на нас!» — хотел бы при этом добавить Порфир.)

— Будь правдивым и почтительным! (Это еще ничего...)

— Начатое дело доводи до конца! (А что именно доводи, это позвольте ему держать в тайне...)

И конечно же, его наилюбимейшая заповедь:

— Не журишь! Не унывай!

Порфир ее выкрикивает лихо, с наслаждением, — вся выстроенная братия даже веселеет...

Другое общество будет теперь у Порфира, и он сам становится будто бы другим, словно бы подросток сразу. Посвятили! Впервые ведут его после карантина на третий этаж спального корпуса, куда раньше он не имел права и ногой ступить. Вот возникает перед ним окно, огромное, высокое, с поднятой фрамугой — из такого полсвета видно! Забыв обо всем, Порфир выскользнул из-под руки Боцмана, то бишь Бориса Саввича — воспитателя, и, взвизгнув от счастья, бросился к окну, припал к нему и молча, жадно куда-то смотрел, смотрел... Увидел то, что только и можно увидеть отсюда, с верхнего этажа, — снизу оно стеной ограды закрыто. А когда спросили, что за диво он там увидел, мальчишка чуть слышно выдохнул в тихом беспредельном восторге:

— Камыши!

XI

Итак, спать он будет теперь здесь, на третьем этаже, где цветы в комнатах, занавески на окнах, кружева на подушках — все белоснежное, даже отпугивает чистотой. Вечером перед сном — туалет вечерний, должен бежать со всеми в ногомойку

(какое слово смешное!), помоешь ноги, рушничком вытирай — каждому рушничок для лица и для ног отдельный, персональный. И тогда уже тебя дальше по команде передавать станут. Тут все время от кого-то и кому-то тебя передают, из рук в руки. Перед самым сном воспитатель должен всех вас еще раз пересчитать и только тогда, умытых, чистеньких, обязательно в лежащем положении, передаст старшему по режиму. Ногомойку обойти не смей, без нее в спальню — в это накрахмаленное, белоснежное царство — не имеешь права войти.

Ну а окна — прямо в небо, прямо на волю, на Днепр! Оказывается, школа расположена на мысу, врезающемся в камыши, вода заливчика поблескивает почти у самой ограды, виден между верб школьный причал, лодка лежит, еще не спущенная, греется на взгорке кверху дном, и — как греза грез! — потянулись вдоль залива куда-то в сторону гирла камыши, опустив прошлогодние метелки... Пусть вылинявшие после зимы, но высокие, густые, пошли и пошли в даль понизовья, вольно и таинственно раскинувшись и как бы соединяя хлопца с родною его Камышанкой.

Однако:

— Марш в ногомойку!

Ногомойка и душевые — это как клуб, насмотришься тут на этих ангелочков. И не такие уж они и ангелочки, если приглядеться. Те же самые, которых на линейке видишь аккуратненькими, подтянутыми, которые командиров слушаются, команды чеканят, а к мастерским так и вовсе бегут наперегонки (для многих там куда интереснее, чем за партой!), они в ногомойке сразу дичают, стоит только воспитателю куда-нибудь отлучиться, как уже толчея, ссора:

— А ну, отваливай от крана, робот!

— А то что?

— По клыкам захотел? Как врежу, так и часовой мастер не соберет!

Двое малышей завелись, как петухи:

— Не брызгайся, не то так и двину!

— А ну, двинь!

— И двину!

И уже наскакивают друг на друга, пока кто-нибудь из старших не разнимет их внушительным тумакom.

Старшие, которым скоро выпуск, ведут себя сдержаннее, с оглядкой, ибо кому же охота после спецшколы да попасть еще и в спецПТУ, — они того спецПТУ как огня боятся: там режим еще круче... Иное дело морское училище, но ведь туда с плохой характеристикой не суйся. Вот и стараются, нагоняют баллы... Только не все, есть и такие, как Бугор, у которого вся надежда на кулаки. Переросток с бычьей шеей, весь в татуировке, он тут верховодит, в ногомойке. Не успел Порфир опомниться, как Бугор уже стоял над ним, таращась нахальными глазами:

— Еще не «купанный»? А Нептун что велит?!

И как был Кульбака в одежде, так и втокнули его гуртом в душевую кабину, хохоча, подперли спинами дверь, а сверху пустили во всю мочь струю холодной воды! Ладно хоть не кипяток! Выкупали, выбанили, а выпустив, предупредили, чтобы жаловаться не смел, а если спросят, где промок, говори, что сам ненароком под струю попал...

Новичок им для потехи, это уж так заведено.

Бугор и его прихвостни, окружив Порфира, устроили ему экзамен:

— Урок по-нашему как будет?

Не знает Порфир, но ему подсказывают:

— Хождение по мукам!

— Школяр на экзамене?

Снова молчит и снова слышит:

— Живой труп!

Двойка у них — «Обыкновенная история», новый воспитанник — «Подкидыш», часовой — «Непрошенный гость», пятерка — «Неуловимый Ян» или «Фата-Моргана». Учись, парень, должен уметь говорить на этом потайном языке.

Состязаясь в выдумках, наперебой загадывают Порфиру разные непристойные загадки и тешатся, что он никак их не может отгадать.

Потом Бугор, выглянув из ногомойки, не идет ли кто, начинает вполголоса напевать свою блатную песенку:

Когда шумит ночной Марсель,
Моя чувиха пьет коктейль,
А я сижу, гляжу в окно
И пью шанпанское вино...

И без передыха заводит другую, и вовсе уж бессмысленную:

Лап-тап-туба!
Он резину жует,
Тянет горький самогон через соломинку.
Лап-тап-туба!
Лап-тап-туба!

И это бессмысленное «лап-тап-туба» хором, но приглушенно подхватывают другие голоса, а несколько голышей, взявшись за руки, еще и пританцовывают, как дикарята из какого-нибудь африканского племени.

— А ты почему не подпеваешь? — Бугор строго пялится на Кульбаку.

— А мне не нравится.

— Ух ты ж, меченый атом! А ну еще раз его под душ!

Хорошо, что в эту минуту проходит по коридору дежурный Григорий Никитович, который обычно сидит в задумчивости

у тумбочки в конце коридора. С приближением дежурного хлопцы унимаются, даже слишком рьяно плещутся возле умывальников, словно соревнуются в наведении чистоты. Но стоит дежурному пройти, как они снова сбегаются в круг и опять за свои тары-бары, просят Юрка-цыганка из Мукачева рассказать, как это он коней умел добывать. Цыганенок только сейчас такой образцовый и командир отряда, а в прошлом давал концерты... Однажды даже у циркачей коня увел, правда, на этом и попался... Горячая цыганская кровь и тут дает себя знать: как увидит хлопец коня в степи, сразу задрожит весь, готов к нему без памяти бежать...

И впрямь «меченые атомы»! Есть среди них такие, что убегали, даже по нескольку раз. Стахура, вот этот сорвался было в сильнейшие морозы...

— Только и приключения,— смеется он,— что на угольной платформе до Кривого Рога прокатился, пальцы отморозил...

Даже малышок худущий, по прозвищу Хлястик, и тот пытался через забор перелезть, потому что о щеночке очень соскучился...

— Не умеете вы убегать,— авторитетно поучает Бугор.— Я бы уж если дал стрекача, то прежде всего мелкокалиберку где-нибудь раздобыл или пистолет. Маску карнавальную на глаза, и в универмаг, к девушкам-продавщицам: «Выкладывай кассу!» А уже с кучей денег — куда хочешь!

Среди всех «меченых» Бугор наиболее «меченый», из душевой выходит набычившись, играет мускулами, дает меньшим рассмотреть, как густо он татуирован: на груди у него наколата русалка, которая, по его словам, ночью шевелится. Бугор якобы сам ее накалывал, заверяет, что мог бы и тут мастерскую тайную для малышей открыть, если бы ему только тушь раздобыли да две иголки...

Появляется воспитатель Борис Саввич, и все сразу меняется, потому что этого воспитателя хлопцы побаиваются, а некоторые и любят, он с ними словно бы полотоварищ, удивительные истории рассказывает им о Курилах, где служил моряком.

— Вишь какие чистенькие, культурные, просто загляденье! — весело говорит он.

Умытых, прихорошенных ангелочков, наконец, ожидает спальня, дежурный по режиму принимает хлопцев от воспитателя под расписку. Марыся Павловна тоже тут, она показывает Порфиру, где его кровать.

— Вот эта? — Он стоит перед кроватью радостно-оторопевший, даже несколько растерянный от этой прямо-таки отпугивающей чистоты. Простыни никем до тебя не тронутые, пушистое одсяло в цветастом узоре, белоснежная подушка... И особенно эта кружевная, сияющая, как пена морская, накидка на ней, к которой даже и прикоснуться боязно.

— И это мне тут ложиться?

Марыся Павловна улыбнулась:

— Тебе. А кому же?

— Я думал, каким-нибудь херувимчикам с крылышками...

— Нет, тебе, грешному,— подтверждает Борис Саввич.

Порфир все разглядывал эти накрахмаленные кружева, потом сказал решительно:

— Не лягу.

— Так всю ночь и прстоишь у кровати? — подняла брови учительница.

— Я вот здесь!.. В курене!

С этим возгласом Порфир — не успели воспитатели и ахнуть — юркнул под кровать.

— Кульбака, что за фокусы... Вылезай!

— Не вылезу... Мне тут сподручней!

Было мороки, пока вытащили его оттуда и со смехом уложили наконец в то белоснежное. Укрывшись, лежал, похихикивал, точно от щекотки, так ему непривычно было, хоть и дома не всякий же день замурзанный ходил. Мама чистоту любит. Всегда требовала, чтобы грязи в хату не наносил, в хате у нее рушнички, а летом еще и свежей рогозой полы устланы.

Уже перед тем как расстаться на ночь с воспитателями, Порфир неожиданно спросил:

— Что такое бумеранг?

Удивленная Марыся Павловна не смогла сразу ответить.

— Это пусть Борис Саввич объяснит,— перевела она взгляд на коллегу.— Я уверена, он лучше меня в этом разбирается...

Борис Саввич уловил в ее голосе нотку ревности; иногда Марыся Павловна даже завидует тому, что он хоть и нелюдим, но с воспитанниками «контактный», хлопцы в свободное время так и вьются вокруг него, в будущем, пожалуй, половина их на Курилах окажется... И про бумеранг Борис Саввич кое-что слышал. Это такой, мол, метательный снаряд у австралийских племен, в виде согнутой палки...

— Лук — не лук... Имеет свойство: после полета к тебе сам назад возвращается...

— Полетит и к тебе опять прилетит?

Есть работа для воображения Порфира! Можно и самому на плавнях вырезать такое из молодого ясеня, согнуть и...

— Вот так и в жизни,— говорит Марыся Павловна.— Если ты зло кому причинил, то рано или поздно оно к тебе же и вернется...

— А добро?

— Возвратится и добро... А что зло вернется — это наверняка... Давнее или недавнее... Большое или малое... Даже в мыслях содеянное — и то отплатится, возмездием падет. Вы согласны со мной, Борис Саввич?

— Что принцип бумеранга действует в жизни? Так это же, собственно, то, о чем в народе издавна говорят: не рой другому яму — сам в нее попадешь... А что причиненное зло с закономерностью бумеранга должно к злоумышленнику вернуться, так это, я думаю, и наука со временем объяснит... Неведомые биотоки откроет или еще что-то в этом духе.

Дежурный по режиму, приоткрыв дверь, выкрикивает властно:

— Спокойной ночи!

Это касается всех. Воспитатели тоже должны оставить своих подопечных. Свет выключается. Наступает послеотбойная тишина.

Однако новые соседи Порфира и после отбоя еще слышат из-под одеяла шепот камышанца, его приглушенное, счастливое, произносимое самому себе:

— Джик! Вжик! Дерг — и есть!

Рыбу удит ангелочек...

Пока рысак сновидений не подхватит его и не помчит бешено в степные просторы, по грудь утопая в буйных цветущих травах...

XII

Автобус летит в степь, в миражи.

Воздух горизонта вибрирует, светлыми реками течет-переливается из бесконечности в бесконечность. Как великий художник, природа дала волю своим фантазиям, творит из весенних марев озера, лагуны, ослепительные плесы, купаются в них призрачные рощи и оазисы, а через дорогу перед автобусом все время катится миражное половодье.

Еще ранняя весна, та самая розвесень, когда прогретые солнцем поля, сколько видит глаз, буйно исходят паром, теплой земною силой струятся в небо и механизаторы говорят: «К урожаю!» Пройдет какое-то время, и засвистит над степью суховетрица, выпьет влагу, разгонит марева, а пока текут они и текут, купают просторы, перебегают шляхи степные, и даже в городах этого края, в новых микрорайонах, через широкие проспекты — наперерез троллейбусам — струятся такие вот иллюзорные пречистые реки.

Мчит по степям автобусик, не такой, правда, как те роскошные рейсовые «Икарусы», что ходят по трассе, а значительно меньше «Икаруса», будничный работяга устаревшей модели, списанный шефами и подаренный школе. На лбу у автобуса натянуто алое полотнище с надписью «Дети!», хотя сидят в нем «дети» совершенно взрослые... Их всего трое: из одного окна выглядывает молодой милиционер с задумчивой улыбкой,

из окна противоположного — строгая девушка, напряженно застывшая в нахмуренной своей чернобровости, а в центре автобуса еще кто-то широкоплечий расселся, усатый, в фуражке... Ничего себе «дети»! А разгадка проста: торопясь с выездом, в спешке забыли ту надпись с автобуса снять, осталась она после вчерашней поездки на экскурсию к гидросооружению, куда возили премированных школярчат, тех, кто отличился работой в мастерских.

На степных развилках автобусик останавливается, будто в сомнении, в нерешительности. Выходят из него трое, осматриваются, советуются о чем-то. Словно это «что-то» нарочито водило их сегодня в расстилающихся вокруг просторах, показывало им марева и дикие огненно-красные маки на обочинах и, как бы забавляясь, снова путало их дороги.

С трассы автобусик свернет на боковую дорогу и помчится к землям конного завода, вроде бы затем, чтобы опять эти фигуры — две мужские и женская — могли выйти на меже и, жестикулируя, поспорить о чем-то среди марев, среди этих затопленных солнцем просторов, где под самым горизонтом мчит табун конезаводского молодняка. Осенью жеребята будут уже на ипподромах, будут состязаться за призы в большом дерби, а пока что гуляют, распушив гривы; молодой вожак — сам как образ и воплощение свободы — в неудержимом лёте повел их куда-то под синие небеса.

Через некоторое время еще остановится этот обшарпанный школьный трудяга у степного аэродромчика; и вышедшие из автобуса люди постоят на краю взлетного поля, наблюдая, как самолеты местных авиалиний выруливают на старт, берут разгон, оставляя после себя хвост ранней весенней пыли. Отсюда школьный автобусик, еще раз изменив направление, помчится куда-то на юг, пока не покажется из-за холма большая река, сверкая раздольем слепящего света. Внизу вдоль реки, меж кучегур, лежит полузабытая дорога, по ней теперь мало кто ездит, а эти ринутся и туда, потому что после длительных переговоров в автобусе водитель услышит короткое и решительное:

— На Камышанку!

И распоряжение это будет исходить как раз от Марыси Павловны Ковальской. Тритузный (а это, конечно, он грузно расселся в центре автобуса) в душе не был согласен с воспитательницей, у него были свои соображения насчет маршрута, однако дискуссию он разводить не стал: пусть на этот раз будет ее верх, в конце концов, она вроде за старшего в этой поездке.

Тягостной была причина, которая гоняет их сегодня по степям: ищут Кульбаку. Испарился, исчез нынешней ночью! Пребрег предостережениями умудренных опытом, что бежать ночью, мол, опасно, так как после отбоя охрана особенно бди-

тельна, все ходы и выходы сторожит. Вопреки здравому смыслу, Порфир выбрал для своей операции ночь, и самую темную, и оказалось, что она, ночь-матушка, его не подвела! Пропал, растворился в пространстве. Было просто невероятным его бегство, это самое серьезное для школы за всю весну ЧП. Накануне так послушно себя вел, так поражен был белоснежностью спальни, расспрашивал про бумеранг, шутил... И совсем непохоже было, что это лишь игра, хитрость, рассчитанная на то, чтобы усыпить бдительность воспитателей и службы режима. Или, может, укладываясь после отбоя, и впрямь не думал о побеге? Тогда что же толкнуло его на этот шаг? Антон Герасимович считает, что причиной всему фрамуга, которую не закрыли наглухо на ночь, — кстати, тоже по настоянию Марыси Павловны. Показалось ей, что недостаточно проветривается комната, где хлопцы спят, попросила дежурного оставить на ночь открытой фрамугу, и вот пожалуйста... Не учла, что для такого, как Кульбака, та поднятая под самый потолок фрамуга, та узенькая щелка — уже настезь распахнутые ворота в широкий бродячий мир! Возможно, заметил еще вечером и то, что сразу за окном начинается крыша нижней пристройки, так что если спуститься на ту крышу, то такому ловкачу нетрудно перескочить с нее на дерево, а с дерева на забор... Факт тот, что, когда дежурный по коридору зашел перед подъемом в спальню, он застал кровать Кульбаки, словно в насмешку, аккуратно застеленной — все на месте, белоснежное покрывальце лежит на подушке, как пена морская...

— Неужели он ануретик? — раскрывая постель, спрашивала Лидия Максимовна, школьный врач.

— Говорили бы по-простому, — заметил на это Тритузный, явившийся по тревоге, — уписался, и все тут.

Анурез, этот детский недуг, довольно распространен среди воспитанников спецшколы — вероятно, он следствие всех тех переживаний, нервных потрясений, которых с избытком выпало на долю этих детей, прежде чем они попали сюда. Ведь и мерзли на чердаках, и страха пережили столько, что некоторых и поныне мучают по ночам галлюцинации; уж если он видел топор, поднятый озверевшим пьяницей на мать, то не скоро такое забудется...

Отсюда эти нервные, беспокойные ночи и детские ночные конфузы, которые причиняют столько хлопот школьному врачу...

С Кульбакой конфуза не произошло, однако сам он исчез, улетел, улетучился, как дух святой, с третьего этажа вашего образцового заведения. Ищите его теперь, беглеца, среди неуловимых степных миражей!

И вот ищут. Побывали первым делом в совхозных теплицах, где он мог, по некоторым данным, устроить себе ночлег, телефонировали в поселковый Совет Нижней Камышанки, не появлялся ли на их горизонте, — нет, не появлялся, еще и спросили

оттуда, любопытства ради, как же это столько ученых дипломированных сторожей да не уберегли одного маленького камышанца... Что касается конезавода и аэродромчика, то их можно было и не проведывать. Тритузный находил это лишним, ибо какой же скороход успел бы туда добежать? Однако молодой воспитательнице сбежавший субъект, наверное, представлялся крылатым, по ее настоянию автобусик уже облетал полсвета, а теперь гонит еще и в Камышанку. Гони, сжигай бензин, хоть не такой уж тот Кульбака наивный, чтобы, сбежав из школы, лететь напрямик к маминой пазухе!

Розыск пока что казался Тритузному лишенным логики и правил, вернее, если и была в нем логика, то только женская, то есть мало чего стоящая, и странно было, что представитель милиции, этот вот молоденький, который с ними едет, лейтенант не считает необходимым вносить надлежащие коррективы. На все капризы Марыси Павловны у лейтенанта — улыбки, согласие, неприкрытое проявление симпатии. Вот так бывает, когда к твоим служебным обязанностям примешивается нечто постороннее, разные шуры-муры, свидания да прогулки на мотоцикле! Нареченный он там ей или кто, а только каждую субботу можно видеть его мотоцикл возле проходной спецшколы. Лишь только солнце на закат, уже подлетел, сигналит, вызывая свою Видзигорну (иногда она подолгу заставляет себя ждать). Потом, гляди, все же выбежит, скок к нему на сиденье, ухватится обеими руками за спину, и — помчались. Для других он сотрудник райотделения, лейтенант, а для нее просто Костя, чувствуется, что вертит им эта девчонка, как цыган солнцем. Вот и в сегодняшних розысках не представитель района задает тон и не сам Антон Герасимович, как начальник службы режима, а эта довольно-таки въедливая и самолюбивая особа. Тритузному только и остается, что время от времени пускать по поводу происшествия стрелы своих сарказмов.

— Вот вам и «хвеномен»... Вот вам и с живчиком да с перчиком, — бросает он куда-то в пространство. — «Быстроум, интеллектуально одаренный»... Хо-хо! Да если одаренный, так это еще хуже в нашем деле! Тупой, может, и не сумел бы такой номер отколоть, а этот, глянь, всех околпачил... Он им сказочки да басенки, а они и растаяли...

Молчит Марыся. Прильнула к окну, напрягает глаза, не появится ли где, не мелькнет ли, как суслик, среди кучегур... Такой это удар для нее... Еще утром шла в школу в чудесном настроении, с чувством уверенности (как это нередко с нею бывает), что день ждет ее интересный, содержательный, и пусть в чем-то будет он и нелегким, хлопотливым, но непременно принесет и какие-то радостные неожиданности. Однако уже в проходной почувствовала: что-то стряслось. Неприятно поразила Марысю мрачность часового, который даже на приветствие не

ответил, а еще тревожнее стало на душе, когда вошла во двор и увидела возле автобуса группу обеспокоенных людей. Автобус снаряжался в дорогу, слышны были непривычно резкие распоряжения директора, настораживало и присутствие милиции (в первое мгновение Марыся не разглядела, что это ведь Костя стоит к ней спиной в своей новенькой лейтенантской форме). Когда Марыся Павловна подошла, все обернулись к ней с холодком неприязни — так ей, по крайней мере, показалось, — даже Костя не улыбнулся, лишь Антон Герасимович нарушил молчание:

— Не встречали ли там своего «хвеномена»? Исчез и адреса не оставил.

А Валерий Иванович... Нет, он не сказал ей ни слова осуждения, хотя лучше бы сказал, чем скрывать его под маской своей директорской выдержки. Казалось, Валерий Иванович вот-вот сорвется, раздраженно бросит ей при всех: «Донянчились... Так езжайте же! Ищите! Сами ловите!» Даже выговор легче было бы перенести, чем это исполненное немого укора спокойствие Валерия Ивановича и напряженное молчание коллег. Потому что охрана охраной, а все-таки это она, Марыся, насоветовала открыть на ночь фрамуги... Вот так и учат вас, наивных идеалисток! Ладно хоть мужество нашла в себе сказать директору: «Я виновата, так уж мне и поручите эти розыски. Под землею найду!» И вот пустилась в миражи, на эту дикую, позорную операцию. Разве же не дико? XX век, а вы за человеком гоняетесь, охотитесь на себе подобного... Давно такой камень не лежал на душе. Ну как Порфир мог так бессовестно отнестись ко всем, и прежде всего к ней, его воспитательнице?.. «Это же подло, подло! — кричало все в Марысе. — И как после этого верить, что можно искоренить низость человеческую, обман, коварство? Вот тебе и «материнское начало»... Не вышло «начала», товарищ директор! Подкинули ей, неопытной, такого звереныша, что вряд ли и сами бы с ним справились!.. Хитрое, лукавое создание, оно тебя, учительницу, быстрее постигло, чем ты его. Психологом оказалось, да еще каким! Недаром пишут, что психика современного ребенка часто оказывается сложнее психики взрослого. Щадила, выгораживала, с наивным восторгом слушала его рассказы, восхищалась: такое богатство воображения... И вот на тебе... Все, с чем шла сюда из института, он в прах развеял одним своим поступком! Для Марыси это поистине драма. Унаследовав семейную профессию, она сознательно пошла учительствовать, самых трудных выбрала, чтобы воевать с житейской грубостью, чтобы защитить таких, как этот юный черстводух, от их собственной жестокости. Эмоциональные бальзамы будешь лить на их детские травмированные души, переформируешь, переиначишь самого трудного, нравственным примером пробудишь в нем чувство прекрасного... В драмкружок

его, а как же, артист! И он таки доказал свою «артистичность», сумел вот так тебя одурачить, выставить на посмешище при первом же случае. Все твои усилия, советы да напутствия сейчас ему, наверное, только повод, чтобы над тобой лишний раз посмеяться, позубоскалить с такими же неисправимыми, как и он сам. Столько энергии потрачено — и зачем? Бывало, и в кино не пойдешь, а возишься с ними, все свободное время отдаешь для индивидуальных бесед и кружковых занятий, художников среди них выискиваешь, хотя ведь приходилось иногда слышать: «Это вам не студия, Марыся Павловна, а спецшкола...» Однако у Марыси свое мнение на этот счет, и коллеги, казалось, надлежащим образом оценивают упорство молодой учительницы, ее способность загораться работой, поступаться личным ради интересов коллектива. «В маленьком теле — великий дух!» А чего же он добился, твой дух, в этом вот конкретном случае? Или, может, и совсем упал он на почву бездуховности, раннего цинизма, эмоциональной глухоты? О нет, в эмоциях сорвиголове этому не откажешь, у него их, может, с избытком, только все они какие-то химерные, идущие наперекор здравому смыслу, как и это его упрямство, что одним махом свело на нет, на посмешище выставило все твои иллюзии!

— Чуяла моя душа, что тут без ЧП не обойдется, — опять гудит Тритузный. — Да за таким гаденышем надо было во сто глаз глядеть, а мы ему: вот на тебе «Дон Кихота» читай. Это для тебя будет интересно, потом на репетицию изволь, скоро Матюшу из «Мартына Борули» сыграешь... Вот и доигрались...

— Вы так говорите, Антон Герасимович, — заметил лейтенант милиции, — будто кто-то другой, а не служба режима прежде всего несет ответственность за побег.

— Служба режима, товарищ Степашко, свое получит, директор не забудет ее в приказе, — обиженно ответил Тритузный. — Пожалуй, и мне на старости характеристику испортят своими оргвыкрутасами. А разве же я не долблю им каждый день, что у нас не пансион для девиц, что у нас — заведение специальное, режимное!

— Так что же, карцер построить на них на всех?

— За кого вы меня принимаете? Рука у меня твердая, это верно. Без нежностей в жизни обходился, потому как и самого жизнь не баловала. Сыновей вырастил — не тунеядцев: один гарпунер, на китов ходит, другой на Каспии буровой мастер, два ордена имеет, чего-нибудь да стоит моя педагогика?

Антон Герасимович не раз в дискуссиях прибегал к этому неопровержимому аргументу с сыновьями, и что тут возразишь? К тому же Степашко сам хорошо знает обоих его сыновей: всякий раз, когда приезжают летом, старик устраивает шумное гулянье в их честь где-нибудь на острове, песни тогда звучат над водами до поздней ночи, и Антон Герасимович на радостях зазывает в

компанию каждого, кто только проплывает вблизи... Бывал там и Степашко, что дает ему теперь основание подтвердить:

— Вашу педагогику мы ведь тоже целиком не отбрасываем... Берем из нее рациональное зерно...

— Не так оно все просто в жизни,— ведет свое старик.— Пусть уж там, на Западе, разгильдяев патлатых поразводили, от наркотиков спастись не могут, а наш народ, он к дисциплине привык, спартанство, строгость в самой его натуре. Потому и втолковываю, что режимные школы надо внедрять и к таким, как мы, людям бывалым, внимательнее прислушиваться... Скажем, сколько раз я предлагал ограду нарастить, поднять ее хотя бы на метр, а послушались?

— Никакая ограда еще никого не удерживала,— отозвалась наконец Марыся Павловна.— Хоть до неба ее возведите.

— Надо, чтобы у правонарушителя исчезло само желание бежать,— поддержал учительницу Степашко.— А ограды наращивать, замки увеличивать — это средневековье...

— И кто это говорит? — осуждающе молвил Антон Герасимович.— Тот, кому сама служба велит — ловить их да акты на них составлять.

— Хотите знать, Антон Герасимович, когда я буду самым счастливым человеком? В тот день, когда сможем мы с вами и эти, уже существующие, ограды к чертям разобрать... Чтобы барьер из цветов вокруг школы — и все!

«Вот таким ты мне нравишься», — окинула быстрым взглядом Марыся своего единомышленника, а через минуту опять сидела сумрачная, вглядываясь в окно.

А Степашко продолжал:

— Поставим себя на его место: мальчишка рос, не зная ограничений, а мы вдруг хватаем его, в чем-то существенном ограничиваем, посягаем на его личность. Для него свобода и разболтанность — понятия пока что равнозначные, в обязанностях перед коллективом он еще не видит никакой доблести, так почему же нас должно удивлять его неповиновение, метания, бунт? Даже медики рекомендуют учитывать постоянный «рефлекс свободы», который якобы живет в каждом человеке. А мы хотим, чтобы в нем этот рефлекс так сразу съежился и замер перед нашими правилами? Нет, у каждого свой взгляд на вещи!.. Он сбежал, а вы ловите — обычная житейская диалектика...

За окнами автобуса потянулись плантации виноградников, принадлежащих здешним совхозам, появились среди бесконечных песков жилистые низкорослые перелески сосенок, белых акаций и бесчисленные ряды тоненьких тополей, которые, когда вырастут, пойдут в переработку на целлюлозный, а дальше опять потянулись недавно заложенные виноградники... Все это — труд научно-исследовательской станции, той самой, где работает гектарницей мать Порфира.

— Так можно же, оказывается? — окидывая взглядом местность, заговорил Антон Герасимович. — Скоро лес будет, уже тут, говорят, и диких кабанов видели, а колонисты считали эту землю навеки пропащей. Да и мы тоже поднимали станцию на смех, потому что казалось, ученые совсем за пустое дело взялись: распахивать, облеснять эти местные кучегуры, Сахару эту, что целое лето огнем полыхает. А станция свое доказала, попринимались, вишь, и сосенки, и тополя... Виноград и тот приживается...

— Не только приживается, но еще и закаленнее, здоровее становится, — напомнил Степашко. — У них карантин против филлоксеры: пропускают через него даже алжирские сорта... Ведь пески эти летом таких температур, что никакая нечисть не выдерживает. А то, что Оксана Кульбака посадила, растет дай бог! Вот чью педагогику нам бы перенять...

«Как мы саженцы — так вы детей наших берегите!» — будто снова слышалось Марысе, и она вздохнула... Да, не уберегли, недоглядели. И, может, ищите беглеца совсем не там, где следовало бы искать? Может, согласно беглецким правилам, обошел он свою Камышанку десятой дорогой, и напрасный труд, как считает Антон Герасимович, трястись вам среди кучегур, гоняться за вчерашним днем?.. Впрочем, неясно: поступит ли он так, как подсказала бы холодная логика беглеца, как продиктовал бы трезвый, все взвесивший разум? Электронные роботы, те, конечно (если они когда-нибудь вздумают совершать побеги), будут действовать строго по законам логики, а у этого все же не электронное устройство, а сердце в груди, а в сердце, может, есть место и для мамы? Несносное, ужасное создание! Но какая дьявольская настойчивость в достижении цели! Марыся чуть не улыбнулась при этом. Думалось, уже приручили его, прижился, вошел в колею, в школьный ритм, а оказалось, что и белоснежным вашим уютом, и драмкружками, и вашими симпатиями он без колебаний пожертвует, если проблеснет ему хоть малейшая возможность перенестись в иное бытие, в то, которое он с таким упоением называет «право-воля»!

XIII

На крылечке маминой хаты, под старым, рясно цветущим абрикосом, крепко спит уставший, выкупанный в ночных росах неуловимец. Верный Рекс сидит возле него на часах. Отдыхает беглец на царской постели — на снопах камыша, которыми зимой мама от буранов укрывает хату. При раскопках курганов археологи якобы находили на дне могил не истлевший от времени камыш, что служил подстилкой при погребении знатных

кочевников. И наш живой-живехонький кочевник тоже отдал предпочтение камышовому ложу перед пружинным матрацем. Среди разбросанных снопов в сладком сне и застала Оксана, прибежав домой на обед, своего приبلудшего откуда-то любимого сыночка. Застыла над ним в радостном испуге: спит! Где только не был, где не блуждал, а прибился сюда, на этот камыш, что служит ему сейчас мягчайшей постелью. Обомлев от счастья, наклонилась над ним, коснулась стриженной головы нежно-пре-нежно (чтобы не испугался со сна!), когда приоткрыл глаза от непривычной ласки, так и схватила, стиснула в беспамятстве, обцеловывая своего самого дорогого на всем белом свете тиранчика...

— Откуда ты? Тебя отпустили?

— Сам себя отпустил...

— Да как же это? Сбежал?

Он загадочно улыбался, немного даже рисуясь перед матерью своим геройством. Рад был и тому, что не стала бить. У нее ведь так: то отлупцует до синяков, то поцелуями обсыпает...

— О горе мое, неужели самовольно? Ночью? — допытывалась мать. — Через ограду?

— Да еще при какой погоне...

И началось! Какие ужасы он превозмог! По каким карнизам прокрадывался. С крыши на крышу, с дерева на ограду, а вдоль ограды как раз часовой идет, прожектором светит! И конечно же, с винтовкой, с овчаркой, вот-вот осветит фонарем смельчака, который стоит на ограде в полный рост. Да только не на такого напал! Порфир все предвидел, рысью бросился на часового сверху да мешок тому Саламуру на голову: раз — и есть! Накинул, скрутил, ну, а овчарка... Другого бы разодрала, а Порфира только в щеку лизнула, — его же все собаки знают...

— Ну и выдумщик! Ну и фантазер! — улыбнулась мать счастливо. — Откуда тот мешок у тебя взялся? Где там у вас овчарки? И откуда у тебя эти выдумки? Любишь выдумывать, как Гоголь, что «Тараса Бульбу» написал.

Редко Порфир видит мать улыбающейся, чаще всего бывает она озабоченной, а то и рассерженной, когда сынок доведет. А сейчас живые искринки глаз так и светятся лаской, добротой, счастьем, и так ей к лицу быть улыбающейся — одна эта улыбка делает маму прямо-таки красавицей...

— Вы меня, мамо, назад не отдавайте...

Она снова забеспокоилась.

— Так чего же ты сбежал? Обидел кто? Подрался с кем-нибудь? Или загрустил?

— Там грустить не дают. Некогда. И учителя хорошие... «Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом...» — почти пропел он с артистичным выражением. — Инструктора по труду

тоже меня отмечали. Я и табуретки уже делал, и бирки для мебели штамповал...

— Так зачем же было бежать?

Сын пожал плечами в искреннем недоумении:

— Сам не знаю. Какой-то бес накатило...

Для матери и это ответ: бывает, что и бес... Однако радость встречи с сыном все же омрачалась для нее смутной тревогой, неясностью того, что произошло.

— Может, ты натворил что, сынок, да не признаешься? Может, проступок какой на тебе, провинился в чем-нибудь?

Свел брови, задумался Порфир, и у матери болезненно екнуло сердце: «Что-то, видно, есть!» Но он, помолчав, твердо сказал:

— Нет, мамо. Ни в чем я не виноват. Просто очень соскучился...

И на мать поглядел так глубоко и проникновенно, как никогда раньше. Вот что значит разлука! Какой учитель она! Как умеет отсеивать, отбрасывать все, что в буднях накопилось, и злобу гасить, и обиды смягчать. Забыт ремень, что столько раз по его спине гулял, забыты упреки и крики отчаянья, постоянная лютая война прощена, когда он ее до изнеможения вымордовывал своими проделками, своим окаянством. Взаимные оскорбления и жестокости, слезы и боль — все исчезло и развеялось, как и не было, осталась только любовь обоюдная, это безмерное счастье встречи двух людей, что зовутся мать и сын.

— Ты же голодный?

Не дожидаясь ответа, вскочила, отперла быстренько хату, и не успел блудный сын оглянуться, как перед ним уже зашкворчала на столе яичница, и мать аж пальцы порезала, открывая ему консервы — и шпроты, и сардины... Еще и пряников расписных положила:

— Ешь, сынок, ешь! Это я тебе собиралась передачу нести.

Сидит за столом юный хозяин, с завидным аппетитом уминает все, что ему подано, и хата от его присутствия радостью засветилась; только непривычно матери видеть Порфира стриженным. Дома, бывало, так зарастет, что из школы возвращают, посылают в парикмахерскую, а ему, чем туда идти, лучше в плавни махнуть. Потому что другого в парикмахерскую отец ведет, стоит, наблюдает, как стригут, чтобы красиво получилось, а его... Теперь вот гололобый прибился домой, и что-то появилось в нем серьезное, хоть и прикрытое веселой лихостью.

— Ох и бежал! Такой марафон дал! Уже светает, уже можно и передых сделать, а ноги сами бегут! А потом еще на машину с кирпичом подцепился...

— Это, сынок, всегда так: к родному дому ноги человека сами несут... Только как же теперь оно будет... Нет, пойду отпрошу тебя у них, заберу!

— Навряд ли разрешат... Говорят, надо не меньше года пробыть, если уж к ним попал.

— Умолю!

Порфир разглядывал на стене старые фотографии — дедуся, дяди Ивана...

— Мамо, а кто мой тато?

Для нее это было как удар. С тех пор как он стал выговаривать слова, ждала этого вопроса. Ждала и боялась, и знала, что когда-нибудь он все же будет, готовилась к ответу, а все-таки застал ее врасплох, жаром обдало всю.

— Ты никогда не спрашивал об этом, сынок... И не спрашивай никогда. Только знай: хороший он был и не обидел меня ничем, не обманул... — Голос ее налился страстью. — Ты не из обмана! Ты — из правды!

Порфир даже пожалел, что выскочил у него этот вопрос, что причинил маме боль. Опустив голову, скреб ногтем настольную клеенку, разрисованную цветами.

— Ладно, больше не буду спрашивать.

Она почувствовала себя глубоко виноватой перед сыном: и раньше ставила себе в вину, что мальчик полусиротой растет, без отцовской ласки и присмотра. Другие с отцом и в парикмахерскую, и на рыбалку; у кого отец, он и в школу пойдет о сыне справиться, а этот все один да один, сын матери-одиночки! Оксаныч! И даже что непослушный такой, строптивый, неистовый, и за это она брала вину на себя: может, это ей наказание за ту первую любовь с ее шальным месяцем в небе и соловьями, что аж задыхались, аж стонали в вербах над их недозволенной любовью! Говорят ведь: страшнейшая из всех кар — кара детьми. О нет, нет, не кара он и не грех, одно счастье он для нее! Пусть и дикий, и необузданный растет, однако верит она, что будет из него человек, потому что и душа ее, и ее любовь, и ее нрав уже в нем проблескивают.

— Одного я хочу, сынок, чтобы ты хорошим мальчиком рос. Чтобы совесть у тебя чистая была... Чистая, не тюремная! Не слушайся тех, что попусту геройствуют: смотрите, мол, какой я, никого не боюсь, пойду ларек ограблю, с первого встречного часы сниму!.. Нет в преступлении геройства. Есть только стыд и позор, к таким от людей одно презрение... Героями на другой дороге становятся... Трудом человек силен и красив... Вот и на станции у нас все за тебя переживают, хотят, чтобы ты человеком стал, маму свою не срамил... Так я измучилась, сынок, что нервов моих не хватает!

— Больше этого не будет, мамо!

Он с искренним раскаяньем взглянул на нее, действительно измученную, исстрадавшуюся; уже и морщин птичьих лапки появились у глаз, и шея худая, жилистая, когда голову мама повернет, большая жила под кожей проступает, как лоза вино-

градная... и руки мамыны возле тех саженцев да песков кучегурных стали старше ее самой. Она же еще молодая, еще к ней сватаются. Из жалости к сыну решила было прошлый год отца ему найти, хоть неродного, из плавней привела, из бригады, заготавливающей камыш для целлюлозного: «Он будет тебе татом, Порфир. Заступаться будет за тебя». А через несколько дней Порфир прибежал к матери на работу расстроенный, лютый: «Выгони его, мама! Зачем ты этого пьянчугу привела? Чуть хату нам не спалил!..» И рассказал, как зашел в хату, а тот примак пьяный спит на диване, сигарета выпала изо рта, и подушка уже тлеет... «Смотреть на него не могу, мамо! Выбирай: он или я». И когда встал вопрос, кому отдать предпочтение из них двоих, мать без колебаний выбрала сына,— зачем же хлопцу такой батько...

— Виновата я перед тобой, сынок... Не было за тобой присмотра, целыми днями ты один да один. Только ты подумай, что и маме нелегко, сколько работы на ней, все ведь надо. Вот и сегодня: на виноградник беги, об удобрениях позаботься, а потом еще и семинар — по виноградным вредителям...

— А вот интересно: могло бы хлебное дерево вырасти на наших песках?

— Это уже ты должен попробовать,— ответила с улыбкой мать.— Есть где развернуться... Кучегур, не возделанных еще, и на твою долю хватит...

— И попробую!

— То-то и оно. Сам почувствуешь, как это хорошо, когда из твоих рук такое нежненькое вырастает, на глазах зеленеет... Когда ты выходил его! Разве ж давно у нас тут тревогу били: пески надвигаются, засыпают посадки, засекают посевы... Прямо Сахара! Говорили, что станция наша даром хлеб ест... А сегодня? И не само же собой так получилось, что на вчерашних, на вечных кучегурах винограды культурные вьются, сотни тысяч кустов!..

— Я, мамо, только еще немного подрасту и на трактор сяду, плантажные плуги поведу... Механизатор — чем плохо? Жить станем дружно, я жалеть буду вас, поверьте, никому в обиду не дам!..

— Верю, верю,— говорит она с жаром.— Когда-нибудь надо же и поверить!

А мальчик продолжает рисовать совсем идиллическую картину:

— Рыбку ловить буду после работы, сома вам с полхаты притащу. И знаете, на какую наживку он пойдет? На подсолнуховые лепестки!

Никто тут о такой наживке и не слыхивал, а сын ее, вишь, придумал, сделал открытие... На лепестковые блесны ловить будет!

— Водяные деды, они почему-то любят подсолнуховый цвет!

Собираясь уходить, мама привычно провела помадой по губам (этого она не забывает), потом вынула из шкафа сюрприз для Порфира:

— Вот я тебе тельняшку новую купила, та уже тесная... и беретик к ней.

Хлопец сразу же натянул на себя новенькую морскую тельняшку, порадовался: чем не юнга? Стриженую голову беретиком прикрыл, замаскировал, никому не видно, что стриженный. И эвакуаторы не узнали бы, если бы где встретились...

— Только ж вы, мамо, никому ни слова, что я тут был... Что я тут есть.

— Какие тайны,— улыбнулась мать.— А спать лег на самом открытом месте, даже с пристани видно.

— Так меня же Рекс стерег! И плавни рядом... Только бы Рекс тывкнул — я сразу бы клубком вниз, в камыши, а там лови ветра в поле. Разве что с вертолета увидели бы...

— Вечером вернусь, тогда мы с тобой все обмозгуем,— сказала мама, уходя.— А пока набирайся духу после похода,— пошутила как-то невесело и с ласковой улыбкой вышла; и вот уже за окном мелькнула ее голова в газовой косынке, нырнула под усыпанные цветом ветви абрикоса.

Где ни окажется Оксана в этот день, ни на минуту не покинет ее беспокойство о сыне, все время в тревоге будет ее душа. Потому что должна вроде бы укрывать его, молчать, как о незаконном. Да, впрочем, не совсем законный он и есть, это она еще тогда почувствовала, когда в учреждении в метрику вписывала и регистраторша будто нарочно стала спрашивать ее об отце. Нужно было отца назвать.. И все же, что бы там ни говорили, а она знает одно: из любви он родился! Принесла его на свет от красавца капитана, и не соблазнял он ее, не обманывал, сама вспылала к нему любовью, той первой, ослепляющей... Тогда строилась ГЭС, баржами брали камень в карьерах, а она поблизости с девчатами лес корчевала, вырубала плавни, что должны были под воду уйти. И встретился ей этот капитан, и хоть знала, что он женатый, без оглядки пошла за ним в лунное безлюдье, в чащи колдовские, в плавневые росы-туманы. Из тех плавневых лунных ночей да из страсти молодой и соткалось то, что станет потом жизнью ее сына.

Ой, чорна я си чорна,
Чорнява я циганка...

И хоть не черная и не цыганка, а как вдохновенно пела она тогда эту, впервые услышанную, песню у вечерних костров! Карпатские лесорубы, что завербовались плавни корчевать и с которыми ее капитан подружился, с гор своих эту песню сюда при-

несли. Готовили дно под затопление, валили вековые в три обхвата вербы, после того взялись за камыши, косили их для целлюлозного, а если бы так дальше пошло, то, пожалуй, и паутину бы косили... Но дальше — стройка вошла в берега, лесорубы уехали в свои горы, в тот Рахов поднебесный, брандвахты еще некоторое время стояли причаленные в плавнях на якорях, а потом и они поснимались, и капитан со своей баржей был переведен на другую линию, позвала его иная жизнь... Прощаясь, еще не знал он, что сын у него будет здесь расти, в этой Камышанке... Переписываться? А зачем? Сколько случается таких любовей новостроечных, лесозаготовительских — пройдут, прошумят, как ливни весенние, и нет их, только увидишь где-нибудь вечерний костер, напомним он тебе, как хворост тогда в плавнях жгла да крюками цепляла стволы верб неликвидных, которые и в огне не горели — их оттаскивали куда-то мощными тракторами.

Ушло, отшумело, отпелось... Иногда разве что фантазиями тешит себя: как вырастет сын да станет уже курсантом морским, повезет она его в тот город портовый, где ее любовь прописана, скажет: «Знакомься... Вот твой сын». А пока что лишь слезами зальется, когда с пристани, с палубы экскурсионной, песню услышит: «Ой, чорна я си чорна...» Потому что это песня ее молодости, отзвук дальних поющих плавневых вечеров. А большего счастья, чем то, которое испытала, уже и не будет в жизни, не вернется, ведь один только раз человек своею молодостью цветет! И тем дороже ей Порфир, что пришел он к ней оттуда, из горячих шепотов да шальных недозволенных ласк, пришел, как существо, сотканное из самой любви, из красоты, из лунных марев и рос-росяниц полуночных...

XIV

И снова этого солнца блеск!

Совсем ослепило Порфира, когда он, выбежав на кучегуры, посмотрел вниз, и оттуда сверкнула ему река, ударило навстречу бушующим водоворотом весеннего света. Так бы и кинулся в него, в это половодье стихий — воды и солнца! Вот она, свобода! Гуляй сколько хочешь, иди куда вздумается, никакой Саламур не стоит над душой. Право-воля, как говорят камышанцы. И небо, и птицы, и эти родные кучегуры, до которых мамыны руки еще не дошли, — все принадлежит тебе, существует для тебя, ты тут полновластный хозяин.

Камышанка отсюда почти не видна, она протянулась вдоль берега, только кое-где выглядывают над кудлатыми вербами гребни крытых камышом хат, а на них торчат крестовидные острия телевизионных антенн. Камышанские огороды своими

грядками ранней клубники сбегает к самому берегу, в камышовые заросли, которые и дают Порфиру какую-то уверенность, так же, как и утром, когда он после ночного побега перевел наконец дух и улегся под маминым абрикосом. В тех камышовых джунглях каюком и в самом деле не пробьешься, там человека заметишь разве что с вертолета.

Белобокий пароходик, свернув с фарватера реки, направляется к пристани: с экскурсантами идет, не иначе. Кого же он привезет на этот раз? Нагляделся Порфир разных экскурсий, хорошо знает их протоптанный маршрут: от пристани двинутся к Тихой могиле, где каждое лето толкнутся археологи, выискивают косточки скифских царей и царят. Побывают еще экскурсанты возле великана дуба — поспорят, сколько ему: пятьсот или семьсот, и, конечно же, посетят мамину научно-опытную станцию, поскольку она знаменита на весь край. Даже не поверится им, приедем, что недавно тут лежали арены мертвых песков, сколько видел глаз, текучий песок аж звенел от малейшего ветерка, словно бритвой подсекая любое растение, а когда срывался ураган, черная буря, то хутора, и дороги, и копанки сплошь заносило песчаными буграми. Кто только ни пытался движение этих песков остановить, но ничего не выходило, потому что сажали не то, или не так, или не тогда; к примеру, посадят чистую сосну, а она сразу и погибнет от вредителей или от пожаров во время засухи... И вот станция додумалась, как все же к окаянным этим пескам подступиться, у нее и виноградники уже тут приживаются, и леса разрастаются настоящие, с травой и грибами, с птицами — такой лес сам себя, без химикатов, от нашествия вредителей защитит...

А до этих кучегур, среди которых сейчас дышит свободой Порфир, очередь еще не дошла, потому что это т р у д н ы е кучегуры, тут еще нужны саперы с тракторами — два месяца фронт здесь стоял, в тех вон сагах наши были, а по ту сторону шляха — немцы, так что ходить туда ходи, а копать остерегайся. Однажды забрело сюда стадо, бык стал яриться и рыть рогами кучегуру и дорылся: мина как ахнула, так хвост от того быка полетел в космос!

Мог бы Порфир сам водить тут экскурсии, рассказал бы и про Гилею, и про то, какие люди отважные жили в этих степях, царства сотрясали, на край света отсюда в походы ходили, аж Персия где-то там дрожала, завидев их копий лавровые рощи (острие копья каждый воин увенчивал листком лавра). Рассказал бы Порфир и про шлях тот старинный, что тянулся к соляным озерам; должен был он каменным быть, но чумаки якобы запротестовали: не надо камня, волю будут подбиваться... А за проезд по этому шляху брали с чумаков плату — с воза по копейке, для этого шлагбаум стоял. Если не заплатишь, объезжай стороной, где колеса по самую ступицу в

песке тонут... На месте причала когда-то паром был, а там, где сейчас Дворец культуры афишами пестреет, корчма стояла.

Все, все объяснил бы Порфир, если бы взяли его гидом к экскурсантам. «Видите,— сказал бы он,— как хорошо чувствуют себя посеянные рядочком сосны-подростки и акации-малыши, это их высевала станция прошлый или позапрошлый год... А вот там начинаются виноградники, это единственный на Украине питомник, где выращивают из чубука саженцы разных сортов винограда — из Италии, Франции, Алжира и даже из Японии получают посадочный материал, а здесь берут на карантин, обезвреживают, потому что, как вам известно, никакой вредитель не выдерживает температуры камышанских песков! А отсюда уже чистый саженец идет в разные винсовхозы, и все здесь, что так удивляет вас,— все это делает моя мама!»

Интересуетесь тополями — и про них расскажет вам Порфир: этот — посаженный рядами — тополь черный, а еще его зовут украинский или грациозный, а белокорый — это туркестанский, он тоже прекрасно себя здесь чувствует, а где акация растет, там — так и знайте! — в глубине под песком сокрыты плодородные почвы, акация-разведчик вам указывает на них, поэтому смело сажайте в этих местах виноград...

Дико, тихо, безлюдно среди кучегур. А давно ли тут развлекался с хлопцами Порфир: выкатывали на взгорок большое мазовское колесо, один из них, свернувшись, залезал внутрь него (чаще всего это был сам Порфир), товарищи пускали это почти космическое устройство с горы, и летишь, и мир тебе вертится, пока с разгону в речку — бултых! Сейчас колесо лежит в бурьяне, нога твоя на нем, на его потрескавшейся резине, а из товарищей никого нет, все в школе — за партами протирает штаны твоя отважная плавневая гвардия! Один ты, бродяга, слоняешься так, чтобы подальше от людских глаз, потому что тебе постоянно надо быть начеку, ведь ты беглец, тебя всюду подстерегают всяческие опасности.

Однако беды покамест ничто не предвещает, зато какой свет! Там река бушует солнцем, плавни внизу до самых лиманов синют, а тут маки полыхают всюду на пустырях — сколько их населяла весна! Чашечки маков полны алого солнца, до краев полны... Межкучегурные ямы и впадины, которые камышанцы называют сага́ми, летом нальются песчаным зноем, все живое тут сгорит, свернется, а сейчас сага́ цветут, точно оранжереи, и, когда идешь, даже боязно среди маков ступать, чтобы не сломать их.

Выбрав место, откуда хорошо видна школа, Порфир залег под кустом «заячьего холодка» и стал смотреть в ее сторону. Школа новая, двухэтажная, из силикатного кирпича... С облегчением вздохнула, наверное, родная твоя школа, избавившись от тебя, ведь теперь нет там такого заводилы. Наукам предаются твои дружочки. Пожалуй, и забыли уже о своем вожаке, а он

вот тут, так близко от вас, притаился между кучегур и ждет... Дождался перемены, когда школьники, высыпав во двор, с шумом, с гамом кинулись гонять мяч. Учитель физкультуры Микола Дмитриевич тоже примкнул к малышам, только Порфира там и нет среди их форвардов. Вон Петро́, Витько́, вон Кислица́ Олег — все его дружки, крикнуть бы им: «Вот я тут, я вернулся! Айда со мной, хлопцы! Айда в плавни разыскивать ту турецкую фелюгу, которую давно уже илом в камышах затянуло...» Да где там! Не крикнешь, голоса не подашь, дудки, брат, ты ведь сейчас вне общества, жить должен отныне под покровом тайны, все время помня, что тебя всюду ищут, за тобой погоня.

Прозвучал звонок, школьный двор сразу опустел, и тоскливо стало у Порфира на душе. Пойти бы в школу да сказать при всех: «Вот я и вернулся и на прошлом ставлю крест! Ибо наш лозунг: «На свободу — с чистой совестью!»

Поднялся, опять поплелся в кучегуры, вскоре стоял на другом холме, смотрел в сторону далеких виноградников, что раскинулись до горизонта под ясным небом степей. Где-то там и мамин гектар. Где-то там ее виноградные питомцы, со всего света свезенные, чтобы проходить тут закалку в раскаленном песке... Каждое лето пасется Порфир в окрест лежащих виноградниках — и на стационарных и на совхозных, как на своих, знает, где сорта наивкуснейшие, — это уже тогда, когда гроздь нальются и выглядывают из листвы. Вокруг виноградников живая изгородь из колючих акаций, густая, непролазная, но Порфир и через колючки пролезет. Сквозь зыбкое солнечное марево ему видно, как по всем виноградникам белеют косынками женщины. Вон девчушка какая-то выпрямилась среди междурядий, лицо повязано платком до самых глаз, стоит далекомько, не разглядишь, какая она из себя, но даже и на расстоянии ясно, что девчушка та... смеется! Смеется вроде бы всей своей фигурой и склоненной набок головкой, и даже виноградарские ножницы как-то весело поблескивают у девушки в руке. Наверное, это одна из тех молодых переселенок, что, бывало, шутливо задевают Порфира, когда он появляется возле Дворца культуры: «Оксаныч пришел, наша симпатия!.. Может, хоть ты пригласишь в кино, будешь кавалером?» И так это душевно у них получалось, что он и не обижался на «Оксаныча».

Отвернулась девчушка, принялась за работу, а у Порфира почему-то так хорошо стало на душе. Побрел куда глаза глядят и не заметил, как запелось ему, и странно, что именно их школьная запелась, та маршевая песенка, которую ребята ежедневно выкрикивают во дворе, шагая строем, дружно отбивая пятками такт:

В нашей школе режим, ох, суровый,
Но пути наши — в светлую жизнь!

.. Еще в песне говорилось о воспитателях и мастерах, которые заботятся, чтобы тебя в люди вывести, но тех слов он петь не стал, все повторял это: «В нашей школе режим, ох, суровый...» И хотя, сидя в карантине, порой даже раздражался, когда песня про режим долетала со двора, однако сейчас и эта, режимная, пелась охотно, бодрила душу, — что значит человек на воле очутился!

Нет ограды каменной, нет ворот, только небо обступает тебя, полевой ветерок обвевает, так и чувствуешь, что идешь сквозь воздух! «Прямо из-под носа у них улизнул, перехитрил их всех!» — ухмыльнулся мальчишка, вообразив, какой там поднялся переполох после его побега, как ярится Саламур, как мечет молнии на свою незадачливую стражу... Отплатил Кульбака ему за все! Жаль только, что Ганне Остаповне и Марысе тоже, пожалуй, достанется, хотя вся их вина в том, что добры были к нему, может, всех добрее. Впрочем, Валерий Иванович должен разобраться, понять, что воспитатели тут ни при чем: просто нет такой силы на свете, которая могла бы удержать Кульбаку, если его душа воли возжелала!

Теперь черта с два они его тут достанут. Со своей стороны он тоже изменит свое поведение, добропорядочным станет, будет делать все, чтобы только мама никогда больше не плакала из-за него. Побег Порфира происходил, можно сказать, под знаменем мамы, уже один образ ее прибавлял ему силы. Очутившись на территории станции, прежде всего в парк побежал, из кустов поглядеть: есть ли мама на доске Почета? Или, может, сняли ее из-за сына-бродяги, хулигана, что в правонарушительскую школу попал? На месте была мама, даже слегка улыбнулась ему с фотографии. По одну ее сторону — Илько Ярошенко, механизатор, по другую — Лида-лаборантка... Сразу легче вздохнулось Порфиру. Мама!.. О чем бы ни думал, а мыслью все к ней возвращается: какая она была при встрече с ним нежная, какая сердечная и красивая, кажется, никогда ее такой не видел! Только бы замуж не выходила, не приводила ему чужака отчима вроде бы для того, чтобы заступался. «Сам за себя заступаюсь, мамо, еще и вас обороню, только не приводите пьяницу в хату!» До сих пор считал Порфир, что он для матери одна досада, обуза, камень на шее (чаще встречала его издерганная, измученная, в крике, в слезах: «Горе мое! Грех мой тяжкий!»). А за время этой разлуки вишь как соскучилась, при встрече места себе не находила от радости... «Ты не из обмана, ты — из правды...» — никогда такого от нее не слышал и никогда этого не забудет.

Бродил как раз возле Тихой могилы, когда к ней потянулась от пристани вереница экскурсантов. Одни шли обыкновенно, а были и такие, что на костылях прыгали или ковыляли с палочками, — видно, с лимана приплыли, из грязелечебницы. Со

всех концов приезжает сюда публика на здешние грязи, знают сюда дорогу даже шахтеры с Крайнего Севера, некоторые прибывают совсем скрюченные радикулитами или ревматизмами, а, покиснув сезон в горячей рапé, выписываются домой уже без костылей, оставляют свои деревяшки персоналу на память вместе с растроганными записями в книге пожеланий.

Раньше, когда прибывали сюда экскурсанты, Порфир имел привычку увязываться за ними хвостиком — кому же не интересно послушать про тех бородатых скифов, про загадочную Гилею! — а сейчас при появлении экскурсантов первым его побуждением было бежать! Мигом улепетывай прочь! Но сразу же и одумался: почему, собственно? Кому из них известно, кто ты такой?

Эксурсовод, длинноногая, как цапля, с напущенной на лоб челкой на современный манер, не стала отгонять Порфира, даже улыбнулась ободряюще: можешь, мол, послушать, я не запрещаю.

В самом деле, рассказывает для всех, а Порфир на такие вещи любопытен, хочется ему побольше знать о тех давних людях, что насыпали эти курганы-могилы в степях и ходили отсюда в далекие походы, а вернувшись, справляли тут празднества, состязались на колесницах, и смуглые скифянки в украшениях пели у вечерних костров свои, забытые ныне песни.

— А ты почему не в школе, мальчик? — обратилась к Порфиру одна из экскурсанток, увесистая тетя в рыжих буклях, в больших, от солнца, очках.

Опрятный вид Порфира, новенькая тельняшка и медная бляха на ремне (та, которою хлопец был не раз татуирован) давали людям основание полагать, что он, верно, из училища юных моряков.

— Ты из нахимовского, да? — допытывалась круглолицая тетушка. — Капитаном будешь?

— Я из спецшколы, — буркнул Порфир, недовольный ее назойливостью.

— Как это понимать? — нахмурилась увесистая, в очках.

Нашелся сразу же в толпе и знаток — парняга в белой кепочке, грудь нараспашку.

— Это такая, где маленьких правонарушителей обламывают, — пояснил он с ехидцей. — Есть тут «спец» — одна на всю область... За монастырскими стенами.

— Ну и чего же ты тут? — спросил Порфира какой-то строгий дяденька.

Хлопец, собравшись с духом, выжал из себя:

— Отпустили.

— Отличился чем? Отбыл срок или как?

— Премия за работу в мастерских.

— Давай добывай разряд! — подбодрил хлопца только что

подошедший смуглый экскурсант.— Получив разряд, сразу мужчиной себя почувствуешь. У меня дома такой, как ты, а уже прибегает на карьеры: «Разреши, папа, я сам взрывчатку заложу!»

Стояли, дожидаясь, пока подтянутся все. Подходившие тоже интересовались, что за мальчуган среди них, и теперь уже сами экскурсанты объясняли, что это воспитанник спецшколы, отличник, за отменную работу и образцовое поведение отпустили его погостить домой... Понурившись, слушал Кульбака эту легенду, уши у него горели, и спасло его только то, что экскурсовод отвлекла их внимание, иной мир появился перед ними: уже заколыхались в воздухе лавровые рощи — то шли на персов воины этого края, — а на кончиках копий лавровые листья зеленели, как мамин виноград!

— Время уплотняется, эпохи сблизились, — заученно говорила экскурсовод, — и в этом кургане, возможно, лежат рядом бородатый скиф и половец средневековья, порубленный ордою казак и молодой пулеметчик с буденновской тачанки...

Девушка пояснила, что раскопки только начинаются, ждут здесь археологов, возможно, большие открытия... Как всегда, нашлись в группе такие, которых прежде всего интересовало, много ли золота было найдено при раскопках этой Тихой могилы. Экскурсовода это даже обидело.

— Дело ведь не в золоте, товарищи, а в том, какая на золоте том чеканка, какую художественную ценность оно собой представляет... Бывает, золото — и только, а бывает, дивная красота на нем сотворена...

Сухощавый старичок в очках, видно, книгочей — и тут с книжкой не расставался, — когда зашла речь о художественности, оживился, развернул книгу на заложенной странице и прочитал, словно детишкам в классе:

— «В те времена труд художников считался священнодействием! Художники были в большом почете. Они гордились деянием рук своих еще больше, чем цари своими победами. Только если гимны царей начинались словами: «Я разрушил...», «Я покорил...», то гимны художников имели другое начало: «Я воздвиг...», «Я соорудил...», «Я выполнил работы прекрасные...»

— Завел старик свою пластинку, — кинул мордастый парень, целясь фотоаппаратом в гидшу, и хоть на мордастого глянули осуждающе — хам ты, мол, братец, — однако вслух никто за старика не вступился, и он, захлопнув книжку, обиженно умолк.

Как и предвидел Порфир, от Тихой могилы экскурсанты направились к обсаженной высокими тополями усадьбе опытной станции, где, верно, осмотрят кабинет агротехники, с вредителями, засушенными под стеклом, после этого, конечно же, не минуют и совхоз, если получили разрешение осмотреть его

огромные погреба с бочками вин под самый потолок. Все ушли, а Порфир остался на месте, сразу почувствовав себя одиноким, горько покинутым. Ведь в ту сторону, к людям, дорога тебе закрыта. Ты беглец, почти преступник. Постоял-постоял, послушал жаворонка, что вытюрюкивал где-то высоко над головой, и наконец побрел, сам не зная куда. Просто так, наобум. Ибо какие же ему выполнить «работы прекрасные»?

Ноги сами привели к речке. Послonyaлся по берегу, полюбывtствовал, где чьи стоят каюки да моторки, примкнутые цепями к береговым корягам. Разнокалиберные замки на них висят, большие и поменьше, но любой сам открылся бы перед Порфиром, пожелай он только... Нет на всем берегу замка, с которым бы не справился этот «мастер золотые руки».

Чей-то катерок вырвался из-за камыша, с грохотом летит к берегу. Порфир непроизвольно укрылся за кряжистой вербой. Но можно было и не прятаться, ведь это Микола, весь черный от загара, совхозный моторист, почти приятель. С шиком подходит, совсем вольно сидит за рулем, правит одной рукой, и катерок слушается малейшего его движения. Славится Микола среди камышанцев тем, что раньше всех встает, утреннюю зорьку всегда на воде встречает, о нем и мать Порфира говорит: «О, этот ранний! Это такой, что не проспит росные голубые рассветы!..» И это правда: не раз и Порфир просыпался от того, что моторчик Миколы уже громыхал над водой у причала, еще и солнце не взошло, а уже мчался парень с каким-то поручением в город, или на ГЭС, или на целлюлозный...

Причалив, Микола глушит мотор, сходит на берег с объемистыми пакетами в руках — и только теперь замечает Порфира.

— Здоров, здоров,— говорит ему так, словно вчера лишь расстались.— Как живешь?

— Как то колесо: все время крутишься, а тебя только надувают.

Моторист хохотнул, видно, понравилась ему Порфирова шутка. И хоть хлопец ждал от него расспросов о своей судьбе, да и самому не терпелось спросить, не был ли Микола, часом, на лимане, не встречал ли там дядю Ивана, рыбинспектора, однако Миколe было, видно, не до разговоров:

— Тороплюсь, брат... В лаборатории ждут.

И ушел, кивком головы откинув чуб назад и крепче зажав под мышкой свои пакеты.

На пристани под осокорями несколько пассажиров дремлют с узлами, ждут речную ракету. Пароходик, доставивший экскурсантов, притулился к причалу и тоже отдыхает,— так и простоит, пока его пассажиры не вернутся. Вход на судно свободный, трап настлан, будто ожидает Порфира: давай сюда, парнишка, если хочешь отправиться в рейс... Капитан сидит на корме, читает газету. На верхней палубе два матроса, им Порфир

как-то приносил пиво из чайной, загляделись в небо, переговариваются:

— Во-он пошли... Да ровно как!

— Не вразнобой, а строем идут... У них тоже дисциплина...

Задрал голову и Кульбака, увидел и он тот строй в небе, что, двигаясь, еле мерцал в вышине: журавли идут из гирла куда-то за Киев, на полесские болота, подальше от браконьерских пуль.

XV

«Кучегура с чубом! Вишь какая чубатая... Тут мы и поставим наш наблюдательный пункт», — весело говорил, бывало, дедусь, выбирая место для своего летнего шалаша. С тех пор и кажется Порфиру, когда очутится он среди кучегур, будто это чьи-то исполинские головы вырастают из земли, а на них ветерок чубы развеивает. Чубом дедусь называл кустик шелюги на самой вершине песчаной дюны и объяснял, что этот кустик и самое кучегуру сформировал, потому что задерживал песок...

Дюны и дюны... Где лысые, а где с чубами, немые, молчаливые. «Украинские Каракумы», как писал когда-то об этих песках нынешний руководитель станции, доктор наук, которого за тихость и кротость нрава женщины-гектарницы называют вуйком¹. С годами изменился он, бесчубым стал, зато зачубатели его «Каракумы». Нынешней весной механизаторы и гектарницы осваивают еще одну арену песков. На стогектарном клину при помощи землеройной техники кучегуры счесали, как ножами, разровняли, распланировали, и вот уже идет здесь трактор с плантажным плугом, отваливает глубокую, как траншея, борозду, за ним другой — засыпает удобрения, а дальше уже с чубуками в руках девчата и молодницы, которым предстоит посадить и выходить множество своих чубучат. Одна говорит: «мои чубуки...», другая — «мои чубучины...», третья — «мои чубучата...», — это уж у кого какой характер... Но все они относятся к ним, как матери к своим малышам, ни одна не забудет, что, устроив в земле того маленького, нужно его еще и с «головой» прикрыть, чтобы совсем не видно было чубучонка, его верхнего глазка, не то зноем иссушит или песком иссечет...

Еще одна виноградная школка тут закладывается, где под тщательнейшим присмотром будут все эти «шасла» да «пино», «фиолетовые ранние» да «красавица Цегледа», «Италия» и «жемчужина Сабó»... Каждая из гектарниц без напоминаний знает, когда, что и как ей делать, потому что школка на то

¹ В у й к о (гуцул.) — дядя, также медведь.

и школка, чтобы око тут не дремало, нежнейший сорт должен в этих песках приняться, укорениться. Если понадобится, то в школке его еще и перешколят, то есть пересадят, только бы чубучонок твой лучше рос!

И вот в самый разгар работы, когда женщины еле успевают с чубуками за трактором, появляется из-за кучегур, еще не освоенных, обшарпанный автобусик с повязкой на лбу и водитель, притормозив, начинает допытываться, где тут Оксана Кульбака, гектарница, да не прибежал ли к ней удравший из школы сын.

Гектарницы даже возмутились:

— А вы ж там, почтенные, для чего? Вот ты, дед усатый (это к Тритузному), какого там лешего пасешь? Не прибегал ваш бурсак, а если бы и прибежал, так разве б мы его выдали? Ищите в борозде его между чубучатами, может, там где-нибудь и сидит да над усатыми пастухами своими смеется...

Тритузный пробовал огрызаться, но это еще больше подзадоривало женщин.

— Вы их лучше не трогайте, — отозвался от трактора запыленный паренек и скаламбурил: — Это гектарницы-асы, а языками жалят, что осы... Доктор наук и тот с ними только вполголоса разговаривает...

С Оксаной у приехавших встреча и вовсе не состоялась, ей будто бы выпало сегодня подменять бригадира, и поэтому она совсем недавно поехала с саперами осматривать новый участок...

Так и пришлось отбыть ни с чем. А вскоре автобус с поисковой группой остановился на камышанской пристани под осоками, и водитель, еще и мотора не заглушив, спокойно бросил в сторону причала:

— По-моему, он там...

Экскурсанты, столпившись у трапа, как раз входили на пароходик, и водителю показалось, что... Одним словом, участники розыска вынуждены были обратиться к капитану судна. Отозвав его в сторону, Степашко, как сотрудник милиции, официальным тоном стал спрашивать, не проник ли, случаем, к ним на судно безбилетный пассажир? Пацаненок такой. Замечено, мол, было, что прошмыгнул в толпе некто вроде на их беглеца похожий...

— У меня тут и мышь не проскочит, — оскорбленно ответил капитан. — Впрочем, можете обследовать.

— Разве только чтоб совесть была спокойна, — сказал Тритузный и, отстранив экскурсантов, прошел со Степашко по трапу на судно.

Марыся Павловна осталась на причале. Она нервничала, еле сдерживала себя. «Красивая же тебе выпала роль! Педагог, сторонница такой гуманной системы, и вдруг — в роли Шерлока Холмса!..» — с досадой иронизировала она над собой, нетерпе-

ливо похаживая под осокорями. Вот она, камышанская пристань, о которой Кульбака не раз так восторженно отзывался... Обычный речной причал, каких много на Днепре, притулился в камышах, живет своими неторопливыми буднями. Сейчас только начало навигации, ритм жизни пока что замедленный, а летом тут все забурлит, тесно станет от грузовых машин, прибывающих из степи, грузы лежать будут горами, день и ночь вывозить будут отсюда зерно, овощи, фрукты, отплывать станут тяжело осевшие баржи, и во всем этом впечатлительный ребенок, конечно же, находил для себя романтику, поэзию странствий, и не отсюда ли и зародилась его ненасытная тяга в «світи-галасвіти», которую мы называем бродяжничеством?

Тритузный и Степашко вернулись с судна разочарованные. Осмотр ничего не дал.

— Я ж говорил, что у меня безбилетник не проскочит, — гордо заметил капитан.

И в это самое время с верхней палубы ударило женским визгом:

— Здесь он!

Визжала как раз та плечистая дама в очках и рыжих буклях, которая еще у Тихой могилы донимала Кульбаку своими расспросами. Перегнувшись через борт, она исступленно кричала, что преступник на судне, что матросы, мол, его укрывают.

— Они в сговоре с ним! Дали ему спрятаться!.. И теперь только пересмеиваются. Вот вам и «не проходите мимо»!

Ревностная гражданка, она потом до самой грязелечебницы на все лады будет рассказывать, как первая заметила этого маленького преступника, этого «образцового», что вертелся возле кургана да на женские сумочки поглядывал, а тут даже на судно проник, и когда она, проходя по ступенькам вверх, обнаружила его в нижнем углу под трапом, он так оттуда ощерился — вот-вот, казалось, за ногу укусит!

— Здесь он! Здесь! — звучало на судне.

И сразу же голос какого-то остряка:

— Все сознательные — стройся! Будем ловить несознательного!

Началась охота.

Марыся Павловна стояла на берегу, и ей было стыдно и унижительно смотреть на все то, что происходило на судне, даже отвращение испытывала она к этой пусть и необходимой, но такой дикой процедуре. Ловят человека! Да уже одно это разве само по себе не бессмыслица? А ты, педагог, утонченная душа, интеллигентка, стоишь тут да губы кусаешь, мучаешься угрызениями совести. И хоть находишься вне этого гвалта, галдежа, сумасшедшей беготни, от которой аж содрогается судно, но сама ты разве не такая же, разве ты не соучастница этой позорной охоты? Гляди, гляди, ведь и ты сейчас там с ловцами

становишься в засаду, выслеживаешь удобный момент, коварнейшее мгновение, чтобы схватить ребенка, потащить к автобусу... А то, что стоишь сейчас словно бы в стороне, не бросившись стремглав в водоворот ловли, существа дела это не меняет, все равно ты там, с ловцами, ты с ними заодно, ты также являешься участницей насилия! И как ни изворачивайся, но и тебе адресован этот налитый горючей ненавистью взгляд, затравленный, непрощающий, это и от тебя отбиваются в отчаянье детские руки... Но где же выход? Укажите его, если знаете! Посоветуйте, подскажите, как иначе утвердить над ним свое право воспитателя и как от него отвести грядущую беду, может, гибель предотвратить, может, тяжкое преступление?

Операция приобретала размах, люди распалялись, перекликались в веселом охотничьем азарте. Знали ведь, что беглец теперь никуда от них не уйдет, смотри лишь в оба, чтобы не выпрыгнул за борт, и потому становились вдоль бортов, расставив руки, образовывали как бы живую изгородь, и все были в веселой готовности не прозевать, задержать, схватить. Случай послал им будто на потеху этого сорвиголову, бегльца интернатского, в редкостном единодушии ловили они его, а дирижировал ловлей Тритузный, сквозь шум и гам слышались на палубе его зычные команды, хриплый бас гремел раскатисто, предупреждая то одних, то других, откуда бегльца можно ждать. А оно, то маленькое, непокорное существо, что тебе молния шаровая, перекатывалось с носа на корму, с кормы на нос, откуда-то из трюма вымчит на верхнюю палубу и, уже почти схваченное, опять вьюном извернется, вырвется и, затравленное, злое, никак не дается в руки.

— Да держите же его! Нарочно отпускаете! — слышались возгласы. — Где же он?

— В воду пошел! В атмосферу!

Ловцы, которые уже изрядно распалили в себе охотничий азарт, все же, видимо, не спешили завершить дело, в этой ловле было для них что-то развлекательное, культзатейническое, похожее на массовую, но не надоевшую еще игру. Вероятно также, что кое-кто из экипажа и впрямь сочувствовал сбежавшему камышанцу, иначе почему бы удавалось ему, почти схваченному, каким-то чудом снова и снова выскальзывать из крепких матросских рук? Ловцов прямо-таки хмелило их веселое занятие. Один подстерегал оттуда, другой караулил отсюда, и каждый — кто серьезно, кто насмешливо — выжидал, что неуловимец налетит именно на него. Это действительно было похоже на забаву взрослых с ребенком, на спортивный поединок старших с младшим, с диким тем камышанским созданием, для которого эта охота, однако, не имела ничего общего с игрой, а была, может, тяжелейшей драмой жизни.

Когда его поймают, охотники почувствуют себя так, словно

бы что-то утратили, они будут даже разочарованы своим успехом, найдутся сочувствующие, болельщики, которым захочется заступиться за ребенка — ведь он, в конце концов, ничего не украл, — но пока что только и слышится то отсюда, то оттуда:

— Ой, не могу!

— Держите его! Хватайте!

— Чуть меня за борт не сбил!

— А меня за руку хотел укусить!

А тот напружиненный зебренок, не зная усталости, летал по судну, клубком прокатывался мимо резвящихся дядь и тетя, выискивая, где бы вырваться из облавы.

Наконец беглеца все же загнали в тупик, зажали внизу под трапом, там, где он спрятался было поначалу. И хоть мальчонка и тут еще в слепой ярости отбивался руками и ногами, огрызался, как затравленный зверек, и хоть даже на берег, до Марыси, долетело его исступленное: «Волкодавы! Душегубы!», и хоть в припадках бешенства выкрикивал он кое-что и совсем непристойное, такое, что ни в какой протокол не впишешь, — публику это уже не понимало, дело было сделано, азартное возбуждение стало быстро угасать.

Мальчика вывели на берег, цепко держа за руки: милиционер — с одной стороны, начальник режима — с другой. Укрощенный наконец, явился Кульбака пред ясные очи Марыси Павловны. Учительница ужаснулась при виде того, что произошло с ним, вчерашним шутником, выдумщиком, веселым фантазером... Лицо чужое, искаженное бессильной яростью, в грязных подтеках размазанных слез... Глаза тоже были нестерпимо чужие и какие-то не детские, полные ненависти, исступления. Где же прежний Кульбака? Измученное, измятое ловцами тельце уже не сопротивлялось, оно стало вялым, поникло, словно бы утратив последнюю волю к жизни... Лоб в мазуте, еще и шишка выступает, видно, ударился обо что-то с разгона. С обеих сторон держат его крепко, и кажется учительнице, что и она слышит, как на стиснутых кистях детских рук испуганными птенчиками пульсы бьются.

— Пустите его, — велела Марыся Павловна.

Ослабив руки хлопцу, Степашко и Тритузный, однако, отпустили их не совсем.

— Отпустите! — повторила она резко.

Теперь они отпустили, и мальчик, вопреки их опасению, не бросился бежать, поражение напрочь утишило его воинственный пыл.

— Заставил нагреть чубы, — утерся рукавом кителя Тритузный. — Ей-же-ей, легче было бы волка за ухо поймать.

С судна, что отходило, доносились шутливые советы и даже искренние просьбы дать хлопцу амнистию, ведь ничего же такого он не совершил, никого не порезал, ножа при нем не было...

— Езжайте себе, езжайте,— отвечал Тритузный.— Без вас разберемся.

Мальчуган стоял понурившись, ни на что не реагируя. Стыд поражения, униженность сменились полнейшим безразличием, на все ему сейчас наплевать, все не мило, все опостылело,— кажется, пусть бы тут хоть и смерть.

Лишь время от времени тело его сотрясало короткой нервной дрожью, а лицо, вчера еще такое беззаботное, то и дело озаряемое детской улыбкой, до неузнавания искажалось почти старческой гримасой муки. Когда же Марыся Павловна попробовала положить ему руку на голову, чтобы успокоить, мальчик резко, с нескрываемой злостью стряхнул с себя эту руку:

— Без ваших жалостей обойдусь!

Однако уже одно присутствие Марыси Павловны, ее ласковый жест и то, что она велела отпустить ему руки,— все это, видимо, повлияло на хлопца, да, наверное, вспомнилось ему, как он кривил, а может быть, тогда и не кривил душой, давая обещания воспитательнице и директору Валерию Ивановичу насчет своего будущего. Раскаяния, однако, не чувствовалось, детскую душу охватила сейчас черная озлобленность, дух непримиримости да еще горечь поражения, осознания неизбежности расплаты за содеянное, что, как тот австралийский бумеранг, настигло тебя и тут, на грани свободы.

Без сомнения, он страдал. Но никакой поддержки, никакого сочувствия не способен был сейчас принять ни от кого. Встретившись взглядом с учительницей, мальчик снова сердито и резко вздернул голову, отвернулся и этим инстинктивным движением, знаком презрения и нераскаянности, как бы еще раз подтвердил то, что мог бы сказать: «Ты тоже такая, как и эти, цепкорукие! Какие бы слова ни говорила, а сама тоже причастна к этому насилию!»

С автобусом произошла задержка, оказался проколотым скат, пришлось его менять. Тем временем камышанские телеграфы усиленно работали, передавая всем, что происходит на пристани, потому что, когда мальчика вели к автобусу (пришлось тем же двум снова взять его под руки), навстречу из-за холма вылетел на бешеной скорости станционный, крытый брезентом «газик», тот, на котором разъезжает вуйко — доктор наук, по своему кучегурскому царству. Подлетев к причалу, «газик» резко затормозил, и из него выскочила возбужденная, пылающая гневом Оксана Кульбака.

— Что же вы ребенку руки ломаете, костоломы? — с ходу накинулась она на Тритузного и Степашко.— Куда вы его волочите, людохваты?

И видно было, что ничем от нее не защититься, никакие объяснения ее не проймут. Наверное, вот так же приближалась

бы к своим врагам ослепленная гневом тигра: лишь ярость в ее глазах, лишь бесстрашный инстинкт материнства. Было впечатление, что вот так налетит и хоть ценой жизни, но вырвет из их рук, высвободит своего ненаглядного сыночка...

Почему-то прежде всего накинулась на милиционера:

— Пусти хлопца! Что ты ему руки крутишь? Своему будешь крутить!

— Кто крутит? — попробовал возразить Степашко, сконфуженно усмехаясь, и совсем отпустил мальчишку, даже отстранился от него. — Вот он, вольно стоит.

Однако мать никаких оправданий не принимала, все тонуло во взрыве ее иступленной материнской страсти.

— Езжайте прочь. Не отдам вам его! В кучегуры заберу, пусть лучше там с ящерицами воспитывается!

Пол-Камышанки сбежалось на ее крики, председатель сельсовета, немного растерянный, попытался было напомнить, что сама же она добровольно отдала сына в режимную школу и что есть на сей счет ее заявление и заключение комиссии по делам несовершеннолетних...

— Так это, по-твоему, я навсегда его отдала? — обрушилась Оксана своим гневом и на председателя. — По-твоему, на сына родного уже не имею права?

— Имеете, имеете, — взволнованно, с искренним сочувствием заговорила Марыся Павловна, подходя к женщине. — Вернется он к вам!.. Разве ж мы не понимаем, что он для вас значит?

Женщина не сразу узнала учительницу, внимательно посмотрела на нее, будто через силу стараясь сообразить, что она говорит.

— И ничего страшного он не натворил, — еще ласковее продолжала учительница, — душой он добрый и в школе совсем не из худших...

— Правда?!

— Уверяю вас! По существу, он славный мальчик...

И что-то случилось с женщиной, пламя гнева и возмущения разом опало, она дала учительнице взять себя под руку и отвести в сторону, чтобы и там слушать из ее уст добрые слова о сыне. Люди видели, как горячо что-то говорила учительница, в чем-то убеждая женщину, с выражением почти страдальческим заглядывая в ее взволнованное, раскрасневшееся лицо. И хотя ничего особенного не было в Марысиных речах — были обычные, почти сентиментальные слова утешения, — но, может, потому, что шли они от сердца и что почувствовала мать в них искреннюю озабоченность судьбой ее сына, двое людей этих — к удивлению всех — сразу, видно, поняли друг друга. Оксана после только что пережитого успокаивалась, светлела на глазах, в жгучей надежде ловила каждое новое слово учительницы, во взгляде ее появилось нечто сестринское. А когда Марыся от

имени коллектива пообещала, что из Порфира они все же воспитают человека, мать сказала даже: «Простите», — сожалеет, мол, она о своей вспышке.

— Надоумьте его! Верно вы разгадали, душой он добрый, но боюсь я за него! Так хочу, чтобы больше нигде не споткнулся, чтобы честным вырос!..

— Успокойтесь, так оно и будет, — заверяла Марыся.

А мать, привычно прикладывая платочек к глазам, снова шептала пылко, почти умоляюще:

— Жалейте его! Он же... полусирота! Будто из груди его сейчас вынула и вам передаю... Самое свое дорогое доверяю...

— Не раскаетесь. Конечно, строго у нас...

— Пусть! Главное — спасти его... Делайте что угодно, только человеком верните!

— Постараемся!

— Век буду благодарить!

Появилось после этого у Оксаны нечто похожее на проблеск улыбки, было с ее стороны и пожатие руки, и припадание к плечу, и когда Тритузный увидел эту чувствительную сцену, он кивнул напарнику: давай, мол, действуй — и в тот же миг, почти подняв хлопца под мышки, они впихнули его в автобус.

Порфир не оказывал сопротивления. Подавленный, убитый, молча опустил на сиденье у окна. А когда и Марыся Павловна вошла и дверца за нею автоматически захлопнулась, мать Порфира снова в отчаянье взмахнула руками, и невольно из груди ее вырвался крик боли или прощания. Наверное, ужаснуло ее, что увидела сына за стеклом (как за решеткой!) и возле него победоносно усмехающегося милиционера в фуражке. Однако запоздалого крика того никто из них уже не слышал, потому что автобус рванулся вперед и все заглушила музыка, которую водитель включил на полную силу.

Выехали на верхний Бекетный шлях. Хлопец, согнувшись, сидел у окна и провожал взглядом пароходик: выбеленный косыми лучами предзакатного солнца, он пошел и пошел, удаляясь в сторону лимана.

Марыся Павловна не трогала хлопца: пусть улягутся страсти, пусть уймется взбудораженная душа. Сейчас, откуда ни заходи, он останется к тебе глухим: ведь вы лишили его самого дорогого, и сама ты для него сейчас никакая не воспитательница, не друг, а одна из тех невыносимых ловцов, участников насилия. Любые твои слова и доказательства разобьются о панцирь его озлобленности, о растравленную боль его унижения. Человек травмирован, душа его сейчас такая, что не найти с нею контакта, все светлое в ней напроць погашено, замутнено. Сколько понадобится времени, терпения, педагогических усилий, душевной деликатности, чтобы вывести его из состояния озлобленности, обиды и ожесточения, которым он ошетинился против вас всех!

Вы хотите от него смирения, раскаяния, но будет ли оно искренним, если будет вообще? Разве не попытается он при первом же случае снова бежать, утвердить свое право, каким оно видится в его пусть даже искаженных, неверных представлениях? Воистину трудное дитя! Замкнулось в себе, затаилось, и тебе, наставнице, по-настоящему даже неведомы мотивы его бегства, внутреннее оправдание, какое он, несомненно, имеет для своего поступка. Сумей войти в этого человека, в его глубинное, сокрытое от глаз, в самую структуру побудительной сферы, которая, конечно же, у него своя и во многом от твоей отлична. Холод в насупленном взгляде. Вновь и вновь ты должна растоплять этот лед отчужденности, которую некоторые склонны считать характерной приметой века, вирусом, вызывающим недуг одиночества и всечеловеческого похолодания... Рухнуло нечто очень важное для вас обоих. У тебя есть власть карать, есть баллы и оценки — ох как этого мало! Припоминается, как Ганна Остаповна еще с первых шагов напутствовала тебя: «Вы принесли сюда свои институтские идеи, жажду педагогического эксперимента, а тут чаще всего нужно просто человеческое тепло... обыкновенное тепло к этим травмированным детям, трудным, наитруднейшим...» Мудрый совет, но только что делать, когда и тепло твоих чувств отбрасывают такие вот баламуты, которых передают вам в кризисах, в исступлении, на грани катастроф...

В школе он снова очутится на острие событий: а как же, побывав на воле, для некоторых будет почти героем! Всему коллективу воспитателей опять придется напрягать свои интеллекты, выискивая способы разомкнуть замки его настороженности, озлобленности, мстительного недоверия. Вся педагогическая тактика и стратегия, все ваши учительские, совсем не воловьи нервы, весь опыт ваш — у кого побольше, у кого поменьше — будут направлены на то, как наставить его на путь истинный, как из этого клубка неукротенных инстинктов, стихийных порывов, унаследованных генов и буйных нарушительских склонностей, приобретенных где-то на самой заре жизни, извлечь человека, сотворить личность, которая отвечала бы вашим представлениям и была приемлема для общества. «Верните человеком!...» Как она молила тебя об этом, та измученная женщина, беспомощная мать, что сначала бурей гнева налетела на вас, а потом только тихо всхлипывала у тебя на плече. Чудодейственница на своих виноградниках, ни один чубучок там у нее не гибнет, а с этим, что является частицей ее же естества, ее кровинкой, управиться не смогла... Надоумьте, человеком сделайте, взывала она к тебе в своей великой святой надежде, и ты обещала, а вот оправдаешь ли ее материнские чаянья? Кто с уверенностью скажет, какие плоды принесут все ваши педагогические усилия? Чье око прозрит ту глубину

внутренних процессов, которые в детской смятенной душе бушуют так же сложно, загадочно и сильно, как и в душе взрослого, а может, даже еще сильнее? И наконец, принесут ли все эти ваши труды тот венец, какого вы жаждете, станет ли этот ребенок — да разве только этот! — человеком настоящим, нужным для других, а для себя — счастливым? Измученное, изболевшееся душой существо замерло у окна. И чем ты сейчас можешь помочь? Еще в детстве знала Марыся одну старушку, к которой носили лечить детей. Почти слепая, руки вывернуты, в узлах, а лечила только тем, что муки и боли детей умела перенимать на себя. И всякий раз после того, как вылечит ребенка, спасет его жизнь, сама сваливается больная, мучится по ночам... Если бы и тебе владеть такой силой самого гуманного на свете колдовства — силой, способной перенимать на себя чью-то боль. Снова встает перед глазами Марыси образ той женщины, что осталась на пристани со своим отчаяньем и надеждой, матери, что так неистово любит внебрачное свое дитя, лобастого своего мучителя. А чем он родительницу свою отблагодарит? Хватит ли у него сердца для нее или оставит матери на старость лишь холод одиночества?

Пойманный, схваченный человек сидит... Наежился, оцетинился, лишь иногда исподлобья косится в окно на речку, на дубы, что кое-где пооставались вдоль шляха с седой древности. Те самые, возле которых когда-то сторожили пикеты; зоркие наблюдатели, те, кто простым глазом умел видеть дальше, чем вы в бинокли, умел слышать тишину ночную и по тому, в каком направлении бежит степное зверье, способен был угадать еще не видимое глазу движение орды... Впередсмотрящие — это они здесь стояли в дозорах и как только, бывало, заметят опасность, зажигают смолу в бочках, привязанных наверху, на дубах, подают сигналы от пикета к пикету, аж на Хортицу... Не ловили ворон, зорко стояли на страже, а он вот автобуса не услышал, так по-глупому попался...

Мальчик невольно вздохнул.

А склоны кучегур, меж которых с трудом пробирается их автобусик, все горят и горят светящимся алым цветением. Дикие маки, тюльпаны — красота, глаз не оторвать. И разве же не диво: из серого песка, из силиката — такая сочность красок, такая гармония форм... В одном месте сплошным живым костром вспыхнуло, все так и припали к окнам.

— Что это?! — воскликнула Марыся Павловна. — Тоже мак? Нет, вроде не мак...

И ждала, что скажет Порфир. Он даже заколебался: сказать или нет?

Потом все же буркнул глухим, тоскливым, потонувшим в беспредельной печали голосом:

— Воронец цветет...

— Возьми стул, садись, — сказал Валерий Иванович, когда Кульбака вошел в кабинет.

Мальчик не шевельнулся. Стоял как чужой перед чужим. Будто впервые переступил порог этого заведения и, поникший, остановился в неприязни.

— Садись, садись, разговор будет.

Кульбака в нерешительности сел на краешек стула. Руки под стол, непокрытая голова со свежей шишкой втянута в костлявые, худенькие плечи. Что-то жалкое и беззащитное было в его маленькой съеженной фигурке.

Из коридора кто-то заглянул, сгорая от любопытства, словно редкостный субъект появился здесь, словно привезли сюда какого-то знаменитого разбойника. Валерий Иванович вынужден был встать, чтобы закрыть дверь на ключ.

— Вот так будет лучше. А то твоя особа вызывает сейчас слишком повышенный интерес.

Остались с глазу на глаз. Антиподы. Ты старший, наделенный правами воспитателя, наставника, преисполненный чувства собственной правоты. Напротив тебя — маленький упрямый человечек, застывший в своей настороженности, с жаждой утраченного рая в глазах. Имел — и потерял. Неужели истинный вкус свободы можно ощутить, лишь потеряв ее? Оценим, когда потеряем, — так уж, наверное, устроена психика людская... Ты, директор, чувствуешь сейчас свою правоту, но ведь и он, этот камышанский волелюб, уверен, что правда на его стороне и что его сегодня незаслуженно и тяжело обидели. Всем отчужденным видом, горькой нахмуренностью мальчик дает почувствовать, что твои внушения и нотации сейчас его не проймут, что между вами барьер неодолимый, каменная стена. Стена обиды и причиненного ему унижения. Путь от сердца к сердцу — самый длинный путь, и ты сейчас только у его начала. До этого злополучного побега чувствовал, что какие-то ниточки взаимных контактов между вами — между педагогом и воспитанником — уже возникли, ниточки тонюсенькие, как паутинки, а сейчас и их нет. Разлетелись, порвались где-то в этой буре погони...

Вопросов: «Куда бежал? С какой целью?» — будто и не слышит.

— А дальше как жить будешь? Опять в бега?

— Нет, лапки сложу.

— Думаешь, у нас других забот нет, как только за тобой гоняться?

Молчит.

— Пожалуй, считаешь, что лишь тебе свобода дорога, а мы все против нее? А нам она, уверяю, не менее дорога, чем тебе.

Дороже ее, может, ничего и не найти... Только я, например, никак не могу в толк взять, что ж то за свобода, когда она оборачивается мамиными слезами, мучит и старит ее до времени. Кое-кто понимает свободу как неограниченную возможность удовлетворить любые свои причуды, прихоти, грубые и примитивные желания. Напьюсь, подерусь, покажу всем, какой я герой... Ну, а дальше что? Жить только развлечениями — разве это не пустоцветная жизнь? К лицу ли она сыну матери-труженицы? Конечно, можно жить кое-как, угождать лишь слабостям своим, темным инстинктам, что порою похуже звериных и могут хоть кого в животное превратить. Но подумай, какая же это свобода? Скорее это неволя, потому что человек как раз тут и попадает в ярмо своего эгоизма, в рабство собственной распущенности и всяческих капризов... Себялюбцем, рабом своих похотей, придатком желудка — хотел бы ты стать таким?

— Нет.

— Для меня одним из самых прекрасных проявлений свободы является свобода мыслить. Возможность вглядываться в себя и в других. Самому доискиваться каких-то важных истин в жизни... Наверное, и тебе это уже знакомо. Ведь раньше или позже, но и для таких, как ты — детей подросткового возраста, — неминуемо настанет время, когда придется осознать, что в жизни существуют не только «хочу», но и «надо». Начинаешь учитывать не только первое, но и второе. И пока не осознаешь этого «надо», школа с ее распорядком будет для тебя только тяжестью, каторгой... К сожалению, ты пока еще не можешь принять наших правил, ограничений, считаешь, что тут посягают на твои права, что тебе у нас мало свободы...

— А то много?

— Твоей свободе не хочется ноги каждый вечер мыть, она никак не привыкнет к отбою, к подъему... К регулярным занятиям, к утренним и вечерним линейкам. Ей нравится другой стиль: иду, бегу, целюсь в левый глаз...

— Когда это было! А до сих пор только и слышишь: хулиган, себялюбец...

— Я не хотел тебя оскорбить. Просто надо уметь различать свободу и псевдосвободу. Для одного только и существует что свобода распущенности, праздности, для другого же... Вот дедусь твой отважный был солдат, фронтовик. Я уверен, он знал, какую свободу в боях отстаивал... А юные герои, сколько их было? Знал я детей, Порфир, которые в твоём возрасте наравне со взрослыми снаряды носили к фронту. Никто их не заставлял, сами вызывались: по грязи непролазной, шаг за шагом, за десятки километров... А отцы во весь рост в атаку шли... Человек, способный на такое, по-моему, как раз и есть воистину свободный человек...

— Моя мама тоже снаряды носила и мины противотанковые...

— Так то ж мама...

— Я тоже носил бы.

Учитель через стол пристально вглядывался мальчику в глаза, и тот не отводил взгляда.

— Когда будем в лагере, Порфир, попросим тебя, чтобы ты о своем дедусе у костра рассказал. Не каждый две «Славы» имел на груди...

— Была бы и третья, если бы не ранило...

— Вот и расскажешь ребятам.

О дедусе Порфир готов им рассказывать хоть и каждый вечер. Ведь таким дедусем всякий бы гордился. И на днепровском плацдарме отличился, и когда был бригадиром-виноградарем — тоже... Триста разных сортов было в его коллекции, и среди них — «черный камень», очень редкостный сорт, его тогда только вводили... И юкку, специальную такую нитеобразную траву, идущую на подвязывание винограда, тоже первым дедусь у себя на участке посеял! Цветет, как петушки, и листом на петушки похожа. Нет шпагата — сбегай, Порфир, юкки нарежь! Кое-кто из переселенцев даже не верил: бурьяном вязать? А ты попробуй — она крепче капрона...

А то мог бы еще рассказать Порфир, как умел дедусь варить бекмез. Хлопцы, наверное, и не слышали, что это такое! Не знают, что можно варить мед из кавунов! Целый день кипит возле шалаша в медном казанке этот бекмез, и когда арбузный сироп станет густым, аж тянется, тогда доливай молока! И это будет наилучший для тебя от дедуся шоколад, самый сладкий в жизни... А охотнее всего расскажет у костра о том, как дедусь подобрал где-то подбитого орленка и как тот жил у него на шалаше, совсем привыкнув к человеку... Дедусь, бывало, отправляется на велосипеде в контору или в аптеку, орленок далеко на шляху догонит и, как ты его ни отгоняй, сядет дедусю на плечо, вцепится когтями в пиджак и тоже едет — еще один велосипедист... Так и жили в то последнее лето: человек в шалаше, птица — на шалаше, зоркоокий впередсмотрящий на страже...

Уже повечерело, сумерки наполнили комнату, и Валерий Иванович, встав из-за стола, включил свет. Поразился, как изменилось лицо воспитанника: оттаяло, словно бы теплом окуталось, теплом какого-то воспоминания... «Вряд ли это следствие твоих поучений», — усмехнулся сам себе директор и велел питомцу:

— Ладно, иди.

Кульбака встал.

— В карцер?

Знал ведь, что за бегство надлежит отсидеть, такой уж порядок...

Однако на этот раз Валерий Иванович почему-то отступился от правила.

— Иди на то место, откуда бежал. Только не очень бравируй там своим побегом. Нечем хвастаться. Когда-нибудь еще стыдно будет.

XVII

Не было ни фанфар, ни приветствий, какими встречают победителей, вернувшихся из похода. Был холодный взгляд дежурного по коридору Григория Никитовича, застегнутого на все пуговицы усатого аккуратиста, который, как и Порфиоров дедусь, тоже в свое время принимал участие в форсировании Днепра и, может, потому и к маленькому Кульбаке отнесся поначалу доброжелательно, расспрашивал накануне побега, какие именно сорта винограда выращивает мать и какие удобрения кладет, кроме камышанского торфа... Но это было до побега, а сейчас он будто и не узнает хлопца, при появлении Порфира даже насторожился, будто мимо него проходил какой-то опасный тип. Обыскивать не стал, но взглядом внимательно ощупал Порфиру карманы — не проносит ли бомбу или кинжал, и бросил вслед:

— Кормят, одевают, учат его, а он еще убегает. Сам не знает, чего хочет...

— Не знает, чего хочет, зато знает, чего не хочет,— выглядывая из спальни, с ухмылкой подкинул Гайцан, командир отделения восьмиклассников.

Когда отважный камышанец появился на пороге спальни, стриженная гвардия тоже не встретила его криком «ура!», как, казалось бы, надлежало приветствовать героя. Коллективное неприязненное молчание было ему встречей. Обступили, глазели, кто-то вьедливо спросил, почему же до Курил не добежал...

— Прописать бы тебе как следует,— сказал Юрко-цыган, командир отряда.— Разве не знаешь, что за твой побег всем нам теперь оценки снизят?..

— Да еще куда бежал — к маминой пазухе,— презрительно скривился Бугор.— Нарушил первую беглецкую заповедь... Подожди-ка, я тебе за это по кумполу дам!

Когда Порфир подошел к своей кровати, он увидел, что она занята: на ней сидела с улыбкой до ушей большая кукла, вырезанная из картона, из того самого, из которого школярчата в мастерских клеят коробки для тортов. Сидела, как иронический двойник самого Кульбаки, и этой своей улыбкой словно бы спрашивала: «Ну что, набегался? Или еще приспичит?»

И едва ли не единственный, кто в этот вечер проявил

сочувствие к Порфиру и выказал понимание в его неудачах, был Гена Буткевич, мальчик с соседней койки. Тихонький, начитанный, из культурной семьи, даже странно, как он сюда, в это хулиганское гнездо, попал. И тут держится тоже скромно, малозаметно. После отбоя, когда другие уснули, он шепотом обратился к Порфиру:

— Я тебе просто завидую, Кульбака... ты — смельчак... Тогда вон Синьору Помидору по носу дал, а теперь на такое отважился... Неужели ты совсем не чувствовал страха?

Порфиру вспомнилось дедушкино присловье: «Отвага мед пьет», хотел было произнести его, но скромность относительно своей особы удержала от похвалы.

— Ты тоже смог бы,— сказал он Гене,— если бы только твердо решил...

— О нет! Мне не хватает смелости. Я вот даже Бугру отказать не в состоянии, когда он требует, чтобы я за него девочкам писал...

Где-то в Измаиле живет девушка, симпатия Бугра, старше его, и поскольку сам он ей складно написать не умеет, то нашел себе писаря в лице Гены... И вот этот интеллигентный, безотказный Гена такие нежные послания составляет измаильской незнакомке от имени грубой Бугровой души... А теперь перед Порфиром корит себя, что согласился на такую роль.

— А ты ему не поддавайся,— советует Кульбака.— Скажи: не буду — и все. Баста. Пусть сам царапает, коли уж такая у него любовь. На мне он не поедет...

— Бесстрашным быть — это просто здорово,— шепчет Гена в темноте.— Без колебаний жить, без сомнений: решил — сделал.

— Отвага мед пьет,— все-таки не удержался Порфир и даже пошутил: — Мед, конечно, из кавунов, бекмез называется... Только та ли это отвага?.. Бывает ведь такая, что ей памятники ставят...

Никто уже не перешептывался по углам, уснула ребятня, лишь к этим двум не идет еще сон. В окне словно бы посветлело, наверное, луна из-за камышей поднялась. Фрамуга полуоткрыта так же, как в прошлую ночь, только по ту сторону окна... темный какой-то узор появился, вчера такого не было. Украшение вроде крупного вьющегося цветка или лозы виноградной... Станным показался камышанцу этот виноград, эта растительная вязь за окном...

— Гена, что это там темнеет?

Гена, вздохнув, пояснил:

— Решетки. Кованые. Из металлических прутьев. Сегодня их навесили...

«Вот что ты всем нам выбегал»,— возможно, еще и это хотел сказать Гена, но из деликатности не сказал. Оказывается, хра-

нилось это добро где-то в укрытии, держала его служба режима в запасе, пока шла борьба мнений: цеплять решетки на окна или нет?

Сегодня, когда стали цеплять, даже до скандала дошло, учитель рисования Берестецкий носился по двору, размахивал руками и кричал: «Кошунство! Так испоганить мои замыслы! Из лучших моих эскизов они взяли себе модель для решеток! Цветок, символ красоты, переводят в образ насилия!» Угрожал, что так этого не оставит, не позволит себе в душу плевать, а кто-то из тех, которые молча занимались своим делом, цепляли черное железо, бросил сверху шутя: «Эстетику — в быт!»

Вот такое произошло здесь за время отсутствия Порфира. Выбегал, вырастил им виноград из металлических прутьев! По коридору шаги — медленно, размеренно: топ-топ... топ-топ... Геня притих, заснул вскоре, а у Порфира все еще сверкало дневное возбуждение в глазах. Снова привиделась ему унижительная сцена на пристани, и мама, как она бежала в слезах, в ярости, с криком, на выручку ему торопясь. Никогда больше не причинит он маме обиды и горя, не будет больше ее тиранить! Можно же как-то и по-людски жить, без того, чтобы, как бандюга какой, с оружием на продавщиц набрасываться: «Кассу давай!» Нет, он будет жить иначе, с чистой совестью, как мама сегодня говорила. Ничего нет хуже, чем когда совесть нечиста, мучиться будешь потом всю жизнь, как этот их Хлястик, который хоть сам и никого не убил, но был при том, когда взрослые его приятели-бандюги таксиста душили, чтобы выручку забрать. Тех осудили, а этот тут по ночам мечется в кошмарах, а днем по углам ноет: «Когда вырасту, меня все равно расстреляют. Это меня только временно помиловали, пока годы подойдут, а потом подберут статью...»

Дневное возбуждение сказывается, лежит Порфир без сна в глазах, думает, прикидывает разное-всякое в уме. То видит дедуся на велосипеде с орленком на плече... То мамин слышит голос взволнованный и уже совсем зримо представляет ее девочкой маленькой: вот она, повязана толстым платком, худенькая, пошла и пошла по степям в веренице таких, как и сама, малолетков, — по колено в грязи тащатся они к фронту, несут мины противотанковые и тяжелые снаряды отцам. Потому что война идет, Украина освобождается, а в степях распутица, никакими тягачами не пробиться. И вот они, детвора, идут с матерями по холодной топи под дождем, с тяжелой, не детской ношей на плечах... Ноги не вытянешь из грязищи, и снаряд к земле тебя пригибает, а с неба льет и льет бесконечным потопным дождем. И когда, обессиленные, до смерти уставшие, падают где-то у лесополосы на короткий отдых, тогда круглые мины кладут под головы и мгновенно засыпают, прижимаясь к матерям. Где-то там среди них и она, будущая твоя мама, в

дырявых сапогах лежит среди снарядов, среди уснувших девочек и мальчиков, и на всю жизнь ей запомнится, как время от времени нервно вздрагивают во сне детские бледные личики под ударами холодных дождевых капель...

XVIII

«Сила может рождаться и от страданий, сынок» — так сказала однажды мать Порфиру, и это ему накрепко запомнилось.

Переболев позор поражения, перестрадав тайком неудачный свой побег, Кульбака вновь набирал духу для жизни, для преодоления крутых житейских барьеров.

В мастерских — вот где, оказывается, мог Порфир более всего раскрыться своими талантами. Ко всему с интересом приглядывался, на все набрасывался, сотней профессий, казалось, хотел бы овладеть, чтобы сразу уметь все: и по дереву и по металлу. Совсем иначе себя чувствуешь, когда не с игрушечным, а с настоящим инструментом имеешь дело или когда тебя подпустят к мотору и ты сам уже можешь его включить. Это уже не забавы, а настоящее: джик — и пошло! Появляется чувство уверенности в своих силах от этой власти над техникой, над моторами и моторчиками, — возле них ты как бы взрослеешь сразу, становишься похожим на тех, кто, свободно положив руку на руль, быстрее ветра вылетает на ранних зорьках из Камышанки, чтобы где-то на лиманах, на просторной разлей-воде встречать свои росные голубые рассветы.

Порфиру туда теперь ходу нет. Можешь разве что выбежать к арочным воротам во время перерыва (арка да каменная ограда — все, что осталось тут от бывшего монастыря) и сквозь прутья ворот выглянуть в потусторонний, аж белый от солнца песчаный мир... Еще можешь крикнуть под аркой что есть силы, испытать свой голос: под сводами прекрасная акустика, хоть концерты устраивай... Вечером по ту сторону каменной ограды соловьи выщелкивают, полно их там в вербах, в их зеленых кущах, что на самую ограду налегают. На вечерних линейках, когда хлопцы выходят с рапортами, соловьи будто нарочно перебивают их своими шальными руладами, и если кто-нибудь собьется с рапорта, то причиной считается соловьиное вмешательство.

Весна здесь не тянется долго. Отцвел воронец, облетели на ветрах маки полевые (рано они зацветают и быстро гаснут), и вот лето смуглое уже выглядывает из-за кучегур... В один прекрасный день из совхоза поступает срочный заказ на ящики для черешен. Это — событие! В мастерских теперь этим живут, все на черешню работают. Операция у Порфира несложная:

подхватив ящик, проплывающий перед тобой, должен вогнать в него гвоздь и отправить дальше, соседу. Некоторым работа эта кажется нудной, однообразной, а Порфир и в ней находит для себя удовольствие, тут он как бы уже среди черешен, в садах; инструктор по труду поглядывает сбоку на хлопца с улыбкой, приятно ему глядеть, как ловко, прямо артистически орудует молотком лобастый камышанец, как он, подхватив гвоздь, легким и безошибочным ударом вгоняет его в дерево.

И пока на педагогических советах ломают копья в дискуссиях о том, какой путь целесообразнее: через труд — к знаниям или через знания — к труду, Кульбака, с молотком в руке, зоркий и сосредоточенный, стоит на потоке, подстерегает пролетающий миг и дает по полторы, а то и по две нормы ежедневно.

— Стараешься? — язвительно кинет иногда Бугор, проходя у него за спиной. — Решил медаль заработать?

Кульбака не откликается, он весь в ритме работы, молотком стук да стук, а воображение его тем временем уже наполняет эти ящики «мелитопольской ранней» да сочной «жабулэ», которую свежей — еще в утренней росе! — в этих ящиках погрузят в самолеты, адресуя куда-то на Север, за Полярный круг... Щедрое воображение заодно выписывает и самому Порфиру бесплатные плацкарты, и уже оказывается хлопец среди арктических льдов, в обществе суровых полярников; можно видеть его с рыбаками на сейнерах и плывущим среди белых медведей на льдине; а оттуда перекинется он в синие тропические воды: идет под наполненными ветром парусами учебного парусника, пересекает экватор, и возникают перед ним острова с пальмами да тем диковинным хлебным деревом, чубуки от которого он и в Камышанку привезет, заложит питомник — должно же вырасти хлебное дерево и тут, в этих знойных песках!..

Иногда трудовой артистизм Кульбаки вдруг ощущает потребность что-нибудь отколоть в присущем лишь ему духе, и тогда Порфир обращается к Гене, своему соседу на потоке:

— Хочешь, покажу, что гвозди эти можно вколачивать даже с завязанными глазами?

— Пальцы поотбиваешь!

— Спорим! Завязывайте глаза!

Компания, бросив все, крепко завязывает умельцу тряпкой глаза, и он, на диво всем, ударом вслепую и вправду вгоняет гвоздь за гвоздем в деревянные планки ящика, попадает точно по головке, а по пальцам себе — один только раз!

Вон какой мастер! Из присутствующих, пожалуй, один Гена и догадывается, на чье умение равняется Порфир в это время, на кого хочет походить — вот такой, бог труда с завязанными глазами! У дедуся его, еще когда работал виноградарем в совхозе, возник спор с какой-то комиссией при сортировке лозы. Приезжие ему: «Вы ж смотрите не перепутайте, на каждый сорт

цепляйте бирку!», а Кульбака-старший им: «Зачем бирка? Я вам с закрытыми глазами скажу, где какой сорт». Шутки ради решено было проделать эксперимент, и виноградарь с завязанными глазами, одним только прикосновением пальцев, определил им сорок сортов и ни разу не ошибся! Фамильное это искусство и маме передалось, она тоже это умеет, показывает как фокус девчатам, когда бывает в хорошем настроении... Потому что виноград лишь для незнайки весь одинаковый, а умелец его по самой коре пальцами чует, какой сорт, кора ведь разная, то нитеобразная, то гладенькая, то ребристая, то чешуйчатая, как на рыбе... И что значит в сравнении с этим виноградарским талантом вслепую гвоздь в доску вогнать! Да еще когда их множество изо дня в день вгоняешь в одно и то же место.

Стоят, работают мальчуганы, а в это время на пороге мастерской появляется Валерий Иванович и с ним еще кто-то: в дорожном плаще, высокий, седовласый. На фоне окна отчетливо вырисовывается профиль незнакомца, горделивый, чеканный, как на старинных монетах. Вошедших мастерская встречает усиленным стуком-грохотом — так уж тут водится. Директор и незнакомец остановились, от порога оглядывают мастерскую, кого-то выискивают среди стриженных ребят, что, вытянувшись на потоке, сосредоточенно колотят молотками по дереву. Губы у хлопцев сжаты, лбы нахмурены — все такие серьезные, ни одного с улыбкой. Бьют, бьют молотками, выказывая перед директором свое трудовое рвение.

Лыжная курточка на каждом и лыжные шаровары — это здесь рабочая одежда, спецовка, все юные мастера в ней выглядят одинаково, и среди них не сразу найдешь того, кого ищешь... Стриженные головы, даже позы — все одинаково для постороннего глаза, каждый наклонился над работой с неотрывным вниманием, с нахмуренным лбом: стук да стук!

Инструктор, в прошлом авиатор, нагнулся к Гене Буткевичу, стоявшему спиной к двери:

— Гена! Отец к тебе!

Малыш рывком обернулся: да, папа стоит на пороге рядом с директором. Какое-то мгновение Гена смотрел на отца, словно не узнавая его в этом высоком седовласом мужчине, улыбавшемся ему навстречу. Неожиданное появление отца привело мальчика в смятение, губенки его передернулись, вот-вот заплачет, и казалось, он сразу же бросится к приезжему, в нежном забытии упадет в его объятия... Но с мальчиком что-то вдруг произошло. Он сжал губы, облако отчужденности враз окутало его, отвернувшись, он схватил молоток и снова, с еще большей яростью, стал вколачивать гвозди.

— Гена! Что же ты? Беги! — сияя от радости, подтолкнул товарища Порфир.

Но Гена только ниже нагнулся над ящиками, которых к не-



му набежало порядочно, и, даже когда директор его окликнул, хлопец, занятый делом, не поднял головы. Считайте, мол, что не услышал за грохотом, или нет времени отрываться от работы, или попросту не хочу разговаривать с тем, кто на мачеху меня променял!.. Считайте как хотите! И в сердцах колотил, колотил молотком, который сейчас казался отцу больше и тяжелее, чем был на самом деле,— может, потому, что зажат в такой маленькой руке, совсем ведь тоненькая детская ручонка его держит!

— Хорошо, пусть потом,— с чувством неловкости сказал Валерий Иванович приезжему.— Обратите внимание, как работают. Предельная сосредоточенность, каждое движение целесообразно... Потому что нравится работа, еще не надоела. Вот куда мы стараемся направлять их агрессивность.

Отец хоть и пытался скрыть свое состояние, однако чувствовалось, был тяжело оскорблен тем, что сын не пожелал к нему подойти, что так пренебрег им при всех. Даже Кульбака покосился на товарища укоризненно: родной батько приехал, другой бы от радости танцевал, а этот... «Ах ты ж деспот желторотый, тиран ты несчастный!» — выругался он мысленно.

Буткевич-старший все же не спешил показать сыночку спину, как тот показал ему свою. Подавив обиду, стоял, наблюдая, как трудится культурный его правонарушитель. Дома не знал, с какого конца тот гвоздь забивать, а тут вишь взялся за ум, старается, так ревностно приучается к труду. Школа, общество заставили, коли отец не смог! И, наверное, это единственное лекарство для таких, иного, пожалуй, спасения нет. Внешне хоть и тихое это создание, нежное, оранжерейное, но столько натерпелось с ним! Связался с компанией малолетних бродяг, из дому убегал, где-то в цистернах ночевал... Однако какой он худенький в сравнении с другими, всегда он был хилый здоровьем... Смотришь на ту ручонку, что слилась с тяжеленным молотом, и сердце обливается кровью...

— Я вижу, вам жаль его? — сказал Валерий Иванович.— Но заверяю вас: иного выхода нет, только труд. К тому же им нравится это дело, в мастерские из класса наперегонки бегут...

Порфир, работая, время от времени с любопытством поглядывал на чужого отца и никак не мог понять, а тем более оправдать жестокого упрямства, которое сейчас выказывал обычно покладистый Буткевич. Глупо с его стороны. Да если бы это к Порфиру явился тот, кого имеешь право назвать татом, он, наверно, с ума бы от радости сошел. Ведь тогда у тебя все в порядке, тогда никто бы уж тебя байстрюком не обзывал... Гена просто не знает своего счастья. Да еще какой отец у него!.. Архитектор, города строит, на собственной «Волге» привез Гену сюда, и сейчас вот пригнал издалека, видно же, какие у него к сыну чувства...

Стоит на пороге в запыленном плаще, преждевременно поседевший, печально сгорбленный, а сыночек никак не может смириться... Отцу, наверное, дороже всех отличий была бы одна приветливая улыбка сына, порыв сыновней любви, но этого нет, Гена шагу не хочет сделать навстречу своему счастью. Так ожесточился, не может собственную обиду, озлобленность в себе превозмочь. Считает, что после смерти матери (она погибла в автомобильной катастрофе) отец отступился от него, на мачеху променял. И как ни пыталась молодая мачеха Гену приручить: задбывала, в рестораны водила, на американских горках катала — он так и не смог победить в себе неприязни к ней, а заодно и к отцу. С первого класса был образцовым, одни пятерки приносил домой, а тут взбунтовался, еще и на отцову работу перенес свою детскую ярость. Однажды дошел до того, что с друзьями витрины вдребезги разнес в новом кинотеатре, как раз в том, что отец проектировал. А отцовская любовь все ему прощает, любви этой, оказывается, не исчерпать... Стоял, ждал, надеялся, видно, что сын все же опомнится, одумается, сердце ведь не камень...

Но так и не дождался архитектор внимания от сына. Постоял-постоял и вынужден был уйти ни с чем. Как только он переступил порог, Порфир накинулся на Гену:

— Ты что, сдурел? Беги! Догоняй! За полу хватай! А то уедет и не приедет больше!

— Пусть едет! Пусть не приезжает! Пусть! Пусть! — взвизгнул истерически Гена и, швырнув прочь молоток, упал на кучу стружек в углу и в безысходном горе тяжело заплакал.

XIX

— Дожить до того, что родной сын тебя не хочет видеть... Как же это так, товарищ директор? Почему он не пожелал подойти? Почему начинает жизнь разрывом с человеком, для которого он самое дорогое существо на свете?

Глаза архитектора были полны слез, когда он вышел с Валерием Ивановичем из мастерских во двор. Всяких сцен насмотрелся Валерий Иванович при встречах с родителями, но тяжелее всего ему видеть суровые мужские слезы, такие вот, как сейчас, слезы горя и отчаянья... И человек ведь перед ним волевой, мужественный, многое повидавший и, кажется, умеющий владеть собой.

— Понимаю вас, — смущенно говорил Валерий Иванович. — Ведь у меня тоже есть сын.

— Неужели он действительно убежден, что я ему враг? — никак не мог успокоиться архитектор. — Я, собственно, знал, что Гена не желает моего приезда, он мне написал об этом, и все

же я не мог не приехать. До того захотелось слово его услышать, взглянуть на него... Сам не знаю почему. И вот такая встреча! Вы же друг Сухомлинского, в Павлыше бывали, школа ваша пользуется хорошей репутацией, объясните же мне: откуда взялась эта пропасть между мною и им? Неужели ничем не вернуть его, не растопить этот лед отчуждения?

Они сели на скамью под ветвистым платаном, что был посажен бог весть когда и чудом сохранился до наших времен.

— Не забывайте: это ведь дети,— успокаивающе произнес Валерий Иванович.— Тонкий, неустоявшийся мир... И если сын сейчас не откликнулся вам, то это совсем не означает, что у него навсегда исчезло сыновнее чувство...

— А было ведь когда-то между нами доверие, дружба какая была...

Архитектор сидел задумчивый, подавленный. Валерий Иванович еще в первую встречу проникся симпатией к этому человеку. Пришлось даже нарушить некоторые формальности, когда архитектор сам привез сдавать сына, исчерпав все собственные способы воздействия. Уже тогда мальчик выказывал черствость к отцу: когда его отправляли в карантин, он даже не простился и будто нарочно оставил на стуле вязаные домашние рукавички, как отплату отцу за все.

Долго слушал в тот вечер Валерий Иванович исповедь архитектора, и больно было слышать, как срывается от страдания голос этого мужественного человека. В войну пилотом был, летал на истребителях, после войны принялся строить города, хотел, чтобы и сын сызмалу проникся его страстью. Отцовские усилия архитектора вызывали со стороны педагога уважение, о таком не скажешь, что он недостаточно боролся за свое дитя. Узнав, что мальчишку затягивает в преступную компанию, отец не колеблясь пожертвовал должностью, положением, попросил перевести его на периферию, хотя для столичного архитектора, связанного кроме того лекциями на факультете, пойти на такой шаг было не просто... Выбрал один из южных городов, надеясь, что, сменив микросреду, убережет сына от пагубного влияния улицы. Однако отцова жертва оказалась напрасной, потому что и на новом месте появились уличные дружки, и протоколы о разбитых витринах, и тяга к необъяснимому детскому бродяжничеству, которая понуждала хлопца и тут менять тепло домашнего очага на ночевку где-то по школьным чердакам да в железнодорожных цистернах. Конечно, теплом батарей не заменишь тепла сердца, какого ищет маленький человек. Но разве же не хватало ему отцовского внимания, заботы?

— Были же у нас минуты такой сердечности,— тихо воскликнул архитектор и стал вспоминать о той золотой поре жизни, когда сын, еще совсем маленький, зовет, бывало, перед

сном: «Посиди со мной, папа, расскажи, какие ты города строишь да в каких домах будут жить люди...» И разве не для него жил, думал, проектировал? Все лучшие усилия души были для него, на всей работе отца как бы лежало молчаливое ему, сыну, посвящение...

— Нам, поколению, за которым фронты и трудности, годы лишений, естественно было желать, чтобы хоть дети наши росли среди красоты, чтобы и душой они были лучше нас! Если я проектирую кинотеатры, стадионы, жилые массивы, если день и ночь думаю о тех, по-газетному говоря, солнечных городах будущего и даже берусь возводить их, то, конечно же, в первую голову это все для него, для таких, как он, ведь в нем мое грядущее, моя человеческая бесконечность... А оказывается, все это ему не нужно, он живет чем-то другим. Кто бы мог ожидать, что из нежных детских рук камень полетит в окна твоих новопостроенных кварталов? Откуда это стремление причинить самую сильную боль самому близкому человеку? Откуда она взялась, эта ваша ужасная «проблема подростка»?

Валерий Иванович улыбнулся.

— Проблема эта существует тысячелетия. Ленин отмечал, что воспитание — категория вечная... И все эти наши заботы, они тоже старые, как мир... — И Валерий Иванович в полушутливом тоне стал цитировать: — «Ты, который бродишь без дела по людным площадям, из-за того, что ты ведешь себя не так, как подобает человеку, сердце мое словно опалено злым ветром... Своим непослушанием ты привел меня на край могилы...» Вы думаете, кто это сетует на своего беспутного сына? От шумеров долетает этот крик чьей-то истерзанной души. На глиняных табличках найдена эта отцовская жалоба, словно обращенная к грядущим векам... Древние египтяне тоже сетовали, что молодежь никудышная и что она погубит мир. А вы спрашиваете, откуда наша «проблема подростка».

— В таком случае, почему же мы так недалеко ушли от них, от шумеров? Почему этих «трудных» становится все больше, и к тому же повсеместно, по всей планете?

— Я смотрю на это не так пессимистично. Ведь эти «трудные», они все же только исключения среди легионов наших славных школярчат. Понимаю, что родителям «трудных» от этого не легче...

— Ну, а причины? Раз есть явление, должны же быть и его корни, его причины!.. Может, причиной — век электронный, век стандартов, что пытается стандартизировать и нас самих? Может, именно он вызывает сумятицу духа, порождает этот в большинстве случаев даже не осознанный протест юных душ — душ среди нас самых тонких и самых ранимых?

— Как правило, причины отклонений от нормы всякий раз бывают конкретные. Родительское неумение или нежелание найти

к ребенку подход, войти с ним в душевный контакт — от этого чаще всего возникают бури конфликтов и правонарушений... Не дети, а родители, к сожалению, виноваты в большинстве случаев...

— Я принимаю ваш упрек,— сказал архитектор, и лицо его мучительно передернулось, но только на мгновение, потом на нем снова появилось выражение обретенного усилием воли спокойствия.— Вы имеете право сейчас говорить мне все что угодно, и я не смогу вам возразить. Ведь я потерпел фиаско. Я сам пришел к вам со своим поражением. Очевидно, не сумел. Единственного ребенка вынужден передать на воспитание вам, по сути посторонним людям...

«Какие же мы посторонние? — хотел было возразить Валерий Иванович.— Когда ваши драмы нам спать не дают...» К тому же и у него самого дома, кажется, тоже постепенно назревает эта окаянная «проблема подростка». Сын уже в том возрасте, когда не возьмешь его на закорки, не понесешь на плечах в степь предвечернюю, чтобы запомнил, как пылает за Днепром багряный закат, чтобы в душу его вобрал... Почему-то чем дальше, тем больше стал сторониться тебя, куда-то бежит, торопится, матери на все ее заботы отвечает грубостью... А ты должен вот давать рецепты, мудрые советы другим... И все же, чем утешить этого человека в его, может, самом тяжком горе?

— Скажите, Валерий Иванович,— наклонившись, заглянул ему в глаза архитектор,— только ли это возрастной кризис? Действительно ли он это перерастет? Или, может, таким и останется... потерянным для меня навсегда?

— Наша профессия велит нам верить и надеяться,— сказал после паузы Валерий Иванович.— Даже если перед тобой существо мелкое и никчемное, то и тогда задумайся, что его сделало таким, что его изувечило и какой может быть выход. Но ваш к таким не относится. Гена чуткий, умный, во многое вдумывается, он не может быть безнадежным. Да вот пусть вам лучше воспитательница скажет...

Быстрой походкой к ним приближалась Марыся Павловна. Подошла сердитая и с ходу резко обратилась к посетителю:

— Это вы отец Гены Буткевича?

— Да, я.

— Зачем вы приехали? Чтобы еще больше ребенка травмировать? Вы знаете, что после прошлого вашего посещения у него температура поднялась?!

Лицо архитектора передернулось, как от удара, и мгновенно снова окуталось спокойствием выдержки. Марыся невольно загляделась на это лицо. Бледное, чистое, одухотворенное... «Есть в нем что-то мужественное, благородное, оно отмечено... как бы это назвать... метой величия...» Приезжий хорошо владел собой, в его манере держаться было что-то элегантное, правда, седые

волосы спущены на лоб не по возрасту легкомысленно, небрежным начесом, но и это не вызвало у Марыси раздражения... А особенно ее поразили глаза, синие, большие, выразительные, они были полны грусти, только они и приоткрыли Марысе глубокое внутреннее страдание. «Да, ты имеешь право сказать мне любые слова, даже оскорбить,— будто слышала от него,— имеешь право выгнать меня отсюда, ибо я побежден, ибо я здесь с чувством тяжкого горя и тяжелой вины...»

— А мы как раз говорили о Гене,— сказал Валерий Иванович Ковальской.— Не считаете ли вы, что ему на определенной стадии сильно повредила родительская любовь, в частности то, что его считали вундеркиндом?..

— Он действительно щедро одарен,— сказала Марыся Павловна.— Вы ведь слышали, как он исполнял Шопена, сколько вкладывал души! — И, загоровшись, рассказала, как наблюдала на днях за его вдохновенной игрой, за богатой гаммой чувств, которые во время концерта то омрачали, то озаряли бледное, одухотворенное лицо ее питомца.— После того концерта он стал добрее, самоуглубленнее, словно бы оттаял в своих чувствах,— может, это музыка так действует на человека?.. И вот вы своим визитом снова разрушаете все, простите меня за эту резкость...

— Так что же прикажете мне делать?

— Уезжайте и не появляйтесь, пока вас не позовем. Ведь тут, как в госпитале, мы имеем дело с людьми ранеными, с пострадавшими, несмотря на то, что имя каждому из них столь грубое — правонарушитель.

— А ваше мнение о моем сыне?

— Я верю в Гену. От него можно многого ждать. Может, это даже гениальное дитя. Может, в нем зреет новый Шопен!.. Ведь мерить человека мы должны не его падениями, а его взлетами — вот там, на вершинах, будет его настоящесть, я так считаю.

Категоричность ее тона вызвала улыбку у Валерия Ивановича. А когда Марыся Павловна направилась к корпусу, Валерий Иванович с веселой гордостью пояснил архитектору:

— У нас в коллективе о ней говорят: «В маленьком теле — великий дух...» — И добавил: — Не обижайтесь, извините ее, что она так резко с вами обошлась... В конце концов, все это из добрых побуждений...

— Характер!

— Работа с нарушителями накладывает отпечаток...

— Характером она, по-моему, и сама правонарушительница,— молвил серьезно архитектор.

А когда он собрался уезжать, возле проходной под аркой его догнала взволнованная Марыся Павловна. И не одна — за руку держала... Гену! Своего «вундеркинда»... Подвела, решительно толкнула мальчика к отцу:

— Прости прощения!

И Гена, не говоря ни слова, самозабвенно припал, прижался щекой к батьковой руке.

...Не скоро, не скоро узнает он, что это была их последняя встреча. На высоком косогоре, который уже столько лет подмывают волны искусственного моря да все не могут размыть, на самой вершине степного холма, откуда видно полсвета, будет найден к вечеру пожилой седой человек, навеки застывший за рулем автомобиля. Вокруг степь будет, и воды сияющие, и небо в багряных парусах заката... И никто не скажет, от чего могло разорваться сердце. От гнева? От тоски? От любви?..

Гену после этого еще долго продержат в неведении, в тоске будет поглядывать он на ворота, и услышат от него не раз:

— Почему-то папа так долго не приезжает...

XX

Ожил, ожил Кульбака!

Кто бы мог сказать, что пройдет совсем немного времени, и уже новая слава коснется камышанца своим крылом, и вся школа обратит на него восторженные взгляды: Кульбака вышел в чемпионы! Одержал первенство в том редкостном и полузабытом виде спорта, который только по чьему-то недосмотру не занял до сих пор надлежащего места на Олимпийских играх. Был выходной, гоняли мяч, бегали стометровку, подтягивались на кольцах возле старого платана, брались тягать-перетягивать канат, а потом Кульбака предложил еще вот это: наперегонки... в мешке!

Слыхали вы о таком?

Ходьба или даже бег в мешке — такого вида спорта никто в школе не знал, кроме Тритузного, который, вспомнив молодость, признался, что и он когда-то, давным-давно, в таких веселых гонках принимал участие и даже побеждал. Всех захватила новая спортивная игра, уже и те, кто, разделившись на команды, перетягивали канат, устремились сюда, чтобы поглядеть, а то и помериться сноровкой, — а ну-ка, кто в этой удивительной ходьбе окажется самым ловким и самым умелым, кто завоюет чемпионство! Тритузный, распалившись, вызвал на соревнование самого инициатора, камышанец вызов принял, и это придало особый накал всей игре. Кульбака, конечно же, утаил, что он в этом деле имел уже определенный навык еще с Камышанки, где не раз устраивались подобные турниры. Было, было! Ходил он и в мешках из-под сахара, и в кулях из-под крупы, и в крапивных, и в полиэтиленовых, и даже в простых бумажных из-под суперфосфата. А еще достигал он

финишей в путах конских на ногах — были в плавнях у них и такие гонки.

У Тритузного, наверное, тоже был за спиной опыт этой сложной ходьбы, потому что чувствовал он себя уверенно, даже похвалялся:

— Главный приз будет мой, это уж как вы себе хотите.

Повара в белых колпаках вынесли тот приз с большой помпезностью: на алюминиевом блюде лежало нечто укрытое прозрачной пленкой, кое-кто думал, что это торт, а оказалось — жареный петух. А это даже и лучше. Понесли в самый конец двора, примостили на пьедестале. И у многих участников состязания прямо слюнки потекли от одного аппетитного духа жареной курятины, что для хлопцев было не последним стимулом к победе.

А когда принесли охапку порожних мешков со склада, их схватили мигом, еще и не всем досталось. Преподаватель физкультуры, взявшийся руководить игрой, переговорил с Тритузным и даже Кульбаку привлек к выработке правил, которых следует придерживаться в этом виде соревнований. Наконец дистанция была определена, группы укомплектованы, и наступил момент, когда из игрушечного пистолета прозвучал стартовый выстрел. Началось! Любительская кинопленка Берестецкого сохранит и для последующих правонарушительских поколений замечательное событие этого дня, напряженный турнир школьного рыцарства. Четко будет видно на ней, как выходят на дистанцию люди в мешках, бегут, барахтаются, падают, а судьи-учительницы да шефы из морского порта помирают со смеху. И есть от чего: зрелище как в цирке!

С первой стартовой секунды Кульбака напрягся и рванулся вперед. Дух соперничества завладел им, и хоть ноги были где-то там, в мешке, Порфир пошел стремительно, даже с подскоком. Ловкость, натренированность, воля к победе — все было за то, чтобы так идти!

— Вперед, вперед к жареному петуху! — подбадривали со всех сторон зрители, тоже распаляясь.

Толстоногий Синьор Помидор, который после выстрела судьи сразу вырвался было вперед, сделал всего лишь несколько шагов и тут же запутался, плюхнулся наземь — так оно и должно было быть: поспешишь — людей насмешишь... Наиболее опасным конкурентом Кульбаки и впрямь оказался Тритузный. Еще когда он только влезал в мешок и примерялся, мальчик заметил, как умело он это проделывает, видно, знаком с такой ходьбой, пойдет не впервые, — значит, такого берегись! Близкое надсадное дыхание Тритузного Кульбака все время ощущал на себе. Вот он идет почти впритык, почти наравне с тобой, сопит, ноги у него заплетаются, но он не падает, даже покрикивает молодцевато:

— Давно не ходил, а все-таки вспомнил!

Поединок между ними сразу оказался в центре внимания, приковал заинтересованные взгляды болельщиков, состязание, собственно, и вылилось в борьбу двоих — Тритузного и Кульбаки, — которые с первых шагов шли неразлучно, в одинаковом темпе ринулись вперед, в направлении к петуху, поднимая мешками пылью и с каждой секундой все больше отрываясь от других. «Уродится же такое настырное», — не раз говаривали о Кульбаке односельчане, и как эта настырность проявила себя сейчас! «Лопну, а не сдамся», — сказал себе Порфир и прямо из кожи лез, чтобы не отстать от соперника, более того — чтобы завоевать первенство!

А тут еще публика подзадоривает, стриженная братия ревет, будто где-нибудь на корриде, по крикам Порфир чувствует, что у него болельщиков больше, чем у Тритузного, со всех сторон экзальтированные зрители поддают жару, а школьный фотограф Федя в тубетейке и долговязый Берестецкий с портативной кинокамерой, перебегая, выбирают наиболее удобную позицию, торопясь увековечить самый впечатляющий момент поединка. Морские шефы и учительницы, забыв о своей солидности, хохочут, визжат, ведь и в самом деле — смехота смотреть, как люди силятся перегнать друг друга в этой, наверное, самой потешной на свете ходьбе! Те же люди, а какие становятся странные да смешные, одна умора за ними наблюдать. Ноги, привычные к нормальному шагу, беспорядочно семенят в мешковине, спотыкаются и подбивают одна другую, пока ходок, совсем запутавшись, потеряв равновесие, не распластается на траве, чтобы спустя мгновение снова подняться и броситься догонять впереди идущих. Публика больше всего подбадривает тех, кто впереди, тех, которые, как Тритузный и Кульбака, оторвавшись от остальных, первыми подходят к финишу, преодолевая расстояние с такой ловкостью, будто они отродясь только и ходили по земле в мешках!

Был момент, когда Тритузный оказался впереди всех, но, видно, почувствовал, что Кульбака уже наступает ему на пятки, оглянулся, весело переполошенный, покрасневшийся, будто только что из бани, и эта оглядка ему дорого обошлась! Сбилсся с ноги, зашатался, пытаясь удержаться руками за воздух, и тут же увидели Антона Герасимовича на четвереньках, уже знаменитая фуражка покатила прочь, а Берестецкий, своевременно подбежав, успел-таки щелкнуть, увековечить на пленку этот неповторимый миг.

Кульбака тем временем достиг финишного флажка, и судья соревнований сразу же поднял его руку, как победителю на ринге.

— Откройте ворота — я до самой Камышанки в мешке допрыгаю, — сказал хлопец, весело переводя дух.

Вот какие лавры принес Кульбаке этот день, пусть и ухайдакался он изрядно. Со стороны смотреть — легко, но не так оно просто бегать, когда чувствуешь себя стреноженным, бежать да еще победить, и все-таки вишь изловчился, проскакал через двор, ни разу не упав, первым пришел к финишу, к тому жареному петуху, какового ему, согласно условиям, торжественно преподнесли на блюде.

— Поделится, Антон Герасимович, или как? — держа птицу перед собой, великодушно предложил победитель.

— Нет, твой конь лучше, — ответил Тритузный, — приз принадлежит тебе.

Великое дело услышать такое от своего самого грозного соперника. Это было заслуженной отплатой Тритузному и за его наветы, и за то, что он руки тебе выкручивал на пристани (Порфиру казалось, что это было, хотя этого и не было!), отомстил наконец «байстрюк камышанский» за ту унижительную ловлю! Но месть его была веселая, вроде уже она и не месть, сама себя утопила в радости победы.

— Ничего, Антон Герасимович, духом не падайте, — успокоил камышанец. — Все-таки за вами второе место! Серебро!

— Бывают поражения дороже победы, — заметил дружелюбно-иронически директор школы и поздравил Кульбаку с «петушиным» триумфом, а Ганна Остаповна добавила:

— Это хорошо, что ты нашел в себе кроху великодушия и для соперника. Ведь человеку в таком возрасте, как Антон Герасимович, завоевать приз это не то что тебе. Да еще у него и осколки в ногах...

Порфир впервые услышал об осколках, и ему стало даже немного неловко, что во время соревнования он проявил к старику такую беспощадность.

В суматохе спортивного праздника мало кто заметил, как из степи надвинулась туча, и дождь, такой редкостный и желанный в этих краях, звонко ударил первыми каплями по шиферу школьной крыши. Припустил, летит, бежит, аж поет этот дождь, вода из труб, пенясь, весело грохочет, ветвистый платан, под которым сбилась целая куча ребятни, досыта купается в весенней купели. Кульбаку тоже так и тянет подставить под теплые небесные струи свою стриженую правонарушительскую голову... Однако нельзя, оказывается, дождь может быть и опасен, учительницы забеспокоились, Марыся Павловна даже припугивает, загоняя своих гололобых в корпус:

— Не бегайте под дождем! А вдруг он радиоактивен!

Но эти сорвиголовы не боятся ничего: с радостным визгом, с воинственным кличем дикарей бросились носиться под дождем, и пришлось порядком повоевать, пока водворили их в помещение.

Не всегда проносятся дожди над этим краем, но уж если пройдет вот такой, то люди вздохнут с облегчением, и все вокруг сразу буйно зазеленеет, и соловьи да кукушки откликнутся из посвежевших плавней на весь белый свет.

Прошумел рясный и теплый, искупал школу, детвору искупал, и снова тут светит солнце, и листва молодая на платане переливается каждой повисшею капелькой — множество малюсеньких солнц... Пошел и пошел дальше тот дождь, огромным парусом сереет над речкой, смешанный с солнцем, аж белый, а еще дальше над плавнями посреди синей тучи уже радуга так сочно цветет! Выгнувшись семицветною дугой, одним концом опустилась где-то над лиманом, а другим — как раз над камышанскими плесами, и там из них воду берет. Из школьного окна рукой можно ту радугу достать — так близко. Прислушайся, не услышишь ли, как шумит она, гоня, словно бы насосом, камышанскую воду в иссиня-темные эти тучи!.. Тут, над школой, небо уже чистое голубеет, а над гирлом — все тучи и тучи, и среди их темной синевы цветет буйными красками небесная арка, влечет-искушает Порфиров дух. И если сейчас кто-то, как цирковой акробат или матрос на вантах, полез-покарабкался по столбу той небесной арки, если уж на самой верхушке радуги кто-то очутился, верхом на ней сидит, то это, конечно же, Кульбака Порфир, сегодняшний чемпион, для которого нет сейчас ничего невозможного, под силу ему и радугу оседлать!..

XXI

Единственный, кто сегодня не принимал участия в спортивном празднике, был Гена Буткевич: лежал с температурой в комнате медпункта. Неизвестно было, откуда жар, может, и впрямь от того, что перенервничал во время посещения отца...

После обеда Порфиру позволили навестить товарища. Гена лежал измученный, под глазами синяки, со вчерашнего дня еще больше исхудал, осунулся, всю ночь горел огнем, хотя не чихал и не кашлял.

Порфир, еще возбужденный азартом состязания, сел потатарски прямо на полу перед кроватью и со свойственной ему горячностью и жестикуляцией принялся рисовать, как он скок, да прыг, да верть, да круть — и обогнал Саламура, поймал жареного петуха за хвост.

— Жаль, Гена, что тебя не было, я бы и тебя научил...

— Я не смог бы, — тихо возразил Гена. — Никогда не ходил в мешке...

— Смог бы, — заверил его Порфир. — Почему в воде один тонет, а другой плавает? Потому что навык имеет, знает, как надо ногами молотить...

Сейчас он был щедрый, великодушный, все свои тайны открыл бы товарищу, лишь бы подбодрить Гену. Научил бы его не только ходьбе в мешке, но и искусству рыбной ловли, ловли честной, потому что орудовать, скажем, как вилами, браконьерской острогой — это нехитро, особенно когда рыба идет потомство закладывать. Она же тогда совсем безвольная, не остерегается, бить ее в такое время только хищник бездушный может, какой-нибудь жлоб, бандюга...

— Или зимой: прямо смотреть противно, когда они, эти жлобы, с гаками-самодерами выйдут промыслять... Рыба в это время полусонная в ямах лежит, на зиму залегла — снизу большие сомы, а над ними сомики и сомята поменьше... А рыбохват толстомордый станет с гаком-самодером над ямой и давай рыбу калечить... Да я таким не знаю что делал бы!

Однако Гена, видно, был захвачен совсем другими переживаниями. Все время думал об отце, тяжело раскаивался в своей жестокости.

— Ты правду говорил, Порфир,— сказал он слабым голосом,— мог бы я быть к нему добрее. Знаю же, как он мною дорожит. Я для него — все, а чем ему отплачиваю? Может, и правда, как иногда говорят, только эксплуатирую его отцовскую любовь?

— Ты должен письмо ему написать. И немедленно. Прощения попросить. Это же батько, самый родной человек... Так хорошо учишься, а вот не научился ты, Гена, ценить то, что имеешь...

— Знаю, знаю, что никому я не буду дороже. Но что-то такое сидит во мне, зло какое-то, и при встрече оно сразу свои когти выпускает. Потом, конечно, раскаиваюсь, вот уехал отец, и места себе не нахожу, кажется, уже никому-никому я не нужен, всеми забыт... Будто один-одинешенек остался, и так уже будет всегда...

— А ты не поддавайся. Вспомни нашу заповедь: «Не журись!..» Эх ты, отличник!

Чтобы как-то утешить, развлечь товарища, Порфир принялся рисовать во всей роскоши лето, которое уже недалеко, пору, полную радости, когда они всей школой выедут в лагерь, раскинут шатры где-нибудь над урочищем и, как обещает директор Валерий Иванович, устроят тогда еще одно захватывающее состязание — гонки на лодках. Порфир надеется и в том состязании славу добыть. А у вечернего костра будут слушать знатных людей; Марыся говорила, что и Порфинову маму пригласят, пусть расскажет про свои винограды, про то, как оживляет она эти знойные украинские Каракумы...

Гена, заметно оживившись, вспомнил пионерский лагерь, куда ему в прошлом году выпала путевка, чудесное место на берегу моря, где мальчики и девочки из разных городов загорали

под солнцем целых сорок дней. И была у них интересная игра, под названием «Зарница», ходили они в ночные походы, на розыски кладов, хотя кладом тем могло быть просто яблоко или кавун, спрятанный где-нибудь в бурьяне.

— В первый же день, как только прибыли мы в лагерь, говорят мне: «Ты, Гена, будешь «организатором костра».

— Ух, красота!

— Тебе красота, а мне... Натерпелся я стыда. Костер ведь тоже, оказывается, нужно уметь разжечь. А тут как раз дождик накануне прошел, что ни положу — только тлеет.

— О! У меня и мокрое бы горело! В плавнях, бывало, даже глубокой осенью такой костер разведем, пламя рвется — выше верб!.. И купаемся до самых холодов. Выскочишь из ледяной воды — и нагишом к костру побыстрее! Обогрелся, обсушился, и ничего, даже не чихнешь!

— Видно, так и надо себя закалять. А то в лагере все трясутся над каждым из нас, море у самого берега отгородили: дальше не заходи, туда не забреди, только вот тут и плескайтесь на мелком...

— Где воробью по колено... — засмеялся Порфир и, разлегшись на полу, размечтался: — Нет, летом — жизнь!.. За наши трудовые заслуги, может, нас и домой отпустят хоть недельки на две?..

— Как же, соскучилась мачеха...

— А ты со мною давай! У меня мамуся — другой такой в целом свете нету... Она будет рада нам обоим. Конечно, если к тому времени замуж не выйдет. Сватался к ней будто бы один механизатор, у которого жену прошлый год током убило...

— И что бы мы там делали у вас?

— О, есть о чем печалиться! Снарядим какую-нибудь фелюгу, наберем хлопцев и айда на лиман браконьеров гонять!..

— Дались же они тебе.

— Ненавижу черно! — Лицо Порфира сразу помрачнело. — Хочу, чтобы подошли они все! Только сами ведь не подохнут...

— Наверное, доставалось тебе от них?

— Черта с два им меня поймать!

Не в этом, оказывается, дело. И Гена впервые услышал от товарища: за дедуся должен он гадам отомстить. Пришли, напали ночью на виноградники, что дедусь сторожил, берданку поломали, поглумились над стариком. Одним таким оскорблением можно человека сгубить. Да еще когда человек этот горд и самолюбив и знает солдатскую честь... Может ли он, Порфир, это простить?

В прошлом году одного рыбинспектора с гэсовской плотины ночью сбросили, а еще через ночь на дядька Ивана напали, и он с ними в темноте дрался, в ледяной воде, а был декабрь месяц. Камнем ударили по голове, думали, конец уже инспек-

тору, сознание потерял, на дно пошел... Как же удивились они, когда на суде увидели его живым...

За все с ними должен расквитаться Порфир. Где бы они ни были, пусть знают, что от кары им не уйти, месть за ними ходит, хоть и малолетняя!

Кто мог подумать, что этот веселый, жизнерадостный Кульбака вынашивает в душе и такое: да еще и товарища склоняет себе в сообщники...

— В подручные к дяде Ивану пойдем, там такие, как мы, пригодятся,— развивал свои планы Порфир.— Есть же юные дзержинцы! Один инспекторский сын, говорят, браконьеру палец откусил, защищая батька, а разве я не смог бы откусить?

Было после этого, конечно, еще джик, и вжик, и сом на полкаюка, который «как даст хвостом по мне — я и упал!..». В самый момент ловецкого экстаза вошла медсестра и напомнила Кульбаке, что пора ему закругляться. Раз надо, значит, надо, хлопец вскочил:

— Ну, бывай, Гена! Только не задерживайся ты в этой каталажке... Дедусь говорил: от лежбы внутренности слипаются, жить надо на ногах!

Во двор он выскочил как раз вовремя: с той стороны ограды уже кто-то посвистывал знакомым камышанским свистом... Дежурный по территории, идя на нарушение, шепнул, что не иначе дружки пришли проведать своего лишенного воли вожака. Да, да, пришли, не забыли великого невольника, который, попав в беду, где-то тут кандалами звенит. Когда и Порфир свистнул в ответ (тонко, на птичий манер), с той стороны ограды снова отозвались, и вскоре появилась на веревочке кем-то осторожно переброшенная бутылка из-под молока с какой-то передачей в ней... Будничная бутылка, ставшая сразу небудничной, спускалась медленно, покачиваясь по стене туда-сюда, как та вот штука, что висит в физкабинете и называется «маятник Фуко». В бутылке пакетик целлофановый, крепко в нем что-то завязано, запаковано, а сбоку еще и записочка белеет — привет правонарушителю родная Камышанка шлет! Получив передачу с воли, он в этой же бутылке и ответ дружкам отправит, назад ее с ответной запиской через ограду бросит, как бросают капитаны в океан запечатанную бутылку с весточкой о себе... Но только рука Порфира протянулась, чтобы схватить передачу, как еще чья-то рука легла ему на плечо, вежливо, но настойчиво отстранила.

— Позволь, это уж мой приз,— услышал он знакомый насмешливый голос того, над кем сегодня одержал прямо-таки олимпийскую победу, когда довелось бежать наперегонки в мешке.

Настало время выбирать место под летний лагерь. В один из дней Валерий Иванович, взяв с собой нескольких воспитателей и командиров отрядов, отправился с ними на разведку. Антон Герасимович, по правде сказать, вообще был против того, чтобы выносить лагерь за пределы школы, он предлагал поставить палатки во дворе вдоль стены, ведь места много, двор большой, пусть себе тут и проводят лето. Однако его предложение было со смехом отвергнуто. (Правда, в какой-то спецшколе якобы проводился подобный эксперимент.)

— У них так,— сказал директор,— а наша бурсацкая республика будет вынесена в степь, мы такую там крепость воздвигнем, что никто не сбежит.

Место, куда спецшкола выезжала лагерем в прошлые годы, районный землеустроитель велел распахать, хотя под посевы оно и не годилось. Поэтому школа вынуждена была искать другое пристанище. Пооставалось в этом краю немало разных урочищ, которым когда-то неизвестными предками были даны имена, порой прямо-таки диковинные, такие, как Гапкина пазуха, куда ездят из совхоза на маевки (Антон Герасимович заверяет, что название этого урочища встречал в старопечатных книгах, он заядлый краевед и питает слабость ко всякой старине)... Кроме Гапкиной пазухи есть еще урочища Домаха, Жабурянка, Волчий Яр или Куркулак, Темное, Кандзюбино, Чортуватое... Это последнее привлекло внимание Валерия Ивановича и его спутников, так как отсюда ближе всего к полям и виноградникам совхоза «Степной гигант», с которым школа заключила трудовое соглашение. Кроме того, по кряжу над урочищем сохранился порядочный лоскут целины — будет где палатки поставить. По одну сторону — степь, по другую — сияющие просторы гэсовского моря. Осенью оно когда расштормится, то добивает крутою волной аж до подножия этого кряжа, рвет, отламывает глыбы чернозема и глины... Ну а пока что море спокойно и весь гребень кряжа белеет ромашками. Само урочище, весь его крутояр утопает в цветущих акациях, что встали ярусами по склонам (насадили их тут уже после войны, чтобы защитить почву от эрозии), а по самому дну урочища блестит вода; она зашла из искусственного моря и создала здесь, в бывшем мрачном яру, тихий сияющий затон. Штормы сюда не достают, бури не бороздят воду, всю весну и лето сиянием ее налито урочище. Четко отражаются в ясных водах затона округлые шатры белых акаций, и даже когда вдоль степных шляхов цвет их уже покроется пылью или пригорит под горячим дыханием суховеев, в урочище он и тогда остается белоснежно-чистым, со свадебной белизной свисает гроздьями до самой воды.

— Здесь будет город заложен,— сказал Валерий Иванович, когда смотрины в основном были закончены. С присущим ему практицизмом директор уже нарисовал на бумаге, где будут размещены палатки, где кухня и спортплощадка, а где поставят мачту для флага... Кроме того, вода близко, удобно будет купаться после работы бурсацкой республике, смывать с себя трудовую пыль...

Марыся Павловна была просто в восторге от этого места. Такая ширь, так далеко видно с этого степного края, нависшего над морем днепровской воды... Впервые открывается Марысе степная флора, набредешь тут даже на кустик тырсы-ковыля, о котором раньше Марыся только читала, и полынец под ногами серебрится, прогретый солнцем, и деревьев, это дикое дитя степи,— он тоже седой (почему-то большинство степных трав окрашено в сизовато-серый оттенок, от солнца или от чего-то еще они поседели?). Пока ходили, нарвала Марыся букет полевых цветов. Спутники ей в этом охотно помогали; цветы простенькие, неброские, а сложилась богатая гамма колеров, слегка как бы приглушенных, окутанных туманцем...

— Взгляните, как у французских импрессионистов,— показала букет Берестецкому, и он буркнул в ответ, что тут «что-то есть».

Группа воспитанников — командиры отрядов — оживленно обсуждали с директором план будущего лагеря, и, когда уже все было в основном выяснено, Юрко-цыган спросил не без иронии:

— А где же будет ограда?

Это не терпелось узнать и Марысе Павловне — ведь отвечать за личный состав воспитанников будет прежде всего она... И хотя сторонницей крутых ограничений ее не назовешь, она очень удивилась, когда Валерий Иванович твердо сказал:

— Никакой ограды.

— То есть как?

— А так.

И пояснил, что их палаточный город, лагерь юных свободных людей, оградят лишь символическим кордоном — обпахнут его плугом,— и все. Борозда, отваленный пласт земли, будет единственной отметиной, которая отделит правонарушителей от белого света. Только уж эту межу, сказать бы межу совести, без разрешения никто не переступи, не нарушь!

— А то даже и обпахивать не будем, просто вон там, по периметру,— сделал широкий жест Валерий Иванович,— оставим при косьбе ромашковый бордюр — полоску нескошенных диких цветов, они и будут служить для нашей честной публики непреходимым барьером, оградой самой надежной. Межа совести — и все. Согласны? — обратился он к командирам отрядов.

Такое доверие хлопцам пришлось по душе, а Марыся Пав-

ловна даже пожалела, что нет сейчас тут Кульбаки — вот бы кто порадовался! Вот кому будет по нраву, что та школьная стена (которая для свободолюбивого камышанца является воплощением всего самого нестерпимого) здесь заменится всего лишь полоской нескошенной травы... Как и другие, камышанец с нетерпением ждет этого лагеря, уже наперед закидывал удочку, чтобы его назначили «организатором костра»: «Я вам такой разведу — до неба языки выкинет!» Дитя камышей, хитрое и лукавое камышанское создание, как оно поведет себя в этих новых условиях? Марыся про себя уже прикинула, где будет место для костра: вот здесь, на самой вершине кряжа, чтобы всем, кто плывет по Днепру, было видно... Это же так чудесно, когда плывешь пароходом или поездом едешь, а где-то в синем предвечерье тебе ярко светит чей-то костер. Рыбаки его разложили или, может, влюбленные жгут там вечерние огни?

Еще надо было название подыскать будущему лагерю.

— У меня есть предложение, — сверкнула глазами Марыся Павловна, — давайте назовем... «Бригантина»!

— Степная бригантина... Бригантина в степи... — стал примерять Берестецкий и закончил насмешливо: — Тут что-то есть.

А Борис Саввич, как недавний моряк, напротив, совершенно серьезно поддержал Марысю, потому что когда с моря смотреть на этот лобастый крутогор, где они стоят, то оттуда он и впрямь кажется похожим на бриг или бригантину...

— Да еще при соответственной игре фантазии, — добавил Артур Филиппович. — Хотя «Степные пираты» больше бы подошло...

— Так и запишем: «Бригантина», — сказал директор, нанося какие-то пометки на свою самодельную карту. — Развелось, правда, в последнее время этих бригантин... Однако для наших маленьких пиратов это подойдет... Это в их духе.

Основательно уходявшись, учителя сели наконец передохнуть на краю урочища, в тени, под шатром, отягощенным цветом акации. Воспитанников они отпустили купаться в затон, где вода уже прогрелась, и оттуда, снизу, долетал теперь счастливый ребячий визг.

— Барьер из цветов... Межа из травы... так оно, собственно, и должно быть, — задумчиво заговорил Артур Филиппович, вытянувшись на траве во весь свой длинный рост. Высоко в небе застыл степной кобчик, и Берестецкий направил взгляд туда. — Мир для человека должен быть всепроходимым, без каких-либо преград, как вот это небо для птицы... Планета существует для всех в равной степени, у всех на нее равные права, по крайней мере, так должно быть.

— Всепроходимый, но для человека, не для хама, — уточнил Валерий Иванович. — Видели вчера в газете снимки детей, изуродованных напалмом?..

— На хама — смирительную рубашку, это ясно, — согласился Берестецкий. — Но я имею в виду именно человека, мне хочется представить его даже без травяного барьера... Вот, к примеру: возможен ли в нашу космическую эру вездеход типа Уленшпигеля, или Сковороды, или Дон Кихота? Прodelать бы эксперимент. Посох в руку, птицу на плечо — и в путь. Далеко ли уйдет?

— И с какой целью? — усмехнулся директор.

— А хотя бы проверить, возможен ли Уленшпигель в наше время... То есть тип человека внутренне свободного, беззаботного, который — без каких-либо нарушений, конечно, — решил идти меж ближних и дальних... Выхожу с добрым намерением, с желанием посвятить себя собратьям по планете, иду с готовностью даже медведю помочь, если он гвоздь в лапу загнал... И в то же время хочу проследить, насколько человечество ко мне терпимо, в какой степени во мне заинтересовано, и вообще, какой вес имеет для него моя личность...

— Одним словом, в бродяжничество коллегу потянуло, — заметил Борис Саввич, внимательно, будто впервые, рассматривая на пальце свое глубоко врезавшееся обручальное кольцо.

— Собирался назначить вас начальником лагеря, — сказал Валерий Иванович, — а теперь вижу, что рано... Многомудрый наш Артур Филиппович, наставник изящных искусств и шагистики, вдруг проявляет такую незрелость. Если вас, мудрого, в бродяжничество тянет, то что же тогда требовать от наших бурсачат?

— Для бурсачат хоть объяснение есть, — ввернул Борис Саввич. — Пишут, что в генах человека якобы увеличивается разрушительный элемент... Только, по-моему, это выдумка.

Директор начал прикидывать вслух:

— Кого же все-таки из вас на лагерь поставить?

Борис Саввич исподлобья кивнул на Марысю Павловну:

— Вон ее удостойте. Первая женщина в истории мореходства будет капитаном бригантины...

— Она не подходит, — возразил Берестецкий. — Она влюблена.

— Это в кого же? — кокетливо вскинулась Марыся Павловна. — Что-то не вижу поблизости достойных объектов...

— Без оскорблений, — шутливо заметил директор. — И не кокетничайте, это вам не идет... Не очень идет... А что касается назначения, то я считаю: идея резонная. Сегодня же и приказом проведу...

Марыся, видно, думала о чем-то своем: сидела тихо, улыбаясь, погруженная в мечты, потом вдруг поймала руками пышные гроздья акации, нависшие над нею, утопила разгоряченное лицо в их теплый цвет... Оторвалась, лишь когда услышала произнесенное Берестецким (вроде бы в шутку, но в то

же время с чувством) что-то о чернобровке с жаркими губами, с утренней зарей румянца на лице...

— Это из Омара Хайяма? — спросила Марыся, а он ответил с гордостью:

— Это мои... Мое личное наблюдение.

Директор между тем напомнил:

— Итак, с завтрашнего дня, Марыся Павловна, займетесь лагерем. Придется вам какое-то время быть и строителем и завхозом... Надеюсь, вы оценили доверие?

— Благодарю за честь, — шутливо ответила она. — Только я за чинами не гонюсь...

— Я серьезно говорю: смотрите, чтобы ваша бригантина без руля и без ветрил не поплыла...

— Вся надежда на Бориса Саввича, — кивнула Марыся на коллегу, который, отрастив шкиперские бакенбарды, еще больше стал походить на бывалого морского волка. — Одной ведь не управиться...

Бывший моряк вместо кольца теперь рассматривал стебелек тысячелистника — никак не мог надивиться целесообразности, мудрости этого творения.

— Такое обычное, множество раз виденное, — тихо говорил он, — а всегда загадка... Один этот узор листка, эта сотканность, форма, элегантные зубчики... А разветвление стебельков именно такое, чтобы каждый листок мог получить вдоволь солнца, осуществлять фотосинтез!.. Во всем — разум и совершенство...

— И почему природа не могла создать таким совершенным меня? — без обычной иронии произнес Берестецкий. — Правда, есть и во мне, в человеке, кое-что такое, что вызывает удивление и даже восхищение, но в то же время сколько несовершенства, дисгармоничности, всяческих изъянов... Особенно если заглянуть туда, в недра... Какие первобытные страсти скалят оттуда зубы, несмотря что *homo sapiens*... Пещерный лохматый пращур всякий раз дает о себе знать... Вот разве что любовь, она действительно облагораживает нас, придает человеку способность светиться красотой, все грубое собою перекрывает...

Марыся слушала, лежа на спине и прищурив глаза, — интересно ей было вот так смотреть на солнце: вместо светила — сплошная бурая масса. Вся небесность слилась в желтизне, будто расплавилась, кипит знойной далекой мглой...

Полагая, что она задремала, мужчины вскоре разбрелись кто куда. Борис Саввич пошел к воспитанникам, он тоже решил искупаться; директор и Берестецкий высмотрели чью-то пасеку в лесопосадке и направились в ту сторону. Марыся Павловна осталась под акацией одна. Только теперь в ней заговорило чувство беспокойства за будущую «Бригантину». Даже показалось, что она поступила легкомысленно, согласившись возглавить лагерь, когда есть в коллективе люди и с бóльшим опытом,

и с волею посильнее... Такую ответственность придется брать на себя! Страшновато стало, тревожно. Ведь неизвестно, как поведут себя в новых условиях, среди открытых просторов, те маленькие корсары. Выпустишь чертенят из бутылки, а назад их потом загонишь ли? Однако не отступать же!

Сама определила свой жизненный путь, стремилась к работе самоотверженной, даже чувство жертвенности растила в себе, самого трудного искала. Вот и получила его вволю, предостаточно, даже чересчур.

Когда после института уезжала сюда, в эту школу трудную, правонарушительскую, некоторые посмеивались:

— И трех дней не продержишься...

Ехала сюда в самом деле со страхом, знала, что не в детсад едет, а к таким, что способны на все, могут даже с ножом на учителя кинуться, на то они и правонарушители, хулиганы, люди насилия. Пусть еще начального, неосознанного, но все же насилия, которым они отравлены с юных лет. Духовность, уважение к человеку, гуманные чувства — это для них не существует, человеческое в них затоптано, заглушено, мир взрослых в их представлении населен существами враждебными, которые только то и делают, что выдумывают для подростка разные правила, ограничивают его желание, укрощают волю, вносят в жизнь уйму всяких запретов. А если так, то ты имеешь право игнорировать взрослых, обманывать, можешь вытворять с ними что только удастся, и пусть называют они тебя правонарушителем, для тебя позора в том нет, есть в твоих поступках только романтика дерзости, бродяжничества, бездомности, острый хмель приключений и связанный с ними риск, азарт. Со взрослыми в тебе война непрерывна, так что воюй, мсти, хитри, ловчи, выкручивайся, не стесняйся быть коварным, — все способы для тебя хороши, ведь ты еще не чувствуешь низости своего падения, не испытываешь и отвращения к мерзкому поступку... Вот такими представлялись Марысе те, трудные, к которым решила идти наставницей не на сезон, а на годы, шла, чтобы, может, посвятить им и всю свою жизнь. Ценой любых испытаний хотела познать эту радость — растить человека! Ведь какие они там ни есть, а тоже люди, каждый из них — индивидуальность, и часто очень колоритная, богатая, яркая... Трудные, в аномалиях, в дисгармониях, однако из них тоже должны вырасти люди завтрашнего дня, люди будущего! И как ни тяжело придется тебе с ними, не падай духом, — тем дороже будет чувство победы, если окажешься способной даже из дисгармоничного сформировать полноценную человеческую личность. Станешь как бы скульптором его духовной сущности, поможешь чем-то хорошим проявить себя даже такому, который никаких этических норм не признавал, который с первых шагов выходил в жизнь, как на охоту, неся на губах глумливую, циничную

ухмылку будущего уголовника. Знала, что и таких встретит в спецшколе, и с такими будет иметь дело изо дня в день, и что к ней, молодой учительнице, они, пожалуй, отнесутся с особенной беспощадностью, будут оскорблять, насмехаться, будут унижать ее по-детски изобретательно и жестоко, ибо где же малышу понять, что, унижая другого, прежде всего унижаешь, уродуешь самого себя...

Ранней осенью впервые появилась Марыся в этих краях, а осень здесь тихая, длинная, с высокими небесами, с величавым спокойствием степей... Сказочный край! Идешь по улице, а виноград лезет из каждого двора,ходишь на веранду — аж на плечи тебе он свисает сине-сизыми и янтарными гроздьями. Хаты большие, разрисованы одна лучше другой, до самых крыш увиты виноградными лозами, фасады утопают в зарослях мальв, бархоток да еще тех странных взлохмаченных цветов, имя которым «нечесаная барыня»... Заборы всюду увиты вьюнком с колокольчиками чистого небесного цвета.

В день приезда Марыси Ганна Остаповна сама пригласила коллегу к себе «на постой», хотя теперь иногда и грозитя шуточно, что за беспокойный нрав постоялицы будет брать с нее дополнительную подать.

И потянулись будни трудовые. Любительница лыжного спорта, Марыся и тут загорелась: поставим всех на лыжи! Сами в мастерских изготовим! Директор, хотя и с улыбкой снисхождения, все же согласился, дал задание, изготовили партию лыж еще осенью, однако встать на них так и не пришлось: зима здешняя оказалась без снега, раз или два выпал, да солнце его тут же и слизывало. Даже птицы не все отсюда улетают в теплые края, некоторые зимуют по соседству, возле ГЭС, потому что ниже турбин вода никогда не замерзает... Марыся тоже не улетала, все крепче берет ее в объятия этот смуглый, веселый юг. Ни разу не пожалела, что напросилась сюда. Глушь? Но разве же есть глушь для такого человека, как, например, Ганна Остаповна? Нет глуши для того, кто живет в полную силу, кто мыслит, горит, повсечасно, никогда не знает покоя!

Трудно? Конечно, трудно. Теперь Марыся может понять ту однокурсницу, которая воскликнула когда-то: «Идти работать с правонарушителями — это просто безумие!» Неуравновешенные, буйные, неистовые... Хотя по-своему они последовательны, нетерпимы к фальши, малейшая ложь или несправедливость вызывает в них бурю негодования... Встречаются, конечно, среди них грубые, коварные. Есть несчастные. Есть просто смешные... Вот Бугор отказался работать. «Не хочу работать — хочу только есть!» Ладно, садись вон там, отдельно, в углу столовой, вот тебе черпак — ешь. Мало одной порции, дежурный принесет вторую, принесет и третью, а ты только ешь, набивай курсак... Вся школа наблюдает, как Бугор, сидя за отдельным персональным столом,

молча орудует своим черпаком. Однако наступает все же тот день, когда Бугор говорит: «Довольно. Набил брюхо, аж надоедо... Хочу теперь, как все».

Ох, беспокойная публика будет на твоей «Бригантине». Сдержит ли ваших маленьких пиратов этот ромашковый сентиментальный барьер, остановит ли, когда бросятся врассыпную на дикий зов степного раздолья, всех озорных его искушений!

Марыся вольготно раскинулась на траве, загляделась на свисающие гроздья. Пахнет акация густо, медово, — сладкая истома охватывает девушку. Пчелы гудят, облепляют бело-розовый цвет, — откуда-то, видно издалека, прилетают за нектаром. По ту сторону урочища Берестецкий голосом античного громовержца декламирует излюбленные строки из «Песни моряков»:

... Завтра в інший край мандрівка:
Чорна дівка — білий хліб,
Біла дівка — чорний хліб!..

Красивый его баритон слушать Марысе приятно. «Влюбленная», — говорит он о ней. Разумеется, имеет в виду ее прогулки со Степашко. Но любовь ли это? Скорее, просто дружба, искренняя, товарищеская, чуть ироничная... Настоящая же любовь, какой она представляется Марысе, всеохватная, слепящая, придет ли она когда-нибудь или совсем минует ее стороной? Наверное, могла бы полюбить такого, как тот высокий в плаще, с синими грустными глазами... Тот, которого уже нет, который, может, вот с такого же холма в последний раз обнял взглядом мир... В вечность отплыла его бригантина, унесла все его недостроенные города. Как он взглянул на Марысю у ворот во время прощания... Один-единственный взгляд, а сколько, оказывается, он может сказать!

Замолк Берестецкий, вместо него из глубины урочища соловей подает голос. Говорят, все меньше становится на свете соловьев. Хамов — все больше, а соловьев — все меньше! Неужели планета в самом деле прощается с этим сереньким, самозабвенным, нежнейшим своим поэтом? А с кем же делить то чувство, что поднимается, растет в тебе, хотя и не знаешь — для кого?

Непривычное состояние переживает душа в этом дивном урочище Чортуватом. Пьянит дух акаций, от него угораешь, млеешь, погружаешься в безбрежья какого-то блаженства... Марыся снова сощуривает глаза, и сразу как бы исчезает все, тает, над тобой разливается один лишь этот золотистый свет, сотканный из солнца и клубков белых, облепленных пчелами цветов. Возникает какая-то неведомая ранее гармония, солнце растворилось, и сама ты словно бы растворяешься в сладкой неге

природы, в ее душистых медах... Совсем закрываешь глаза, и тогда тебя нет, жизнь растаяла, свет излился — на месте солнца в небе кипит лишь бурая горячая туманность, полная духа разомлевших акаций и золотой пчелиной музыки...

XXIII

Бывают же и у них иногда передышки! Как-то вечером сидели они — Ганна Остаповна и Марыся — на веранде, и тополь им шелестел, и разговор шел о счастье.

— В школьных сочинениях на тему «Ваше представление о счастье» все ясно, — чуть ироническим тоном говорила Марыся. — Там за это уверенно ставишь отметки, а вот в жизни... Как по-вашему, Ганна Остаповна, что это за птица — счастье?

— Ты, наверное, меня считаешь специалисткой по данному предмету?

— Вы заслуженная учительница. Опыт, жизненная мудрость...

— Вроде бы не успела и рассмотреть как следует эту птицу. Из каких краев прилетает и куда отлетает — трудно сказать...

— Или, может, как говорил мой любимый классик: счастье — неуловимо и в жизни существуют лишь его зарницы?

— Классику виднее.

— А вот у вас, Ганна Остаповна, много было таких зарниц?

— Были.

— Расскажите!

— Нет. Да тебе и не стоило бы просить меня об этом, добиваться исповеди от женщины моих лет...

— Приношу свои извинения.

— Трудно сказать, какое оперение у этой птицы, наверное, каждый видит ее по-своему. Но иногда она прилетает... И не только в молодости. Вот будет у тебя сын, вырастет да приедет в гости... Однажды вечером пригласит тебя. «Хотите, мама, — скажет он, — я вас на лодке покатаю?» И вот ты плывешь по Днепру и видишь, как сын звезды веслом из воды черпает...

— Да, представляю.

— Или же остановится возле калитки такси, сначала одно, за ним второе, выходят из машины полковники и люди гражданские — все такие солидные, лысые, незнакомые... И целые охапки цветов у каждого на руках. «Ганна Остаповна, ну-ка, угадайте: кто я?» — «Да ты же Оверченко! Первый заводила!..» А за ним уже другие подходят, смотрят тебе в глаза: «А я кто? А я? А я?» И, видно, для каждого из них очень важно, чтобы ты его угадала, признала, и ты угадываешь безошибочно, потому что в момент узнавания каждый из них

становится в самом деле похож на тех бывших парнишек, обносившихся, полуголодных подростков твоего первого послевоенного выпуска... Это Оверченко, а это Хоха, а это Крайнев, а это Заградный, тот, который усы на сцене потерял... Ты ему со слезами на глазах из-за кулис: «Веди роль! Роль веди!» — а он нагнулся, шарит по полу, свои отклеенные усы ищет — ему главное усы!.. А теперь вот уже отец семейства, кандидат наук, другие тоже с заслугами, стоят перед тобой взволнованные лысые мальчишки: «А вы, Ганна Остаповна, почти не изменились. Только чуть седины прибавилось... Вспомнили мы, что у вас день рождения, и хотя далеко друг от друга, все же решили организовать... Давайте, говорим, ребята, хоть раз за двадцать лет отключимся от этой проклятой текучки и навестим нашу Ганну Остаповну... И вот, как видите...»

Немало есть на свете таких, для кого день рождения Ганны Остаповны — памятный день. Когда он наступает, еще спозаранку ей приносят телеграмму от сына, и этого достаточно, чтобы потом до самого вечера у нее было хорошее настроение.

В этот день ее поздравят в школе, Валерий Иванович от имени коллег поднесет Ганне Остаповне букет цветов, а от службы режима Антон Герасимович басом пожелает ей «кавказского долголетия».

Когда же после уроков Ганна Остаповна вернется с Марысей домой, ей придется немало времени потратить, чтобы разобрать поздравительную почту, поступившую в течение дня.

Не забывают свою учительницу бывшие ее воспитанники! Тот из близких мест подает весточку, тот издалека, а этот поздравляет Ганну Остаповну очень трогательным письмом из заключения, где он после суда отбывает срок.

— Это корректив к нашей педагогике, — говорит Ганна Остаповна. — Чтобы мы не очень зазнавались...

Помнит, что славный был хлопец, вышел из школы с отличными отметками, кто бы мог подумать, что он снова сорвется, сядет на скамью подсудимых... Работал уже скреперистом на канале, вмешался во время пьянки в драку, которая для кого-то кончилась трагично... И вот теперь пишет, кажется, откуда-то из тундры, поет дифирамбы бывшей своей учительнице: «Каждый день вас вспоминаю, Ганна Остаповна... Выходит, только тут и оценишь ваши душевные советы, только тут и постигнешь, что имел и что потерял...»

Письмо из тундры Ганна Остаповна откладывает отдельно: непременно надо ответить. Они же все для нее как родные сыновья, а если какой сбился с пути, то за него сердце болит еще больше...

Цветы на столе, возле них потертый портфель Ганны Остаповны, в котором полно ученических тетрадей да кучка только что прочитанных писем и телеграмм...

Отяжелевшая, усталая, сидит седая учительница над своим богатством.

Марысе с тахты видно ее задумчивое полнощекое лицо, дышащее покоем, душевным умиротворением. Не учительницу, а скорее крестьянку-труженицу напоминает она своею степенностью, уравновешенностью духа и этими большими, привычными к любой работе руками. Солдатская вдова. С каким скромным некрикливым достоинством несет она сквозь жизнь свои утраты и свое одиночество. Муж был командиром подводной лодки, во время войны минировал фиорды Норвегии, и там лодку его обнаружили, преследовали, пока, спасаясь от погони, она не напоролась на подводную скалу, кажется где-то в Баренцевом море... Одна, без мужа, вырастила сына, далеко он сейчас от матери; есть, оказывается, международная инспекция по надзору за соблюдением какой-то рыболовной конвенции, и сын Ганны Остаповны сразу после института получил назначение в ту международную службу. По несколько месяцев не сходит на берег, то с датчанином, то с норвежцем гоняет браконьеров в международных водах, а дело это не простое, профессия тоже беспокойная (как много беспокойных профессий на свете!). Порой в открытом океане должен перебираться с судна на судно; однажды во время шторма его чуть не раздавило бортами, потому что суда страшно раскачало на бурунах, «да еще, может, и умышленно так хотели подстроить тамошние хищники», высказывает догадку Ганна Остаповна, — ведь в океане иной раз промышляют заклятые нарушители конвенций, они люто ненавидят этих инспекторов за их неподкупность, а в инспекторы-то как раз и отбирают людей неподкупных, принципиальных, безукоризненно честных...

Сын для Ганны Остаповны — самая большая отрада, им она живет, им гордится. И хотя он далеко, и служба такая, что всякое может случиться, зато уж когда отзовется так, как сегодня, это для матери поистине праздник. Смотрит Ганна Остаповна на телеграмму, и чуть заметная улыбка светится на ее лице, и глаза полны словно бы тихой музыки...

Человек стойкого внутреннего мира, Ганна Остаповна и на Марысю влияет успокоительно, не раз в часы сомнений она поддерживала молодую учительницу своим вниманием и материнской добротой. Иногда Марысе кажется, что и сама она через много-много лет станет точно такой же.

Когда сели обедать, Марыся неожиданно спросила:

— Кто вас воспитывал, Ганна Остаповна?

— Да кто же: прежде всего родители. Простые люди были, однако знала я, дочка, за ними по крайней мере три достоинства, в народе довольно распространенные...

— Какие же?

— Первое — что трудились честно оба весь век. Второе —

что по правде жили. Ни на кого поклепа не возвели, ни навета, уста свои никакой ложью не осквернили... А третье — что верно друг друга любили. Вот они — мои нравственные образцы, первые наставники.

— А дальше кто учил?

— Дальше сама жизнь взяла в крутые свои жернова. Пришла учительствовать в трудное время, когда жестокая борьба лютовала повсюду в этих краях, по ночам скирды, конюшни горели, а в степях кони блуждали, бездомные, с фанерными дощечками на шеях: «Ходжу-блукаю, СОЗу¹ шукаю»... Ох, было, было...

И снова (уже не впервые) слышит Марыся о тех далеких годах, когда учительствовала Ганна Остаповна в маленькой степной школе, где печи приходилось топить кураем, и хоть ни электричества, ни радио еще не было, однако и там, в осенних ветрах, в ненастье, эта женщина чувствовала себя счастливой, потому что вдвоем были, вдвоем! Школа тесная, лампы керосиновые, занятия в три смены, и дорогу развезло так, что на долгие месяцы никакой связи с внешними цивилизациями. Однако работали, не хныкали, еще и песни по вечерам пели...

— А теперь поглядишь: и Дворец культуры, и шоссе под окнами, а оно приедет со своим дипломом да еще и носом крутит, выжидает, как бы переметнуться куда — поближе к барам да ресторанам.— Лицо Ганны Остаповны на миг мрачнеет.— Или вспомнить, как мы эту школу создавали. Еще опыта нет, страшно: правонарушители ведь! Таких еще у нас не было, мы для них — троглодиты, а они для нас — поножовщики, которых мы должны на каждом шагу остерегаться... Недоверие, взаимный страх — мы боимся их, а они нас. Поначалу всего шестеро ребят было, а потом целыми партиями начали их свозить к нам из разных областей. Да все такие — на людей не похожие: в болячках, немытые, замурзанные, в карманах карты, ножи, папиросы. Однажды вечером целый костер из их замусоленных карт разожгли. И силой не отбирали, сказали так: каждый сам подходи к костру и бросай, если совесть заговорила... А зато позже — просто чудо... Иду как-то по городу, вдруг слышу: «Ганна Остаповна!» «Кому это, думаю, я тут понадобилась...» Юноша подбегает, радостный такой, в куртке кожаной: «Неужели не узнаете? Это же я, Зозуля, который с картами не хотел расставаться... Сейчас — на судоремонтном». Пригласил в павильон, мороженым угостил...

Улыбнулась Ганна Остаповна при этих воспоминаниях, призадумалась, приумолкла, а Марыся тем временем убирала со стола.

Только было приготовились сесть обе за тетради, как за

¹ СОЗ — сокращенно: совместная обработка земли.

окном просигналил мотоцикл, слышались знакомые шаги на веранде... Женщины переглянулись весело. Так и есть: на пороге появился собственной персоной Костя Степашко, как всегда подтянутый, веселый...

— Говорят, где-то здесь именинница проживает?

Вручил Ганне Остаповне букет роз в целлофане и бутылку шампанского... Марысю Павловну спросил, не сбежал ли опять от них Кульбака...

Она даже губки сердито надула:

— Откуда такое предположение?

— Да вот только что выбегал ко мне один из лесополосы, вылитый ваш Кульбака...

И, чтобы позабавить учительниц, Степашко стал с юмором рассказывать: мчится, значит, он по грейдеру, летит сюда со скоростью человека, спешащего на свидание, и вдруг слышит крик из лесополосы: «Стой! Стой!» Голосок детский, однако настойчивый, требовательный, — пришлось остановиться. Подбегает к мотоциклу мальчишка, точь-в-точь Кульбака, на голове фуражка милицмейская брата или отца!.. А из кустов выглядывают еще несколько пастушат, наблюдают, как их вожак себя поведет... Этот же смельчак совсем по-боевому обращается: «Дядя милиционер! Покажите, пожалуйста, свой картуз!» — «Зачем тебе?» — «Да... Пожалуйста, ну покажите». Что будешь делать: снял, показываю, а он взял, сорванец, посмотрел и разочарованно назад возвращает. «Нет, говорит, это не то...» — «Да что же ты хотел?» — «А я, говорит, хотел проверить, такая ли на вашем картузе подкладка, как на моем!..» Ну что ты ему скажешь? Вот так разыграли, бестии маленькие...

— Да еще того, кто сам когда-то правонарушителем был, — засмеялась Ганна Остаповна.

— Неужели был? — удивилась Марыся. — Кто бы подумал... Такой образцовый!..

Марыся вскочила, чтобы что-то приготовить, а гость между тем в свободной позе сидел на стуле и влюбленно наблюдал, как Марыся хозяйничает. Сегодня он ей скажет наконец то, что уже не раз собирался сказать. В былые времена это называлось объясниться в любви, сделать предложение... Правда, он не совсем представляет, как это получится и какой будет ответ, — это же Марыся. Смотрел на нее и смотрел... Вот она, поднявшись на цыпочки у буфета, достает посуду. Выпорхнула с ней на кухню и уже несет оттуда вымытой, расставляет, кладет чистые салфетки... Делает обычнейшее дело, но ему так приятно наблюдать за нею, еще и еще открывать в Марысе эту врожденную грацию, плавность ее движений, естественную привлекательность, которую находишь во всем: в стройной, ладной осанке, в горделивом повороте головы и даже в том невольном жесте, привычном взмахе

руки, каким Марыся время от времени поправляет свои непослушные пушистые волосы...

Когда она наконец присела к столу, гость, разлив шампанское, предложил:

— За вас, Ганна Остаповна!

Марыся поддержала:

— За человека большой души!

Степашко с иронической ноткой обратился к хозяйке:

— Ганна Остаповна, а разве душа есть?

— Было время, когда не было ее, исчезла, — ответила в тон ему Ганна Остаповна. — У моей подруги даже неприятности получились из-за того, что на уроке слово «душа» предложила ученикам склонять. Даже до конфликта дошло, должен был Робос вмешаться — так назывался тогда на Украине профсоюз работников просвещения...

— В наше время душу обнаружить тоже удастся не у каждого, — ответила Марыся колкостью своему «кавалеру». — Кое у кого признаки ее едва заметишь, а то и вовсе...

— Довольно, довольно, — поднял руки Степашко. — Вопрос ясен. Как ясно и то, что наша Марыся Павловна сегодня почему-то не в духе...

— Заждалась, перенервничала, — сказала Ганна Остаповна. — Раскрою секрет: все-таки переживала, почему так долго не является ее кавалер... Пришлось успокаивать — он ведь студент-заочник, может, консультироваться поехал... Или где-нибудь на задании — хулиганчат ловит...

— Марысе Павловне, пожалуй, странным кажется человек, избравший себе такое занятие — ловить пацанят? Мне и самому порой странно. Только тем себя и утешаю, что рано или поздно потребность в нашей профессии вовсе отпадет.

— Вы серьезно так считаете?

— Ученые уже якобы обнаружили в мозговых полушариях центр, управляющий человеческой агрессивностью, — с невеселой улыбкой продолжал Степашко. — Главное было — выявить этот загадочный центр, а дальше его пойдут медикаментами атаковать, таблетками будут сбивать агрессивность...

— Не верю в таблетки, — сказала Ганна Остаповна. — Верю в другое... Кстати, поздравьте Марысю Павловну: ее назначили начальником летнего лагеря, имя которому «Бригантина»...

— Поздравляю, — сказал Степашко. — Удачное решение: капитаном «Бригантины» как раз и нужно такую строгую особу.

— Не только строга, но и властолюбива, — добавила Ганна Остаповна. — Такова уж порода. Одна из ее землячек в средние века даже Оттоманской империей правила... Ну, а этой досталось сборище маленьких пиратов...

— Вам шутки, — вздохнула Марыся, — а меня не покидает тревога: как я их удержу? Не разбегутся ли? Ведь это будет

нечто похожее на крепость из воздуха, и ограда будет только воздушная... Может, в первый же день они этим воспользуются, бросятся врассыпную кто куда?

— Выловим! — улыбаясь, успокоил Степашко. — Бродяжничать не дадим.

Марыся посмотрела на него изучающе.

— Были когда-то миннезингеры, — сказала она, помолчав, — были странствующие философы, бурсаки, вечные студенты бродили по всей Европе... Славный рыцарь Дон Кихот разъезжал по свету на своем Росинанте... Между прочим, один наш коллега тоже мечтает испытать себя в роли вечного странника... А вы, Степашко, могли бы вот так?

— По-донкихотски?

— А хотя бы...

— Дон Кихот, Марыся, в наше время невозможен, — спокойно возразил Степашко.

— Это почему же?

— Как личность без определенных занятий он был бы задержан незамедлительно. Да еще и получил бы по соответствующей статье «за систематическое бродяжничество»... Живем ведь в новые времена...

Марыся привыкла к его шуткам в таком духе, он бывает иногда остроумным, а сейчас... почему-то ей стало не по себе. В его преданности она не сомневается. Предан, послушен. Но разве это все, к чему она стремится? Со стороны на них уже смотрят, как на будущих супругов, вроде к этому оно и идет, только все же какая-то неполнота чувствуется в их отношениях, какими-то пресными кажутся они Марысе... Видно, и он тоже это понимает, может, поэтому всякий раз за его шутками ощущается грусть, и в его ухаживании, в робкой влюбленности есть как бы доля горечи...

Приехал, оказывается, чтобы свозить Марысю в кино. Но нужно решить, куда: к гэсовцам махнуть или в совхоз, а может, в городок летчиков, правда, он далековато, в степи... А именно этого и пожелала Марыся:

— К летчикам!

Ганну Остаповну порадовало, что наконец они пришли к согласию.

— Езжайте, езжайте... Пока молоды, друзья, — жить да радоваться. Потому что жизнь, она очень коротка и так летит — со скоростью света, а то и еще быстрее...

Вскоре мотоцикл уже мчал их по центральной улице села, потом должен был прогрохотать он и мимо величавой арки спецшколы, — не могла же Марыся отказать себе в удовольствии со скоростью ракеты пронестись мимо Антона Герасимовича, зная, как нетерпимо относится он к таким ее «правонарушительским» поездкам. Вот и стена, побеленная известкой, у про-

ходной арки серебрится акация в тяжелом цвету, аж на камни ограды кладет свои разомлевшие гроздья... Антона Герасимовича, к сожалению, не видно, на проходной стоит другой охранник, мало знакомый Марысе.

— Что там? — спросила Марыся Павловна, когда водитель притормозил.

— Да ничего, — ответил часовой хмуро. — Только Бугор и Кульбака подрались. Чистили на кухне картошку, Бугор чем-то рассердил камышанца, а тот вскипел — разве им долго? — и ножом вслепую швырнул... В плечо вогнал сквозь сорочку. Пришлось укол делать...

— А из-за чего завелись? — Марыся соскочила с мотоцикла.

— Да разве их разберешь... Бугор будто бы непочтительно отозвался о матери Кульбаки... А Кульбачонок ведь бешеный, вспыхнул сразу, а тут еще нож в руке...

Марыся обернулась к своему «кавалеру»:

— Езжай. Я остаюсь.

И ее маленькая фигурка быстро исчезла в двери проходной.

XXIV

«Тормоза не отрегулированы» — еще и так о них говорят. Реакции у них молниеносны: идут, маршируют по двору, песню горланят, а только кто даже невзначай на пятку переднему наступил — вмиг заслоняй лицо... Потом опять пошли, поют.

Так и у Кульбаки с Бугром: быстро подрались, быстро и помирились. Тем более, что Бугор под нажимом товарищей вынужден был признать свою неправоту: ведь и в глаза Порфирову маму не видел, а позволил себе отозваться о ней непристойно... Ну, и получил по заслугам.

Спустя несколько дней, когда радостно возбужденные ребята ехали в совхоз на работу, оба забияки сидели в кузове рядышком, будто между ними ничего и не было, и Кульбака даже стал подпевать, когда Бугор затянул свою шутовскую:

По кривой и неровной дороге
Ехал бесколесный грузовик...

Этот выезд был особенный: ехали собирать черешню! Десантом должны были выброситься на совхозные сады, что уже ждут их не дождутся. Дорога — аж гудит, простор вокруг, и так весело на душе. Встретил их не карликовый сад и не пальметный, где молодым деревцам руки выкручивают да распинаят на проволоке, встретили мальчишек могучие черешневые

башни, что свободно вымахали в небо и зарделись купами ягод по верхам, горят, как при свете утренней зари... Высоко? Так это ведь и хорошо, есть куда карабкаться черешневым верхолазам... Просто счастье выпало ребятам, что выбор пал именно на них... Как только зарумянилась «тавричанка» и «ранняя мелитопольская», директор совхоза сразу примчался в спецшколу:

— Помогайте, выручайте, на вас вся надежда!

И вот они здесь. Быстро распределились, выяснили, что и как, и за работу. Черешни ешь сколько хочешь, это разрешается, а черешня такая, хоть и ведро ее съешь — живот не заболит, угощайся, пожалуйста, однако и о норме не забывай!

Кульбака, отличившийся перед этим на прополке гороха и моркови (возможно, этому способствовал лозунг, намалеванный Берестецким на специальном стенде: «Остри сапу с вечера! Пусть она будет острее твоих собственных зубов!»), — этот вот труженик камышанский, очутившись в саду на черешнях, проявил тут еще большее рвение. В первый же день перевыполнил норму, и на вечерней линейке, несмотря на свой довольно скромный рост, стоял правофланговым. Потому что заслужил, трудился на совесть.

Другие тоже не ленились, в школьной стенгазете карикатура появилась только на Бугра: нарисовали его измазанным шелковицей по уши (где-то он и шелковицу в саду отыскал!), а на сборе черешни пока задних пасет, объясняя свое отставание тем, что солнце, мол, так сильно его ослепляет, даже не может, бедняга, различить, где листья, а где ягоды... Смешная была карикатура, и сам Бугор хохотал, сразу узнав себя в намалеванном... Первый день прошел, в общем, довольно спокойно, а вот как выехали во второй... Внешне, однако, ничто не предвещало грозы. Кипит работа. Поустраивались ребята на всех лестницах, приставленных к черешням, а кто и без лестницы обходится; ловко перебираются меж ветвей, как белки, проворные, зоркие, — только листва шелестит да стриженные лбы сквозь гроздь черешен проблескивают... Подъезжают машины, открываются борта, кузов быстро загружается ящиками с черешней, грузовики помчат отсюда на консервный завод, а какие прямо из сада, со свежей, еще в росе, «таврической», — к самолетам, Аэрофлот отправит южную красавицу в города бесчерешневые, людям в Якутию, в Заполярье...

Все довольны трудовым десантом спецшколы: был директор — хвалил, был агроном — хвалил, подошел с клюкой сторож, бывший мартеновец, человек-гигант, в одной майке, в штанах широких, и тоже любит работу недавних правонарушителей.

— Можно, оказывается, и честно свой хлеб зарабатывать, — говорит он, опершись на клюку, напоминающую тот черпак,

которым металл, разливают.— Честный хлеб, он куда сытнее... А то сколько охотников бывает на дармовщину! Как лето, так и штурмуют эти сады, лезут с пляжей, голые, как дикари, отовсюду продираются сквозь живую изгородь... Станешь такого стыдить: «Да ты, поди, уже комсомолец, десять классов, пожалуй, кончил». А он: «Вам жалко? Я только попробовать!» — «Если попробовать, зачем же авоську припас?..» И хоть ты стреляй в них: отсюда отгонишь, они в другом месте лезут да еще зубы скалят, такие стали — ни совести, ни чести.

Открытая душа этот мартеновец, подойдет то к одним, то к другим, расскажет хлопцам о своих недугах да сколько металла переплавил на заводах, прежде чем пойти в охрану этих райских садов... Но не все же люди такие.

Портит настроение хлопцам новый смотритель от службы режима, он только еще устраивается к ним, проходит испытательный срок и, может, поэтому ко всем придирается, таким въедливым оказался, что хлопцы сразу его невзлюбили, для них он с первого дня аллигатор, или попросту Крокодил (Хлястик уверяет, что глазки у нового и впрямь очень похожи на крокодильи). Неведомо откуда он и взялся. Сгорбленный, желтолицый, втянув голову в плечи, перебегает от дерева к дереву, вынюхивает, где что не так, кого на чем можно поймать. А тут как раз и случай — подвернулся. С консервного завода вернули несколько ящиков, в которых обнаружили фальшь: внизу веточки с листьями и комья земли, а черешней все это сверху только прикрыто... Смотритель ревностно принялся выискивать виновного, с подозрением набрасывался на каждого: «Наверное, твоя работа?» — пока Бугор незаметно для других и словно бы в шутку не кивнул ему на Кульбаку, на передового: он, мол, отмочил... Можно было принять то за шутку, однако придира сразу ухватился, давай сгонять злость на Кульбаке:

— Ах, вот какой ты ударник! Вот почему нормы перевыполняешь! Гонишь на показуху, да? Грош цена таким твоим рекордам! А там,— смотритель кивнул вверх, на дерево,— для кого на макушке оставил? Для воробьев?

— Это не моя черешня,— буркнул мальчишка, оскорбленный подозрением.

— А чья? Кто обрывал? Тебя спрашиваю!

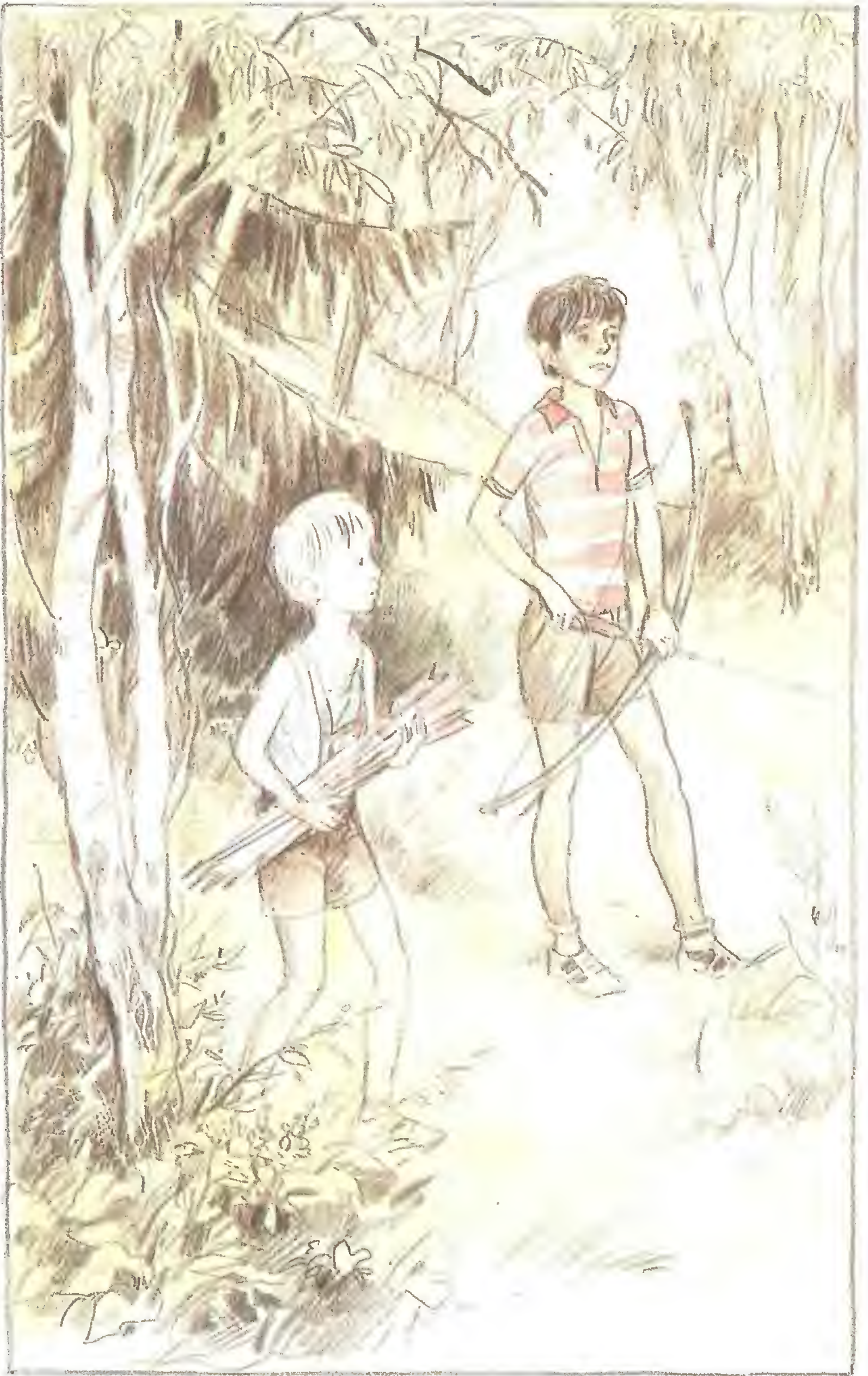
— Не скажу.

— Вот как... Скрываешь? Тогда лезь и сам посрывай все до последней ягодки! Чего же стоишь, лезь!

— Не полезу!

— Последний раз говорю: лезь!

— Нет и нет! — вскричал мальчишка, доведенный до слез, до бешенства этой несправедливостью. Потому что и в самом деле не его это черешня и ящики бракованные тоже не его,— все хлопцы знают об этом.



— Напрасно вы на него... Он не виноват!

Ребята пытались защитить Кульбаку, но заступничество еще больше разъярило зрителя.

— Сговор? Круговая порука? Если так, то завтра зашумите к чертям на кукурузу! Вот там позакаляетесь!

Когда Крокодил, так ничего и не добившись тут, отправился к другим сборщикам, чтобы еще на ком-нибудь согнать свою желтую злость, Бугор, торжествуя, аж затанцевал перед Порфиром:

— Убедился теперь, какая правда на свете? Кто сделал, а на ком отозвалось... Доказывай теперь, что ты не верблюд!

И признался, что это он, Бугор, такую шутку с ящиками отколол, потому что после вчерашней карикатуры тоже решил норму перекрыть, выйти в правофланговые... И, как видите, получилось, ибо надо уметь выкручиваться, ибо у него правило такое: делай что хочешь, только не попадайся!..

— Я вот теперь как стеклышко, а на тебе Крокодил еще отыграется!..

Грустно стало Порфиру, сразу и желание работать пропало. Так старался, а его еще и виноватым сделали. А может, и прав Бугор? Может, главное — научиться сухим выходить из воды? С этим Бугром у Порфира сложились странные отношения: то между ними доходит до драки, до ножа, то они снова помиряются, уже шушукаются, — непонятное что-то тянуло Кульбаку быть в компании этого татуированного переростка с воловьей шеей, с бандитскими ухватками.

Камышанец хоть и смотрел на Бугра, как на болвана, однако вынужден был и считаться с его опытностью в важных житейских делах.

— Ты вот старался, из шкуры лез, чтобы, как и мать, в знатные выйти, — разглагольствовал Бугор, — а чего достиг? То ли дело Бугор: он им земли на дно, веточек с листьями, а ягодками сверху притрусил — и тоже норма! И тоже передовой! Получайте, кушайте!

— А если бы в Заполярье пошло! — выслушав, заметил Гена Буткевич. — Или к тем, что в шахтах?

Бугор задумался на мгновение, потом еще решительнее взмахнул рукой.

— Везде фальшивят! — выкрикнул он. — Нам до одурения толкуют: будь честным, справедливым, а сами? Очень они справедливы? Крокодилова их правда! Не пей, не кури, от сигареты лошадь дохнет, а я же вот недохну! — И Бугор надсадно затянулся сигаретой, выпуская дым, как фокусник, кольцами. — Моего пахана третий раз уже насильно от алкоголизма лечат... И такие они все, — рассуждает уверенно Бугор. — Нам нотации пудами, правила тысячами, а для себя у них одно: «Поживем! После нас — хоть потоп! Хоть атомная пустыня!»

— За всех не расписывайся,— возразил Порфир, потому что как раз подумалось: «А мама моя, разве она такая?»

— Наивняк ты. Правдой хочешь жить, ну и живи. Он тебя завтра на кукурузу погонит, а то и совсем за ворота не выпустит...

И главное, что и пожаловаться на Крокодила сейчас некому: директор в командировке, вызвали в министерство на совещание, Ганна Остаповна прихворнула, а Марыся целые дни озабочена устройством нового летнего лагеря, той самой «Бригантины», которая неизвестно еще с кем и куда поплывет...

Мальчишеский совет, уже и о работе забыв, собрался во главе с Бугром под черешней обсудить очень важный для всех вопрос: как проучить Крокодила? Как отомстить ему?

— Чего он цепляется ко всем, халява старая?

— Какое он имеет право?

— Учудить ему что-то надо,— сказал Бугор.— Такое учудить, чтобы лопнул от досады. Это понравилось компании.

— Учудить! Учудить! — слышались отовсюду веселые правонарушительские голоса.

XXV

Фрегаты облаков белеют по горизонту, а здесь, среди пустынного ландшафта, среди воображаемых лесов Геродотовых, которые когда-то тут зеленели, населенные нимфами, сатирами-фавнами, пробирается нечто похожее на лунный вездеход. Никаких фавнов: безжизненно, голо, один молочай растет. Песчаные наносы желтеют, кучегуры, чубатые и бесчубые. Иль, может, и вправду где-то там фавны среди них притаились, как козлики, подглядывают: кто едет, кто смеется в том брезентовом шарабане? Так и есть, «газик»-вездеход научно-исследовательской станции. Кроме водителя, парня ироничного, в машине еще доктор наук (он же и директор), симпатичный толстячок в белом костюме, в брыле, да Оксана Кульбака, которая наконец-то вырвалась проводить сына. Собственно, директор сделал ей одолжение: отправляясь на ГЭС, прихватил и ее, так как это почти по дороге. Весело в машине, вспоминают смешное приключение, хотя оно могло закончиться и очень печально... Приключение касалось саперов, которые недавно обезвреживали в этих песках мины и снаряды. Натаскали своих ржавых трофеев целую кучу, заложили взрывчатку, подожгли шнур и бегом к машине. Дрр-дрр — а она не заводится! Вот тогда-то поневоле пришлось ставить рекорд, убегая вниз, в лозняки. Такую скорость развили, пустившись наутек, что олень мог бы позавидовать... Припомнились также разные шутки, которые откалы-

вал Порфир, в частности тот знаменитый случай, когда хлопец осами накормил одного станционного болтуна. Есть такой у них, рта не закрывает, ничем его не остановить, когда начнет излагать будущую свою диссертацию, вот Порфир и подсунул ему ломоть кавуна с осами. Тот как хватил — три дня потом не мог разговаривать: язык распух, во рту не помещается... А Порфир с ватагой ходит следом: расскажите, дядя, еще про свою диссертацию...

— Юморист он у тебя, с ним не соскучишься, — говорит Оксане водитель. — Огонь-хлопец...

— Огонь-то огонь, да только как он там сейчас... На пользу ли пойдет ему их целодневная муштра?

— Вышколят! Там умельцы такие, что и зайца научат спички зажигать!.. Педагогам спецшкола, я слышал, даже платят больше, потому что их работа приравнивается к работе во вредном цеху: несколько лет повоспитывает своих трудных, и уже нервов нет, уже руки трясутся...

— А у нас без Порфира даже слишком тихо стало, — улыбнулся директор станции. — То, бывало, какой-нибудь номер да отколет, чем-нибудь да оживит наш будничный ландшафт... Думаю, он и там штукарит...

— Это уж натура такая: пока чего не сотворит, и спать не ляжет.

— Ох, заводной, — усмехнулся шофер. — Нет, с ним не соскучишься...

— Порой прямо золотое дитя, — сказала Оксана. — И успокоит тебя, обнадежит, и школу обещает больше не пропускать, изо всех сил клянется; конечно, и клятвы у него с фокусом: «Вот чтоб я вчерашнего дня не видал!..»

Теперь сыновьи проказы даже забавляли мать, вызывали снисходительную улыбку, она уже представляла себе скорую встречу с ним, предвкушала радость свидания, добротой и нежностью, нерасплесканной лаской была переполнена ее душа. Надежды на сына, вера в то, что он становится лучше, — это было сейчас самое светлое в ее жизни. Вот только не забудет ли он там дом родной, не разучится ли за всеми науками и муштрами мамусю любить?

Своими сомнениями она поделилась и с доктором наук, которому это было тоже, видно, не безразлично.

— Там, где дети перестают родителей любить, — с грустью сказал он, — там конец всему... Оттуда и начинаются все беды, все несчастья. И прежде всего несчастья для них же самих, для детей. Жаль только, что они приходят к пониманию этого, когда уже бывает поздно...

— Вы считаете, что и Порфир... забудет меня? Отвыкнет?

— Я этого не сказал. Наоборот, мне кажется, в нем есть нравственные устои, богатство чувств... А что хлопец сейчас

среди «трудных», на таком испытании, то это не страшно. Не трудности делают нас черствыми... По моим наблюдениям, любовь только крепнет, когда человеку трудно.

— Не обижают ли там его? — вырвалось у матери. — Говорила, правда, учительница, что на уроках труда он хорошо себя показал...

— В мать пошел, — весело сказал водитель. — Да и дед был классный трудяга. Вот был старик! И тоже выдумщик! Едет в аптеку — и ястребок на плече, личная охрана: не тронь, мол, моего хозяина, не то и глаза выцарапаю... Мастер, мастер был твой старик...

— К дочке его тоже вот изо всех стран за опытом едут. Только из машины — сразу: а ну, где тут ваша знаменитая виноградарница?..

— Будет вам, а то перехвалите, — отмахнулась Оксана.

Водитель, закулив, принялся снова за свое:

— Иван Титович, а что будем делать, если ее у нас высватают, — кивнул на Оксану, — и увезут бог знает куда?

— Кому я там нужна, — смутилась Оксана, хотя втайне, кажется, была довольна шутками на эту тему.

— Мы ей тут, на месте, подыщем пару, — сказал Иван Титович. — Обязательно подыщем! Так тому и быть: за счет станции сыграем свадьбу, пусть уж потом налетает контроль...

— Верно, не мешало бы немного расшевелить нашу Камышанку, — не унимался водитель. — А то уж и свадьбы какие-то тусклые...

— Это правда, — поддержала Оксана водителя. — Редко и песню живую услышишь, все больше из радиолы... Мотоциклы по дворам, антенны над головой, каждый в достатке живет, а выйдешь вечером — ни танцев, ни песен... Темно по хатам, только голубенькие огни, как на болоте, в окнах блуждают, — то все наши перед телевизорами сидят, хоккей смотрят, провалился бы он совсем...

— Не ругайся, я тоже хоккейный болельщик, — напомнил водитель. — И тебе подыщем жениха с телевизором. Просватаем за такого, у которого два телевизора в хате...

Догадывается Оксана, кого он имеет в виду. Один он у них — молодой вдовец механик Юхим Обертас, что прошлый год жену похоронил: током убило, когда гладила белье... Из переселенок, лаборанткой работала. И как они любили друг друга, казалось, до старости дойдут в глубокой взаимной любви... Когда механик потерял ее, думали, и сам вряд ли выдержит, не тронулся бы умом от горя, от переживаний... Оксана с соседками иногда забегают к механику в хату хоть немного навести порядок — запущено же, не подметено... Забежит, а он в сапогах на постели лежит, бледный, с закрытыми глазами, — спит или

только думает... По углам два телевизора (ни один не работает), на окнах тяжелые, красного плюша портьеры, от них и в хате вроде красный туман какой-то висит... А однажды застала Юхима за странным занятием: стоит у стола с электрическим утюгом в руке и гладит блузки жены! Говорят, перед каждым праздником сам молча стирает их и гладит... Потому что Лида — жена — еще жива для него, и разве ее мог бы кто-нибудь ему заменить? А эти, вишь, не понимают, уже бы им сватать... И вы, товарищ директор, хоть и доктор наук, хоть про мильдию да про филлоксеру все знаете до тонкостей, но в науках сердечных, людских, простите, не очень вы, кажется, разбираетесь...

— По нашим данным, и он бы не против, — говорит директор, намекая на механика. — Оба еще молоды, крепкую семью создали бы... И надежный, коренной, это вам не из пришлых: одной ногой тут, а другой уже за Перекопом... У летуна ведь один ответ: «Я у вас не вечный...» А вы оба корнями здесь, в этих песках, вы как раз вечны...

— Оставим этот разговор, — сказала, погрузнев, Оксана, — неловко даже. Как вы можете решать? А если он еще жену любит и ему не до меня? Да, может, и у вашей гектарницы не все еще...

И слезы враз блеснули у нее на глазах. После этого непрошенные сваты приутихли, больше не трогали нервную свою спутницу.

Откуда им было знать, как все это мучительно сложно для женщины, для матери, имеющей дитя. Однажды попыталась и обожглась. Были и после того возможности, были ночи сомнений, но в конце концов материнское вновь побеждало, вновь говорила себе: «Неродного батька ему? Нет, лучше буду одна, для него буду жить!..»

XXVI

Любил Антон Герасимович такие вот тихие часы, когда, подменяя часового, приходится ему самому оставаться в будке на проходной. Как нигде, чувствует здесь полноту своей власти, ведь каждый, кто к тебе обращается или мимо проходит, оказывает тебе почтение, потому что ты ведаешь воротами, стоишь при том серьезнейшем рубеже, от которого начинается режимная или безрежимная жизнь.

В будке прохлада, тут даже в разгар лета не жарко: стены толстые, выложены еще монастырскими каменщиками, а окна заслоняет от солнца крупнолистый, посаженный воспитанниками виноград... В спокойном и возвышенном (как он сам говорит) состоянии духа пребывает Антон Герасимович. Вооружившись

очками, сидит у столика над развернутым фолиантом, одной из тех обтрепанных старопечатных книг без начала и без конца, которые каким-то образом попадают время от времени в руки начальника режима. У него пристрастие к книжкам редкостным, откуда-то чудом добытым, за это жена называет его дома чернокнижником, конечно же больше в шутку. Процесс чтения старопечатных книг нравится Антону Герасимовичу не только сам по себе, но еще и потому, что имеешь потом возможность неожиданным выпадом загнать в тупик кого-нибудь из этих школьных умников с институтскими дипломами, при всем честном народе утрешь ему нос, процитировав при случае нечто такое, как, например, указ Петра Первого от 9 апреля 1709 года под номером 1698: «Нами замечено, что по Невскому прищепку и в ассамблеях недоросли отцов именитых, в нарушении этикету и регламенту штиля, в гишпанских панталонах и камзолах расшитых мишурою щеголяют предерзко. Господину полицмейстеру из Санкт-Петербурга указываю вперед оных щеголей с рвением великим вылавливать, сводить их в литейну часть и бить кнутом, пока из гишпанских панталон зело похабный вид не останется...»

Прочитывает вот нечто такое Антон Герасимович их педагогической ассамблее, а особливо тому патлатому дискутеру Берестецкому, с которым чаще всего скрещивает копыя, и стоит тогда, удовлетворенно пожиная лавры при виде их смята и удивления: «А что, схватили? Вот вам и Саламур с дипломом цепеша!»¹

А сейчас Антон Герасимович сидел над книгой, за которой давно уже охотился и которая наконец попала ему в руки, и заключала она в себе истинное богатство — поименный реестр куреней сечевого рыцарства. С бóльшим интересом, чем какой-нибудь детективный роман, вычитывал Антон Герасимович длиннющие списки казацких сотен в тайной надежде встретить среди реестровых и какого-нибудь рыцаря по фамилии Тритузный. Потому что откуда-то из глубинных недр, из туманных преданий детства перешла ему в наследие уверенность, что сам он тоже рода рыцарского, что недаром дубовую матицу у деда в хате украшало резное — с ятями да с твердыми знаками — свидетельство о рыцарском происхождении рода Тритузных. «Где-то должен быть и Тритузный, где-то должен быть!» С этой мыслью читал, вчитывался в списки реестровых (тоже с ятями и с твердыми знаками):

— «Охрим Пожар!.. Лесько Квиточка!.. Ясько Дудка!.. — шептал он, выговаривая каждое имя с наслаждением. — Андрушко Великий!.. Михайло Чучман!.. Махно Заплюйсвичка... Олешко Вичный... Иван Семибаламут... Иван Злый!»

¹ Церковноприходская школа.

— Антон Герасимович вздохнул печально: Тритузного пока что не было. Но ведь какие имена: Лесько, Ясько, Дорош, Жадан, не то что у нынешних: Эдик — Вадик — Жорик — Марик... Тьфу!..

За этими размышлениями и застала Антона Герасимовича неожиданная посетительница. Встала на пороге, как тихое лето, как видение его, Тритузного, юности, пришедшее взглянуть на его осень. В газовой косынке, повязанной несколько игриво, красуясь в своих смуглых румянцах, стоит улыбающаяся, приветливая, с высоким бюстом... Антон Герасимович сразу ее узнал. Это же та, камышанская, что на пристани тигрицей на них накинута, заступаясь за своего сыночка, а теперь вот какая появилась культурная, губы накрашены, золотые часы на руке и плетенная из синтетической соломки сумочка (из тех, которые можно достать лишь у китобоев; сын Антона Герасимовича, гарпунер, тоже такую жене привез). И никаких узлов да корзин с передачами... Держит в руке букет синих васильков, которые синели перед этим где-то в горячих ее песках, — решила, видно, что для сыночка такой гостинец будет всего милее... Почтительно поздоровалась, спрашивает:

— Это вы будете товарищ Саламур?

Должен бы гневом взорваться, раскричаться на такое обращение, а то и с возмущением выгнать вон, но было ясно, что спрашивает она чистосердечно, без намерения оскорбить (вот так слава его пошла гулять по свету под этим прозвищем). И поэтому он, потрогав усы, ответил молодежи со спокойным, важным достоинством:

— Льва по когтям узнают... А собственно, что вы хотели?

— Да сыночек мой тут у вас...

— Знаем такого... На черешнях сейчас, вернется к обеду. Так что извольте подождать.

Женщина огляделась, где бы сесть, и Антон Герасимович только теперь сообразил, что дал маху, поступил не как джентльмен и, чтобы исправить свою оплошность, довольно браво подскочил и подал женщине табуретку, а сам уселся у стола, где все было в надлежащем порядке: натертый до блеска телефонный аппарат, рядом с ним — металлический штырь, на котором наколоты какие-то бумажки, видимо, пропуска. Еще ближе, под рукой Антона Герасимовича, лежит раскрытый, пожелтевший от времени фолиант.

— Тритузный я. Никакой не Саламур, — незлобиво пояснил посетительнице. — Начальник режима. А Саламуrom стал по милости вашего сыночка, это он — семибаламут — меня так окрестил.

— На него это похоже, — притворно посуровела мать, хотя в душе улыбнулась с затаенной гордостью. — Вы уж извините его. Дитё ведь... Не болел он тут у вас? Не озорует?

— Сам расскажет... У нас, правда, свидания разрешаются только по выходным дням, но для вас, как для знатной виноградарки, сделаем исключение. Я ведь тоже как любитель виноградом занимаюсь. Конечно, у меня разносортица, больше полудикие, не то что ваши «сенсо» да «карабурну»...

А посетительница между тем опять о сыночке:

— Это правда, что мой уже стал тут у вас ударником труда?

— Не лодырь, что верно, то верно,— признал Антон Герасимович.— Хваткий до всякого дела, а это уже немалый плюс... Станет человеком, если изберет честный трудовой путь... Труд, он лекарь наилучший!

Оксана, слушая Тритузного, полностью соглашалась с ним: да, вся мудрость человека — в труде. Благодаря ему чувствуешь, что живешь на свете не зря, труд дает тебе уверенность и уважение людей, приносит радость даже в одиночестве, порой дает почти наслаждение, какое, верно, и называют счастьем...

— Но только труд по душе, по призванию...

— А то как же! У нас он именно такой. Черешню собирать — что может быть приятнее для детворы? Вчера ваш на линейке уже правофланговым стоял — это у нас честь такая для тех, кто впереди... Трудяга, ничего не скажешь...

Слушая похвалы, мать расцветает, ей хочется быть откровенной.

— А дома замучилась с ним. Упрямец он, фантазер, сумасброд...

— Упрямый он и тут... Прямо скажем, трудный хлопец, но есть в нем и такое, что, хочешь не хочешь, вызывает симпатию... И что работы не боится, и вообще — смелая, молодецкая душа! Одним словом, с живчиком, с перчиком хлопец.— Антон Герасимович и не заметил, как воспользовался присказкой директора, которую сам же в свое время высмеивал.

— Спасибо вам,— тихо, с чувством вымолвила молодая женщина.— Я так благодарна вашей школе... Разве ж я не понимаю, что было бы со мной, матерью-одиночкой, в другое время, какая доля выпала бы мне и ему? А тут, вишь, сама Родина взяла мальчишку под свое покровительство, чтобы не пошел по беспутной дороге...

— Мог бы хлопец совсем пропасть, сбаламутиться, а теперь он в надежных руках,— заверил Тритузный.— Тут к нему внимание, тут за ним присмотр и ночью и днем. Конечно, нам, персоналу, это бесследно не проходит, кое у кого преждевременно изнашивается организм... Однако щадить себя для такого дела не приходится...

— Спасибо, спасибо,— опять повторила женщина.

— Можете себе представить, каких нам сюда направляют. Изломанных да покореженных, как тот карагач в пустыне. Сызмальства крутило его да корежило житейскими бурями.

А должны принимать, браться за его формирование... Ох, не простое это дело — формировать человека!

— И не каждому оно дается, — согласно говорит посетительница. — У одного получается, у другого нет... Да еще кто как относится к своей работе... Возьмите хоть у нас, когда выйдем весной на виноградники кусты обрезать... Один делает быстро и качественно, а другой — особенно из гастролеров перелетных — все на тяп-ляп. Гонится лишь за рублем, и стыд его не мучит, что позорный след оставляет после себя: целые кусты, какие ему показались трудными, прочь повыбрасывал, ведь легче выбросить весь куст, чем подумать над тем, как правильно его сформировать.

— Так то же просто кусты, — восклицает Антон Герасимович, — а наши кусты — это живые человеческие души! Юные еще и незаскорузлые, куда его направишь — так оно и вырастет... И потом уже не переделаешь. Сегодня дети, а завтра они уже — народ!

— Трудно вам, я понимаю, — с грустью заметила Оксана. — Дурное почему-то к ребенку само липнет, а хорошее с таким трудом приходится прививать...

— И прививаем! — воскликнул начальник режима. — Пусть даже и кричит и отбивается, ведь он еще не смыслит, что ему добро прививают... Берем же сюда самых запущенных, тех, что уже прошли крым и рим, — иной и взрослый не видел того, что оно успело пережить. У того батко пьяница топором мать зарубил, другого заставляли идти воровать, а иной только на ноги встал, от дома отбился, бродяжничать пошел...

— И откуда у них эта страсть к бродяжничеству?

— А откуда к бессмысленному разрушению? Ты сделал, ты эти фонари на улице поставил, зажег, а я их вдребезги разобью, потому что мне так хочется. Работать меня не заставишь, зато в автобус я вскакиваю первым, захватываю место у окна, потому что моей особе там сидеть приятнее, она хочет ветерком обвеиваться, а вы грубые, черствые, раз требуете, чтобы я встал, уступил место старшему... Говорим все о пережитках, а оно и нажитки наши ничем не лучше... Сколько теперь таких, которым уважать старших кажется просто унижительным, это вроде бы гордость их умаляет... Даже в добропорядочной семье порой хлопец становится вдруг бездушным вымогателем, шкурником без совести и чести. А родителям? Нет ведь более тяжкого наказания, чем наказание детьми! Жестокими, неблагодарными... Еще на свете не жил, а уже набрался откуда-то диких понятий, хамства, нахальства, а нам все это надо выдавить из них, как тот писатель, что по капле выдавливал из себя раба. Только он сам из себя, а эти еще сами не умеют, мы должны им помочь. Никому ведь не безразлично, какими они вырастут, эти потомки, эти, что должны будут завтра нас заменить...

Глядишь на него и думаешь: кем же ты станешь? Бурьяном, шкурником бессовестным или человеком, каким гордиться будет народ?

Антон Герасимович распалялся все больше и посетительнице по душе был этот его искренний огонь гнева, боли и возмущения, обращался к ней уже не просто один из здешних часовых, страж порядка, а опытный педагог, который многое наблюдал в жизни и близко принимает к сердцу этих трудных детей, попавших за ограду. Женщина уже слышала от него мудреные слова об агрессивности натуры подростка и дисгармонии поведения, о том, как бережно следует прикасаться к бутону еще не расцветшей детской души... Наверное бы застыл в изумлении педагогический совет, если бы услышал, какими терминами сейчас оперирует вечный их оппонент Антон Герасимович...

— Бывает, разводят дискуссии, чем лучше воспитывать: любовью или страхом? — продолжал Антон Герасимович. — Как будто не ясно, что надо и тем и другим... Заплачет любая педагогика, если только по головке будем гладить или, наоборот, когда один ремень над мальчишкой будет свистеть... Ведь он тогда скрытным становится, лживым, таится, причины его настроения для нас уже неизвестны... Крик, слезы, ярость, убегает куда глаза глядят, а мы и не догадываемся, почему все это, что с ним творится. А его, может, кто-то обидел, может, мама его замуж во второй или в третий раз выходит, а он страдает от этого, ревнует, в этом возрасте детская ревность опасна, она способна на все...

«А ведь я его, как доведет, тоже пугаю, что замуж выйду, уеду куда-нибудь», — с раскаяньем подумала Оксана и опять с надеждой и почтением смотрела на Антона Герасимовича: этот человек, казалось ей, может дать относительно сына настоящий совет. Наверное, он насквозь видит своих подопечных, читает, как раскрытую книгу, их детские правонарушительские души. С виду простой, даже грубоватый, не сразу угадаешь в нем вон какого ученого человека! По ее мнению, он мог бы быть и доктором наук. Не зря же и книга перед ним такая серьезная, в коже... Нисколько сейчас не жалела Оксана, что отдала любимого сына на воспитание этим опытным, терпеливым и требовательным людям.

— У вас, наверное, тоже дети есть? — спросила.

— У меня и внуки, — улыбнулся с гордостью Тритузный. — Уже трижды дед... Так, знаете, быстро все промелькнуло. Жизнь, она ведь не стоит на одной ноге, мчится и мчится вперед, как поезд пассажирский: одних высадит, других наберет, и дальше, дальше... Мало кто и заметит, кого оставили на этом полустанке, а кто новый сел... Еще словно вчера был молодым, за девчатами приударивал... Хоть и бедные были, а все же веселые, певучие, выходим, бывало, вечером в плавни, на лодках

катаемся, купальские костры разводим... До поздней ночи песни да гомон... А теперь уже и плавней тех нет, и русалок всех речные ракеты распугали, не качаются на вербах по ночам...

Говорил это Антон Герасимович с настроением, почему-то ему хотелось предстать в глазах посетительницы человеком, которому не чужда поэтичность души и думы которого простираются далеко за эти каменные стены.

— А я же ваши плавни сама корчевала,— грустно улыбнулась женщина.— Может, именно те, где ваша молодость с песнями ходила при луне...

Антон Герасимович задумчиво смотрел на телефонный аппарат.

— Есть люди,— сказал он наконец,— которые мало чем интересуются, я их мелкодухами, а то и совсем пустодухами назвал бы. Одним днем живет, как та утка: ряски нахватала, зоб набила и довольна собой... Встречаются такие и среди нас: сытый, пол-литра на столе, а в углу телевизор с футболом, можно весь вечер сидьмя сидеть к нему прикованным. Тупеет и сам того не замечает... Вот мы бы не хотели, чтобы наши питомцы такими вырастали. Человеку мало утиного счастья!

Голос Тритузного звучал громко, приподнято, таким и застала начальника режима Марыся Павловна, внезапно влетев в проходную, чем-то возбужденная, взволнованная, опаленная солнцем полевым. Где-то была, куда-то ездила, одета празднично, в мини-юбочке, хотя такая вольность и противоречит школьным правилам... Она, видно, вся там, на своей «Бригантине», которой сейчас только и живет. Приветливо перекинулась с посетительницей словом, Порфира, мол, вы теперь не узнаете, и после этого сразу к Антону Герасимовичу со своей радостью:

— На аэродроме была! Ездила с Ганной Остаповной сына ее встречать!.. А самолет задержался: в Прибалтике гроза не выпускала...

Угольки глаз ее искрились, блестели, и голос звучал необычно, как бывает тогда, когда человека переполняет чувство затаенной радости, чувство большое, неудержимое...

«Не свое ли счастье встречала? — с грустью смотрела на нее Оксана, которая в присутствии учительницы сразу как бы пригасла, как бы слиняла перед ее яркой молодостью.— Что-то случилось, это же видно по ней, хотя она, может, и сама еще не разгадала своего чувства... А оно есть, от него и красива... Почему любовь всегда красива? Почему злоба всегда уродлива?»

Марыся, решительно отодвинув телефон, присела на край стола и оживленно стала болтать с Антоном Герасимовичем. Яська, сына Ганны Остаповны (Ясько — имя какое чудесное!), она уже пригласила выступить у костра на открытии летнего лагеря, пусть о той своей конвенции расскажет, о штормах

и айсбергах, такое юным бригадинцам только подавай, они будут в восторге!.. Впечатлениями пусть поделится, он ведь бывал в портах многих стран!.. Возбужденно звенел, переливался щебет молодого счастья, а посетительница, опустив голову, сидела притихшая с букетом васильков, и если бы Марыся могла читать ее мысли, наверное, прочитала бы: «Из всех стран самая прекрасная страна — Юность... Но кто отплыл от ее солнечных берегов, тому назад нет возврата. Нет таких кораблей, нет таких бригадин, чтобы туда повернули... Разве что песня иногда занесет человека в тот край на своих нестареющих крыльях...»

С грустной улыбкой протянула васильки Марысе:

— Это вам... За то, что заботитесь о моем сорванце... Может, он уже культурнее стал? Расскажите, какой он сейчас? — допытывалась мать с надеждой.

Марысе, видимо, не легко было на это ответить. В последнее время разным видела она хлопца: и весело-озорным, готовым глаза выколоть, и до слепоты озлобленным, грубым, а сейчас чаще всего видит... задумчивым. Иногда ее даже тревога берет: о чем он? Почему лоб хмурит? Просто посерьезнел? Ведь у него как раз тот период, когда ребенок начинает обобщать явления, старается улавливать какие-то прежде недоступные ему закономерности жизни... А может, есть и другие причины этой его задумчивости... Некоторые из учителей считают, что в этом кризисном переходном возрасте нельзя давать им задумываться, поскольку мысль подростка непременно, мол, шугает в сторону, в пороки, в грехи!.. Ведь такое их почему-то особенно привлекает, вызывает нездоровое любопытство... Правда, теперь мальчик немного притих, от мысли о побеге, кажется, отказался, смирился с судьбой. Воспитательницу такое смирение даже беспокоит: не надломилось ли в нем что-то, не перестарались ли в дружном педагогическом натиске на детскую его волю и психику, не стал ли притупляться в нем инстинкт свободы или — как там его назвать? О своих сомнениях Марыся, однако, не стала распространяться перед матерью, напротив, успокаивала ее: Порфир выравнивается, особенно по труду, тут он прямо виртуоз!

— Впрочем, трудовые навыки для нас это еще не все, — говорит Марыся Павловна. — Наша цель, чтобы сын ваш возвратился к вам внутренне обновленным человеком, чтобы не глухим был к матери, не бессердечным... Мы верим, что он за все оценит вас, проникнется, а может, и уже проникся, чувством сыновней преданности, чувством гордости за маму... А будут чувства эти глубокими, явится и желание честно жить, пробудится и способность идти на подвиг...

— Гляжу я на вас и думаю: такая вы молодая — и согласились пойти на чужих детей... отважились взять на себя такие хлопоты с ними...

— А они мне уже не чужие, — улыбнулась Марыся. — Тут волей-неволей породнишься... Теперь уж могу признаться: не раз и Порфир меня до слез доводил, думалось даже подчас: «Брошу школу, ну вас к лешему всех! В глаза целитесь, под партами лазаете, не хотите учиться...» А все-таки втянулась... Наверное, выработался иммунитет, — добавила с иронией.

Еще и еще могла бы рассказывать, как горько было, когда он тебя оскорбляет, геройствует перед тобой, то измывается, то игнорирует, а ты должна все терпеть, сдерживать себя до последнего, ибо за всем этим улавливаешь душевную его неустроенность, ищешь способ унять его скрытую боль... Уже и ночью стоишь над его кроватью, слушаешь дыхание беспокойное, бормотанье, стон, и сердце твое разрывается от неведения и неумения помочь... Вот тогда-то, кажется, и ощутила впервые в себе не просто выпускницу пединститута, которая пришла исследовать самых трудных, наблюдать, каким вырастает человек в режиме полусвободы, лучшим или худшим становится (нечто подобное бродило в голове, когда ехала сюда), — нет, именно тогда, вот среди этих дерзаний и нервотрепок, пришло к тебе ощущение собственной силы, уверенности, пришло педагогическое прозрение, и ты и впрямь почувствовала в себе нечто, называемое призванием, заметила в себе не службистку казенную, а учительницу будущих граждан, воспитательницу с сердцем, с душой, со страстью, с темпераментом...

Сидя на уголке стола, Марыся ловила на себе взгляды посетительницы и сама внимательно посматривала на нее, снова возникло желание глубже проникнуть в душу этой женщины, которая знала свободную любовь и сейчас, может, расплачивается за нее... Но ведь знала, знала! По собственной воле пошла! Этим она более всего интересовала Марысю. «Она смело пошла за своим чувством, дала свободно проявиться силе страсти, а ты? Смогла бы вот так? Хватило бы духу?»

Чтобы доставить приятное Порфириной матери, сказала ей:

— Мы и вас пригласим на костер, в гости к нашим бригадинцам!..

— Меня-то за что? За какие айсберги?

— Благодаря вам станет одной пустыней меньше на планете! Самое природу делаете совершеннее, вносите в нее разум и душу, а вы спрашиваете, за что... Растет там, где не росло, родит там, где не родило, — разве ж это не достойно восхищения?

Время приближалось к обеду, ребята вот-вот должны были возвратиться со сбора черешни. Антон Герасимович, взглянув на часы, сообщил об этом.

Мать в нервном напряжении стала прислушиваться, не подъезжает ли школьный автобус к воротам. Временами невольная улыбка освещала ее лицо радостно и тревожно, представлялось, видно, матери, как выскочит из автобуса ее ненаглядный ти-

ранчик, лобастый, загорелый на том черешневом солнце,— интересно, какую мину он скорчит от неожиданности, когда увидит у проходной рядом с учительницей и свою мамусю, такую принаряженную ради этого посещения? Может, не постесняется хлопцев, бросится к ней и, как маленький, прильнет, обовьет теплыми ручонками шею. А что может быть дороже этой его безмолвной ласки, в которой будет и раскаянье о прошлом, и надежда на будущее, и бурная до беспамятства радость встречи с нею тут, у ворот... Все это мать ощутит до малейшего движения, на все ответит родному ребенку нежностью и своим материнским прощением!

Зазвонил телефон, и Тритузный сразу вытянулся в струнку у аппарата, самой своей выправкой давая понять учительнице и госте, что он сейчас здесь на посту, что и по возрасту, и по службе он старший среди них.

— Кто? Кто? — строго переспрашивал он в трубку.— А вы где были, ротозей? Вот так новость... Вот так порадовали своими черешнями!

Лицо начальника режима побагровело, жесткий ус его сердито ошетинился, и уже был Тритузный как ночь, когда обернулся к Марысе Павловне:

— Слышали? Из сада!.. Побег!.. Групповой! И среди заводил Кульбака ваш,— глянул он на посетительницу так, будто в этом прежде всего виновата была она.

XXVII

Много их разбежалось, даже неловко было цифру показывать в сводке, все же к вечеру первые беглецы стали возвращаться, потом и другие появились кто откуда... Не было троих: Бугор не вернулся, Кульбака и Гена Буткевич. Их кровати и после отбоя остались нетронутыми.

— Мой промах! Мой! — оправдывался в тот день перед Ганной Остаповной Тритузный.— Дернуло же меня послать с ними того олуха. А он, оказывается, из тех, что только и умеют конфликтовать, озлоблять против нас... Духу его теперь не будет в нашем заведении!

Антон Герасимович, глубоко переживая этот свой недосмотр, готов был даже подать в отставку, но Ганна Остаповна отговорила, оставив вопрос открытым до возвращения директора.

Как водится, был объявлен розыск, сообщили куда следует, назвали приметы беглецов. Но результатов это никаких пока не дало. Исчезли маленькие пираты, испарились...

И все же не скажешь, что так уж бесследно они пропали: хотя информация, поступающая в школу, и не считалась очень

точной, однако по некоторым признакам можно было заключить, что беглецов не унесло куда-то на окраину вселенной, что кто-то, похожий на них, бродит поблизости, исподтишка высматривает, выслеживает оттуда все, как выслеживают, пусть пока еще в воображении фантастов, внеземные загадочные наблюдатели жизнь нашей планеты. Присутствие сбежавших смутно ощущалось. Говорят, их видели и в окрестных виноградниках, и в степи, хотя слухи о них порой были порождены лишь воображением. Марысе, скажем, чудилось, будто по ночам за верандой что-то шелестит в кустах, и она вскакивала, тихонько выходила на улицу, потому что была уверена: это бродит в темноте ее маленький рыцарь, измученный угрызениями совести. Но в кустах прошелестит и стихнет. А еще белозерские рыбаки уверяли, будто видели неких патлатых у себя в плавнях,— это, конечно, беглецы из стриженных уже превратились в заросших настолько, что, удирая от рыбаков, цеплялись патлами за вербные ветви. И заезжий археолог обронил полшутя, что кто-то неизвестный ночью ходил вокруг их палаток, наверное привлеченный скифским золотом, которое археологи, конечно же, лопатами гребут и под головы себе в палатках складывают.

Более того, уборщица из виноградарского совхоза, присматривающая за квартирой директора, пока хозяин в командировке (а жена вместе с ним), клялась, что однажды вечером в директорской квартире кто-то смотрел телевизор, не иначе — новоявленный домовой! (Наверное, теперь и домовые без телевизора не могут.) Ничего не взято, а стулья переставлены, и телевизор включен, плюшевые портьеры предусмотрительно опущены, чтобы с улицы не видно было... Так кто же это мог столь таинственно развлекаться у голубого экрана?

И может, недалеко были от истины авторы этих слухов, ведь находили же в лесополосах нечто вроде шалашей, где кто-то ночевал, и следы мальчишечьих ног замечали на разрыхленной земле виноградников...

Как та красная планета Марс, которая то приближается к нам во время противостояния, то удаляется снова куда-то на окраины Солнечной системы, так и ангелочков наших некие силы будто притягивали чуть ли не к самой оgrade спецшколы, то снова их отбрасывало прочь, несло, как перекасти-поле, куда-то в степи. А ночью в степях, и вправду, как во вселенной, всюду движущиеся огоньки: началась жатва! В эту пору степь и ночами не спит, живет, трудится, словно бы переговариваясь своими бесчисленными огоньками... Вот они то встречаются, то расходятся, плывут где быстро, где медленно, двигаясь во всех направлениях с разной скоростью: быстро — это на близких полях, а если медленно, то это комбайны ходят где-то далеко, далеко...

Подобно тому как ходят звезды и планеты во Вселенной, с такой же величавой размеренностью здесь прокладывают свои орбиты трудовые огни незасыпающей ночной степи, вся темень расчерчена их движением.

Степь и ночью пахнет зерном, свежей соломой, поднятой пылью пахнет, хотя ее и не видно в темноте; переночевать теперь можешь где угодно, зарывшись головой в кучегуру только что сброшенной комбайном соломы, еще теплой, еще полной дневного солнечного духу.

Утром, когда ангелочки просыпаются, они похожи скорее на чертенят: неумытые, замурзанные, у каждого солома в волосах. Только глаза продрал, должен думать уже о каком-то промысле: под ложечкой сосет, а кухни тут для тебя нет, одною же свободой не проживешь, как она ни сладка...

Все дальше уносило наших ангелочков в объятия воли, в мир неведомых еще испытаний, риска, превратностей судьбы.

Однажды по ним даже стреляли, когда они ночью кружили вокруг полевого стана, обсаженного тополями. Сторож стрелял с намерением, видимо, попугать — не могло же быть, чтобы всерьез он хотел подстрелить кого-нибудь из них, как зайца, — кому же охота, говорил Гена, мучиться потом всю жизнь, чувствуя себя убийцей.

А в общем-то, на полевых станах им как раз и улыбалось счастье в образе щедрых и сердобольных тетушек-кухарок. Достаточно было только рассказать душещипательную легенду о том, как ехали они со своим ремесленным училищем на экскурсию и ненароком отстали, отбились от своих без копейки в кармане... Достаточно было эту Порфинову музыку передать почти в плаксивом исполнении Бугра, как перед ними появлялась миска горячего борща и хлеб белый, как солнце, нарезанный большими ломтями, и можно было вволю трапезничать, пока придут на полевую кухню те, о ком сказано лозунгом на арке полевого стана: «Слава рукам, пахнущим хлебом!..» Но хоть комбайнеры люди, конечно, славные, однако встреч с ними скитальцы все же избегали, особенно после того, как один из механизаторов, заподозрив неладное, учинил хлопцам допрос и даже попробовал задержать. Пришлось улепетывать изо всех сил...

Вот так и живется им, как птицам небесным: там поклюют, там перехватят и дальше — в світи-галасвіти... А однажды решили они культурно поразвлечься, воспользовавшись тем, что у директора винсовхоза без дела стоит, покрывается пылью в квартире телевизор «Электрон». С директором у Порфира были нормальные дипломатические отношения, хлопец даже помогал ему устанавливать в свое время телевизионную антенну, потому и не видел Порфир особенного греха в том, что они, набегавшись, немного отведут душу перед экраном, ведь хозяев нету и но-

вехонький телевизор все равно гуляет без работы. Только предупредил Бугра, чтобы в квартире ничего не трогать. Бугор обещал, потом, однако, не удержался, прихватил кухонный нож и, когда они уже покидали дом, нагнулся с ножом у веранды, зачем-то шаря рукой между листьями.

— Ты что там ищешь? — спросил Порфир тревожным шепотом.

— Да нужно ему виноград подрезать!

— Зачем?

— А чтоб усох!

Перед этим он рассказывал хлопцам, как, будучи в городе, не раз проделывал такое: финкой лозу у корня чик — и уже она повисла, будто перерезанный телефонный кабель... И пусть потом на верхних балконах ждут, когда виноград до них дотянется... Вот такое он собирался проделать и тут! Но разве мог Порфир допустить это? А вот как остановить... Нож ведь у Бугра не отнимешь силой, нужна хитрость.

— Дай лучше я подрежу!

И когда нож очутился в его руке, Кульбака с размаху швырнул его в темноту, ищи теперь!

В ту ночь они крепко поссорились, чуть до драки не дошло, насилиу Гена их помирил.

Снова уходили в степь. Брели куда глаза глядят, пока не напугала их неожиданно вынырнувшая из тьмы скифская баба, что маячила на невысоком, за долгие века дождями размытом кургане. Сначала напугала, а потом приют им дала: расположились возле нее биваком на ночевку. Нельзя было разглядеть в темноте загадочную улыбку древней скифянки или половчанки, ночь скрадывала химерные узоры на каменном ее одеянии. Все же вроде под защитой каменной старухи лежали хлопцы в душистой теплой траве, ощущая, как исходит на них от камня, еще не совсем остывшего, тепло отлетевшего дня. Устроившись поудобней, смотрели, как играют в небе звезды, наверное, к жаре, к суховеям.

— Почему-то папа долго не отзывается, — с грустью в голосе заговорил Гена. — А может, он в школу подал какой-нибудь знак?.. Что, если приедет, а меня нет?..

— Не скули, — оборвал его Бугор.

А Порфир, который чаще других видит товарища удрученным и, как никто, понимает причину его грусти, нашел и сейчас для Гены слово поддержки: может, срочным делом занят его отец... Может, по экстренному заданию проектирует павильон для всемирной выставки, он ведь мечтал об этом...

Звездно, тихо, просторно. Среди ласковой этой природы душа Порфира наконец чувствует себя на месте. Лежишь в бескрайней степи, свободный и независимый, слушаешь трескучую музыку кузнечиков в траве — всю ночь не утихнут эти

одержимые травяные оркестранты. А там уже, гляди, и зорька заалет на востоке... Первым вскакивает Порфир, душа его не хочет проспать эти зорьки, эти росные голубые рассветы, потому что, как мама говорит, «ранние пташки росу пьют». Порфиру очень хочется подглядеть, как пьют росу жаворонки, как своими маленькими клювиками испивают они по росинке с каждого листочка. А роса, она ведь чище всего на свете, только слеза людская еще такая чистая! Говорят, в росе есть даже пенициллин, верно, поэтому дедусь во время болезни ею глаза утром промывал.

Представляется Порфиру, как и зорьки в это время, просыпаясь в камышанских плавнях, испивают обильную росу с камыша да с широколистого папоротника. На днепровских островах — там роса точно вода, просто купаешься в ней, как в тот вечер, когда научная станция устроила было на острове свое гулянье в День Победы, и веселились допоздна, и мама с росинками на ресницах пела при луне свою любимую «Ой, черная си черная...». Когда пела, совсем преобразилась, выглядела совсем молодой, кажется, и о Порфире забыла, жила где-то в иных, в девичьих своих небесах. Очень красивая тогда была, красивее, чем когда-либо. Только жаль, что о нем забыла. Никто из присутствующих о Порфире тоже не вспомнил, не позвал, не спросил, ужинал ли он или одной ряской подкреплялся, как тот утенок, что целый день бултыхается в воде, всеми забытый, никому не нужный. Ревностью мучился в тот вечер, из камышовой засады выглядывал, следил, как мамуся, полная вечерней красоты, хмельная и возбужденно веселая, катается с поклонниками на лодке, и смех ее слышен, и далеко над водами разносится неизвестно к кому обращенная певучая грусть... «Ой, черная си черная...» Она черная, а Порфир вишь русый... Где же тот, в кого он удался? Сойдутся ли когда-нибудь их дороги? Поставит ли жизнь их глаза в глаза: это вот Порфир, уже юноша в морской бескозырке с лентами, развевающимися на ветру, а это тот, неведомый батько его, почти нереальный, нафантазированный, будто снежный человек...

Как всегда при таких мыслях, отзываются в нем все его душевные раны, становится хлопцу жаль самого себя, хочется кому-то вылить свою обиду, но знает, что не выльет, затаит в себе, потому что не дозволится тех, кого хотел бы дозваться, равнодушен этот звездный бездонный мир.

— Расскажи, Гена, еще про снежного человека.

Так лежат они, странники, и звезды мерцают над ними по всему небу, огромному, как океан, и начинает Гена сказание о некоем рыцаре, что пролежал, погребенный в снегах Гималаев, тысячу, а то и больше лет, в неподвижном состоянии пробыл в вечных снегах, а теперь, в двадцатом веке, в связи с потеплением, оттаял, ожил, и будто идет по планете, как Уленшпигель,

через миры и страны, шагает, вглядываясь изумленно в теперешнюю жизнь. Внешне он совсем как современный человек, но только все его удивляет, ведь все он видит впервые: и комбайны, и самолеты, и светофоры в городах, потому что, когда он погружался в спячку, ничего этого еще на свете не было, и товарищами ему были люди иные, те, что ходили отсюда походами на персов, что целые лавровые рощи несли на своих копьях. Тот долгие века проспал замороженный среди ледников, а иных, может, ровесников его теперь выкапывают археологи. Гена предлагает и хлопцам пристать к любой партии археологов, которые всюду сейчас роются в степях, для вспомогательных работ они якобы набирают даже подростков, вот было бы интересно!..

— Лопатой весь день? — лениво отзывается Бугор. — От работы кони дохнут.

Он считает, что куда лучше будет, скажем, отправиться в Бахчисарай, там у него старший брат здорово устроился, рубит мясо на шашлыки да чебуреки. А чебуреки делают там на редкость — с лапоть величиной!

Странный гул возникает в степи, хлопцы настораживаются, и вот из тьмы вылетает огненный дракон с длиннющим хвостом, быстро растет, перемещаясь в пространстве.

— Экспресс!

Ребята вскакивают, вглядываясь в то чудовище далекое, мимо летящее, что слепящим огнем да железным лязгом пронзает степь, разрушает этот тихий, звездный, кузнечиковый мир.

— Ах, змеюка...

Ночные экспрессы особенно ненавистны Бугру, просто терпеть их не может, все ведь курортников к морю везут да разных раскормленных маменькиных сыночков, которые хоть ростом уже выше матерей, а их все в коротеньких штанишках за ручку водят, тортами да мороженым пичкают...

— Айда окна в экспрессе бить!

Бугор не понимал, почему хлопцы не бросились за ним, не поддержали его воинственность, он, пылая злобой, жаждал нападения, ему бы только бить, крушить, ему бы прямо отсюда кинуться наперерез тому экспрессу, что пролетает с ярко освещенными окнами, несется как воплощение чьего-то благополучия, комфорта. Занавесочки там у них на окнах; схватить бы камень с насыпи, да вот вам по вашим занавесочкам, по стеклу, чтобы каждое — вдребезги! Его охватывает дикий экстаз разрушения, в бешенстве мечется он в темноте, лихорадочно ищет комья, с бранью швыряет и швыряет что-то по тем недостижимым окнам, и, наверное, ему слышится, как звенит разбитое стекло, потому что он прямо сатанеет, вздохнув выкрикивая:

— Нате вам! Вот вам! Вот вашим занавесочкам!

Когда не стало летучего огненного дракона, когда исчез он железным грохотом в темноте, только тогда Бугор в какой-то мрачной усладе опустился возле хлопцев, измученный, запылавшийся, будто после настоящего боя с экспрессом. Нашел сигарету, стал закуривать, спички, едва вспыхнув, обламывались одна за другой, видно было, как дрожат у него руки, Порфир даже не удержался от замечания:

— Руки трясутся, словно кур воровал.

— Заткнись.

Закурив наконец, Бугор бросил спичку, не загасив, пришлось Кульбаке сделать это за него: с огнем в степи шутки плохи! Когда-то Порфир видел, как летом хлеба горели... Ничего нет страшнее степного пожара, когда люди вынуждены бросаться в пламя, в тучи горячего дыма, когда отовсюду бегут с ведрами, со шлангами и, путаясь в густых пшеницах, падают, задыхаются, а потом кого-то подбирают, обгорелого до неузнаваемости, отправляют в больницу... Однажды летом и дядько Иван получил ожоги на таком вот пожаре, вызванном всего лишь искрой от комбайна.

Тяжелой для хлопцев была эта ночь. То один, то другой вскакивал, вглядывался в темень: чудилось им, будто подкрадывается кто-то из степи. Бугор даже вздрагивал во сне, и во сне, видно, не утихало бессмысленное его сражение с ночными экспрессами, что, до ужаса увеличенные сном и воображением, вырастали неудержимо в бесконечную вереницу освещенных грохочущих вагонов, каких-то уже словно бы абстрактных поездов,— вот они без никого идут и идут, пересекая степь, опоясывая планету.

А рассветная пора, то время, когда над степью разливается свет зари и ранние птички росу пьют,— эта пора застала их возле трассы, где было сухо, бетонно, безросно. На трассе пока что никакого движения, однако хлопцы держались настороже, не забывали, что они беглецы, что за ними в любую минуту может нагрянуть погоня. Накануне из лесополосы видели, как пронесся невдалеке мотоцикл, может, то рыскал по степи их добрый знакомый Степашко, неутомимый ловец меченых детских душ.

А однажды показался на полевом грейдере и запыленный школьный автобусик, тоже, наверное, разыскивал хлопцев; над ним можно было только посмеяться, чувствуя себя в безопасности, выглядывая из подсолнуховых джунглей, на которые тяжело оседала туча поднятой автобусом пыли.

— Наилучшая пыль — это та, что поднимается из-под колес отъезжающего начальства,— пошутил тогда Кульбака.

А сегодня вот перед ними трасса с безымянной степной остановкой. Вроде волной их прибило сюда. Вокруг никого, только огромные поля клещевины в одну сторону, а в дру-

гую — песчаные кучегуры с чубами и без чубов, может, как раз те, которые мама оставила Порфиру, чтобы и ему было где потрудиться. А среди этого безлюдья — магистраль, днем она так и кипит расплавленным от солнца асфальтом, а сейчас еще по-утреннему прохладная после ночи. Беленькая будочка стоит у самой трассы, неведомо кем побеленная, еще и цветами разрисованная, кто-то поставил ее, позаботился, чтобы было где укрыться путнику от дождя или от степной жары. Прилепились и они, ангелочки, к этой остановке, ждут, высматривают автобус. Им, собственно, все равно, куда ехать: в ту сторону или в противоположную. Колес бы им только, скорости, рейса хоть какого-нибудь! Не сами решают, все за них автобус решит: какой первым придет, на том и отправятся, в ту сторону и зашумят. Привычны уже к такому бесцельному катанию. Забьются в автобус, где теснота и духотища, где репродуктор прямо разрывается и тетки сидят над своими корзинами, каждая невозмутима, как Будда, и дядьки-чабаны в пиджаках, несмотря на жару.

Девушки-старшеклассницы пересмеиваются, морщатся, корзина большущая отдавливает им ноги, «тетенька, подвиньте», — не слышит тетушка, дремлет... Проедут вот так, от остановки до остановки, и как сели в степи, так и выйдут в степи, только иногда Бугор с кривой усмешкой вынимает из-за пазухи какую-нибудь добычу, сала кусок или еще что, хлопцы даже и не заметили, когда оно к нему из корзины за пазуху перекочевало.

Сейчас Бугор слоняется возле будки сердитый: курево кончилось, потому и не в духе. Кульбаке и Гене тоже не до веселья, усталые после беспокойной ночи, сидят у края дороги понуро. Порфир, глядя на грядку бархоток и стройных мальв возле будки, пытается разгадать: кто же их посеял? Ни села, ни хутора поблизости, а будочка стоит, заботливо кем-то ухоженная, и бархотки уже раскрываются бутонами, и мальвы, желтые и розовые, выпустили цветы между шершавых листьев. Должны бы они в росе быть в такое утро, но нет сегодня росы, негде напиться ни пташкам полевым, ни этим заблудшим ангелочкам, у которых во рту после ночи попересыхало... Но кто же все-таки посеял эти неприхотливые цветы, что и зноя не боятся, не сами же они высеялись в степи? Какая-то добрая душа это сделала проезжим людям на радость, и при этом возникает перед Порфиром мамин образ: вот она из таких, что не за плату, не по заданию, а просто так, от души, могла бы посеять, чтобы красота явилась чьим-то очам и порадовала людей, пусть даже и незнакомых...

Бугор, заметив, на чем сосредоточилось внимание Порфира, лениво подошел к цветнику.

— Какая тут для меня растет?

И стал неторопливо скручивать головку высокой, облепленной цветками мальве.

— Не тронь! — вскочил Кульбака.

Бугор, даже не оглянувшись, продолжал с издевательской ухмылкой мучить стебель, крутить его.

— Не трогай, гадина! — закричал Кульбака. — Ты его сажал?

А тот, еще больше раззадоренный наскоком Кульбаки и нагло ему, дал себе волю: шагнув на клумбу, он, кривляясь, пустился танцевать на ней, бархотки так и трещали под его разбитыми башмаками.

— Лап-тап-туба!..

В бешенстве Порфир кинулся на Бугра, стараясь головой, плечом, всем телом сбить, столкнуть его с клумбы. Гена, преодолев вечную свою нерешительность, подскочил на подмогу, пытаясь хоть за руку укусить хулигана, и именно ему первому и досталось от Бугра, от его железного кулака: ударил так, что кровь брызнула из носа.

И все же Кульбака в этот момент, изловчившись, успел повиснуть на Бугре сзади, перегнул его, повалил, и потом уже вместе с Геной они надели, навалились на своего недавнего кумира, стали люто тыкать его мордой в землю — если росы не напился, так земли наешься!

Вырвавшись, Бугор с грязной бранью отскочил к будке, все лицо его было в земле.

— Была бы при мне финка... — процедил, утираясь ладонью. — Ну да у нас еще будет встреча под оливами...

Это, собственно, и было их разрывом. Когда подошел автобус, Бугор сразу прыгнул на подножку, дверь за ним тут же закрылась автоматически, помчался бесплатный пассажир меж корзинами в том направлении, где чебуреки как лапти.

Гена утер с лица кровь, улыбнулся Порфиру:

— Ох и дали ж мы ему... То все он ездил на нас, а теперь вот мы на нем покатались...

— Тварь! Он еще угрожает... Да ты мне в чистом поле лучше не попадайся!

Веселые были, чувствовали себя героями — расквитались наконец с давним своим тираном. Получил свое: и за издевки, и за грубости, и за то, что на черешнях плутовал, свернув все на Порфира... Подсознательно, пожалуй, входило в расплату и то, что подбил их на этот побег, принесший им уже немало горечи... Отряхивались, искали оторванные во время баталии пуговицы, что куда-то поразлетались; комичные моменты боя еще веселили их дух; забыли хлопцы и про опасность, а она ведь не исчезла! Как образ ее, вдруг выскользнул откуда-то из-за кучегур мотоцикл, и замелькала над полем клещевины грозная инспекторская фуражка. Так и сдунуло хлопцев с трассы, что

было мочи бросились наутек, очертя голову неслись куда-то; мигом уменьшившись до размера воробьев! Стали еще даже меньше, стали как те травяные оркестранты, которые, только ступишь, так и брызнут из-под ног во все стороны, чтобы бесследно раствориться в траве...

XXVIII

Есть на лимане человек, такой бесстрашный, — множество раз его убивали, топили, а он снова и снова возвращался к жизни.

Осень, ночь, тьма-тьмущая, а он с товарищами, а то и один в лодке смело идет на браконьеров. Знает, куда идти, и ночи не боится, прямо в нее светит фонариком.

— Не свети, не то как засветим...

Пренебрегая угрозой, дает луч, и тогда в ответ — вспышка, толчок! То выстрел по нему из дробовика. Хорошо, что он в ватнике, дробь застряла в нем. Не теряется и после выстрела, бросается к их лодке, а они бьют его веслом по рукам (руки навсегда останутся у него со следами этих ударов).

А то еще швыряют ему огонь в лодку, чтобы спалить.

Иной раз налетает он среди ночи на таких, что уже успели побывать там, где козам «рога правят». Отбудет свое такой тип и, вернувшись, устраивается на работу для отвода глаз, на самом же деле ночной жизнью живет, в гирле каждую ночь промышляет, несмотря на запреты.

Мотор на лодку ставит таких сил, что инспектор его не догонит, разве только в сердцах выстрелит ему вслед или ракету пошлет... А порой средь бела дня, когда догоняешь его, он сети вместе с рыбой да с камнем, загодя приготовленным, у тебя на глазах выбрасывает за борт да еще издевается: «Возьми теперь меня!» Знает, что, когда рыбы нет, следовательно без прямых улик дела не заведет... И какая тяга в них к этому браконьерскому занятию! На риск идет, о каре забывает, даже из тюрьмы вернется — и опять за свое. Норовит устроиться где-нибудь поближе к воде, вместо реквизированной ранее лодки у него уже дюралька появилась, самодеров надедает — однорогих, двурогих, трехрогих, и как ночь, так и на рыба. А то еще острог-сандлю прихватит, ею, как вилами, бьет. Рыбохваты ненасытные, нет пределов их аппетитам. Во время нереста солят рыбы целые бочки, полные чердаки ее навяливают, чтобы потом из-под полы — на базар.

Вот на банду таких рыбохватов и налетел лиманский смельчак в осеннюю ночь. Готовились, видно, злодуюги к встрече с ним, потому что не убегали и передний держал в рукаве заранее приготовленную трубку, налитую свинцом. Ах, это ты, гроза

лимана, тот бесстрашный Кульбака Иван, тот коммунист, которому больше всех надо, — а ну подходи, подходи!..

По голове норовили попасть в темноте тем железом, свинцом налитым, чтобы череп ему проломить. Сбить в воду старались, а он, окровавленный, все держался в челне, кричал переднему, самому лютому:

— Я вижу тебя, я тебя узнал!

— Так не увидишь больше!

И старался бить так, чтобы глаза выбить, зрительный нерв пересечь, навеки ослепить.

Наконец сбили, сбросили в воду. Нет его, не будет больше, аминь ему, пошел на дно раков кормить! А он — хоть и на костылях, и в шрамах, хоть с пальцами, изувеченными браконьерским веслом — появляется потом на суде, чтобы дать показания, чтобы бросить им в глаза свое инспекторское:

— Тебя я узнал и тебя! На дно, думали, пошел, а я все же есть, люди меня из воды вытащили... Не дали погибнуть, чтобы и впредь я вам, гадам-браконьерам, спуску не давал!

Красавец, смуглый, чернобровый, как и сестра его Оксана, с ослепительной улыбкой, освещающей все вокруг, а черные глаза весело искрятся — такой этот лиманец, старший мамин брат, что для Порфира вблизи и издалека живет как тайный его идеал. Потому что не просто мужественный и храбрый (в охранители голубых полей только и отбирают людей мужественных), а еще и справедливый, еще и общительный, в какой компании ни появится, с первой же минуты вызывает к себе симпатию.

Когда приезжает к своей сестре в родное село в гости, в хате становится тесно от его друзей, усаживаются на дворе под абрикосом, и, когда в чарки виноградное наливо, дядько Иван подает веселую команду:

— Огонь!

И потом с улыбкой добавит:

— По браконьерам огонь...

А сейчас он сидит с хлопцами в порту и весело наблюдает, как они булки грызут всухомятку. По глазам узнал, что голодны оба, и прежде всего дал им по булке, которых у него полная авоська, и даже извинился шутливо, что в ресторан не поведет: некогда, мол, да и повода подходящего не видит.

С немалыми трудностями добрались хлопцы в порт. После драки с Бугром и позорного бегства от случайного автоинспектора они несколько часов проблуждали, как дикари, в кучегурах бесчубых, которые предназначала мама Порфиру под будущие его виноградники. Потом в Гилеях были, где из освоенных песков выметнули в небо мачтовые акации (есть и такая порода), прикрыв своими роскошными ветвями ульи совхозных пасек и шалаши пасечников угрюмых, что вовсе не спешили угощать

беглецов медом, так как он, мол, еще молодой, еще он как вода... А один и совсем грубо сказал:

— Своих трутней хватает...

Порфиру все время хотелось увидеть маму и, кажется, однажды увидел ее, когда она садилась в автобус, — станция ежедневно высылает свой транспорт забирать с виноградников работниц. Пожалуй, то была она, но и к ней, самому родному на свете человеку, сын не посмел явиться, не решился позвать маму, так и остался лежать в отдалении, изнывая в тальнике от нестерпимой предвечерней жары. А как иначе он мог поступить, бродяга, беглец несчастный, который сейчас только и может быть для матери стыдом и позором!

С последним речным трамваем степные «зайцы» счастливо добрались до порта, хотя в самом порту чуть было не попали в руки дружинникам. В портовом скверике, в кустах тамариска, провели ночь, аж угорели от аромата этого душистого кустарника и терпкого запаха каучука, который целую ночь внизу выгружали из судна.

Утром видели, как покидает порт их греза, их бригантина недостижимая, — учебный парусник, который каждое лето уходит в многомесячное плавание с морскими курсантами. И как раз когда они, зачарованные, смотрели на тот отдаляющийся парусник, ажурно-легкий и высокий, кто-то, подойдя к ним вплотную, ласково положил Порфиру узловатую руку на плечо. Обернувшись, камышанец увидел над собой круглое лицо дяди Ивана, его глаза, полные черного искрящегося смеха. Топленный — да не утопленный, убиваемый — да не убитый... Стоит с авоськой в руке, смеется:

— Далеко ли собрались, мореходы?

Сидят теперь с ним на лавке среди разомлевших тамарисков и уплетают булки за обе щеки.

Дядя Иван рассказывает, что семья его сейчас на лимане, там, где находится инспекторский пост. Жена кухарничает, а маленькая Наталочка помогает матери, а иногда и отцу, потому что зрение у нее острое: окинув взглядом акваторию, сразу различит, где честные рыбаки, а где нарушитель... Что же касается хлопцев, то дядя Иван не стал им в души влезать, не допытывался, откуда да как тут очутились, это его словно бы и не занимает. Но если бы спросил, то Порфир вряд ли смог бы ему соврать, чувствует, что не смог бы угощать его выдумками, как это проделывал с другими; наверное, открылся бы ему с первого слова, выложил бы все начистоту: как завелся на черешнях с тем Крокодиллом и как пустился с хлопцами в эту пиратскую жизнь, от какой перед тем, казалось, уже навсегда отрешился. Все бы дяде Ивану рассказал без обмана, потому что есть такие люди, которым сказать неправду невозможно — язык не поворачивается. Однако лиманец не спрашивает их ни о чем.

Вместо расспросов слышат хлопцы, как приходится ему гонять безбилетников на пригородных линиях — на правах общественного контролера или что-то в этом роде...

— Бывает, стоит перед тобой нечесаное дитя века, почти парубок уже, патлы на шее болтаются, а билетик предъявить не может... не взял. А чего же ты не взял? Не успел? Забыл? Деньги вытащили или спешил очень? Да скажи же хоть что-нибудь в свое оправдание, голубчик! А он голову опустит, стоит, губы кусает.

— Ну и что же вы? — спрашивает Гена.

— А это уж с каким как: индивидуальный подход. Смотришь, как совесть в нем: проблескивает хоть немножко или нет? Ведь наказывать человека — это всегда неприятно...

— А тем, что камыши с весны поджигали, когда уже птицы гнездились, — напомнил Порфир, — им, наверное, так ничего и не было?

Дались ему эти камыши... Выжигают камыши ежегодно, это разрешается камышитовым заводам, но только ранней весной, до определенного числа. А в этом году, запоздав, промедлив, плавни стали выжигать действительно в нарушение сроков, когда пернатая дичь уже села на гнезда. Дядько Иван знает об этом, и тучка пробегает по его крутому лбу, так как ничего утешительного ответить племяннику он не может.

— Привлекаем к ответственности, да всех не притянешь, ту-полобых густо развелось, — говорит он с подавленным гневом. — Браконьерское племя, оно ведь, как филлоксера, живуче, и хотя в разных личинах предстает, а суть одна — хищническая... Тот рыбу глушит, этот птиц вместе с камышами сжигает, а скажи ему, он еще и государственными интересами прикроется... Слепая душа, он о завтрашнем дне не думает, ему даже невдомек, зачем эту природу так уж нужно беречь, зачем ради нее целые штаты инспекторов государство содержит...

— И речки да воздух загрязняют по всей планете, — сказал Гена. — А планета, она ведь единственная, другой такой нету...

— Что верно, то верно, — нахмурился дядя Иван. — Пора бы уже понять каждому из нас, что хозяин планеты это ты, человек, что, кроме нас, о планете никто не позаботится... Не лев, не тигр, а человек в природе самый старший! Так по праву старшего защити же и дерево, и птичье гнездо, и букашку!.. Все теперь можем, все нам под силу. Плотины возводим, реки поворачиваем вспять, живительную влагу даем в безводные степи — все это здорово, правда? Только вот, проектируя, заодно подумай и о том, а что с гирлом будет? Почему камыши в гирле начинают усыхать, нерестилища гибнут? Почему птицы разлетаются и соленая вода подступает из моря вверх так, что дельфины чуть ли не в Камышанку заходят... Или это тебя не тревожит? Об

этом пусть дядя думает? Пусть только у вас, инспекторов, о судьбе гирла душа болит? — Заметив, что хлопцы погрустнели, дядько Иван улыбнулся: — Ну, да мы не из тех, что духом падают, нам это напрочь запрещено нашими инспекторскими правилами... Стоящий на страже голубых полей должен быть всегда на высоте. Конечно, хочется, чтоб везде был порядок. Потому что наш брат не только свой лиман бережет — он заботится о всей мировой акватории! Идет в такие места, где международный лов ведут, инспектируют суда разных стран, не позволяют и своим совершать нарушения. Иногда он даже слишком придирчивым выглядит... Был случай, свои же радиogramмой пожаловались на такого придиру: соседи ловят, мол, а этот план нам срывает, что с ним делать? «Свяжите его да в трюм, а сами ловите!..» Только черта с два! Связать себя не дам, и в трюм меня не упрячешь, если я за правое дело стою! Оказывается, это в характере у них такое, у Кульбак: родовое, фамильное, что ли? Дедусь хоть и сильно войной помятый был, однако ни перед кем страха не знал; или, может, как некоторые считают, фронтовая контузия как раз и приглушила в нем чувство страха? Не побоялся же с теми негодями сцепиться, когда они целой хулиганской ватагой налетели ночью на совхозные виноградники...

Не раз уже слышал Порфир о том ночном нападении, но все как-то туманно, как бы недосказанно. Видно, мама намеренно щадила детскую душу, не хотела всеми подробностями причинять мальчику лишнюю боль, ведь речь шла о дедусе... И вот сейчас из уст дяди Ивана впервые услышал всю правду до конца. Что другие утаивали или недоговаривали, дядя Иван до подробностей поведал ему — со строгим спокойствием, как взрослому, как мужчине. Ты ведь мужчина, ты должен все знать, так это и понималось... Выходило, что дедусь, может, и сейчас бы еще жил, если бы не сцепился с теми бандитами, может, они ему жизнь укоротили там, возле шалаша на виноградниках, где все и стряслось... Молодые, здоровые набросились на старика: веди, показывай, где коллекция, где тот самый «Черный камень» (новый редкостный сорт, который только что вводили и берегли пуще глаза). Иной сторож в такой ситуации спасовал бы: один на один с ватагой лоботрясов, что он им сделает? Опустил бы голову: берите, мол, и «Черный камень» и что хотите, вот мое ружье, только меня, старого, веревкой свяжите, чтобы перед дирекцией было оправдание, а сами делайте свое... Да только же дедусь не из таких, он фронтовик, у него честь была, а ей не к лицу уклоняться, прятаться в кусты! Не дам, не пушу, убирайтесь отсюда, лоботрясы, паразиты, подонки, — такой была его речь к ним, и она более всего их разъярила. Набросились с кулаками, ногами месили старика, после этого он уже и не вышел из больницы...

— Внутри ему что-то поотбивали,— глухо закончил дядя Иван.— Вот так ему обошелся тот «Черный камень»...

— А я думал, от ран фронтовых,— прошептал Порфир.

Ничто бы так глубоко не поразило его, как то, что он сейчас узнал о дедусе, про все обстоятельства той ночной драмы. В то последнее лето, когда дедусь сторожевал, Порфир часто бегал к нему на виноградники, и это были, может, лучшие дни его жизни. Старенький велосипед прислонен к шалашу, орленок сидит сверху, на самой шапке шалаша, а они с дедусем варят на костре бекмез или кулеш, а то и просто беседуют обо всем на свете... Дедусь был такой сухонький, с одним легким в груди, а они, бандиты, его ногами топтали... Жгучую до слепоты ненависть ощутил в себе Порфир, до конца жизни будет мстить тем ворюгам, которые, по предположению дяди Ивана, как раз и были из речных браконьеров: за то, что он их на воде преследует, они решили сорвать злость на старике...

— Рыбохваты, губители, хотели бы они жить преступной ночной жизнью,— мрачно говорит дядя Иван,— да только не выйдет... За жабры мы их брали и будем брать!

Порфир знаком с товарищами дяди Ивана, знает, какие это мужественные, смелые люди, трус не пойдет в холодные осенние ночи гоняться по гирлу да по лиманам за быстроходными браконьерскими моторками и в темноте непроглядной сходить с ними в смертельных поединках. А Порфир бы пошел, пусть там хоть что.

Белеют корабли внизу, блестят на солнце высоко взметнувшиеся разноцветные краны. Точно жирафы сбились табуном... Гена говорит, что шея жирафа неповторима, двух одинаковых в природе не бывает... А над кранами в небе медленно плавает коршун или орел: не дедусев ли орленок так вырос, парит и будто выискивает кого-то внизу, может, хозяина своего ищет меж людьми?..

— А не могли бы вы и нас взять к себе? — вдруг обращается к дяде Ивану Порфир со своей давнишней мечтой.— Мы бы все вам делали: костер развести или сети выбрать — умеем ведь... Даже могли бы и в засаду... Верно же, Гена?

Гена для себя, кажется, еще не решил, сидит в задумчивости, а дядю Ивана, видимо, порадовало намерение племянника.

— Идея стоящая,— заметил он,— юные помощники были бы нам кстати... Только не кажется ли тебе, голубчик,— посуровевшим тоном обратился он к Порфиру,— что надо бы сначала мать проведать, она ведь там в отчаянии... Сын опять в бегах, на сына объявлен розыск, приметы его по всем милициям разосланы!..

Ребята даже побледнели, так они были ошарашены этим сообщением. Им уже и не думалось, что подпадают они и тут под действие школьного закона, порядка, который требует ро-

зыска, а оно вишь куда тревога о них докатилась. Наверное, сейчас возьмет дядя Иван обоих за грешные их заливки и поведет прямо в милицию, сдаст, как положено. Что же ему еще остается с ними делать?

Он словно угадал их встревоженность.

— Должен бы отправить вас куда следует, даже обязан — взять и отправить. Однако нет. Не стану этого делать. В конце концов, у тебя, — он обращался прежде всего к Порфиру, — своя голова на плечах, можешь сам за себя решать. В таком возрасте, как ты, я уже бескозырку носил, обязанности свои назубок знал. Когда ветер, бывало, поднимется, зубами ленту держу, чтобы любимую мою бескозырку не унесло... Тебе тоже пора о себе подумать. Браконьеров брать за жабры — это, конечно, дело, и оно от тебя не убежит. Но запомните, хлопцы: победа самая большая та, которую одерживаешь над самим собою... Вы меня поняли?

С этими словами он взял сетку, набитую булками и батонами, встал, потому что инспекторский катер, которым ему предстояло ехать, уже приближался, с крутым виражом, с ветерком подлетел к причалу.

XXIX

Палаточный городок, выстроенный раньше воображением Порфира Кульбаки, наконец стал реальностью. На высоком холме над Днепром бросила якорь их «Бригантина», далеко виднеясь своими белыми и красными шатрами. И костер зажигается по вечерам как раз на том месте, которое определила Марыся Павловна во время смотрин, — на самом юру полыхает, как сигнал дозорного пикета.

Вечера теплые, синие, звездные, издали слышен гул комбайна, а у костра тихо, детвора, примолкнув, слушает чью-то речь, льющуюся плавно и спокойно; в согласии с нею неумоимо стрекочет в темноте травяной музыкант, сверчок или кузнечик, настроив свою скрипку так, чтобы не выпускать смычка уже целое лето.

Чего только не услышишь в эти синие вечера у костра! Приглашенный из степи знатный чабан расскажет о жизни минувшей горемычной, какую теперь разве что в театре увидишь; орнитолог из заповедника поведаст, сколько перепелок собирается в этих степях осенью, где они, прежде чем отлетать за море, сбрасывают с себя лишний жир, чтобы стать легче, а главное, ждут прилета стрепетов, так как именно стрепет гуртует перепелиный табун, чтоб повести его потом в полет, хоть в ненастье, хоть сквозь крошечную тьму.

А некоторые самые крохотные птички, оказывается, перелетают море, устроившись верхом на журавлях...

— Почти так же, как вы на педагогах своих, — весело замечает по ходу рассказа Марыся Павловна.

Морской капитан из шефов делится впечатлениями о джунглях Вьетнама, о том, какой страшный лес он видел — лес без признаков жизни, потому что там, где на леса были выпущены тучи ядов, еще и до сих пор, через столько вот уже лет, ничто не растет: деревья стоят голые, ни птиц в нем, ни насекомых, даже лягушки погибли... И это там, где буйствовала тропическая зелень, где бамбук, тамошний камыш, выгонял за ночь в рост человека...

Затаив дыхание ловят мальчишки каждое слово, вместе с ними и травяные музыканты тоже примолкнут на мгновение, как бы вслушиваясь в человеческую речь у костра. Возможно, кое-что уловят из нее и гости непрошеные, что, тайно подкравшись, неотрывно следят из кустов за вечерней жизнью «Бригантины».

Инопланетники, пришельцы из иных миров, не иначе как они бродят где-то поблизости! Хоть верится мало, однако похоже на то, что и в здешних степях уже побывали эти загадочные представители далеких внеземных цивилизаций. Конечно, пока еще это держится в тайне, теперь ведь, даже когда собственными глазами «летающие блюдца» увидишь, никому не говори, считай, что тебе только привиделось. Однако же если, согласно предположениям фантастов, инопланетники могут появиться в виде «разумной тучи» или «мыслящего океана» или прибыть на каком-то аппарате, напоминающем блюдце, то почему же они не могут появиться среди землян и в виде вот таких обшарпанных ангелочков, о которых нет-нет да и услышишь в палатке от шушукала ночного, чтобы потом и самому о них с кем-нибудь пошушукаться.

Опустились инопланетники в степи неподалеку от шоссе, и было это рано на рассвете, когда птички росу пьют. В скафандрах были, как водолазы или те, что на Луну забрались... Одним словом, явились гости. Ходили, разглядывали все. Можно, конечно, спросить, а где же их бригантина космическая, на которой они прилетели, разве ее не заметили бы сразу комбайнеры или ночные сторожа на полевых станах, разве не кинулись бы из отдаленных бригад к телефонам, чтобы скорее оповестить районную милицию? Но в том-то и дело, что как только они приземлились, то один из них взмахнул каким-то жезлом, похожим на камышинку, которая, оказывается, была волшебной палочкой, и по мановению этой космической палочки бригантина та растаяла на глазах, ведь их межпланетные корабли исчезают и возникают молниеносно, благодаря лишь силе воображения... Захочешь, чтоб исчез, — он исчезнет, захочешь

вызвать,— вызывай, он явится... Собственно, что же здесь удивительного, если говорят, будто бы человек способен гипнотизировать фотон и даже может усилием воли изменять направление движения элементарных частиц, сообщая им соответствующие команды... В общем, никаких следов не оставили после себя пришельцы из других миров (неизвестно, добрые или злые родственники людей), ходили, приглядывались, изучая, что растет на земле, какие птицы на ней водятся, какую рыбу можно поймать в здешних водах. Одному рыбаку они потом сказали: «Когда подлетаешь к вашей планете, она с высоты совсем голубой кажется, это, наверное, оттого, что у вас так много воды, вся планета окутана океаном. И такая ваша планета махонькая с высоты, такая хрупкая... Как цветок! Нежный, нежнейший, будто из самого марева сотканный! Нигде, ни в каких безбрежностях космических другой такой красивой нет!.. Так берегите же ее! Планета — ваш дом, прекрасный, удивительный... А он у вас почему-то чадом, гарью пропитан, междоусобицы отравляют его без конца. Воды свои голубые так безжалостно загрязняют...»

И хотя тому рыбаку не велено рассказывать о своей встрече с инопланетниками, должно все это содержаться до определенного времени в строгой тайне, однако... шила в мешке не утаишь, оно непременно где-нибудь да вылезет. Замечены были эти странные существа и в кучегурах, принадлежащих научно-исследовательской станции, кто-то из пасечников видел их также в акациевых рощах, где пришельцы из космоса пытались полакомиться земным медом, но им в этом решительно было отказано, ибо мед еще не поспел, еще он — как вода... Гнался за ними якобы где-то и милиционер на своем мотоцикле, но догнать не мог, хотя шли они обычным, даже не ускоренным шагом. Если бы это были земные беглецы, то, ясное дело, заслышав грозное приближение мотоцикла, они сразу шмыгнули бы в лесополосу — здешние духу милицейского боятся, а эти идут себе спокойненько, еще и оглядываются насмешливо, потому что мотоцикл летит им вслед на бешеной скорости, однако остается на месте, есть только видимость движения — расстояние между ним и этими субъектами никак не сокращается!

Присутствие загадочных внеземных существ было обнаружено также и археологами, этим веселым бородатым племенем, что ходит в шортах, питается консервами, а проживает неподалеку от «Бригантины», раскинув свои латаные шатры среди молоденьких обгрызенных шелковиц, посаженных для шелкопрядов. Тут археологи, собственно, только ночуют, потому что с утра до ночи они возле разрытой скифской могилы, до седьмого пота трудятся во имя науки. Установив контакты со скифами, копатели эти оказали гостеприимство также и внеземным существам, остроумно изобразив приход инопланетников

даже в своей стенгазете, которую они размалевывают на обрывке рогожного куля. По их сведениям, пришельцы были небольшого роста и имели довольно земной вид, для них ведь ничего не значит силой воображения, одним лишь напряжением воли придать себе любое подобие.

Сидит себе такой пришелец, ужинает с археологами возле их палаток, и ничем его не отличишь от остальных людей, перед тобой он будто бы совсем здешний, будто какой-нибудь Порфир Кульбака, а на самом деле он и есть тот, прилетевший из неизвестности на своей космической бригантине.

С наступлением темноты двое инопланетников имеют возможность совсем близко подкрасться к летнему лагерю школы, и часовой их не заметит, и овчарка не поднимет гвалта, потому что овчарки здесь нет. Засядут в виноградниках, никем не замеченные, и оттуда наблюдают за вечерней жизнью лагеря, за костром и людьми возле него, и все им будет видно до мельчайших подробностей, потому что зрение звездных пришельцев соколиное, они способны видеть сквозь тьму! Может, даже и грустно им станет, что они, как незаконные, должны держаться в сторонке, прятаться по кустам, не имея права приблизиться к людям, к их влекущему патлатому костру. И пожалеют, наверное, что нет их там, у костра, где льется вполголоса песня о бригантине, и поют ее все вместе — и воспитатели и воспитанники...

Симпатия Степашко сидит у огня почему-то грустный, а напротив стоит Марыся и высокий, задумчивый, в белом кителе, моряк, сын Ганны Остаповны. Они стоят, еле касаясь плечами друг друга, и пальцы их за спиной словно бы сами собой сплелись в нежности, и моряк так пристально смотрит на пламя, будто заморожен зрелищем огня. Марыся же тихо напевает вместе со всеми.

Потом вечерняя линейка начнется, будут отмечать трудяг, тех, кто проявил себя на сборе лекарственных растений. В шортах, в зеленых безрукавках выстроились все, на головах — бравые синие пилотки. Среди передовиков и Гайцан, и Рыжов, и даже Карнаух, его, шкета, тоже зовут занять место среди правофланговых: на сколько-то там больше, чем другие, насобирал полыни да полевой ромашки. Велика ли трудность?! Кульбака им того добра тонну бы насобирал, да вот только отлучен от дела, какой-то бес камышанский водит его окольными дорогами. Голоногие, загорелые ангелочки вытянулись по команде «смирно», Валерий Иванович громко поздравляет победителей, и капитан от шефов обращается к ним с приветственным словом: призывает быть трудолюбивыми, мужественными, честными...

— Растите лучшими, чем мы. Хотя Родина и на нас не жалуется, собрались тут люди толковой, не пустоцветной жизни!

Именно на Карнауха шеф обращает внимание всех присутствующих:

— Кто скажет, что этот малыш, энтузиаст, который собрал пуд ромашки, пережил меньшую радость, чем тот, кто целыми днями баклуши бьет, бездельником живет, бродяжничает где-то? Жить бездельником — это же величайший позор!

Слово шефа вроде и было нацелено по несчастным инопланетникам, казалось, тот старый капитан и сквозь тьму видит, как они — сущие ведь бездельники! — воровато притихли, затаились за лагерной зоной в виноградных кустах. Неизвестно, имел ли он их в виду, но они почувствовали стыд.

Потом они наблюдают, как лагерь укладывается спать, как хлопцы, помыв ноги перед сном, разбегаются по своим шатрам, и вскоре все затихает. А утром флажок снова взлетит над «Бригантиной», чтобы, вспыхнув в утреннем солнце, весело реять над лагерной мачтой в течение дня.

Каждое утро трубит, поет навстречу солнцу смуглый лагерный горнист — Юрко-цыганчук, затейник и танцор, которого за образцовое поведение этой весной могли бы и совсем отпустить из спецшколы, но он сам попросился, чтобы оставили, потому что привык, освоился, и лагерная дисциплина несколько уже его не угнетает, и как горниста никто его не превзойдет. Правда, когда коня, пусть хоть издалека, увидит, тогда держи его, учителя смеются: «Цыганские гены дают себя знать!»

Как веселая трудовая республика загорелых стриженных людей — таким сложился этот лагерь над урочищем Чортуватым. Палатки, что раскинулись по вершине холма, с большим рвением устанавливали сами воспитанники, об этом мечталось в свое время и Порфиру, еще заранее просил Марысю Павловну: «Вы ж меня возьмите шатры разбивать». Однако все это выросло здесь уже без него, без него обживалось. В каждой палатке, как в бахчевом шалаше, пахнет душистым сеном, крепко спят на нем воспитанники после работы и беготни в течение длинного летнего дня. Не одному из них еще зимой мечталось о таких палатках, где и перед сном наслаждаешься благоуханием степного разнотравья, бессмертников, полыни, васильков... Как в сказке говорится: «На цветах спишь, звездами укрываешься». После ночи, когда вместе с утренней зарей горнист-цыганенок проигрывает лагерю подъем и хлопцы с веселым гамом вылетают из своих шатров-бунгало, их и здесь, у палаток, встречают цветы: отряды соревнуются на этот счет, у каждой палатки стоят керамические вазы-амфоры и в них целые снопы полевых цветов — те же бессмертники, васильки, ромашки, и никто эти вазы до сих пор не разбил!

«Бригантина» — лагерь труда и отдыха, так это называется. Клинышек твердой целины-неудобки на взгорье, и нет тут никаких оград, ни проволоки, ни камня, даже плугом не про-

пахана межа лагерной зоны... Вместо кирпичной стены, как и обещал Валерий Иванович, оставлена лишь символическая «ромашковая стена», которая тянется по меже лагерного поселения. Обкосили с этой стороны, прокосили с той, оставили только узенькую полосу дикой жесткой травы, прокрапленной ромашками и васильками,— это будет межа! Вот ее без разрешения не переступи!

И что самое удивительное — никто до сих пор не нарушил правила, не переступил ромашковый барьер, словно бы он был выше каменного, словно ток был по этим цветам пропущен. Горн поднимает воспитанников рано, со всех ног бегут на зарядку, после нее — умываться вниз к затону, где вода такая тихая, красивая и праздничная, и привяленный цвет акаций, осыпавшись, плавает в ней... Оттуда бегом на завтрак, где чуть ли не каждый взмах ложки надо делать по команде, а потом вскакивай — и на борт грузовика, чтобы ехать с песнями на работу, на те совхозные поля, схема которых выставлена на большом щите посреди лагеря. На той схеме все обозначено, заштрихованы все ваши архипелаги: где плантации виноградников, где горох, где огурцы... Что же касается лекарственных растений, то они всюду, умей только находить их... Хлопцев на работу подгонять не приходится, сами стараются выполнить норму в утренние часы, пока зной не ударил. А в часы полуденного зноя от них, смугляков, так и закипит вода в затоне Чортуватого, от всплесков, от веселого галдежа по всему урочищу пойдет эхо, с разгона, с береговых круч будут сигать вниз головой, состязаясь, кто глубже нырнет да дальше вынырнет.

И так до самого вечера.

Не скажешь об этих стриженных, что их очень уж угнетает и приневоливает та межа травяная, которую без разрешения не имеешь права переступить. По лагерю ходи сколько хочешь, под навесом, где обедают, тебя встречает веселое правило: «Добавки просить не стесняйся, ты ее заработал!», гуляя, можешь забраться на самую высокую лагерную точку, и будет тебе на сто верст видно во все стороны: увидишь окутанные солнечной дымкой далекие берега широко разлившегося гэсовского моря, и степи с древними курганами... Рейсы «Бригантине» предстоят как раз в те степные просторы, где бахчи и кукуруза, где горох и морковь ждут твоей тятки и в отяжелевших от яблок садах будут рады твоим ловким рукам... Бывает, однако, что остановится перед щитом со схемой полей маленькая фигурка, увидишь юное личико, серьезнее своего возраста, подернутое задумчивостью; стоит мальчуган, изучает штрихованные свои архипелаги: вон еще сколько надо прополоть... А бурьяны жилистые, а ряд длинный... И солнце печет... И к маме хочется...

Но, вооруженные тятками, вместе с солнцем, ежедневно — в рейс и в рейс...

Ганну Остаповну мальчишки щадят, чуть солнце повыше, они ей сразу:

— Ганна Остаповна, дальше мы без вас... Идите в посадку, в тень!

— Да ведь разбежитесь!

— Не разбежимся. Хоть и хочется, хоть так и подмывает удрать, но вас не подведем!

И настоят, чтобы шла она в холодок, потому что все знают: ей на жаре нельзя: у нее — сердце... Не так легко поле жизни перейти, будучи вдовой. А никогда не жалуется, не плачется, наоборот, и сама еще кого-нибудь из молодых подбодрит: «Минутному не поддавайся... За годы своей работы я всего нагладелась, все педагогические реформы пережила... И сейчас не успокоюсь, пока этих басурманов не выведу в люди...» В окрестных совхозах лучшие рабочие, агрономы, виноделы — они из тех, что у нее когда-то сидели за партой. Уважают тут ее. Когда надо было послать в Москву на Конгресс мира делегата, выбрали Ганну Остаповну, с индийскими женщинами там познакомилась, видела японца, обожженного в Хиросиме атомной бомбой.

В сумочке у нее — всегда валидол, она о нем отзывается шутливо: «Вот моя полынь. Как прикрутит — под язык, а потом опять за свое...» Вот почему не могут хлопцы позволить, чтобы их Ганна Остаповна да в такую жару с тяпкой нагибалась... Они уж и за нее потрудятся, а она пусть себе сидит в холодочке лесополосы да вяжет сыну свитер из овечьей шерсти.

Ганна Остаповна выполняет их волю. Время от времени, оторвавшись от вязания, смотрит на маленьких тружеников, на их загорелые, в одних трусиках-майках, фигурки, все вперед и вперед движутся они, только тяпки мелькают в руках, и земля аж курится там, где они идут, заштриховывая тяпками еще одно поле. Кое-кого недостает среди них. Сорвались и покатались в мир клубками перекати-поля, и неведомо, где они сейчас да что с ними, — при этих мыслях тихая грусть набегаёт на лицо Ганны Остаповны.

Разморенная зноем, отягченная думами, сидит она за своим вязаньем, медленно разматывает из клубка параллели и меридианы, и вдруг... словно во сне ей снится то, что происходит наяву: из лесополосы, из колючих зарослей дикой маслины высовывается чья-то стриженная голова, глазенки бегают пристыженно, а разбитая, в запекшейся крови губа пытается изобразить нечто похожее на добросердечную улыбку:

— Здравствуйте, Ганна Остаповна!

— Добрый день... А вы кто? Что-то я вас не знаю...

— Так это же мы (при этом из зарослей высовывается и вторая голова). Неужели и вправду не узнали?

— А так что и не узнала, — с невозмутимостью Будды

отвечает Ганна Остаповна и прищуривается: — Кто же вы все-таки?

И хоть пришельцам трудно поверить, что они так неузнаваемы, они все же говорят смущенно:

— Ну, я — Кульбака...

— А я — Гена...

— Не знаю таких... А вид какой у вас... Может, вы марсиане?

И она снова склоняется над своим вязаньем. И уже неприступно-строгое лицо у Ганны Остаповны, и глаза только в работу уставились. И понимайте это как хотите, к примеру, можно и так: всю душу я в вас вкладывала, в люди хотела вывести, а вы меня чем отблагодарили?.. Стоят в растерянности перед старой учительницей, слышно шушуканье неуверенное, потом голосок, почти заискивающий спрашивает о Марысе Павловне, как она поживает, на это, однако, ответа нет, Ганна Остаповна уже и совсем не обращает внимания на пришельцев, сидит точно каменная половецкая баба на степном кургане, только спицы в пальцах и шевелятся. Задичавшие эти оборванцы для нее словно бы вовсе не существуют, уже они исчезли из ее поля зрения, растаяли, растворились в пространстве! Такая раньше была ласковая, а сейчас ничем ее не могут тронуть, одно оскорбленное молчание, даже равнодушие, и это понимает больше всего — она вас уже выбросила из сердца, не подпускает, гонит вас прочь, назад в ваши колючие заросли: идите себе, откуда пришли, дичайте до конца... Тут честная образцовая школа трудится...

А в обеденную пору, когда отряды после работы возвратились в лагерь и, как обычно, искупавшись и пообедав, расходились по палаткам на отдых, лагерный дежурный заметил двоих... ну, словно бы инопланетных! Двое оборванцев, «осмалених, як гиря, ланців»¹, выйдя несмело из совхозных виноградников, медленно приблизились к меже лагерной зоны, в тяжком смущении и нерешительности остановились возле цветочного барьера. И хотя не было там колючей проволоки, незаминированным было пограничье — только ромашка белеет да синими созвездиями жесткий цикорий цветет, — пришельцы все же не сразу отважились переступить этот барьер. Исхудавшие, обтрепанные, жалкие, настороженно стояли с опущенными головами, вглядывались в ту травяную изгородь, которая словно бы отпугивала их, будто та ромашка и цикорий таили в себе нечто очень опасное, непереходимое.

Солнце палило, разогретое разнотравье дышало зноем, васильки и чабрец прижухли, точно пригорели, поникло стоял шалфей с темно-синими цветами и железняк с розовыми, где-то

¹ И. Котляревский. «Энеида».

между ними, не зная усталости, сатанели в вечной своей трескотне кузнечики да цикады...

Так как же?

Могли бы еще вернуться назад эти двое, что стояли в раздумчивости над цветочным барьером, могли бы еще рвануть отсюда куда глаза глядят, и, наверное, за ними никто бы не погнался, но все же что-то перевесило на совсем не видимых весах, возле которых в качестве весовщицы, может, хозяйничала цикада, на решающих весах, на которые оба сейчас пристально-пристально смотрели. Но вот раздумью пришел конец... Один из бродяг резко нахмурился и решительно занес ногу через травяной барьер, твердо шагнула она в те запутанные ромашковые чащи, в чабрецы и цикорий, даже музыка травяная на миг оборвалась, а оркестранты так и брызнули из-под ноги врассыпную.

Так сделал Кульбака свой, может, самый решительный в жизни шаг. Вслед за ним и Гена молча переступил эту условную изгородь, из травы сотканную стену, одолеть которую было, может, труднее, чем двухметровую стену из камня. Пересекли зону и на глазах у всех неторопливо направились к лагерной мачте-флагштоку, где уже стояли директор Валерий Иванович в своем невозмутимом спокойствии и Ганна Остаповна, по-матерински улыбающаяся, а Марыся Павловна встречала их, зорко прищурясь, взволнованно прикусив губу. Все, все в напряжении смотрели, вся «Бригантина» притихла, наблюдая, как эти съжившиеся двое шаг за шагом совершали по лагерному полю свой трудный переход, неся к мачте свои опаленные солнцем головы и юное свое раскаяние. Но и это выходило у них по-разному. Гена шел подавленный, словно бы уменьшившийся под тяжестью проступка, а этот... а камышанец, почувствовав себя среди своих, распрямился и к мачте подходил уже с веселой дерзостью, под флагом своей открытой и как бы совсем ни в чем не виноватой улыбки!

XXX

Юный часовой-впередсмотрящий ходит по лагерю, на груди у него бинокль (подарок шефов), время от времени хлопец прикладывает его к глазам, вглядывается в даль светлого днепровского моря... Там, в солнечной мгле, проплывают пароходы, баржи с грузами, все они уже знают эту «Бригантину», издали различают ее по блеску палаток над урочищем, на одном из тех крутогоров, степных левобережных круч, которые вот уже столько лет хоть и подмывает бушующее — особенно осенью — искусственное море, а они все стоят, удерживают стихию, целое лето окутанные духом солнца, настоем степного разнотравья.

Иногда к дежурному по лагерю подходит Марыся Павловна и, взяв у него бинокль, тоже прикладывает к глазам: видит тяжелый рудовоз, который как раз проходит по фарватеру, надсадно гребется куда-то вверх, видит развешанное на палубе матросское белье; и еще виден Марысе высокий и, как ей кажется, красивый человек — может, капитан баржи, — что, облокотившись на поручни, пристально и словно бы даже грустно смотрит сюда, в сторону степной школярской «Бригантины». Видимо, и тому проплывающему хорошо известно это место: внизу оно пестреет речным, так называемым ходовым знаком для судов, а на горе высится лагерной мачтой, блестит палатками, из которых иногда выпархивают фигурки мальчишек и, рассыпавшись по всему косогору, наперегонки мчатся вниз, к воде.

Кто он, тот, что плывет на рудовозе? Может, кто-нибудь из шефов? Может, знакомый, иначе почему он так долго и пристально сюда смотрит? Но даже и в бинокль Марысе не удастся его узнать. Может, кто другой и узнал бы, возможно, Оксана и на расстоянии разглядела бы в нем того, кому дарила здесь когда-то свои плавневые лунные вечера...

— Грузить баржу!

По этой команде палатки вмиг пустеют, хлопцы с веселым гиком мчатся к затону.

Разве же есть работа более привлекательная, чем та, что выпала им сейчас! На дне урочища, у самой заводи, открыт приемный пункт, куда со всей степи, прямо с бахчей, везут кавуны, тут их вырастает целая гора, чтобы отсюда перекочевать на баржу — по триста тонн берет за один раз! Баржа подходит к затону, широкая, как стадион, еле умещается в берегах, она уже старая, натруженная, поплававшая. Кульбака осматривает ее с любопытством: может, это та самая, на которой когда-то, во время строительства ГЭС, возили тут камень из карьеров, — мама часто с непонятной ему печалью, как неперменного спутника своей молодости, вспоминает ту груженную камнем баржу...

Баржа останавливается, пришвартовывается к причалу, и тогда приходит время лагерным ангелочкам показать, на что они способны! Из рук в руки, как футбольные мячи, летят кавуны, рябые, полосатые, тугие и теплые, ведь они только что из степи, и каждый подобен планете, только и разница, что эта планета с хвостиком!

Вот уж где Кульбака демонстрирует свою виртуозность! В каком бы темпе ни шла работа, в каком бы множестве ни кочевали кавуны через его ладони, хлопец не уронит ни одного, подхватывает их быстро и ловко, берет, как младенцев, потому что это создания хрупкие, береги их, только зазеваешься, как и выскользнет эта твоя планета из рук, так и хрястнет,

и уже алеет под ногами искристый, на куски разлетевшийся шар...

А если разбитый или гнилой попадется — его подбирает и сносит в отдельную кучу... Бугор. Да, да, тот самый, что в черной маске, с пистолетом в руке все же совершил налет на продмаг, — в селе Чабанском он пытался запугать девушек-продавиц: «Кассу на стол!»

Девушки, однако, не растерялись, схватили, скрутили ново-явленного гангстера, затолкали в подсобку, отобрав пистолет, который оказался... игрушечным. И вот Бугор теперь под особым присмотром отбывает наказание, убирает гнилые и разбитые кавуны.

Появился однажды в лагере и Антон Герасимович, по-хозяйски обошел территорию, молча оглядел межевые знаки — тот символический травяной барьер.

— Видите, травушка одна, а никто не сбежал! — уколола его кухарка, когда он после обхода вернулся к кухне под навес.

Во время обеденного перерыва было решено сфотографироваться всем коллективом с Антоном Герасимовичем, поскольку он отправляется на заслуженный отдых. Его, как ветерана, рыцаря порядка, усадили на почетное место, рядом с ним сели Марыся Павловна и директор, а сзади отовсюду нависали ангелочки.

На снимке получилось так, что на самом плече у Антона Герасимовича пристроился ухмыляющийся Кульбака, казалось, вот-вот мину веселую скорчит.

А потом снова пошли грузить баржу, снова бегут и бегут через твои ладони тугие и теплые кавуны. Не знает усталости в этой работе камышанский трудолюб, очутился наконец в своей стихии. Уменьшается гора кавунов на берегу, растет такая же гора на палубе. Нагрузилась баржа, отчаливает, трогает, а на ней у штурвала кто бы вы думали? Неужели камышанец лобастый? Но если ваша фантазия способна строить города и корабли, то почему же не творить ей и всякие другие чудодейства? Ведь блуждали тут по степям маленькие инопланетники, те, которым сквозь любое состояние материи совсем нетрудно пройти, сквозь камень они проникают так же свободно, как и сквозь воздух! Любую каменную стену они переступали с улыбкой, словно перед ними была всего-навсего полоска нескошенной травы. Одни называют это силой воображения, иные колдовством или чародейством, — как бы там ни было, однако заметьте, что на барже, когда она вышла из затона — прямо на глазах! — вырастают, поднимаются огромные белые паруса! Слышно даже, как ветер поет в тугих парусах... Старая натруженная лайба, что, может, когда-то камни возила, на глазах становится бригантиной летящей, а управляет ею Порфир Кульбака, хоть и маленький, а уже искусный рулевой. Горой громоздятся за ним арбузы —

тугие, теплые дети степной земли. Триста тонн взял он их на борт и правит из низовьев вверх, навстречу течению, может, аж в столицу, где золотые купола, как фантастические плоды, округло сияют над городом, на его вечных горах. Стремительно уносит хлопца неудержимая бригантина его воображения, радостный стоит он у штурвала, все дальше и дальше идет по водам широким, сияющим, и берега приветствуют его, и встречные капитаны весело спрашивают: откуда?

1970—1972

ВЛАДИСЛАВ КРАПИВИН

Оруженосец Кашка

Повесть





ГЛАВА ПЕРВАЯ

Серафиме приснился дятел. Он сидел на сухом стволе сосны и целился носом в какую-то букашку. Потом он быстро откинулся назад, стукнул клювом по коре и снисходительно посмотрел на Серафиму черным блестящим зрачком. Серафима удивилась и открыла глаза.

Дятла, конечно, не было. Был некрашенный потолок с круглыми пятнами сучков, лампочка в самодельном абажуре и пестрый табель-календарь, пришпиленный над кроватью к стене из тесаных бревен.

А еще была стрела.

Она торчала над календарем, и белое хвостовое перо ее хищно дрожало.

«Так,— подумала Серафима.— Кажется, кто-то совершил покушение на мою жизнь. Только этого мне и не хватало».

Она с беспокойством взглянула на затянутое марлей окно. В марле ярко голубела круглая дырка. Серафиме захотелось поглубже забраться под одеяло.

— Нет, стоп,— сказала она себе.— Главное — не поддаваться панике.

Серафима была рассудительным человеком. Она прогнала страх и стала вспоминать, кому причинила зло и кто мог желать ей такой ужасной гибели.

Никому она не причиняла зла! Честное слово! Правда, вчера во время ужина она прогнала из столовой Мишку Зыкова, но он даже не обиделся. Он понимал, что сам виноват: ведь никто не заставлял его опускать в компот нытику Генке Молоканову живого зеленого лягушонка...

«Не было покушения,— решила Серафима.— Стрела случайно влетела в окно, и теперь, наверно, ее хозяин прячется в кустах и с тревогой думает: «Узнают или не узнают? Попадет или не попадет?»

Она вскочила с кровати, натянула сарафан и шагнула на крыльцо.

В двух метрах от крыльца росла прямая береза. В стволе березы высоко, так что не дотянешься, торчали две стрелы.

Одна — толстая и короткая, с черным вороньим пером, другая — длинная, без перьев, с зелеными полосками у наконечника.

— Не нравится мне это,— задумчиво сказала Серафима и огляделась.

Горнисты еще не сыграли побудку, и над лагерем висела сонная тишина. А солнце стояло уже высоко. Жестяные наконечники стрел, глубоко вонзившиеся в березу, горели серебряными точками.

Еще одна стрела взмыла над кустами черемухи, описала пологую дугу и ушла за дальние сосны. Она была ярко-алая, с белыми перьями у хвоста. В зарослях черемухи затрещали ветки и послышались тихие напряженные голоса.

— Батюшки,— прошептала Серафима.— Волна...

Коротким словом «волна» в лагере называли массовые увлечения. Что такое массовое увлечение, каждому понятно. Допустим, один человек нашел на дороге обрезок жести и сделал из него свисток. Ходит и свистит. Другой человек услышал и думает: «У него есть свисток. А у меня нет свистка. Разве это жизнь?» Идет он тоже искать кусок жести. Режет ее, гнет и в конце концов гордо подбрасывает на ладони великолепную свистелку собственной конструкции. Потом подносит ее к губам и надувает щеки...

Когда у двух человек есть свистки, а у других нет, это большая несправедливость. И вот уже всюду стучат по металлу молотки и кирпичные обломки, сгибая в трубки жестяные полосы. Воздух наполняется режущим свистом, и тишина рвется в мелкие клочки.

Это значит, что на лагерь накатилась «свистковая» волна.

Вообще волны бывают разные: вредные и полезные, опасные и безобидные.

В начале первой смены прокатилась «шляпная» волна: маль-

чишки и девчонки мастерили из лопухов широкополые мексиканские шляпы, украшали их подвесками из сосновых шишек и пышным оперением из листьев папоротника. Ходить без такой шляпы считалось просто неприличным. Однако лопухи увядали быстро, а росли медленно, и волна утихла, когда в окрестностях лагеря был найден и вырван с корнем последний лопух.

Через неделю прошумела другая волна — «разбойничья». Несмотря на грозное название, она была очень спокойная. Все мирно сидели под деревьями и мастерили маленьких «разбойников». Туловища лепили из глины, головы делали из шишек и репейника, руки и ноги — из веток, а усы — из сухих сосновых иголок. Потом эти разбойники стояли всюду: на подоконниках, на перилах, на спинках кроватей и даже на умывальниках. Наконец их собрали в пионерскую комнату и устроили выставку.

После «разбойничьей» волны прокатилась волна «ужасов». Всем захотелось наряжаться привидениями и кого-нибудь пугать. Мальчишки после отбоя малевали на голых животах страшные рожи, приматывали к голове деревянные рога и бесшумными скачками подкрадывались к девчоночьим дачам. Но девчонки не спали. Вымазав мелом лица и завернувшись в простыни, они со зловещим подвыванием бродили вокруг дач. В общем, привидений развелось видимо-невидимо, а пугать было некого.

Потом прошумело еще несколько волн, и самая грозная из них называлась «ракетная».

Ракеты с ядовитым шипением взмывали над полянами и, кувыркаясь, падали в кусты. Иногда они сгорали прямо на стартовой площадке. А ракета с гордым именем «Сириус-5» вышибла кухонное окно и утонула в котле с рассольником. Среди вожатых началась паника. Но эта волна угасла сама собой из-за недостатка реактивного горючего.

И вот — стрелы...

— Это, как я понимаю, не ракеты, — озабоченно сказал завхоз Семен Васильевич. — Горючего для них не требуется. А матерьялу сколько хочешь. Рядом с кухней сосновые чурки лежат. Сухие, будто порох. И прямослойные. Я их для лучины припас, для растопки. Было восемь чурок, а теперь, значит, пять. Куда три пропали? Вон они в воздухе летают с перьями на хвостах. Вот так.

Все дружно вздохнули и повернулись к окну. За окном была усыпанная песком площадка, а на площадке — столб с репродуктором. В столбе, не очень высоко от земли, торчала стрела с огненным петушиным пером. Появился лохматый исцарапанный мальчишка в зеленых трусиках. Подошел к столбу. Поправил на плече маленький, сильно изогнутый лук. Поднял голову, подумал и лениво подпрыгнул, чтобы достать стрелу. Не

достал. Почесал о плечо подбородок, снова поправил свой лук и неторопливо удалился.

— Вот-вот...— мрачно произнес Семен Васильевич.— Про это я и говорю. Видали? Ему, тунеядцу несчастному, даже прыгнуть лень как следует. Потому что стрел у него и без этой хватает. Три сосновые чурки на стрелы пустили! Изверги...

— Три чурки, три чурки, три чурки...— басовито пропел вожатый первого отряда Сергей Привалов.

— Нет ничего смешного, Сергей Петрович,— строго и обиженно сказала старшая вожатая Светлана.— Здесь не опера, а педагогический совет лагеря. Дети могут получить увечья и травмы...

— Виноват, Светлана Николаевна,— откликнулся из угла Сергей.— Больше я не буду. Хотя должен заметить, что увечья и травмы — это одно и то же.

— Товарищи,— укоризненно сказала директор лагеря Ольга Ивановна,— Света, Сережа, не надо. Вопрос-то серьезный. Продолжайте, Семен Васильевич.

— А чего продолжать. Кончать надо. Наконечники на всех стрелах, обратите внимание, железные, из жести. В виде конуса. Из консервных банок делаются. Где они банки берут, ума не приложу. А насчет дерева все ясно. Трех чурок нет? Нет. А из каждой не меньше сотни стрел должно получиться. А то и две. А еще обрезки досок на это пошли...

Он вздохнул, шумно поворочался на стуле и затих.

— Ольга Ивановна, у меня предложение.— Худая девушка в очках подняла руку.— Надо издать приказ, что стрелять из луков запрещается, а виновным грозит исключение. В своем отряде я уже объявила. Устно.

— Помогло? — печально спросила Ольга Ивановна.

— Ну... это ведь устно. А если приказ с вашей подписью повесить на доску объявлений...

— Не знаю, кто как, а я к этой доске и на сто шагов не подойду,— заявила Светлана.— Ее превратили в щит для мишеней. Там уже висит, между прочим, один приказ — с выговором за самовольное купание. Кажется, Юрию Земцову. В этом приказе торчат четыре стрелы. Их не убирают. По-моему, нарочно... Я не понимаю, Сергей, что тут смешного!

— Я серьезен, как надгробие.

— Надгробие скоро понадобится мне. От такой жизни. Я поймала Игоря Каткова... кстати, он из твоего отряда, и говорю: «Вы другого занятия не могли найти? Вы без глаз останетесь». А он хоть бы хны!

— Да? А что он сказал? — с интересом спросил Сергей.

— «Что, что»... Он известный хулиган и болтун. Сам знаешь.

— Все-таки что ответил хулиган и болтун Катков?

— Как всегда, сказал глупость: «Купаться нам нельзя — говорят, утонете. Загорать нельзя — перегреетесь, в лес нельзя — заблудитесь, на карусель нельзя — закружитесь, стрелять тоже нельзя... А дышать можно?» Нахал! Сам из речки по два часа не вылезает!.. Ну, Ольга Ивановна, Сергей опять смеется!

— В самом деле, Сережа...— Ольга Ивановна покачала головой. У нее было полное, совершенно нестрогое лицо и растерянные глаза.— Нехорошо, Сережа. Это ведь в твоём отряде больше всего стрелков. Даже девочки...

— Девять ребят и четыре девчонки. И еще пятеро делают луки,— уточнил Сергей.

— Блестящие показатели,— язвительно заметила Светлана.— Твои методы работы. Вот у Серафимы, например, почему-то ни одного стрелка нет. А?

— Ну, они еще мальки,— ласково сказала Серафима.— Еще не научились. Научатся...

— Ты всегда заступаешься за Привалова!

Сергей встал.

— Дело ясное,— сказал он.— Волна есть волна. Стихия. Отбирать луки бесполезно. Сжигать стрелы — тоже. Стихию не остановить. Выход один: направить ее в безопасное русло.

— Сереженька, родной, напавь! — с надеждой воскликнула Ольга Ивановна.— Я тебя потом за это на два дня в город отпущу!

— Нужно двадцать палаток,— сказал Сергей.

— Будут палатки! Одиннадцать есть, остальные в «Веселых искорках» попросим. А еще что нужно?

— Лист ватманской бумаги.

— И все?!

— И еще всю полноту власти.

В семь часов вечера на двери столовой появился лист с большими красными буквами:

Великий

и

непобедимый

**Рыцарский орден стрелков из лука
объявляет**

§ 1

**Для безопасности населения все стрелковые
тренировки переносятся в большой овраг.**

§ 2

**Назначается всеобщее стрелковое соревнование.
Победители будут участвовать в грандиозном
рыцарском турнире.**

§ 3

**Всякий, кто осмелится выпустить стрелу на территории
лагеря, будет объявлен вне закона, лишен оружия и
немедленно изгнан из славных рядов ордена.**

§ 4

**Запись в великий и непобедимый
Рыцарский орден
производится в пионерской комнате.**

П р и м е ч а н и е. Турнир будет через два дня.

Лист был пригвожден к двери черной тяжелой стрелой.

ГЛАВА ВТОРАЯ

— Работорговец ты, Новоселов,— сказал Сергей.

— Я?!

— Именно ты. Самый настоящий.

— Ладно. Спасибо.

Володя пнул попавшую под ноги шишку, отошел в сторону, сел под сосной и стал думать о несправедливости.

Вроде бы он не хуже других. За эти два дня все убедились, что стреляет он как надо. Ну ладно, этим хвастаться нечего: каждый стреляет как может. Но ведь он не только стрелы пускал, он и мишени малевал для соревнований, и оленя из фанеры помогал выпиливать, дистанции размечал в овраге. Никаких спасибо ему за это не надо, но оруженосца-то могли бы дать получше!

Это Сережа придумал, что у каждого участника турнира должен быть оруженосец. Для малышей из шестого отряда такое дело — самое подходящее. Стрелки из них никудышные, им и лук-то не натянуть как следует, а за улетевшими стрелами бегать они могут. И вообще мало ли какая помощь потребуется во время турнира. Сразу и не угадаешь. А оруженосец всегда под рукой. Скажешь, и он сделает что нужно.

И еще было решено, что, если стрелок победит в турнире, его оруженосец тоже считается победителем: славу и приз пополам.

В общем, здорово было придумано, и Володя ни за что не отказался бы от оруженосца, если бы дали ему кого-нибудь другого. Например, Мишку Зыкова, известного на весь лагерь семилетнего забияку с бесстрашными глазами. Или вон того худого малыша с незаживающими ссадинами на коленках и удивительным прозвищем Обезьяний Царь. Или, наконец, Сашку Макурина. Он хотя и увалень, но парень с головой, деловитый и не нытик.

Но достался Володе совсем другой оруженосец. Володя даже его фамилии точно не знал. Голубков или Голубев. Или Голубкин. Аркашка.

Полное имя для Аркашки оказалось, наверно, слишком длинным. Звали его просто Кашка. Он и в самом деле был как незаметная полевая кашка в траве — пройдешь и не увидишь. Может быть, в своем отряде, среди малышей, он и был чем-нибудь известен, кто знает. Но Володя на него никогда не обращал внимания. Потому что посмотришь — и взгляду не за что зацепиться: выгоревшие волосы, стоптанные сандалеты, серенькие штаны на лямках да голубая выцветшая майка. Вот и весь Кашка. Хоть бы какой-нибудь значок на майку прицепил, или бы синяк заработал, или царапину какую-нибудь, чтобы знак отличия был. Да где уж ему!

По деревьям он не лазил, на речку не сбегал, в драки не лез, в лагерных концертах не участвовал. На линейках его не хвалили и не ругали, потому что ничего с ним не случалось. Это ведь не Зыков и не Обезьяний Царь. И не Светка Матюшова, которая однажды заманила в лагерь деревенского козла и натравила его на мальчишек из третьего отряда...

Как только Володя увидел, какого оруженосца ему подсунили, он чуть не застонал. Побежал к Сергею и в упор спросил:

— Больше никого дать не могли? Да?

— А чем тебе Кашка не нравится?

— Боже мой! — с отчаянием сказал Володя. — А чем он может нравиться? Инфузория какая-то.

— Ну, не валяй дурака. Обыкновенный мальчишка.

Они стояли у фанерного домика, где была пионерская комната. Озабоченные важными делами, пробежали мимо ребята с охапками бумажных флажков, с фанерными щитами для мишеней и банками красок.

Несколько человек остановились, чтобы посочувствовать Володе.

А Кашка сидел шагах в двадцати на лавочке. Сидел прямо и неподвижно, как в кино. Смотрел издалека на Сергея и Володю. Разговора он, кажется, не слышал, но о чем-то догадывался.

— Беспомощный он, как кролик,— тихо сказал Володя.

Сергей взял его за плечи.

— Вовка, ты пойми. Никто же их не назначал, этих оруженосцев. Все ребята сами выбирали и сами договаривались. Ну кто виноват, что тебя тогда не было?

Володя обмяк. Когда Сережа разговаривал вот так просто и доверительно, спорить с ним было невозможно. И все-таки Володя высвободил плечи. Он сказал со сдержанной обидой:

— Я, между прочим, не гулял. Я мишени собирал в овраге. Все стрелять кончили и разбежались кто куда. А мишени нужны еще... А оруженосца мне вообще тогда не надо. Я не барин.

— Тебе-то, может быть, не надо... Но куда ты его денешь? Думаешь, ему не обидно?

Володя вздохнул.

— Ну пойми. Ведь я же не нянька,— сказал он.— Мне же стрелять надо будет, а не нос ему вытирать.

— Ну и будешь стрелять. Не стони раньше времени.— Сережа отмахнулся и нырнул в пионерскую комнату.

— Юрка! — Володя с надеждой повернулся к Юрику Земцову.— Юрка, давай меняться, а? У тебя ведь Мишка Зыков. Давай, ты мне Мишку, а я тебе десять наконечников и Кашку.

Юрик обалдело глянул на Володю.

— Мишку?..

— Пятнадцать наконечников,— безнадежным тоном сказал Володя.— Все из желтой жести. Как золотые. Я их для турнира берег. Ну, семнадцать... А?

Вот тогда-то Сережа и сказал, не выходя из пионерской комнаты:

— Работорговец! Человека меняет на какие-то наконечники! Догадался...

Сейчас рыцари на земле повывелись. Но в далекие времена, когда на высоких горах стояли каменные замки, когда в темных дубравах водились буйные разбойники, а ученые-астрономы носили остроконечные колпаки с серебряными звездами, рыцарей было видимо-невидимо. Громыхая латами, как пустыми умывальниками, они съезжались в чистом поле, раскидывали шатры и устраивали турниры.

В лагере «Синие камни» шатров не нашлось, но двухместные палатки Сережа достал. Их поставили на широкой поляне, окруженной частым березняком и зарослями шиповника. Девятнадцать палаток образовали большой круг, а двадцатая — командорская — стояла в середине. Получился настоящий рыцарский табор: с мочальными хвостами и пестрыми флажками на деревянных пиках у палаток, с разноцветными гербами на фанерных щитах, с синим стягом над главной палаткой. На стяге был похожий на полумесяц лук и красная стрела.

Двое суток должны жить в палатках те, кто победил в прошедших соревнованиях,— девятнадцать участников заключительного турнира. И их оруженосцы. Сорок воинов, сменяясь ежечасно, будут ночью охранять их покой и сон...

Володя шагал к палаткам. Двое часовых глянули на него сквозь прорези картонных шлемов и скрестили копья.

— Пароль?

— Идите вы с паролем,— уныло сказал Володя. Развел копья в стороны и, не оглядываясь, пошел дальше.

Часовые посмотрели друг на друга, вздохнули и остались на месте.

Свою палатку Володя увидел сразу. Кто-то уже позаботился о нем. На тонком длинном древке рядом с палаткой был укреплен бумажный флажок с Володиным гербом: желтое яблоко, пробитое навылет фиолетовой стрелой.

Но и без флажка Володя не ошибся бы. Потому что у входа сидел на корточках Кашка.

Он увидел своего командира и торопливо встал. Будто испугался чего-то. А может быть, и правда испугался. Стоял, неловко шевеля руками, и вопросительно смотрел на Володю.

«И чего смотрит, будто кролик на удава?» — подумал Володя. И почувствовал, как закипает досада.

В серых Кашкиных глазах было ожидание. Он готов был и улыбнуться и робко съежиться — все зависело от того, что скажет Володя. Володя все-таки сдержал раздражение. Надо было думать и о справедливости. Ведь этот несчастный Кашка, в конце концов, ни в чем не виноват.

Кашка ждал. Нужно было хоть что-то сказать ему.

— Ты почему не в столовой? — сказал Володя.

И Кашка улыбнулся. Улыбка была немножко виноватая и смешная, потому что у оруженосца не оказалось переднего зуба.

— Наш отряд уже пообедал,— объяснил Кашка.— Мы сегодня раньше всех...

— Значит, спать пора, наверно,— сказал Володя.— Мертвый час.

— Весь лагерь не спит,— осторожно заметил Кашка. Он, видимо, не знал, как принимать Володины слова. Как приказание или просто так?

Володя нырнул в палатку. Оруженосец полез следом.

Внутри все уже было готово: лежали два соломенных тюфяка под одеялами, две подушки. В карман, пришитый к парусиновой стенке, кто-то воткнул ветку шиповника с розовыми цветами.

— Это ты постарался? — с сомнением спросил Володя.

Кашка смущенно заморгал.

— Не я... Девочки приходили, большие. Мне сказали, чтобы я не мешался, а сами все сделали.

— Надо же...— озадаченно произнес Володя.

— Одну зовут Райка,— утсчнил Кашка. Он как вполз в палатку, так и стоял на четвереньках, выжидательно глядя на Володю.

Володя сел на тюфяк. Делать было абсолютно нечего. Полагалось после обеда спать, но спать, когда никто не заставляет, мог только ненормальный. Как обращаться со своим оруженосцем и что вообще с ним делать, Володя тоже не знал. И от этого чувствовал себя при Кашке неловко и скованно.

— Где твои вещи? — спросил он.

— Вещи?

— Ну, полотенце, зубная щетка, мыло. Мы два дня будем жить здесь. Знаешь ведь...

— Я забыл,— обеспокоился Кашка.— Можно, я сбегаю за ними? Я быстро сбегаю.

«Можешь не торопиться»,— подумал Володя. Но промолчал и кивнул. Одному было хорошо. Володя вытянулся на тюфяке. Но тут же вспомнил, что и ему надо идти за своим «имуществом». Ну что же, идти так идти...

Недалеко от палатки его окликнули:

— Новоселов!

Это была Райка. Худая, коротко остриженная девчонка из второго отряда. Володя знал ее и до лагеря: они жили в соседних домах.

На Райке были черные штаны и синяя футболка, а над плечом торчал лук из можжевельника.

— Опять тренировалась?

Райка медленно покачала головой. Несмотря на воинственный наряд, она казалась немного смущенной.

— Коршун ходил над опушкой,— объяснила она.— Я хотела зацепить его. Черные перья нужны. Старые уже обтрепались на стрелах.

— Не попала?

Райка опять покачала головой. Она пошла рядом, сбивая пучком стрел колоски высокой травы.

В глубине души Володя был рад, что Райка промахнулась. Но это была скверная радость, и Володя разозлился на себя.

— У меня есть перья,— сказал он.— Только белые. Возьмешь?

— Я к черным привыкла.

— Как хочешь...

«Жаль, что она девчонка,— подумал Володя.— Завтра я наверняка ей проиграю. Даже с ободранными перьями она обстреляет меня, как дошкольника».

— Это ты мою палатку оборудовала? — спросил он.

— Я. Ну и что?

— Так...

— Мы всем мальчишкам помогали,— поспешно сказала Райка.— Иначе же у вас кавардак будет.

— Да, наверно,— миролюбиво согласился Володя. Подумал и добавил: — Спасибо.

— Оруженосца не сменял? — осторожно спросила Райка.

— Куда там...

— Я бы тебе отдала своего, но у меня Светка Матюшова. Хохотать же все будут: у мальчишки оруженосец девочка.

— Ладно уж...— сказал Володя.

Когда он вернулся в палатку, Кашка был уже на месте. Он сидел на тугом тюфяке, съездившись и уткнувшись острым подбородком в колено. Увидел Володю, поднял голову и торопливо сообщил:

— Я все принес.

— Ладно,— сказал Володя.

На коленке осталось от подбородка красное маленькое пятно. Кашка начал тереть его ладонью. Потом тихонько спросил, не поднимая глаз:

— Мне что надо делать?

— Пока ничего,— сдержанно сказал Володя.— Вернее, что хочешь.

— А завтра?

— Да и завтра тоже... Видно будет.

Кашка вздохнул.

— Есть еще такое правило,— вспомнил Володя.— Если со мной что-нибудь случится, ты за меня должен будешь стрелять. Но со мной ничего не случится.

— Конечно.— Кашка снова улыбнулся смешной своей улыбкой.

Снаружи раздался восторженный визг и хохот. Володя высунул голову. Из соседней палатки со свистом вылетела подушка, потом растрепанный Мишка Зыков, а за ним желтая мыльница. Мишка перевернулся через голову, ухватил мыльницу и швырнул ее в темную щель палатки. Словно гранату в амбразуру вражеского дзота. После этого, прикрываясь подушкой, ринулся внутрь. Палатка заходила ходуном. Все было ясно: Юрка Земцов и его оруженосец пришли друг другу по душе и развлекались вовсю.

Володя обернулся. Кашка прислушивался к веселому шуму. Глаза его были раскрыты широко-широко. Серые удивленные глаза под выгоревшими полосками бровей.

«Завидует, наверно»,— подумал Володя. И вдруг пожалел малыша Кашку.

— Ерунда,— сказал он хмуро.— Земцов с Зыковым бесятся. Видно, делать им больше нечего. А мы... а у нас еще дело есть. Ты поможешь?

Кашка изумленно приоткрыл рот, потом заулыбался и кивнул.

Володя положил на колени пучок стрел.

— Смотри. Я их фиолетовыми чернилами выкрасил вместе с перьями. Хотел, чтобы от других отличались. В общем, дурака сваял: если в тень залетят, их и не видно совсем. Надо знаешь что сделать? Надо на каждой стреле повыше перьев, вот здесь, три красные полосы провести для яркости. Три таких кольца...

Володя придумал про кольца только сейчас, но выдумка и в самом деле была неплохая.

— В пионерской комнате у двери есть полка. Там с левой стороны банка с краской. Мы ею оленя вчера красили. И кисточки там же... Сделаешь, Кашка?

Кашка просиял.

Начиналась последняя тренировка. Стрельба на скорость. Такая стрельба, когда медлить нельзя ни капельки. Выхватил стрелу, наложил на тетиву, натянул и — р-раз...

Мазать нельзя и мешкать опасно: через полминуты наблюдатель дернет за шнурок — и белая с красным пятном мишень свалится в кусты.

...Володя ждал сигнала. Привычный холодок пробежал по рукам. Вот-вот, сейчас... Кашка стоял рядом и держал наготове пучок фиолетовых стрел. Тройные красные колечки на стрелах горели, как огоньки. Постарался Кашка, молодец...

Резко дзенькнула консервная банка — сигнал!

Володя рванул из пучка стрелу. Он знал, что не промахнется. Лишь бы не сбиться в движениях! Длинный лук из сухой березы согнулся, набрав упругую силу. Конец стрелы лежал на левом кулаке. Володя плавно повел рукой, направляя наконечник в центр мишени, и отпустил тетиву.

Щелк! Тетива, как всегда, звонко ударила о левый рукав. Но что-то влажное, липкое мазнуло по кулаку, а стрела клюнула и прошла на целый метр ниже мишени. Кто-то удивленно охнул.

Володя взглянул на руку: красная размазанная полоса на кулаке. Кровь? Наплевать! Он схватил вторую стрелу.

Стрела прилипла к пальцам. Красные кольца оставляли на руках яркие следы.

— Кашка, — тихо и яростно произнес Володя, — где ты брал краску?

Он увидел перепуганные Кашкины глаза.

— В тумбочке, — прошептал оруженосец. — На полке не было. Только какой-то «сурик».

Кругом сдержанно захихикали.

— Ба-ал-ван! — со звоном сказал Володя. Вырвал у Кашки стрелы и, не оглядываясь, пошел из оврага.

...Володя пропустил ужин и возвращался к палаткам голодный и злой, как бенгальский тигр.

Часовые опасно раздвинулись.

Володя мягкой походкой хищника вошел в палаточный городок.

Несмотря на поздний час, было совершенно светло: стояли долгие дни июля. Солнце еще выбрасывало из-за сосен длинные лучи.

Было светло и в палатке. Полости входа оказались раскинутыми, и Володя увидел Кашку издалека. Тот сидел на корточках спиной к выходу и что-то разглядывал на полу.

«Что с ним делать? — думал Володя. — Может, ухватить под мышку и утащить, как багаж, прямо к Сереже? Поставить перед Сережей этого горе-помощника, молча повернуться и уйти?.. Или не тащить? Пусть бежит сам. А может быть, сначала все ему высказать? Да нет, не поймет он...»

Володя подошел ближе. Ага, вот оно что! Кашка собирал свое имущество. Он расстелил полотенце и укладывал на него зубную щетку, за ней зеленую, как лягушка, мыльницу, какую-то круглую коробку, пластилинового разбойника и оловянного мотоциклиста. Потом он попытался завязать все это в узелок. Но полотенце было маленьким, вещи вываливались. Особенно подло вела себя скользкая мыльница. Кашка принимался за работу снова и снова.

Острые Кашкины лопатки суетливо двигались под майкой. Правая лямка штанов падала с плеча, и Кашка все время поправлял ее. Он почему-то очень торопился.

Володя наклонил голову и остановился у входа. Он заслонил свет. Кашка вздрогнул и обернулся. Зеленая мыльница-лягушка вырвалась у него из пальцев и ускакала под тюфяк.

Володя молчал. Кашка тоже молчал. Так они смотрели друг на друга долго. Кашкины глаза испуганно блестели в полутьме палатки. Потом у него шевельнулись губы, и Володя расслышал:

— Мне надо когда уходить? Сейчас или завтра?

Не надеялся Кашка на прощение. Маленький, остроплечий, придавленный своей виной, он сидел на корточках перед грозным рыцарем Фиолетовых Стрел и ждал ответа. Лямка опять съехала с плеча.

— Оруженосец... — скорбно сказал Володя. — Кто тебе разрешил уходить? Марш под одеяло! Давно уж отбой был для вашей малышни.

Но заснуть так рано никому не удалось. Чуть стемнело, и за палаточным кругом развели костер. Собрались у огня стрелки-рыцари, подошли ребята из лагеря. Только часовые остались на местах, и время от времени слышались в сумерках их завистливые вздохи.

Выбрались наружу и малыши-оруженосцы. Их попробовали отправить назад, в палатки, потому что самым маленьким полагалось спать. Но оруженосцы во главе с Мишкой Зыковым пригрозили забастовкой, и тогда им разрешили остаться.

Кашка тихо подошел к своему командиру, постоял рядом и осторожно спросил:

— Во-лодя...— Он почему-то оттягивал первый слог, когда произносил это имя. Словно оно было слишком трудным. А может быть, так получалось от нерешительности.— Во-лодя... Можно, я тоже посижу у костра?

— Сиди хоть до утра,— мрачно сказал Володя. Он хотел есть и думал, где добыть горбушку хлеба. Идти на кухню было бесполезно. Ее, конечно, уже закрыли.

Володю окликнули. На краю площадки, куда почти не долетали отблески огня, стояла Райка.

— Ну? — сказал Володя.

— Иди сюда.

Володя медленно поднялся с травы. Его поташнивало от голода. Когда он подошел, Райка шепотом спросила:

— Есть хочешь?

— Еще бы...

Она протянула ему кусок пшеничного каравая и банку консервов. Володя вцепился зубами в горбушку и заурчал.

— Райка,— сказал он с набитым ртом,— ты лучше всех мальчишек. Ты самый лучший мальчишка в лагере... Все эти тупоголовые рыцари расселись у костра и даже не подумали, что рядом человек умирает с голоду... А ты...

— Да ладно, Вовка...

Володя с удивлением заметил, что Райка вроде бы смутилась. Отвернувшись вдруг, наклонила голову, стала обламывать ветку, уколола шиповником руку и начала, словно кошка,лизывать ладонь. Вот чудная! Будто ей в любви объяснились...

— Ешь консервы,— сказала она.

— А чем открыть?

— Возьми.— Она протянула консервный ключ.

— Где ты все это раздобыла?

— Трудно, что ли? У тети Даши на кухне попросила. Сказала, что ты не ел. Ты почему не ужинал?

— Вон из-за того типа.— Володя качнул головой в ту сторону, где, нахохлившись, присел у огня Кашка.

— А что он натворил? Я так и не поняла.

— Ну что...— Володя проглотил громадный кусок.— Надо было полоски на стрелах сделать. Я его попросил. А он вместо корабельного сурика, который сохнет за пятнадцать минут, раскопал где-то простую масляную краску. Ей два дня надо, чтобы высохнуть. Вот я и соскребал до вечера. Пятнадцать стрел, и на каждой по три широких полоски.

Райка сочувственно вздохнула.

— Все они такие. Светка моя к костру идти не хочет, говорит, комары кусают, и в палатке одна сидеть боится. Я уж пойду... А на Кашку ты очень-то не злишь, он, наверно, переживает.

Володя отмахнулся.

— Я не злюсь. Бесполезно. Только он ничего не переживает. Сидит, и все. Огонь греет, комаров нет, что еще надо? Ну какие, Райка, у такой малявки переживания?

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Но Володя ошибался. Были у Кашки и переживания и заботы.

Были у него и тайны.

Самая большая тайна — Кашкина Страна. Никакого названия Страна не имела, Кашка его не придумал. Страна — вот и все.

В Стране жили челотяпики.

Слово «челотяпики» Кашка выдумал сам. Оно означало то же, что «человечки», но было интереснее и смешнее.

Челотяпики были разные: Летчик из сломанного самолетика; оловянный Мотоциклист; морской Капитан, сделанный из поплавка и спичек; старый ворчливый Шишан из еловой шишки и Матрешка — самая маленькая из всех матрешек. Раньше она сидела внутри остальных, а потом потерялась и попала в компанию челотяпиков.

Позже других появился шестой челотяпик — Альпинист, но про него речь пойдет дальше, потому что все надо рассказывать по порядку.

Прошлым летом дома у Кашки стряслась беда: сильно заболел отец. Он болел и раньше, но не очень, а на этот раз болезнь скрутила его крепко. Название у болезни было длинное и непонятное. Кашка не мог его запомнить. Но зато он хорошо запомнил слова врача: «Операция нужна обязательно».

Кашкина семья жила не в городе, а в поселке Камшал. Это от города сто двадцать километров по железной дороге. В поселке врачи операцию делать не стали и сказали, что надо везти папу в областную больницу. Надо — значит, надо. Но ведь один папа ехать не мог, он даже по комнате двигался еле-еле. Пришлось маме брать на работе отпуск и ехать тоже. Она сказала, что будет жить в городе, пока отцу не сделают операцию.

Тепловоз прогудел, мама помахала рукой из вагонной двери, и поезд ушел.

Он ушел, скрылся за поворотом, за станционными домами

и тополями, а Кашка стоял и смотрел на блестящие рельсы. Рельсы отражали солнце. Рядом с Кашкой стояла бабушка. Это была незнакомая бабушка, папина мама. Ее звали баба Лиза. Она приехала только накануне, чтобы жить с Кашкой, пока не будет родителей. До этого Кашка ее не видел. Вернее, видел, когда был маленький, но забыл. Баба Лиза жила далеко, в Ишиме, и ее пришлось вызвать телеграммой.

Рельсы слепили глаза и выжимали слезы. Кашка глотнул воздух.

— Идем,— сказала баба Лиза.

Она повернулась и пошла с перрона, ни разу не оглянувшись на Кашку. Он побрел сзади. Вернее, сначала побрел, а потом засеменил, потому что баба Лиза шагала широко и быстро.

Она была высокая и худая. Кашка смотрел на прямую бабушкину спину с черным треугольником косынки и горько думал: «Худо будет теперь».

Баба Лиза оказалась хмурой и неразговорчивой. Целыми днями, сердито сжав серые губы, копалась в огороде. С Кашкой говорила мало: «Садись ешь... Сходи за хлебом... Руки помой... От дома не отходи... Ложись спать...» Вот и все. Может быть, у нее был такой характер, а может быть, она сердилась, что ее оторвали от домашних дел и заставили возиться с внуком. Кашка этого не знал и понять не старался. Он послушно бегал за хлебом в соседний магазин, старательно мыл руки перед обедом, вовремя укладывался на свою скрипучую раскладушку и от дома не уходил, потому что на целую неделю зарядили серые моросящие дожди.

На душе у Кашки было тоже пасмурно и пусто. А по вечерам эта пустота заполнялась едучей тоской. Кашка скрючивался под одеялом и щипал себя за нос, чтобы не заплакать. Он боялся плакать, потому что баба Лиза спала плохо, долго ворочалась и вздыхала за фанерной перегородкой.

Но однажды утром какой-то добрый ветер прогнал тучи, и в Кашкино окно глянуло умытое солнце. Глянуло, пощекотало Кашку лучами и позвало в дорогу.

— Ладно,— тихонько сказал Кашка и встал.

Он осторожно оделся, вынул из коробки оловянного Мотоциклиста и выбрался на непросохшее крыльцо.

Небо над Кашкой оказалось такое синее, что он даже дышать забыл. А земля сверкала. Перед рассветом прошел последний дождь, и травинки сгибались от тяжести стеклянных капель. А солнце огненными ручейками стекало по мокрым скатам железных крыш.

Чтобы не промочить в траве сандалии, Кашка снял их и пристегнул на животе к лямкам своих коротеньких штанов. Потом он прыгнул с крыльца. Холод, как мышонок, сразу юркнул под рубашку и зацарапал спину мелкими коготками. Но

Кашка не вернулся в дом. Он поставил на ладошку Мотоциклиста, зажужжал, как мотор, и помчался в конец переулка.

За переулком начинался луг с кустарниками, а дальше — березовые перелески и бор. Там лежала Кашкина Страна. Он торопился туда вместе с маленьким смелым Мотоциклистом.

На большой скорости они проскочили полосу кустарника и вынеслись на солнечный обсохший бугорок. Здесь Кашка залег среди высоких метелок овсяницы и пунцовых шариков клевера.

Он сжал в кулаке катушку от ниток.

На самом деле это была не катушка, а волшебная подозрная труба. Поднесешь к глазу — и видишь, как в светлом кружке обыкновенная трава превращается в заросли сказочного леса. Кажется, что все это переплетение узорчатых листьев, колосьев и цветов сразу становится громадным. Потому что смотришь снизу, травы убегают к горизонту и сливаются с настоящим лесом...

Кашка медленно обводил подозрной трубой джунгли, где жили непонятные существа, сумерки и тайны. Потом джунгли кончились, в круглый глазок трубы ударил синий свет, и Кашка увидел море.

Да, это было море. Переливалась солнечными блестками голубая вода, а по воде двигался белый парусник.

Кашка заморгал и убрал от глаза катушку. Море превратилось в крошечное луговое озерко. Но парусник не исчез. Кашка приподнялся на локтях. Одномачтовый кораблик бежал к берегу, где горели на солнце желтые лютики. Парус был похож на косое крыло голубя. Кашка встал в полный рост. Тогда он услышал голоса и увидел хозяев парусника.

Это были мальчишки, и командовал ими Пимыч.

Почему его так прозвали, Кашка не знал. Но прозвище казалось очень подходящим. Пимыч был толстоватый, тяжелый, с большой головой, круглым лицом и с носом, похожим на растоптанный валенок. Ходил он вразвалку, смотрел лениво и говорил не торопясь. Мальчишки, однако, его слушались.

Кашка Пимыча боялся, а Пимыч Кашку, кажется, не любил. На это была причина. Кашкина мать работала контролером в поселковом кинотеатре «Луч» и не так давно выставила Пимыча на улицу, потому что он пробирался без билета. Пимыч ничего сказать ей не посмел, но на крыльце кинотеатра увидел Кашку и показал ему круглый красный кулак. Кашка вздохнул и отвернулся. Он, конечно, не был виноват перед Пимычем, но понял, что все равно лучше с ним не встречаться.

Кашка и сейчас не забыл о' похожем на большую грушу кулаке. Но он видел кораблик. Маленький, легкий такой и быстрый кораблик, который надо было обязательно рассмотреть

как следует и, может быть, даже взять в руки. И это было сильнее осторожности.

Кашка тихо спустился с пригорка и встал у воды. Никто, кроме Пимыча, не взглянул на него. А Пимыч хмуро покосился, но ничего не сказал. Это ободрило Кашку.

Парусник уже пересек озерко и подходил к берегу, где ждали мальчишки. Но ему не повезло: на пути оказался островок. Вернее, круглая травянистая кочка. Она торчала метрах в пяти от суши и была похожа на лохматый затылок сидящего в озере великана.

Кораблик ткнулся в этот затылок носом и запутался в мокрых травяных прядях. Сразу стало понятно, что выбраться сам он не сможет, если только не случится большого шторма.

— Кто полезет? — спросил Пимыч. Сам он, конечно, лезть в воду не собирался.

Мальчишки стали переглядываться и сопеть. Разуваться, подворачивать штаны, идти в холодную от дождей воду и добираться к проклятой кочке по илистому дну — что тут хорошего?

Треугольник паруса белел за листьями осоки и просто изо всех сил притягивал к себе Кашку.

— Пимыч, — осторожно сказал Кашка, — можно я достану?

— Пускай достает!.. — загалдели мальчишки.

— Не потонет...

— Конечно...

— Я бы сам достал, да у меня нога порезанная, — заявил похожий на худого котенка, большеухий Левка Махаев.

На эти слова не обратили внимания: все знали, что Левка хитрый враль и лодырь.

Пимыч несколько секунд разглядывал Кашку и, наверно, думал: надо ли разрешать такое интересное дело человеку, мать которого прогоняет людей из кинотеатра? И вдруг разрешил:

— Ну, вали... Не поломай только.

Вода оказалась совсем не холодная. Только ноги сильно проваливались в илистую жижу. Кашка прошагал всего половину расстояния, а вода уже была ему выше колен. Но он даже на полсекунды не остановился.

Когда Кашка добрался до островка, вода замочила ему штаны и подобралась к пристегнутым на животе сандалиям. Но зато кораблик был вот он — рядышком. Кашка раздвинул водоросли и осторожно, как раненого голубя, поднял парусник на ладонях.

Он был маленький, но совсем как настоящий. Легонький, остроносый, с тонкими бортиками, рейками, блестящими колечками и тугими снастями. О таком как раз Кашка и мечтал. Он бы отправлял на этом корабле своих смелых челотяпиков в самые дальние плавания по лесным ручьям и озерам. Они бы

открывали новые острова и страны. Кашка знал, где их можно открывать, только не было кораблика. Был морской Капитан, а плавать ему приходилось на обыкновенных щепках...

С берега уже кричали, чтобы Кашка не копался. Он вздохнул и пошел обратно.

Но он хитрил. Возвращался он гораздо медленнее. Осторожно вытягивал из илистой грязи ноги, далеко обходил редкие листья кувшинок, словно это были вовсе не кувшинки, а самая жгучая крапива. Ведь пока он шагал здесь, среди воды, кораблик был вроде бы его, Кашкин. Можно было держать его, разглядывать, шептать команды и думать о дальних островах...

— Я бы уж давно достал,— противным голосом сказал Левка Махаев.

— Закройся ты,— лениво посоветовал ему Пимыч.

Пять метров до берега — путь недалекий. Все равно пришлось выйти на землю и отдать парусник.

— Штаны-то выжми,— ворчливо сказал Пимыч.

— А ну их,— отмахнулся Кашка. И вдруг попросил: — Пимыч, сделай мне такой... кораблик.

Он, конечно, понимал, что говорит самую настоящую глупость, но не смог удержаться. И удивился, когда не услышал в ответ обидного смеха.

Пимыч недовольно сказал:

— «Сделай»... Сам не можешь, что ли?

— Не могу,— без колебаний признался Кашка.

Конечно, как он мог? Разве сумеет он построить такое чудо?

— «Не могу»! — передразнил Пимыч. — А чего тут мочь? Тут и дела-то — два раза плюнуть. Все почти готовое продается. Самую малость надо построгать да покрасить...

— Что продается? — не понял Кашка.

Но Пимыч молча возился с парусником. Наверно, устал от долгого разговора. Другие ребята сказали Кашке, что коробку с набором для модели яхты можно купить в раймаге на станции. И денег надо всего шестьдесят копеек.

Всего! У Кашки таких денег в жизни не бывало. Где он их возьмет?

— У матери попроси,— посоветовал Пимыч. — Небось даст...

— Мама уехала,— сказал Кашка и почувствовал, что в горле вырастает что-то твердое и угловатое, как маленький деревянный кубик.

— Ну, отец даст.

— У него операция. Они вместе уехали,— шепотом сказал Кашка. — Я с бабой Лизой живу...

— Ну... — начал Пимыч, но замолчал и задумался.

— А пускай сам заработает,— предложил Левка. — Чего попрошайничать?

— Как? — удивился Кашка.

— А как мы. На ягодах. Набери да продай на станции. По пятнадцать копеек за стакан если продавать, всего четыре стакана надо... Только тебе ведь не набрать четыре стакана...

Кашка снял с мокрых штанов прилипшую водоросль, заложил руки за спину и посмотрел на Левку, как на маленького. Он даже чуть не засмеялся. Кашка знал такие ягодные места, какие Левке, наверно, даже в мечтах не мечтались. Недаром Кашка умел делать открытия.

Мальчишки продавали ягоды на станционной платформе.

Кашка бывал здесь и раньше. Правда, на перроне он появлялся редко, нечего там было делать. Зато любил Кашка путешествовать под платформой. Она была старая, деревянная и держалась на высоких столбиках. Ходить под ней можно было не сгибаясь. Там стоял сумрак, словно в кощеевом подземелье. Кряхтел и потрескивал потолок. Сыпался за воротник древесный сор. Вздрагивали на земляном полу солнечные полосы. А за дощатой стенкой, как чудовища, с тяжелым ревом пробегали вагонные колеса.

Здесь Кашка находил интересные вещи, которые падали сверху в щели: разные пуговицы, спичечные коробки с неизвестными наклейками, конфетные фантики, запонки... А один раз нашел он денежку — три копейки. Правда, в тот же вечер он ее потерял, но долго еще вспоминал об этой находке с удовольствием. Но сейчас Кашке нужны были не три копейки, а целых шестьдесят. И шел Кашка не вниз, а вверх, на перрон. Осторожно прижимал к груди четыре кулька с луговой клубникой.

Мальчишки стояли, прислонившись к шаткому палисаднику. Вид у них был очень независимый. Будто они пришли не ягоды продавать, а просто поглазеть на зеленые вагоны подошедшего поезда, на тепловозы, на облака. А на пассажиров они вроде бы и не смотрели. Даже Левка Махаев стоял с равнодушно-кислым лицом, хотя у него уши дергались от волнения, когда пассажиры проходили близко, — так ему хотелось поскорее продать свою клубнику...

Кашка старался, чтобы все у него было как у других ребят. Он и кульки для ягод свернул не из газеты, а из листков старого папиного учебника. Так делали почему-то все мальчишки. Только держать себя независимо и гордо Кашка не умел. И пристроиться к ребятам он не решился, а они его не позвали. Может быть, и не заметили. Кашка ушел на другой конец платформы и встал у столба с железным плакатом: «Граждане! Ходить по путям опасно!»

Чувствовал себя торговец ягодами неважно. В животе было холодно, и все время хотелось глотать воздух. Будто вышел Кашка на опасное дело.

В глубине души он совсем не верил, что кто-то подойдет к нему и станет покупать промокшие кульки с клубникой. И не знал, что делать, если это случится. Но к нему подошли, незаметно, откуда-то сбоку, и Кашка вздрогнул.

Покупателей было двое. Кашка заметил, что на них серые одинаковые пиджаки и синие фуфайки с белыми полосками у ворота. И какие-то значки на отворотах пиджака. Лица у них тоже были похожие. Разные, но все-таки похожие. И как будто знакомые. Кашке вдруг показалось, что такие же лица — узковатые, с жесткими подбородками и легким прищуром глаз — были у летчиков, про которых он недавно смотрел кино. Только летчики выглядели постарше.

Кашке нравились люди с такими лицами.

— Продаешь? — спросил один, с золотисто-синим значком. — Почему?

В горле у Кашки что-то по-птичьи пискнуло.

— Пи... питнадцать коп...пеек, — выдавил он.

Тот, который спрашивал, наклонил голову и стал с интересом смотреть на Кашку. Так разглядывают какой-нибудь интересный пустячок, винтик, например, или брошку, если случайно найдут их на тротуаре... Потом он сказал негромко и печально:

— Слушай, ты... рыцарь наживы. Совесть у тебя есть?

Кашка считал, что есть. Но вообще-то вопрос был непонятный. При чем здесь совесть? И еще рыцарь какой-то...

— Ягоды... они хорошие, — на всякий случай сказал он.

— Я так и думал, — отклинулся человек с синим значком.

Тогда вмешался его товарищ:

— Борис... Ну чего пристал к парню? Он по такой же цене продает, как все.

— Все они «как все», — с резкой усмешкой бросил Борис. — Я таким вот пацаненком был, когда на целину первые эшелоны шли. Мы со своих огородов помидоры тягали и к вагонам тащили, чтобы ребятам дать на дорогу. А тут — «питнадцать копеек».

Кашка почувствовал, что эти слова обидные. И все-таки не обиделся.

«А может быть, — подумал Кашка, — у него нет пятнадцати копеек? Ягод попробовать хочется, а денег нет».

Или, может быть, он думает, что Кашка жадный?

— Ну, возьми... — простодушно сказал Кашка. Он почему-то даже не заметил, что обращается к Борису на «ты».

— Что? — не понял тот.

— Возьми так, — повторил Кашка со всей убедительностью. — Не надо копеек.

Что-то изменилось в лице у Бориса. Растерялся он или смутился. Запустил руку в карман пиджака, стал смотреть мимо Кашки и непонятно ответил:

— Благодарю. Я платежеспособен...

Но его спутник взял у Кашки ягоды и вложил кулек в ладонь Бориса.

— Бери, раз дают,— и подмигнул Кашке.

Кашка протянул кулек и ему. И услышал:

— А не жалко тебе?

Кашка удивился. Жалко? Наверно, этот человек не знает, сколько ягод можно отыскать на лесных буграх и полянах совсем недалеко от поселка.

Ну... конечно, хотелось купить поскорее кораблик. Но раз уж он одну порцию клубники отдал, значит, шестьдесят копеек все равно сегодня не заработать. Поэтому остальные ягоды вообще жалеть не стоит. Нисколечко.

— Спасибо,— вдруг сказал Борис.— Знаешь что? Ты...

Он не договорил, потому что к ним подбежала девушка в серой куртке с блестящими застёжками. Веселая такая девушка, с пестрой косынкой, повязанной, как пионерский галстук.

— Ребята, вы где? Поезд отходит сейчас!

— Мы здесь,— коротко сообщил Борис.— Мы заняты. Поезд подождет.

— Один симпатичный юноша угощает нас ягодами,— объяснил товарищ Бориса.

— Только вас угощает? Или всех? — поинтересовалась девушка.

— Вот, берите,— сказал Кашка. Он уже не робел, не стеснялся. Чувствовал только смутную зависть: сейчас эти люди сядут в поезд и поедут, а он, Кашка, останется.

Ну ладно, пусть едут. Это, конечно, хорошие люди...

Да, но оставался еще один кулек.

— Куда же его? — растерянно спросил Кашка.

— Ешь сам,— хором сказали трое и побежали в конец поезда, к своему вагону.

Потом этот вагон медленно проехал мимо Кашки, и тот увидел в тамбуре всех троих. Они махали Кашке руками. И смеялись. А девушка даже сняла косынку с шеи и размахивала ею, как флагом.

Кашка торопливо замахал в ответ. Той рукой, в которой держал ягоды. Они сыпались из бумаги и падали на доски, как тяжелые дождевые капли, но Кашка не обращал внимания. Впервые в жизни он провожал хороших людей в далекую путь-дорогу. Хотя нет, недавно он провожал маму и папу, и мама тоже махала ему из вагона. Но тогда было грустное прощание, а сейчас веселое...

— Ну и дурак,— услышал Кашка за спиной.

Обернулся. Это Левка Махаев обругал его. Он, значит, следил за Кашкой. Теперь Левка стоял рядом и смотрел с презрением.

— Пентюх необразованный,— сказал он.— Облапошили тебя, как деревяшку. Лопух ты...

Но Кашка чувствовал, что он не лопух. Он не забудет, как три незнакомых человека смеялись и махали ему из вагона. Левке, конечно, никто не махал, хотя он и продал все ягоды.

— Остался без яхты, ну и фиг с тобой,— закончил Левка и сплюнул.— Салага...

Кашка отошел. Издалека он осторожно сказал:

— Ты, Левка, наверно, сам салага. Я завтра еще четыре стакана насобираю. И продам. И куплю кораблик. Вот...

Назавтра он собрал не четыре стакана, а семь. И сделал семь кульков. Четыре он решил, конечно, продать, а еще три... Ну, мало ли что... Вдруг случится, как вчера. Кашке очень запомнились улыбки трех друзей. С тех пор как уехали родители, ему еще никто не улыбался вот так, по-хорошему.

Но случилось не так. Сразу нарушились Кашкины планы. Подошел поезд, и на платформе появились...

Нет, сначала Кашка услышал песню. Шум колес уже затих, и песня звучала за вагонными стеклами. Пели мужские голоса. Не громко, но как-то упруго. Это была немного печальная, но хорошая песня. Такая хорошая, что Кашка замер на секунду. А голоса стали громче, и вот тогда появились на перроне моряки.

Они по одному прыгали с подножки, и песня вместе с ними вырывалась из вагона. Кашка разобрал последние слова:

Ночь бросает звезды на пески,
Поднятые сохнут якоря.
Спи, пока не гаснут маяки...

Потом пение оборвалось, и голоса смешались:

— Братцы, здесь и папирос не купишь!

— Сколько минут стоим?

— Станция Кам-шал... Ну и станция!

— О черт, курить хочется...

— Не лопнешь.

— А вдруг?

Они были не в бескозырках. Кто в черной фуражке с якорем, кто так, с непокрытой головой. День выдался ветреный, и синие воротники плескались у них за плечами. На рукавах черных матросок алели треугольные флажки и золотились нашивки.

Был среди них один — высокий, курчавый, словно негр. На плече он, как большую лопату, держал гитару. Он, кажется, первый заметил Кашку. Именно его, а не других ребят. Потому что те стояли на дальнем конце платформы.

Моряки обступили Кашку. Их было не трое. Не четверо.

Даже не семеро. Он и мигнуть не успел, как разошлись по рукам все кульки. Просто разлетелись.

— Сколько за товар? — весело спросил гитарист.— Ну? Не стесняйся!

— Нисколько...

Они совсем не важничали перед Кашкой, эти громадные парни в черной с золотом форме. Спросили, как его зовут, а потом по очереди, щелкая каблуками, называли себя:

— Сеня.

— Виктор.

— Сергей.

— Гена.

— С вашего позволения, Алексей Новиков, штурман дальнего плавания... будущий.

Оглушенный их веселым вниманием, Кашка только спросил:

— Дальнее — это в Африку?

— В Африку, в Индию, в Австралию,— подтвердил будущий штурман.— В обе Америки. Вокруг света. И если есть в моих словах хоть капля лжи, пусть меня поглотит Тускарора!

Тускарора представилась Кашке страшным чудовищем с черной пастью. Но ему тут же объяснили, что это не чудовище, а глубоководная ямища в Тихом океане и что эта ямища когда-нибудь обязательно поглотит будущего штурмана. Не столько за вранье, сколько за болтливость.

И снова, как вчера, исчезла, растаяла в этом веселье Кашкина робость. И тогда он сказал то, что очень хотел сказать:

— Можно, я спрошу?.. Вот вы... Это вы пели в вагоне? Это какая песня?

— А ну, мальчики...— сказал курчавый гитарист с детским именем Павлик. И сбросил с плеча гитару.

И было совсем не смешно, было просто здорово, что взрослые мужчины так слаженно и серьезно пели колыбельную песню. Пели с какой-то суровой ласковостью: видимо, любили они эту колыбельную. Десять моряков пели для одного мальчишки. Ну и для себя, конечно, но главным образом для него, для Кашки:

Спят большие птицы средь лиан,
Спят моржи в домах из синих льдин,
Солнце спать ушло за океан,
Только ты не спишь...
Не спишь один...
Светят в море,
Светят огоньки,
Утихает сонная волна...
Спи, пока не гаснут маяки.
Спи...
И пусть не дрогнет тишина.

...Встревоженно просигналил тепловоз, и поезд пополз вдоль платформы. Но они все-таки допели до конца. А потом взъе-рошили Кашке волосы и бросились за вагоном.

Поезд ушел. А Кашка стоял на перроне, по которому с размаху пролетали серые тени облаков. И ветер лохматил ему волосы. И солнце щекотало уголки глаз. А тонкие ласточки мчались вдоль путей вслед убежавшему поезду. Так, наверно, чайки летят за уплывающими кораблями.

И облака, и тени, и ветер, и ласточки были как продолжение песни.

На следующий день Кашка уже не думал о деньгах. Белокрылый игрушечный кораблик почти позабылся. Потому что появилась другая радость: дальние поезда и веселые добрые люди с хорошими песнями. Кашка шел их встречать и нес им лесной подарок.

Когда Кашка подходил к лесенке, доски в боковой стенке платформы раздвинулись. Между ними показалась ушастая Левкина голова.

— Иди сюда,— потребовал Левка.— Ну, иди быстро, скажу что-то.

Кашка пошел. Бояться было нечего. Плохого он Левке, кажется, не делал.

Левка придержал доску, и Кашка шагнул в пахнувший старым деревом полумрак.

В тот же миг из рук у него выбили кульки с ягодами. Потом его стукнули один раз по плечу, два раза по щеке и один раз по носу.

После этого он услышал Левкин голос:

— Еще раз притащишься с ягодами — башку свинтим! Добренький какой, денег ему не надо! Газуй отсюда, малявка полосатая!

Доски снова раздвинулись, и Кашку пинком выпроводили на свет.

Из носа капала кровь. Капли были круглые и красные, как ягоды. Кашка не боялся крови, но она падала на рубашку, и пришлось долго сидеть у палисадника с запрокинутой головой. Кашка сидел и думал.

Думал, как быть. Он знал, что заскучает теперь, если не будет встречать и провожать поезда. А показаться на станции нельзя, раз Левка дерется. Ну что он этому Левке сделал?

Жизнь снова становилась плохой и печальной. Только чуть-чуть радовало Кашку воспоминание о вчерашней песне.

Кровь унялась.

Кашка побрел за поселок. В лесном озерке он отстирал от крови рубашку и высушил на ветру.

Между прочим, за все это время он так ни разу и не заплакал.

Домой Кашка вернулся к вечеру.

Еще издалека он увидел бабу Лизу. Она стояла у калитки строгая, прямая и неподвижная. Настроение у Кашки испортилось до самого конца. Но виноватым себя ни в чем он не чувствовал и поэтому не стал пугаться строгого бабушкиного вида. Только опустил голову и хотел бочком проскочить в калитку.

Пальцы бабы Лизы ухватили его за ухо.

Это были крепкие пальцы. Как деревянные щипцы. Они так защемили ухо, что Кашка пискнул, словно мышонок.

— Появился,— сухо сказала баба Лиза.— Вот и ладно. Вот теперь и поговорим.

За ухо она ввела растерянного Кашку во двор, остановила у крыльца и повернула к себе:

— Где был?

Кашка ежился и моргал. Не знал он, что сказать. Вылетели из головы все слова и где-то потерялись.

— Где был?! — тонко крикнула баба Лиза и вдруг хлопнула его ладошкой по щеке.

Это было не больно. А обидеться или удивиться Кашка просто не успел. Только зажмурился и мотнул головой.

— Не кормит тебя бабка, да? — выкрикивала баба Лиза, и лицо ее некрасиво морщилось.— Деньги тебе, окаянному, понадобились?! На вокзале ягоды продаешь?! Бабку позорить вздумал!

— Я не продавал,— шепотом сказал Кашка.— Я не продавал...— Он очень хотел все объяснить, но слова не находились.

— Еще и врешь! — Баба Лиза ахнула и выпрямилась.— Ты еще и врать умеешь, негодник! Думаешь, люди не видели?! Где деньги?

— Нету...

— Показывай карманы!

Карманов у Кашки не было. Иногда он для солидности засовывал ладони в прорези боковых застежек на штанах, но ведь деньги туда не засунешь.

— Ну, ясно,— печально сказала баба Лиза.— Все, значит, на мороженом и проел. Ладно...

Она вдруг совершенно успокоилась. Видимо, приняла решение.

— Я твоего отца учила по-своему, человеком сделала. Тебя тоже воспитаю. Стой тут!

Она скрылась в доме, а Кашка стоял. Мог бы убежать, но стоял. «Что она хочет сделать?» — подумал он. Подумал без страха, а с какой-то едучей горечью.

— Не торговал я! — громко сказал он, и тут вместо слов пришли слезы. Кашка всхлипнул.

Баба Лиза появилась с громадным старым замком, который до этого валялся в кладовке. Его ключом Кашка иногда раскалывал косточки от компота.

— Ты у меня насидишься в темноте! — пообещала баба Лиза. — Ты мне про все расскажешь, когда с мышами переночуешь.

Кашка по-настоящему заплакал. Он никогда в жизни не боялся ни темноты, ни мышей и плакал не от страха, а от обиды и беспомощности.

На секунду что-то изменилось в твердом бабушкином лице. Но Кашка ее лица не видел. Только голос ее услышал:

— Марш в сарай!

Она подтолкнула Кашку с крыльца. Он закусил губу и, сдерживая всхлипывания, побрел к сарайчику, где лежали дрова и всякие ненужные вещи. «Умру я, — тоскливо думал Кашка. — Заболею и умру... Она даже слушать не хочет... Убегу куда-нибудь. В дальние города...» Но он не убегал, а обреченно шагал вперед. Баба Лиза шла следом.

Но когда до сарайчика осталось несколько шагов, земля тяжело ухнула. Будто рядом упал мешок с картошкой. Только это был не мешок. Это прыгнул с забора Пимыч.

Кашка так никогда и не понял, откуда Пимыч узнал о его беде и почему решил помочь.

Поднявшись, Пимыч отряхнул колени, встал между Кашкой и бабой Лизой и бесстрашно сказал ей:

— Тебе, старая, не стыдно? Нашла на ком силу пробовать, на таком пацаненке...

Бабушка ахнула и уронила замок.

— Ах ты... Ах ты!.. — начала она.

А Пимыч наклонил набок голову и продолжал негромко и укоризненно:

— Чего ахать-то? Лучше бы спросила его, как он торговал. Он и денег-то не брал ни копейки ни с кого. Всяких дураков слушаешь, а с ним поговорить не можешь. Скорей за ухо...

— Иди, иди, — жалобно сказала баба Лиза и отмахнулась, словно Пимыч был нечистой силой. — Иди-ка ты отсюда. Небось сам тоже... Иди... Куда пошел, вон она, калитка-то...

— Нам здесь удобнее, — солидно заметил Пимыч и тяжело взгромоздился на забор. Сверху он сказал: — Ты, Кашка, не бойся. — И прыгнул.

Опять дрогнула земля. Баба Лиза посмотрела на упавший замок, слабо махнула рукой и устало побрела к дому. Будто Кашки и на свете не было.

Он смотрел ей вслед, пока не закрылась дверь. Потом пошел на крыльцо, устроился на ступеньке и прислонился головой

к перилам. Большой радости Кашка не чувствовал. Только удивление: «Вот так Пимыч!» Но и удивление скоро прошло. Все было правильно. Совсем невиноватого Кашку хотели посадить в сарай, а ведь справедливость-то должна быть на свете. Вот Пимыч и пришел, чтобы справедливость победила. Папа Кашке про это объяснял однажды: если человек не виноват, справедливость всегда победит.

Кашка стал думать про папу. И про маму. Про то, как сделают операцию, и все будет хорошо. Все опять соберутся вместе. И не надо будет вечером щипать себя за нос, чтобы сдерживать слезы.

Шелестели у крыльца листья рябинки, поезда шумели за домами. Кашка чуть-чуть задремал. Он вздрогнул, когда сзади открылась дверь.

— Иди творогу поешь,— с ненастоящей сердитостью проговорила баба Лиза.— Цельный день бегал где-то, а теперь и в избу идти не хочет.

Кашка медленно поднялся и пошел в дом.

Он сидел на кухне и ковырял чайной ложкой творог.

— Ешь,— велела баба Лиза.

— Не хочется.

— «Не хочется»... Глянь-ка, губы надул. Уж больно обидчивый.

Кашка был не обидчивый. Просто ему не хотелось есть. И веселым быть не хотелось.

— Может быть, мне еще прощения у тебя попросить? — поинтересовалась баба Лиза.

Кашке совсем не нужно было, чтобы у него просили прощения.

— Ну, чего ты молчишь-то? — тихо спросила она.

А что ему говорить?

Баба Лиза вздохнула:

— Старая я стала...

Кашка украдкой оглянулся. Она сидела, отвернувшись к окошку. Совсем нестрогая, согнувшаяся...

— Давай я за хлебом схожу,— сказал Кашка.— А то скоро закроют магазин.

После этого случая Кашка получил свободу. Он мог бродить где угодно с утра до вечера. Баба Лиза не ругалась. Только охала, когда он появлялся с оторванными пуговицами, расцарапанными ногами и сосновыми иглами в волосах.

— Господи Иисусе! Где тебя гоняет нечистая сила?

«Нечистая сила» гоняла Кашку по всей его Стране. По сухим, заросшим соснами буграм. По оврагам, доверху набитым темной зеленью: там наглухо переплетались кусты смородины,

ядовитая, как гадюка, крапива и какие-то сырые пахучие травы. По лугам и по мелколесью, где среди тонких березок и ольховника попадались мохнатые коряги, похожие на припавших к земле чудовищ. По влажным тропинкам и скрипучим мостикам, по ручьям и болотистым кочкам.

Кашка делал открытия.

Он сажал своих друзей-челотяпиков в карман (если баба Лиза давала рубашку с карманом) или сжимал их в кулаке и с утра отправлялся в путешествие.

Но к середине дня любая тропинка все равно выводила его на станцию. В это время один за другим останавливались здесь три дальних поезда.

Левка Махаев больше не прогонял Кашку. Когда они встречались, Левка отворачивался, ворчал и плевался. Под глазом у него был небольшой светло-сиреневый синяк. Откуда он появился, Кашка не знал.

А другие мальчишки обращались с Кашкой совсем хорошо. Пимыч даже сказал:

— Если к тебе кто полезет, ты мне его покажи. Я ему — во!..

Кашка опять увидел кулак, похожий на грушу.

И тогда, полный благодарности, Кашка пообещал:

— Знаешь что, Пимыч? Когда мама придет, я ее попрошу, чтобы она тебя всегда в кино пускала без билетов...

Он был уверен, что мама не откажет в такой просьбе. Узнает, как Пимыч заступился за Кашку, и обязательно разрешит ему ходить в кино сколько хочется.

Пимыч подумал, покачал головой:

— Ладно... Мне это зачем? Я и с билетом могу... Мать-то когда придет?

Кашка вздохнул:

— Ну... скоро. Когда папа поправится.

— А бабка как? Злая?

— Да не... Теперь не злая. Только молчит и богу молится потихоньку... Пимыч, а зачем богу молятся, если его нет?

— Да мне откуда знать? Тот, кто молится, наверно, думает, что он есть.

— Разве им никто сказать не может, что его нет?

— Иди скажи своей бабке.

Кашка вспомнил бабу Лизу и подумал, что пусть уж лучше молится. Но разговор кончать не хотелось, и он рассказал Пимычу, как недавно к ним приходил дядя Миша, папин начальник в автоколонне. И как он уговаривал бабу Лизу отпустить Кашку в пионерский лагерь. А баба Лиза не пустила. Побоялась чего-то.

— А тебе в лагерь охота? — спросил Пимыч.

— Не знаю.

В лагере Кашка не бывал. Как там? Будет ли там что-нибудь

хорошее? А здесь, по крайней мере, все было свое, знакомое: и поселок, и Страна, и друзья-челотяпики. Правда, не было поблизости ребят вроде Кашки, чтобы играть вместе. Или маленькие были совсем, или очень уж большие. Но зато Кашка мог встречать поезда. Мог бродить по ближнему лесу. Сидеть на крыше и смотреть на облака. Все это было привычно, и все это была радость.

И вот еще Пимыч...

Разговаривал Кашка с Пимычем не часто. Но зато у них появилась молчаливая игра. Когда Кашка приходил на станцию, он не поднимался на перрон по лесенке, а останавливался у края платформы и поднимал руку. Пимыч подходил вразвалку, хватал Кашку за кисть руки и подтягивал вверх сколько мог. Тогда Кашка цеплялся за кромку платформы левой коленкой — и готово, он уже на ногах. Все это делалось без слов.

Только однажды Кашка спросил:

— Пимыч, ты зачем ягоды продаешь? Денег нет, да?

— Мать велит, — хмуро сказал Пимыч.

На перроне Кашка занимал обычное место: у столба с плакатом. Если подходили сытые дядьки в пижамных штанах и с бутылками пива под мышкой или если появлялись рядом женщины с раздраженно-скучными лицами, с ненастоящими улыбками, Кашка угрюмо отворачивался.

— Не... Я не продаю.

Иногда к нему придирались.

— А зачем стоишь здесь?

— Встречаю, — отвечал Кашка.

Он и правда встречал. Встречал «своих» пассажиров. Он знал каких. Не всегда они были молоды и веселы, не всегда пели песни и дурачились, но обязательно в их глазах Кашка замечал теплый огонек и хорошую искорку любопытства.

— Ну, дорого ли продаешь? — спрашивали они и с усмешкой смотрели не на ягоды, а на самого продавца.

— Не... — отвечал Кашка. — Я просто так. Без денег.

Ему нравилось, что, услышав эти слова, люди глядели на него с веселым удивлением. И сам он неожиданно быстро научился смотреть таким людям в глаза радостно и открыто.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Но самого интересного человека встретил Кашка не на станции, а в лесу.

В тот день Кашке не везло: собрал он всего стакана полтора клубники. Правда, ягоды были крупные, спелые...

Прежде чем идти на станцию, Кашка решил навестить че-

лотяпика Шишана, который жил в Подземной пещере один-одинешенек уже целых четыре дня. Старый Шишан был разведчиком. Он получил от Кашки задание исследовать все места вокруг пещеры, узнавать лесные новости, делать разные открытия и обо всем докладывать по радио. Но вчера и сегодня докладов от Шишана не поступало.

Подземная пещера находилась под одиноким разлапистым пнем в мелком березняке, рядом с железнодорожной насыпью. Примерно в километре от станции.

Кашка сквозь густую путаницу веток продрался на свободный зеленый пятачок, лег на живот перед пнем и запустил руку в черный лаз пещеры. Конечно! Шишан и не думал отправляться ни в какие экспедиции! Он спал на соломенной подстилке и в ус не дул. Кашка так и знал!

Он вытащил лентя на свет.

— Дрыхнешь... А совесть у тебя есть?

Шишан спросонок молчал.

— Лодырь ты,— сказал Кашка.

Шишан хотел зевнуть, но сдержался. Кашка сел на пенёк, а взъерошенного елового Шишана посадил на колено.

— Спишь и спишь! — выговаривал он. — Даже антенну поправить не можешь. Тунеядец... — Он поправил над пнем прутик антенны.

Молчание Шишана стало виноватым.

— Ладно... — смягчился Кашка. — На пенсию бы тебя.

Он стал думать, кого бы из челяптиков поселить в Подземной пещере вместо Шишана. Можно Капитана, у него все равно корабля нет. Можно Матрешку... или нет, ее не надо. Ей скучно одной будет, маленькая еще...

За кустами, на высокой насыпи, загремел колесами, а потом зашипел тормозами поезд. «Семафор закрыт», — сообразил Кашка, но тут же про поезд забыл, потому что нечаянно опрокинул стеклянную банку с клубникой. Банка не разбилась, но крупные ягоды ускакали в траву и потерялись.

— Все из-за тебя,— сказал Кашка Шишану. — Ищи вот теперь.

Он выуживал из травы последних беглецов, когда зашумело, затрещало в кустах, будто шел медведь.

Кашка вскочил.

Вот тогда он и увидел Костю.

В ту минуту он не знал, конечно, что это Костя. Он просто стоял и смотрел на человека, который вышел из кустов. Был человек еще молодой, вроде тех моряков. Смуглый и светловолосый, в клетчатой, как шахматная доска, рубашке.

В руке у него был складной охотничий нож.

Кашка разглядел этот нож сразу. Узкое отточенное лезвие, медные перекладки с крючками, колечко с петлей из ремешка

и трещинка на пластмассовой желтой рукоятке. Да, и трещинку заметил Кашка, хотя почти вся рукоятка была скрыта в кулаке.

Кончиком ножа незнакомец что-то вырезал из маленькой коричневой деревяшки. Вырезал на ходу. Крошечные стружки послушно сыпались из-под лезвия.

Все это Кашка разглядел, наверно, в одну секунду. Потому что в следующую секунду человек с ножом остановился и поднял на Кашку глаза. Это были серьезные светло-карие глаза. Они внимательно смотрели на растерянного Кашку.

— Вот встреча...— сказал незнакомец тихо, словно про себя. И спросил: — А ты здесь что делаешь? Тоже ищешь свою жар-птицу?

— Не... я с ягодами,— ответил оробевший Кашка. Он не сводил взгляда с ножа. И при чем тут жар-птица?

Неизвестный человек защелкнул лезвие, сунул нож в один карман, деревяшку в другой и без улыбки объяснил:

— Я не разбойник. Я вон с того поезда.— Он кивнул в сторону насыпи.— Эта колымага застряла перед семафором и, говорят, будет стоять минут сорок. Что-то случилось на станции. Интересно, что? Не знаешь?

Кашка не знал. Он сказал:

— Здесь разбойники не водятся. И жар-птицы не водятся.

— Кто знает... А вдруг водятся? Жар-птицы...

— Не,— убежденно сказал Кашка.

Пассажир вздохнул:

— Ты не обращай внимания. Лопай свои ягоды, а я пойду.

Он шагнул от Кашки, но уходить раздумал. Словно вспомнил о чем-то и собрался спросить. Однако не спросил. Стоял и смотрел поверх кустов на вершины большого леса.

Бежали клочковатые облака, и быстрые тени их были, как взмахи темных крыльев. Кашка смотрел на высокого незнакомца и видел его вместе с облаками. Видел сбоку его задумчивое лицо, белую полоску маленького старого шрама под ухом и волосы, словно раз и навсегда отброшенные назад ветром. Кашке хотелось сказать: «Я не буду лопать ягоды. Я их не для себя собираю. Если надо, берите. Только... кто вы? Вы далеко едете, да?»

Кашка сказал:

— Вы знаете песню про маяки?

— Какую? — ничуть не удивившись, спросил незнакомец.— Много песен про маяки.

— Там еще про птиц,— объяснил Кашка.— И про этих... про тюленей. Которые спят. И про ночь. Ее моряки пели.

— Не знаю. Я ведь не моряк.

«А кто?» — чуть не спросил Кашка, но не решился. И неловко сказал:

— Вы почему-то один едете...

— Ну и что? Разве нельзя?

— Да нет, можно... Только так не бывает, чтобы один человек. Чтобы такие... одни.

— Какие такие? Это интересно.

— Ну...— сказал Кашка.— Такие...

Он виновато замолчал. Не умел он объяснять. А хотел сказать, что такие вот молодые парни, люди с обветренными смуглыми лицами, готовые к шутке и к хорошему разговору с ним, с Кашкой, не ездят в одиночку. Студенты, спортсмены, моряки, геологи (Кашка их тоже встречал) всегда бывают вместе...

— А знаешь, твоя правда,— вдруг согласился незнакомец.— Я бы тоже ехал не один, да отстал от компании. Это чертовски скверно, когда отстаешь от своих. Да вот, пришлось... И настроение поэтому было просто слезное... Можно, я возьму одну ягоду?

— Все берите,— облегченно сказал Кашка.— Вы не горюйте, вы своих догоните.

Кашкин собеседник бросил в рот четыре ягоды, внимательно глянул на Кашку и вдруг улыбнулся. Улыбнулся так, будто не клубнику проглотил, а лекарство от печали.

— Знаешь, это ведь здорово, что я тебя встретил.

— Если бы я знал, я бы еще больше постарался набрать ягод,— простодушно сказал Кашка.

— Чудик ты,— ласково сказал незнакомец. Осторожно подвинул на пне Шишана и сел.— Давай знакомиться, пока мой экспресс не затрубил.

И они познакомились. И Кашка узнал, что этого человека зовут Костя.

— Ну расскажи,— сказал Костя.

— А что? — растянулся Кашка. Нечего ему было рассказывать.

— Ну вообще... Что ты за человек? Какая у тебя жизнь?.. Или вот про него расскажи.— Костя взял на ладонь челотяпика.

— А, это Шишан,— отмахнулся Кашка.— Разведчик он... Только он ленивый...

И незаметно Кашка начал рассказывать. Сначала про Шишана: какой он засоня и размазня. Потом про смелого Мотоциклиста, про Капитана, про кораблик. И дальше — про свою Страну, где живут малыши-челотяпики и где можно увидеть дремучие леса и синий океан, если посмотреть в волшебную катушку... Он рассказывал так много потому, что Костя хорошо слушал. Спрашивал, когда Кашка замолкал. Помогал найти нужное слово, если Кашка не мог его вспомнить. Смотрел серьезно, и серьезность эта была безо всякой подделки.

Наконец Костя сказал:

— Значит, мы оба бродяги-путешественники.

— Ты путешественник? — спросил Кашка.

— Как и ты. Только моя Страна побольше... Слышал про Памир? Есть такие горы.

Кашка слышал, только не помнил, где и когда. Или по радио, или от папы. Но он помнил это название дальних гор. Он даже знал, что оно означает.

— Крыша Мира... — тихо сказал Кашка.

— Да, брат, это крыша... А про ледники ты знаешь?

Про ледники Кашка не знал. Правда, у них в сарае был лёдник — небольшая яма с остатками зимнего слежавшегося снега. Вроде маленького погреба, чтобы хранить продукты. Но Кашка понимал, что не о таких ледниках говорит Костя.

— Это, наверно, где много льда, — сказал Кашка неуверенно.

— Это... ледяная река, — сказал Костя и прищуренно посмотрел на облака.

Кашка молчал. Ледяная река — это было непонятно.

— Массы льда, — сказал Костя. — Они ползут вниз по горным склонам. Ползут тихо-тихо, почти незаметно. Ведь это лед, а не вода. Но все-таки движутся. И у каждого ледника свой путь. Как у реки.

Кашка закрыл глаза и представил движение льдов. В шорохе прозрачных глыб, в перезвоне ломающихся льдинок они медленно и неотвратно надвигались, надвигались на Кашку всей тяжестью. Солнце разбивалось на блестящих гранях, но, несмотря на яркое сверкание, от ледяной реки веяло жгучим холодом. Кашка передернул плечами и открыл глаза.

— У каждого ледника свой путь, — повторил Костя. — Но один ледник сбился с пути. Пошел не туда, куда нужно. И это совершенно непонятно.

Он посмотрел на Кашку выжидательно и даже немного печально. Вот, мол, какая штука. Может быть, ты объяснишь, в чем тут дело? Но Кашка объяснить не мог.

— Непонятно, — снова сказал Костя. — Этот ледник нарушил все законы... В общем, надо пощупать его.

— По-щупать... — повторил Кашка и прыснул. Это показалось очень смешно — «пощупать» ледник, такую громадину.

Костя тоже засмеялся. И сказал:

— Такое дело. Приходится.

Он легко вскочил и встал над Кашкой — большой, сильный человек, с обветренным лицом путешественника, покоритель гор и ледяных рек.

— Пора. — Он протянул Кашке коричневую узкую ладонь. Может быть, он хотел просто попрощаться, но Кашка ухватился за ладонь, чтобы встать с травы. Ухватился и тоже вскочил.

Они вышли из кустов к насыпи.

— Надо ехать, — сказал Костя.

Вдали над линией уже горел зеленый кружок семафора,

и вверх по насыпи бежали к вагонам пассажиры. Костя чуть улыбнулся Кашке и разжал руку.

Кашка вдруг почувствовал, что расставаться жаль. Горько стало ему. Не так горько, как в тот день, когда провожал маму и папу, но тоже невесело.

— До свиданья, — тихо сказал Кашка и стал смотреть на зеленый семафор.

Костя торопливо шагнул к поезду. Шагнул, остановился вдруг и сказал:

— Подожди.

Он что-то вынул из кармана, вернулся и вложил в Кашкину ладонь твердую деревяшку. А потом бросился за вагоном, который уже тронулся.

На ладони у Кашки лежал челотяпик. Вырезанный из дерева путешественник. С рюкзачком, с остроконечным топориком, чтобы вырубать в скалах ступеньки. Кашка знал, что таких путешественников называют альпинистами, он про них кино смотрел. У Альпиниста был задорный вид и улыбающееся лицо.

Когда Кашка поднял глаза от подарка, он уже не увидел Костю. Вагон был далеко. В его дверь еще прыгали на ходу пассажиры.

И некому было сказать спасибо.

Потом, вспоминая и вспоминая эту встречу, Кашка, наверно, многое поймет. Поймет, почему было грустно расставаться с Костей. Кашка ведь и раньше встречал хороших людей, но провожал их без печали, потому что знал: будут другие встречи. А в этот раз Кашка не думал о других. Когда-нибудь он догадается, что Костя мог стать хорошим другом — ведь они оба путешественники. А еще позже Кашка подумает: «Наверно, наша встреча помогла ему сделаться веселее». Потому что отстать от своих — это не значит просто опоздать на поезд, где едут друзья...

Однако в то время ни о чем таком Кашка не думал.

Уже приехали мама и папа и укатила в Ишим баба Лиза. Уехал в город Пимыч — поступать в техникум. Говорят, он заходил перед отъездом, спрашивал Кашку, но тот болтался в лесу. Уже поступил Кашка в первый класс и получил там прозвище Тишка (от слова «тихо»): хорошо, что потом попала в класс девочка, еще более тихая, чем Кашка, и прозвище перешло к ней. Уже кончился сентябрь, и пришла пора всех челотяпиков переселить из леса домой, в коробку из-под ботинок. Уже успел Кашка получить два нагоняя — от мамы и от отца — за то, что вытащил из погребка остатки льда и сделал во дворе ледник для Костиного Альпиниста.

И еще один раз Кашке попало. За то, что поздно вернулся домой. Но об этом случае он думал без огорчения, потому что помнил про костер.

В тот день, возвращаясь из школы, Кашка забрел в лес. Целый месяц он здесь не был. Стояла серая осенняя погода, и шумели вершины. Но и такой хмурый лес Кашке нравился.

Кашка бродил долго и зашел так далеко, как не заходил еще ни разу. Пересек сосновый бор и вышел к песчаному обрыву, под которым бежал ручеек. Вдоль ручья, по другому берегу, шла дорога. Наверно, она вела в поселок. Кашка решил по ней вернуться к дому.

Он съехал вниз вместе с пластами сырого песка. Здесь ручей казался не таким узким, как сверху. Темная вода завивалась в воронки и крутила листья, принесенные из дальнего березового леса.

Через этот ручей надо было прыгать.

Чтобы отрезать себе обратный путь, Кашка перебросил на другой берег портфель. Потом собрался с духом и прыгнул сам. Он перелетел через ручей удачно, даже ног не замочил, но его ждала другая неприятность. Оказавшись на дороге, Кашка понял, что не знает, в какую сторону идти.

Сначала Кашка сел на портфель и решил ждать прохожих или машину, чтобы узнать правильный путь. Ни беспокойства, ни страха он не чувствовал, хотя и понимал, что дома попадет за такое опоздание.

Но скоро ему стало холодно. Он поднялся и пошел вверх по ручью, наугад.

Кашке повезло. И дело не в том, что он выбрал правильную дорогу. В конце концов он все равно бы вышел к дому. Ему повезло потому, что в своем знакомом лесу, уже недалеко от поселка, он увидел костер.

Огонь разожгли незнакомые ребята. Среди черных сосен и облетевших берез играло желтое летучее пламя.

Кашка несмело подошел к огню.

— Я погреться, — сказал он, хотя никто не спрашивал.

Большие мальчишки молча раздвинулись и впустили Кашку в свой круг.

Они не садились на землю, потому что земля была сырой и холодной. Стояли и жарили на прутьях куски хлеба. Кто-то сунул Кашке в ладонь теплый подсохший ломтик. Все молчали, и Кашка молчал. У огня молчать легко. Огонь с треском перемалывал сучья. Быстрые языки его взлетали выше головы, рвались на клочья, скручивались в кольца.

Вот тогда впервые Кашка и подумал: «Огонь как живой. Он похож на жар-птицу...»

Может быть, Костя и спрашивал Кашку про костер: «А ты что здесь делаешь? Тоже ищешь свою жар-птицу?»

Костер высоко выбрасывал оранжевые перья и жаром дышал в лицо. Но Кашка не отходил. Ему было хорошо среди молчаливых мальчишек у кипучего пламени. Так хорошо, будто он получил письмо от Кости.

Но ребята разобрали рюкзаки и ушли. У них была своя дорога. А перед этим они затоптали, засыпали костер. И он умер. Осталось только угольное пятно с низкими сизыми дымками. Кашка торопливо зашагал домой.

Но он не забыл слова, которые пришли к нему у огня:

«Костер как живой, он похож на жар-птицу...»

Это были не простые слова. Они — как строчка из песни. Повторялись и повторялись сами собой. Словно просили продолжения.

С тех пор прошел почти год. Чуть поменьше года. Кашка многое узнал и понял. Он умел теперь находить на карте Москву, Тихий океан, Кубу. И Памир. Мог считать до тысячи (а может быть, и больше, только не хватало терпения). Сам читал книжки, и не только тоненькие, а даже такие, как «Приключения Карика и Вали». Он твердо не верил в чудеса и сказки, потому что знал: их не бывает. Лишь одной сказке, своей, он немножко верил. Верил, что огонь живой. Иначе все непонятно. Если он не живой, то почему рождается, живет и умирает? Почему бывает и веселым и печальным, сердитым и добрым. И почему, когда горит костер, хочется быть к нему поближе?..

В июне Кашку отправили в пионерский лагерь. Собирался Кашка с охотой, но в лагере затосковал. И места, и ребята были чужими, а быстро привыкать и знакомиться Кашка не умел. Он слонялся по лагерю, глотал потихоньку слезы и, когда никто не видел и не слышал, шепотом разговаривал с челотяпиками — Мотоциклистом и Альпинистом. Но они были все-таки челотяпики, а не люди. И сейчас даже зловредному Левке Махаеву Кашка обрадовался бы, как другу. А мимо пробегали незнакомые мальчишки и девчонки. Иногда окликали Кашку, кричали что-то веселое. Но никто не догадался заглянуть в его тоскливые глаза.

Лишь вечером второго дня Кашка повеселел. Было праздничное открытие лагеря, и на костровой поляне развели большой огонь. Костер примирил Кашку с лагерной жизнью. «Наверно, его будут зажигать каждый вечер», — думал Кашка. А когда стало известно, что костры здесь редкость и что, может быть, ни одного больше не будет до самого конца смены, Кашка уже почти привык жить в «Синих камнях», и тоска по дому стала совсем несильной.

А костер все-таки зажгли снова. В честь стрелков — участ-

ников турнира. И оруженосец Кашка сел на траву, чтобы смотреть в огонь и думать о жар-птице. Иногда он жмурился, и следы пламени танцевали в глазах, складывались в непонятные рисунки. «Если не открывать глаза, то можно заснуть здесь и, наверно, можно увидеть во сне настоящую жар-птицу», — подумал Кашка.

Вдруг она в самом деле приснится... жар-птица. Ведь костер... как живой, он похож на жар-птицу. Она... сегодня, наверно, приснится...

Так вот, сами собой и сложились эти слова. Кашка улыбнулся такой удаче, нащупал локтем березовый пенек и привалился к нему.

Гудело пламя, и теплый воздух волнами перекачивался через Кашку. Искры возносились в небо и смешивались со звездами. Звезды мерцали так, как, наверно, мерцают маяки, которые не гаснут. Оранжевая жар-птица плясала на поляне, разбрасывая золотые перья. У нее были красные лапы и зеленые глаза-бусинки...

Спи, пока не гаснут маяки...

ГЛАВА ПЯТАЯ

Ребята один за другим уходили с поляны. У огня осталось человек десять. Костер прогорел, головешки стреляли пучками желтых искр и рассыпались на красные кубики.

Володя долго смотрел на угли, и, когда оторвал взгляд, в глазах затанцевали зеленые бабочки. Потом они растаяли, и Володя увидел черные березы. Над березами висел тонкий светлый месяц. Вдруг месяц начал расплываться, и Володя почувствовал, что слипаются ресницы. Больше всего захотелось добраться до постели и залезть под одеяло.

В палатке он включил фонарик и положил его так, чтобы свет отражался от парусинового потолка. Затем стянул рубашку и бросил на матрац. Не на свой, а на соседний. На Кашкин. И только тут сообразил, что Кашкина постель пуста.

Володя был настолько утомлен, что даже не смог разозлиться. «Пусть... — подумал он. — Никуда этот несчастный Кашка не денется».

Да, но вдруг он все-таки куда-нибудь денется? Забредет в темные кусты и начнет скулить от страха. Или еще что-нибудь... Отвечай потом за него...

Володя чуть не заплакал от усталости и досады. «Чтоб он провалился, этот оруженосец!» Пришлось тащиться к угасающему костру.

Кашка спал у березового пенька. Спал, как на кровати:

подложил под щеку ладони, подтянул к животу перепачканные золой колени и, наверно, видел во сне что-то хорошее, потому что улыбался.

Над Кашкой стояла Райка. Она заметила Володю и сказала жалобно и нараспев:

— Позабыли бедного оруженосца. Бросили маленького.

У Володи пропало желание ругаться. При Райке приходилось быть сдержанным и сильным.

— Я думал, он давно в палатке,— объяснил Володя и взял Кашку за плечо: — Вставай.

— Дождик будет...— пробормотал Кашка и заулыбался во сне еще шире.

Райка тихонько засмеялась.

— Дождик,— сказал Володя сквозь зубы.— А ну вставай! — Он тряхнул оруженосца покрепче.

— М-м...— ответил Кашка и разогнул одну ногу.

— Безнадежное дело,— вмешалась Райка.— Тащить придется.

— Придется...

Кашка оказался легоньким. Володя нес его на руках, как охапку сухих дров. Кашкины волосы мягко щекотали ему плечо, а ноги болтались и колотили пятками по бедру.

— Спокойной ночи,— сказала вслед Райка.

— Угу...— откликнулся Володя.

В палатке он не очень аккуратно брякнул оруженосца на постель и сдернул с него сандалии. Потом посмотрел на Кашкины штаны. Они были вымазаны сажей и землей. А новые простыни светились, как нетронутый снег. Володя чертыхнулся и начал вытряхивать оруженосца из штанов.

Коричневая куколка выпала из Кашкиного карманчика. Это был деревянный Альпинист.

— Смотри-ка ты...— озадаченно сказал Володя.

Маленький путешественник смотрел на него из-под козырька крошечной фуражки. Но ведь Володя ничего не знал.

Он подержал Альпиниста на ладони, аккуратно спрятал его на старое место и опять взялся за спящего оруженосца.

А когда Кашка был наконец уложен, Володя почувствовал, что спать уже не хочется. И вдруг ему стало смешно. По-настоящему смешно. «Рыцарь Фиолетовых Стрел,— сказал он себе.— Рыцарь Пеленок и Сосок. Ну и влип же ты, рыцарь...»

Володя лег поверх одеяла и выключил фонарик. «Провалю завтра всю стрельбу»,— подумал он, однако особого беспокойства не почувствовал.

В палатке звенел одинокий комар. В узкой прорези входа синело ночное небо. Потом туда протиснулся месяц и зацепился за край парусины отточенным рожком. На поляне кто-то под-

осил на угли сухие ветки, и в палатке запрыгали рыжие отблески.

И этот комариный звон, этот месяц и отсветы огня да еще легкий запах дыма отвлекли Володю от мыслей о стрелах, о Кашке, о турнире. Потому что он вспомнил прошлогоднее лето. Вспомнил Белый Ключ. Костры над озерами. Отражение месяца в черной воде. Стрекоз с шестиугольными глазами. Обиды и радости прошлых каникул.

В том году, окончив пятый класс, Володя устроил дома бунт. Когда мама показала путевку с толстощеким лупоглазым горнистом и палатками на картинке, Володя сунул руки в карманы, посмотрел за окно и четко произнес:

— Не поеду.

Он устоял под первой волной упреков, угроз и уговоров. Когда мама сделала передышку, он повторил:

— Не хочу.

— Изверг, — сказала мама. — Эгоист. Я с таким трудом... Вот подожди, придет папа.

Пришел папа, и все повторилось при нем.

В заключение мама попробовала заплакать. Володя держался.

— Может быть, объяснишь, что это за фокусы? — спросил папа.

— Объясню, — сказал Володя. — Объяснить — это пожалуй-

За что я должен мучиться почти целый месяц? В столовую — строем, из столовой — строем, купаться раз в день по пять минут, да и то не всегда. Зато спать по два часа в день — обязательно! За смену это сорок восемь часов. Это двое полных суток, убитых наповал! За что? А палатки только на картинках! Издевательство...

— По его мнению, режим — это издевательство, — сухо сказала мама и отвернулась. Весь вид ее говорил: «Полюбуйтесь, кого мы вырастили».

Володя зажал в себе шевельнувшуюся совесть и нахально сказал:

— Вы нарочно хотите, чтобы я мучился.

Мама сурово выпрямилась и вышла из комнаты. Папа нерешительно спросил:

— Может быть, тебе уши надрать?

— Пожалуйста, — равнодушно откликнулся Володя. — Это не поможет.

— Чего же ты хочешь?

Володя промолчал. У него была ясная цель.

— Ты же знаешь, что с мамой в Кисловодск нельзя, там санаторий для взрослых. Дома одному — тоже не жизнь.

Володя это знал.

— Уж не хочешь ли со мной на раскопки?

Именно этого Володя и хотел. Больше всего на свете. Но вслух это высказать не решился и неопределенно пожал плечами.

— Вовка, нельзя,— тихо сказал папа.— Не разрешат. В прошлом году у одного сотрудника дочка заблудилась в песках, и теперь не разрешают детей брать. Специальный приказ по институту. Разве бы я не взял тебя?

Чувствуя предательскую слезу, Володя шепотом попросил:

— Ты скажи, что мне не с кем остаться.

— Тогда меня отстранят.

Это был тупик.

Тупик, потому что Володя уже поверил, что в лагерь ему действительно очень не хочется.

— Ну, аллах с ним, с лагерем,— решил папа.— Давай так. Ты поедешь в Белый Ключ.

В Белом Ключе жил дядя Юра, папин друг. Он заведовал там школой. Володя его хорошо знал. Это был сутулый, очень высокий человек, похожий на совхозного механика или бригадира-строителя и ничуть не похожий на школьного директора. Иногда он приезжал в город на разные семинары и совещания, и по вечерам Володя и он с молчаливым озорством резались в шашки. Стук стоял такой, будто шла игра в домино. Проиграв очередную партию, дядя Юра потягивался и говорил:

— Силен... Ты, Володька, приезжай к нам в гости. С Надеждой познакомишься. Она, брат, тебе не проиграет,— и опять нагибался над доской.— А ну давай...

Знакомство с неизвестной Надеждой не казалось Володе заманчивым, но сейчас выхода не было.

Маме доказали, что Володя не маленький и до Белого Ключа доедет один.

Он действительно доехал благополучно, дал со станции домой телеграмму, быстро отыскал дом дяди Юры, был встречен, накормлен обедом и — заскучал.

Дядя Юра, занятый ремонтом школы, исчез из дома. Надежды тоже не было. Ее бабушка, небольшая старушка сурового вида, погромыхивала в кухне сковородками.

Володя сидел в незнакомой комнате, чувствуя неловкость от своего безделья и от того, что он, кажется, лишний в этом доме. С горькой печалью вспоминал об отвергнутой лагерной путевке.

К счастью, вернулся дядя Юра. Заглянул в комнату и весело приказал:

— Володька! Долой кручину! Обживешься, познакомишься, дело найдешь! А пока шел бы, погулял. Поселок посмотришь. Может, с нашими хлопцами знакомство заведешь.

Володя с облегчением ушел из дому. Он двинулся наугад, и улица привела его к большому пруду с берегами, поросшими черемухой и ольшаником. Володя продрался к воде. Он разулся и побрел вдоль берега, отыскивая место, годное для купания. Но везде было топкое илистое дно и угрожающе торчали зеленые клинки осоки.

— Болото,— сказал Володя.

В трясине одобрительно заорали лягушки. Володя плюнул, ушел от пруда и уже другой дорогой вернулся к дому.

На крыльце Володя увидел девчонку. Она остервенело терла мокрой тряпкой ступени. Короткая тощая коса сердито моталась у ее плеча.

«Надежда»,— понял Володя.

Здороваться с незнакомой девчонкой было неловко. А знакомиться с девчонками Володя не умел. Можно было бы тихонько уйти и погулять, пока Надежда моет крыльцо, но Володя не успел. Она его заметила. Быстро глянула на него из-под нависших прядей, отвернулась, выжала над громадным ведром тряпку и снова принялась безжалостно драить половицу.

И нельзя уже было отступать. Смешно. Тогда Володя решил, что пройдет в дом, не сказав ни слова. Не обратит никакого внимания. В конце концов, он не обязан обращать внимание на всяких лохматых злюк. А то, что она злюка, сразу видно. Вон как чешет тряпкой!

Володя сделал равнодушное лицо и зашагал к дому. Широко и независимо. Но у крыльца он все-таки остановился. Желтые мокрые доски просто светились от чистоты. Страшно было ступать на них пыльными подошвами. И чтобы не оставлять лишних следов, Володя решил прыгнуть сразу на верхнюю ступеньку.

И прыгнул.

Это был отличный прыжок. Быстрый такой и красивый. Как у спортсмена-разрядника. Но спортсменам не суют под ноги тяжелые ведра. А ему сунули. Раздался железный грохот и шум воды.

Володя стоял наверху, Надежда на средней ступеньке, а ведро лежало на земле и перекатывалось с боку на бок. По желтым половицам бежали мутные струи.

— Слон,— тихо, но отчетливо произнесла Надежда.

— Я нечаянно,— сказал Володя виновато, но с сердитой ноткой. Он здорово трахнулся о ведро ногой.

— За «нечаянно» бьют отчаянно,— заявила Надежда. Она, кажется, обрадовалась, что можно прицепиться.

А Володя почувствовал облегчение: как-никак знакомство началось. Он объяснил этой девчонке почти дружелюбно:

— Я думал, успею проскочить, пока ты ведро двигаешь.

— За «пока» бьют бока,— неумолимо ответила Надежда.

Бросила на Володю сверхпрезрительный взгляд и принялась тряпкой собирать со ступеней воду.

Или у нее были неприятности, или такой дурацкий характер?

Володя плюнул через перила и прислонился к косяку. Усмехнулся.

— Ты что-то все про одно и то же. Все «бьют» да «бьют». Ты, что ли, бить будешь?

— Ладно, топай отсюда,— сказала она, не разгибаясь.

— Захочу — уйду, захочу — не уйду. Не к тебе приехал.

Надежда выпрямилась и глянула на Володю с некоторым интересом. У нее были узкие светлые глаза и белое широкое лицо. Круглое, словно донышко от кастрюли. Совсем не годилось ей такое лицо, потому что сама Надежда была тонкая, вернее, худая и ростом не маленькая. Наверно, с Володю.

Смотрела она молча секунды три. Потом произнесла чуть нараспев:

— Па-адумаешь! Не ко мне он приехал...

— А вот па-адумай.

— Больно надо. Ходят тут стилиаги всякие... Полуштанник расписной!

Она, видимо, намекала на его шорты с блестящими заклепками и новую рубашку в большую черно-желтую клетку. Ну и что? Не сам же он клепки ставил и клетки малевал! Или, может, ему в лохмотьях надо было приехать? Он даже не разозлился. Растерялся как-то.

— Вот... дура ненормальная.

Она подбоченилась и ехидно спросила:

— А бывают нормальные дуры?

— Бывают,— обрадованно сказал Володя. Теперь он знал, как ответить.— Бывают. Это которые знают про себя, что они дуры, и никуда не суются. А ненормальные считают себя умными. Это вроде тебя...

Трах! Показалось Володе, что с крыши сорвался железный лист и плашмя хлестнул его по щеке. Но это не лист. Это была Надеждина ладонь, мокрая и твердая. И в тот же миг Надежда кошачьим прыжком отскочила шагов на пять.

— Слопал блин? Еще хочешь? Ы-ы-ы...— Она выставила язык, свернутый в аккуратную трубочку. Лицо у нее сделалось продолговатым, а глаза совсем спрятались в щелочках белесых коротких ресниц. Вдруг она повернулась и побежала к калитке.

Володя, прищурившись, смотрел ей вслед, а руки его действовали сами собой. Молниеносно отыскали в заднем кармане рогатку, одним рывком распутали резину. Нашупали в другом кармане глиняный шарик. Володя даже и не думал, что может промахнуться. Он точно знал, что влепит ей твердую глиняную

пулю между лопаток, прямо по тому месту, где колотится растрепанный конец тощей косы. И тогда девчонка завертится, взбрыкивая худыми ногами, и завоюет на весь Белый Ключ.

И он бы попал! Но проклятая Надежда споткнулась и полетела носом в лопухи. А шарик свистнул над ней и угодил в корчагу. Эта посудина стояла на перевернутой бочке, сохла после мытья. Получив глиняный заряд, она как-то неловко крикнула. От маленькой черной дырки вверх и вниз разошлись змеистые трещины, и корчага лопнула, как громадная оранжевая почка. Одна половинка осталась на бочке, а другая плюхнулась в траву.

Надежда встала, отряхнула подол и многозначительно сказала:

— Т-так...

Володя спустился с крыльца и молча прошел в калитку. Мимо Надежды. Ни на нее, ни на разбитую посудину он даже краем глаза не взглянул, но на душе было тошно. Он подумал даже, что хорошо бы махнуть на все рукой и прямо сейчас, не заходя за вещами, укатить домой.

За стационарными березами обрадованно закричал электро-воз. Володя сунул руку в карман и нащупал один пятак и шесть глиняных шариков. В другом кармане было три шарика. В третьем... В общем, карманов было много, а денег — пять копеек. Остальные лежали в чемоданчике, а он стоял в доме.

Володя почти час бродил по улицам Белого Ключа. Они заросли подорожником и одуванчиками. Даже в пыльных колеях упрямо торчали острые травинки. Было тихо и пусто. Прохожие встречались редко-редко. Только по тропинкам вдоль заборов сновали деловитые коты, а по дороге вереницами ходили белые утки.

На плетнях висели рыжие блестящие кринки и напоминали Володе о неприятности с корчагой. На одну из кринок неизвестно откуда взлетел тощий петух. Потоптался на шатком донышке, наклонил голову и одним глазом укоризненно уставился на незнакомого городского мальчишку: «Ага! Значит, это ты бьешь посуду из рогатки! Ну-ну...»

— Пошел вон, дохлятина,— сказал ему Володя.

Петух оскорбленно заорал, захлопал крыльями и свалился в лебеду.

Улицы поселка сходились на площади. Впрочем, это место лишь называлось площадью, а на самом деле там был невысокий зеленый бугор. На нем росли редкие, наклонившиеся в разные стороны березы, на самом верху стояла большая красная церковь без креста. Володя подошел и увидел синюю вывеску: «Клуб».

По обеим сторонам каменного крыльца стояли фанерные щиты для рекламы. На правом белела новая афиша: «Концерт артистов областной филармонии. Ю. Жаров, С. Шалимов, П. Пяткин — эстрадное трио. Л. Чарский — оригинальный

жанр. А. Якоби — песни советских и зарубежных композиторов...»

Все это было совсем неинтересно. Володя вздохнул и повернулся к левому щиту. Щит был пуст. На некрашенной фанере кто-то размашисто написал мелом: «Антипов! Когда кино привезешь?» А пониже виднелись нацарапанные кирпичом слова: «Антип — нахальный тип». Буквы были неровные. Видно, тот, кто писал, торопился ужасно.

Хорошо, когда надо торопиться. А Володе спешить было некуда. Хоть совсем не возвращайся в дом, где живет вредная лунолицая девчонка... Но он вернулся. Очень захотелось есть, да и все равно весь день бродить не будешь.

Он пришел в самый неподходящий момент! Во дворе разбирался вопрос о разбитой корчаге. Разбирала его бабушка. Надежда сидела на крыльце и равнодушно смотрела поверх забора. Дядя Юра у дверей насаживал топор на топорище и внимательно слушал бабушкину речь.

— Корова бессовестная, неуклюжая! Глаза бы мои не глядели,— громким плачущим голосом говорила бабушка, но лицо ее было не жалобным, а суровым.— В чем я тесто буду ставить, а? Ну, в чем? А, молчишь! Нечего глазищами-то по небу рыскать, отвечала бы лучше! Думала, угощу мальчонку пирогом, а тут вон чего!

«Не до пирога уж, быть бы живу»,— отметил про себя Володя. Он остановился в калитке, с опасением глядя на сердитую старушку.

— Обойдется он без твоего пирога,— сказала отвратительная Надежда и зевнула.

— «Обойдется»! Это ты обойдешься! Где я такую посуду найду? Ее и в городе теперь не сыщешь! — Бабушка горестно склонилась над черепками.— Большая да крепкая была...

— Крепкая...— с презрением бросила Надежда.— Чего ж она с одного щелчка развалилась?

— Со щелчка! — вскипела бабушка.— Голову бы свою щелкала такими щелчками. Разбила и сидит, будто и дело не ее!

— Если кто-то думает, что я буду рыдать из-за разбитого горшка, так это просто смех,— сказала Надежда.

— Горшка! — ахнула бабушка.

— Ну и фрукт же ты, Надежда,— подал голос дядя Юра.— Возьму я в одну руку твою косу, а в другую этот веник...

Надежда стрельнула глазами в его сторону и слегка напружинила ноги.

— Если кто-то думает, что меня можно догнать, так это просто смех.

— А если кто-то думает, что пойдет сегодня в клуб на концерт, так это просто хохот,— заключил дядя Юра.

— Ну и ладно,— заговорила Надежда.— Подумаешь! Боль-

ю мне надо всяких фокусников смотреть... Будто я нарочно ее разбила! Ну и ладно, идите сами в свой клуб.

«Кислое дело,— подумал Володя.— Ждать дальше некуда».

Вздыхнув про себя, он оттолкнулся плечом от калитки и заговорил:

— Врет ведь она, дядя Юра. Эту посудину я расколотил.

Дядя Юра воткнул насаженный топор в чурбак и распрямился.

— А, вернулся,— сказал он.— Ну, как погулял?

— Нет, в самом деле я,— повторил Володя.— Из рогатки печально. Я хотел в нее попасть.— Он мстительно кивнул в сторону Надежды.— Прицелился, а ее угораздило на ровном месте запнуться.

— Ишь ты какое дело,— с интересом сказал дядя Юра.— А чего вы не поделили?

— Да так. Ерунда...

— Все одно через нее это,— вмешалась бабушка.— Кто же это в хорошего человека станет из рогатки пулять?

Надежда поднялась и гордо ушла в дом.

Идти вечером в клуб она отказалась. Володя подумал и тоже не пошел. На концерт отправились дядя Юра и мать Надежды, которая вернулась с дежурства на почте.

Бабушка заняла у соседей корчагу и заводила на кухне тесто.

Володя вышел на крыльцо, не зная, куда себя девать. Надежда кормила кур. Она покосилась на Володю, хмыкнула и сказала:

— Заступник какой... Цып-цып-цып, жрите вы, прорвы... Больно мне надо, чтобы за меня заступались. Кажется, я никого не просила вмешиваться...

— Я не ради тебя вмешался, а ради собственной совести,— знушительно сказал Володя.

— Па-адумаешь! Ради совести!

— Ты па-думай. Полезно,— ядовито предложил он и с бестокойством вспомнил, что разговор днем начинался так же и кончился печально. «Фиг с тобой,— решил Володя.— Буду молчать».

Надежда вдруг разогнала кур и сказала:

— Айда на пруд. Искупаемся.

— Мне не жарко,— сухо ответил Володя.

— Простудиться боишься?

— Да где там у вас купаться? Трясина кругом!

Он думал, что Надежда опять разозлится. Но она миролюбиво объяснила:

— Ты не туда ходил. Надо к плотине. Там вода прозрачная и дно с песком. Пойдешь?

— Ну пойдем.

Они шагали сначала молча, а потом завели отрывистый, но

уже не сердитый разговор: «В этом доме у нас библиотека». — «Хорошая?» — «Да так...» — «Тихо у вас». — «Здесь не город». — «Конечно». — «Сейчас к тому же все в клубе». — «Ты зря не пошла». — «А ты?» — «Не хочется». — «И мне...»

В конце пути уже позабылась ссора, и Володя подумал, что Надежда — девчонка неплохая, только характер у нее не очень.

Было около семи часов вечера. Солнце стояло еще высоко и до дна просвечивало зеленую воду. На дне тускло блестели песчинки. Вода сонно ворчала под плотиной и, пробившись через нее тонкой струйкой, прыгала в заросшее русло ручья. Пахло сырым деревом и разогретой травой. Кусты обступили пруд вплотную, и в этой зеленой тишине хотелось почему-то говорить шепотом.

— Можно с берега заходить или с плотины прыгать, — вполголоса заговорила Надежда. — Наши мальчишки прыгают с плотины. Только там опасно: колья торчат.

«Надо же! «Наши мальчишки»!» — подумал Володя. Он разделся и пошел на середину плотины, цепко ощупывая босыми ступнями шершавые бревна. Надежда торопливо сказала вслед:

— Мне неохота в воду лезть. Я сегодня три раза купалась.

Володя остановился над водой. Глубина казалась порядочной. Колья, торчащие со дна, были отлично видны. Володя присел, распрямился и по дуге ушел в воду.

На глубине он открыл глаза. В мутно-зеленом сумраке колья чернели, как костяк громадной рыбы. Поверхность воды снизу казалась блестящей и непрозрачной. Володя пробил ее головой и неторопливо поплыл к берегу. Выбрался и запрыгал на крохотном песчаном пяточке, чтобы вытряхнуть из ушей воду. Ресницы были мокрые, и Надежду он видел расплывчато, будто сквозь стекло, залитое дождем.

— Хорошая вода, — сказал Володя. — Только болотом отдаст немного.

— Мы привыкли... Зато здесь рыба водится. Наши мальчишки все время рыбачат... А в городе река большая?

— Конечно. У нас же судоверфь громадная.

— Поглядеть бы, а? — как-то по-хорошему, доверчиво сказала Надежда.

— Разве ты никогда в городе не была?

— Была, конечно. Только все как-то мельком. Ну, в театр, в музей сходишь, и домой пора...

— Ты приезжай, — предложил Володя и сел рядом. — У нас теперь летний трамплин построили. Планетарий скоро откроют. Пристань новую строят, чтобы танкеры с нефтью принимать. Это тебе не музей.

— Я постараюсь, — пообещала она. — Только тут у нас тоже места хорошие. Вот увидишь.

— А почему такое название — Белый Ключ?

— Скала есть за поселком. Она не совсем белая, но светлая. Светло-серая. Рядом родник. Вот и название такое, старинное. Потом сходим туда, если хочешь.

— Сходим...

Жизнь как будто налаживалась. Все теперь нравилось Володе: и тишина, и пруд с россыпью солнечных бликов, с зеленой тенью у плотины, и притихшая Надежда, и даже болотный привкус теплой воды.

Затрещав слюдяными крыльями, прилетела стрекоза и села Володе на локоть. Она была блестящая, красная, с оранжевыми крапинками на крыльях.

— Смотри-ка ты! Никогда таких не видел,— удивился Володя.— Черных видел, голубых, зеленых, а таких — ни разу.

— У нас их сколько хочешь,— оживилась Надежда.

Держа локоть со стрекозой на весу, Володя разглядывал эту живую модель аэроплана.

— Ну и глазищи... Смотри, в них солнце отражается.

— Ага,— отозвалась Надежда.

— Ты погляди, оно не кружками отражается, а шестиугольниками. Знаешь, почему?

— Ой, верно! Почему?

— У нее каждый глаз из мелких глазков состоит. Как будто из ячеек таких шестиугольных. Вот и отражение такое. Это мне один семиклассник рассказывал. Борька Тимофеев. Он в нашем доме живет.

Надежда молчала. Она прислушивалась. Володя снова перевел взгляд на стрекозу и тряхнул рукой:

— Старт!

Крылатая гостья с треском ринулась в полет.

— Стрекоза — шестиугольные глаза...— с усмешкой сказал ей вслед Володя.

И услышал:

— Вранье это...

Голос у Надежды был злой и скучный. Она стояла теперь и враждебно смотрела на Володю сверху вниз.

— Врет твой Борька Тимофеев! — громко повторила она.— И ты врешь! Думаешь, из города приехал и можешь про что хочешь трепаться?! Звонарь несчастный!

Она по-кошачьи отпрыгнула и скрылась в кустах, только ветки закачались. Володя ошарашенно посмотрел на эти ветки и запоздало крикнул:

— Пиявка тебя, что ли, укусила?!

Особой злости он не почувствовал. «Дикая какая-то,— решил он.— Не поймешь, с чего взорвалась. Ну ее...»

Уходить от пруда не хотелось. Он посидел еще полчаса, просто так, ни о чем особенном не думая, а потом оделся и лениво побрел к дому.

...На полпути он и встретил тех, которые хотели его бить.

Они шли сомкнутой шеренгой. Володя почувствовал смутную тревогу и на всякий случай свернул к забору. Но они, тоже будто случайно, перешли с дороги к самому краю улицы. Больше влиять было нельзя: и неловко, и бесполезно. Володя вздохнул, принял беззаботный вид и неторопливо двинулся навстречу опасности.

Опасность состояла из четырех человек. В середине шагали двое мальчишек Володиного возраста или чуть постарше. Один, белобрысый и толстогубый, был в голубой майке, прожженной на животе, и в обтрепанных лыжных штанах. Он показался Володе добродушным и не очень опасным. Зато второй, высокий темноволосый мальчишка, отутюженный и стройный, как граф Монте-Кристо, не понравился Володе совершенно. Он шел, лениво покусывая какой-то трубчатый стебель, и, кажется, смотрел на Володю с холодным любопытством. Будто на бабочку для коллекции, для которой уже готова булавка.

По сторонам от этих двух шли пацаны поменьше. Оба рыжие, но не одинаковые. Один — с волосами медно-красного оттенка, толстощекий и коренастый. Второй — золотисто-желтый, с большим, как полумесяц, ртом и длинными, тонкими, словно бамбуковые удочки, ногами.

В голове у Володи совсем некстати запрыгали строчки забытого стихотворения:

Четверка дружная ребят
Идет по мостовой...

Дружная четверка приближалась с неторопливостью уверенного в удаче хищника. Володя тоже не спешил. Но все-таки они двигались, и наконец остался промежуток всего в пять шагов. Тогда «граф Монте-Кристо» сказал:

— Стой.

Неизвестно, кому он скомандовал: своим ребятам или Володе. Остановились все.

Белобрысый мальчишка в прожженной майке ощупал Володю светло-голубыми глазами и неторопливо спросил:

— Это ты, что ли, к Веткиным из города приехал?

Володя постарался спрятать за насмешливым тоном острую настороженность.

— Я, что ли... А что?

— Мы тебя сейчас лупить будем, — сообщил «граф». — Если у тебя оправдания какие-нибудь есть, давай говори. — Голос у него был басовитый и мрачный.

Оправданий Володя не имел. Был у него вопрос:

— За что?

— Ты ваньку не валяй, — сказал «граф». — Смотри, Юрка, он будто и не знает.

Голубоглазый Юрка спросил в упор:

— Ты Надьку зачем задеваешь?

«Ябеда, предательница!» — подумал Володя и ответил:

— Что-то не помню.

— Ну, сейчас припомнишь, — пообещал Юрка. Рыжие адъютанты выжидательно глянули на своих командиров: «Уже начинать?»

«Туда же, малявки», — беззлобно подумал Володя.

Сзади была пустая дорога, и Володя знал, что никто его не задержит и никто не догонит. Но бежать по улице и думать, что, может быть, из каждого окна с насмешкой и любопытством смотрят на это незнакомые жители Белого Ключа!..

А не бежать — излупят.

— Когда я ее задевал? — хмуро спросил он.

— Он ее утром два раза бил и вечером один раз. И стрелял из рогатки, — доложил Юрке медноволосый. При этом на Володю он не смотрел и жевал большое желтое яблоко.

Интересно, где он достал такое яблоко в июне?

— Вранье же это, ребята! — самым искренним тоном сказал Володя. — Ну зачем я ее бить буду? Только из рогатки один раз, да и то мимо. И она же первая виновата!

— Гляди, как выкручивается! — сказал тонконогий мальчишка голосом писклявым и беспощадным.

Юрка втянул воздух и решительно поддернул штаны, давая понять, что разговор кончен.

— Четверо на одного? — спросил Володя и подбоченился. Не для фасону, а для того, чтобы легче было скользнуть правой ладонью в задний карман.

— А че? — поинтересовался «граф». — Нельзя?

— Даже семеро, — сказал Володя. — Вон еще к вам пополнение ползет.

Хитрость удалась. Они оглянулись, и Володя успел отскочить еще шагов на пять. А когда разозленные мальчишки развернулись для нападения, он уже стоял с растянутой и наведенной рогаткой. Он знал, что делает, но выхода не было.

— Ну, — сказал он, волнуясь. — Что встали? Давайте! Я успею выстрелить два или три раза. Два — это точно. Врежу между глаз без промаха. Так что двое — сразу с копыт. А с остальными видно будет.

— А если смажешь? — неуверенно спросил «граф».

Остальные промолчали, беспокойно поглядывая на Володино оружие.

— Ты, рыжий, подбрось яблоко, — резко сказал Володя.

— Зачем?

— Подбрось. Успеешь еще сжевать. Выше бросай.

Хозяин яблока вопросительно глянул на Юрку, но тот не отрывал взгляда от рогатки.

— Ну, бросил...— Яблоко темным мячиком взлетело в вечернее небо.

Резина щелкнула с резкостью пастушьего кнута. Яблоко в небе дернулось, и от него отлетел осколок. Потом яблоко упало на дорогу, и четверо мальчишек бросились к нему. Володя обошел их и зашагал к дому, на ходу перезаряжая рогатку. Он шел и очень боялся услышать за собой топот. Но топота не было.

Надежда оказалась дома и вела себя так, будто ничего не случилось. Расспрашивала родителей про концерт и жалела, что пришлось им смотреть такую сонную дребедень. Улыбалась Володе, когда ужинали, и подливала ему в кружку холодного молока.

— Все в порядке? Дипломатические отношения установлены? — спросил дядя Юра.

— На высшем уровне,— сказал Володя.

Надежда улыбалась.

— Слушай, Надя,— сказал Володя,— есть тут такой Юрка. Ходит в майке с дырой на пузе. Как его фамилия?

— А, это, наверно, Перевозчиков,— невинным голосом откликнулась Надежда.— А что?

— А ничего,— нежно сказал Володя.— Привет тебе от него.

Перед сном он вышел за калитку, сдернул с рогатки резину и забросил ее в крапиву. Потом зажал в кулаках гладкие деревянные рожки и рванул их в разные стороны. С громким хрустом рогатка разломилась. Это было очень грустно, однако ничего другого сделать Володя не мог. Еще в прошлом году, когда появилась опасность, что Большая Игра перерастет в Большую Войну, Володя вместе с другими мальчишками пообещал, что не поднимет рогатку ни на человека, ни на зверя, ни на птицу. Это случилось на берегу ручья, когда Сережа Вересов поднял с земли своего белого почтаря, перемазанного кровью, и, ничуть не скрывая слез, сказал:

— Сперва в голубей стреляете, потом в людей будете? Фашисты...

Вот после такого случая обе стороны и приняли «Закон об оружии».

А сегодня Володя нарушил этот закон дважды...

Утром Володя вышел на улицу.

Больше всего на свете в любых делах он не терпел неясности. Поэтому все неприятные вопросы старался решать как можно быстрее. Жить так было спокойнее и проще.

Сейчас его беспокоила мысль о здешних мальчишках. Драться с ними со всеми он не мог. А жить здесь целый месяц и прятаться все равно нельзя. Глупо это. Хуже всего именно то,

что это глупо и смешно. Через несколько дней все ребята со смехом будут говорить, что в доме Веткиных живет новый мальчишка, которого надо поймать и отлупить. Многие даже не спросят, зачем это надо.

Может, и не поймают, но от насмешек все равно не скроешься, а они страшнее кулаков...

Володя шел серединой улицы, зорко поглядывая по сторонам. Он ступал неторопливо и твердо, как человек, уверенный в своей безопасности.

Но улица была пуста.

Лишь в следующем квартале он увидел первого местного жителя. Житель этот, лет пяти или шести, в длинных, разломаченных внизу штанах и голый до пояса, сидел на верхнем бревне золотистого нового сруба. Он был погружен в мысли.

— Эй! — окликнул Володя. — Ты там что делаешь?

— Сижу, — последовал ответ.

— Высоко там у тебя?

— Ага.

— А дом, где Юрка Перевозчиков живет, тебе видать оттуда?

— Его откуда хочешь видать, — сообщил местный житель. — Вон он, ихний дом, с ведром на трубе.

— Ясно. — Володя направился к дому с ведром на трубе.

— Драться будете? — оживился малыш. Видно, он был в курсе дела.

— Там посмотрим, — откликнулся Володя.

— Я отсюда буду глядеть, — сообщил мальчишка.

Володя двинулся вдоль низкого, сколоченного из березовых жердей забора и неожиданно увидел во дворе Юрку. Тот вытаскивал из сарайчика рогатые деревянные козлы, на которых пилят дрова. Юрка тянул их за «рога», и козлы упирались нестругаными ногами, как живой упрямый козел.

Володя взялся за березовую жердь и махнул через ограду. Юрка воевал со зловредным деревянным зверем и ничего не заметил. Володя остановился у него за спиной.

— Привет, — сказал он.

Юрка обернулся, медленно разгибаясь и опуская руки. Он заулыбался растерянno и даже виновато.

— Здорово... — наконец ответил он. — Ты как это... не через калитку.

— Да так вот. Через забор, — не отвечая на улыбку, объяснил Володя. — Поговорить надо. Время есть?

— Да... есть...

— Ну вот... Тогда слушай, — начал Володя, старательно подбирая слова. — Я здесь буду жить целый месяц. Драться с вами мне неинтересно. Вас много... Я не боюсь, но получится плохо: вы меня каждый раз станете разделять так, что будь здоров. Приеду я такой разукрашенный домой... Ну что я на-

шим ребятам скажу? Они же не поверят, что тут все на одного нападают. Они до сих пор про такое свинство не слышали. В общем, если хотите, давайте один на один. По очереди.

Во время этой речи Юрка неуверенно моргал и все время хотел что-то сказать. А когда Володя кончил, он опять растянул в улыбке толстые губы и махнул рукой.

— Да брось ты это... Мы же просто так. Мы сперва не тебя, а Надьку бить хотели, а она повстречалась и разнылась. Говорит, мне от приезжего Володьки и так досталось, а тут еще вы. Говорит, заступились бы лучше... Мы и пошли заступаться. Ее-то мы всегда отлупить успеем.

— А за что? — с облегчением спросил Володя.

— За многое, — сказал Юрка и снова яростно вцепился в деревянного зверя.

— Подожди, — вмешался Володя. — Надо набок повернуть, а то не пролезет. Давай... А, черт, по ноге въехало. Вчера этим же местом об ведро треснулся...

Юрка, поднатужившись, притащил березовое бревнышко, принес из сарая пилу. Одну ручку пилы начал приматывать к старой диванной пружине, прибитой к стене.

— Техника, — объяснил он с неловкой усмешкой. — Может, полегче будет.

— Еще не пробовал?

— Не пробовал. Вчера только придумал.

— Ну и плюнь на эту технику. Ничего не выйдет. Я дома тоже устраивал. Все зря.

— Разве у вас дома тоже печка есть?

— Раньше была. Потом новую квартиру получили, с батареями.

— Да еще небось газ? А тут, чтоб обед сварить, и то пилишь, пилишь...

— А ну, давай, — сказал Володя.

Пилили молча. Тайком испытывали силу друг друга. Когда бревно распалось на два чурбака, Юрка заметил:

— А стреляешь ты классно.

«Отстрелялся теперь», — подумал Володя. И сказал:

— Тренировка.

— Долго тренировался?

— С прошлого года... Игра такая была. У нас в квартале три дома, и наш как раз посередине. А из тех домов ребята против нас были. Им между собой надо связь держать, а мы не даем. Тогда они придумали бутылки с записками по ручью пускать. Есть позади дома овражек с ручьем. Сначала еще почтовых голубей посылали, да не вышло, вот они и придумали эти записки. А с нашей стороны к ручью не подойти: берег высокий и скользко. Весна была. Тогда и пришлось нам тренироваться, бутылки в воде расстреливать...

— Ловко,— одобрил Юрка. Покатал ногой березовый чурбак и спросил: — Ты на наших озерах не был?

— Нигде я еще не был...

— Завтра пойдем,— предложил Юрка.— У нас маленький бредешок есть. Он самодельный, из мешковины, да ничего, таскать можно. Караси с тарелку попадают...

И в эту секунду, наверно, волшебник, который командует временем, сорвал какую-то пружину. Время рванулось и понеслось, как лыжник с трамплина. И когда Володя вспоминал потом Белый Ключ, ему казалось, что все события произошли за один день, только день был долгий. И вспоминалось все не по порядку: стук дождя по перевернутой лодке; костры и маленькие золотые караси; месяц, тоже похожий на золотого карасика; вечерние улицы поселка и стремительный бег по огородам — игра в разведчиков; хохот в полутемном клубе: киномеханик Антипов пустил ленту задом наперед; звонкие удары по мячу; хриловатый шепот Кольки Пальмина — «граф» рассказывает на сеновале страшную историю... И опять костры, отражение месяца, черные вершины леса...

И Надежда.

Была она какая-то разная. То гоняла футбол с мальчишками и ходила на рыбалку, то вдруг вскипала не из-за чего и, отругав ребят, убегала домой. То вдруг начинала жаловаться Володке на остальных мальчишек и на свою скучную жизнь. А потом опять как ни в чем не бывало мчалась вместе со всеми в клуб, чтобы захватить в кинозале места получше. А когда помогали ремонтировать школу, взяла и вдруг мазанула Володю по щеке голубой масляной краской. А кисть была большая, шириной в ладонь...

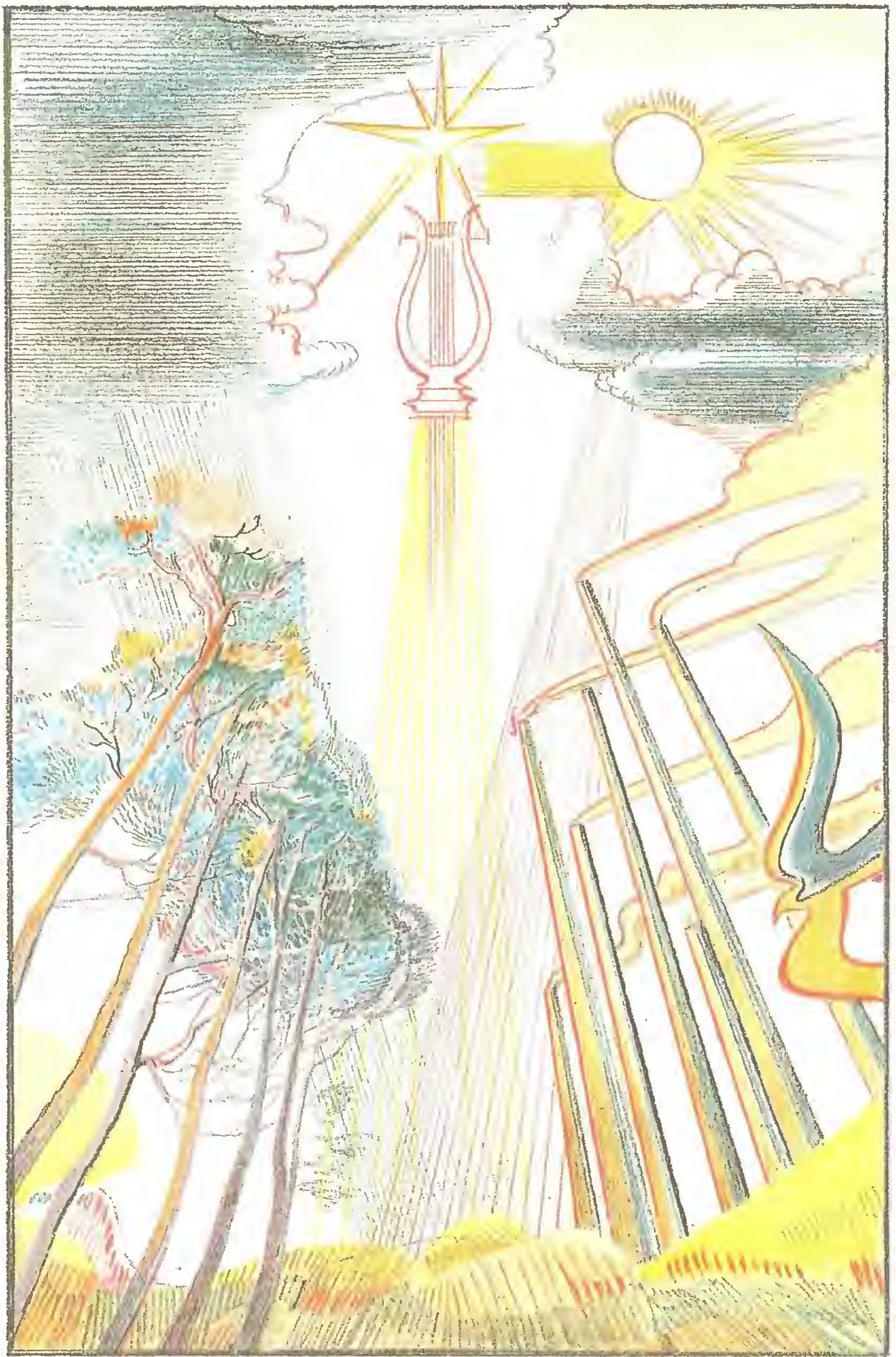
И все-таки Володя вспоминал об этой девчонке без обиды. Попрощались они хорошо, и Надежда шепотом попросила:

— Ты еще приезжай...

А осенью он получил письмо.

Здравствуй, Вовка!

Ты не сердись, что я все время ссорилась, ладно? Это я из-за Катьки. Она такая дура. Я боялась, что она смеяться начнет, что мы все время вместе. Помнишь, когда мы на пруду сидели, когда ты только приехал, я разозлилась и убежала. Это я Катькин голос в кустах услышала и думала, что она следит за нами. Это глупо, конечно. Надо было ее отлупить, вот и все. А когда ты уехал, я шла со станции и Катьку встретила. Я думала, она смеяться будет, что я тебя провожала, а она стала вздыхать и говорит, что хорошо, что ты уехал, а то она боялась в тебя влюбиться. Вот дура! Верно? Без тебя скучно. Ты приезжай на будущий год, все ребята про тебя спрашивают, и я говорю, что приедешь...



Это было такое письмо, будто и не девчонка писала. Без хитрости и ужимок, честное. И Володе вдруг так захотелось опять в Белый Ключ! Больше всего на свете захотелось. Если бы его тогда спросили, куда он больше хочет: в кругосветное путешествие или в Белый Ключ, он бы, наверно, махнул рукой на кругосветное путешествие.

Володя дочитал письмо и засмеялся. Он подумал, что даже не помнит, что это за Катька, о которой пишет Надежда.

А поехать на будущий год в Белый Ключ не удалось. В мае у Надежды умерла бабушка, и, конечно, Веткиным было не до гостей.

Володя уехал в лагерь «Синие камни». Он оказался здесь впервые, и ему даже понравилось. Лагерь был небольшой. Никто не гонял ребят строем в столовую и на прогулку. Никто строго не следил, чтобы спали в тихий час. По-настоящему запрещалось только то, что действительно было опасно: купаться в одиночку и уходить далеко в лес. Река крутила воронки, а лес чем дальше, тем делался глуше и темнее.

Воспитателей в отрядах не было, были только вожатые. Жизнь у них оказалась нелегкая, и, наверно, поэтому особых развлечений придумать они не могли. Но от скуки никто не страдал, потому что на лагерь накатывали «волны».

И последней накатила стрелковая волна.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Ночью во сне Кашка сбросил одеяло. А утром из росистой травы скользнул в палатку холод и разбудил оруженосца.

Вздрагивая, Кашка натянул одеяло до носа и стал смотреть на парусиновый потолок. Солнце светило сквозь кусты и отпечатывало на палатке запутанный узор ветвей и листьев. Потом на ветке появилась веселая тень воробья. Покачалась и улетела. Это было совсем как кино.

Кашка полежал, согреваясь, откинул одеяло до плеч и повернулся к Володе.

Володя крепко спал, разбросав худые коричневые руки. Кашка подполз на коленках и наклонился над своим командиром.

Сейчас командир не казался таким взрослым и суровым. У него тихо вздрагивали ресницы, а припухшие губы чуть приоткрылись и лицо было немножко жалобным.

«Он хороший, только он вчера рассердился», — решил Кашка. Но тут его взгляд упал на стрелы. Оперенные хвосты стрел пучком торчали из-под Володиной подушки. Пovyше перьев на фиолетовых древках краска была соскоблена, и дерево желтело

неровными полосками. Кашка поежился и торопливо отполз к своей постели. Все вспомнилось...

Но ведь Володя не прогнал его все-таки. Он даже и не ругался почти. И у костра остаться разрешил. У костра было так хорошо... Да, а что случилось потом? Кашка помнил только танцующий огонь и горящие искры в небе...

Он посмотрел на свою одежду, аккуратно сложенную рядом с подушкой. Никогда он так ее не складывал...

Володя зашевелился, повернулся на бок, сунув ладонь под щеку, и улыбнулся, не открывая глаз.

Кашка тоже улыбнулся и выбрался из палатки.

Роса уже высохла, но было еще прохладно. Кашка затанцевал и задергал плечами, однако за одеждой не вернулся: побоялся разбудить Володю.

Рыцарский стан мирно спал под утренним солнцем. Чтобы согреться, Кашка пробежался по кругу. У входа в палаточный городок, привалившись друг к другу, бессовестно дрыхли часовые.

Из центральной палатки вылез заспанный горнист Алешка Званцев в картонной мушкетерской шляпе и красной ситцевой мантии. На изнанке мантии были заметны следы меловых букв: «ДОБ... ПОЖ...» Алешка сердито глянул на малька-оруженосца, расставил ноги и хрипло затрубил.

Часовые ошалело вскочили и вытянулись.

Начинался турнирный день.

Сначала слышалось повизгивание блоков, потом из-за кустов появлялся олень. Он пересекал поляну и через несколько секунд скрывался в чаще.

Красный фанерный олень... Он скользил по проволоке ровно и не так уж быстро. Попасть было нетрудно. Однако с первого выстрела Володе не повезло.

Нет, он не промахнулся. Фиолетовая стрела красиво ударила в длинную оленью шею. Она пробила фанеру насквозь и осталась торчать, покачиваясь вместе с оленем. Выглядело это великолепно, и над кустами вознесся восторженный рев болельщиков. Но Володя-то знал цену этому выстрелу!

Он целился не в шею. Глупо было бы рисковать ради красивого попадания. Володя хотел вогнать стрелу прямо в корпус, но она скользнула выше и лишь случайно воткнулась в тонкую шею оленя. Это было все равно что промах. По крайней мере для Володи. Уверенность ушла от него, и, взяв из рук оруженосца вторую стрелу, Володя уже не знал, попадет ли она в цель.

Обидно! Если бы это случилось раньше, когда еще стреляли по круглым мишеням, Володя бы и не переживал. Ну, проиграл

и проиграл. Победа казалась тогда еще далекой и недоступной. Райка успела выпустить одиннадцать стрел и выбила восемьдесят шесть очков. А Юрка Земцов, совсем неожиданно, восемьдесят пять. Догнать их казалось невозможным. Но Володя потом догнал. За счет скорости. Он шел очко в очко с хладнокровной, не знающей промаха Райкой. И поэтому волновался. Если бы отставал — наплевать. Если бы обогнал — значит, и переживать нечего. Но сейчас все решал олень, решали последние выстрелы. И тут дрогнула рука.

Вторая стрела вообще не задела оленя. Зрители растерянно запереговаривались.

«Мазила косорукий. Мусорщик, а не стрелок», — обессиленно обругал себя Володя.

Ему не нужны были почести победителя. По крайней мере сейчас он чувствовал, что не нужны. Обидно было другое: проиграть в последний момент, проиграть из-за того, что стали противно вздрагивать локти и пропала точность, словно лук стал чужим, а расстояние до мишени неизвестным.

«Псих», — сказал он себе, но это не помогло.

Володя потянулся за третьей стрелой и увидел глаза Кашки.

Кашка нес свою службу исправно и неутомимо. Помогал менять мишени, ловко подавал на растопыренных пальцах стрелы, а когда кончалась очередная стрельба, не дрогнув, бросался собирать их в зарослях шиповника и крапивы.

Он машинально расчесывал изжаленные ноги, машинально жевал принесенные из столовой бутерброды и не слышал ничего, кроме упругих щелчков спущенной тетивы, шороха стрел, ударов жестяных наконечников о мишени да еще шелеста травы, если стрела пролетала мимо цели. И только одного хотел Кашка в тот день: чтобы как можно меньше Володиных стрел шелестело в траве.

Когда в руках Володи растягивался длинный, тонкий лук, в Кашке тоже что-то натягивалось и дрожало. А когда щелкала тетива, Кашка вздрагивал, и сердце у него срывалось. И в тот короткий миг, пока стрела летела к цели, он много раз успевал повторить про себя: «Попади! Ну попади же! Попади обязательно!» И когда стрела вдруг не слушалась, Кашка смотрел на Володю растерянно и удивленно: «Почему она так?»

Но Володя не видел лица оруженосца. Весь день он видел только его маленькие растопыренные пальцы с фиолетовыми стрелами. Пальцы, которые в нужную секунду подносили стрелу. Ничего другого и не было нужно Володе.

А Кашке нужно было многое, только он сам не догадывался об этом. Ему нужно было, чтобы Володя хоть мельком взглянул

на него и вполголоса сказал: «Молодец, Кашка». Или, может быть, взял бы его за плечо и шепотом спросил: «Не устал?» И тогда бы Кашка отчаянно замотал головой и, крикнув: «Не... Нисколечко!», еще быстрее ринулся бы в колючие джунгли за стрелой, случайно пролетевшей мимо цели.

Но Кашка не догадывался, что ему этого хочется. Это желание было где-то позади другого, самого главного, которое называлось «Володина победа». И Кашка был уверен, что когда Володя станет чемпионом, он обязательно скажет: «Мы с тобой молодцы, верно?» Скажет негромко, чтобы слышали только они двое. Так почему-то казалось Кашке.

«Попади! Ну попади же! Попади обязательно!»

Каждую стрелу он провожал этим заклятием. И губы у него шевелились. Но вслух Кашка не сказал ни слова. Разве можно говорить под руку!

Он видел, что дела у Володи идут неплохо, и знал, что победу решит олень. Он, кажется, один из всех, кроме Володи, почувствовал неладное, когда стрела вонзилась оленю в шею.

Когда вторая стрела, не задев оленя, ушла в заросли, Кашка впервые с досадой подумал: «Не могли уж расчистить место как следует. Царапайся опять...» Но эта посторонняя мысль скользнула, не оставив следа. И вместо нее пришла тяжелая, ноющая тревога.

«Что же ты делаешь!» — думал Кашка, с отчаянием глядя на Володю.

А Володя смотрел вслед улетевшей стреле, и руки у него были опущены. Лук, зажатый в левом кулаке, висел, как коромысло.

Завизжали блоки, и олень задом наперед проехал на старт. Володя тряхнул плечами и повернулся, чтобы взять третью стрелу.

Вот тогда он и увидел глаза оруженосца.

«Володя, не надо! Нестреляй мимо! — умоляли они. — Целься как следует. Ну пожалуйста! Ты же можешь, Володя! Ну, чем тебе помочь!» — спрашивали Кашкины глаза.

«Ох и умотался ты, бедняга», — с неожиданной жалостью подумал Володя. Впервые за сегодняшний день он как следует разглядел Кашку. На щеке оруженосца от уха до подбородка алела свежая царапина. Волосы растрепались, рубашка у ворота порвалась, одна лямка была оторвана и обмотана вокруг пояса, а штаны сбились на сторону, так что боковая застежка оказалась где-то на животе. И ноги в ссадинах, синяках и белых полосах расчесов.

Досталось тебе, Кашка, верно?

Но Кашка молча просил об одном: «Целься как следует. Попади, попади в оленя!»

«Попробую», — глазами ответил Володя.

Опять визгливо запели в кустах блохи: олень пошел пересекать лужайку.

«Не было ничего, — сказал себе Володя. — Не было тех двух стрел. Все сначала».

В самом деле, что случилось? Или лук ему дали другой, или мишень сделалась крохотной, или он вдруг сразу разучился стрелять? Ерунда какая!

Олень уже был на виду. Володя аккуратно вставил тетиву в прорезь стрелы и выстрелил навскидку. Он был уверен, что стрела воткнется точно в середину фанерного туловища, чуть пониже круглого сучка, который проглядывал сквозь краску.

Стрела ударила выше сучка, но это уже не расстроило и не обескуражило Володю.

Остальные семь стрел он выпустил спокойно, как на тренировке, и каждый раз олень уносил стрелу с собой. Только одна, последняя, улетела в кусты. Она прошла выше цели и отбила отросток оленьего рога. И хотя живому оленю такой выстрел не принес бы особого вреда, здесь, на турнире, это попадание все равно засчитывалось.

Юрка Земцов смазал по оленю четыре раза, и все теперь зависело от того, как станет стрелять Райка. Володя был уверен, что она ни одну стрелу не истратит зря. Значит, он проиграл. Мысль эта стала прочной, и Володя следил за Райкой без напрасного волнения.

Райка стреляла с красивой небрежностью. Она не растягивала лук до конца и бросала стрелы с «навесом», по дуге. Они ударяли не сильно, даже не всегда втыкались, но каждый выстрел был очень точным.

Все делалось быстро и одинаково: визг блоков, щелчок тетивы, удар наконечника о фанеру — короткий такой, негромкий стук.

И Володя вздрогнул, как бы очнулся, когда после девятого выстрела не услышал этого звука.

«Что это? Мимо?»

Да, мимо...

Кашка сидел рядом с Володей, и на лице его было страдание. Он желал Райке всяческих бед и неудач. Чтобы лопнула тетива! Чтобы поскользнулась нога! Чтобы жгучая оса села ей во время выстрела на локоть!

Он не повторял теперь никаких заклятий, только отчаянными глазами провожал каждую стрелу. словно мог взглядом отвести ее от мишени.

Он еще надеялся на чудо. И когда наконец стрела свистнула мимо оленя, он привстал с травы и с тревожной радостью

подался вперед. Чудо случилось! Вернее, полчуда. Все решала теперь последняя стрела.

А Райке словно было безразлично. Словно и не было промаха. Со спокойным лицом прицелилась она последний раз...

Стало тихо.

Кашка отвернулся. Не мог он на это смотреть. Хоть бы уж скорей стреляла!

По длинной упругой травинке ползла божья коровка. Не красная, а желтая, будто капля меда с маковыми зернышками.

Кашка сложил пальцы для щелчка. «Если улетит — Райка промахнет. Если свалится — Райка попадет», — загадал он и щелкнул по травинке. Притворившись неживой, божья коровка, словно твердое семечко, свалилась на лист подорожника.

Щелк — сорвалась тетива. И Кашка зажмурился, готовый услышать противный стук стрелы о мишень.

Не было стука...

Гвалт болельщиков оглушил Кашку.

Вскочив, Кашка ликующими глазами смотрел на Володю. Но тот продолжал сидеть. Он сидел, и, кажется, не было на лице его радости.

Медленно подошла Райка.

— Ну, поздравляю, — сказала она. — Ох, устала я, даже голова болит.

— Разве не будем перестреливать? — недоуменно спросил Володя.

— Зачем? У тебя же девять очков. А у меня восемь...

— Ах да, — сказал Володя, морща лоб. И вдруг засмеялся: — Знаешь, Райка, я забыл, что первый раз тоже попал. Это случайно вышло, и я все время думал, что смазал...

Райка кивнула и отошла.

Подбегали ребята.

И тогда наконец Володя сделал то, что должен был сделать. Он сказал Кашке:

— А мы с тобой все-таки молодцы...

Кашка просиял.

Позже, когда уже утих шум поздравлений и все начали расходиться, Володя пошел к Райкиной палатке. Непонятное ощущение вины перед Райкой не давало ему покоя. Словно одно очко досталось ему обманом. Он понимал, что это ерунда, но беспокойство не проходило. И чтобы прогнать его, он должен был найти сейчас Райку, поговорить с ней просто так, о разных пустяках и увидеть, что у нее нет ни обиды, ни подозрения.

Но в палатке Райки не оказалось. Ее оруженосец — Светка — сидела с надутым лицом и взглянула на Володю косо. Ни о чем спрашивать ее он не стал.

Он увидел Райку сам, когда обогнул палатку и направился к лагерю.

Райка стояла, прислонившись лбом к сосне, и плечи ее вздрагивали.

Володя подошел и неловко тронул ее за локоть. Райка обернулась, и он отступил одновременно с досадой и облегчением.

Она не плакала, а смеялась.

На лбу ее темнели пятнышки смолы...

Призовой пирог Володя и Кашка едва попробовали: желающих угоститься набралась целая толпа.

Грамота, которую вручили Кашке, была очень красивая. Он долго рассматривал ее, когда остался один. Потом свернул в трубку и перевязал ниткой, которую выдернул из подола рубашки. Сбежал в лагерь и спрятал грамоту в тумбочке.

После этого вернулся Кашка к палаткам.

Палатки уже убрали, и Володи здесь не было.

Неужели все кончилось? Неужели праздник угас?

Нет, не все. Вечером был еще костер. И Кашка сидел совсем рядом с Володей. Сидел молча и смотрел на огонь. Лишь один раз спросил:

— Во-лодя... А еще будет турнир?

— Едва ли,— сказал Володя.— Слушай, ты не видел Юрку Земцова?

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

На лес, на лагерь наваливалась гроза. Сверху, прямо от зенита, набухшие дождями и тревогой, медленно падали тучи. Лиловые, беспросветные, в тонких и кривых проблесках молний. Их ватная масса заглушала гром, и были только молнии и тишина.

Все ждали первого грома и рассыпчатого удара тяжелых капель: одни для того, чтобы с хохотом выскочить под упругие струи, другие для того, чтобы вздохнуть с облегчением — шум ливня заглушает страх перед грозой.

Аллеи и площадки опустели, дачи притихли. В потемневших стеклах отражались молнии, а в траве змейками пробегали маленькие ветры.

Только три человека не укрылись от грозы. Вожатый Сережа был сегодня дежурным и проверял, все ли готово к удару непогоды. Володя еще не успел зайти в дом: он возвращался из леса. Третьим был Кашка: он вынырнул из боковой аллеи и зашагал следом за Володей, а потом догнал его.

— Во-лодя... А вот у индейцев тоже есть луки... Эти луки далеко стреляют?

— Что? Не знаю,— ответил Володя, не сбавляя шага.— Далеко, наверно... Конечно, далеко. Беги под крышу, сейчас такой дождь грянет.

Кашка остался на аллее. Он поднял голову и, кажется, только сейчас увидел, что делается в небе. Но на грозное движение туч он смотрел равнодушно и не двинулся с места.

Сережа стоял на крыльце под навесом. Он видел Володю и Кашку, слышал их разговор. Но вот Володя ушел, а Кашка остался, и вокруг него уже падали в песок тяжелые, как пули, капли.

Сережа прыгнул с крыльца.

— Пойдем. Ну, что ты здесь стоишь? Это все равно зря.

Он привел Кашку под навес, и они стали смотреть, как нарастает дождь.

Грянул и радостно раскатился над лагерем гром: вздрогнули стекла и половицы. А Кашка не вздрогнул. Он спросил шепотом:

— А еще будет турнир?

— Нет,— сказал Сережа.— Неинтересно устраивать два одинаковых дела подряд... Да и при чем здесь турнир, Кашка?

Он положил руку на маленькое плечо бывшего оруженосца и хотел еще что-то сказать. Но из соседней дачи с хохотом выскочили мальчишки в трусиках и начали прыгать под дождем.

— Тебе так не хочется,— полувопросительно проговорил Сережа,— да, Кашка?

— Не...

Кашка осторожно, но решительно освободил плечо и повернулся к двери. В ту же секунду дверь открылась, и на крыльцо выскочила Серафима.

— Господи, наконец-то! Опять ты, Голубев, где-то пропадал! Мало мне еще забот...

— Мы тут с ним беседовали,— заступился Сережа.

— Ну да! Он с самого утра пропадает! Все с тобой беседует?

Кашка боком скользнул в дверь.

— Он в последние дни все время куда-то исчезает,— пожаловалась Серафима.— Просто горе одно. Такой тихий, дисциплинированный мальчишка был, а теперь... Я его искать пошла, а тут гроза. Я этих гроз больше смерти боюсь.

— А вот они не боятся,— Сережа кивнул в сторону веселящихся мальчишек.

— Ну... сейчас дождь. При дожде уже не так страшно...

— Да,— сказал Сережа.

— Ты какой-то понурый,— сказала Серафима.— Надоело дежурить?

— Это само собой... Да нет, не то. Вот сейчас я смотрел... Понимаешь, есть два человека. И один ходит за другим прямо по следам. Смотрит на него преданными глазами. А тот, второй,

ничего не хочет замечать. И обидно видеть, как он теряет верного друга. А сказать ничего не скажешь. Насильно дружбу не привьешь.

— Ну уж... не замечает,— выговорила Серафима и медленно покраснела.— Может быть, это просто... характер такой. Может быть, она... он... тоже...

«С ума сойти! — ахнул про себя Сергей.— О чем это она?»

«Волна» отшумела и улеглась. Турнирные заботы остались позади. Луки и стрелы были собраны в пионерскую комнату на выставку. Появились новые дела.

И только один человек, бывший оруженосец Кашка, грустил. Кашке был нужен Володя.

Неужели все может так быстро кончиться? Костры, палатки. Стрелы. Красный олень... «Мы с тобой все-таки молодцы...» Все было — и ничего нет...

То, что Кашка ходит за ним по пятам, Володя заметил только после разговора с Серафимой. Она спросила его:

— Слушай! Где, в конце концов, Кашка Голубев?

Серафима была всего на пять лет старше Володи, и он чувствовал себя с ней как равный.

— Опомнись,— сказал он.— Я-то при чем? Может быть, я нянька? После турнира я его и не видел.

— «Не видел»! — возмутилась Серафима.— Он за тобой как на буксире таскается! Что я, слепая, что ли!

— Не знаю,— вежливо сказал Володя.— И не помню, что встречал его в эти дни.

Но тут же вспомнил. Он действительно много раз встречал Кашку, тот всегда о чем-нибудь спрашивал: «Во-лодя... А если залезть на большую сосну, то на сколько километров будет видно?», «Володя, можно, я спрошу? Что быстрее летит: стрела или ласточка?»

Володе казалось, что это случайные встречи, и он сразу забывал про них. Он ушел от Серафимы, а буквально через пять минут, когда отправился на волейбольную площадку, обнаружил, что Кашка тащится сзади.

— Стой,— строго сказал Володя.— Объясни, зачем ты ходишь за мной как тень? Чего ты от меня хочешь?

Кашка заморгал и сделал вид, что шел по своим делам.

— Только не ври,— сурово предупредил Володя.

Но Кашка соврал. Он отвел глаза и пробормотал, что идет качаться на качелях, которые рядом с волейбольной площадкой.

Тогда Володя растерялся. Что он мог сделать? Не мог же он запретить Кашке ходить где вздумается! Каждый человек сам выбирает себе дороги. Да, это так. Но что будет, когда все заметят, какой у Володи появился хвост? Смех будет по всему

лагерю. А это штука скверная, когда все над тобой смеются и сделать ничего нельзя. Дурацкое такое положение.

— Мало тебе других дорог? — сердито сказал Володя. Но что еще сказать, не придумал.

А Кашка, глядя ему в лицо, спросил:

— Во-лодя, раз турнир кончился, я уже не оруженосец?

Потом Володя будет думать, что все началось с собаки. С того момента, когда появилась эта бурая зверюга. Ему будет казаться, что именно тогда он немного иначе взглянул на Кашку.

А на самом деле все началось раньше. Вот сейчас, когда, вдруг потеряв на секунду твердость, Володя не сказал Кашке «нет». Он только пробормотал:

— Иди ты на свои качели.

И Кашка пошел за ним следом.

Володя неплохо изучил окрестный лес и часто уходил в него, когда надоедала суeta в лагере. Лес был похож на тот, который окружал Белый Ключ. Те же усыпанные пятнами солнца и хвоей бугры, мшистые камни, скалы, родники и озера с темной водой.

В лагерь Володя возвращался вовремя, и никто не замечал его дальних отлучек. Володя привык, что никто не следит за ним. И когда он однажды услышал за собой осторожные шаги, вздрогнул от неожиданности. Но это был не шпион и не хищный зверь. Сзади шел Кашка.

Глаза их встретились. Кашка опустил на колено и стал подтягивать ремешок сандалии. Володя медленно подходил.

— Иди домой, — сдержанно сказал Володя. Ему не хотелось ничего выяснять и ругаться тоже не хотелось.

— Куда? — тихо спросил Кашка.

— В лагерь, — отчетливо сказал Володя.

— Но куда? — уже громче повторил Кашка и оглянулся. — Я же не помню.

И Володя понял, что Кашка шел по пятам и не запоминал обратную дорогу. Один он теперь очень легко может заблудиться: лагерь далеко.

— Олух ты! Ну что ты за мной, как намагниченный, таскаешься?

Кашка медленно встал. Он смотрел в сторону, и в уголках глаз у него росли слезинки.

— Ну и ходи теперь за мной весь день, — мрачно решил Володя. — А влетит тебе от Серафимы — сам виноват.

— Может, не влетит, — шепотом сказал Кашка и улыбнулся. — Во-лодя... А мы будем ходить весь день, да?

И тогда Володя подумал: «Пусть. Ведь не мешает».

Они пошли молча.

Володя хотел срезать тросточку. Нужна была невысокая,

тонкая и с прямой верхушкой сосенка. Такие растут в чаще молодняка.

— Подожди, а то исцарапаешься,— предупредил Володя и нырнул в колючие ветки, через минуту он выбрался.

— Пойдем... Хорошая будет палочка.

— Хорошая,— согласился Кашка.

Они шли через солнечный лес, постепенно сворачивая к лагерю, и Кашка смотрел, как ловко Володя срезает на ходу ветки с будущей тросточки. Нож у Володи был маленький, перочинный, но почему-то вспомнились Кашке шумливые кусты у насыпи, пенек, под которым жил Шишан, и Костя, вырезающий Альпиниста. И вдруг испугался Кашка: а где Альпинист? Не потерялся ли? Кашка схватился за карман. Альпинист, конечно, был там. Облегченно передохнув, Кашка вытащил его: пусть поглядит на свет.

Володя ненадолго оставил свою работу.

— Кашка, откуда этот человечек? Забавный... Ты его сам вырезал?

— Не, не сам. Это Костин...— Кашка подумал и объяснил: — Костя на Памире. Он изучает ледники.

Володя осторожно спросил:

— Он твой брат?

— Он мой друг,— с неожиданной резкостью сказал Кашка. И впервые взглянул на Володю как равный. Даже с вызовом.

Так уж получилось. Вырвались эти слова, и будто сам Костя встал рядом. Да, он был друг. Никто-никто на свете не мог сказать, что Кашка соврал. И Володя, конечно, не мог. Он только подумал, что это очень странно: откуда у Кашки такие друзья?

— Покажи.

Кашка положил Альпиниста ему в ладонь. Деревянный путешественник был легонький, как спичка.

Сейчас Володя разглядел, что вырезан Альпинист очень аккуратно и точно. Были заметны даже пряжки на лямках рюкзака и рубчики на толстых подошвах ботинок. Маленький покоритель вершин улыбался весело и беззаботно. Однако, приглядевшись, Володя увидел на крошечном коричневом лбу и у рта ниточки-морщинки.

— Ты с ним играешь? — спросил Володя.

— Ага... иногда,— признался Кашка. Он опять притих и сделался прежним малышом-оруженосцем.

— Это хороший путешественник,— серьезно сказал Володя.— С ним хорошо играть. Он может плавать, ходить по лесам, по пустыням, подниматься на вершины...

— Он поднимался,— осторожно вставил Кашка, и в голосе его была боязнь: может быть, Володя смеется?

Но Володя не любил насмешек и редко насмехался сам.

Пусть Кашка видит, что он, Володя, хоть и большой, но тоже понимает игры и тайны.

— Можно еще сделать его парашютистом,— сказал он.— С воздуха можно забрасывать его в самые неведомые земли.

— Как — парашютистом?

— Да очень просто. Нужен только платок и нитки для парашюта.

Кашка нерешительно вертел в пальцах Альпиниста.

— Во-лодя... А он не потеряется?

— Куда он денется? За дерево не зацепится, можно на поляне запускать.

— Платка все равно нет,— сказал Кашка и оттянул пустой кармашек.— И ниток нет.

— Платка нет, это понятно,— снисходительно согласился Володя.— Но ниток... Как же ты живешь без ниток? А если что оторвется, чем пришьешь?

— У Серафимы есть. Она пришивает.

— У Серафимы вас — целая птицеферма. Есть ей время возиться... Вон у тебя лямка сколько дней уже оторвана. Так и таскаешь. Никто пришить не может...

Они вышли на лужайку, опоясанную кольцом березовой поросли. Лужайка была ровная, с низенькой одинаковой травой, как на стадионе. Только с одного края, у самой тропинки, приподнялся из-под земли серый плоский камень.

Место для испытаний парашюта было отличное.

Володя вынул платок, до сих пор лежавший в кармане без всякого употребления. Платок был слегка помятый и запылившийся на сгибах, но для парашюта вполне годился.

Потом Володя вытащил из воротника иголку с намотанной черной ниткой. Кашка следил за ним с радостным интересом.

— Сейчас попробуем,— сказал Володя.— Только сначала лямку тебе пришью. А то ходишь обормотом.

— Лучше ее совсем оборвать,— рассудительно заметил Кашка.— Я пробовал, да она крепко держится. Давай ножиком отрежем.

— Давай отрежем обе,— сказал Володя.— И ходи вообще без штанов... Ну-ка, повернись. И не дергайся, а то иголка воткнется.

Он говорил с сердитым удовольствием и про себя удивлялся.

Неужели это и вправду может быть приятно? Командовать вот таким мальком, знать, что он тебе послушен, пришивать ему лямки и делать парашюты... Ерунда какая-то... И смех... Вот бы кто-нибудь из ребят появился здесь и увидел, как победитель турнира стоит позади Кашки на коленях и чинит ему штаны!

Лагерь недалеко, и кого-нибудь может занести сюда.

И занесло.

Крадучись выбрался на лужайку Генка Молоканов.

...Молоканов был попрошайка и жадина. Это — самое главное, чем он отличался от других. Правда, жадность у него была не на все вещи, а только на мелочи: на разные самоделки, патронные гильзы, стеклянные пузырьки, значки, поплавки и прочую дребедень. Он их выпрашивал. Даже не менялся никогда, а только выпрашивал. Если меняться, значит, надо что-то отдавать, а это было для Генки горькой мукой.

А выпрашивать он умел, наверно, лучше всех на земном шаре. В голосе у него появлялась такая жалобность и такая убедительность, что камни могли растаять, как мороженое в июльский полдень.

«Ну послушай,— негромко и проникновенно говорил Молоканов,— тебе эта штука все равно ни к чему. Ну поиграешь и выбросишь. Или потеряешь. Или надоест она. Понимаешь, она для тебя — пустяк, а для меня очень важная... Ну дай, а? Ну правда, дай... Я тебе такое спасибо скажу...»

«А на фига мне твое спасибо?» — спрашивал лишенный чувствительности собеседник.

Генка широко раскрывал голубые, как незабудки, глаза и коротко отвечал: «Не знаю... Но ведь эта штука тебе тоже ни за чем. А мне для пользы».

«Для какой пользы?»

«Для коллекции».

Когда Молоканову начинали объяснять, что не бывает коллекций, где вместе собраны жестяные свистки, огрызки цветных карандашей, куклы из еловых шишек и разные пуговицы, Генка тихо говорил: «Ну и что? А у меня бывает».

И человек сдавался. «Пусть,— думал он.— Мне эта вещь и в самом деле не очень нужна, а он вон как из-за нее убивается...»

А если попадался мальчишка с сердцем тверже камня, он все равно отступал. Потому что другим путем отвязаться от Генки было нельзя. Даже колотили его, но без всякого толку.

Правда, иногда, чтобы досадить Генке, кто-нибудь говорил: «Даром не отдам. Давай меняться на компот. На три стакана». И Молоканов погружался в тягостное раздумье. Компот он любил почти так же, как свою коллекцию, и расставался с ним крайне мучительно. Глядя на его страдания, ребята давились от смеха. Однако скоро было решено: на компот не меняться. Дело в том, что, отдав свою порцию, Генка тут же принимался выпрашивать у других и таким образом добывал два или три стакана.

Вот такой человек и появился на лужайке, где Володя заканчивал ремонт Кашкиных штанов.

От неожиданности Володя загнал иглу в указательный палец, тихо взвыл и вскочил. Но Молоканов почти не обратил ни

на него, ни на Кашку внимания. Глазами хищника он неотрывно смотрел на Альпиниста, который лежал на развернутом платке. Нежным голосом Генка сказал:

— Это чей такой, а?

— Тебе чего надо? — невежливо спросил Володя. — Мало тебе места в лесу? Зачем притащился?

— Я голоса услышал и заглянул...

— Заглянул, а теперь мотай обратно, — посоветовал Володя. Молоканов, однако, не спешил.

— А чья эта куколка?

— Не твоя. Сам ты куколка, — сказал Володя и незаметно оторвал нитку с иголкой от Кашкиных штанов.

— Это мой, — почуввав свободу, заявил Кашка. Поднял Альпиниста и стал заворачивать в платок.

Генка понял, что надо спешить.

— Дай, а? — жалобно начал он.

Кашка оглянулся на Володю и бесстрашно сказал:

— Иди отсюда. Скоро лопнешь от жадности.

Надо заметить, что Молоканов был невысок и толст. Когда на это намекали, он обижался. Но сейчас он подавил обиду ради добычи.

— Дай, а? — повторил он.

— Пошел вон, — неумолимым ровным голосом произнес Володя.

И Генка понял, что хорошая деревянная куколка, такая нужная для коллекции, потеряна навсегда. Осталось только одно — отомстить. И, отпрыгнув подальше, Молоканов противно проблеял:

— Жилы! Жадюги! Бэ-э!

А потом так же отвратительно спел:

Есть у Вовочки дружок —
От горшка один вершок!
Вовка ходит с ним как нянька —
Это очень хорошо!

Несмотря на полноту, бегал Молоканов как заяц. Володя так и не настиг его, только загнал в жесткий низкорослый ельник. С полминуты он стоял и с удовольствием слушал, как жалобно кричит среди колючих веток несчастный попрошайка. Кричит, а выйти боится.

Потом Володя зашагал обратно. Он шел и со злостью думал, что глупый Молоканов не сам сочинил эту дразнилку. Значит, она известна не одному Генке. Может быть, ее все уже знают. Наслушаешься теперь! А все из-за этого тихони-оруженосца.

Нет, пора прекращать такую волюнку. Надо подойти и сказать сразу:

«Вот что, друг, игрушки кончились. Турниров больше не

будет. У меня свои дела, у тебя свое безделье. Топай своей дорогой. Привет».

А то в самом деле в няньки запишут.

С этой мыслью, решительный и злой, вернулся Володя на поляну. Кашка сидел у камня и ждал. Он почуял неладное и обеспокоенно стал подниматься навстречу.

— Слушай, ты...— начал Володя.

И в ту же секунду увидел собаку.

Это был грязно-бурый, с черными пятнами зверь. Он с коротким рычанием прыгнул из кустов и через поляну скачками бросился к ребятам. Володя знал, что большие псы умнее и добродушнее мелких шавок. Они не нападают зря. Но в этой собаке была злость и тупость. Володя успел заметить желтые зубы под вздернутой слюнявой губой. Нет, собака не собиралась шутить. Видимо, был это сторожевой свирепый пес, ничему не обученный и одичавший на цепи. Теперь каким-то путем он обрел свободу и, наверно, решил мстить людям.

Все эти мысли промелькнули мгновенно. И последняя была об оруженосце.

— Беги, Кашка! — крикнул Володя, не отрывая глаз от скачущего пса и отводя назад руку с сосновой тросточкой, чтобы встретить зверя хлестким ударом по морде. Ударить, когда он прыгнет! Из всех сил!

А может быть, он — волк?

Володя подумал об этом, когда пес был в пяти скачках. А когда он сделал еще скачок, на поляну вышел его хозяин.

Лесник, или охотник, или просто местный житель. В форменной фуражке и кителе, похожем на железнодорожный.

— Рекс! — негромко крикнул он.

Бурый зверь с размаху остановился и присел, будто его ухватила за хвост крепкая рука.

— Назад! — сказал хозяин собаки металлическим голосом.

И громадный пес, прижав маленькие уши, побрел назад. На полпути он по-щенячьи лег на брюхо и пополз к человеку, словно просил прощения.

— Не бойтесь,— с короткой усмешкой сказал тот. Повернулся и сразу исчез в кустах.

За ним скользнул в березняк понурый Рекс. А у Володи сразу ослабли руки, и сосновая тросточка показалась тяжелой, как лом. Пришел противный тягучий страх.

— У, зверюга,— пробормотал Володя. Он медленно повернулся, чтобы уйти и позабыть про свой страх и слабость. Но не ушел. Он увидел Кашку.

Кашка никуда не убежал. Он стоял в двух шагах, прочно расставив ноги и держа наперевес кривую березовую палицу. Глаза у него стали совершенно круглые от отчаянного ужаса или от такой же отчаянной решимости, а рот был приоткрыт, словно

Кашка хотел сказать «мама» и остановился на полуслове. Видимо, он еще не понял, что опасность ушла. Несколько секунд Володя смотрел на него с изумлением.

Потом сказал:

— Все. Отбой.

Кашка уронил свое оружие. Он хотел улыбнуться, но только сморщился, как котенок, собравшийся чихнуть. И вдруг заплакал. Сначала несильно, а потом безудержными крупными слезами.

— Ты что? — Володя растерялся. — Кашка, слышишь... Ну перестань.

Кашка попробовал перестать и не сумел. Володя замолчал. Что тут делать? Успокаивать плачущих — нелегкое умение.

— Ну, хватит воду лить, — наконец проговорил он. — Слышишь, Кашка? Перестань выть!

Кашка послушно кивнул и всхлипнул еще несколько раз. Потом виновато улыбнулся щербатой своей улыбкой и сказал, глядя в сторону:

— Я их, проклятых, боюсь... Я когда маленький был, меня собака укусила. Вот... — Он повернулся и показал сзади под коленкой несколько белых бугорочков — следы зубов.

— Ладно уж, — с неумелой ласковостью сказал Володя. — Все прошло ведь... Да, а ты почему не убежал? Я тебе крикнул: беги! Ну?

Кашка поднял залитые слезами глаза и тихонько спросил:

— А ты?

— Ну, я... Что — я? От собаки нельзя бегать. Я-то знаю про это. А ты? Ты ведь мог убежать, раз я остался.

— Да, остался... — прошептал Кашка. — Она вон какая. Как волк. А ты с такой палочкой остался. С тоненькой...

Они разом взглянули на Володину тросточку и разом перевели глаза на кривую Кашкину дубину.

И что-то словно сдвинулось в душе Володи. Растаяла вся его твердость. Захотелось вдруг сделать совершенно непонятное: взять за узенькие плечи этого сероглазого пацаненка, притянуть поближе и сказать: «Эх ты, Кашка, Кашка. Оруженосец...»

Конечно, ничего такого Володя не сделал. Не умел он так. Девчонки это умеют, а он не может. Только взял он Кашку за руку и сказал:

— Идем... А собака-то трусливая. Хозяин крикнул, а она сразу на пузо...

Кашкины глаза просыхали. Он взглянул на Володю серьезно, почти строго. И ответил:

— Он плохой человек. Хороших людей собаки так не боятся. Он, наверно, ее бьет.

— Да? Да, пожалуй... — согласился Володя. — А ты... ты ничего человек, Кашка.

...Это все, что он сумел сказать верному оруженосцу. Не всегда нужно много слов. Кашке хватило и этих. Радость запела в нем, как серебряная труба. Но чтобы хоть немного походить на сдержанного Володю, Кашка радость спрятал и проговорил:

— Жалко... Сейчас, уж наверно, на обед пора. Так и не доделал ты тросточку.

— Подумаешь, беда,— отмахнулся Володя.— Завтра доделаем.

— Что? — спросил Кашка.

— Завтра доделаем,— повторил Володя.— А что?

Он сказал не «доделаю», а «доделаем»!

ДО-ДЕ-ЛА-ЕМ!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Кашка был счастлив полностью. До конца. Больше он ничего не хотел. Он шел с Володей. Шел на ту лужайку, где вчера повстречали страшную собаку и где камень. Там они будут разводить костер. Вдвоем. Кашка шагал не сзади, а рядом. Володя сам зашел за ним и небрежно сказал Серафиме:

— Мы с Кашкой погуляем. Не бойся, он со мной будет.

И вот они идут. Володя сказал, что хочет обжечь в костре тросточку. Вчера вечером он вырезал на ее коре шахматные кубики, полоски, треугольнички, кольца. На огне вся тросточка потемнеет, а потом Володя снимет кору, и на обуглившемся дереве останутся белые узоры...

День был прохладный. Солнце лишь изредка проглядывало в разрывы облаков. Кашка отправился в путь в одной рубашонке и поеживался. Но он был рад: когда холодно, еще приятнее сидеть у костра.

В лесу ветер стал слабее, и, когда пришли к поляне, Кашка почти согрелся.

Набрали сухих веток и сложили у камня.

— Кашка, ты про костер помалкивай, а то будет нам нахлобучка,— предупредил Володя.

— Я помалк... помолк... буду помалкивать. А у тебя есть спички?

— У меня стекло есть. От бинокля. Надо только солнца дожждаться. Вот смотри...

В Кашкину ладонь круглой льдинкой скользнуло выпуклое стеклышко. Кашка бережно взял его за края и навел себе на локоть, чтобы в увеличенном виде рассмотреть одну из царапин. Солнце выпрыгнуло из-за облака и кольнуло кожу огненной точкой. Кашка ойкнул, уронил линзу и засмеялся.

— Ага! — сказал Володя. — Ты не шути. Это солнечная энергия.

— И костер загорится?

— Как миленький. Сбегай к соснам, принеси сухих иголок. Они как порох.

Кашка, подпрыгивая, бросился за растопкой. Он бежал, а в голове плясали прискакавшие откуда-то коротенькие строчки:

Я веток найду,
Я костер разведу!
Я иголок найду,
Я костер разведу!

«Костер как живой...» — вспомнил он и вдруг понял, что все эти строчки соединяются в стихи!

Кашка пошел не спеша. С самого начала повторил все, что сочинил. Получилось здорово, только нужно было придумать немножко не так. Вот как надо:

Я веток найду, я иголок найду,
На нашей поляне костер разведу.
Костер как живой...

Нет, еще немножко не так.

«Я веток сухих и иголок найду...» Потому что для костров нужны только сухие ветки.

Но тут Кашке стало жаль стеклышка, для которого не осталось места в стихах. Он попробовал вставить его вместо «поляны». Сначала слова не хотели укладываться в строчку, а потом вдруг легли, и Кашка даже подскочил от радости.

Я веток сухих и иголок найду,
Стеклом от бинокля огонь разведу.
Костер как живой...

Когда Кашка с пригоршней сухой сосновой хвои примчался к Володе, рядом с ним он увидел Райку.

Райка и Володя беседовали. Кашке это не понравилось. Хотел он быть вдвоем с Володией. Только с ним, чтобы никто-никто не мешал. И зачем Райка сюда притащилась? Да и разговор был какой-то пустой.

— Такой холод сегодня, — говорила Райка. — Просто дрожь берет.

— Угу, — откликнулся Володя.

— Ты наших девчонок не видел?

— Нет, не встречал, — сказал Володя, склоняясь над сучьями для костра.

— Хотела в волейбол поразмяться, а на площадке нет никого.

— Бродят где-нибудь, — заметил Володя и переломил о ко-

лено толстую ветку.— А, Кашка! Давай сюда, сыпь. Как раз солнце.

— Здравствуй, Кашка! — почему-то обрадовалась Райка.

— Здравствуй,— сумрачно сказал он и занялся костром.

— Просто удивительно, как он вырос, твой оруженосец,— обратилась Райка к Володе.— Когда в лагерь приехали, он гораздо меньше был. А сейчас какой-то вытянутый стал. Или мне кажется.

— Кажется,— сказал Володя.— За две недели нельзя заметно вырасти.

«Правильно»,— подумал Кашка.

Райка еще постояла рядом, потом нерешительно проговорила:

— Пойду поищу наших.

— Только про костер не рассказывай,— предупредил Володя.

Райка ушла.

— Она хотела, чтобы мы позвали ее с нами сидеть,— сказал Кашка и нахмурился.

— Да брось ты,— возразил Володя.— Очень ей надо с нами сидеть. Она девчонок ищет.

Он взял стекло и послал на иголки солнечный колючий лучик. От яркой точки вырос и разбежался желтый огонек. Лизнул ветки.

Через минуту, когда костер уже победно стрелял искрами и кружил пламя, Кашка спросил:

— Это ведь не в последний раз, да? Мы потом ведь еще можем разжечь?

— Хоть каждый день... Ты, Кашка, садись. Садись рядом.

И Кашка сел. Он сел так, что плечом чувствовал Володин локоть.

— Я стихи придумал,— вдруг сказал Кашка.— Про костер.— Он смотрел в неяркое дневное пламя и напряженно ждал, что скажет Володя. Волны теплого воздуха перекатывались через ноги, а спине было холодно. Поэтому Кашка немного вздрагивал.

— Стихи? — переспросил Володя.— Сам придумал?

— Ага...

— Надо же... Я один раз пробовал стихи сочинить... Для одной девчонки. Ну, ничего не получилось. А у тебя получилось?

— Ага,— снова сказал Кашка.

— Почитай, а?

Нет, Кашка не мог так сразу. Неловко было и страшно.

— Я не умею. Я лучше напишу и отдам. Тебе... Ладно?

— Ну ладно. Только не забудь...

«...Только не забудь»,— сказал Володя и вдруг понял, что

ему в самом деле интересно, какие стихи получились у Кашки.

И приятно, что Кашка сказал ему об этих стихах. И еще он с удивлением почувствовал, что плевать ему на любые насмешки насчет нянек и всякой ерунды. То есть не совсем плевать. Кто будет дразниться, тот получит. Но Кашку от себя Володя не станет прогонять и бегать от него не будет.

И вот еще что странно: никогда никому Володя не рассказывал, что однажды пытался сочинить стихи для Надежды, а Кашке сказал об этом сразу, спокойно и доверчиво...

— Ты не забудь написать,— повторил он.— Я твои стихи домой увезу. На память...

«Домой увезу»,— сказал он, и Кашку вдруг кольнуло предчувствие близкой беды. Именно беды.

Ведь совсем скоро придет день, когда Володя уедет в город. А Кашка — в Камшал. В разные стороны. В разные стороны...

Он до сих пор не думал об этом. Но сейчас начал думать и понял, что уже никак не прогнать это ожидание близкого отъезда. Никак. Потому что все равно придет этот день. Дни идут быстро.

— Во-лодя...— встревоженно начал Кашка.— Знаешь что, Володя? Я придумал. Поедем к нам в гости. Когда лагерь кончится.

Он только сейчас это придумал. Сию минуту. Но это был выход. Если Володя поедет, ему, может быть, понравится в Камшале. И тогда, может быть, он захочет приехать еще раз. И еще. А ему понравится! Там они каждый день будут жечь большие костры...

Володя вынул из огня обожженную тросточку. Она дымилась, и по обугленной коре бегали искры.

— Ну, Кашка...— неуверенно сказал Володя.— Ты и придумал... Тебе, наверно, дома влетит. Скажут, кого это ты притащил...

— Не! Не скажут!

— И мне влетит. Все домой приедут, а меня нет. Знаешь, какой переполох будет!

— А ты письмо напиши. Если напишешь, тоже влетит? — упавшим голосом спросил Кашка.

— Если напишу? Нет, тогда не влетит... Ну, я не знаю. Там видно будет, ладно, Кашка?

— Ладно... А что видно?

— Мало ли что. До конца смены еще вон сколько дней. Вдруг что-нибудь случится! Или ты раздумаешь. Или еще что-нибудь.

— Не раздумаю,— с отчаянной твердостью сказал Кашка.— Во-лодя, а если не случится? И если ни что-нибудь? Тогда поедешь?

— Ну, посмотрим... Камшал отсюда сколько километров? Сорок? Сорок — это недалеко, ладно... Ты садись как следует. Возьми куртку, а то у тебя зубы стучат.

— Тепло,— сказал Кашка, чувствуя громадное облегчение и усталость от прошедшей тревоги.

— Ногам тепло, а спине холодно. Дай накрою...

Куртка пахла смолой и березовым дымом.

Володя ножиком снимал с палки остатки коры. Черные кубики и треугольники сыпались Кашке на колени. Свежая белизна узора ярко выделялась на дереве, потемневшем от огня.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Ночью Кашка писал письмо. Попросил у Вальки — Обезьяньего Царя — фонарик, укрылся с головой и выводил в тетрадке крупные буквы:

Здрастуй мама. Я живу здесь хорошо. Мама у меня есть друг. Его зовут Володя. Мама можно Володя придет в гости мы будем вместе гулять и за ягодами. Мама я живу хорошо патамушто Володя. Я сочинил стихи...

После стихов писать было нечего. Кашка с облегчением вздохнул и поставил такую точку, что проколол бумагу.

Но тут он вспомнил, что обещал подарить стихи Володе. Что же, писать еще раз? Столько слов! Таких длинных! Сочинить все это было, пожалуй, легче, чем написать.

Кашка подумал и аккуратно оторвал половинку письма со стихами. Маме он их и так расскажет, когда придет. А это — Володе...

А утром, когда позавтракали, Кашка исчез.

Серафима ходила по лагерю и тихо рычала от злости. Больше всего она не любила, когда кто-нибудь из малышей пропадал из виду.

— Пусть уж лучше на головах пляшут, только чтобы у меня на глазах,— часто повторяла она.

Кашка никогда не дрался и на голове не плясал. Это было просто чудесно. Правда, в последнее время начал он где-то пропадать, но потом выяснилось, что он уходит с Володей, и Серафима успокоилась.

Однако сегодня он исчез один. Володю Серафима увидела на веранде первой дачи, а Кашки там не было.

— Слушай, где твой оруженосец? — раздраженно заговорила Серафима. — Целый час бегаю по лагерю, высунув язык. Не могу найти ни его, ни тебя. У меня по плану разучивание песни, а твой Голубев...

— Не говори так много слов,— сквозь зубы отозвался Володя. Он сидел на перилах веранды и зашивал покрывку волейбольного мяча. Иголочка не хотела втыкаться в толстый панцирь и втыкалась в пальцы.

— Где Кашка? — повторила Серафима.

— Что я, на цепи его держу? У-ых... ф-ф-ф... — Он сунул в рот палец и с ненавистью уставился на иголочку. Нитка выскочила из ушка. — Дьявол тебя проглотит! — в сердцах сказал Володя.

— Меня? — возмутилась Серафима.

«Тебя — само собой», — подумал Володя, но вслух попросил:

— Вдерни мне нитку... пожалуйста.

— Ну тебя с ниткой!

Она пустилась дальше на поиски.

Конечно, Серафима не догадывалась, что и Володю встревожило исчезновение Кашки. Он проводил вожатую глазами и прыгнул в траву, проклиная бестолкового оруженосца, Серафиму, мячи, нитки, иголочки и белый свет. Исколотый палец болел зверски. Покрывку Володя забросил в угол, а иголочку забыл на перилах (потом на нее сядет Генка Молоканов, но это не входит в наш рассказ).

Кашку Серафима увидела неожиданно. Его и Мишку Зыкова вела навстречу Тося Крючкова. Она двигалась с суровым видом и держала мальчишек за воротники. Кашка шел покорно, только сопел, а Зыков лягал Тосю босыми пятками, возмущенно вскрикивал и хотел вырваться. Старался он зря: Тося была самой большой девчонкой в лагере. Посильнее многих мальчишек из первого отряда. Ростом с Серафиму.

— Получай, Сима, своих гавриков,— хриплым басом сказала Тося. — Дрались, понимаешь, в кустах, аж сучья трещали. Еле расцепила. Особенно вот этот,— она тряхнула Кашку.

Голова у Кашки мотнулась.

— Спасибо,— вздохнула Серафима. — Ты их, Тося,пусти. Не сбегут сейчас... Ну, что скажете?

Кашка ничего говорить не собирался. Зато у Мишки слова рванулись, как барабанная дробь. Частые, горячие, убедительные.

— Серафима Павловна! Он как бешеный! Мы сидим, а он — раз! Мы сидим с Валькой, разговариваем, а он — трах! На меня! Как сумасшедший! Ни за что! Мы про него даже не говорили, сидим с Валькой на полянке у кустика, а он как выскочит! Трах по спине! Я думал, он играет, он опять — раз! Из всей силы, только мимо...

Столпившиеся вокруг свидетели подтвердили, что так и было. Кашка будто зверь набросился на невиноватого Зыкова.

— Я его отпихну, а он опять лезет. Я ему раз — прием!

А он опять лезет! Он же драться не умеет, а сам лезет! — Честные Мишкины глаза смотрели без обиды и злости, было в них только удивление и жажда справедливости.

— Ладно, идите все, не мешайте, — решила Серафима. — Мы тут с ним разберемся. Идите, идите...

Зрители и свидетели нехотя разбрелись. Мишка отошел на три шага и нерешительно затоптался. Не знал, относятся ли слова Серафимы и к нему.

Серафима приступила к допросу:

— В чем дело, Голубев?

Кашка повертел головой так, будто легонький воротник рубашки натирал ему шею. И промолчал, конечно.

— Ну?

Кашка проглотил слюну и стал разглядывать землю.

— Будешь ты говорить в конце концов? — сдерживаясь, спросила Серафима. — Что у вас случилось? Ты первый начал драку? Сам?

— Сам, — тихонько сказал Кашка.

Ну и ну! И это тихий, послушный Кашка Голубев, с которым не было ни забот, ни беспокойства!

— В чем же дело? — почти жалобно проговорила Серафима. — Была какая-нибудь причина?

Кашка подумал и нерешительно ответил:

— Была...

— Какая?

Кашка прочно смотрел в землю.

— Может, он заболевший? — участливо спросил Мишка. Он был вполне доволен честными Кашкиными ответами и теперь уже сочувствовал ему.

Но Кашка не оценил такого благородства. Мрачно покосился на Зыкова:

— Ты сам заболевший...

Вот так и стояли они на широкой аллее, на самом солнцепеке и вели бесполезный разговор. И это наконец совсем разозлило Серафиму. Она опять взялась за Кашку:

— Клещами я из тебя слова тянуть буду? Или говори сейчас же, или... — Что «или», она еще не придумала и сбилась. — Или... Встань, пожалуйста, как следует, когда с тобой говорят! Разболтались совсем... Что ты за живот держишься? Стукнул он тебя, что ли, по животу?

— Не стучал я! — возмущенно откликнулся Мишка.

— Не, не стукнул, — подтвердил Кашка.

Серафима редко брала своих малышей «в обработку», но сейчас решила не отступать.

— Опустите руки и поднимите голову, — деревянным голосом сказала она.

Кашка шевельнул руками, но совсем их не опустил и про-

должал прижимать к животу локоть. Серафима сжала губы, решительно взяла Кашку за ладони и вытянула его руки по швам. Тогда раздался тихий шелест, и из коротеньких Кашкиных штанин посыпались мятые конверты. Кашка подпрыгнул и устоялся на них с таким испугом, словно это было что-то кусачее и ядовитое.

— Так... — тихо сказала Серафима. — А это что такое?

Но Кашка снова молчал, и опять вмешался его противник:

— Это письма. Он на почту, наверно, бегал. Да, Кашка?

— Да? — сурово спросила Серафима.

— Ага... — выдохнул Кашка.

— А кто тебе разрешил?

Никто ему не разрешал, зачем зря спрашивать. Просто не терпелось Кашке отправить свое письмо. Ведь до конца смены не так уж много дней осталось, а Кашке надо было дожидаться из дома ответа. Ну просто обязательно надо! А вдруг не успеет ответ? Эта мысль грызла Кашку с вечера, а утром беспокойство сделалось сильнее всяких страхов. Он скользнул из столовой и пустился в путь.

До деревни, где почта, всего-то два километра. И дорога прямая, не заблудишься. Кашка то шагом, то вприпрыжку двигался через лес. В одной руке письмо, в другой — березовая ветка и четыре копейки. И никого он не встретил на пути. Только на краю деревни хотели атаковать Кашку жирные нахальные гуси. Они выстроились поперек дороги шеренгой и выжидательно поглядывали на голые Кашкины ноги.

Гуси, они и есть гуси. Дурни... Кашка не спеша подошел поближе, рванулся вперед и на всем скаку врезался в белогусиный строй. Ветка будто сабля!

Он уже подлетал к почте, а сзади, вдалеке, все не смолкало бестолковое гусиное гоготание.

На почте, в тесовой комнатенке, скучала за окошечком девушка, немного похожая на Серафиму. Тоже веснушчатая и светлобровая. Увидела Кашку и оживилась:

— Тебе что нужно, молодой человек?

«Молодой человек» протянул копейки:

— Конверт...

Девушка взяла деньги.

— Ага... А знаешь, ничего не выйдет. Денег-то мало. Это одна марка четыре копейки стоит, а конверт с маркой — пять.

Вот этого Кашка никак не ожидал!

И такое, наверно, несчастное сделалось у него лицо, что девушка засмеялась и сказала:

— Ладно. Хочешь заработать конверт? На, получай. А за это отнесешь в лагерь письма. Тут восемь штук... Ты ведь из лагеря?

Кашка осторожно признался, что да, из лагеря. Он минут пять еще трудился над адресом, потом отдал девушке заклеенный конверт, получил письма и выпрыгнул на крыльцо.

— Не потеряй! — услышал он вслед.

— Не!

Он не потеряет! Все будет хорошо! Отлично все получилось! И лишь недалеко от лагеря с размаху остановила его тревожная мысль: а как же он отдаст письма? Ведь тогда узнают, что он бегал без спросу на почту.

Кашка растерянно затоптался в травянистой колее. Просто хоть обратно неси эти письма. Но ведь не понесешь же, в самом деле. И тут пришло счастливое решение: «Отдам Володе. Он что-нибудь придумает».

Кашка спрятал конверты под рубашку.

Он был уже у отрядной дачи, и уже наперебой говорили ему, что Серафима ходит злая и разыскивает его. И он уже успел испугаться и расстроиться, потому что Серафимы боялся, а Володю не нашел. И вдруг в одну секунду позабылись испуг и тревога. Кашка услышал Мишкины слова. Мишка сидел среди кустиков и беседовал с Обезьяньим Царем. И они говорили такое!.. В общем, Кашка замер сперва, а потом в нем что-то сорвалось.

И он ринулся в битву так же стремительно и без оглядки, как недавно врубался в гусиные ряды...

— Кто тебе разрешил? — повторила Серафима. — Кто позволил без спроса уходить из лагеря? Знаешь, что за это бывает?

Кашка точно не знал. Наверно, что-то жуткое. Неужели исключат? А вдруг правда отправят сейчас домой? И не поедет к нему Володя...

Беда нависла над Кашкой. И казалось, не было спасения.

Но оно было. Оно пришло. Появился Володя.

Он тоже смотрел на Кашку не очень-то ласково. Но смотрел внимательнее и увидел то, что Серафима не заметила сгоряча.

— Подожди, — хмуро сказал он Серафиме. — Не видишь, он весь в крови...

Конечно, Кашка не весь был в крови. Просто рука у него оказалась расцарапанной выше локтя. Кровь ползла медленными струйками.

— Покажи, — велел Володя. — Дрался, что ли?

— Это он сам о ветки расцарапался, честное октябренское, — жалобно заговорил Мишка Зыков. — Я его даже не стукнул ни разу.

Серафима поморщилась:

— Еще не легче! Теперь в медпункт его тащить. Бинты, йод, писк...

— Какой там писк,— сказал Володя.— Кашка, иди к Райке. У девчонок есть бинт. Да скажи, чтоб промыли. Ну, бегом, чего стоишь!

Кашка моргнул, приоткрыл рот, словно спросить хотел что-то. И сорвался с места.

Серафима растерянно посмотрела вслед. Потом запоздало возмутилась:

— Ты, Новоселов, собственно говоря, что распоряжаешься?

— Тебя пожалел,— усмехнулся Володя.— Сама же говоришь, что боишься писка.

— Не лагерь, а орда,— сказала Серафима.— Ну ладно. Я с вами еще разберусь.

— Разбирайся со мной,— серьезно попросил Володя,— а с Кашкой я разберусь сам.

— Великолечно! — Серафима подбоченилась и наклонила набок голову.— Может быть, теперь ты вожатый, а не я? Может быть, ты за мой отряд отвечаешь? Или я все-таки?

— Ну, ты...— мрачно согласился Володя.— А если ты... Если ты отвечаешь, то отвечай как надо, а не хватай сразу человека за шиворот! Ты знаешь, зачем он бегал на почту? Ничего не знаешь. А сразу ругаешься! А может быть, он какое-то важное письмо ждет! — Володя почувствовал, что нашел слова, с которыми трудно спорить. И продолжал почти весело: — Может быть, у него дома что-нибудь случилось, может, он по ночам не спит... Ты его про это спросила?

— Не спит он, как же...— неуверенно проворчала Серафима.— Другой бы на его месте взял бы тогда и объяснил все. А он стоит и молчит...

— Другой на его месте,— ядовито сказал Володя,— взял бы да сунул все эти письма под пень в лесу или в яму какую-нибудь. И концы в воду. Никто бы и не узнал, что он на почту бегал. А он принес...

Может быть, Серафиме нечего было возразить. А может быть, она взглянула на рассыпанные по песку письма и увидела среди них то, которое очень ждала. В общем, она торопливо наклонилась, собрала конверты, проворчала, что все равно это дело Кашке, а заодно и Зыкову так не пройдет, и ушла.

Володя весело засвистел. Победа была за ним. Он уже хотел покинуть «поле битвы», но заметил у края аллеи, в траве, свернутый листик бумаги. Записка, что ли, какая-то? Она шевелилась под ветром, словно хотела выбраться из стебельков и листьев.

Володя развернул бумажку и увидел:

Стихи для Володи

Я веток сухих и иголок найду
Стиклом от бинокля огонь

разведу кастер как живой
он похож на жар птицу
Она мне севодне наверно
присница.

Володя аккуратно, уголок к уголку, свернул листик и спрятал в карман. Улыбнулся и пошел туда, где перевязывали раненого оруженосца.

Но Кашка уже сам летел навстречу. Распущенный бинт реял за ним, как вымпел. Сзади с возмущенными криками бежала Райка, а за ней еще три девчонки.

— Во-лодя...— Кашка остановился и никак не мог отдышаться.— Тут бумажка... с письмами была... Я потерял...

Володя вынул стихи.

— Эта?

Кашка начал улыбаться. Улыбка была смущенная и вопрошительная.

— Я прочитал,— негромко сказал Володя.— Хорошие стихи. Правда, Кашка, хорошие. Честное слово... Ну, давай я завяжу руку.

— Вот придумал! — вмешалась Райка.— Нужен стерильный бинт. Смотри, он этот в песке извозил. Сорвался как сумасшедший. Девочки, дайте йод.

Она развернула новый моток бинта. Кашка послушно подставил локоть. Смотрел он не на Райку, а на Володю. Равнодушный к боли и совсем счастливый.

— Кашка, а зачем тебя на почту понесло? — поинтересовался Володя.

— Чтоб скорей письмо отправить. Чтобы мама скорей ответ написала...— Кашка замялся. Неудобно было объяснять Володе, что без маминого разрешения он побаивался везти к себе гостя.

— А дрался зачем?

Кашка насупился. Покосился на Райку.

— Я потом... скажу.

Райка завязала тесемки бинта.

— Пойдемте, девочки, пусть они секретничают.

Девчонки с независимым видом удалились. Даже их спины говорили: «Больно нужны нам ваши тайны!»

— Ну? — сказал Володя.

— Мишка Зыков говорил, будто она нарочно мимо стреляла...— Кашка сердито кивнул вслед Райке.— Нарочно, чтобы тебе первое место досталось. Потому что... Мишка — он дурак. Говорит: потому что она в тебя влюбилась.

— Тьфу ты...— Володя сказал это беззаботно, а у самого тут же заныло, заскребло на душе. Беспокойство — как злая мышь.

Он всегда не любил непонятные разговоры и загадки, полунамеки и хитрые взгляды. Это его злило. А здесь... Здесь было еще хуже. Он не понимал, что и почему хуже, только

почувствовал: чтобы не стало совсем плохо, надо решить все мгновенно:

— Райка, стой!

Девчонки остановились, удивленно оглядываясь. Володя подошел почти вплотную.

— Слушай,— отчетливо сказал он.— Ребята говорят, что ты нарочно мазала по мишеням. Для меня. Да?

Девчонки приоткрыли рты. Райка сделала круглые глаза.

— Если да, скажи сразу, без дураков,— потребовал Володя.

Он смутно чувствовал, как рвутся между ними ниточки-паутинки. Ниточки, о которых он раньше не догадывался. Но рядом стоял весь натянувшийся, напряженно ждущий ответа Кашка, соучастник его победы, верный и доверчивый оруженосец. И это было главное.

— Скажи,— твердо повторил Володя.

Райка отступила к березе, запрокинула голову и принялась хохотать. Хохотала она старательно и громко. «Аут»,— мысленно произнес Володя. Он по-прежнему чувствовал досаду, но беспокойство исчезло.

— Пойдем, Кашка. Разве их поймешь, девчонок... Пошли. Ты мне pomoжешь просунуть нитку в иголку.

Дни убегали. Чем ближе к концу, тем скорей. А письмо для Кашки не приходило.

Дежурные отправлялись на почту после обеда, в тихий час, который тянулся не один, а два часа. И это время было для Кашки не сон, а мучение. По несколько раз он срывался с кровати и выскакивал из палаты, будто бы по неотложному делу. И смотрел, не возвращаются ли дежурные. Иногда Кашке удавалось встретить их. Но такие встречи приносили одно расстройство: письма не было.

До прощального костра осталось четыре дня. Вернее, три с половиной.

Кашка лежал и смотрел на потолок. По деревянной балке ходила блестящая зеленая муха. Кашка загадал: если муха перейдет через длинную трещину, письмо сегодня будет обязательно. Муха через трещину не шла. Кашка то уговаривал, то ругал ее шепотом, но без всякой пользы. Муха погуляла вдоль балки и остановилась у круглого сучка. Неожиданно она стала толстеть, расти и превратилась в смешного челотяпика с усами и шпагой. Кашка не удивился такому делу, только не понял: как он там держится вниз головой. И еще оказалось, что сучок — это не сучок, а деревянная пробка. Челотяпик обхватил ее, начал раскачивать и наконец выдернул из гнезда. Пробка полетела вниз и хлопнула Кашку по лбу. Он моргнул и увидел, что ни пробки, ни челотяпика нет, а есть Алеша Малютов, который приготовился второй раз щелкнуть Кашку в лоб.

— Ждал письмо? На,— прошептал Алешка.— И вот еще, отдай своему Володьке...

Хороший человек Алешка! Просто чудо, какой хороший!

Кашка перевернулся на живот, рванул конверт. Скорей! Ой, длинное какое! «Здравствуй, милый сынок...» Так, это как всегда, это хорошо. «Папа здоров...» — это замечательно. «Бабушка пишет...» Неважно, что она пишет! Где же главное? Ой, вот! «Конечно, пусть приезжает, мы будем очень...»

Ура! Кашка тихой молнией скользнул в коридор, а оттуда в соседнюю палату.

Большие мальчишки, конечно, не спали. Двое играли в шахматы, один жевал печенье, Юрка Земцов целился в кого-то мыльницей, еще двое накачивали велосипедным насосом заштопанный волейбольный мяч. Мяч не накачивался и шипел. Мальчишки тоже шипели и ругались.

Володя лежал на животе и читал книжку.

— Володя,— ликующе зашептал Кашка,— смотри, мама пишет: «Пусть приезжает». Поедем, да?

Володя не сразу понял. Потом отбросил книгу. Ох, черт! Видно, Кашка всерьез вбил себе это в голову...

— Видишь, мама пишет: «Будем очень рады...»

Вот не было печали!

Но ведь он в самом деле тогда пообещал. Как же теперь выкрутиться?

А впрочем... Надо ли выкручиваться? Если уж обещал... Домой, конечно, уже хочется здорово. Но ведь Кашка тоже...

Володя сел в кровати. Эх ты, Кашка... Вот он стоит перед ним, тонконогий малыш-оруженосец. Смотрит радостными серыми глазами. Поверил уже.

А может, правда съездить? На пару дней. Дома, конечно, будет нахлобучка, но... наверно, не очень сильная. Райка отвезет записку. Папа поймет. Мама? Пошумит и тоже успокоится. В Белый Ключ ведь он тоже один ездил, а был на год младше.

Может, в самом деле съездить? А то разъедутся они с Кашкой в разные стороны и, кто знает, увидятся ли когда-нибудь еще?

— Ладно, Кашка. У нас ведь еще четыре дня. Договоримся.

— Три,— настороженно сказал Кашка.— А разве мы еще не договорились?

— Ну... Эх, пусть. Договорились. Если все будет в порядке, то договорились... А что это за письмо еще?

— Ой, оно тебе. Я забыл даже...

От кого бы это? Надо же, от Надежды! Интересно... Но он прочитает, когда никто не будет мешать. Так лучше.

— Ну, Кашка, иди досыпай. А то нам Серафима даст жизни.

— Даст,— радостно согласился Кашка.

Он исчез, а Володя распечатал письмо.

Вова, здравствуй!

У меня радость. Папка наш едет в командировку в Ленинград и меня берет с собой. А по дороге мы к вам заедем на три дня. Ты мне весь город покажешь. Помнишь, ты обещал? И театр, и скелет мамонта в музее, и пристань, и летний трамплин. Я знаю, ты 23-го из лагеря приедешь. Мы к вам тоже двадцать третьего приедем. А к нам в Ключ ты собираешься? Встретимся — договоримся. Ура!

...Юркина мыльница свистнула над Володиной головой, ударилась о стену и развалилась на половинки. Володя не шевельнулся. Он смотрел в письмо, будто хотел прочитать, какой же придумать выход. Но не было выхода. Тут или — или... Но никакого «или» быть не может. Потому что Надежда — это Белый Ключ, это озера с темной водой и чешуйками месяца, и звезды в разрыве листвы, и солнечные заросшие улицы, и веселье, и ночные костры...

Но... «Костер как живой, он похож на жар-птицу...»

Как же теперь ему объяснить? Как рассказать, что такое эта круглолицая строптивая девчонка?

Эх, Кашка, Кашка! Не везет тебе, оруженосец...

А Кашка спал, лежа ничком поверх одеяла. Ему приснился большой красный самолет в очень синем утреннем небе. Он летел так низко, что пригибались верхушки берез. Самолет весело трещал и блестел стеклами.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Это последнее утро было бессолнечным и сырым. Ночью шел дождь. Володя, просыпаясь, слышал сдержанный шепот капель и вздохи ветра. Сейчас дождя не было, но тяжелые облака так и не разошлись. Володя открыл глаза и увидел в окнах влажный пасмурный свет.

Вставать не хотелось. Володя закинул руки, вцепился в спинку кровати и потянулся. Заскрипела сетка. «Странно как-то получается,— подумал Володя.— Скоро я встану и, наверно, никогда в жизни уже не лягу на эту кровать. И в этой комнате, может быть, никогда уже не буду». Он разглядывал некрашенные доски потолка с привычным рисунком трещин и сучков. Прямо над головой были два круглых сучка, похожих на клоунские глаза, и третий, напоминавший сплюснутый нос. Под «носом» шла вдоль доски короткая широкая расщелина, будто растянутый в тонкую улыбку рот. Это было знакомое лицо потолка. Оно смотрело на Володю каждый вечер и каждое утро. Теперь уже не будет смотреть.

В приоткрытое, затянутое марлей окно сочился пахнувший дождем воздух. Володя поежился и выпустил железные прутья спинки.

Слева слышалось деловитое сопение. Володя повернул голову. Юрка Земцов сидел в кровати, держал на коленях рюкзак и укладывал в него свое имущество.

— Не терпится? — равнодушно спросил Володя.

— А зачем время терять? — Юрка повертел в руках лопнувшую по всем швам волейбольную покрышку (взять или выбросить?) и утопил ее в рюкзаке. — Сразу соберешься, потом забот меньше. А ты чего кислый? Все-таки домой едем. Неохота?

В самом деле, почему ему ничуть не весело? Ведь домой! Ведь так хотелось домой! Надежда придет. Но тут же он понял почему.

Кашка...

Володя вспомнил вечерний разговор. Они встретились за оградой лагеря, среди больших сосен. Подальше от чужих глаз. Кашка сидел на пенке и смотрел на Володю, подняв маленький острый подбородок.

— Никак не можешь, да? — тихо спросил он.

Володя покачал головой. Он смотрел в сторону. По траве прошелся ветер и пригнул головки подорожника.

— Не обижайся, Кашка, — сказал Володя.

Кашкины глаза стали удивленными. Он совсем не обижался. Раз Володя так решил, значит, так надо. Но было очень грустно, и Кашка все еще надеялся, что найдется какой-то выход. Может быть, Володя придумает.

— А если хоть на один денек? — шепотом спросил Кашка. — Тоже нельзя, да?

— Понимаешь, Кашка, никак... — Володя старался говорить очень мягко и убедительно.

Кашка медленно вздохнул. Его остренькие ключицы приподнялись и упали.

«Надо было сказать ему сразу», — подумал Володя.

— Если бы не это письмо, мы бы обязательно поехали, — проговорил он. — Честное слово... Но мы в будущем году встретимся, — добавил он почти жалобно.

— Ага... — откликнулся Кашка. Он сидел теперь согнувшись и расковыривал кору на пенке. На Володю не смотрел.

Прозвучал за деревьями горн.

— Ну вот, — с облегчением произнес Володя. — Это вас на ужин зовут. Что-то рано сегодня...

Кашка медленно поднялся.

— Отряхнись, — сказал Володя. — Все штаны в мусоре.

Кашка покорно дал себя отряхнуть.

— Ну, все в порядке... Слушай, Кашка, давай попрощаемся сейчас. Мы же завтра на разных машинах уезжаем. Рано утром. Наверно, и увидеться не успеем. А на костер вас, наверно, не пустят, чтобы завтра не проспали.

Кашка кивнул. Он стоял, крутил на животе пуговицу рубашки и не знал, что сказать.

Володя взял двумя руками его маленькую ладонь. Ладонь была вялая. Совсем не такая, как раньше. Вчера дежурные не пустили Кашку в столовую, придрались к пятнам смолы на пальцах, и Володя потащил его отмывать руки. Он тер их большим куском мыла, а Кашка визжал, дурачился, и его скользкие ладони вырывались из Володиных пальцев, как живые карасята. А сейчас...

— Ну, беги,— сказал Володя.— Пора. Двигай, Кашка...

— Ага...— прошептал Кашка.— Я пошел.

И он зашагал к лагерю.

«Если бы можно было разорваться,— подумал Володя.— И домой, и к нему...»

Кашкина понурая фигурка мелькала среди потемневших сосен.

«Только бы он не заплакал»,— подумал Володя.

...Но Кашка не плакал. Зачем? Так уже было. Уехал куда-то добрый мальчишка Пимыч. Ушел в далекие горы бесстрашный путешественник Костя. Все встречаются, а потом расстаются. Нечего тут плакать...

Зато Кашка скоро придет домой, и там будут мама и папа.

Кашка вспомнил о доме, и сразу все просветлело. Слезы растаяли. Кашка пошел дальше не опуская головы.

Но вот он вышел на лужайку, где они с Володиёй жгли костер. След костра был как черная заплатка на мохнатом травяном ковре. У Кашки опять заскребло в горле.

Завтрак был торопливым и коротким. Володя проглотил противный теплый компот и поскорей вернулся в свою дачу.

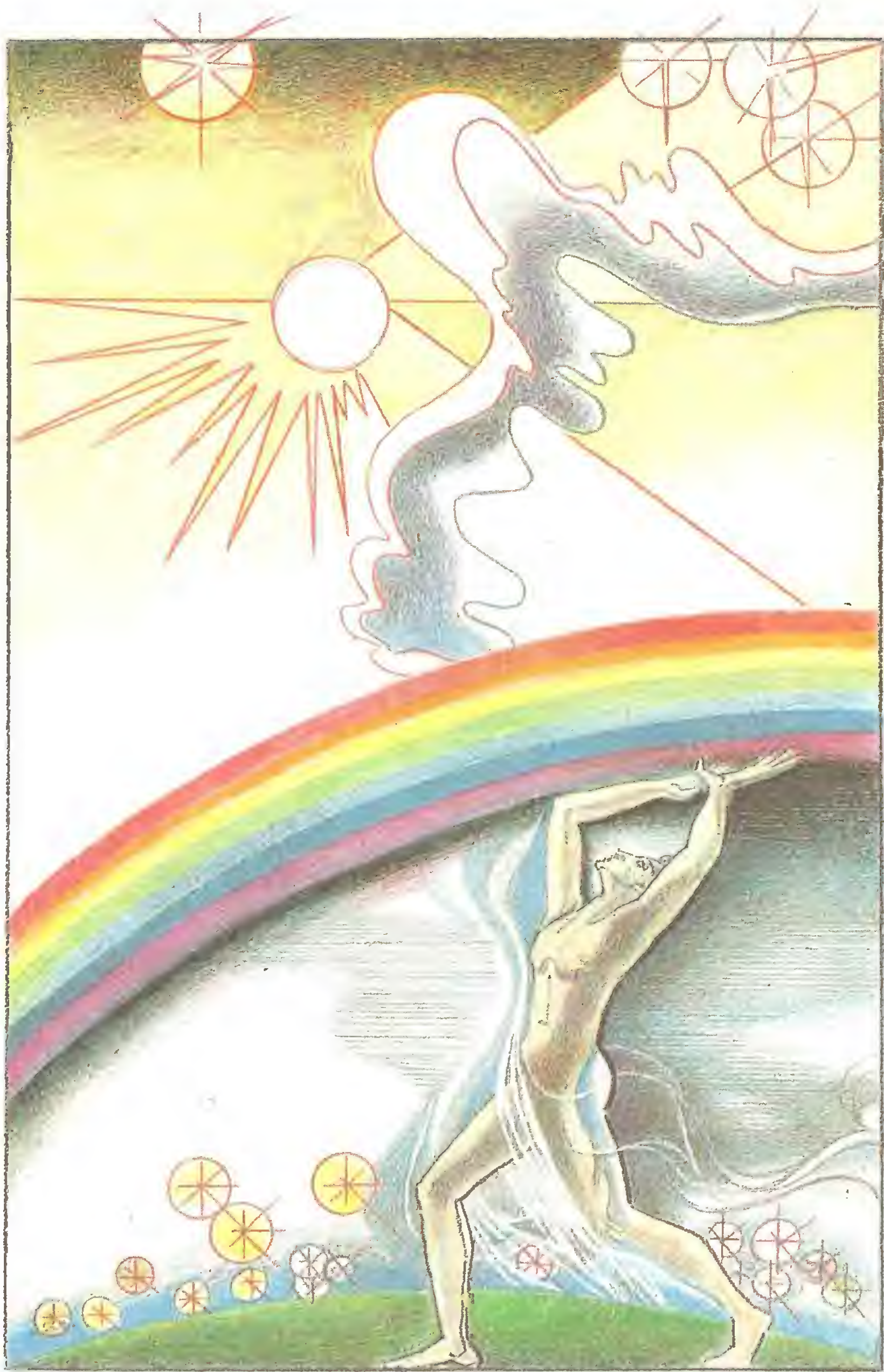
Юрик Земцов оказался прав: следовало собраться заранее. Почти все уже были готовы, а Володя искал под кроватями зубную щетку и фонарик...

Когда рюкзак был уложен, Володя заметил, что в комнате пусто.

Володя ловко бросил рюкзак за спину — обе лямки на одно плечо. Поправил ставшую непривычной кепку: он почти не носил ее в лагере. Взял в углу свою узорчатую тросточку.

Оглянулся на пороге.

Постели были убраны, на полу мусор: обрывки газет, сухие сосновые иглы и блестящая пряжка от сандалии. Плакат, на



котором краснощёкий горнист играл побудку, оторвался верхним углом от стены и повис, как приспущенный флаг. Видны были только ноги горниста и подпись: «Ура пионерскому лету!»

Вот и все. «Синие камни», прощайте! Было хорошо, и поэтому сейчас грустно. Но впереди тоже много хорошего, и поэтому грустно не очень. Прощайте, скалы в дальнем конце просеки, алый шиповник по краям полян, желтые костры в сизых сумерках, красный олень, бегущий сквозь кусты... И маленький оруженосец Кашка...

Видно, так уж устроено в жизни. Встретятся два человека и сначала смотрят друг на друга хмуро и непонятливо, а когда эта хмурость исчезает и хочется быть вместе, вдруг наступает вот такой пасмурный день. И надо прощаться. Тут уж ничего не придумаешь, у каждого своя дорога.

«Не надо больше встречаться с Кашкой,— подумал Володя, сходя с крыльца.— Ни к чему с ним сейчас встречаться. Хорошего от этого не будет ни ему, ни мне. Он еще заплачет...»

Но Володе не повезло. Он обогнул дачу и увидел, что вдоль аллеи стоит длинная шеренга малышей. Уже одетые в дорогу, с рюкзаками и чемоданчиками, они выстроились для последней переклички. Ветер сеял водяную пыль, и малыши стояли непривычно тихие, присмирившие. Серафима нервно размахивала листком бумаги и повторяла:

— До станции поедem в автобусе. Вместе с другими ребятами. Ведите себя как следует. На вокзале разделимся. Те, кто в город, поедут на электричке с Сергеем Петровичем. Те, кто в Новореченск и Камшал, поедут со мной. Повторяю...

«Значит, Сережи с нами не будет,— подумал Володя.— Наш грузовик поедет в город по тракту, на станцию не заедет...»

Кашка стоял почти в конце шеренги. Был он сейчас совсем маленький. В мятой вельветовой кепчонке, в серой курточке, в сморщенных на коленках чулках. С большим портфелем, перевязанным веревочкой. Левый чулок сползал, и Кашка то и дело поддергивал его. Лицо у Кашки было совсем неулыбчивое и равнодушное: словно ему все равно, куда ехать и что делать.

Володе стало не по себе. Если бы он был девчонкой, он мог бы подумать: «У меня защемило сердце». Но он не был девчонкой и думать о таких нежностях не умел.

— Новоселов! В машину! — закричали издалека.— Воло-о-дя-а!

Кашка вздрогнул, распрямился. И конечно, увидел Володю.

Он глянул в упор, и в серых глазах его тут же вспыхнула крошечная надежда. И стала расти. «Ты передумал, да? Ты поедешь?»

«Уйти бы...» — подумал Володя. Уйти было нельзя.

— Еще раз повторяю,— с надоедливой громкостью говорила

Серафима.— Вести себя надо как следует, потому что... Новоселов, а тебе что надо? Не мешай ты нам...

— Ладно, потерпи,— сказал Володя.— Теперь уж не долго.

Он взял Кашку за плечи и, пятась, вывел его из строя. Так они пересекли аллею. Володя остановился, прислонившись рюкзаком к березе.

— Ну вот...— негромко сказал он.— Счастливо тебе, Кашка.

— Ага... Счастливо,— ответил Кашка шепотом и стал смотреть на свои сандалии. Сверху, с березовых листьев, падали увесистые капли.

Володе до смерти захотелось, чтобы все было как раньше. Чтобы вспыхнуло солнце, сверкающее, будто труба горниста; чтобы ветер обсушил деревья; чтобы стало тепло и ободренный Кашка улыбнулся своей чуть виноватой улыбкой.

Но что же мог Володя сделать? Ведь не мог он разогнать тучи.

Кашка опустил голову так низко, что Володя не видел его лица. Видел только вельветовую кепку с кнопкой, светлый затылок и тонкую Кашкину шею с желобком. Большая капля упала прямо в этот желобок и покатилась за воротник. Но Кашка только шевельнул плечами и не поднял головы.

— Ты ведь можешь написать письмо,— сказал Володя.

— Ага...— шепотом откликнулся Кашка.— А куда? — Он медленно поднял лицо.

— Я сейчас. Я адрес дам.— Володя сбросил рюкзак и торопливо зашарил по карманам. Он нашел все, что нужно: огрызок химического карандаша и какой-то бумажный клочок. Он развернул бумажку.

Это были Кашкины стихи:

Я веток сухих и иголок найду
Стиклом от бинокля огонь
разведу кастер как живой...

«Нельзя,— подумал Володя.— На этом никак нельзя».

Но больше не было бумаги. Тогда он снял кепку, растянул ее пальцами на березовом стволе и, мусоля карандаш, начал выводить на подкладке крупные буквы. Потом яростно рванул трескучий сатин.

— Вот, Кашка, адрес. Не потеряй эту тряпку. Где у тебя карман? Ага, вот сюда. Ты смотри пиши. Я тоже напишу. Обязательно, Кашка. Ладно?

— Ладно...— Кашка снова смотрел ему прямо в лицо.— Володя... А если ты только на сегодня съездишь? Хоть дорогу узнаешь. Это тоже нельзя, да?

— Голубев, Новоселов! Вы же держите всех! — окликнула Серафима.— На автобус пора!

Володя поднял из травы свою тросточку и вложил в Кашкину ладонь. Сжал его пальцы вокруг узорчатой рукоятки.

— Бери, — твердо сказал он. — Все. Пиши.

Он вскинул рюкзак и торопливо зашагал к своей машине. Оттуда уже звали его несколько голосов.

— До свидания! — запоздало крикнул Кашка.

Володя, не оглядываясь, махнул рукой.

Грузовик стоял у ворот лагеря. Все ребята уже были в кузове. С ними сидела худая очкастая Рита, вожатая третьего отряда. Володя вскочил на колесо и перевалился через высокий борт.

— Володька! Мы место заняли! Иди! — услышал он и увидел Юрика Земцова.

Юрка поднялся с передней скамейки и махал мятым беретом, на котором только что сидел.

Там же, среди тюбетеек и фуражек, зеленела Райкина козынка.

— Сейчас, — сказал Володя и поднял рюкзак. Поднял повыше, чтобы не зацепить чью-нибудь голову. Рюкзак был тяжелый, вытянутая рука дрожала. — Ну-ка, пустите, — сказал Володя.

Мальчишки заворчали и задвигались.

— Шагай скорей! — звал Юрик.

Уже работал мотор, и дно кузова мелко вздрагивало под подошвами.

— Сейчас, — зачем-то снова сказал Володя.

— Да возьмите же у него мешок! — не выдержала Райка. — Олухи, честное слово!

К рюкзаку потянулись чьи-то растопыренные ладони. Володя медленно отвел руку в сторону, за борт.

И разжал пальцы.

Костер как живой, он похож на жар-птицу...

Рюкзак тяжело шмякнулся у колеса, и Володя пружинисто прыгнул рядом. Он услышал, как в кузове ойкнула Райка.

Володя выхватил карандаш и листок с Кашкиными стихами — теперь было все равно. Он прижал бумагу к борту грузовика. Писал, пропуская буквы и запятые, и чувствовал, как убегают секунды.

Потом крикнул:

— Райка!

Среди удивленных и встревоженных лиц он увидел Райкино лицо.

— Слушай! — сказал он громко и отчетливо, чтобы ни одной

секунды потом не тратить на повторение.— Зайдешь к нам, отдашь это.— Он протянул записку.

— Ой, Вовка! Ой, будет тебе дома...— быстро начала Райка, потому что поняла его сразу.— Ой, дурак...

Но он уже бежал, и наспех подхваченный рюкзак неуклюже прыгал у него за плечом.

— Новоселов! Что за фокусы! — Это кричала вслед Рита, но Володя не оглянулся. Больше всего он боялся одного: не успеть. Кеды скользили по сухим сосновым иголкам.

Длинный красный автобус уже гудел напряженно и нетерпеливо. Вот-вот захлопнется с коротким змеиным шипением дверь! И казалось Володе, что он уже слышит это шипение. Но, видимо, это был встречный ветер.

Он успел.

Он влетел в дверь, и она закрылась, едва не прищемив рюкзак.

Сразу же Володя увидел Кашку. Он сидел у окна. Но смотрел он не в окно, а прямо перед собой, положив подбородок на спинку переднего сиденья. Рядом устроился Генка Молоканов. На пухлых коленях он держал Кашкину тросточку и с удовольствием ее рассматривал. «Выманил уже, скотина», — мельком подумал Володя. Он шагнул вперед и сурово сказал Молоканову:

— Геть.

Тот захлопал ресницами и безропотно слез с сиденья. Что теперь делать с тросточкой, он не знал и нерешительно топтался рядом.

Кашка поднял голову. Выпрямился. И тоже заморгал. Автобус уже катил среди сосен, и по Кашкиному лицу пролетали быстрые тени.

Володя бросил на сиденье рюкзак, уперся в него кулаками. Так он и стоял, чуть согнувшись, и смотрел на Кашку.

Кашка начинал улыбаться.

В автобусе молчали. Сережа молчал и ребята.

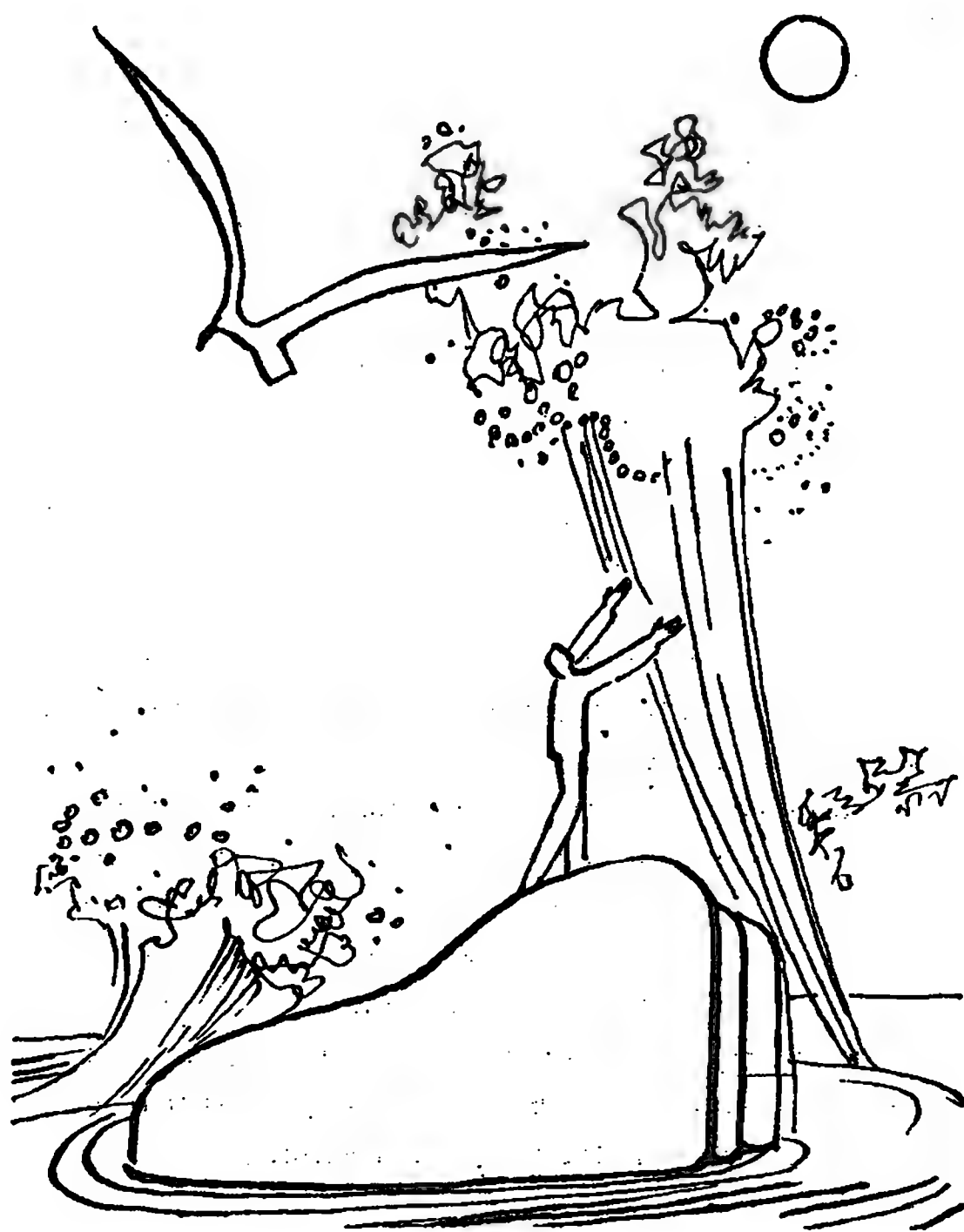
Кашка медленно придвинулся к рюкзаку и обнял его левой рукой. Словно это был не рюкзак, а кто-то живой и добрый. И снова взглянул на Володю. Смотрел он снизу вверх, подняв острый подбородок. Улыбка его была все еще несмелая и немного смешная, потому что не хватало переднего зуба.

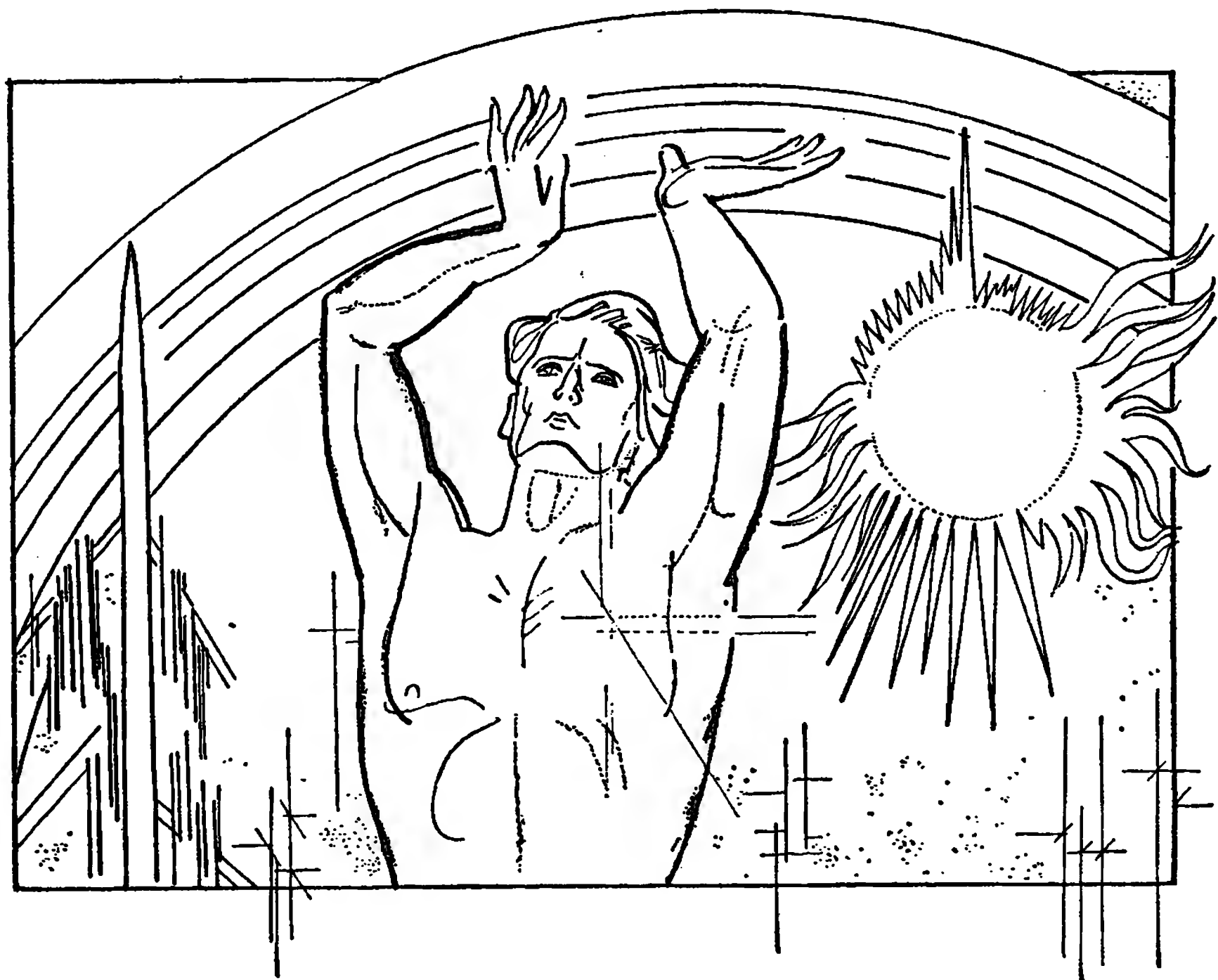
А Володя вдруг заметил, что глаза у Кашки не серые. Они светло-голубые с коричневыми крапинками.

ЭДУАРДАС МЕЖЕЛАЙТИС

ЧЕЛОВЕК

Стихотворения





ЛИРА

Нет лиры у меня.
Но жаворонок ранний,
В рассветном небе славя бытие,
Образовал струну
Восторгов и страданий,
К земле и к солнцу приковал ее.

До трепета натянута прямая,
Певучая и вечная струна.
Все выше землю к солнцу поднимая,
На тысячу ладов звучит она.

И верится, что утренняя птица
Еще не завершила свой полет.
А если кубок неба накренится,—
Струна дождя под пальцами поет.

Нет лиры у меня.
Но есть в лесу зеленом
Дремучая струна
Соснового ствола;
Меж небом и землей
Колеблется со звоном,
В земле укоренясь,
До неба доросла.

И сладко сознавать, что мне в наследье
Струна сосны досталась неспроста,—
Ударит ветер по стозвонной меди,
И скорбно прозвучит за нотой нота,
Как будто «Лес» Чюрлёниса с листа
В лесу играет вдохновенный кто-то.

Я вижу поле. Пробил жданный срок,
Поспела рожь и струнами литыми
Задумчиво звенит в рассветном дыме
По сторонам проселочных дорог.

Нет лиры у меня.
Но есть священный жребий
В просторе полевом,
Где росы так свежи,
Задумать песню о насущном хлебе,
Перебирая струны спелой ржи.

Нет лиры у меня.
Но заводские трубы
Звучат басовой, каменной струной,
Цехов горячих нестерпимый зной
Бросают в небо, тяжелы и грубы.

Там белокрылый голубь над трубой
Взмыл и связал собой трубу завода
С необозримой высью голубой —
И дотянул струну до небосвода.

Взмахну рукой,
Ударю по струне.
По заводской, из камня и железа,—
В единую мелодию во мне
Сольются звуки труб,
Лугов и леса.

Нет лиры у меня.
Но струны нежных рук,
Простертые ко мне неудержимо,
Звучат сквозь клубы городского дыма,
В полях, над синевой речных излук.

Сосна и стебель ржи,
Чащоба труб и руки,
И жаворонок, льющийся звеня...
Сливаются во мне
Ликующие звуки
Мелодии...
Есть лира у меня!

ЧЕЛОВЕК

В шар земной упираясь ногами,
Солнца шар я держу на руках.
Так стою, меж двумя шарами —
Солнечным и земным.
Недра мозга, пласты мозга
Глубоки, словно рудные недра.
Я из них вырубаю, как уголь,
Выплавляю из них, как железо,
Корабли, бороздящие море,
Поезда, обвившие сушу,
Продолжение птиц — самолеты
И развитие молний — ракеты.
Это все я добыл из круглой,
Словно шар земной, головы.
Голова моя — шар солнца,
Излучающий свет и счастье,
Оживляющий все земное,
Заселяющий землю людьми.

Что земля без меня?
Неживой,
Сплюснутый и морщинистый шар
Заблудился в бескрайних просторах
И в луне, словно в зеркале, видел,
Как он мертв
И как некрасив.

Я был создан землею — с тоски.
А в минуту печали земля

Подарила мне шар головы,
Так похожий на землю и солнце.

Подчинилась земля мне, и я
Одарил ее красотой.
Земля сотворила меня,
Я же землю пересотворил —
Новой, лучшей, прекрасной, — такой
Никогда она не была!

В шар земной упираясь ногами,
Солнца шар я держу на руках.
Я — как мост меж землею и солнцем,
И по мне
Солнце сходит на землю,
А земля поднимается к солнцу.

Обращаются вокруг меня
Ярко-пестрою каруселью
Все творения, произведения,
Изваяния рук моих:
Города вокруг меня кружатся,
И громады домов,
И асфальт площадей,
И мосты, что полны машин и людей.
Самолеты и лайнеры — вокруг меня,
Трактора и станки — вокруг меня,
И ракеты вращаются вокруг меня...

Так стою:
Прекрасный, мудрый, твердый,
Мускулистый, плечистый.
От земли вырастаю до самого солнца
И бросаю на землю
Улыбки солнца.
На восток, на запад,
На север, на юг.
Так стою:
Я, человек,
Я, коммунист.

РУКИ

Вы видели дерево, бурей несомое?
Парящее, словно совсем невесомое,
подставило ветру зеленую грудь
и хочет ветвями небес достягнуть.

Пьет ливень оно,
и большая вода
стекает по веткам
упрямым, извилистым,
как будто бы пот
по натруженным, жилистым
рукам,
испытавшим огромность труда.

Потрескались ветви. Они загрубели.
Ломота ветвям отдохнуть не дает.
Но дерево знает: покуда при деле,
доколе работает —
дотоле живет.

Летит, расправляя зеленые крылья,
туда, где, как вороны, тучи черны,
и вот уже вороны солнце открыли,
и молнии больше уже не страшны.
Вы видели дерево?
Я поднимаю
тяжелые, словно сукки,
кулаки.

Вот две трудовых и свободных руки,
я вызов от имени рук
принимаю

свободных!
Дороже всего им — свобода
пахать и выращивать,

сеять и жать,
и хлеба ломоть на ладони держать,
свободно возвращенного
вольным народом.

Пусть птицы садятся на руки мои,
ища в них защиты от солнца и града.
Рассветное солнце обнять они рады.
Пусть свищут и щелкают в них соловьи.

Их две у меня,
и я обе отдам
(и сотням, пожалуй, хватило бы дела)
заводам и пашням,
лесам и садам —
родимой земле
без конца и предела.

К Р О В Ъ

Кровь по жилам моим, как по руслам, струится,
разветвленьем ручьев, родников и речушек и рек,
словно воды, которые в Неман стремятся
и в кипящую Балтику направляют свой бег.
Черна по ночам быстрина.
И несется
черный ил в быстрине; тает белый туман над
водой.
Но утром чуть брызнет из тучи как ягода,
солнце —
рассвет закипает, в реке розовеет прибой.

Как бурливые реки,
раздуваются вены,
разливаются реки,
исчезают, сливаются в Неман.
И как сердце мое гудит,
принимая кипящие струи, —
растворяется в Балтике Неман,
вода розовеет от крови.

Все ручьи и притоки, все ночные истоки
нелегко сосчитать. Поглощает большая река
кровь бесчисленнейших персонажей из драмы
«История» —
солдата и пахаря, грузчика и рыбака.
Несли в темноте беспокойные воды
черный ил.

И тумана белесый, холодный покров
обволакивал путь. Но лишь солнце холодные волны
озарило — и отсветом красным окрасилась кровь.

Беспрестанно в работе,
вечно в круговороте,

в движение, а значит, в бессмертье.

Кровь волнуется, пенится,

не кончается эта работа.

Проношу свое сердце, как знамя,

как стяг трудового народа.

Кровь гудит и поет в каждой клеточке тела

песню о человеке-творце, властелине земли;

песнь о плуге, пластающем пашню, как вязкое тесто...

Не кровью, а песнями вены мои истекли.

Пою о работе — соскучились руки,

о крушение последних страданий, последней межи.

В зеленый росток превращаются алые струйки,

и красные капли становятся зернами ржи.

Искрой светится капля

в каждом песенном слове;

горит не сгорает

капля земной, солнечной крови.

Не красными струями,

кипящими в пене, —

водопадами в руслах глубоких

текут, разливаются песни.

СЕРДЦЕ

Что такое сердце?

Камень твердый?

Яблоко с багрово-красной кожей?

Может быть, меж ребер и аортой

Бьется шар,

на шар земной похожий?

Так или иначе — все земное

Умещается в его пределы,

Потому-то нету мне покоя,

До всего есть дело.

Утром поднимаюсь с голубями.

Песня счастья над землей несется.

Колокол лучи заколебали.

Сердце тоже вздрогнуло от солнца.

Утром им обоим беспокойно.

Счастье им вместить не удастся.

Колоколу тесно в колокольне.

Сердце из груди на волю рвется.

Слышите биенье?

Чаще, чаще! —

Буря мая колокол качает.

Сердце разрывается от счастья.

Колокол на части разрывает.

Колокол в моей груди ликует;

Торжествую — воспеваю, славлю.

Но не только теплый ветер дует —

Задувает вьюга злая.

Бьют по веку бомбы и ракеты.

Не дают столетию покоя.

Дрогнуло, забилося у поэта

Сердце окровавленное,

сердце людское.

Где бы в человека ни стреляли,

Пули — все! —

мне в сердце попадали.

Столько в нем свинца уже скопилось,

Что оно давно

к земле склонилось.

Где бы интервенты, оккупанты

Ни ступали

по чужому полю,

Топчут мое сердце,

словно мину,

Что заряжена взрывчаткой боли.

Реки слез по свету протекают,

В сердце

все они

в мое

впадают.

Кровь невинных

заливает сердце.

Кровь погибших

заполняет сердце.

Вся

пролившаяся

кровь людская

Льется в жилы,

В грудь мою втекает.

Налитое кровью и слезами,

И свинцом, и болью

всей планеты,

Впрямь оно, как яблоко, созреет,
Сердце беспокойного поэта.
Пусть падет оно, ломая ветку,
На родимую, большую землю.
Из грудной
 пусть вырвется
 из клетки.

Смерть любую радостно приемлю,
Лишь бы песня будущего счастья
Эхом прозвучала из грядущего.

Г Л А З А

Два глаза,
Словно звезды, на мир взирают.
Были дни — как подбитые птицы,
Трепетали они, замирая,
Спрятав черную боль в зеницах...
 Два глаза —
В муках голода хлеба молили,
Как метались, как бились! Два глаза,
Как два красные знамени были...
 Два глаза —
 Две пули —
Прямо в сердце врага разили,
Если недруги, подкарауля,
Смертью глазам грозили...
 Два глаза —
Два ручья протекают по полю,
Нет в них больше ни крови, ни боли,
Все осело на дно,
 и два глаза
Под бровями, как под кустами,
Просветленными льются ручьями.
Если ж туча надвинется, — сразу
Загрустят, замутятся
 два глаза.
А прольется туча, промчится,
Станут солнцем опять лучиться
 Эти два глаза.

То печалются, то сияют,
Да еще и других пленяют
Эти два глаза.
И желают
Два глаза,
Чтоб ничья недобрая воля
Странствий светлых не прерывала
Глаз-ручьев,
чтобы в них сияли
Еще радостней, чем бывало,
Люди, небо, деревья, селенья...

Но не вечно воды кипенье,
И в какой-то час неизвестный
Они остановят бег свой —
Два ручья,
Два глаза,
Два моих глаза.

ГОЛОС

Голос мой живет своею собственной жизнью. У него есть своя история. И своя биография.

Рассказать тебе его биографию? Но тогда мы начнем не с него, а начну с твоего я голоса, чьи раскаты мне снова слышатся.

По земле еще стелется эхо твоего тяжелого шага, и тобой нанесенные раны не успели еще затянуться, а в мою ты сторону снова оглянулся сердито, снова слышу я тот же твой голос угрюмый.

Говорю я: а разве ветер, вновь подувший отсюда, разве после всего, что осталось, он не жжет на лице твоём шрамов, этот ветер дыханья пожара, до сих пор не успевших остынуть, этот пепел сожженных усадеб, вытоптанных твоими ногами?

Разве ветер, подувший снова, не застлал глаз твоих горьким дымом книг моих, тобою спаленных?

Разве, щеки твои омывая, эти капли дождя не напомнят, что вот так омывали слезы матерей и младенцев щеки?

Разве молнии, змееподобно трепеща в небесах, не помнят, как тобой города и села предавались огню беспощадно?

Разве грома небесного грохот не звучит в ушах твоих нынче, точно отзвук братоубийства?

Разве поле, когда ты пашешь, не повеет в лицо твое смрадом тел гниющих? Быть может, тобою и расстреляны все эти люди?..

Разве все еще не понимаешь, что от всех твоих прошлых деяний остается лишь только лужа слез горючих и черной крови?

Если сердце твое как камень,— говорю я тебе,— пусть ветер жжет лицо твое пеплом пожарищ!

Если сердце твое как камень,— пусть не капли дождей весенних, а омоют лицо твое слезы.

Если ж сердце к тебе вернулось и во рту горький дым ощущений, если ест тебе глотку пепел и горючих слез солонее для тебя дождевые капли —

Говорю, что жестокого зверя человек победит в тебе все же...

Говорю я: из книг сожженных, из могил и из черных развалин поднимаются, тянутся к солнцу нежно-белые розы...

И разят они не смерднем порохового дыма — пахнут радостью благословенной, и младенец своею ручонкой норовит до них дотянуться.

Преклоняемся не перед смертью или ненавистью слепую и не мечь мы зовем на помощь —
преклоняемся перед младенцем, возгласившим, что он уж явился унаследовать эту землю.

Я услышал твой яростный голос, и пойми, что тебе отвечает мой простой человеческий голос.

Но другой хочешь слышать ты голос, тот, который давно мной потерян,— нежный голос поэта.

Хорошо! Отвечаю на это: вот он, голос поэта, приступаю я к изложению биографических данных, не внесенных еще в анкету никакого отдела кадров.

Кто ж виновен, что голос поэта в дни, когда гремели орудья и, как град, низвергались гранаты, — кто ж виновен, что в снежную бурю этот самый голос поэта, как солдат, коченел в окопах, голодал, против ветра кидался, на дыму прокоптился?

Этот голос ранила пуля, он споткнулся, кровавая рана до сих пор еще не затянулась.

Этот самый голос поэта — жертва нашей бурной эпохе — на алтарь ее так же брошен, как и многое-множество жизней.

Этот самый голос поэта, он прошел через Освенцимы, через Пирчуписы и Панеряи и через камеры пыток.

Этот самый голос поэта, он прошел через холод и голод, он прошел сквозь горнила фабрик, через кремационные печи, через атомный бред Хиросимы.

Этот голос поэта не умер, потому что упорно сражался, но из раны неизлечимой кровь доныне еще сочится.

Нет сомнения в том, что поэту жалко было терять свой голос, но гораздо больше жалел он, да и будет жалеть, — человека!

И уж если голос поэта обречен на гибель, что же, пусть он погибнет, за человека сражаясь!

И уж лучше мы спорить не будем, кто виновен, что в голосе этом — неизлечимая рана!

И вещает мой раненый голос —

Верю в человека. Дорог этот мир мне. И на песню сегодня трачу я голоса остаток.

Вы, подснежники, фиалки и калужницы, цветите; вы пашите, земледельцы, зерна в землю засевайте!

Говорю я: хлеб насущный все еще не в изобилие, да и крова семьям новым не хватает и поныне!

Нынче мне во сне явился ты, пропахший войною; голос твой стальной познал я в дни, когда, бряцая сталью, ты по деревням с винтовкой проходил и оставлял нам лишь горсть золы да пепла там, где был очаг домашний.

И оставил этот голос эхо, что во сне кричит мне; и преследование это будет длиться очень долго.

Матери, поднимите к солнцу головку младенца и при этом не опасайтесь безвозвратно лишиться солнца.

Разве солнце должно погаснуть? Говорю: разве должен пламень поглотить эту землю?

И не лучше ли будет видеть, как земля пламенеет утрами, утопая в сиянии солнца?

Не должно ли все больше младенцев обнимать материнские шеи, простирая к солнцу ладошки?

Не должно ли у человека быть все больше и больше хлеба?

И цветов все больше и больше не должно ль на лугах распускаться?

Да и слово «война» не пора ли заменить словом «мир» — говорю я!

Не пора ли слово «горе» заменить — говорю — словом «счастье»!

Так вещает мой раненый голос, голос, который еще и ныне готов к смертельной атаке.

Вот. Покуда все сказано, кажется...

Больше пока ничего не могу прибавить к биографии моего голоса,

А она, как вы видите,
Еще не закончена.

ЧАСТИЦА МАТЕРИ-ЗЕМЛИ

Камень — тело матери — земли,
а ее хребет — крутые горы,
реки — это вены и аорта...
Плоть моя — создание земли:

Я расту из полевых цветов,
из дождей и северного ветра.
Я — вода, погода, пламя, ветка
и движенье белых облаков.

Из снежинки я, из стебелька,
из тяжелой ягоды осенней,
из речного желтого песка,
из зеленой поросли озимой.

Я — из хлеба, что родит земля,
из ржаного, трудового хлеба;
также — из ячменного зерна,
также — из дурманящего хмеля.

Из единства рыбы и воды,
из горючего литого сланца...
Я — из яблока, что средь листвы
нам напоминает слепок с солнца.

Я — частица матери-земли,
разойдусь по руслам и по веткам,
и опять восстану из золы
молодым, пружинистым побегом.

ВОЛОСЫ

Ты спросишь, зачем слишком рано седела, светлела
Моя голова, что была, словно пашня, темна?
От светлого счастья, что в сердце беду одолело,
Пресветлою стала она.

Когда же беда окончательно сгинет и скроется,
В моей седине не сверкнет ни единая темная нить.
Как яблоня белая, вырасту я у околицы
И буду стоять и светить.

ГУБЫ

Губы — красною лентой,
Словно флаг, что разодран в бою.
— Это есть наш последний! —

Я с друзьями пою.

Эти губы не в силах

Жить без сладости ягод,

и соли морской,

И небес темно-синих,

И беседы мужской.

Губы ждут папирос,

Губы жаждут и меда и чаю.

И на каждый проклятый вопрос

Я немедленно отвечаю.

Приоткрытые губы

Подобны гнезду.

И душа

В этой темноте и глубине

Выводит слова не спеша.

Если губы устали,

Если сжаты они, — разожми,

Чтобы птичьей стаей

Летели слова над людьми.

Чтобы каждое слово,

Словно птица, летало везде.

И душа чтобы снова

Выводила их в том же гнезде.

Временами с трибуны

С губ срываются, словно из туч,

Громы, молнии, бури,

Но гроза миновала,

и светится солнечный луч.

Губы — радужной аркой

На безоблачном небе лица,

И — счастливый и жаркий

Поцелуй без конца!

Слышит женщина, слышит

То, что мы говорить ей должны,

Хоть слова эти тише

Самой тихой земной тишины.

Словно маки, сливаются,

И огнем занимается мак,

Губы в губы вливаются

Сочно-красные

в темных домах.

Но грустят, бывает, иногда
И в тоске заламывают крылья.

На земле далекой все сродни,
Бесконечно дорог день вчерашний!
Тихо опускаются они,
Чтоб идти за трактором по пашне.

Вот они над заводским двором,
Вот они летят над каждой кровлей
И садятся на руки потом
Той, что я зову своей любовью.

По траве густой они идут,
Клювики в речушке умывают,
Ягодки пунцовые клюют
И в стихотворенье собирают.

Отдыхают ночью меж ветвей,
Чтобы утром к звездам устремиться,
Снятся сны им на земле своей,
Отдыхают мои мысли-птицы...

Утром — снова в путь далеких
странствий!

И соединяется вдали
Притяжение звездного пространства
С древним притяжением земли.

ЛЮБОВЬ

Мне любовь приказала: лети.
Я взлетел и ослеп на лету.
Заблудился на Млечном Пути
и попал на чужую звезду.

— Но откуда же крылья твои? —
Люди спрашивали у меня. —
Береги их и не опали,
не взлетай, опасайся огня!

Это было началом начал,
первым корнем, пущенным в рост.
Протяженность свою — по ночам —
этот мир продолжает до звезд.

А землян разбирает смех:
— Где крылатый чудак? На звезде? —
Но туманный мерцающий свет
я увидел на дальней земле.

И приснился мне радостный сон:
я увидел, как тянется хмель,
я вдруг понял, как пахнет соль,
и припомнил, как пахнет хлеб.

Я с пустынной звезды по ночам
видел отблеск земного огня.
Ты, наверно, соскучилась там, —
все глядишь и глядишь на меня.

Я вернулся. Молчу и сижу.
Ничего тебе не говорю.
У камина одежду сушу
да вишневую трубку курю.

Ты, как роза, цветешь, ты молчишь.
Побелела твоя голова.
На меня все глядишь и глядишь.
Побелела моя голова.

А когда навестят меня сны
из пространства, где я побывал...
Поцелуй твой солони,
а по соли я так тосковал.

РОДНИК

Сползает с оттаявшей кручи
Покров синеватого льда.
Торчат обнаженные груди,
И радостно хлещет вода
Из каждой груди. И хлопчет
Родник и по склону бежит.
Серебряно, как колокольчик,
Земное в нем сердце звенит.
И если споткнешься в дороге,
То губы приблизь к роднику —
И сила земли, и здоровье
В уставшее тело втекут.

ЖЕНЩИНА

(Четыре портрета)

Ты в моих помыслах такая:

Под деревом зеленолистым, нагая, одним прикрытая листком античных статуй, как рыба белая стройна, ты, словно дерево ветвями, держишь в чудесных, длинных, узких пальцах плод яблони, как небольшое солнце, округлый золотой моток, как будто предлагая свить из него нить бытия. О счастье — создавать, творить! Сначала крохотно оно, как маковое хрупкое зерно, но тоже круглое, как яблоко. А яблоко, как мир, округлено. И из мельчайшего зерна нить начинает вить себя и создавать собой моток, шар, в яблоко величиной, растет и вырастет в мир, как этот, у тебя в руке, из нитей созданный клубок, огромный, словно шар земной.

Так — на холсте Дюрера — ты
стоишь, земная, грешная, простая
и в помыслах моих такая.

Ты в помыслах моих такая:

Небесная голубизна — светла, ясна. В прозрачности глубоких красок неизъяснимой чистоты, с глазами голубых мечтаний остановилась ты, подняв дитя, чтобы оно могло взглянуть на уходящий к роще путь в лучащемся тумане. А на лице твоём Покой и Благодать — две спутницы твои и каждой женщины, которая готова страдать и ждать, когда дитя — ей, первой ей, произнесет свое вот-вот родившееся слово. Как не гордиться ей, одной из матерей, начальным зернышком огромной жизни, которому она дала родиться. Как каждая на свете мать, что миру дарит детство, пренебрегая мукою своей, так солнце дарит миру на рассвете свой первый луч, младенца нового земного дня. И тот, кто может взвесить на руке песчинку, незаметную в песке, способен ощутить весь вес планеты. Так и мать, свое дитя поднимая, — всю Землю держит. И только потому ее святой позволено назвать.

Так, в красках Рафаэля возникая,
равно держа и землю и зерно,
ты в моих помыслах такая.

Ты в моих помыслах такая:

Из приоткрытых губ ко мне скользит твоя усмешка золотая, как будто из раздвинувшихся туч протягивает теплый луч пробившееся солнце, отогревая сердце мне, игрушечной, подобное Земле, и на его согретом лонце оживают, вырастая, забытые в благих заботах зерна. И непокорно из губ твоих скользит улыбка золотая, как ласточка из тихого гнезда, укрывшегося крышей. Она летит, раскинув крылья, на расправу с мошкаррой, распугивая мелких мыслей рой.

Так — словно Монна Лиза — ты над слабостями нашими смеешься, и в помыслах моих такая ты.

Ты в моих помыслах такая:

За сизою тончайшей кисеей тумана, утром рано, перед собой я новую увидел Афродиту. Недвижна и бела, она недавно мраморной была, но вот богиню сняли с пьедестала, и в комнате прозрачно-голубой она живою женщиною стала. О вечной неподвижности забыв, стал мрамор телом нежно-белым, пахнущим весенней утренней сиренью. Задумчивое, светлое лицо, цветок полураскрытых губ дыханием наполненную грудь, откинутые крылья рук и тела сине-ледниковый снег — мне хочется сравнить с озерной белой птицей под названьем Лебедь, надевшей на себя береговой туман, — нездешней, неземной и вечно нам необходимой красоты.

Так — на картине Ренуара — ты, земной и неземною возникая, являешь нам прекрасные черты.

И ты
действительно такая,
и наяву такая ж, как во сне.
Одна и та же в разном.
Что ни день — другая.
Вся — красота, вся — разум.
Высокая, неземная,
грешница, святая.

И ты —
только такая —
необходима мне.

ШАГИ

Далеки шаги мои

от сфинкса,

Огонек передо мной еще не скрылся,

А ведь стоит мне остановиться —

Превращусь в доподлинного сфинкса.

От шагов моих

гудят дороги:

Что ни шаг — как будто молот грянул;

У меня не подкосятся ноги

Перед сфинксом

Либо гневным истуканом.

Может быть, и подкосились бы — не знаю!

Если б сердце вдруг отяжелело

От свинца

и, землю прикрывая,

За походным маршем не поспело...

Или если бы заговорила в раме

Джиоконда, улыбающаяся немо,

И сошла бы прямо в наше время,

В ждущую мою поэму...

Но, как ямб, шаги мои.

Так твердо

Никакой не зазвучать клавиатуре.

Шаг мой гулок, будто бы аккорды,

Моря человеческого бури.

Не вернуть шагов,

уснуть идущих,

Как слоны, в безмолвие, в былое,

Но могу добыть я в днях грядущих

Новый шаг, который тверже вдвое.

Новый день!

Мои шаги звучат там

Так, как будто заново родились,

Чтобы новый след был отпечатан,

Новые бы подвиги свершились.

А ведь стоит мне

остановиться —

Превращусь в доподлинного сфинкса.

Шаг отживший, превращайся в сфинкса,

А живым — огонь еще не скрылся!

МГНОВЕНИЯ

Годы напролет
 не умолкает
Маленького маятника стук.
День за днем мгновения мелькают
Птицами, летящими на юг.

Чьи-то пальцы время рассекают,
Жизни укорачивая нить.
Дни мои, как люди, умирают,
Очень их печально хоронить...

Не смолкает маятник, как будто
Второпях твердит одно и то ж:
«Ни од-ной по-те-рян-ной ми-ну-ты...»
Дескать, время будет, отдохнешь!

И сердце, внимая,
Поспешно стучит,
И смерть, как немая,
Таится, молчит.

Лишь ночью старуха,
Тревожа мой слух,
Суставами сухо
Защелкает вдруг.

И ветер засвищет
Косою стальной...
Да сгинь же ты, слышишь,
Пройди стороной!

Не стой у порога,
Уйди со двора,
Еще мне в дорогу
С тобой не пора!

Дождешься, дождешься
Заветного дня,
За все разочтешься,
Осудишь меня.

За то, что когда-то
Любил и хмелел,
За то, что богато
Прожить я сумел.

Сражаясь за каждый
Глоток бытия,
Тебя не однажды
Обманивал я.

Холодное лезвие
Прочь отведи,
Рассыпсья, исчезни,
Из глаз пропади!

И уже сияет белизною
Ветка вишни в предрассветной мгле,
И стихи, написанные мною
Только что,—
На письменном столе.

Как чудесно, что продлились сроки,
Что не рвется, что еще крепка,
По ночам сбегаящая в строки,
Ниточка сердечного клубка.

А на стенке все не умолкает
Маленького маятника стук.
Быстрые мгновения мелькают
Птицами, летящими на юг.

С Л О В О

Слово черным дугам ее бровей,—
стрелы глаз они мечут в сердце.
Слово мраморной белизне груди,—
подымает к небу колонны.
Слово черной речке ее волос,—
солнце кружится в них, как лодка...
Слово красному солнцу любимых губ,
озарившему белые зубы.
(Солнцу грустно — оно, как розовый шар...
солнцу весело — зубы — облачко...)
Слово лбу ее. Лотос напомнил лоб,
уши — раковины морские...
Слово голосу — в голосе рокот волн,
говор леса и птичий высвист.
Слово телу ее! Как весенний луг —
пахнет мятою и фиалкой.

Слово телу чудесному, ибо я
воспеваю женское тело...
Славлю тело, обняв, на колени встав,
в нем ищу горящее солнце.
К бронзе тела припал и в уста впился,
утоляя, сбивая жажду...
Славлю тело! Такие тела всегда
красоту земли повторяют.
И любое — как маленькая земля
с родниками, полями, рощицей...
Словом, много земель на земле моей!
Посвящу им не только слово.
Красота увядает от слов. Но здесь
красота от слов не увянет —
Расцветет, расцветает! — да я ведь сам
помогаю ее цветенью!
Я руками тело ее беру, —
грех приличествует человеку.
Я за грех, когда семя, взрасти успев,
красит тело, как землю, — щедро!
И не нравится мне, когда весь посев
одному достается ветру.
Я за хлеб насущный любви большой,
жажду плоти и жажду света,
За такую любовь, о какой еще
не писали нигде поэты...

И М Я

Дана мне фамилия? Имя — дано?
Даны! И доволен я ими.
Но, смерть, ты меня забереешь все равно, —
И что там фамилия, имя?

Фамилия, имя — растают, как дым...
Но сам я останусь? Останусь!
Ведь сердце твое билось рядом с моим,
Кормилось моим, становилось моим,
В нем черпало силу и радость!

Фамилия, имя истлеют дотла...
Но разве мне место в могиле?

Когда, грудь к груди, ты со мною была,
И руки сплетались, и наши тела
Один разговор говорили.

Фамилия, имя — исчезнет их след...
Но нам-то, любимая, ясно:
Минувшего нет, грядущего нет,
Есть жизнь, есть биенье, горенье и свет,
Чтоб жизнь на земле не угасла.

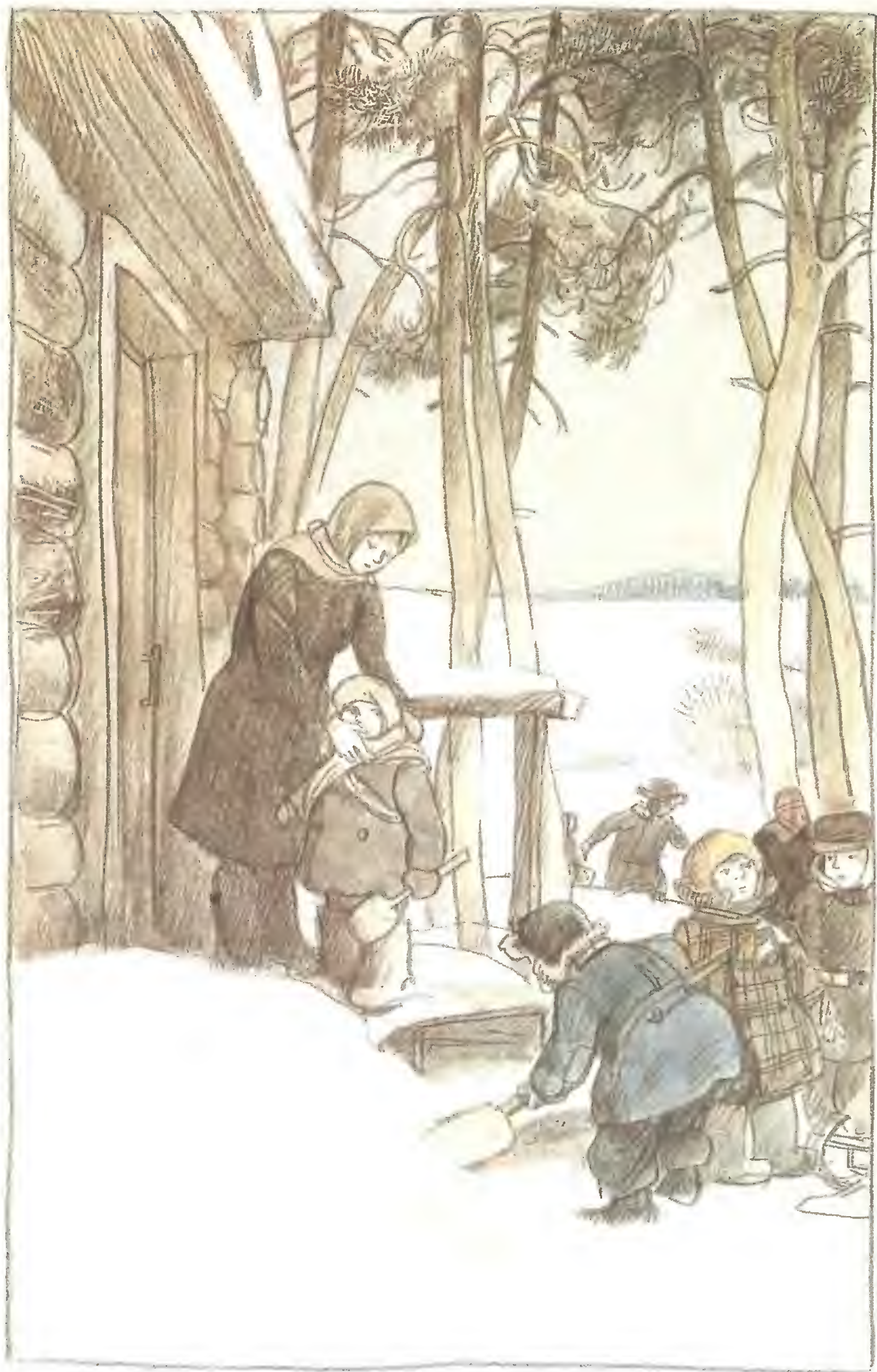
Да что там фамилии и имена?
Фамилии сменят, быть может,
Но плод, что идет от тебя и меня,
Пройдет все эпохи и все времена
И жизнь нашу дальше продолжит.

МУЗЫКА

Моей Душе
Оркестр Бетховена играет.
Гобои и валторны сердце ранят,
Трубят фанфары, и смычки тиранят,
И барабаны грозно барабанят...
Оркестр Бетховена играет.

О моя Душа!
В облака летишь? Земля страшит?
С кем ты? Где твой путь? Пойдешь куда?
Воротись на землю, где штормит,
Где разбушевались волн стада!
Расходилось море, все круша!
Молнии стучатся у ворот...
Родилась ты немощей, Душа?
Что, боишься — шторм тебя согнет?
Улетаешь в голубую твердь?
Притяженье хочешь одолеть?
Где же будешь, как взыграет смерч,
По земле с косою пройдетя смерть?

Манит небо тебя, манят звезды —
Притяженья такого не снести!
Но и землю покинуть не просто:
Ты судьбы ее тяжелой кузнец.
Воротись на землю, где рыдает
Ветер... Погрузись в него скорей!
Обопришь о землю, как Антей!



Пусть оркестр Бетховена играет!

Скрипки — вихрь,

и флейты — вихрь...

Вихрь... Вихрь...

Барабаны исторгают

ливни гнева...

И фанфары —

тыщи

молний

шаровых

Покатили...

И на землю пало небо...

Цветом — полночь. А по тяжести — гранит.

Горы рушатся,

а воды — всё сгрызают...

А земля под небом

стонет и скорбит.

А оркестр?

Оркестр Бетховена играет!..

Земли решается судьба.

Оркестр Бетховена играет.

Кто вскинет землю на себя?..

А в небе молния сверкает...

Но встает человек. Расправляет он плечи.

Он свинцовую твердь подпирает руками.

От воды тучи вздулись и смотрят зловеще —

Искры мечут глазами, грозят кулаками.

Но стоит он и твердь подпирает руками.

Оглушенный громами, стоит: небо держит.

Небо вылило на голову океаны

И обрушило глыбы со всех побережий.

На усталые руки, на слабые руки.

Но стоит он, собравши последние силы.

Держит небо — и терпит атлантовы муки.

Он оглох. Он ослаб. И в глазах зарябило...

Но он слышит — земля ему шепчет: «Спасибо!»

И он видит, как мечутся тучи в испуге.

Потому держит небо, собравши все силы,

И стоит. И вдруг видит: рассеялась буря...

И не небо он держит, а солнце сжимает.

Солнечный шар обнимает рукою...

(Миф старинный никак не дает мне покоя!)

А оркестр Бетховена играет!
А земля? Земля судьбу решает.

О моя Душа!
Как тебя стегают молний розги!
Не щадят тебя ни дождь, ни вихрь.
Прошагав покамест полдороги,
Летопись стихов ведешь своих...

О моя Душа!
Сколько муки и душевной боли!
Под личиной дружбы столько лжи!
Мир велик в сравнении с тобою.
Страшно мне. Ты выдержишь? Скажи!..

О моя Душа!
Мучают вопросы ночью-денно:
Хватит дней ли? Долго ль проживешь?
И соткешь ли главную идею?
До конца ли песню допоешь?

О моя Душа!
Рядом с тем, кто Солнце поднимает,
Ты шагай. Дорога — далека.
Любишь землю? И влекут и манят
Неизведанные берега...

О моя Душа!
Прошагав наполовину путь,
Неужели ты замрешь в испуге
Пред грозой и завываньем бури?

О моя Душа, отважной будь!
Пусть в ушах вихрь воет, как труба!..
Пусть в глазах все тьмою застилает...

Но земли решается судьба.
Но оркестр Бетховена играет!

Злитесь, тучи! Угрожайте гневно
Голосом орудий и ракет.
Сыпьте дождь свинца, обрушьте небо,
Черное от самолетов небо
На меня, на целый белый свет —
Ни свинцу, ни буре, ни огню
На земле я править не позволю!

**И давай судьбу свою решай,
И оркестр Бетховена играй!**

Словно конные сотни в летящем строю,
Словно всадники Бёклина на полотне —
Копья молний вонзаются в крышу мою,
Шашки ливня со свистом примчались ко мне
Под ударами молний —
Черных туч табуны
Грозно гривы ерошат
В соседстве луны.
То копытами топчут железные крыши
Эти дикие кони,
То взмывают повыше.

Ты летала,
Парила во сне
 мотыльком,
Но ударила ливня свистящая плеть,
И ты плачешь несмелым
 своим голосом,
Не успев этот сон — о цветах — досмотреть.

531

На горячие капли дождя я гляжу,
Горячи они,

как материнские слезы.

За окном бушевала гроза.

Ветер в окна ломился,

И буря хлестала.

И во тьме я увидел другие глаза

И покойница мать

Предо мною предстала.

Словно капля на каплю,

Как слеза на слезу,

Были бабка на внучку

Похожи в грозу.

Я у дочки дождинку смахнул со щеки,

И привиделась мать моя —

Маленькой девочкой.

Вот она на лугу,

И над ней мотыльки,

Вот в лесу она, мама,—

Зеленою елочкой.

Увезли ее из дому,

из родного села.

Словно елочки — ель,

так по свету детей разбросала.

Светлый лоб рассекла

морщины широкая щель,

И спина

от тяжелой работы устала.

Грянул гром — и отца моего увели.

Проводила его моя мама

и перекрестила.

И, бледна, как зима,

побрела вдоль замерзшей земли.

Смерть за нею гналась. И руки она опустила.

Мою маму тогда я белее зимы

увидал,

Мамин плач

я впервые услышал.

Дочка! Дайна!

Твой страх —

я его только что наблюдал,—

Как подземный ручей.

Он — оттуда.

Он здесь, только вышел.

Если буря гремит,

Если молний кнуты

Хлещут небо,
Все звезды с него обивая,
Ты ко мне прижимаешься, доченька,
Ты,
Словно веточка — ствол,
Меня обвиваешь.
Успокойся, замолкни, усни,—
Звезды снова засветят огни.
Кроме дайны — иных я богатств не собрал
И поэтому Дайной тебя я назвал.
И две дайны,
Две песни
Идут поутру,
Как сестренка, что за руку держит сестру.
Надоело планете страдать и терпеть,
Покоряться жестокой судьбе,
Научу ее, доченька,

весело петь,
А потом подарю ее, землю,—
тебе.

Слышишь, дочка моя?
Слышишь, песня моя?
Слышишь, Дайна моя?
Вот что сделаю я:
Я добьюсь, чтобы шару земному
пришлось

Позабыть свою старую ось.

Пусть отныне

вкруг Дайны,

вкруг песни моей

Терпеливо вертится земля
И все тучи, что ходят над ней,
И все звезды, что светят над ней,
И луна, и леса, и поля.

Еще дождь за окном моросит.

Я распахиваю окно.

Ветер шторы

еще парусит,

Но грома́ отгремели давно.

Кони бури грохочут вдали —

На другом полушарье земли.

Не пугайся, родная, не бойся!

Успокойся!

Позови меня в новые сны.

Будем рвать там цветы,

Что белы, и желты, и красны.

Я — и ты...

Я гляжу молчаливо в окно,
Кони ливня умчались давно,
Отшумели гремучие грозы.
На оконном стекле
И на влажной земле
Капли,
 как материнские слезы.
Этим каплям лететь и лететь,
Лить и лить,
Тихо падать и падать.
Кони бури уйдут — далеко-далеко,
Гром умолкнет, заглохнет, утихнет,
Капли будут на листья
Садиться легко,
Будут с веток намокших
 виснуть.

Только — капли.
Только?
Да, только!

РАЗВЯЖИТЕ ГЛАЗА

Поставили у ямы и очи завязали...
И ждут, что смертник скажет последний в жизни раз.
А он взглянул на солнце завязанными глазами.
Нашел его. Сказал врагам:
— Сорвите тряпку с глаз.

А ну, сорвите тряпку. Я заявляю ясно,
Что я пред красным солнцем ни в чем не виноват.
Я вижу это солнце сквозь черную повязку,
Сто тряпок накрутите, а не убьете взгляд.

Глаза мне развяжите! Хочу глядеть на солнце.
Всегда любил я солнце и ненавидел мглу.
Мир для меня навеки заснет и не проснется,
Но пусть в нем будет солнце,
Хоть нынче я умру...

А ну, снимите тряпку. Хочу взглянуть на небо.
Хочу еще немного побыть со всем живым.
Хочу увидеть облако, что белоснежней снега,
Хочу увидеть птицу под облачком седым.

Глаза мне развяжите! И пусть листья деревьев
Мне западут во взоры, чтоб я их помнить мог.
Я в черную могилу их унести намерен...
Ведь сам я опадаю, как с дерева листок.

Глаза мне развяжите! Сорвите поскорее
Свою повязку. Жажду последний в жизни раз
Взглянуть на вас. Увидеть: так все же чьи сильнее,
Мои глаза иль ваши?
Сорвите тряпку с глаз!

ТРУБЫ

О фабричные трубы мои,
Вы не так уж давно перестали мне грезиться
Жутких висельников черными трупами
На изогнутом крюке месяца.

Не по трубам ли, не по трубам ли
Солнца диск, раскаленный в горниле,
катился блестящей монетою
И от сажи и копоти меркнул он между уступами
Грязных стен на фабричной окраине этой!

Трубы, трубы и трубы!
Целый лес их тянулся до серых небес, и под ним
Разнесчастную песнь нищеты петть учил меня жестко
и грубо
Вой фабричных сирен, ударявший по струнам стальным.

В трубах, трубах и трубах, в их жерлах обугленных
Дым и копоть ютились, подобно печали в груди
людской.

Восклицательным знаком, о трубы, вы врублены
В песнь отца: «Это есть наш последний, решительный
бой...»

Трубы, трубы и трубы!
Вы сегодня—земные колонны, на которых
как будто бы держится небо.
Великаны,
Несущие солнце, будто буханку хлеба!

КАПЛЯ

Я — живу,
словно капля, на свете...
Будет день — в синеву
унесет меня ветер.

Пронесет
в туче, тяжкой и серой,
и в горючий песок
уроню свое сердце.

Но за мной —
это право за мною —
волноваться с волной
и сливаться с волною .

И опять —
в громовые раскаты!
И назад ни на пядь —
и обратно на скалы.

Со скалой
я готовился к бою,
с громом,
с ветром,
с бедой
и со смертью и с болью!

Муравей?
Нет: срываю вериги!
Я из рода людей —
Невеликий. Великий.

Разум мой
сокрушает пороки,
вырывает порой,
словно чертополохи —

Перемерут —
и семян не оставят...
А в душе моей лед
отступает и тает.

И дыша,
по весенней погоде
выплывает душа
и плывет в половодье.

На воде
надувается парус.
О моей правоте
спорьте, дьявол и Фауст!

Я решу
этот спор стародавний,
рабство я сокрушу
и развею страданье.

Отдаю
в эти недра и воды
устремленность свою...
Революции волны!

Вы меня
ураганом летучим
пронесли за моря
на свиданье с грядущим.

Я спешу!
Ветер, крепче порывы!
Нахожу и крушу
все глубинные рифы.

Нелегка
правда трудная капли:
я точу берега,
разбиваюсь о камни.

Каждый вздох
подчиняю заветам:
выполняю свой долг —
пребывать человеком.

Тем живу!
Тем и славен на свете...
А потом — в синеву
пусть несет меня ветер!

ОКЕАН

О, сколько вам песен пропето,
Валы океана!
Что нужно тебе от поэта,
Волна океана?
Зачем тебе гнаться за мною,
Дробить, словно остров,
И бить то высокой волною,
То галькою острой?
Пусть я покажусь инфантильным
И даже — банальным,
Но все-таки жизнь — это море,
Поэт — это остров.
А право на это сравнение
Мое поколение
Завоевало, добыло.
Вот так это было:
Расправили грудь ураганы,
Дохнули свирепо
И тянут волну океана
Под самое небо.
О, грохот его песнопений,
И в пене
Лицо
 и глаза под соленой
Волною зеленой.
Еще никогда так свободно
Валы не швыряла стихия.
Бушуйте же, волны морские!
Уже, оплетенные тиной,
Слегли на подводные скалы
Иного столетья эскадры,
И нашего века эскадры,
Прекраснее прежних,
Выходят в зеленые дали.
Волнуйся же, старый мятежник!
Бушуй, океан,—
 я не знаю:
Челнок я непрочный и утлый,
А может быть, остров скалистый —
Дроби меня,
 буйный и мудрый!
Кроши меня,
 ярый и чистый!
Пусть солью разъест мои губы,
Пусть грудь мне расплющит волною,

Твое бушеванье — мне любо,
Твои ураганы — со мною.
О мощь, что крушит континенты!
О пенные ленты!
Вы дороги мне,
вы мне любы.

Целую вас,
губы в губы,
Славлю вас,
снова, снова!
Жизнь — бурное море!
Не новы
Сравненья?

Беды — как тучи?
Не новы, а все же живучи,
И я повторяю их снова.
Бушуйте, валы океана!
Я — с вами!
Зальем эту старую землю,
Украсим волнами.
О море, с его берегами,
С его островами,
Я — с вами!
Ты — с нами!

ПЕПЕЛ

Эта рыжая пыль под ногами, щебенка
Из костей, — не осколки ль, покрытые ржой?
Это, может быть, резвые ножки ребенка,
Что за белою бабочкой гнался межой;
Или ручки, — дитя ими тянется к маме,
Обнимая за шею, ласкается к ней...
Или был этот щебень большими руками,
Что с любовью к груди прижимали детей.
Этот пепел, который разносится с ветром,
Был глазами, смеялся и плакал порой;
Был губами, улыбкою, музыкой, светом,
Поцелуями был этот пепел седой.
Был сердцами, тревогою, радостью, мукой,
Был мозгами, сплетеньем извилин живых, —
Слово «жить» до конца, словно буква за буквой,
Точно белым по черному вписано в них.
Эти волосы — локоны, косы и пряди,
Что навалены мертвой косматой горой,

Кто-нибудь расплетал и взволнованно гладил,
И сухими губами касался порой.
Чистый трепет сердец, вдохновенные речи,
Золотые надежды, сияние глаз...
Крематориев страшных горящие печи.
Пепел... Пепел... Лишь пепел остался от вас.
Пролетая над проволокой колючей,
Птица мягко касается краем крыла
Дикой розы, на диво багровой и жгучей,
Что на этой кровавой земле расцвела.
Боль, которой еще мое сердце не знало,
Превратилась в колючий, соленый комок
И, как пуля, в гортани навеки застряла,
Чтоб дышать я не мог и забыть я не мог
Я тяжелый, невидящий взгляд поднимаю
И от неба его не могу отвести,
Всем своим существом к человеку взываю,
Человеческий пепел сжимая в горсти.

Освенцим, 1957

МНЕ НЕ СТРАШНО

(Белоянис)

1

Мне теперь уж все равно. Пусть ветер дикий
Иссечет меня, от злобы сатанея.
Не страшится гнева вашего, владыки,
Тот, в чьих жилах кровь титана Прометея.
Да. Виновен. Да. Огонь украден мною.
Отдан людям он, во мраке пребывавшим.
Да. Виновен. И возмездие любое
Не поможет вам в бессильном гневе вашем.
Вот уж смерть меня зовет в свои объятья,
Птицы хищные мне тело рвут когтями...
Но несу я через боль, через проклятье,
Как спасенное дитя, живое пламя.

2

Вы, медлительные траурные тучи,
Вы, стремительные бури-ураганы,
И скалистые заснеженные кручи,

И великие земные океаны,
Пусть вас ненависть неистовая душит,
Уготовьте для меня любые муки,
Мой огонь теперь никто уж не потушит,
Мой огонь несут борцов надежных руки.
Гаснет вечер мой, теплом зари согретый,
Кровь из ран моих струится, но, поверьте,
Для народа в каждой капле крови этой —
Героическая песня о бессмертье.

3

Ночь могилы? Я не трепещу пред нею.
Прорасту я из земли травой зеленой.
Что мне смерть? Пред ней властители бледнеют
Но вовек не умирает в жизнь влюбленный.
Мне сегодня суждено уйти из жизни.
Но иду я с поколением счастливым.
И когда весенним ливнем радость брызнет,
Утолит мои страдания этот ливень.
Мне не страшно. Мной завещанное пламя
Погасить уже никто теперь не властен.
Смерть и горе объявляю я врагами
И друзьями объявляю жизнь и счастье.

Афины

СТРОФЫ

Строки, строфы!
Спелость, зрелость
Строк и строф!
Книги, те, что я пишу,—
Словно пашни те, что я пашу:
Я туда бросаю зерна слов.

Борозда моя!
Глубока и широка
Борозда моя!
С нею к солнцу поднимаюсь я.
Словно семя. Книга — поле.
Песен уродилось бы поболее!

Словно семена,
Проросли слова:

Вот она — зеленая стена!
Медленно колышется под небом,
Пахнет рыхлою землей и хлебом.
Нива слова — вот она!

Вот я провожу
Борозды мои.
Я пашу и, стало быть, — пишу.
Быстрым шагом, миллиононогий,
По полю иду, как по дороге,
Солнце на плечах я проношу.

Отправляюсь в путь.
Солнце, что держу в руках,
Озарило мне лучами грудь.
Что же! Миллионам — все под стать.
Небо я могу к земле пригнуть,
Землю к звездам я могу поднять.

Есть пределы для сердец.
Вымоталось, бедное мое —
Изработалось вконец.
Но зато теперь в груди
Слышите? Колотится! Гудит!
Миллионы бьющихся сердец.

Миллионом ног
Я иду вперед,
А не парой ног.
И сердце имею — миллион,
К солнцу рвется он.
В мире нет, чего бы я не смог.

Руки вы мои,
Руки всех людей земли,
Сызмальства привыкшие к труду, —
Солнце обнимаем,
Кверху поднимаем,
Над собой несем.
Крут подъем.
Ну так что же?
Разве только я — иду?
Нет, мы все,
Мы все вперед —
идем!

ПРОБУЖДЕНИЕ

И человек пошел к холму, чтоб низко поклониться.
И холм сказал: — Разбей меня и обретешь свой дом.
Река сказала: — Зачерпни меня своей десницей,
И жажду утолишь моим прохладным серебром.
Сказала птица (над холмом она кружилась голым):
— Ты голоден, возьми стрелу и заряди свой лук.
Сказала серна: — Ты со мной преодолеешь голод.
И древо манго затряслось: — Плодов отведай, друг.
Промолвил буйвол: — На меня надень ярмо скорее,
Приладь соху и рис посеи, и накорми семью.
И апельсин сказал: — Взрасти в горах мои деревья.
Сказала роза: — Я тебя в тоске развеселю.
Сказала птица: — Услажу тебя чудесной трелью.
Сказала молния: — Огонь я для тебя зажгу,
И будет у костра тепло, и не полезут звери...

И выслушал всех человек: холм, дерево, реку
И розу, серну, буйвола — все выслушал он речи,
На землю лег, прикрыл глаза, раздумием влеком.
И тут огромная земля легла ему на плечи,
И понял он, что никогда не одолеет холм,
Не выпьет воду из реки, не оборвет с деревьев
Плоды... И начал из скалы он бога высекать.
И светлой мысль его была, когда он был намерен
Из камня мрачного свое подобие создать.
И отрешиться от забот, и с богом поделиться.
Холмом, рекою и землей, и мясом, и пшеницей.
И он над камнем колдовал, а тот гримасу скорчил,
Чего-то вымолвить хотел... И, в страхе обомлев,
Пред ним склонился человек и начал камню тотчас
Носить цветы, носить плоды, и рис носить и хлеб.
И, на коленях обратясь к ощеренному лику,
Как раб, вымаливал судьбу, выпрашивал судьбу,
За зернышко, за каждый плод благодарил владыку,
А грозный бог не отвечал поникшему рабу.

Но холм сказал ему: — Я холм, и я перед тобою.
Река сказала: — Я река, и тьма во мне воды.
Сказала птица: — Я парю свободно над скалою.
Сказало дерево: — Тебе ращу свои плоды.
Сказала серна: — Для тебя в твоих горах взрастаю.
Сказала роза: — Для тебя наряд свой берегу..
Земля сказала: — Я тебя от голода спасаю.
Сказала молния: — А я по проводам теку.

И прежде робкий и слепой, коленопреклоненный,
От сна воспрянул человек, готовый к мятежу.
И, на творенье рук своих взглянувши удивленно,
Сказал: — Я человек, и я себе принадлежу.
И сразу холм, река, земля и тысячи деревьев,
Все птицы, звери — все пред ним склонились головой.
А он на идола взглянул и в первый раз поверил,
Что идол мертв.

Так человек стал наконец собой.

Аджанта

ЯБЛОКО

Я стою под звездным небом, надо мною свод ночной.
Золотинки звездных яблок нависают надо мной.
Ах, как блещут надо мной!

Этой яблоне — вселенной, — изумляюсь молча я, —
С чем планета наша схожа, наша милая земля?
Как же выглядит земля?

Я украдкой представляю, что огромный шар земной
Круглым яблоком свисает, нависает надо мной,
Словно с ветки — надо мной.

Сторона, что ближе к солнцу, — много лет уже красна.
Постепенно розовеет и другая сторона,
Та, другая сторона.

Старый червь усердно точит, мякоть яблока грызет,
В сердцевину впиться хочет, но оно не упадет.
Нет, оно не упадет.

Мудр и опытен садовник. Та, другая, сторона
Зреет, спеет, розовеет. Будет и она красна.
Будет вся она красна.

Я стою под звездным небом, надо мною свод ночной.
Золотинки звездных яблок созревают надо мной.
Чувствую:

Краснеют яблоки

с каждым часом

надо мной.

Дели

НЕТ, НЕ ТЫ ПОБЕДИШЬ, РАЗРУШИТЕЛЬ!

Я в турецком Стамбуле шел мимо гробницы
Александра Великого царственной, но
С блеском солнца, я видел, и ей не сравниться —
Лишь одно в небе солнце,
Лишь только одно!

Я прошел Колизей, я прошел римский Форум,
След величия Цезаря видел я, но
Было ярче оно, нет сравненья с которым,
Лишь одно солнце в небе,
Лишь только оно!

Я, войдя к Инвалидам в веселом Париже,
Бонапарта могилу разглядывал, но
Оказалось: в витражах лишь солнце я вижу —
Лишь небесное солнце,
Лишь только одно!

В знойной Индии видывал я Тадж-Махала
Усыпальницы белой величие, но
Через пальмовый лист величавей сияло
Лишь небесное солнце,
Лишь только оно!

Миновал я владык сего мира могилы...
Сколько было их, разных властителей! Но
Лишь одно над землей не померкло светило —
Лишь небесное солнце,
Лишь только оно!

Мимо атомных баз и ужасных орудий
Я прошел, но видал я не это одно,
А немало чудес, вами созданных, люди,
Будто солнце и впрямь
На земле зажжено!

Понял я: нет, не ты победишь, разрушитель,
А на этой земле победит все равно
Тот, кто трудится. Пламенный жизнедаритель.
Станет солнцем наш труд!
Быть тому суждено!

ИКАР

Апрельское утро само как заглавье поэмы,
которой страна открывает великую книгу.
Я знаю, я строчки сегодня в нее не прибавлю —
я слишком волнуюсь... Я просто припоминаю.
Все чаще и чаще в зрачки опрокинуто небо,
и звезды крупнеют. И жаркое их притяжение
тревожную кровь неуклонно вращает по жилам.
Вот так, мой товарищ, мой гордый собрат по
столетью,

ты шел в это вешнее утро,
вот так же, наверно, и птице,
едва только крылья почует, не терпится в небо:
наполнить их ветром полета.

Но разве

Земля не была тебе добрым гнездом?

Неужто тебе на Земле не хватает уюта

и трудного хлеба ее, и соли, и грешного меда,
и терпкой воды ключевой, до ломоты в зубах?

Неужто Земля не играла тебе колыбельной
ладонями ливня по струнам соснового бора?

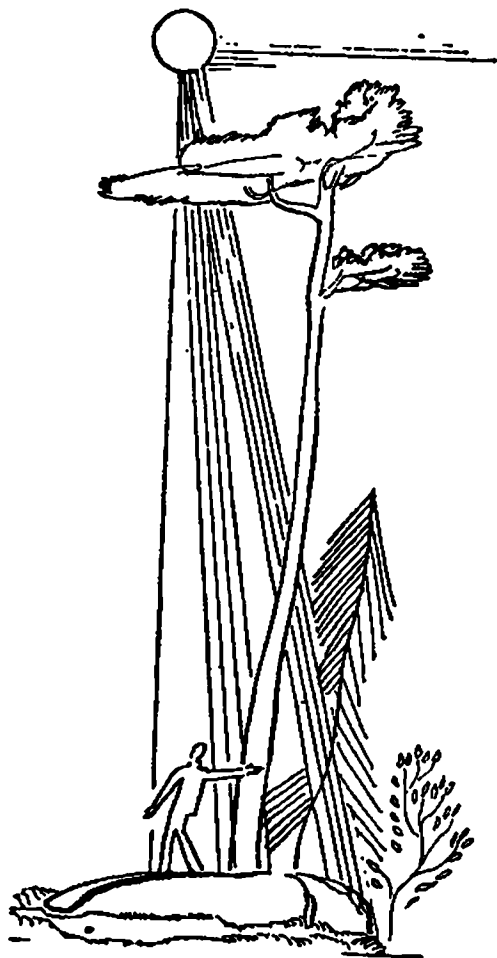
Не может же быть и такого, чтоб стрелки часов
на всех циферблатах любви до того торопились,
что счастья земного тебе не успели отмерить...

Чего же тебе на земле не хватает,
тебе, коммунисту?

Всего только — звезд под ногами.

Всего лишь — Вселенной, как сердце распахнутой настезь.

1961



ИРИНА ТОКМАКОВА

Сосны шумят

Повесть

Счастливо, Ивушкин!

Повесть-сказка





СОСНЫ ШУМЯТ

НОЧЬ

Сейчас ночь. Тамара не спит. Тетя Нюра, которая дежурит сегодня, сидит в уголке. Там на маленьком столике горит коптилка — баночка с керосином, а в ней фитилек. Ребята спят. А Тамара не спит. Тамара плачет. Рядом стоит Валина кроватка. Вале три года. Он еще очень маленький. Он ничего не понимает и не помнит. Он спит спокойно. А Тамара — большая. Ей уже шесть. Тамара знает, что сейчас война. Что ее привезли в деревню Сосновку, «в глубокий тыл», из Минска. В Сосновке она живет с ребятами в светлом деревянном доме, который раньше был школой, а теперь он называется «Дом ребенка». В Минске осталась Тамарина мама. Тамара все время ждет маму. Ночью она не может спать. Она слушает, как шумят за окном сосны. В открытую форточку пахнет дождем. Ночью Тамаре кажется, что мама никогда не приедет. И она тихонько плачет, чтобы не услышала тетя Нюра. Потом она засыпает.

А утром в большое незанавешенное окно весело светит солнце. Тетя Нюра кричит: «Дети, в школу собирайтесь, петушок пропел давно!» В школу никто не ходит, это просто у тети Нюры такая будилка.

Прибегает Олесья. Олесья — большая девочка, дочка Веры Александровны — заведующей.

— Ребята! — говорит она. — Тетя Нюра отпускает вас после завтрака со мной гулять. Собирайтесь скорее.

Она помогает тете Нюре принести с кухни кашу. Ребята старательно выскребают кашу из глиняных мисок. Добавки не будет. Тетя Нюра говорит, вздыхая: «Война».

Собрались. Построились парами. Тамара, как всегда, в паре с Инночкой-красавицей. Ее так зовут, потому что так ее называет папа. Инночкин папа на фронте. Он пишет ей письма, а тетя Нюра читает их два раза: один раз Инночке, а потом всем ребятам. Инночкин папа написал: «Все будет хорошо, Инночка-красавица, мы обязательно победим фашистов».

Тамара думает: «Какие они — фашисты? Наверно, толстые, красномордые и косоглазые». Из-за них мама не едет за Тамарой...

Олесья выводит ребят во двор. Высокие сосны окружили дом, как будто играют в каравай. Кажется, сейчас запоют: «Каравай, каравай, кого любишь — выбирай». Но у них получается только бесконечное «ш-ш-ш-ш-ш», и они с досады размахивают ветками и сыпят на землю сухую хвою.

Олесья говорит:

— Тамара, ты будешь за старшую. Построй ребят полукругом, а я сбегаю за Альфой.

Альфа — это Олесьина овчарка. Сейчас они будут ее дрессировать. Ребячий круг смыкается. Олесья и Альфа — в середине. Ушки у Альфы — торчком, шерсть серебристо-серая. Она виляет хвостом и дрессироваться не хочет. Олесья кричит ей:

— Альфа, сидеть, сидеть!

Альфа нехотя садится. Олесья гладит ее по голове. Надо бы дать ей сахару, но сахару у Олеси нет. Утром она сама пила противный, сладковатый чай с сахарином.

— Альфа, лежать! — командует Олесья.

Альфа и не думает ложиться. Она увидела Кашлатика — рыжего важного кота, который эвакуировался из Москвы вместе с Олесей и Верой Александровной.

Альфа бежит по кругу, потом прорывает его там, где стоит маленький Валя, и кидается за котом. Кашлатик, не хуже белки, одним махом взлетает на сосну. Альфа на него громко лает, ребята хохочут. На этом дрессировка кончается.

РОЯЛЬ И СМЕТАН СМЕТАНЫЧ

Как-то раз в коридоре шел странный разговор. Заведующая Вера Александровна и завхоз Исаак Маркович разговаривали друг с другом сердито и непонятно.

Тамара ходила в бельевую за наволочками и все слышала.

— Я знаю, что война. Ну и что же? — говорила заведующая. — Нам ведь не только их растить, нам их и воспитывать надо. Вкус им прививать. Развивать чувство прекрасного.

— Вы фантазерка! — кричал завхоз, размахивая своей единственной левой рукой. — Это не реально. У нас нет на это денег. Мне нужны лошади. Лошади, а не фигли-мигли! Мне нужно возить дрова со сплава. Я же не могу навозить дров на всю зиму на одном нашем дохлом Мишке! Мне нужно платить за лошадей. Я должен их а-рен-до-вать!

Так они покричали и ушли.

А на следующий день шуму в коридоре было еще больше. Ходили какие-то чужие дядьки. Открывали двери. Вторая половинка, которая была на крючке, открываться не хотела. Ее колотили топором. Кто-то говорил: «Снимите с петель, снимите же ее с петель!» И наконец много людей сразу внесли в коридор через кухню (ребятам ходить в эту дверь запрещалось) большой рояль. Его поставили в коридоре, в углу, и он стоял там, как испуганный черный слон. Ребята подходили к нему, гладили его и ждали, что же будет дальше.

А дальше было вот что. После полдника к ребятам пришла Вера Александровна и сказала:

— Возьмете каждый свой стульчик и пойдете в коридор.

В коридоре за роялем сидел высокий, очень худой старик.

— Это Степан Степаных, — сказала Вера Александровна. — Ваш учитель. Садитесь все возле рояля.

Ребята пошумели, повозили стульчиками и наконец расположились и затихли. Степан Степанович сказал:

— Мы сейчас выучим песенку. — И заиграл. И запел. Он пел тихим голосом смешную песенку:

Мой маленький ослик на рынок пошел,
Мой маленький ослик сто крынок нашел.
Ни красных, ни белых,
Ни битых, ни целых,
Мой маленький ослик сто крынок нашел!

Ребята быстро выучили песенку про ослика. А потом Степан Степанович рассказал им, что у него есть сын и что его сын — летчик, он воюет с фашистами и с фронта прислал

Степану Степановичу песню, которую любят петь летчики. Это была взрослая, серьезная песня. Но Степан Степанович спел ее ребятам, и они запомнили припев и подпевали:

Петлицы голубые,
Петлицы боевые,
Я вижу вас при свете и во мгле.
Лети, мой милый сокол,
Лети, мой друг, высоко,
Чтоб было больше счастья,
Счастья на земле!

А вечером, когда все легли спать и тетя Нюра вышла из комнаты, был такой разговор.

— Тамара, а Тамар...— шептал Валя.— Это что — сокол?

— Птица такая.

— Тамар, а про какой же тогда самолет мы пели? Ведь про него поют, что он сокол, а как это — самолет и сокол?

— Наверно, такой волшебный самолет,— шепчет в ответ Тамара.— Как птица. У него белые железные крылья.

— И он ими машет, да?

— Машет. И на них красные звезды.

— И он убьет всех фашистов?

— Убьет. И тогда придет моя мама.

— И моя?

— И твоя...

Степан Степанович стал приходить к ребятам часто. Ребята полюбили его. Им все нравилось в старом учителе: и как тихо и мягко он разговаривает, и как красиво поет, и как прямо и ровно ходит — как военный. Только маленький Валя никак не мог выговорить его имени и отчества правильно. У него получалось что-то вроде «Сметан Сметаныч». Ребята так и стали звать своего учителя — Сметан Сметаныч. За глаза, конечно. А то еще обидится. Они ведь не со зла, а просто передразнивают Валью.

РЕПЕРТУАР

Однажды, когда Сметан Сметаныч пришел на урок, с ним вместе появилось непонятное слово: «репертуар».

— Нужен же репертуар,— говорил он тете Нюре и Вере Александровне.— Помилуйте, как же так — просто взять и выступать?

Потом на урок прибежала Олеся и тоже говорила: «Репертуар, репертуар».

Ребята толком ничего не поняли. Но с этого урока стали не

просто все хором петь песни, но каждый еще дополнительно разучивал свою песенку или стишок.

Инночка-красавица выходила на середину коридора и объявляла:

— Моцарт. «Колыбельная». — И начинала петь тоненько-тоненько:

Спи, моя радость, усни...

Валя тоже выходил на середину. Он читал стихи. У него получалось так:

Взяй баясик
Каяндасик.

То есть «взял барашек карандашик». Смешно, конечно, но над ним не смеялись. Хвалили даже. Валя ведь маленький.

А Тамара танцевала под музыку.

Когда Степан Степанович играл что-нибудь красивое и медленное, ей так и хотелось медленно поднимать руки и кружиться. Олеся как-то случайно увидела, как Тамара в уголке, в коридоре, кружится и приседает.

— Степан Степанович, — сказала она, — а Тамара-то у нас настоящая балерина. Не поставить ли нам еще балетный номер?

— Превосходная мысль, — обрадовался он. — Она будет танцевать «Сентиментальный вальс». Неплохо, а?

И он заиграл красивую музыку, а Олеся показывала, что надо делать, и Тамара плавно поднимала руки, и ходила по кругу на цыпочках, и у нее было очень радостно на душе.

ГОСПИТАЛЬ

Скоро выяснилось, что «репертуар» — это все вместе: и песня летчиков, и Инночкин Моцарт, и «Баясик», и Тамарин вальс, и все-все, что ребята выучили со Сметан Сметанычем. А учили они это все не просто так, а потому что их пригласили в гости раненые из госпиталя; а чтобы раненым было интересно, ребята и приготовили «репертуар».

Олеся сшила Тамаре белое платьице из марли с коротенькой юбочкой и множеством оборок. Это называлось «пачка». Всем ребятам починили ботинки.

И вот наконец Вера Александровна пришла и сказала:

— Завтра едем.

Утром после завтрака в телегу запрягли Мишку. На дно

телеги положили сено и байковые одеяла. Взяли с собой хлеба. Тетя Нюра сказала:

— Мало ли что.

И еще взяли с собой горшок — тоже «мало ли что». И еще — два бидона с водой.

Потом нарядились. Потом пришел Степан Степанович. И Вера Александровна. И Олеся. И все поехали. Мишка шел медленно. Его погоняли. Но он все равно шел медленно, потому что ему было тяжело. Все нервничали и боялись опоздать.

Потом у Мишки порвался какой-то чересседельник. Потом Тамара захотела пить, и все захотели пить, и тетя Нюра всех поила и ругалась.

Наконец проехали большое поле и въехали в город и так затряслись по булыжной мостовой, что языки во рту задрывали и заныло в животе. Свернули на ту улицу, где был госпиталь. У ворот их дожидалась тетенька. Она была в белом халате, а из-под халата выглядывала военная гимнастерка. Она кинулась навстречу и закричала:

— Ну что же вы, ну где же вы? Раненые ждут. Обед уже скоро. Ну, скорее, скорее...

Вошли в госпиталь. Там пахло свежей масляной краской, вареной капустой и каким-то знакомым-знакомым лекарством. Прошли белыми гулкими коридорами, поднялись по каменной лестнице, потом протопали по деревянным ступенькам и вдруг очутились на сцене. На сцене стоял такой же рояль, как у ребят дома.

А в зале на стульях и на подоконниках сидели раненые в серых халатах.

Фашисты ранили их на войне, и теперь они лечились в госпитале, чтобы снова поехать на фронт и выгнать фашистов с нашей земли.

Ребята выстроились в два ряда. Степан Степанович заиграл. Ребята запели «Петлицы голубые».

...Тамара танцевала. Она плавно поднимала руки, и опускала их, и вставала на цыпочки, и приседала, и кружилась.

Когда кончился танец, раненые закричали и захлопали в ладоши, а один раненый хлопал ладонью по коленке, потому что у него не было второй руки. Степан Степанович снова заиграл Тамарин вальс, и она танцевала все сначала. А Валю заставили три раза подряд прочесть «Баясика».

Потом звонил какой-то звонок, приходили тетеньки в белых халатах, говорили:

— Товарищи, ведь обед, идите же, наконец, в столовую!

Но никто не двинулся с места до тех пор, пока ребята не исполнили весь свой репертуар до конца.

ИНЕЙ

Настала зима. Вода в затоне замерзла, покрылась льдом. Олеся каталась по льду на коньках, а ребят туда не пускали.

Потом затон замело снегом. И все кругом замело снегом, так что возде дома приходилось самим прокапывать дорожки. Завхоз Исаак Маркович все-таки достал лошадей и навозил дров, и в доме жарко натапливали печи.

Однажды, когда ребята вышли во двор гулять, они увидели такое, чего раньше никто из них не видел.

Светило солнце. Небо было светло-голубое, как летом. Сосны стояли тихо, не шевелились. Они были белые-белые, каждая веточка, каждая иголочка была покрыта чем-то белым, чем-то сахарным.

— Ой, как красиво! — сказала Тамара. — Как в сказочной книжке.

— Это иней, — сказала тетя Нюра.

А ребята даже не галдели, как обычно. Они стали на крыльце и молча смотрели на сосны. Кругом была тишина. И было слышно, как кто-то вдалеке, в деревне, рубит дрова.

ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА

И еще Исаак Маркович достал керосиновые лампы. Не какие-нибудь коптилки, а настоящие, со стеклом. Они горели светло и уютно. И вечерами, когда за окнами было темно и тихо, ребята садились вокруг столика с лампой и тетя Нюра рассказывала им сказку:

— В некотором царстве, в некотором государстве жил старый старик, и было у него три сына: Иван Большой, Иван Меньшой да Иван Средний брат.

Жили они дружно, пахали, сеяли, землю свою лелеяли. Все было бы хорошо, да напало на их землю злое Чудище.

Днем-то тихо, а ночью — лихо. Только стемнеет — налетает Чудище на города и деревни. Как дохнет огнем — так дым столбом.

Горит город, горит деревня, люди гибнут, дети остаются сиротами. Ходят дети по дорогам, плачут, убиваются, а Чудище над ними насмехается. Как налетит Чудище на поле — так людям недоля: вытопчет пшеницу, сожжет рожь — ни колоска не соберешь.

Говорит старик своим сыновьям:

«Собирайтесь-ка все трое: Иван Большой, Иван Меньшой да Иван Средний брат. Нечего сидеть да горевать, надо Чудище

воевать. Поешьте посытней да садитесь на коней. В добрый вам час».

Так братья и сделали. Выехали они в поле, стали темноты дожидаться. Вдруг слышат, из-под земли доносится голос:

«Эй, Иван Большой, Иван Меньшой да Иван Средний брат. Это я говорю, ваша Земля. Вы обо мне радели, сил своих не жалели, сеяли, пахали, устали не знали. Теперь настал мой час с вами за добро добром расплатиться. Видите, вон среди поля дуб стоит? В дубе том чудесная сила, а Чудищу — могила. Отломите себе по суку от того дуба да Чудище своими дубинами и бейте».

Дождались братья темноты. Налетело Чудище на поле, стало пшеницу губить. Тут поднял Иван Большой свою дубинку и огрел Чудище по голове. Замахнулся Иван Меньшой дубовым суком — Чудищу в хвост угодил, а Иван Средний брат своей дубинкой Чудищу хребет переломил.

Тут Чудище и сдохло.

Спилили братья дуб, выкорчевали пень, а в яму Чудище свалили да засыпали. Поклонились они родной Земле, поблагодарили за совет и помощь и вернулись к отцу с победою...

Сказка кончилась. Сначала все молчат. Потом Валя говорит: — Чудище больше никогда не вернется?

— Нет, не вернется, — успокаивает его тетя Нюра.

— А дальше что?

— А дальше будем спать.

Валя капризничает, он просит, чтобы ему рассказали, что было дальше. Но уже поздно. Все ложатся спать и быстро засыпают. Тамара засыпает тоже.

ИДЕТ ВОЙНА НАРОДНАЯ

Однажды ребят никто не разбудил. Никто не спел им: «Дети, в школу собирайтесь». Валя открыл глаза первый. Ребята еще спали. Разговаривать было не с кем. Он пощипал паклю из стенки. Потом сунул мизинец в расщелившееся бревно. Мизинец застрял. Валя его подергал и вытащил. Из щели выбежал и побежал к потолку маленький черный паучок. Вале надоело молчать.

Он подергал Тамарино одеяло.

— Тамар, а я видел во сне мыльную лошадь. Она была вся красивая, как мыльные пузыри.

Тамара сильнее зажмурилась, потом поняла, что она не спит, и открыла глаза.

— Ой, ребята, как светло! — закричала она. — А где же тетя Нюра?

В коридоре радио пело всем известную и почему-то страшную песню «Идет война народная...». За стеной на кухне тетя Маруся-водоноска громыхала ведрами. На дворе запрягали Мишку: Исаак Маркович собирался в город за продуктами. А тетя Нюра не приходила.

Потом прибежала Олеся. У нее были красные глаза и какое-то не такое лицо.

— Ребята, быстро одеваться, и в умывальную, — сказала она. — Старшие, помогите маленьким застегнуть лифчики. Умоетесь — садитесь за столики. Я сейчас принесу кашу.

— А тетя Нюра?

— Тетя Нюра не придет. Тетя Нюра плохо себя чувствует.

А днем ребята узнали, что тетя Нюра получила «похоронную». Тете Нюре написали, что ее муж отважно сражался за Родину и погиб как герой.

Тетя Нюра пришла на другой день. Была она как обычно. Только бледная. И все время туго стягивала косынкой голову. Ребята вели себя тихо. Даже маленький Валя не капризничал совсем.

ЕЛКА-СОСНА

Приближался Новый год. Елка. Только вот не было елочных игрушек. Олеся принесла бумаги. Ее выкрасили карандашами в разные цвета и выпросили у Исаака Марковича клей. Олеся разрезала бумагу на узенькие коротенькие полоски и научила ребят клеить из них цепи. Склеиваешь колечко, потом продеваешь полоску в это колечко и склеиваешь концы — получается два колечка вместе. Нанизываешь много-много колечек разного цвета, и получается длинная красивая елочная цепь.

Вера Александровна дала немного ваты. Вату смачивали клеем и скатывали в виде морковок. А когда клей засыхал и морковки твердели, их раскрашивали красной краской, приклеивали зеленый бумажный хвостик и ниточку — чтоб вешать. Пока красили и клеили, все с ног до головы выпачкались краской и клеем. Зато было весело.

Олесю кто-то из деревенских угостил орехами. Она их грызть не стала. Принесла ребятам. Орехи тоже раскрасили и приклеили к ним ниточки.

Все было готово.

Олеся, и тетя Маруся-водоноска, и сам Исаак Маркович отправились в лес за елкой. Пошли и пропали. Ребята совсем их заждались. Стало темнеть. Вера Александровна беспокоилась за Олесю. Наконец пришли. Все в снегу, носы — красные, брови — белые, замороженные, как сосульки.

Оказалось, зря исходили все ближние леса. Не растут в них елки. Ничего не поделаешь. Срубили маленькую сосенку. Тетя Маруся принесла ведро с песком. Сосенку укрепили в ведре. Запахло снегом и лесом.

Ну и пусть не елка. Пусть сосна. Все равно красивая. Ветки — свечками, прямые, с голубоватой хвоей. И нарядная: на ней яркие цепи, пестрые орешки и морковки — как настоящие.

Пришел Степан Степанович. Елка-сосна ему очень понравилась. Он играл. Ребята пели «В лесу родилась елочка». А потом приходил Дед-Мороз. Он был с длинной белой бородой, в красном пальто с мехом, только без палки. Потому что у этого Деда-Мороза была только одна рука, а в ней он нес корзину. В корзине лежали аккуратно свернутые кулечки из газетной бумаги, а в них по целому яблоку, по две жареных белых лепешки, по комочку розовых конфет-подушечек и по куску толстого наколотого шоколада.

Настал Новый год.

ВЕСНА

Постепенно стало теплеть. У сосновых стволов снег стаял, показалась черная земля. Около самого берега распустилась верба. На ветках качались маленькие пушистые зайцы.

Ребята набрали сосновых веток, наломали вербы, принесли домой.

Запахло весной.

ОГОРОД

Скоро снег совсем растаял. Вера Александровна выхлопотала «гектар», это земля за домом, за соснами — большое поле. Там теперь пахут и будут сажать огород — «подсобное хозяйство».

У ребят тоже будет огород — прямо позади сарая. Они сами вскопали землю, а тетя Нюра показала, как делать грядки. Вышло семь грядок.

Олеся пошла в деревню, а потом к Исааку Марковичу — добывать семена. Она принесла в пакетиках маленькие гладенькие семечки: и длинные, и узкие, и плоские, и овальные, и круглые — в виде шариков с шипами. В каждом семечке сидела свекла, или морковка, или репка. Надо было теперь посадить их в землю и поливать водой.

Скоро грядки зазеленели. На них появились тонкие зеленые росточки — всходы.

ПРОГУЛКА НА ЛОДКАХ

На затоне была лодочная пристань. Две или три лодки болтались на причале. Остальные лежали кверху дном — на берегу.

До войны сюда по воскресеньям приезжали люди из города — отдыхать и кататься. А теперь Олеся иногда училась грести да деревенские переезжали на ту сторону — на картофельное поле.

Однажды вечером тетя Нюра сказала:

— Если все ребята, все-все, лягут спать быстро и тихо и будут как мышки в норке, тогда завтра поедем кататься на лодках.

«Мышки» сначала заорали как сумасшедшие, захлопали в ладоши, но потом притихли. Гуськом пошли умываться, не гремели рукомойником, не брызгались и тихонько улеглись спать.

Тетя Нюра никогда не давала пустых обещаний. На следующий день после полдника пошли на пристань. Разместились в трех лодках и поплыли по затону. А где кончался затон, была протока. Въехали в протоку и поплыли по ней — прямо в реку Радомлю.

Над протокой сплелись ветками ветлы, сделали зеленую крышу. Листья отражались в воде, сквозь них просвечивало солнце, прямо рядом с лодками солнечные лучи ныряли и плавали на воде.

Выбрались на Радомлю и поплыли против течения. Радомля — широкая, по берегам лес.

Плыли долго, плескались водой, раскачивали лодки — пугали тетю Нюру. Потом все хором пели речную песенку:

Реченька быстрая,
Ты куда течешь?
Ты куда, реченька,
Лодочку несешь?

Я теку меж лугов,
Я теку в лесу,
К морю, морю синему
Лодочку несу.

В первой лодке на веслах сидел дядя Митя — из деревни. Когда от протоки отплыли довольно далеко, дядя Митя стал грести к берегу; он разогнал лодку, и она с шуршанием заползла на берег. Остальные две причалили рядом.

На берегу в высокой траве росли крупные лесные колокольчики, пахло разными цветами и теплой травой. В воздухе стоял ровный и тонкий звон: жужжали пчелы, трещали кузнечики.

Тетя Нюра сказала:

— Погуляем здесь и нарвем домой букеты. Не ходите далеко, и пусть никто не лезет в воду.

Ребята разбрелись по берегу. Валя срывал цветы очень коротко, прямо у самого цветка, так что они не годились в букеты, и подбегал с каждым цветочком к тете Нюре:

— А этот цветочек кто?

— Это лютик,— объясняла тетя Нюра.

— Что значит лютик?

— Он лютый, как волк, он кусается,— вмешалась Тамара. И засмеялась.

Валя надулся и отошел, а через секунду приставал снова:

— А это что?

— Это ромашка.

— А это?

— Это мята.

— Мята? А кто ее измял?

— Медведи,— опять поддразнила Тамара.

Потом тетя Нюра плела всем венки из ромашек. Один веночек остался лишний. Не хватило головы.

— А кто без венка? — спросила тетя Нюра.

Никто не ответил. Все только вертели головами в белых ромашках.

Тетя Нюра забеспокоилась и быстро всех пересчитала. Одного кого-то не было. Тетя Нюра стала выкликать по именам. Валя не отозвался.

— Да где же он? Валя-а-а!

Никто не ответил.

— Валя! Валя! — стали звать ребята.

Опять никакого ответа. Тетя Нюра побледнела.

— Все стойте на месте,— сказала она.— Я пойду поищу.

Она скрылась в кустах. Потом вышла из кустов и снова ушла. Потом вернулась. Вали нигде не было. Недавно он был тут, только что приставал с цветами и... вдруг исчез.

Ребята все кричали и звали, но Валя не отзывался.

Тетя Нюра позвала дядю Митю, он привязал лодки и тоже пошел искать Валу.

Тетя Нюра нервничала, бегала то к ребятам, то в лес. Потом остановилась как вкопанная, еще больше побледнела и побежала к реке. Она подумала, наверно, что Валя пошел к речке и упал в воду. Но дядя Митя успокоил ее. Он все время сидел в лодке, к реке никто из ребят не подходил.

— Пусть бы ребяташки искали,— сказал он.— Давайте всем миром по кустам поищем.

— Нет-нет,— запротестовала тетя Нюра.— Так они все перетеряются.

— Авось нет. А ну, ребята, берись все за руки,—скомандовал он.



Пошли все разом. Стеной.

— Куда ему тут пропасть? Сейчас сыщем.

Ребята пошли вытянутой цепочкой, крепко держась за руки.

Тетя Нюра шла сзади и все время всех пересчитывала.

Вдруг Инночка-красавица споткнулась. Ее правая нога ушла куда-то под землю, и она упала носом вниз и потащила за собой тех, кого держала за руки. А из ямы, которая была скрыта высокой травой, неслись истошные крики:

— Ой, медведи!.. Медведи! Медведи!..

Все кинулись к яме, и тетя Нюра выволокла оттуда ревущего, перепачканного Вальку.

— Как ты туда попал?

— Я провалился, я не нарочно!

— А почему ты не откликался?

— Да-а, а медведи?

— Какие медведи?!

— Я боялся, что услышат медведи!

— Какие медведи?

— Лесные,— проговорил Валька сквозь слезы и заревел так, что его не скоро удалось успокоить.

Поплыли домой. Солнце садилось. Лес по берегам Радомли потемнел, только кое-где ярко вспыхивали в закатном солнце стволы сосен. Было тихо. Какая-то птица поскрипывала в кустах.

— Это коростель,— сказала тетя Нюра.

Ребята примолкли.

Валька задремал.

Когда выплыли из протоки в затон, увидели, что на пристани кто-то стоит. Это была заведующая, Вера Александровна.

ТАМАРА ЗАБОЛЕЛА

Тамара отодвинула миску с супом:

— Не буду.

Тетя Нюра не поняла:

— Что, горячо, что ли?

— Не буду.

— Совсем не будешь? Не хочешь есть?

— Не хочу.

— Не капризничай, Тамара, мы же пойдем потом сосновые шишки собирать. И Олеся пойдет. И Альфа. Кушай, детка.

— Никуда не пойду. Ни с кем. Я спать хочу.

Тетя Нюра пощупала Тамарин лоб.

— Ого! Да ты уж не захварываешь ли?

После обеда позвали Веру Александровну. Она посмотрела Тамару, послушала, постучала по спине, поглядела горло, на-

давлив на язык холодной блестящей пластиночкой — шпателем.

— Ничего, Тамусик, — сказала она веселым голосом. — Скоро поправишься. — А потом вышла за дверь, вздохнула и совсем уже невесело сказала тете Нюре: — И где она могла зацепить? Сыпь. Горло красное. Похоже, что скарлатина. Уложите ее в изоляторе, я через час зайду.

«ОЛЕСЯ, ТЫ МОЯ МАМА?»

Тамаре больно глотать. Глазам жарко. Голова горит. К ней часто приходит Вера Александровна.

Изоляторная сестра тетя Зоя все время кладет ей на голову мокрое, холодное полотенце. Полотенце сразу нагревается. Тетя Зоя мочит его в тазу, выжимает и кладет снова.

Кто-то в белом халате входит в изолятор. Тамаре больно повернуть голову. Тамаре трудно открыть глаза. Кто-то подходит к кровати, садится рядом и говорит шепотом что-то хорошее.

Тамара с усилием поднимает веки. Это Олеся пришла. Она сама сменила холодный компресс. Она где-то раздобыла настоящую конфету в бумажке и положила ее в Тамарин горячий кулак.

Добрая, хорошая Олеся. Тамаре хочется плакать.

— Олеся, может, ты моя мама? — спрашивает она неожиданно.

Олеся глядит грустно и качает головой. Она гладит Тамарины растрепанные волосы. Она знает, что Тамарина мама погибла в Минске во время фашистского налета. Но она не может сказать этого Тамаре. Она говорит:

— Может, ты поспишь?

И на цыпочках выходит в коридор.

ПОЭТЫ

Тамара уже поправлялась, когда заболел Валя. Потом Инночка-красавица. Потом в изоляторе не хватило места — заболели еще пять человек.

Но все-таки настал день, когда поправились все. Тетя Нюра встречала всех радостно и весело. Когда в комнату вошел бледный, похудевший Валя, она так и ахнула:

— Валенька, мальчик, как ты вытянулся!

А Тамара, которая вернулась из изолятора на неделю раньше, пританцовывала вокруг него и пела:

— Мальчик с пальчик влез в карманчик, мальчик с пальчик влез в карманчик... Тетя Нюра, хорошо я стихи сочинила?

Инночка-красавица сказала:

— Я тоже умею. Знаешь, что я сочинила? «На кровать улегся кот, у него болит живот». Это про Кашлатика.

— А откуда ты узнала?

— Что?

— Что у него живот болел?

Инночка застеснялась, а потом хитро прищурила свои голубые глазенки и сказала:

— Он мне сам сказал. Вот.

— Ну и ладно,— сказала Тамара.— А у меня еще другой есть стих, я в изоляторе, когда лежала, сочинила. «Цветик-семицветик, радостный цветок, вот бы у тебя бы выросли бы ножки».

Валя, который все это молча слушал, вдруг сказал:

— Плохой стих.

— Почему это?

— Нерифменный. Он — нерифменный.

— Сам ты нерифменный,— обиделась Тамара.— Э-э, Валька нерифменный!

— Ну тебя, ну тебя, Томка!

Вмешалась тетя Нюра, развела поэтов по разным углам.

Если бы кто-нибудь подошел к тому углу, где Валя возил по полу кубики, то он услышал бы такое бормотание:

Самолет летит, гудит,
Наш советский летчик
Вдаль глядит.
Показались танки — трах, трах,
Разбомбили всех фашистов.
Наши победили!

Потом все бормоталось сначала.

УРОЖАЙ

Пока болели, наступил август. Кто не был в изоляторе, вместе с тетей Нюрой и Олесей ухаживали за огородом. Поливали, носили воду из затона. Пололи. Прореживали морковь и свеклу.

Росточки окрепли.

У морковки выросла красивая вырезная ботва.

Огурцы зацвели маленькими желтыми граммофончиками. К ним прилетели пчелы. Протискивались внутрь желтого цветка и вылетали оттуда с довольным жужжанием. Потом желтые

цветы завяли и отвалились. Появились маленькие огурчики — пуплята.

И вот однажды был назначен день, когда весь обед должен был готовиться из овощей с ребячьего огорода. Вечером пошли на огород с тетей Нюрой. Позвали Олесю. Пригласили Веру Александровну.

Вале доверили выдернуть первую морковку. Он уцепил морковку за пушистый хвост, дернул. Ярко-оранжевая, кургузенькая, с кусочками сырой земли, она была похожа на улыбающуюся рожицу.

Тамара сказала:

— Здравствуйте, Морковка Валентиновна!

И все засмеялись. Потом все дергали по очереди: морковку, еще морковку, свеклу. Выдернули несколько кустиков картошки — на суп.

А на следующий день был невероятно вкусный обед. И всем давали добавку.

«З Д Р А В С Т В У Й, И Н Н О Ч К А - К Р А С А В И Ц А!»

Однажды утром, после завтрака, открылась дверь, вошла Вера Александровна, а с ней высокий военный. Он быстро оглядел всех ребят по очереди и воскликнул, протягивая руки:

— Здравствуй, Инночка-красавица!

Инночка поглядела на него своими круглыми синими глазами, и вдруг закричала, и бросилась к нему, и уткнулась лицом в его гимнастерку. Это был Инночкин папа!

А дело было так. Инночкиного папу ранило осколком в ногу. Его отправили в госпиталь. Доктор-хирург вынул у него осколок. Теперь нога у него совсем не болит. И он опять уезжает на фронт. А целых два дня он пробудет с Инночкой. И со всеми ребятами тоже.

Н Е З Н А К О М Ы Е Л Ю Д И

Никто ничего не знал, никто не слышал этого разговора. И Тамара тоже не слышала.

Пришли как-то к Вере Александровне двое незнакомых людей. Мужчина и женщина. Женщина протянула ей какую-то бумажку.

Она сказала:

— Муж уже больше не сможет вернуться на фронт. Он

просил, настаивал, но врачи не признают его годным. Будет работать на заводе. У нас никогда не было детей. А сейчас так много сирот. Мы хотим взять себе ребенка. Не бойтесь, мы воспитаем его как родного. Мальчика или девочку — все равно.

Никто не слышал этого разговора. Просто к ребятам пришли двое незнакомых людей. Они разговаривали с ребятами, играли, смотрели, как ребята обедали. Потом ушли.

Назавтра они приехали снова. Они привезли цветные карандаши и две настоящие тетрадки. Из тетрадок вынули скрепки, и всем ребятам хватило листочков. Все рисовали.

Тамара нарисовала дом, и забор, и дорожку и подарила госте свой рисунок. Женщина ласково погладила ее по головке...

Вечером, когда Олеся пришла сказать ребятам «спокойной ночи», Тамара подозвала ее к своей кровати. Она стала шептать Олесе на ухо:

— Олеся, мне кажется, сегодня приходила моя мама. Это моя мама? Да, Олеся?

Олеся смутилась. Что сказать Тамаре? Она уже слышала, что этим людям понравился мальчик — Толя Нестеров и на днях они, наверное, за ним придут.

— Олеся, это моя мама. Ты не веришь?

Тамара расплакалась.

МАМА И ПАПА

Неизвестно, по каким делам Вера Александровна ездила в город. Мало ли у заведующей в городе дел!

А на следующий день опять приехали те двое. Они привезли с собой узелок. В узелке было платье для девочки, туфли, кофточка и панамка. Они прошли прямо к Вере Александровне. Вера Александровна позвала Тамару к себе. Она сказала:

— Тамара, ты теперь будешь жить не в Сосновке, а у мамы с папой. Твои мама и папа пришли за тобой.

...И Тамара ушла. Она обещала приезжать к ребятам и к тете Нюре, она со всеми попрощалась, и Вера Александровна дала ей большой пакет на дорогу. У тети Нюры текли слезы, но она сказала, что это от радости. Она поцеловала Тамару, поправила на ней панамку, застегнула пуговицу на кофточке и сказала:

— Ну, в добрый час. До свидания.

СОСНЫ ШУМЯТ

Сосны шумят. Машут ветками, сыплют желтой хвоей на землю, на крышу деревянного дома, к дверям которого прибита вывеска: «Средняя школа».

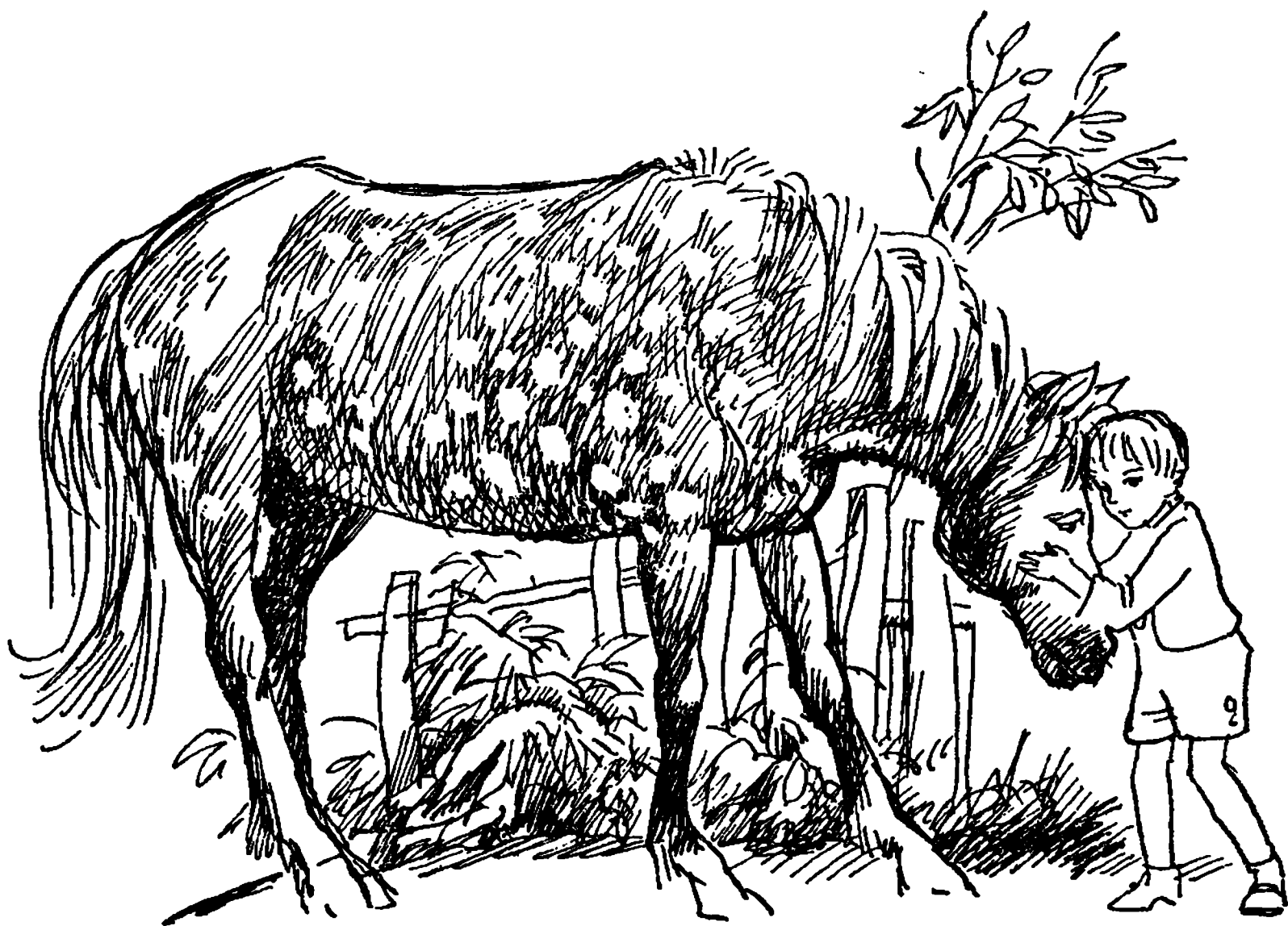
Война кончилась давно. Кончилась славной, незабываемой победой.

Давно уже в деревне Сосновке нет «Дома ребенка».

Все дети стали взрослыми. Но они до сих пор помнят этот деревянный дом и сосны, которые все шумят и шумят в вышине.

А еще они помнят тех людей, которые в те далекие трудные годы старались сделать их жизнь беззаботной и радостной.

1965



СЧАСТЛИВО, ИВУШКИН!

Глава первая

ЛУША

Ивушкин не подслушивал. Просто они думали, что он спит, а он — проснулся. Разбудило противное слово «диссертация», которое шипело за дощатой перегородкой и извивалось там, как змея.

— Ну, конечно, сразу же после защиты диссертации, — говорил папин голос.

— Как только защитишь диссертацию? — спрашивал мамин.

— Как только диссертацию утвердят и присвоят звание, — объяснял папин.

— Филипп будет жить в угловой, там балкон и солнце, — продолжал мамин голос.

Филипп — это он и есть, Ивушкин. Его зовут Филиппом в честь дедушки. Только он привык, что он — Ивушкин. Так его

звали и в яслях, и в детском саду. Это когда они жили в городе. Но вот уже два года, как семья агронома Ивана Филипповича Ивушкина переехала в деревню. Два года, два прекраснейших года, они прожили в этом славном доме. В нем есть большие сени и лесенка оттуда — на чердак, где пахнет сухими листьями и теплой крышей, где лежит старый угольный утюг, который умеет превращаться в паропровод, где кем-то оставлены черные прокопченные крынки. Внутри крынок темно и таинственно, и кажется, кто-то там на дне шебуршит, и дышит, и живет. И еще в этом доме есть русская печь, в которой разжигается настоящий домашний костер.

Костер горит живым огнем, а потом превращается в красные угли. По ним бегают синие огоньки, а после они куда-то исчезают, и угли накрываются пушистым серым одеялом, гаснут и ложатся спать.

Да что говорить! Главное-то все-таки не это! Главное, что в доме — нет, не в доме, а в крытом дворе, куда ведет из сеней маленькая скрипучая дверка, — живет Луша!

Вот про Лушу-то и пошел дальше разговор, который не должен был слышать Ивушкин, но услышал, вроде как бы подслушал, хотя подслушивать некрасиво и стыдно, но если человек проснулся утром, то в чем же тут его вина?

— Что сказал дядя Кузьма? Они возьмут Лушу на конюшню? — это спрашивала мама.

— Варенька, ну, посуди сама, зачем им в хозяйстве такая старая лошадь?

— Ну, ты хоть погоди, Фильке не говори, он разнервничается.

— Я и сам расстроен, да, может, еще уладим, а?..

Дело в том, что семья Ивушкиных переезжала обратно в город.

Папа Иван Филиппович написал в деревне какую-то диссертацию. Это много-много листов бумаги, напечатанных на машинке, и какие-то листы с непонятными линиями, похожими на зубцы горного хребта, которые называются «диаграммы». И вот теперь почему-то из-за всей этой бумаги папа больше не будет работать в деревне Высоково, и они не будут больше жить в этом замечательном доме, всеми пятью окошками — на тихую речку Меру, на луг, покрытый красной смолкой, и колокольчиками, и ромашками, и дремой. В городе им дают трехкомнатную квартиру, а папа будет работать в НИИ. Ивушкин пока еще не очень понял, что это значит. Самое ужасное, что во всех этих трехкомнатных квартирах люди почему-то не держат лошадей. И вот теперь... Теперь от него что-то скрывают, что-то плохое обязательно случится с Лушей.

— Из хозяйства они ее списали.

Это сказал папа.

— Она списанная, понимаешь? — повторил он.

От этого непонятного, чем-то смертельно угрожающего слова у Ивушкина внутри что-то заболело, как умеет болеть зуб. Ивушкин тихонько застонал.

Шепот за стеной прекратился. В комнату вошла мама с таким лицом, точно завтра Первое мая или Новый год.

— Филюшка, ты не спишь?

— Проснулся, — мрачно буркнул Ивушкин.

Он был уже большой, осенью — в школу. Он понимал, что если зареветь, завопить, заскандальить, все равно ничего не получится. Он решил подождать, подумать хорошенько.

— Филюшка, вставай, приберись немножко. Я пошла в Родово, в магазин: у меня вся соль вышла. Папа уезжает на дальнее поле, сейчас за ним «газик» придет.

И действительно, на дороге тут же что-то заурчало, и, переваливаясь на дорожных колдобинах, к дому подкатил колхозный «газик». Ивушкин видел в окно, как папа сел рядом с шофером Кирюшей и укатил.

— На столе в кухне молоко в жбанчике и коржики. Поешь, посуду сполосни и подмети, ладно, Филюшка? Сделаешь?

— Сделаю, — ответил Ивушкин как-то уж очень неприветливо.

Видно, мама была занята своими радостными мыслями, раз она не обратила внимания на то, что ее всегда ясный и ласковый мальчик хмур и чем-то озабочен.

Взрослые люди иногда впадают в страшное волнение по пустякам, а бывает, проходят мимо вещей важных и серьезных.

Как бы там ни было, мама, взяв сумку, маленький кошелечек в виде кошачьей головы и повязав от солнца косынку в синий горошек, легко сбежала с крыльца и направилась в соседнюю деревню Родово, где был магазин.

Ивушкин остался один. Он глядел на окно, на отставший уголок пожелтевшей марлюшки. Марлю трепал ветер в том месте, где откнулась кнопка. Ее прикрепили весной — от комаров. А сейчас комаров нету. Ивушкин отогнал эту ненужную мысль. Прислушался. На комоде тикал будильник. Тикал, тикал, — у него никогда ни на что другое не хватало фантазии. Гнал время, гнал время, дуралей! А время, наоборот, надо бы остановить, чтоб можно было хорошенько во всем разобраться!

Что значит «списанная»? Ивушкин вспомнил, что про бо-роны, которые долго валялись у сараев на главной усадьбе колхоза, в Худяках, и которые недавно наконец свезли как металлолом, тоже кто-то говорил «списанные». Списанные, значит, негодные, ненужные, ничьи. Но Луша!!! Луша умница, труженица, добрая, такая рассудительная, такая, такая... да, любимая, ну и что? Ивушкин ее любил, потому что Луша его друг и прямо так и заявляет ему об этом.

Ах нет, пожалуйста, не начинайте сразу же говорить, что это чудо, или что так не бывает.

Умела Луша говорить, умела! И только всем было недосуг прислушаться, а может, просто все в это заранее не верили. А уж раз не веришь, так разве услышишь?

Тик-так, тик-так, тик-так.

ТЬфу ты, пропасть!

Ивушкин встал и оделся. С кем посоветоваться? Поговорить с конюхом, дядей Кузей?

Еще неизвестно, что из этого получится. Единственный друг Валька, который старше на два года и очень умный, укатил в Артек.

Дождаться маму? А зачем? Это ведь она сказала: «Ты хоть Фильке не говори». «Не говори»... А что — «не говори»? Что они уезжают в этот проклятый город, он знает. Что — «не говори»? Про Лушу? Куда, куда они собираются ее девать?

На дворе что-то брякнуло. Может, Луша, пытаюсь урезонить надоедливых мух, задела копытом стену?

Ивушкин поспешил во двор. Дверь скрипнула. Луша скосила на Ивушкина большой лиловый глаз, передернула серой в светлых пятнышках шкурой, махнула хвостом, спросила, позабыв поздороваться:

— Сегодня купаемся, Ивушкин?

Потом заметила, что с ним что-то происходит.

— Ты что не такой? Что случилось?

— Случилось.

— Что?

— Беда, вот что.

— Какая?

Луша спросила спокойно, точно он просто ей сообщил, что к ним залетала бабочка.

— Ну мы же переезжаем в город!

— Почему ты кричишь? Переедем, и все.

Ивушкин мучался ужасно. Он не знал, как сказать, чтобы сразу не огорчить, не обидеть Лушу.

— Луш, но ты ведь лошадь.

— Да ну? — притворно удивилась Луша. — Вот новость-то!

Ивушкин даже и не улыбнулся.

— Лошади в городе не бывают, — сказал он уныло.

— А кто бывает?

— Машины. Легковые и грузовики. УАЗы. МАЗы. КамАЗы.

— Да будет тебе, таких и слов нет.

— Есть. Это марки машин.

— Ты смотри!

— Луш, ладно тебе, ведь не до шуток.

— Ивушкин, я не понимаю. Ты объясни.

Деваться было некуда. Пришлось объяснять.

Луша сразу посерьезнела, погрустнела. Два года вместе. Она так привязалась к Ивушкиным. Любила возить Ивана Филипповича в поле, пастись тихонько у обочины, пока он распекал младшего агронома и бригадира, а уж как она любила Ивушкина!

Ивушкин был легкий, почти невесомый! Они вместе неслись через луг и влетали в Меру, там, где пологий бережок и маленькая золотистая песчаная отмель. Мера взрывалась брызгами, в каждой капельке отражались сразу и луговые цветы, и солнышко, и прибрежные ракитовые кусты, от этого капельки речной воды делались разноцветными, и на душе у обоих становилось весело, легко и разноцветно.

А зимой! Ивушкин насыпал Луше овса, садился рядом на маленькую скамеечку, которая осталась от прежних жильцов, — хозяйка, сидя на этой скамеечке, доила Ромашку — корову. Ивушкин усаживался на скамеечку, и они с Лушей беседовали...

А что же теперь получается? Вся семья уедет в город, где эти «разы, двады, мады», а она останется одна — голодная, холодная, печальная и никем не любимая? Брошенная?

«Так не бывает, — думала Луша. — Разве своих бросают?» Что-то во всем этом не было похоже на правду, что-то колелось и царапалось в голове, или в душе, или где уж там — неизвестно, где-то внутри. Не вязалось, не верилось. Но Ивушкин объяснил все складно, и выходило все так.

Ах, не надо было Ивушкину просыпаться и слушать разговор! Тогда бы не получилось столько разных тревог.

Впрочем, тогда не получилось бы и сказки, которую пережили Ивушкин и Луша. А у кого в детстве не бывает сказки, тот вырастает сухим, колючим человеком, и люди об него ушибаются, как о лежащий на дороге камень, и укалываются, как о лист осота. Забегая вперед, я вам скажу: Ивушкин вырастет хорошим человеком. Добрым, душевным, понимающим. Может быть, и оттого, что в детстве у него была Луша и с ними обоими случилась сказка. Потому что дальше было так.

Глава вторая

ВИХРОНИЙ

— Ивушкин, ты думаешь, в этом нет никакой ошибки? Они уедут? Тебя возьмут, а меня нет?

— Ну, я же слышал! Ты понимаешь?

— Но они хорошие. Они твои папа и мама. Папа и мама не бывают плохими.

— Луш. Я не сказал, что они плохие. Только они не все понимают. Они — взрослые.

— Значит, я тебя больше никогда не увижу, так, что ли?

Ивушкин не ревел только потому, что ревой он не был. Внутри у него все плакало и всхлипывало по-девчачьи. Он молчал, бессмысленно уставившись взглядом в пол. По полу полз муравей, пытаясь утащить соломинку в четыре его собственных роста. Куда он ее волок? В лес? В лес...

— Луша, — сказал Ивушкин каким-то севшим, с хрипотцой голосом, — ничего другого не остается. Нам надо убежать.

— Как это? Куда?

— Так. Уйдем. В Синий лес, например.

— Ты думаешь, так будет правильно?

Правильно — неправильно, для Ивушкина в тот момент это никакого значения не имело. Он не хотел — впрочем, что я! — просто не мог расстаться с Лушей, ее надо было срочно, быстро спасти от этого страшного слова «списали». Больше ни одна мысль не помещалась у Ивушкина в голове. А уж правильно ли он поступает и даже как ему здорово за это влетит, он не думал, не думал он и о том, как мама будет тревожиться, когда, вернувшись, не обнаружит его дома. Забыл, впрочем, должно быть, никогда толком и не знал, как обмирает мамино сердце, когда она теряет из виду своего ребенка, как волнуется папа, когда сын бродит неизвестно где. Хотя, может, и меньше, чем мама, потому что чувствует, что сын — мужчина, что просто так, ни с того ни с сего, не пропадет.

Ивушкин когда-нибудь сообразит, что заставлять волноваться других людей не годится. Он узнает, что это называется эгоизмом. Все поймет и постарается так не поступать.

Но это будет потом. А пока что в тот день, первого августа, когда будильник с электрической батареей внутри показывает без четверти двенадцать и тихонечко тикает и тикает, Ивушкин окончательно принимает решение.

— Пошли!

— Хорошо. Пошли. — Луша вздохнула длинным, печальным, протяжным вздохом: — Ффуух!

И вот они уже идут через главную усадьбу в Худяках к проселку, в сторону Синего леса.

В Худяках народу на улице мало. Им попались навстречу только две старых-престарых бабушки да совсем маленький мальчонка.

Этим решительно не было никакого дела до того, куда Ивушкин ведет среди дня старую Лушу. Может, в Угольки на кузню, может, в Синий лес за волнушками...

Пыль на дороге пахла тепло и уютно. В ней аккуратно отпечатывались Лушины копыта и кеды Ивушкина. Над головами проносились деревенские ласточки, которые по дурной

привычке всегда выбирают самое неподходящее место для игры в догонялки и ни на кого не обращают внимания.

Луша и Ивушкин миновали поле, покрытое кучами соломы, похожими на отдыхающих львов.

«Пресс-подборщик здесь не работал», — отметил про себя Ивушкин и тут же про это забыл.

Вот и Синий лес. Они за лето бывали здесь уже сто раз. Тут они любят входить в лес — возле старой липы. Луша чуть-чуть пригнулась, и они сразу оказались в прохладе и тишине.

Все здесь было как обычно. Рядом с обгорелым осиновым пнем лежал вот уже второе лето и ржавел неизвестно кем и зачем принесенный обруч от бочки. Посреди обруча цвел лютик, и цвел колокольчик, и рос кустик земляники. Один листок сделался по-осеннему красным и вроде бы светился, точно под ним горела маленькая лампочка. Пропел свою всегдашнюю песенку зяблик. Слетела на землю еловая шишка. Как всегда, всюду синели полянки, сплошь покрытые вероникой. Она цвела здесь все лето. Может, лес потому и называется Синим?

Луша остановилась. Ивушкин тоже.

— Ивушкин, стой, — начала Луша каким-то торжественным голосом, как будто собиралась сообщить по радио важные новости.

— Ты что, Луш? Ну чего тут стоять на опушке, когда всякий может увидеть.

— Конечно. Но ты подумай все-таки, хорошо ли так — взять и убежать. А? Ты все-таки подумай.

— Да перестань. Трусишь ты, что ли? Сейчас не про это надо думать, а про то, где нам спрятаться, где укрыться, чтоб не нашли.

— В «Нигде и никогда», — сказал незнакомый суховатый голос из травы.

Ивушкин и Луша поглядели друг на друга.

— Что ты сказал, Ивушкин?

— Я — ничего. Это — кто-то, неизвестно кто.

— Известно. Это я сказал. И повторяю: в «Нигде и никогда» укрыться очень удобно.

Листики травы шевельнулись у самых Лушиных копыт. Из травы выпутался еж. Вроде бы еж как еж, может, немного больше обычного ежа. Но разговаривал, несомненно, он. Больше было некому.

Ивушкину показалось, что еж даже вежливо поклонился.

— Вихроний, — представился он.

— Ежи разве умеют говорить?! — не очень-то деликатно воскликнул Ивушкин.

— Ах, люди, люди... — вздохнул еж Вихроний. — Как они сопротивляются всему естественному и стараются втиснуть все в свои представления!

Он говорил так мудро, что Ивушкину пришлось переспросить.

— Да ведь ты только что говорил с лошадью! — сказал Вихроний уже по-другому, обыкновенно. — Ну, раз ты знаешь, что лошадь говорит, почему бы не говорить и ежу?

— В самом деле, Ивушкин, — заметила Луша.

Ивушкин растерялся.

— Да ты... да вы... не обижайся, — нескладно пробормотал он.

— Говори мне «ты», — смягчился еж.

Луша оправилась от этой неожиданности раньше Ивушкина и начала беседовать с Вихронием, как со старым знакомым.

— Его зовут Ивушкин, — сказала она. — А меня — Луша.

— Это мне известно, ваше совместное пребывание здесь мной постоянно фиксировалось.

— Ты что, заговариваешься, что ли? — спросила Луша сердито.

— Вовсе нет, — ответил еж. — Ну, попросту я видел вас, когда вы приходили сюда играть или собирать сыроежки.

— Мы тут играли одни, — заметил Ивушкин. — Валька — в Артеке.

— Совершенно верно. Однако визуально...

— Или говори понятно, или умолкни! — оборвала его Луша.

— Ну, лошадь, с тобой не забалуешь! — засмеялся еж как-то совсем по-человечески.

— Объясни, — потребовала Луша.

— Это я и пытаюсь сделать. И если вы оба постоите спокойно и послушаете, вам все станет ясно, потому что лица у вас довольно смышленные и вселяют надежду, что вы не совсем уж тупицы.

На такие речи ежа Ивушкин только вдохнул побольше воздуха и проглотил его, а Луша фыркнула.

— Это страна «Нигде и никогда», — продолжал еж.

Ивушкин и Луша стали с удивлением оглядываться.

— Нет, вы не вертите головами. Так ее решительно нельзя разглядеть.

— А как же тогда? — спросил Ивушкин.

— Сейчас все растолкую. Только сначала я должен удостовериться, правильно ли я вас понял. Правда, что у вас возникла надобность укрыться, так сказать, найти укромное прибежище, чтоб вас и не видно, и не слышно было и все прочее в этом же роде?

— Правда, — мрачно подтвердил Ивушкин.

Луша молча кивнула.

— С вами случилась беда?

— Случилась, — сказал Ивушкин.

— Тогда все правильно, — удовлетворенно заметил еж, точ-

но они сообщили ему про себя вовсе не грустное, а радостное известие.— В «Нигде и никогда» вы попадете в невидимое пространство. Оно из вашего леса не видно. Вас оттуда никто не заметит и не найдет.

— И надолго мы туда попадем? — опасливо спросила Луша.

— На этот вопрос ответить нельзя. Потому что там времени нет. Там неизвестно — долго или недолго, нельзя определить. Потому страна и называется «Нигде и никогда».

Ивушкину стало не по себе. Как же так — уйти куда-то и сделаться невидимым, вроде быть и вроде бы даже и нет! А как же мама с папой, и Валька, и вообще — все остальное?

Рыжая белка перепрыгнула с ветки на ветку. Зяблик снова пропел свою короткую песенку. Несколько раз по сухой березе стукнул дятел. С дальних лугов залетел в лес запах сена. Осинка начала перебирать листиками. Снова шлепнулась на землю шишка.

Как же быть: соглашаться или не соглашаться?

— А почему же ты, — спросила дотошная Луша, — если нас так часто видел, ни разу к нам не вышел и с нами не поговорил?

Она все-таки сомневалась в том, что еж говорил им правду. Может, это он просто так?

— Ясно почему, — ответил Вихроний, не задумываясь. — Вы были веселые и счастливые. Вам не надо было укрываться и прятаться. Я не был вам нужен. А теперь нужен. Вот я и пришел. Сейчас я произнесу необходимые слова. Перед вами появятся двери. Вы не зевайте. Как только створки распахнутся, сразу же идите за мной.

Луша хотела еще о чем-то спросить, но Вихроний остановил ее:

— Пока помолчите.

Он нахмурился, сосредоточился и проговорил:

Совершись, чудо,
Совершись!
Из ниоткуда,
Дверь, появись!
В зеленом пригорке
Скрипнули створки,
У ветра за спиной
Передо мной.

И в самом деле, маленький зеленый пригорочек вдруг стал расти, расти, и в нем обозначились двери, и обе их половинки распахнулись настежь, и все двинулись в таком порядке: сначала еж Вихроний, следом — Луша и, наконец, Ивушкин.

Как только они вошли, двери за ними захлопнулись и исчезли, пригорок снова уменьшился до своих обычных размеров. На поляне в Синем лесу не осталось ни души. Только шевель-

нулся колокольчик. Только пролетела белая бабочка капустница. Где-то далеко-далеко пропищал чей-то транзистор. Было ровно двенадцать часов. Воцарилась непривычная, очень неподвижная тишина.

Но вы не пугайтесь. Ничего плохого не случилось. Потому что дальше было так.

Глава третья

НИГДЕ И НИКОГДА

Как только они прошли через двери, обе створки за ними закрылись и двери растаяли.

— Добро пожаловать в «Нигде и никогда», — торжественно приветствовал их Вихроний. — Теперь вы как следует спрята- ны. — И он улыбнулся им приветливо и повел своим острым кожаным носиком.

Вихроний очень понравился Ивушкину. Ему казалось, что Вихроний, хоть и покрытый колючками еж, а совсем-совсем добрый, и умный, и надежный какой-то.

Это и на самом деле было так.

Ивушкин и Луша стали оглядываться по сторонам. Что это за страна «Нигде и никогда»? Куда они попали?

Кругом было зелено от листьев, пестро от цветов; сразу стало ясно, что страна эта — лесная. Вокруг росли высоченные деревья с толстыми красноватыми стволами, под деревьями была густая трава, тоже необычайно высокая, мягкая, ласковая. В ней что-то шелестело, шептало, непрерывно двигалось. Небо было бледно-голубое, каким оно бывало у них в Высокове на рассвете. По небу иногда пробегали небольшие чистенькие облачка. Странность была в том, что на небе одновременно находились солнце, и луна, и звезды. Как же это так?

Вихроний заметил их удивление.

— Совершенно верно, — подтвердил он. — У нас и солнце, и луна — все вместе. Время тут не идет. Нет ни дня, ни ночи. А все сразу. Нет минут. Нет секунд. Нет часов, будильников, ходиков...

Не успел Вихроний это проговорить, как послышалось совершенно отчетливое тиканье: тик-так, тик-так, тик-так.

— Что такое? — воскликнули Луша и Ивушкин в один голос. — Часы тикают!

Вихроний рассмеялся.

— Вы принесли тиканье с собой, как бывает, кто-нибудь приносит с собой запах сеновала, или парикмахерской, или кухни, откуда он только что пришел. Вы явились оттуда, где

идет время, где есть минуты и секунды. Где есть часы. Тиканье слышится от вас.

— Как странно!

Ивушкину стало неуютно. Вихроний заметил это и поспешил его успокоить:

— Да ничего страшного! Просто по этому тиканью все будут узнавать, что вы нездешние, только и всего.

— Вихроний, — сказала Луша, которую рассудительность и здравый смысл не покидали даже в этих необычных обстоятельствах. — Вихроний, теперь не худо бы обсудить, что нам делать. Не топтаться же здесь до самой ночи...

Луша вдруг умолкла, сообразив, что никакой ночи вовсе и не будет.

— Давайте рассуждать, — сказал Вихроний.

— Давай, — охотно согласилась Луша.

— Ваша беда ведь в чем заключается?

— Ты же знаешь: меня хотят увезти в город без Луши, — пробурчал Ивушкин.

— А ты, соответственно, не хочешь.

— Да как же я захочу? — крикнул Ивушкин, и голос у него сорвался. — Друзей не бросают!

— Подожди. Не кричи. Я понял. Значит, пока вы здесь, тебя увезти не могут. Тебя все равно что и нету. Увезти того, кого нету, нельзя. Ты согласен? Значит, пока все в порядке. Так?

— Ну, — буркнул Ивушкин.

— А дальше? — поинтересовалась Луша.

— А вот как быть дальше, надо спросить сестру Лётницу.

— Чью сестру? — не понял Ивушкин.

— Она, видишь ли, всем сестра. Она обо всех заботится. Обо всех печалится. Всех любит. И всех понимает.

— Вот как! — удивилась Луша.

— Она мудрая и может дать самый мудрый на свете совет.

— Все это хорошо, — сказала Луша. — Только где она, как нам ее увидеть?

— Пойдем к ней скорее, — заторопился Ивушкин; спросим, что надо сделать, чтобы Лушу тоже взяли в город! Вихроний, ну пойдем, пожалуйста.

Вихроний вздохнул. Видно, что-то его удерживало.

— Понимаете что, — стал объяснять Вихроний. — Все совсем не так просто, совсем не просто... В «Нигде и никогда» есть одно очень злое существо — черная птица Гагана. Птица Гагана очень опасна. А сестре Лётнице — в особенности. Потому что сестра Лётница одного на свете только и не может — не может оборониться против ее неукротимого зла. И поэтому к сестре Лётнице непросто дойти, и найти ее нелегко. Она там, где ее не

может найти птица Гагана. Я вам подскажу начало пути. Другие вам тоже помогут.

— Ты нас проводишь хоть немного? — спросил Ивушкин.

— Я должен быть возле ворот, — с сожалением сказал Вихроний. — Если мне удастся найти кого-нибудь, кто меня ненадолго заменит, я нагоню вас. Только вряд ли — все здесь заняты своим делом. Но вы не бойтесь. Я вам сейчас расскажу, как идти. Ивушкин, ты меня не слушаешь?

Ивушкин действительно его не слушал. Он прислушивался к шепоту и шелесту деревьев, потому что в этом шелесте различил слова:

«Вихроний привел печального мальчика и печальную лошадь. Мальчика зовут Ивушкин, а лошадь зовут Луша, и они друзья и ни за что не хотят расставаться. Вихроний укрыл их в нашей стране, и они собрались в путь к сестре Летнице...»

— Вихроний, кто это говорит?

— Деревья, — просто сказал Вихроний, точно в этом не было ничего необычного.

— Деревья разве умеют?

— Все живое умеет говорить, — сказал Вихроний, чуть-чуть вроде бы даже обидевшись.

— А у нас, в Синем лесу, они не говорят, — сказал Ивушкин.

— Говорят. Это вам только кажется, что они шелестят без смысла.

Вот так новость!

— Вихроний, а почему деревья рассказывают про нас с Лушей?

— Запоминают. Вот и повторяют потихонечку. Деревья все-все запоминают.

— А у нас?

— И у вас тоже. Деревья все помнят. Просто они еще не знают, как сказать, чтобы людям было понятно. Научатся когда-нибудь. Ведь вот наши-то научились.

— Все это хорошо и ладно, — снова сказала Луша, которую все эти загадочные вещи не могли сбить с основного направления мыслей. — Нам-то с Ивушкиным как быть?

— Вы идите сейчас вот этой тропкой, видите? Вдоль нее растет гусиный лук, видите? Идите прямо, никуда не сворачивайте, а как дойдете до старой ивы с дуплом, так у нее и спросите, куда вам дальше идти. Поняли? Не сворачивайте никуда!

— Пошли, Ивушкин, — решительно позвала Луша. — Тебе спасибо, еж. Будь здоров.

— До свидания, Вихроний, — промолвил слегка растерянный Ивушкин.

И они двинулись по тропинке, с двух сторон поросшей не

таким, как в Высокове, а крупным-крупным, с большими цветами гусиным луком.

— Доброго пути! — пожелал им Вихроний. И когда они уже совсем почти скрылись из виду, крикнул вдогонку: — Только не верьте Развигóру!

Но они торопились вперед и слов его не расслышали.

Они шли и шли прямо и прямо по тропе. Деревья продолжали шептать, шелестеть, что-то вспоминать, что-то друг другу рассказывать.

Вдруг Ивушкин метнулся в сторону.

— Луша, стой! — крикнул он. — Какая необыкновенная, прекрасная бабочка! погоди!

И он скрылся за кустами. Луша в недоумении остановилась.

А Ивушкин гнался за бабочкой необычайной величины и красоты — она была золотисто-голубая и точно отливала перламутром. Она то вспархивала к вершинам деревьев, то пряталась в густой траве. Ивушкину так хотелось ее поймать и рассмотреть хорошенько! Но бабочка никак не давалась. Вот она замерла на нижней ветке дерева, похожего на липу, он подскочил, схватил и осторожно разжал ладони, но в них ничего не оказалось.

Он с удивлением посмотрел на свои руки и тут же услышал тоненький смешок. Он огляделся. Никого не было видно, но смешок повторился:

— Хи-хи-хи!

Ивушкину показалось, что смех доносится откуда-то снизу, из-под ног. Так оно и было! Смеялась... трава.

— Что ты смеешься? — растерянно спросил Ивушкин.

— Смеюсь, потому что ты пытаешься поймать бабочку. А ее поймать нельзя.

— Почему?

— Это неуловимая бабочка!

Трава вдруг замолчала.

— Ой, ты как странно тикаешь. Ты нездешний? Конечно, нездешний, — ответила она сама себе.

Так вот оно что! Неуловимая! Как же ее поймаешь? А где Луша?

Ивушкин вертел головой и не видел ни тропинки, ни Луши. Он метнулся вправо, потом влево. Тропинки не было.

— Луша-а-а! — позвал он громко.

«Слуша-ай!» — ответило лесное эхо.

— Ты кого зовешь? — спросила смешливая трава.

— Лушу.

— Не знаю, — сказала трава.

— Луша-а! — снова закричал Ивушкин.

Кинулся в сторону, вернулся. Прислушался. Кусты ломались, трещали, всхлипывали. Кто-то двигался к нему через

кусты. Ивушкин закрыл глаза, а когда открыл, увидел, что перед ним стоит Луша.

— Ивушкин, Ивушкин, куда же ты подевался? Я думала, что ты уж пропал совсем. Какой же ты легкомысленный, Ивушкин!

Луша, потеряв его из виду, растревожилась. И теперь только, найдя Ивушкина невредимым, постепенно успокаивалась. Она подошла к нему, тепло и влажно подышала в ухо.

— Ну, пошли обратно на тропу. Нам же надо дойти до дуплистой ивы. Смотри хорошенько, чтобы нам ее не прозевать.

И они пошли, как им показалось, обратно.

Но не тут-то было! Сколько ни искали Ивушкин с Лушей за кустами и кустиками, деревцами и деревьями, тропа не находилась. Не было никаких сомнений: они заблудились.

Луша остановилась и задумалась. А Ивушкину вдруг сделалось тоскливо и одиноко, хотя Луша была тут, рядом с ним. Что же это была за тоска? Даже не то чтобы он осознал, как он виноват перед папой и мамой. Даже не то чтобы он почувствовал, что хочет домой, или что хочет есть, или еще что-нибудь. Просто как будто оборвались какие-то ниточки, которые его ко всему привычному и своему привязывали, и он оказался один, совершенно один.

Луша почувствовала его настроение и потерлась о его щеку своей щекотной, шерстяной щекой.

— Ну, Ивушкин, ладно уж. Не падай духом. Только не падай духом! Сейчас мы отыщем тропинку, и все еще образуется.

И все действительно в конце концов образовалось, но не сразу. Далеко не сразу.

Потому что дальше было так.

Глава четвертая

ОСТОРОЖНО: СЛОВА!

Тропинка не находилась. Она каким-то образом совершенно потерялась. У Ивушкина в голове от поисков и кружений по лесу стал образовываться легкий туман. Луша бодрилась. Она угоговорила Ивушкина сесть верхом и пошла наугад, прямо через лес, раздвигая грудью кусты и подлесок.

Шли они, как им казалось, уже довольно долго. Но как определить точно, если в той стране ни минуты, ни часы не проходят совсем?

Не темнело, не светало. Высоченные деревья тянулись вверх, к спокойному блеклому небу, были деревья и пониже. Попада-

лись кусты в цвету. Но вот постепенно лес начал редеть, и они вышли на обширную поляну.

На поляне стоял маленький, аккуратный домик вроде игрушечного кубика с треугольной крышей, с резным крыльцом и квадратными окошками. Стены и крыша были одинаково зелеными, потому что были сплошь выложены мхом. От этого домик выглядел забавным, мягеньким, теплым, точно меховым.

Перед домом на траве стояли корыта, тазы, деревянные ушаты и шайки. Они были наполнены водой, и в них что-то мокло. Чуть поодаль горел небольшой костер, и над костром в стиральном баке что-то кипело.

— Куда-то мы пришли, Ивушкин. Попробуем здесь спросить, как искать нашу тропинку.

— Попробуем. Но только у кого же мы спросим? Тут что-то никого не видно.

— А ты покричи.

— Мне боязно, Луш.

— Все равно спрашивать надо. Иначе мы до конца жизни сестру Летницу не отыщем,— решительно заявила Луша. Она собралась с духом и крикнула: — Эй, есть тут кто-нибудь?

И копнула землю копытом.

Никто не откликнулся.

— Хозяйка! — позвал Ивушкин так, как обычно звали у калитки маму вышедшие из леса и сбившиеся с пути туристы.

Но и ему никто не ответил.

Кипевший на костре бак выпустил струйку пара. Вдруг слышались шаги, шорох веток, чей-то вздох, и на поляну вышел енот. Он нес на плечах коромысло. На коромысле висело два ведра. В ведрах было что-то белое. Видимо, он вернулся с речки или ручья, прополоскав там это белое, отстиранное. Простыни не простыни, чехлы не чехлы, неизвестно что, в общем, какое-то, по-видимому, белье. Он тяжело опустил ведра на траву, поднял с земли веревку, скатанную в клубок, стал ее натягивать между двумя толстыми стволами. При этом он без конца вздыхал и бормотал про себя:

— Ох, сколько же у меня работы! Сколько работы! Бедный Нотя, бедный старый Нотя. Стирке никогда не будет конца, никогда не будет конца...

Он стал развешивать стирку на веревке, зажимая прищепками, чтобы не унес ветер. Белое в ведрах не было простынями, потому что было не простынной, а неизвестно какой, самой разнообразной формы: в виде рыбы, в виде двугорбого верблюда, в виде черепахи, даже в виде слона...

Развесив все, енот еще раз тяжело вздохнул и направился к баку. При его приближении крышка сама поднялась, и он стал мешать кипящее белье чисто обструганной палочкой.

Потом он отошел от бака и стал тыкать той же палочкой в тазы и ушаты, в которых что-то мокло.

— Ну как можно, как можно так неаккуратно обращаться со словами,— бормотал он.— Ведь грязи-то, грязи-то — не оберешься. Хоть бы кто-нибудь помнил, кто-нибудь бы жалел старого Нотю!

— Простите...— начала было Луша.

Но енот не обернулся. Он продолжал ворчать себе под нос:

— Уж полощешь-полощешь, отбеливаешь-отбеливаешь...

— Скажите, пожалуйста...— решился обратить на себя его внимание Ивушкин.

Нет, не обратил. Енот продолжал заниматься своим делом, как будто их вовсе рядом с ним и не было.

— Вот овсяный жмых! — выругалась Луша.

Енот отложил палку, медленно к ним повернулся.

— Как? Кто-то бранится? И где же? Прямо возле моего дома? Ну и дожил я, ну и дожил...

Видно было, что енот расстроился необычайно. Личико его сморщилось в тоскующую, обиженную гримаску, на глубоко спрятанных глазах навернулись слезы.

— Извините,— забормотали Ивушкин и Луша.

— Да что уж...— вздохнул енот.

— Мы не хотели вас расстраивать.

— Да ладно уж. Давайте знакомиться. Нотя. И можно на «ты», по-дружески.

— Отчего ты расстроился? — спросила его Луша после того, как они с Ивушкиным представились.— Я же ничего ужасного не сказала.

Старый Нотя опять вздохнул. Потом стал прислушиваться.

— Почему вы так странно тикаете? Тик-так,— сказал он задумчиво.— Что это?

— Это не мы тикаем,— пояснила Луша.— Это тиканье просто к нам прицепилось, как запах. У нас дома так тикает время.

— Ах, время! — воскликнул енот.— Так вы нездешние! Не то бы вы поняли, отчего я расстроился!

— Мы и правда нездешние. И мы действительно не поняли,— согласилась с ним Луша.

— Вот ведь какое дело, новые мои друзья,— начал рассказывать енот.— На всем свете так неаккуратно обращаются со словами! А ведь сказанное слово никуда не девается. Сказано — значит, оно уже есть.

— Ну и что? — подивился Ивушкин.

— А то, что слова бывают разные. Хорошие слова, немножко подержавшись возле земли, улетают на звезды и там превращаются в прекрасные цветы. Звезды радуются и начинают светить еще ярче. Это они так возвращают радость на землю. И тогда всем делается хорошо. Вы не думайте, что

звезды просто так светят, от нечего делать. Чем больше чистого звездного света, тем лучше живется всему живому — людям, зверям, птицам, деревьям, кустам. Поэтому чем больше хороших, добрых, красивых слов говорится, тем радостнее всем.

— Вот это да! — подивился Ивушкин такому неожиданному обороту.

— Молчи, Ивушкин, не перебивай, — одернула его Луша.

— Да только беда, что плохих слов говорят почти столько же! — вздохнул Нотя. — У одних плохое слово вылетает, потому что человек брякнул не подумавши, у других — потому что человек ночью во сне с бабушкой поссорился, у третьих душа невоспитанная. Да мало ли еще почему!

— Да ты-то что так расстраиваешься? Ведь не тебе же все плохие слова достаются! — сказал Ивушкин.

— Да как же не мне, когда мне! Плохие слова куда деваются?

— Куда? — полюбопытствовала Луша.

— Как только на земле кого-нибудь обидят или расстроят, так после этого слова сразу же летят на облака. И расплываются на них уродливыми грязными кляксами. Если не успеешь выстирать, такой безобразный, грязный дождь на землю польется — ужас!

— Так это ты облака стираешь, да? — изумился Ивушкин.

— Облака, — сокрушенно покачал головой Нотя. — Ловлю сачком — и стираю, и стираю. И развешиваю. И высушиваю. И отпускаю обратно на небо. Без передышки. Хоть бы люди поняли наконец, что плохое слово не просто так — брякнул, и до свидания. Это каждый раз — грязное пятно на чистом облаке, а бедному Ноте — работа, работа, работа.

Вода из бака стала убегать в костер. Поленья зашипели, Нотя пошел мешать облака палочкой.

— Нотя, — обратилась к еноту Луша. — Послушай, Нотя, как нам выйти к старой дуплистой иве?

— К иве? Да ведь отсюда к ней никакой дороги нет. А зачем она вам? — спросил Нотя.

— Ива подскажет нам, где искать сестру Летницу. Нам очень-очень нужен совет, как нам быть дальше, — сказал Ивушкин.

— Да, — сказал Нотя. — Сестра Летница все знает и может дать самый мудрый совет.

— Куда же нам идти отсюда, Нотя?

— Иву вам не найти. Вы и вправду заблудились.

— Как же нам быть? — с испугом спросил Ивушкин.

— Ничего, можно и другой дорогой пойти. Идите по той дороге, которая начинается прямо за моим домом. Идите себе и идите. На развилке увидите куст жимолости. Это очень воспитанный куст, который никогда не говорит плохих слов. Он

мой друг. Скажите, мол, Нотя велел кланяться и просил показать вам, как дальше идти к сестре Летнице.

Ивушкин и Луша поблагодарили доброго Нотю и двинулись в путь.

— Только не верьте Развигору! — крикнул енот им вдогонку.

Но они его уже не слышали. И очень жаль. Потому что дальше было так.

Глава пятая

ЧУЖАЯ БЕДА

Сухая песчаная дорога начиналась действительно сразу же за домиком енота. Дорога была широкая, с зелеными островками посередине. На островках росли маленькие деревца-дети. Они ничего не рассказывали, не повторяли для памяти, а только мурлыкали какие-то детские припевочки.

Одно напевало:

Ходит-бродит солнце,
Ходит-бродит месяц.
Кто на чистом небе
Звездочки развесит?

А другое отвечало:

И не я,
И не ты,
Не деревья, не кусты,
Цвет калины расцветай!
Зяблик, зяблик, вылетай!

Видно, это была какая-то песенка-игра, считалочка, что ли? Луша и Ивушкин слышали такую впервые.

Впрочем, они стали уже привыкать к тому, что деревья все время говорят что-то свое, поэтому шли не останавливаясь и не особенно прислушиваясь, а стараясь, главное, не пропустить развилку дороги, где им должен был встретиться на пути вежливый и воспитанный куст цветущей жимолости и рассказать, куда двигаться дальше.

— Ивушкин, ты не устал? — спросила Луша заботливо. — Может, я тебя немножечко прокачу, а?

Ивушкин мотнул головой.

— Да не хмурься ты. Сейчас дойдем до куста, и он нам скажет, как нам дальше идти к сестре Летнице.

Луша не успела договорить. Справа от дороги кто-то, пока невидимый, звал на помощь.

Они остановились.

— Луш, по-моему, кто-то стонет. Слушай!

Они оба примолкли. Теперь им показалось, что справа, в кустах, кто-то, тихонько всхлипывая, плачет.

— Может, это так шелестят деревья, а, Луш? — неуверенно сказал Ивушкин.

— Нет, не похоже, — откликнулась Луша. — Ивушкин, — сказала она решительно, — там в лесу за кустами кто-то плачет, и этот кто-то зовет на помощь. Нет, вовсе это не деревья шумят! С кем-то стряслась беда!

То ли им почудилось, то ли было на самом деле: кусты сами раздвигались, расступались, давая им пройти.

Луша шла первой, глядя под ноги, предупреждая Ивушкина, когда попадалась ямка или рытвинка, чтобы он не упал и не ушибся. Голос того, кто плакал, становился ближе — значит, они двигались в правильном направлении.

Кусты кончились, начался ельник. Ели были огромные, и лапы их с темной длинной хвоей доходили до самой земли.

Возле большой ели кто-то лежал. Это была лосиха. Она лежала и не двигалась. Заметив Лушу и Ивушкина, подняла голову. Они увидели, как из ее глаз медленно, одна за другой, катятся слезы.

— Что с тобой? Почему ты лежишь и плачешь? — спросил Ивушкин.

А Луша подошла и подышала на нее — тепло, ласково, успокаивающе.

— У меня горе. Очень большое горе, — начала говорить лосиха и вдруг замолчала, прислушиваясь. — Что это такое странное?

Они тоже прислушались, но ничего странного не услышали.

— Тик-так, тик-так? — с недоумением произнесла лосиха.

Ах, вот оно что! Они-то уже попривыкли и не обращали внимания на тиканье, которое сопровождало их в стране «Нигде и никогда».

— Ничего, — сказала Луша. — Не пугайся. Это время тикает. Это наше время, к тебе оно не относится.

— Время? — переспросила лосиха. — Тикает? Как это страшно!

— Да нет, ничего страшного, успокойся, — сказала Луша. — Так расскажи, в чем твое горе. Может, мы сможем помочь.

И вот что оказалось.

Лосиху звали Светлина. Она жила со своим лосенком в домике на еловой опушке. Он никуда от нее не отходил и любил слушать сказки. Да, между прочим, звали лосенка Люстик.

Луша с ее обстоятельностью хотела было спросить, сколько ему лет, большой он или маленький, но не спросила. Каких же лет, если тут нет времени? Должно быть, лосенок так и оста-

вался лосенком всегда и никогда не делался большим лосем... Она в этих рассуждениях запуталась и не сказала вслух вообще ничего.

Лосиха тем временем продолжала рассказывать, как ни с того ни с сего пришло в голову Люсику, что он не маленький, а взрослый и сильный лось. И стал он убегать от своей мамы Светлины.

А последний раз и вовсе не вернулся. Не дождавшись своего лосенка в домике на еловой опушке, встревоженная Светлина отправилась на поиски. У нее уже и сомнений не осталось, что придется набраться сил и отваги и двигаться в страшные места, где обитает птица Гагана, потому что иначе куда бы мог потеряться маленький Люсик? Кроме злобной птицы, его никто не мог обидеть. И вот двинулась она к бездонному оврагу. Но не дошла. Попала передней ногой в расщелившееся дерево, упала и сломала ногу. Дерево говорит, что предупреждало ее, что в стволе у него расщелина, но Светлина шла, глубоко погрузившись в свою тревогу, и предупреждения не услышала.

И бедная лосиха опять заплакала тихими, горькими слезами.

— Ты постой, не реви,— грубовато сказала Луша, а Ивушкин тут же ей напомнил:

— Луш, не вздумай ругаться. Не прибавляй Ноте работы!

Луша ругаться не стала.

— Действовать надо, а не плакать,— только и сказала она.

— Я не могу подняться! — в отчаянии воскликнула Светлина.— У меня сломана нога.— И она опять, хоть и побаивалась Лушу, заплакала.

— Ивушкин, помнишь, когда Буян ногу сломал, что тогда делали?

Ивушкин отлично помнил. Бык Буян, своенравный и взбалмошный, как-то, отбившись от стада, зачем-то помчался к забору, которым был огорожен домик правления, и попал передней ногой между штакетинами. Ой, что было! Буян рухнулся на землю и ревел, как пароход! Никто не решался к нему подойти, пока шофер Кирюша не сгонял на «газике» за ветеринаром Иваном Карловичем, и тот не побоялся подойти к Буяну и сделал ему какой-то укол. А что же было потом-то? Ах, да! Потом взяли дощечки — и называли их «лубки» — и приложили к ноге и прибинтовали.

— Так и мы сделаем,— скомандовала Луша.

Но легко было командовать. Во-первых, неизвестно, как и из чего делать лубки, досок никаких рядом не было, а деревья тут были говорящие, и совсем как люди. Как же ты от них будешь ветки отламывать? А потом бинтовать-то чем?

Но все оказалось достижимым. Дерево с расщелиной само сбросило несколько крепких веток. Правда, с бинтами дело обстояло хуже. Пришлось Ивушкину снять рубашку, скинуть

маечку и с великим трудом изорвать ее на бинты. Майка была новенькая, трикотаж хорошего качества, он никак не хотел рваться. Вот если б ножницы! Но ножниц, естественно, неоткуда было взять.

Луша помогала, придерживала палочки, Ивушкин бинтовал. Повязка получилась ничего себе, вполне грамотная, Иван Карлович наверняка бы Ивушкина похвалил.

Светлина со стоном поднялась. Ступать ей было больно.

— Ивушкин, ничего не поделаешь,— сказала Луша.

Ивушкин понял ее и без слов. «Ничего не поделаешь» обозначало, что, несмотря на черную птицу Гагану, и страшный бездонный овраг, и прочие опасности, придется идти самим разыскивать этого маленького самонадеянного лосенка по имени Люсик, потому что убитая горем мать едва может ковылять, и хорошо, если доковыляет до своего дома на еловой опушке.

— Луш, ничего не поделаешь,— подтвердил Ивушкин.— Слушай, Светлина, а дом твой далеко?

— Нет. Здесь, за большими елями, на опушке.

— Сама дойдешь?

— А как же Люсик?

— Да пойдем мы с Ивушкиным искать твоего Люсика. Куда ж денешься!

— Спасибо, спасибо вам, нездешние, т́икающие гости,— сказала Светлина и чуть было снова не заплакала.— Только разве вы не боитесь?

Луша увидела слезы в ее глазах и постаралась ответить помягче.

— Ну, а если и боимся, так что? Я же сказала, мы пойдем и найдем его.

— Нет...— вздохнула Светлина.— Если боитесь, то не найдете.

— Как же это так? — спросил Ивушкин.

— Потому что мост через овраг виден только тому, кто бесстрашен. Тому, кто боится, мост не показывается, и тогда овраг перейти нельзя. Он — бездонный. А за оврагом ведь еще через темное поле надо пройти. Над ним нет ни луны, ни солнца. Там кромешная тьма.

— Ладно,— сказал Ивушкин.— Мы не испугаемся. И значит, мост мы увидим. А с темным полем как быть? Фонарей там, уж наверное, нету?

— Я не знаю, что такое фонари.

— Ну, ночью лампы такие большие зажигают на улицах.

— Я не знаю, что такое ночь.

— Ну, когда солнце уходит и светят луна и звезды.

— Так не бывает,— сказала Светлина.

— Долго объяснять. Лучше скажи, как нам в темноте дорогу искать? — спросила Луша все еще раздраженно.

— Если ты будешь на меня сердиться, то дорогу через поле вам не найти.

— Да почему же?

— Поле надо переходить со светлым чувством. Тогда и дорогу будет видно. А если нет, тогда недобрые болотные огоньки, слуги Гаганы, завлекут вас в трясины.

— Ладно. Я уже не сержусь, — сказала Луша. — Только не плачь ты так жалобно. Найдется Люсик.

— Обязательно найдется, — сказал Ивушкин, надевая свою ковбеечку на голое тело. — Иди домой. И жди. А мы пошли.

И вдруг Ивушкин осекся. А куда — пошли? Где этот овраг?

— Дорогу-то нам кто укажет? Куст жимолости? — спросил он.

— Ой, нет, — забеспокоилась Светлина. — Куст жимолости растет в другой стороне!

Луша и Ивушкин переглянулись. Значит, им придется пока оставить свои поиски и отложить встречу с сестрой Летницей! Ну, ничего не поделаешь: чужая беда — она ведь тоже беда. И значит, надо в этой беде помогать и о своей пока что не думать.

— Вы идите здесь через словый подлесок. От большого красного мухомора сверните влево, а там отсчитайте три моховых кочки. И если не раздумаете, то как раз и окажетесь возле оврага. А если не решитесь, тогда вы к нему не выйдете.

— Как тут все чудно устроено, да, Луш? — заметил Ивушкин.

— Чудней уж и некуда, Ивушкин, — отозвалась Луша. — Но все равно надо идти.

И они двинулись по тому пути, который указала Светлина. Решимость их по дороге, конечно, несколько не ослабла, и вскоре они оказались на краю глубоченного оврага. Был ли он на самом деле бездонным? Да похоже на то, кто его там знает. Склон его уходил вниз, вниз, вниз, и глядеть туда было жутко, и перед глазами все начинало как-то противненько «плыть» и кружиться.

По склону росли кусты. Ветки их были усеяны мелкими колючками и мелкими желтенькими цветочками, которые издавали неприятный запах.

Они стали внимательно приглядываться. Никакого моста решительно нигде не было видно. С противоположной стороны скатился небольшой камешек и полетел, точно в пропасть. Смотреть на это было жутко.

Что ж это такое? Неужели они так и не наберутся храбрости? Не увидят таинственный мост, о котором говорила Светлина? Не найдут попавшего в беду лосенка Люсика?

Нет, нет. Все это им в конце концов удалось. Но не сразу. Совсем даже не сразу. Потому что дальше было так.

РАЗВИГОР

— Ивушкин, ты не трусишь? — спросила Луша.

— Когда это я трусил? — обиделся он.

И напрасно обиделся. Потому что в этот раз ему было страшно.

— Похоже, и правда у этого оврага дна нет, — заметила Луша.

— Похоже, — согласился Ивушкин.

— Что же это за мост такой, я пока никакого моста не вижу. А ты?

— И я не вижу. Я думаю, Луш, может, его и вовсе нет, может, это так только говорится.

— А на самом деле?

— А на самом деле перепрыгивать придется. Да широко-то как! Ты видела, как камешек полетел? Видала?

Ивушкин заглянул в овраг и поежился.

— Как же нам его перепрыгнуть?

— Ты и не пытайся, Ивушкин. Ты на меня садись. Я вот только немножечко постою, вспомню, как я рядышком с мамой на сладком лугу жеребеночком паслась, а потом разбегусь да вместе с тобой и прыгну. Я перепрыгну, ты не бойся. Сейчас. Сейчас.

— Ах, нет, нет, милые мои, зачем же так рисковать? — сказал кто-то над ними голосом приятным, мелодичным, и прямо откуда-то с высоты, с неба, что ли, к ним спустился... некто.

Кто именно, трудно было определить. Он походил на человека, но был расплывчат, воздушен, прозрачен, то опускался на траву, то покачивался в воздухе.

— Мы не знакомы, но это неважно. Мы познакомимся. Нет, мы обязательно подружимся. Я — Развигор. Я — прохладный ветерок. А Развигор — это мое имя. Вы недавно прибыли? Я обожаю новых людей, новых зверей, новых друзей, новые впечатления. Вы мне очень нравитесь. Просто невероятно как. К тому же вы так странно, так обаятельно, так необычно тикаете. Вы оттуда, где есть время?

«Развигор? — мелькнуло у Ивушкина в голове. — Я вроде бы такого имени не слышал, а?»

«Кто-то что-то про него говорил, — подумала Луша. — Или нет? Что-то не помню».

Развигор был легок, он так приятно улыбался, так приветливо помахивал руками.

«Кого только тут не встретишь», — подумал Ивушкин.

«А он такой приятный», — подумала Луша.

Развигор продолжал:

— Вам надо перебраться через овраг? Я вам помогу!

— Вот спасибо! — сказала Луша.

— Я вам обязательно помогу. Однако не сразу. У меня самое что ни на есть гостевое настроение. И я вас приглашаю к себе в гости.

— Луш, мы не пойдем, — ответил Ивушкин, обращаясь почему-то к Луше, а не к приглашавшему их Развигору.

Что-то Ивушкину с самого начала не нравилось в нем. А Луше, напротив, он казался очень милым и приятным.

— Правда, мы спешим, — сказала Луша нехотя.

— Далеко?

— Нам надо найти пропавшего лосенка. Может, ты знаешь, как его быстрее найти? Раз ты — ветер, должен везде летать, — сказал Ивушкин.

— Ну, конечно. Я все знаю. Все расскажу. Во всем помогу. Только сначала ко мне. Перекусить. Отдохнуть. В скромный мой домик.

«Скромный домик» оказался большим домом, сплетенным из ивовых ветвей. Ивовые кусты были посажены большим квадратом, ивы были живые, ветки покрыты душистыми зелеными листьями. Ветки переплетались, образовали стены с дверными и оконными проемами, в которых поблескивали голубые прозрачные стекла. Дом был веселый, красивый, в него хотелось войти.

Как только Развигор и оба его гостя приблизились, листья на стенах приветливо зашелестели: «Входите, входите, добро пожаловать». Двери сами собой распахнулись, и Развигор не то вошел, не то влетел в них, указывая дорогу.

Как только Развигор скрылся в доме, Ивушкин сказал:

— Луша, ну зачем мы сюда идем?

Он замешкался у порога. Его не пускало внутрь какое-то неприятное чувство. Но Луше так понравился шелестящий домик и его любезный хозяин, что она и слушать ничего не стала. И куда только подевалась ее постоянная рассудительность?

— Ивушкин, но ведь Развигор обещал нам помочь.

— Мне что-то не верится...

— Когда еще в жизни удастся побывать в гостях у ветра? В городе, что ли, ты его встретишь?

Луша не вполне убедила Ивушкина, но продолжать топтаться у порога было неудобно, и они вошли. Луша — осторожно ступая, Ивушкин — нехотя переставляя ноги. И оказались в мило обставленной комнате.

— Располагайтесь, располагайтесь, — просил их Развигор.

В комнате был постелен пушистый зеленый ковер, стояли

мягко пружинящие, застланные ворсистым зеленым бархатом — а может, это был мох? — диваны.

Луша смутилась. Она не привыкла к такой обстановке. В ее дворе, в стойле, было значительно проще.

— Не смущайтесь, будьте как дома.

Развигор вылетел из комнаты, влетел обратно, поставил перед Ивушкиным два бокала и блюдо с ягодами.

— Угощайтесь. Роса, березовый сок. Земляника. Ведь там, откуда вы прибыли, принято есть.

Опять вылетел. Мгновенно вернулся. Поставил перед Лушей огромное блюдо с овсом.

— Овес дикорастущий, уж извините. Но отборный, отборный, уж поверьте, очень высокого качества, вполне достойный вас. Кушайте и рассказывайте. Мне так интересно. Так интересно все про вас узнать.

Ивушкин из вежливости ел ягоды. Есть, в общем-то, не хотелось. Как они потом вспоминали, в «Нигде и никогда» они ни разу не только не испытали голода, но даже аппетита не почувствовали. Луша аккуратно прихватывала с блюда овес, неспешно его пережевывала и рассказывала Развигору все их беды и приключения. Развигор слушал. Вроде бы внимательно. Но иногда перебивал Лушу своими замечаниями, которые, казалось бы, никакого отношения к ее рассказу не имели. Они касались только самого Развигора, он не упускал случая, чтобы что-нибудь не сообщить о самом себе.

Луша рассказала ему о том, какие беды ей сулит переезд Ивушкина в город.

— А вот я, — сказал Развигор, — я так люблю переезды. Я тогда от одного только любопытства к новому становлюсь еще легче, еще прохладнее.

И он засмеялся и украдкой поглядел на себя в зеркало.

Белый, легкий, то вдруг — розовый, расплывчатый, улыбчивый, прохладный, красивый. Он самому себе очень нравился. И ему очень нравилось нравиться.

Он всячески старался, чтобы хорошее впечатление о нем усилилось и укрепилось.

Луша все рассказывала. А Развигор кивал и время от времени вставлял замечания, каждое начиналось со слов: «А я».

Когда Луша кончила свой рассказ, он задумался, потом сказал:

— Я, пожалуй, знаю, где вам искать лосенка. Это наверняка дела птицы Гаганы. Она не очень-то добра.

Развигор вздохнул.

— За темным полем есть неодолимый дуб. А под тем дубом растет трава улови-ветер. Это ее Гагана там посеяла. Добыла где-то за горами, за долами, принесла в клюве — и посеяла. Мы-то с этой травой враги. Она никакому ветерку подуть не

дает — ловит. И всякого, кто ни подойдет, ловит. И держит цепко — не вырвешься. Несимпатичная трава, ничего не скажешь. Ах уж эта Гагана! Клюв у нее, вы слышали, медный, а когти — железные.

— Что это, вертолет, что ли? — буркнул Ивушкин.

— Я вашей шутки не понял, — ласково отозвался Развигор.

— Ивушкин, тут тебе МАЗов и КамАЗов нет, не забывайся, — оборвала его Луша: она боялась, что Ивушкин обидит обходительного хозяина.

— А как мы через овраг перейдем? — сурово спросил Ивушкин. — Мы никакого моста не увидели. Хотя и не трусили.

— Ах, да не беспокойтесь. Все уладится, — уверил их Развигор. — Я непременно вас переправлю.

— Вот видишь, Ивушкин, — сказала Луша с упреком в голосе. Мол, обрати внимание на то, как он заботлив и мил.

— Ну, тогда пошли скорее к оврагу, — попросил Ивушкин.

— Что вы, что вы, и слышать не хочу! — закричал Развигор. — Вы у меня еще так мало погостили! Погостите еще, прошу вас! Сейчас я вам покажу свой сад.

Высокая дверь сама открылась и выпустила их в сад.

Батюшки мои! Каких тут только не было деревьев! И самые обычные, известные Ивушкину, и те, которые он знал из книг, а были и такие, каких ни в книжках, ни в кино, ни по телевизору Ивушкин ни разу не видал.

— Нравится? — спросил Развигор.

Луша усиленно закивала.

— Это моя скромная коллекция деревьев. Я коллекционирую деревья, понимаете?

— Откуда вы их берете? — спросила Луша.

— Ах, да по-разному, по-разному, — отвечал небрежно Развигор. — За некоторыми далеко пришлось летать самому. А некоторые дарят, дарят друзья, ветерки, ветерочки, добывают в дальних странах и дарят, — он неопределенно покрутил рукой в воздухе, отчего обоим обдало прохладным, пахнущим молодыми листьями ветерком.

— Не хотите ли отдохнуть? Вот тут — шелковый гамак, — предложил он Ивушкину, — а тут, пожалуйста, свежее, душистое сено.

— Ивушкин, а? — взглянула на Ивушкина Луша.

— Нет, Луш, — сказал Ивушкин жестко. — Нам надо найти лосенка. Мы же обещали! Нам необходимо идти.

— Что ж, — без особой радости согласилась Луша.

Ей казалось, что все-таки Развигор поможет им перебраться через овраг, и поможет найти лосенка, и вообще, что он друг, и даже очень надежный.

Но она ошибалась. Она очень даже ошибалась. И надо было хорошенько слушать, когда умный Вихроний с самого начала предупреждал: «Только не верьте Развигору», и не надо было торопиться, а лучше прислушаться повнимательнее, когда добрый усталый Нотя крикнул им вслед: «Только не верьте Развигору!»

Тогда бы они сразу его поняли. Он был незлой, симпатичный, но такой неверный, такой ненадежный! Но они не прислушались. За это им пришлось пережить печальное разочарование. Потому что дальше было так.

Глава седьмая

БЕЗДОННЫЙ ОВРАГ И ПОЮЩИЙ ЛЕС

Развигор только дунул, толькодохнул легким, прохладным, душистым дыханием, и — пожалуйста — они снова оказались возле бездонного оврага.

Ивушкин глядел на тот берег с тоской. Что ни говори, а страшно...

Луша подняла глаза на Развигора. Развигор улыбался.

«Вот сейчас, сейчас он нас перенесет через овраг!» — думала Луша с замирающим сердцем.

— Прощайте, — сказал он вдруг. — Вряд ли мы с вами когда-нибудь увидимся.

Луша мотнула головой:

— То есть как это — «прощайте»?

— Ты же обещал нам помочь перебраться через овраг! — вознегодовал Ивушкин, забыв в сердцах, на «вы» или на «ты» надо говорить с прохладным ветром.

— В самом деле? — рассеянно спросил Развигор.

— Вы что же, нас прямо тут и бросите одних? — удивилась Луша.

— Ну, почему же брошу. Я просто удалюсь. По своим делам.

— А как же мы? Как же я? Ты же сказал... Вы же сказали... Ты обещал помочь. Это... это что... неправда? Ты нас обманывал?

— Ну, почему же. Когда я говорил, я так чувствовал. Так думал. Там.

— А здесь?

— Здесь — нет.

— Как же так может быть?

— Переменился. Выдохся. Охладел. Я же — прохладный ветер.

И действительно, тут же повеяло прохладой, Ивушкину

показалось, что он мерзнет. Лушина грива разлетелась по ветру. Возникло такое чувство, будто разом настала осень. Но нет. Никаких времен года не случается в стране «Нигде и никогда». Это просто Развигор взвился в небо и исчез. Истаял.

Луша стояла понуро, молчала. Ивушкин тоже как-то не сразу пришел в себя. Но он был не так потрясен предательством Развигора, потому что тот ему чем-то сразу не понравился.

— Ивушкин,— сказала Луша грустным голосом,— Ивушкин, возьми-ка ты в руки хороший прут!

— Это еще зачем?

— Отстегай свою глупую старую лошадь!

— Да ладно, Луш!

— Отхлещи ее, чтобы не повадно было доверяться тому, кому верить нельзя. Боюсь, никогда мы через этот овраг не перейдем. Никогда. Я сделалась какая-то слабая. Мне страшно.

Они долго молчали, и казалось, этому молчанию не будет конца. Как же им быть? Развигор обещал им помочь, так их уверил в своей дружбе... А теперь что? Вот снова стоят они над крутым склоном, совершенно беспомощные. И никакого моста и в помине нет, а там где-то пропадает маленький лосенок Люсик, и плачет, и волнуется, и ждет бедная его мать с переломанной ногой.

— Луш, хватит так стоять, надо что-то делать! — востропел наконец Ивушкин.

— И то, хватит,— сказала Луша уже другим, бодрым голосом.— Помогать нам некому. Мы с тобой бояться не будем.

Ивушкину при этих словах показалось, что в душе его страх перед оврагом отступает, а его место занимает злость на Развигора и желание не зависеть от такого неверного ненадежного существа. И по мере того как исчезал страх, проступали очертания моста, точно он сам собой наводился через овраг. Вот — одна легкая дощечка. А вот рядом — вторая. Вот увиделась и третья. Выросли тонкие перильца. Светлина сказала правду. Мостик стал ясно виден, как только ими овладела решимость и отвага.

— Видишь, Ивушкин, видишь! — обрадовалась Луша.— Никогда не надо падать духом! А ну-ка, быстренько садись на меня верхом и зажмурься. У тебя от высоты может закружиться голова.

— А ты как же? — спросил Ивушкин.

Но Лушины копыта уже твердо и уверенно стучали по дощечкам. Они благополучно перебрались на другую сторону бездонного оврага. Деревья на этой стороне росли часто-часто. И был густым кустарник и подлесок. Солнечные лучи проникали сюда с трудом и казались тоненькими, редкими, косо натяну-

тыми между небом и землей золотыми нитками. Лунные и звездные лучи не проникали совсем.

Шелест этого леса был особенный, сначала раздавался просто шорох, и все, а потом из него, как деревья из тумана, начинали выступать слова, после они снова погружались в шорох и становились непонятными.

— Луш, слушай.

Луша прислушалась.

— Ивушкин, по-моему, деревья поют.

— Но только не всегда понятно. Иногда просто шелестят, и все.

Они оба затаили дыхание и прислушались.

— Слышишь, Ивушкин, слышишь, вот опять — шелест превращается в слова!

И действительно, Ивушкин различил слова странной песенки:

Под алою аркой зари
Ты стой и тихонько смотри,
Как входит в ворота
Таинственный кто-то,
Ты стой и тихонько смотри.

Приносит он солнечный блеск,
И шорох, и шелест, и плеск,
И грустные звуки,
И песни от скуки,
И шорох, и шепот, и плеск.

Потом звуки песенки стали затихать, слова забормотались и перешли в шелест листьев, а потом стали опять понемногу превращаться в слова, еще чуднее прежних:

А в правом кармане его
Решительно нет ничего,
Ни шепота ели,
Ни песни, ни трели,
Решительно нет ничего.

Там в правом кармане дыра,
Большая, как лисья нора.
И в ней, точно в бездне,
Все тут же исчезнет —
Такая уж эта дыра!

Потом опять листья зашелестели неразборчиво, и снова зазвучали слова:

Когда ты отправишься в путь,
Ты песенку эту забудь.
В дороге она
Совсем не нужна,
Ты песенку эту забудь!

И потом снова песня перешла в шелест, и Луша с Ивушкиным почувствовали, что они не запомнили из этой песенки ни единого слова.

— Луша,— сказал Ивушкин, когда песенка уже больше не возобновилась,— через овраг-то мы с тобой перебрались, но ведь нам еще темное поле надо перейти. А где оно?

Да, вот вопрос! Поля никакого не было, вокруг были одни только поющие деревья. Рядом рос малюсенький невзрачный кустик. Он не пел. Стоял молча. Поэтому Луша решилась обратиться к нему.

— Послушай, дружок,— сказала она.— Ты не смог бы нам объяснить, как нам пройти к темному полю?

Кустик заметно испугался.

— Ой, а зачем вам? Говорят, там темно и страшно. Правда, я сам не видел.

— Нам нужно перейти через поле,— сказал Ивушкин.

— Ой! — опять ойкнул маленький куст.— А вы не боитесь?

— Нет,— отрезала Луша.— Так знаешь ты или не знаешь, как туда пройти?

— Надо идти по тополям.

— Лошади не умеют ходить по деревьям,— сказала Луша, и к ее голосу примешалась капелька отчаяния.

— Да нет,— успокоил кустик.— Я не это хотел сказать. Просто от тополя к тополию. Они выходят к темному полю. От них я про него и слышал.

— Ах, вот что.

Луша немного успокоилась, вдохнула воздух своими мягкими влажными ноздрями, повела головой.

— Вон там, Ивушкин. Вон оттуда пахнет горьковато-сладковатым тополиным духом. Ты устал? Пойдешь или поедешь?

— Не устал я, Луш. Я пойду рядышком.

И они двинулись на тополиный запах.

Один большой тополь действительно рос неподалеку, он тут же им указал, куда идти дальше, а там второй тополь направил их к третьему, третий к четвертому, и так тополя передавали их «из рук в руки», пока не кончился поющий лес и они не очутились на опушке. Последний тополь махнул веткой, указывая направление. Они в этом направлении и собрались идти, но только успели шагнуть, как вдруг точно кто-то мгновенно выключил солнце, и луну, и звезды, и сделалась кромешная слепая темнота. Вроде бы даже стало холодней.

— Луша, ты где, Луша? — забеспокоился Ивушкин.

— Здесь я, подойди ко мне, Ивушкин.

Ивушкин подошел, нащупал рукой теплый Лушин бок, ухватился пальцами за гриву.

Вдали пробежало несколько огоньков. Один, другой, третий. Но они ничего не осветили, и от них стало как-то тоскливо. Ивушкин вспомнил, что говорила Светлина. Это, видно, и были блуждающие огни. Но почему — они? Разве Луша и Ивушкин, отложив свои дела, отправились на поиски Люсика не со светлым чувством?

— Луш, разве это плохо, что мы пошли лосенка искать?

— По-моему, нет, — ответила Луша задумчиво.

— Почему же тогда мелькают эти тоскливые огоньки?

Луша не успела ответить, потому что по полю пробежал слабо мерцающий луч.

«Как прожектор в кино про пограничников», — подумал Ивушкин.

Луч дрогнул, остановился, приблизился к земле и улегся спокойно, высветив дорогу, которая перерезала поле прямо поперек.

— Ивушкин, — сказала Луша. — Никогда не надо падать духом раньше времени. Вот и дорога. Ну, садись верхом, и поехали.

Ивушкин забрался Луше на спину, и они двинулись вперед — по голубоватому лучу.

Это был хороший, добрый луч, он в конце концов привел их туда, куда надо. И все в конце концов получилось неплохо. Потому что дальше было так.

Глава восьмая

ЛЮСИК

Казалось, темному полю не будет конца. Они все шли и шли, вернее, шла Луша, а Ивушкин сидел у нее на спине и вглядывался, вглядывался. Никогда в жизни не встречал он такой темнотищи. Даже когда однажды в Худяках в клубе погас свет на фильме «Карлсон, который живет на крыше», так в зале какое-то все-таки было мерцание света от человеческих рук и лиц. А потом кто-то зажег спичку. А тут — ну ничего, ничегошеньки не видно вокруг, точно совершенно ослеп. Ивушкин так бы и решил, да глаза его все-таки различали луч, лежащий вдоль всей длины дороги.

И вдруг луч света погас. Луша остановилась, точно у нее на каждой ноге было по хорошему тормозу и кто-то на них сразу сильно нажал. И тут же впереди они увидели дубовую рощу. В небе опять, как и прежде, светили солнце, луна и звезды.

— Луша!!!

— Ивушкин!!!

Они закричали оба разом, потому что оба одновременно увидели за невысокой дубовой порослью огромный дубище. Комель у него был такой широченный, что если бы Ивушкин и его друг Валька взялись бы за руки, а один из них взял бы Лушу за уздечку, а другой за хвост, все равно им бы этот дуб не обхватить, а если бы на помощь пришли бы еще и папа с мамой, так и то — сомнительно.

Крона дуба раскинулась над всем лесом, точно дуб разметал руки в желании всех защитить и загородить от ему одному известной опасности.

— Луш, это он,— сказал Ивушкин.

Этот дуб внушал ему трепет.

— Он,— сказала Луша.— Неодолимый дуб.

— Где же нам Люсика искать, как ты думаешь?

— Подойдем да у дуба и спросим,— предложила Луша.

Ах да! Ивушкин иногда забывал, что в этой стране все живое — даже кустик, даже самая малая былинка — все умеют говорить.

Они подошли к высоченному дубу и посмотрели вверх. Но спросить ни о чем не успели. Что-то захлестнуло им ноги, опутало, и они разом упали. Оба тут же попытались вскочить, но снова упали и в чем-то так запутались, что не могли и пошевелиться.

— Луша, Луша, что меня держит? — в испуге крикнул Ивушкин.— Я не могу шелохнуться, Луш!

— Ивушкин, и я не могу, и меня что-то держит. Тебе не больно?

— Нет. Только коленку ссадил немного. Что это, что в нас вцепилось, ой, Луша!

Луша дернулась, но опять не смогла выпутаться и встать и не знала, что ответить Ивушкину. Что-то прочно держит. А что? Было очень неудобно и, прямо сказать, жутковато.

Вдруг кто-то не очень громко произнес:

— Встать и не пытайтесь!

— Кто это говорит, Луш?

Но ответила Ивушкину не Луша.

— Трава улови-ветер. Я вассс поймала, я вассс не отпущу.

Трава? Так это трава их так опутала? Луша немного успокоилась. Ну, с травой-то уж они как-нибудь справятся!

— Отпусти сейчас же! — сказала Луша.— Ты ветер лови, а мы никакой не ветер, как ты легко могла и сама заметить.

— Ветер,— сказала трава.— От всякого идущего, летящего, бегущего делается ветер. И я его ловлю.

Луша пыталась освободиться, перекусывая стебли травы. Но не тут-то было! Потому что сразу же вырастали новые, и опутывали, и держали цепко.

— Что же ты собираешься с нами делать? — осторожно спросила Луша.

— Ничего, — засмеялась трава. — Держать. Чтоб от вас не было ветра.

— А дальше что?

— Дальше прилетит хозяйка. Она и решит.

— А кто такая?

— Черная птица Гагана.

— Гагана!

И они, значит, будут лежать здесь спутанные, пока не прилетит эта злая птица! И они не успеют разыскать Люсика, и вообще, что ж это будет! Что же будет?

Отчаяние охватило обоих.

Вдруг послышался чей-то низкий, глухой голос. Это говорил неодолимый дуб, обращаясь к траве:

— Не мешало бы тебе быть поосторожнее.

Ивушкин и Луша прислушались.

— С какой ссстати? — прошипела трава.

— А с такой, что если ты их будешь долго держать, ты превратишься в сено.

— Что такое сссено?

— Это мертвая трава.

— Замолчи, сссосед. Я ссслышала про это. Но ведь в нашей ссстране всссе всссегда живы.

— Именно. Но разве ты не слышишь? Тик-так. Это идет время. Оно-то тебя и высушит, если ты их не распу-таешь и не отпустишь. Это пришельцы. И они принесли с собой тик-так — тень времени. Ты рискуешь превратиться в сено.

— Ты шутишь? — спросила трава, все еще не веря.

— Нисколько, — решительно сказал дуб.

Тогда травяные путы начали ослабевать, ослабевать, крепкие стебли травы улови-ветер разошлись в стороны, и Ивушкин с Лушей смогли подняться.

— Косилки на тебя нет, — проворчала Луша сердито.

Она чувствовала себя униженной. Подумать только — какая-то трава сумела повалить ее на землю и заставила лежать спутанной, а при этом трудно было сохранять достоинство. Она хотела отпустить по адресу травы еще что-то ироническое и уничтожающее, но вдруг до них долетел слабый голосок, который звал: «Ма-ма!»

— Ивушкин, слышишь? Это, наверно, зовет лосенок!

Жалобный голосок опять позвал: «Ма-ма!»

— Ивушкин, он там, голос слышится со стороны молодого дубнячка. Скорее!

Ивушкин сел верхом, и они поскакали в том направлении, откуда доносился голос.

За дубовым молодняком оказалась небольшая поляна. Вся она была покрыта белыми цветами, похожими на ветреницу, которая в Высокове цветет, едва стает снег. А на этой поляне, опутанный сетью, сплетенной из крепкой болотной травы, лежал лосенок.

— Люсик! — крикнул Ивушкин, спрыгивая с Лушиной спины и подбегая к нему.

Лосенок плакал.

Луша стала зубами раздирать крепчайшую сеть, Ивушкин ей, как мог, помогал, пытаясь распутывать узлы.

До чего крепка была эта сеть! Видно, Гагана ее сама сплела. Чего только не сплетишь, имея железные когти, медный клюв и жестокое сердце!

Сеть с трудом начала поддаваться. Они так были заняты делом, что не заметили, как над ними нависла черная зловещая тень.

Это была черная птица Гагана!

Как смеете вы, кто бы вы ни были, прикасаться к моему добру! — закричала она страшным резким и хриплым голосом. — Берегитесь!

Со всех сторон ей отозвалось пугающее эхо. Возле Ивушкина сверкнули острые железные когти на вытянутых огромных лапах, зловещим пламенем полыхнул медный клюв.

Она с налету впилась бы, наверное, Ивушкину в спину, но верная Луша успела ее оттолкнуть, и птица только дернула Лушу за гриву, отлетела, сделала над ними круг и снова устремилась к Ивушкину, Луша опять ее опередила, загородила мальчика от птицы и уже ждала, что острые когти вот сейчас разорвут ей бок. Она замерла, готовая проститься с жизнью, но только защитить Ивушкина. Но сзади кто-то — ей не было видно кто — закричал:

— Дуй, я тебе приказываю! Дуй изо всех сил, скорее!

И действительно, налетел порыв сильнейшего ветра. Луша едва удержалась на ногах. Она оглянулась. На поляне стоял добрый хороший Вихроний, а рядом с ним — Развигор, весь напрягшись, дул изо всех сил, и было видно, как ему, прохладному ветерку, трудно и несвойственно делаться ураганным ветром.

Птица Гагана взмыла в небо и, прежде чем скрыться из виду, крикнула:

— Я еще с тобою посчитаюсь, Развигор!

И когда все немного успокоились, выяснилось, как было дело.

Развигор похвастался Вихронию, какое у него было смешное приключение с тикающим мальчиком и с лошадьёю и как они собрались к Гагане на поиски пропавшего лосенка.

И добрый Вихроний в первый и (скажем, потому что знаем)

в последний раз оставил волшебные ворота без присмотра и кинулся на помощь своим новым друзьям. Он-то знал, чем может кончиться встреча с Гаганой. Он и Развигора притащил с собой, потому что ему одному было не одолеть зловещую птицу.

Все вместе, торопясь, стали высвобождать из сети насмерть перепуганного лосенка. Он встал на ослабевшие ножки, еще не понимая, что он свободен, что ему больше не грозит эта страшная птица.

— Мама! — позвал он.

Но мама была далеко.

Что-то в этот момент маленькой иголочкой кольнуло Ивушкина. А как там его мама? Тревожится? Сердится? Как там все дома?

Развигор подлетел к Луше, но она смотрела куда-то вбок. Даже то, что он помог им прогнать страшную Гагану, Лушу с ним не примирило.

Луша верила в надежную дружбу, в обещания, которые не нарушаются, в слова, которые и значат то, что они значат, а не фу-фу, сейчас — так, а чуть погодя — этак.

— Вам больше нечего бояться. Я прогнал злую птицу, — сказал Развигор.

— Ивушкин, — сказала Луша, точно Развигор ничего не произнес. — Ивушкин, отряхнись, ты что-то очень запылелся.

Вихроний заулыбался. Луша обернулась к нему.

— Спасибо, Вихроний, — сказала она. — Эта птица убила бы нас, наверно, если б ты не подоспел.

— Мы с Развигором, — уточнил Вихроний.

— Ну, да, да. Конечно, — сказала Луша холодно.

— Мне надо спешить назад, — заторопился Вихроний.

— А нам-то как быть дальше? — спросил Ивушкин, который еще не очень-то пришел в себя после пережитого страха.

— Люсика я провожу, — сказал Вихроний. — И вам надо отсюда скорее уходить.

Гагана может прилететь обратно. Поторопитесь.

— Вихроний, но мы уж совсем теперь сбились и не знаем, куда нам идти, — жалобно пролепетал Ивушкин.

— Может быть, я провожу и помогу? — сказал Развигор, но в голосе у него не было уверенности. Ему уже хотелось взвиться в небо, полетать свободно, повеселиться. Он устал от серьезности. Подумать только — пришлось быть ураганом! После такого дела ему нужен был отдых и развлечения.

— Спасибо, не надо, — сказала Луша. — Только скажи, Вихроний, куда нам идти.

— Верней всего вас теперь поведет к сестре Летнице веселый мак.

— Веселый? Мак? — удивились Луша и Ивушкин.

— Да, — подтвердил Вихроний. — Вы сейчас ступайте к Макосейке. Попросите у него мак. Он даст. Он добрый.

— Видишь, Ивушкин, — успокоительно сказала Луша. — Мак приведет нас к сестре Летнице. И она нас научит, как сделать, чтобы меня тоже взяли в город. И нам не надо будет расставаться.

— Расставаться не надо. Расставаться — это очень грустно, — вступил вдруг в разговор маленький Люсик.

— Хорошо тебе говорить, — пробормотал Ивушкин. — Они переезжают, а Луша должна оставаться, да?

— Это неправильно, Ивушкин, — сказала Луша. — Неправильно.

— Что неправильно?

— Неправильно говорить — «они».

— Почему это?

— Потому что они — это все остальные. А папа и мама — это всегда папа и мама. Не надо говорить про них «они», это им обидно.

— А чего мы вообще с тобой здесь! — вдруг обозлился Ивушкин. — Давай я поеду в город, а ты оставайся в Высокове ничьей лошастью и погибай. Так, что ли?

— Нет, не так, Ивушкин. Но все равно. Никогда не говори «они». Это им обидно.

В глубине души Ивушкин и сам это понимал. Только он никак не мог примириться с тем, что папа и мама, не поговорив с ним, все без него решили про Лушу. И так неправильно, так печально решили!

— Не ссорьтесь, — ласково сказал Вихроний. — Лучше послушайте, что я вам скажу. Если вы пойдете опушкой дубовой рощи, то увидите там высокий пенёк. А от него — как ото всего здесь — две тени: одна от месяца, одна — от солнышка. Идите в том направлении, какое вам укажет тень от месяца. И дойдите вы до можжевельной гряды. Там тянется полосой драчливый можжевельный лес. Через него трудновато пройти, но вы постарайтесь. За этим лесом как раз и живет Макосейка. А теперь — в путь. Пошли, Люсик, дурашка!

Люсик весело побежал рядом с Вихронием, Развигор махнул им рукой, улыбнулся, беззаботно взлетел в небо и тут же исчез из виду. А Луша и Ивушкин, еще раз поблагодарив доброго ежа Вихрония, пошли туда, куда он им указал.

Уходя, Вихроний им крикнул:

— Да, не забывайте хвалить Макосейку!

Как и за что хвалить — он не объяснил. Но дальше выяснилось, что это был добрый совет.

Потому что дальше было так.

МАКОСЕЙКА

Луша и Ивушкин шли опушкой дубовой рощи и вскоре действительно увидели высокий пенё, который отбрасывал две тени: одну — солнечную, другую — лунную. Они пошли туда, куда падала бледная лунная тень. В дубовом мелколесье, по которому они шли, было тихо. Совсем молоденькие дубочки на опушке покачивали тоненькими веточками и только перебирали прозрачными листиками. По траве лунные зайчики убегали от солнечных, взбирались на нижние ветки, солнечные их настигали, солнечный свет перепутывался с лунным, и было это очень красиво. Откуда-то доносился нежный запах черемухи и медовый аромат цветущей липы. Все в этой стране цвело одновременно, цвело всегда!

Луша и Ивушкин шли в тишине, каждый думал о своем, каждый своим удивлением удивляясь тому, что с ними происходит.

Но тишину неожиданно нарушили звуки какой-то возни, даже, может быть, драки, какие-то выкрики, кто-то будто бы кричал:

— Чего ты толкаешься? Я тебя сейчас и сам как толкну!

— Я тебя трогал, да? Я тебя трогал? Кто сам первый полез?

И тут же дубнячок кончился, и они оказались перед сплошной полосой не очень высокого, но и не очень маленького, почти что в рост Ивушкина, можжевельника. Каждый можжевельниковый куст размахивал колючими своими веточками, бодался с соседом.

Тут и гадать было нечего — сразу делалось ясно, что можжевельник полон мальчишечьих драк.

Опасного в этих потасовках, конечно, ничего не было. Но, согласитесь, и приятного мало — идти сквозь такой лес, где тебе будет попадать от чужих дурацких драк колючими ветками по чему попало. Никакая дорожка, никакая тропинка через эти дерущиеся можжевельниковые заросли не вела.

— Ивушкин, у меня шкура потолще, — сказала Луша. — Давай-ка усаживайся верхом.

Надо было продираться сквозь можжевельниковые заросли. Вряд ли был какой другой выход. Если бы он существовал, Вихроний непременно бы сказал.

Ничего не поделаешь, Ивушкин взобрался на Лушину спину, и Луша мужественно двинулась вперед, грудью раздвигая ветки дерущихся можжевельниковых кустов.

Голые ноги Ивушкина тут же покрылись царапинами, и ему

пришлось влезть на спину к Луше с ногами и, балансируя и рискуя упасть и ободраться как следует, ехать сидя на корточках, точно он исполнял какой-то цирковой номер на манеже.

Можжевельный лес оказался нешироким, и вскоре они сквозь него продрались. Луша почти что и не поцарапалась.

На опушке можжевельника обнаружилась тропинка, которая вела вдоль леса, а потом круто сворачивала и брала вправо. И бежала эта дорожка через маковое поле необычайной красоты. Уж на что красивыми были луга в Высокове, а такого ни Ивушкин, ни Луша никогда не видывали!

По одну сторону дорожки цвел алый мак. На тонких стеблях покачивались красные чаши с иссиня-черным узором на дне. И было этих цветов неведомо сколько — видимо-невидимо. Они то плавно кланялись, то распрямлялись, чему-то улыбались, чему-то беспрестанно радуясь.

А по другую сторону цвел мак белый, и белые его чаши были с таким же узором по дну, и было их столько же, сколько и красных, и они так же приветливо кланялись и так же радостно улыбались.

— Ух ты! — выдохнули Луша и Ивушкин оба разом. — Красиво-то как!

Кроме маков, маков, бесконечных маков, ничего не было видно, и они двинулись по стежке — Ивушкин все еще верхом, правильно полагая, что раз уж тропинка протоптана, так кто-нибудь по ней да должен ходить.

Так оно и оказалось, потому что слышался тоненький голосок, который напевал песенку:

Частый дождик, дождик-моросейка,
В чистом поле ходит Макосейка.

И тут же они увидели маленького бурого мишку, который занимался, по видимости, очень странным делом. Он наклонялся к деревянной кадке, из которой зачерпывал воду решетом и потом быстро разбрызгивал ее над вспаханной жирной землей.

Увидев Лушу и верхом на ней Ивушкина, он выпрямился, улыбнулся и сказал вместо приветствия:

— Сею мак.

И опять улыбнулся.

— Мак? — подивилась Луша.

Ивушкин прыгнул на землю.

— Сею мак, — повторил медведь.

— Какой же мак, ты же воду разбрызгиваешь. Да еще решетом, — заметила Луша.

— Нет, ты так не говори. Я хорошо сею мак, — обиделся медведь.

— Ты Макосейка? — спросила она.

— Он самый, — сказал медведь.

— Хорошо сеешь, — сказала Луша, правда, очень неуверенно и только лишь потому, что вспомнила, как Вихроний велел Макосейку хвалить.

Медвежья мордочка так вся и просияла от похвалы.

— Конечно, — быстро согласился он с Лушей. — Хорошо. Потому что ведь я какой мак сею?

— Какой? — любопытствовал освоившийся немного Ивушкин.

— Веселый! Не обычный какой-нибудь. А веселый. Он улыбается. И даже смеется. Вот. А сеять его надо вместе с веселыми капельками воды.

— Молодец, — опять похвалила Луша.

Медведь покивал ей, быстро несколько раз нагнулся к кадке и старательно разбрызгал воду.

— Я такой, — сказал он со вздохом. — Такой, и ничего уж с этим не поделаешь.

— Какой? — переспросил Ивушкин.

— Я все могу делать. Я все очень даже хорошо могу делать. Но только меня надо хвалить. У меня все из лап валится, когда меня не хвалят. — И Макосейка опять вздохнул. — А когда меня хвалят, у меня душа веселеет, и тогда я сею веселый мак. И все мне хорошо удается.

— А скажи, Макосейка, — начала было Луша, но он ее перебил:

— Тебе хочется головочку веселого мака?

— Как ты угадал?

— Потому что, — сказал Макосейка.

— Почему? — любопытствовал Ивушкин.

— Потому что. И все.

И он опять стал сеять в землю веселые брызги из решета.

— Какой ты умный, что все понимаешь просто «потому что», — снова похвалила Луша.

И Макосейка опять весь заулыбался. И рот у него улыбался. И глазки. И маленькие аккуратные ушки. И густая бурая шерсть. Он открыл маленький деревянный сундучок, который стоял тут же, возле кадки, и вынул оттуда две маковые головки.

— Это тебе, — сказал он Луше. — А это — тебе, — и протянул обе головки Ивушкину.

— Да нам хватит и одной, — застеснялся Ивушкин.

— Берите, берите, — улыбался Макосейка. — Пригодится. Это же веселый мак!

— Спасибо. Ты добрый, — снова не позабыла похвалить его Луша.

Умница Луша! Хорошая, дельная лошадь!

— Послушай, а ты не скажешь нам, как найти сестру Летницу?

— Найдете, найдете,— сказал Макосейка.— Найдете в свой черед. Только разве есть у вас вода из загорного колодца?

— Нету никакой воды!

— Ну вот, видите. И у меня нету.

— Как же быть, ты, наверно, знаешь?

— Знаю,— сказал Макосейка.— Надо идти к колодцу и зачерпнуть воды. За белой горой. Вон, глядите.

Они стали глядеть туда, куда показывал Макосейка. Но там ничего, кроме неба, не было, а по нему плыли белоснежные, хорошо отстиранные Нотей облака.

— Там ничего нет,— сказала Луша.

— И мне ничего не видно,— подтвердил Ивушкин.

— Да как же не видно? — удивился Макосейка.— Ну, глядите еще.

Они снова пригляделись, и им показалось, что одно облако вроде бы не двигается.

Это и была белая гора.

— Когда ж это мы туда доскачем? — сказала Луша.— Это сколько же времени пройдет?

Но в том-то и дело, что в «Нигде и никогда» никакого времени вообще не было. И до белой горы они добрались по-нашему — в одно мгновение. И это было очень удачно.

Потому что дальше было так.

Глава десятая

ВОДА ИЗ ЗАГОРНОГО КОЛОДЦА

— Я не понял: кто и куда пройдет? — спросил Макосейка.

— Время пройдет,— сказала Луша.

— Я с ним не знаком, никогда не встречался,— покачал головой Макосейка.

Ивушкин открыл было рот, чтобы объяснить медведю, что такое время, но ничего убедительного ему не пришло в голову. В самом деле, а как скажешь? Время — это всегда тикающий будильник, у которого внутри сидит электрическая батарейка, время — это когда кончился длинный и интересный день и уже надо ложиться спать, а спать совершенно не хочется. Время — это то, что, по словам взрослых, все без конца теряют, а вот находить — никогда не находят. Однажды Ивушкин слышал, как папа сказал: «В главке только тянут время», но это для

объяснения Макосейке, что такое время, никак не годилось. Поэтому Ивушкин рот закрыл и объяснять ничего не стал.

— Время это то, что всегда проходит,— сказала Луша, но Макосейка из этого объяснения все равно ничего себе не уяснил.

— Раз вам нужен загорный колодец, значит, надо оказаться за белой горой,— сказал Макосейка.

— Ты такой умный, Макосейка,— сказала Луша.— Ты нам объясни попроще, как это — «оказаться за белой горой»?

— Да чего же тут объяснять. У вас же есть ноги!

Выходила какая-то нелепица. Конечно, ноги у них есть. Но ведь до горы, которая едва виднеется, сливаясь вдалеке с облаками, н о г а м и как раз идти д а л е к о. Ноги не заправишь бензином, не включишь зажигание, не нажмешь на акселератор!

— Подними правую переднюю ногу,— скомандовал Макосейка Луше.

Луша так и сделала.

— Теперь поставь. Подними левую. Теперь правую заднюю. Теперь — левую.

Луша послушно проделала всю эту гимнастику.

А Ивушкин стоял и с удивлением смотрел на Лушу и ждал, что же от этого топанья то одной, то другой ногой произойдет.

— Что же ты стоишь? — вдруг обратился к нему Макосейка.— Ну же! Правой! Теперь левой!

И — трудно себе представить!

Не успел Ивушкин опустить левую ногу на землю и отпечатать на ней узорчатый след резиновой подошвы своих кед, как исчез из виду и симпатичный бурый Макосейка, и веселые улыбающиеся поля красивейшего алого и белого мака. Все это куда-то подевалось. И оказались они с Лушей у подножия не очень высокой горы, которая была вся покрыта кустами черемухи. Черемуха цвела таким буйным цветом, что гора казалась вспененной, как будто неведомый великан развел целую гору мыла и вот-вот начнет пускать в небеса огромные и прекрасные мыльные пузыри. А пахло как! Точно кто-то только что разбил огромный флакон с хорошими духами.

Из черемуховых зарослей доносилась звонкая соловьиная песня.

Первой опомнилась Луша.

— Ты смотри, Ивушкин,— сказала она,— мы ведь не только горы достигли, мы ведь с тобой уже и через гору перебрались!

— Интересно, хоть кто-нибудь нам дома поверит, когда мы им расскажем? Валька уж точно скажет: «Ты, Ивушкин, опять сказки рассказываешь». Или скажет: «Это еще пока наукой не доказано». Он всегда так говорит.

— Вот мы и докажем,— сказала Луша.

— Да ведь кто же поверит нам?

— Ладно, Ивушкин,— вернула его к действительности Луша.— Дома еще оказаться надо сперва. А потом уж и «поверят, не поверят».

Действительно! Что это он, о чем думает! Точно не находятся они оба неведомо где, никому не видимые, для всех потерянные. Точно пасет он Лушу в селе Высокове на лугу за поскотиной. Эх, Ивушкин!

Вдруг их внимание привлек звук плещущейся воды. Где-то вода переливалась, тенькала, булькала, напевала. Они обернулись на звук и увидели, что рядом с ними, ну, просто в двух шагах, находится низенький колодезный сруб, накрытый чистеньким, гладко обструганным дощатым щитом, а к щиту прибита деревянная ручка, чтоб удобнее открывать.

Ивушкин кинулся к колодцу, поднатужился, стащил с него крышку.

Вода была не близко и не далеко. Она плескалась, качалась, смеялась, выдыхая прохладу.

Луша подошла, опустила голову в сруб. Нет — ни Ивушкин рукой, ни Луша мордой дотянуться до воды не могли. И вдруг оба разом поняли, что у них ничего, ну прямо ничегошеньки нет, во что взять воду. Ни чашки, ни плошки, ни фляжки, ни консервной банки, ни даже чайной ложки.

— погоди, Ивушкин, ты только не падай духом,— сказала Луша, потому что поняла, о чем он подумал.

А подумал он, конечно, о том, что вода им просто до зарезу нужна — что без нее им никогда не узнать, как им быть, и никогда домой не вернуться. А раз воду взять не во что, так и думать нечего, что все образуется. А надо сесть на траву, прямо тут, возле белой горы, и пропасть в этом сладком вареньевом запахе черемухи.

Ивушкину представился их дом и маленькая банька, которую мама топила по субботам и звала их с папой: «Мужики, париться!» И еще вспомнил он маленькие мосточки на Мере, и как они с папой стояли на этих мосточках на закате и ловили рыбу на ручейника, и как он, Ивушкин, еще совсем недавно поймал серебристую рыбку, которая смешно называется уклейка. Ну зачем, зачем, зачем надо было писать эту шипучую, змейскую диссертацию?

А Луша вспомнила свое уютное стойло во дворе, и как Иван Филиппович, бывало, чистил ее щеткой, и было приятно и щекотно, и казалось, что хозяин ее любит и что хорошей и доброй жизни не будет конца.

— Ивушкин,— сказала Луша печальным голосом.— Ты послушай меня. Ты только духом не падай.

— За каким лешим ты мне все это говоришь! — завопил Ивушкин в полном отчаянии.

И вдруг трава рядом зашелестела, из нее со вздохом слышались слова:

— Ох, нет, нет, не надо браниться, пожалуйста!

И из травы показалась мордочка. Чья бы, вы думали? Мордочка старого доброго енота.

— Как ты тут оказался, Нотя? — воскликнул Ивушкин.

— Дружеские чувства, что поделаешь, — вздохнул енот. — Мне здесь не приходилось бывать. Я с большим трудом вас отыскал. Никто не мог мне толком сказать, куда вы пошли. Я бы и не нашел, если бы не Вихроний. Он мне все рассказал. Вы хорошие ребята, — добавил он, помолчав. — Светлина так счастлива!

— Недотепы мы, вот кто, — сказала Луша. — Воду-то нам зачерпнуть нечем. Взять нам ее не во что.

— Я за этим сюда и пришел, — заметил енот и протянул им маленькое, весело расписанное ведерочко на шелковом шнурке. — Подарок от Ноти, — сказал он скромно. — С ним я к вам и спешил.

— Ну и молодец же ты, Нотя! — обрадовался Ивушкин.

Но енот, которому надо было неотлучно быть при своей стирке, не дожидаясь их благодарности, вдруг так же неожиданно исчез, как и появился.

Черемуха пахла, вода в колодце весело булькала, и было уже не страшно ни Ивушкину, ни Луше.

— Хватит веревочки, как ты думаешь, Ивушкин? — спросила Луша озабоченно.

— А сейчас попробуем.

Ивушкин залез на сруб и опустил туда ведро на шнурке. Ведро воду не задело.

— Луш, не хватает!

— А ты не спеши, — сказала Луша. — Спешить — это неправильно. Надо придумать. Надо исхитриться.

Ивушкин улегся животом на край колодца. Перегнулся туда весь. Луша головой прижала его метнувшиеся в воздухе ноги. Если бы не она, мог бы Ивушкин рухнуть в колодец! Теперь ведерко коснулось поверхности воды, легло набок, пустило по воде круги и стало погружаться в студеную веселую прохладу. Ивушкин потянул шнурок кверху. Сначала ведерко пошло легко, потом он ощутил его тяжесть, ухватился второй рукой, потом сполз на землю и поставил ведро.

Вода в ведре поплескалась, потом успокоилась. И тут настала для Ивушкина и Луши настоящая радость. Потому что дальше было так.

СЕСТРА ЛЕТНИЦА

С поверхности гладкого водяного зеркала глянуло на них молодое веселое девичье лицо. Оно все светилось доброй, ласковой улыбкой. Не было сомнений, что улыбка эта предназначалась именно им.

— Кто это? — спросила Луша оторопело.

Но Ивушкин даже никакой догадки не успел высказать, потому что девушка, а вернее, ее изображение в воде обратилось к ним:

— Я рада, что вы не упали духом и сумели меня найти! Я — сестра Летница.

— Но где же ты? — спросила Луша. — Ведь не можешь же ты быть в ведре с водой?

Сестра Летница улыбалась еще ласковее.

— Нет, конечно. Я не могу сказать вам, где я. Я буду ждать вас в своем доме, а приведет вас ко мне веселый мак.

— Мак? — изумился Ивушкин.

— Мак, — подтвердила она.

— Как же это может быть? — не поверила Луша.

— У вас есть головка веселого мака?

— Есть.

— Вот и возьмите ее, и бросайте маковые зернышки на землю. А зернышко по земле покатится, бросайте второе. А потом — третье. И идите — глядите только на него.

— А с водой что делать?

— Ничего. Выплеснете ее назад в колодец.

— И мы... и ты... — заговорил Ивушкин, сбиваясь. — Ты поможешь нам?

— Помогу, конечно, — сказала сестра Летница. И она опять ласково улыбнулась.

После этих слов поверхность воды в ведерке погасла, как экран телевизора, когда кончились передачи.

В душе у Ивушкина и у Луши, как рыбка в пруду, плескалась веселая надежда.

Ивушкин разломал маковую головку, вынул зернышко и бросил его на землю, пристально на него глядя, боясь потерять из виду. Зернышко покатилося. Они двинулись вслед за ним. Зернышко остановилось. Тогда Ивушкин кинул следующее...

Куда они шли, трудно было себе представить, потому что зернышки были маленькие, глядеть на них надо было сосредоточенно.

И вот уже побежало-покатилося последнее зернышко.

И замерло. Ивушкин остановился. Луша остановилась. Оба подняли головы и оглянулись.

Цвели яблони. Белые, доверчивые цветы покачивались на распахнутых ветвях и тихо напевали, едва слышно, едва различимо выводили какую-то ласковую мелодию. За яблоневым садом стоял маленький белый домик с зеленым крылечком и зелеными ставенками. С крылечка по зеленым ступенькам спускалась им навстречу сестра Летница. Платье на ней было белое, широкое, длинное. И лицо у нее было белое, только на щеках румянец, и то неяркий, она улыбалась ласково и приветливо, и было в ней что-то такое, что сразу вызывало воспоминание о летнем деревенском утре, когда легкий туман плывет над озером, травы стоят в росе неподвижно, а на опушке леса проснулась лазоревка и звонкими капельками роняет свою песенку в траву. И светает, светает, и встает из-за леса ясное, нежаркое, хорошо выспавшееся солнышко.

«Кто же она? — подумал Ивушкин. — Может, это и есть самая летняя заря?»

— Заходите, заходите, дорогие гости! — поздоровалась она с ними.

— И мне заходить? — спросила Луша.

— Ну, непременно, — сказала сестра Летница. — Входи, Луша, и ты, Ивушкин!

— Разве ты знаешь, как нас зовут? — спросил Ивушкин.

— А как же! — удивилась сестра Летница. — Всегда надо знать, как зовут того, с кем разговариваешь.

В саду у сестры Летницы под яблонями стоял стол, а вокруг него — четыре лавочки. Ивушкин и сестра Летница сели друг против друга. Луша встала рядом с Ивушкиным.

— А теперь рассказывайте, а я подумаю, как и чем вам помочь. На ваших лицах написана какая-то печаль. А печали быть не должно. Потому что вы оба — добрые и хорошие и преданные друзья.

Ивушкин и Луша стали рассказывать сестре Летнице про свою беду, а она внимательно слушала и не перебивала, а только кивала головой и иногда улыбалась доброй, ободряющей улыбкой.

— Почему они меня не спросили? — говорил Ивушкин. — Я не хочу один, без Луши. Они не понимают, что Луша — мой друг. Своих не бросают.

— Я-то думаю, что здесь что-то не так, — говорила Луша. — Но выходит, что так. И я не могу разобраться. Хоть все это неправильно. И не должно быть. Но Ивушкин сам слышал. Хозяин сказал — «списанная». А это значит не просто ничья, а еще и ненужная.

— Три комнаты! — продолжал возмущаться Ивушкин. — Очень даже просто — мамина, папина, моя. А Лушина где?

Хотел бы я знать, где Лушина! Им там в городе лошади не нужны. Как это не нужны? Лошади нужны везде! И вот что теперь делать? Что делать? Ты можешь нам как-нибудь помочь?

Сестра Летница опять улыбнулась своей доброй улыбкой.

— Видите ли что,— сказала она.— Ведь беды-то на самом деле у вас нет!

Луша и Ивушкин посмотрели на нее в удивлении.

— Да, да,— сказала сестра Летница.— Вы вернетесь домой, туда, где тикают ваши часы, и тогда узнаете, что беды никакой нет.

— А как же город? И я? И Луша? — сбиваясь и волнуясь, спросил Ивушкин.

— Увидишь,— сказала сестра Летница.— Все будет хорошо. Правда, маленькая беда с вами все-таки произошла...

— Какая? — спросили Ивушкин и Луша в один голос.

— А такая, что вы не знали или забыли, что в каждом человеке и звере, в каждой птице живет маленький теплый солнечный зайчик. И если ко всякому-всякому живому существу отнестись с добром (только не притворяться, только по-настоящему!), то в нем этот солнечный зайчик проснется, и всякий ответит вам тоже добром, потому что почувствует в себе солнышко и жизнь. И если тебе вдруг покажется, что человек — злой или делает плохо, ты сразу не сердись на него, не обвиняй его. Это значит просто, что солнечный зайчик уж очень крепко заснул. Ты постарайся разбудить его и увидишь, как все будет хорошо!

— А как же нам быть?..— начал было Ивушкин, но сестра Летница остановила его.

— Ты, Ивушкин, очень виноват.

И она печально покачала головой.

— Ты не сумел увидеть солнечного зайчика в самых дорогих людях — в папе и маме. Ты подумал о них дурно. Ты даже решил от них убежать.

Ивушкин вдруг, пожалуй, в первый раз, подумал, что же он натворил! Ведь он даже ни о чем и не спросил ни маму, ни папу. Просто услышал разговор. И сбежал, и Лушу увел со двора. Ему стало как-то душно дышать, и горячо лицу, и особенно ушам. Словом, ему стало стыдно. Он ощутил в глазах какое-то неудобство, и лицо его стало краснеть. Не знаю, может, он бы и заплакал, но сестра Летница встала со скамейки, подошла к нему и положила ему на голову свою мягкую, прохладную руку.

Жар в лице и в ушах моментально остыл, глаза перестало щипать. Что-то теплое шевельнулось в нем, радостно запрыгало.

Что это было? Солнечный зайчик?

Ему сразу же поверилось, что теперь-то уж все будет хорошо и что вообще с ним в жизни ничего плохого случиться не может.

Сестра Летница подошла к Луше, потрепала ее серую лохматую гриву.

И Луша тоже сразу успокоилась и подумала: «Ну, ладно — Ивушкин. Но как же я, старая лошадь, могла подумать, что меня выкинут, как негодную ржавую борону?»

И Луше тоже показалось, что все обязательно хорошо кончится. Только она немного тревожилась, как же им поскорее вернуться назад в свое село Высоково, которое находится уж решительно неизвестно где.

— А если,— сказал Ивушкин,— а если все-таки они не захотят брать Лушу с собой?

— Ты забыл про солнечного зайчика,— сказала сестра Летница.— Возвращайтесь. Я знаю, что с вами ничего не случится плохого. Только никогда-никогда не говори про маму с папой — «они», как про чужих.

— Ладно,— сказал Ивушкин.— Понял. Не буду. Не понял я только, как же мы вернемся. Ведь мы здесь куда только не ходили — и через бездонный овраг, и за белую гору, и по маковым зернышкам...

— Раз ты самое главное понял,— сказала сестра Летница,— теперь уж ты никогда не заблудишься. Теперь-то уж все образуется.

И правда — все обошлось наилучшим образом.

Глава двенадцатая

ПОТОМУ ЧТО ДАЛЬШЕ БЫЛО ТАК

Сестра Летница махнула рукой, повела своим широким белым рукавом, и вдруг перед Лушей и Ивушкиным в памяти прошли все их странствия, но только в обратном порядке. Вот они идут по маковым зернышкам, вот они у колодца под белой горой, вот летит страшная Гагана (в этом месте у Ивушкина екнуло сердце), и дальше, дальше, пока они не оказались в том самом лесу, куда (кто знает уже теперь когда) они вошли через невидимые ворота в страну «Нигде и никогда».

Ого! А вот и Вихроний!

И они оказались у ворот и увидели перед собой Вихрония — живого!

— Привет, друзья мои! Все благополучно? Вы нашли сестру Летницу?

— Нашли, Вихроний, нашли. Спасибо!

— Вы возвращаетесь назад?

— Да,— закивали они оба.

— Сестра Летница помогла вам?

— Она научила нас про солнечного зайчика,— заметил Ивушкин.

— И обещала, что все устроится? — любопытствовал Вихроний.

— Она сказала, что все образуется, — подтвердила Луша.

— Она никогда ничего не обещает напрасно. А теперь, когда вы побыли у нас и узнали от сестры Летницы очень-очень важную для жизни вещь и когда она вам сказала, что все будет хорошо,— значит, так и будет. Уж она об этом позаботится.

— Как?

— Я не знаю как. Она все может.

— Она волшебница? — спросил Ивушкин.

Вихроний покачал головой.

— Нет. Просто она добрая и всех любит. Ну что же,— добавил он.— Давайте прощаться.

После этих слов Вихроний замолчал, сосредоточился и произнес, как тогда:

Совершись, чудо,
Совершись!
Из ниоткуда,
Дверь, появись!
В зеленом пригорке
Скрипнули створки
У ветра за спиной
Передо мной.

И опять перед ними распахнулись неизвестно откуда взявшиеся двери, и они через них вышли, и двери исчезли. И они снова оказались в Синем лесу!

Посреди старого, ржавого обруча тихонько качался колокольчик. Вокруг синели полянки, заросшие вероникой. Вдалеке чей-то транзистор пропищал шесть раз.

Который же это был час?

Домой они возвращались быстро и молча. Они еще не могли осознать, что все приключения кончились и что они идут домой и пока еще не знают, каким же образом сдержит свое обещание сестра Летница.

А может, ничего и не было? Может, им все примерещилось, придумалось, приснилось?

Но солнечный зайчик внутри, такой теперь осязаемый, не позволял разрастись опасениям.

Дома все было спокойно. Никого ни в палисаднике, ни в огороде не было.

— Луш, ты постой здесь,— сказал Ивушкин и кинулся по крылечку в дом. Никого нет. Совсем тихо.

Впрочем, не совсем. Потому что на комодѣ тикает будильник.

Ивушкин поглядел на него. Будильник показывал десять минут первого. Времени совсем не прошло! Как же так? Они ведь ушли без четверти двенадцать!

Ивушкин начал считать. Пятнадцать минут до Синего леса, если идти медленно. Десять минут — если идти быстро. Они с Лушей ушли без четверти двенадцать. Он это ясно помнит. А... там? Как же — там?

Ивушкин ничего не успел предположить, потому что заскрипели ступеньки и вошла мама.

— Филь, ты зачем Лушу вывел? Поить водил? Там же в ведре вода еще была.

Ивушкин промолчал.

— Филюшка, берись за веник. А я обедом займусь, папа сегодня — не поздно. Только заведи Лушу в стойло, там прохладнее, а то ее тут мухи одолеют. Филь, да не стой ты столбом, времени у нас мало!

Ивушкин горным обвалом обрушился с крыльца.

Луша скосила на него глаза.

— Ну что, Ивушкин?

— Луш, да ведь времени нисколечко не прошло. Только то, что мы до леса дошли и пришли обратно. Как же это?

— Ну, чего ты удивляешься, Ивушкин! Они ведь так и говорили: время там еще не началось!

— Луш, уж давай никому не рассказывать. А не то нас засмеют.

— Как знаешь, — Луша согнала хвостом с правого бока нахального слепня.

— Луш, ну подумай, если мы скажем, что были в «Нигде и никогда», нам ведь никтошеньки не поверит.

— А Валька?

— А что Валька? Валька первый и начнет шуточки выстраивать.

— Как знаешь, — повторила Луша.

— Луш, да было ли оно все, а?

— Может, и не было.

Луша щипнула траву.

— Ивушкин, а что это у тебя из кармана торчит?

Ивушкин сунул руку в карман, вытащил что-то и стал на него пристально смотреть. Это была маковая головка. Он ее встряхнул. Внутри зашелестели сухие зернышки.

— А майка? — спросила Луша.

Ивушкин пощупал под рубашкой.

Майки на нем не было.

Первого сентября будильник с батареей внутри показывал восемь, когда папа, мама и мальчик с букетом вышли из дверей

своей новой квартиры. Замок захлопнулся с веселым звоном, и они быстро сбежали по лестнице с третьего этажа.

Много ребят с букетами и без букетов шли и бежали по широкому проспекту прямо к школе. Но папа, мама и мальчик с букетом свернули в переулок и быстрыми шагами дошли до ворот с вывеской «Садово-парковое хозяйство». В это время ворота как раз открывались и из них выезжала — нет, вовсе и не машина, что естественно было бы ожидать в городе. Из них выезжала запряженная в телегу серая со светлыми пятнышками лошадь. На телегу были нагружены какие-то молодые кустики.

— Я иду в школу, Луш! — крикнул мальчик лошади.

Лошадь кивнула.

— Счастливо, Ивушкин! — сказала она мальчику. — Счастливо!

1982

КОММЕНТАРИИ

Произведения, включенные в этот том, публикуются в основном по специальным изданиям для детей.

В комментариях даны сведения об авторах, времени написания произведений, а также о первоначальной их публикации.

СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ БАРУЗДИН

(Род. в 1926 г.)

Сергей Алексеевич Баруздин родился в Москве в семье служащих. Еще школьником начал заниматься в литературном кружке при московском Доме пионеров. С 1943 года — на фронтах Великой Отечественной войны. В 1958 году закончил Литературный институт имени Горького.

Печатается с 1946 года. Первая книга — сборник стихотворений «Флажок» (в соавторстве с Анатолием Алексиным) — вышла в 1952 году. Многие произведения Сергея Баруздина переведены на языки народов СССР и иностранные. И сам он занимается переводами произведений современных писателей народов СССР.

Лауреат Государственной премии РСФСР.

Главный редактор журнала «Дружба народов».

Секретарь правления Союза писателей СССР.

Маленькие рассказы «Большая Светлана» впервые отдельной книгой опубликованы в 1960 г., М., Детгиз.

Маленькие рассказы «Про Светлану» отдельной книгой впервые опубликованы в 1951 г., М.—Л., Детгиз.

Рассказ «Светлана-пионерка» отдельно опубликован впервые в 1959 г., М., Детгиз.

Рассказ «Светлана — наша Сейдеш» впервые опубликован в еженедельнике «Неделя», 1961, № 13 и в журнале «Костер», 1961, № 10. Отдельной книгой вышел в 1962 г., М., Детгиз.

В этом томе рассказы «Большая Светлана» печатаются по изданию: Сергей Баруздин. Собрание сочинений в трех томах. Том 2. М., Дет. лит., 1985.

Повесть «Ее зовут Елкой» впервые опубликована в журнале «Огонек», 1965, № 18 — 19.

В этом томе печатается по изданию: Сергей Баруздин. Собрание сочинений в трех томах. Том 2. М., Дет. лит., 1985.

Рассказ «Тоня из Семеновки» впервые опубликован в журнале «Юность», 1978, № 11.

В этом томе печатается по изданию: Сергей Баруздин. Тоня из Семеновки. М., Дет. лит., 1982.

Повесть «Речка Воря» впервые опубликована полностью в журнале «Нева», 1966, № 2.

В этом томе печатается по изданию: Сергей Баруздин. Тоня из Семеновки. М., Дет. лит., 1982.

Впервые «Лесной рассказ» опубликован в журнале «Нева», 1967, № 6.

В этом томе печатается по изданию: Сергей Баруздин. Собрание сочинений в трех томах. Том 2. М., Дет. лит., 1985.

Рассказ «Рождение Караваева» впервые опубликован в еженедельнике «Литературная Россия», 1968, № 31, 2 августа.

В этом томе печатается по изданию: Сергей Баруздин. Собрание сочинений в трех томах. Том 2. М., Дет. лит., 1985.

Рассказ «Я люблю нашу улицу» впервые опубликован в журнале «Юность», 1967, № 11.

В этом томе печатается по изданию: Сергей Баруздин. Собрание сочинений в трех томах. Том 2. М., Дет. лит., 1985.

Рассказ «Тринадцать лет» впервые опубликован в журнале «Огонек», 1966, № 23.

В этом томе печатается по изданию: Сергей Баруздин. Собрание сочинений в трех томах. Том 2. М., Дет. лит., 1985.

ОЛЕСЬ ГОНЧАР

(Род. в 1918 г.)

Олесь Гончар (Александр Терсентьевич Гончар) родился 3 апреля 1918 года на Полтавщине.

Осенью 1938 года поступил на филологический факультет Харьковского государственного университета. В июне 1941 года в составе студенческого добро-

вольческого батальона ушел на фронт. Был дважды ранен; награжден орденами Славы, Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степени, тремя медалями «За отвагу».

После демобилизации в 1946 году закончил Днепропетровский государственный университет.

В 1946—1948 годах опубликовал трилогию «Знаменосцы» (Государственная премия СССР, 1948 г.). В последующие годы вышли книги рассказов и повестей, а также романы: «Таврия» (1952), «Перекоп» (1957), «Человек и оружие» (1960), «Тронка» (1963), удостоенная Ленинской премии, «Собор» (1968), «Циклон» (1970), «Берег любви» (1976), «Твоя заря» (Государственная премия СССР, 1982 г.).

Олесю Гончару присвоено звание Героя Социалистического Труда, он академик АН Украинской ССР, награжден за творческую работу тремя орденами Ленина, орденами Дружбы народов, Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, болгарским орденом Кирилла и Мефодия 1-й степени.

Книги писателя широко переводятся на языки народов СССР и иностранные.

Повесть «Бригантина» впервые опубликована в 1973 году. В том же году была переведена на русский язык. В этом томе печатается по изданию: Олесь Гончар. Бригантина. М., Дет. лит., 1977.

ВЛАДИСЛАВ ПЕТРОВИЧ КРАПИВИН

(Род. в 1938 г.)

Владислав Петрович Крапивин родился в Тюмени в семье педагогов. После средней школы окончил факультет журналистики Уральского государственного университета имени Горького. Работал в редакциях газеты «Вечерний Свердловск» и журнала «Уральский следопыт», затем перешел на творческую работу. С 1961 года руководит пионерским корреспондентским отрядом «Каравелла», созданным в Свердловске по инициативе журнала «Пионер».

Первая книга «Рейс Ориона» вышла в 1962 году.

Ряд произведений Владислава Крапивина переведены на языки народов СССР и некоторые иностранные.

Лауреат премии Ленинского комсомола.

Повесть «Оруженосец Кашка» впервые опубликована в 1966 году.

В этом томе печатается по изданию: Владислав Крапивин. Оруженосец Кашка. М., Дет. лит., 1980.

ЭДУАРДАС МЕЖЕЛАЙТИС

(Род. в 1919 г.)

Эдуардас Бенъяминович Межелайтис родился в Литве, в деревне Карейвишкяй Пакруойского района (ныне Литовская ССР) в семье рабочего.

Рано приобщился к политической борьбе: в 1935 году учеником третьей Каунасской гимназии вступил в подпольную комсомольскую организацию, тайно посещал лекции по марксизму, распространял революционные воззвания и

коммунистическую печать, принимал участие в рабочих выступлениях. Первые стихи публиковал в нелегальной комсомольской печати.

В 1939 году закончил гимназию, затем учился на юридических факультетах Каунасского и Вильнюсского университетов.

С 1943 года — военный корреспондент в составе 16-й Литовской дивизии. В 1944—1946 гг. — на комсомольской работе, затем — на литературной.

Печатается с 1935 года. Первая книга стихотворений «Лирика» вышла в 1943 году. Произведения Эдуардаса Межелайтиса широко переводятся на языки народов СССР и иностранные. Сам Межелайтис перевел на литовский язык произведения Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Шевченко, Мицкевича, Маршака и др.

Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии и Государственной премии Литовской ССР, народный поэт Литвы.

«Человек» — эта книга стихотворений впервые вышла на русском языке в 1961 году. В 1958—1959 гг. отдельные произведения, составившие впоследствии книгу «Человек», печатались в литовской и русской периодике.

В этом томе книга стихотворений «Человек» печатается по изданию: Эдуардас Межелайтис. Человек. М., Гослитиздат, 1963.

ИРИНА ПЕТРОВНА ТОКМАКОВА

(Род. в 1929 г.)

Ирина Петровна Токмакова родилась в Москве в семье служащих. В 1953 году окончила филологический факультет Московского государственного университета.

Печатается с 1958 года. Первая книга «Деревья» вышла в 1962 году.

Много занимается переводческой работой для детей с языков народов СССР и некоторых иностранных. Работает также в драматургии для детей и литературной критике.

Отдельные произведения Ирины Токмаковой переведены на языки народов СССР и иностранные.

Обладатель Почетного диплома Международного совета по детской и юношеской литературе.

Повесть «Сосны шумят» впервые опубликована в журнале «Мурзилка», 1965, № 5—6.

Здесь печатается по изданию: Ирина Токмакова. Сосны шумят. М., Дет. лит., 1974.

Повесть-сказка «Счастливо, Ивушкин!» впервые опубликована в журнале «Мурзилка», 1982, № 9—12.

Здесь печатается по изданию: Ирина Токмакова. Счастливо, Ивушкин! М., Дет. лит., 1983.

В л а д и м и р А л е к с а н д р о в

СОДЕРЖАНИЕ

Владимир Александров. В дружбе — правда	3
---	---

Сергей Баруздин

БОЛЬШАЯ СВЕТЛАНА. Маленькие рассказы	21
Про Светлану	—
Светлана-пионерка	36
Светлана — наша Сейдеш	51
ЕЕ ЗОВУТ ЕЛКОЙ. Повесть	76
ТОНЯ ИЗ СЕМЕНОВКИ. Повесть	112
РЕЧКА ВОРЯ... Повесть	125
ЛЕСНОЙ РАССКАЗ. Рассказ	172
РОЖДЕНИЕ КАРАВАЕВА. Рассказ	183
Я ЛЮБЛЮ НАШУ УЛИЦУ... Рассказ	201
ТРИНАДЦАТЬ ЛЕТ... Рассказ	214

Олесь Гончар

БРИГАНТИНА. Повесть. Авторизованный перевод с украинского Изиды Новосельцевой	231
--	-----

Владислав Крапивин

ОРУЖЕНОСЕЦ КАШКА. Повесть	409
-------------------------------------	-----

Эдуардас Межелайтис

ЧЕЛОВЕК. Стихотворения. Перевод с литовского	501
Лири. Перевел А. Межиров	503
Человек. Перевел Б. Слуцкий	505
Руки. Перевел Б. Слуцкий	507
Кровь. Перевел Ст. Куняев	509
Сердце. Перевел Б. Слуцкий	510
Глаза. Перевела В. Тушнова	512
Голос. Перевел Л. Мартынов	513
Частица матери-земли. Перевел Ст. Куняев	516
Волосы. Перевел Б. Слуцкий	517
Губы. Перевел Б. Слуцкий	518
Мысли. Перевел М. Светлов	519
Любовь. Перевел Ст. Куняев	520
Родник. Перевел Вл. Корнилов	521
Женщина. Перевел С. Кирсанов	522
Шаги. Перевел Л. Мартынов	524
Мгновения. Перевела В. Тушнова	525
Слово. Перевел Вл. Корнилов	526
Имя. Перевел Вл. Корнилов	527
Музыка. Перевел Вл. Корнилов	528

Дайна. Перевел Б. Слуцкий	531
Развяжите глаза. Перевел Вл. Корнилов	534
Трубы. Перевел Л. Мартынов	535
Капля. Перевел Ст. Куняев	536
Океан. Перевел Б. Слуцкий	538
Пепел. Перевела М. Алигер	539
Мне не страшно (Белоянис). Перевел Ю. Вронский	540
Строфы. Перевел Б. Слуцкий	541
Пробуждение. Перевел Вл. Корнилов	543
Яблоко. Перевел Б. Слуцкий	544
Нет, не ты победишь, разрушитель! Перевел Л. Мартынов	545
Икар. Перевел С. Ломинадзе	546

Ирина Токмакова

СОСНЫ ШУМЯТ. Повесть	549
СЧАСТЛИВО, ИВУШКИН! Повесть-сказка	567
Комментарии	617

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

(Том 30. Книга 3)
Сергей Алексеевич Баруздин

БОЛЬШАЯ СВЕТЛАНА
ЕЕ ЗОВУТ ЕЛКОЙ

*
Олесь Гончар
(Александр Терентьевич Гончар)
БРИГАНТИНА

*
Владислав Петрович Крапивин
ОРУЖЕНОСЕЦ КАШКА

*
Эдуардас Беняминович Межелайтис
ЧЕЛОВЕК

*
Ирина Петровна Токмакова
СОСНЫ ШУМЯТ
СЧАСТЛИВО, ИВУШКИН!

*
Повести. Рассказы. Стихотворения

Ответственный редактор
С. В. Орлеанская

Художественный редактор
Л. Д. Бирюков

Технический редактор
Е. М. Захарова

Корректоры
Л. А. Лазарева, Е. А. Суксян

ИБ № 9236

Сдано в набор 26.11.86. Подписано к печати 18.05.87. Формат 60×90¹/₁₆. Бум. типогр. № 1. Шрифт академический. Печать высокая. Усл. печ. л. 40,13. Усл. кр.-отт. 43,88. Уч.-изд. л. 39,25 + 9 вкл. = 39,79. Тираж 407 000 экз. (1-й завод 1—207 000 экз.). Заказ № 4748. Цена 2 р. 20 к. Орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 127018, Москва, Сушеvский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»

Баруздин С. А.

- Б26** **Большая Светлана. Ее зовут Елкой; Гончар А. Т. Бригантина; Крапивин В. П. Оруженосец Кашка; Межелайтис Э. Б. Человек; Токмакова И. П. Сосны шумят. Счастливо, Ивушкин!: Повести. Рассказы. Стихотворения/Вступит. ст. и коммент. В. Александрова; — М.: Дет. лит., 1987.—621 с., 9 л. ил.— (Б-ка мировой лит-ры для детей, т. 30, кн. 3).**

В пер.: 2 р. 20 к.

В том вошли произведения известных советских писателей — С. А. Баруздина, А. Т. Гончара, В. П. Крапивина, Э. Б. Межелайтиса, И. П. Токмаковой.
Комментированное издание.

Б **4803010102—377** **Подп. изд.**
М101(03)87

Р2



2р.20к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»